Евгений Шварц

Позвонки прошедших дней





Евгений Шварц

Позвонки минувших дней.

Дневники.
Произведения 40-х — 50-х годов.
Письма.



Е.Л. Шварц. 1957

Евгений Шварц

Произведения

40-х — 50-х годов

Позвонки минувших дней

Дневники и письма

Корона-принт. Москва. 1999.

84. Р7
Ш 33

Составители:
М.О. Крыжановская, И.Л. Шершнева
Примечания:
Дневники: К.М. Кириленко, И.Л. Шершневой
Письма: Е.М. Биневич
Художник: Е.В. Войцеховская

От составителей

10 апреля 1946 года Евгений Шварц записывает в дневнике строфы нового стихотворения:

Томит меня ночная тень,
Сверлит меня и точит.
Кончается вчерашний день,
А умереть не хочет.

В чаду бессонницы моей
Я вижу — длинным, длинным
Вы, позвонки прошедших дней,
Хвостом легли змеиным.

Эти "позвонки прошедших дней" составили едва ли не главную книгу в жизни Евгения Львовича Шварца — его дневники, которые в наиболее полном виде стали доступны лишь в настоящем издании. Каждый из трех предыдущих томов составлен из воспоминаний автора об определенном периоде его жизни, писем того же периода и — во втором и третьем томах — произведений, написанных в те же годы. Но вот перед вами, читатель, четвертая книга, в которую вошли сочинения Евгения Шварца, созданные им с 1947 по 1957 год. И часть этого тома — "Дневники" — представляет собой уже не мемуары, а живое, непосредственное отражение советской жизни этих лет. В записях очень много личного: домашние новости, беспокойные мысли о дочери, бесконечная вереница имен — гости по праздникам и заходящие просто "на огонек" друзья, знакомые и совсем не друзья, хроника Союза писателей и анатомические подробности собственно писательской работы. Шварц внимательно вглядывается и скрупулезно заносит в дневник картинки природы — комаровские прогулки по берегу залива и окрестным лесам. Наряду с ними появляются городские жанровые зарисовки: Ленинград оживает после войны, хорошеет, меняется в сравнении с довоенным, и автор подбрасывает столько и таких мелких подробностей быта советского человека, сколько не найдешь ни в одном художественном произведении об этом времени. Понимая значение своих заметок как свидетельства жизни отдельного человека и всего общества, Е.Шварц пишет: "...не пропадут эти житейские, столь обожаемые мною мелочи, которых я до сих пор не переживал и не переживу больше, ...зарубки сделаны, и в любое время я могу воскресить в памяти этот крошечный отрезок жизни". Теперь и мы можем приобщиться к этому отрезку жизни Евгения Львовича Шварца.

Сам автор сначала не часто и даже с удивлением, затем все чаще начинает замечать, как подходит, подкрадывается старость, высылая вперед десанты новых

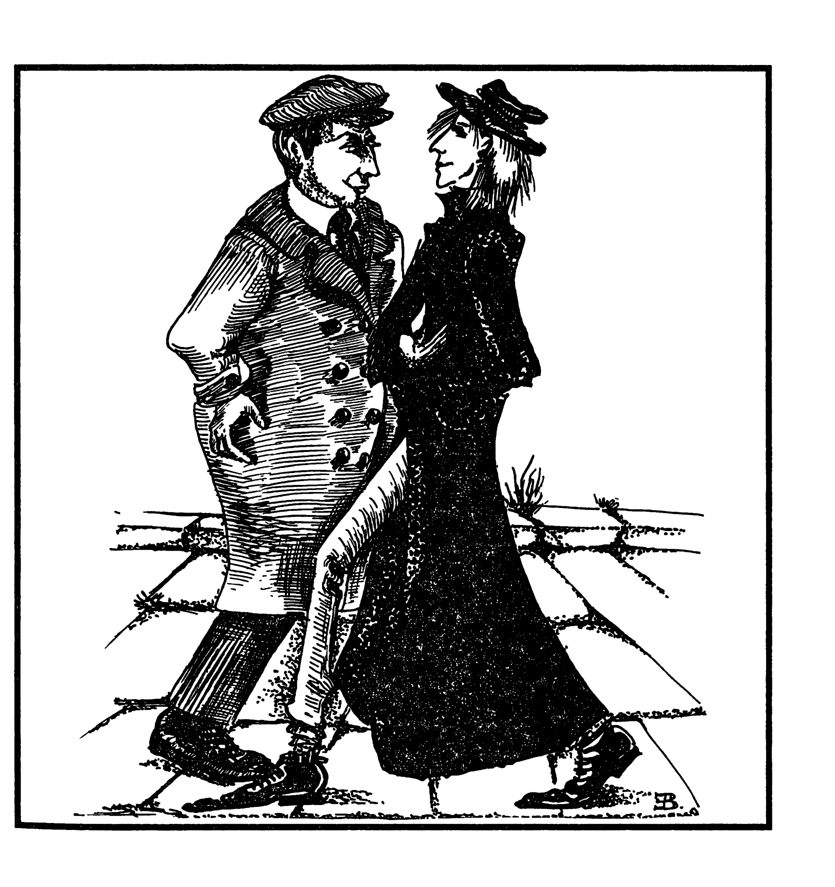
и новых недугов. Если в письмах и разговорах болезни и старость описываются мужественно и с юмором, то в дневниковых записях остается лишь мужество и нежелание поддаваться нездоровью. Шварц никак не хотел смириться ни с возрастом, ни с неизбежным одиночеством больного человека и боролся с ними самым надежным оружием — работой. Записи в дневнике обрываются буквально за несколько дней до смерти, но расшифровать ставший к концу жизни почти нечитаемым почерк автора крайне трудно. Дневник всегда был для Шварца своеобразным полигоном, где писатель пробовал себя и в жанре мемуаров, и в прозе, и в стихах. В рукописи встречаются наброски повестей, сюжеты для новых пьес, кем-то рассказанные истории "из жизни", обрывки интересных разговоров, любопытные замечания (некоторые из них дошли до нас в виде реплик шварцевских персонажей).

В октябре 1956 года Евгений Шварц, друзья и почитатели его таланта отметили шестидесятилетний юбилей писателя, а в январе 1958 года Шварца не стало. Сборник "Тень" и другие пьесы", вышедший к юбилею, стал единственным прижизненным изданием, но Евгений Львович успел увидеть на сценах ленинградских и московских театров свои последние пьесы: "Два клена", "Повесть о молодых супругах" и "Обыкновенное чудо". После успеха кинофильма "Золушка" в 1947 году к Е.Шварцу стали обращаться как к сценаристу, и по его сценариям были сняты знаменитый "Дон Кихот" Г.Козинцевым и любимый несколькими поколениями детей и взрослых фильм "Марья-искусница" (А.Роу). Много лет спустя "Сказка о потерянном времени" и "Обыкновенное чудо" также нашли свое воплощение на экране, но в этой книге они помещены в своем первозданном виде.

Четырехтомное собрание сочинений Е. Шварца завершено, но многое из литературного наследия писателя еще не опубликовано, и хочется надеяться, что новой встречи с мудрым и веселым волшебником слова не придется ждать долго. Помните, что говорит Санчо Панса в финале шварцевского сценария "Дон Кихота"?

"Сеньор, сеньор, скажите мне хоть словечко на рыцарском языке — и счастливее меня не разыщется человека на всей земле".

ДНЕВНИКИ



1947
26
мая

У меня безобразное свойство — удивительная чувствительность к любому отрицательному о моей работе отзыву. В первый момент я пугаюсь, не боли, а от предчувствия, как это все через некоторое время, особенно к вечеру, разболится. Я урод? Или все так же чувствительны в подобных случаях? При этом похвалы я воспринимаю как бы через туман и придаю им куда меньше значения, чем брани... Читал Уэллса и вдруг очень ясно пережил следующее ощущение. Вот в какой-то момент, между двумя этими абзацами он положил ручку или перестал печатать на машинке, потому что его позвали обедать. Что в этой мысли особенного? Ничего. Но меня поразила внезапность и ясность этого ощущения, вынырнувшего совершенно без подготовки. Очевидно, параллельный сознанию, неосознаваемый поток каких-то получувств, полумыслей идет себе. Я читал, как мне казалось, очень внимательно.

Получил приглашение в кукольный театр Шапиро на просмотр программы, которую он сделал из трех своих постановок: "Аленький цветочек", "Дюймовочка" и "Сказка о храбром солдате". На приглашении написано: "Кукольный театр совместно с Домом искусств", поэтому, не разобравшись, я иду в Дом искусств, откуда меня направляют на улицу Некрасова. Иду туда. Иду с тоской, потому что ничего хорошего от этого просмотра не жду. Невозможно втиснуть три трехактных пьесы в одну программу. Действительность превосходит все мои ожидания. Очевидно, глупость иных режиссеров просто невообразима. Он попросту валял: рубил причины, оставлял следствия, крошил, резал. Получилось нечто до такой степени непонятное, что трудно представить себе дурака, ухитряющегося этого не видеть. Что у него делается в голове? Я после просмотра сказал ему, что он новатор. До сих пор одежу пригоняли по ребенку. Он первый придумал — рубить

ребенка по одеже. В общем, он решил “Храброго солдата” снять с программы. Дома пробовал писать. Мне надоели сказки. Ужасно хочется не спеша писать что-нибудь точное, без чудес. Устал я за последние дни ужасно. Читаю и думаю. В основном вяло. С Наташей все неладно — плачет. Нервничает. Мне страшно. Живу с ощущением неблагополучия. Иногда ужасно хочется уехать к морю. Весна холодная.



После шума, который поднялся вокруг “Золушки”, после в общем путаной зимы я вдруг совсем перестал работать. Дни проходили с очень страшной быстротой. С утра я перекладывал работу на вечер, вечером валялся и читал или уходил. Не только не писал, но исчезло даже то вдохновенное, безумное, мечтательное, туманное, праздничное настроение, ощущение радости, которое так помогало мне жить. С огромным трудом, урывками, я написал пьесу для кукол. С еще большим трудом переделал ее. Тем временем Наташа сдавала выпускные экзамены. Каждый экзамен волновал меня больше, чем если бы я сам сдавал его. Кончилось благополучно — аттестат зрелости она получила. Я был у нее на выпускном вечере и даже говорил речь. Кошеверова стала упорно звать нас поехать на Рижское взморье в Лиелупе вместе с Наташей. Поселиться на даче латвийской киностудии и вести общее хозяйство. После долгих и вялых колебаний я решился наконец поехать. Деньги — потиражные за “Золушку” — Москва задерживала. Поэтому Наташа уехала с Кошеверовой 4 июля, а мы выбрались десятого. Едва тронулся поезд, я вдруг почувствовал, что уехать надо было давно. Это ощущение на взморье еще окрепло. Новое для меня Балтийское море, сосновый лес на дюнах, огромная комната, сад под окнами, новые люди — все это разбудило меня. Работал я меньше, чем мог, но туман, паутина и пыль из души выветрились с удивительной быстротой. Много ходил. Собирал янтари в песке на берегу — говорят, найденный янтарь приносит счастье. Собрал около двухсот янтарей. Видел Квитко. Встречался с Акимовым, который жил в Майори. Приезжал ко мне Шапиро для последних доделок. Познакомился с оператором Тиссе, который много рассказывал о Мексике. То чувство, с которым я шел через сосновый лесок к морю — никогда не забуду. Там пробыли мы до 17 августа, до вчерашнего дня. Вчера на самолете вернулись домой, и вот сегодня сижу

пишу. Начал возиться со сценарием. Здесь ждала меня радостная новость. Наташа сдала в университет на пятерки, с одной только четверкой по немецкому языку. Начинается новый период в ее жизни. Держала она на восточный факультет, на индо-тибетское отделение.



Сегодня за четыре часа работы написал меньше, чем обычно. Нездоровится. Насморк. Очевидно, грипп. Погода сегодня совсем летняя. С десяти до часу я писал. Потом пошли с Катей по магазинам. Покупать ничего не собирались, хотели просто пройтись. Зашли в антиквариат на ул. Герцена. Он опять стал таким, как до войны, — элегантным и чуть пугающим. Точнее, раздражающим. Вещи хороши, но люди, которые вокруг них вертятся, — почти все неприятные. Есть покупатели (точнее, посетители, при мне никто ничего не купил), которые щеголяют своими знаниями. Говорят громче, чем принято в магазинах. Называют марки: Попов, Марколини, Юсупов, императорский завод. Есть такие, которые таинственны и говорят тише, чем принято в магазинах. Шепчутся о чем-то с продавцами. Посетитель с медалью Сталинского лауреата (из говорящих громко) вертел в руках какую-то бронзовую вещицу и шумел: “Кое-что есть. Не такое, чтоб купить. А посмотреть интересно. Смешной...” К сожалению, я забыл, кто смешной. Это обычный способ выражаться у знатоков: смешной буфетик, смешной Марколини. Это похвала. Мне очень понравился портрет какого-то николаевского старика со звездой. Понравился несокрушимой, брюзгливой, начальственной самоуверенностью при хилом здоровье и красных припухших глазках. Оттуда пошли мы на Невский в другой комиссионный, потом в книжный магазин. Купили Диккенса “Домби и сын” и “Лавку древностей”. Позавчера купил я “Давида Копперфильда”. “Пиквикский клуб” подарил мне Рахманов. Таким образом, Диккенс у меня начинает подбираться. Вечером пришла Валечка Шварц и сообщила, что тяжело заболел Тоня. У него кровоизлияние в сердечную мышцу. Плеврит. Что-то с почками. Ему было так плохо, что даже в больницу не могли отвезти. Сейчас легче. Говорят, что может пройти бесследно. Это меня очень огорчило. Сижу и пишу с ощущением неблагополучия. Что еще? Все, что вчера писал в сценарии, — сегодня забраковал. Начал снова. Третьего дня встретил я на лестнице старушку — бабушку писателя Черненко. Она шла раскрасневшаяся,

веселая. “Радость-то какая, слышали?” — “Нет”. — “Урожай в Сибири такой, какого много лет не было! Вот радость-то!”

1947
29-30
августа

Пошел к Акимову. Смотрел новый его радиоприемник. Потом спустились к Юнгер, где была Зарубина, только что принявшая ванну. Пили чай и разговаривали. Разговор был интересный, но, увы, сейчас не могу вспомнить ни одного слова. Одно грустно — я хвастал перед Акимовым, что пишу четыре часа в день. Именно пишу, не считая обдумыванья, составления планов и тому подобных вещей. Хвастал, что после взморья чувствую себя другим человеком. Все это верно, но после того, как я об этом говорил с неопределенно-насмешливой улыбкой, не то шутя, не то серьезно, — у меня неприятное ощущение. В пятьдесят лет можно, кажется, быть самим собой, не докладывая об этом таким не слишком близким по всему духу друзьям. Ушел домой поздно, без всяких признаков праздничного образа мыслей. Уснул с трудом. Сегодня писал страшно медленно и не слишком удачно. Позвонили из Союза, что в пять часов в готической гостиной встреча с Эльзой Триоле и Арагоном. Пошел в Союз. Там Прокофьев, Браусевич, Берггольц, Рест, Черненко, Капица, Зоя Никитина. В начале шестого приезжают гости. Эльза Триоле — маленькая, с мужским выражением лица, прическа с огромной искусственной косой надо лбом, светлые, неестественно блестящие глаза, вуаль на лице, подбородок и шея очень пожилой женщины. Арагон — высокий, узкоплечий, седой, лицо моложавое, тонкое, правильное. Что-то мальчишеское в выражении. Лиля Брик — черноглазая, энергичная. Ее муж. Идем в гостиную. Я сижу рядом с Лилей Брик. Она рассказывает об Арагоне и Триоле. Оба необыкновенно трудоспособны. Работают целыми днями и не понимают, как можно ничего не делать хотя бы несколько часов подряд. Оба необыкновенно смелы. (У Арагона в петлице ленточки пяти высших французских орденов.) Рассказывают, что по подпольному радио во Франции после десанта союзников была передана условная фраза, предупреждающая об этом все подпольные организации: “За разорванное в первый раз сукно — 200 франков”. (Такие объявления висят во французских бильярдных.) Арагон в это время работал в подпольной типографии. Триоле слушала радио. Услышала она эту фразу и не могла двинуться с места. Сердце заколотилось. Ноги

перестали слушаться. А радио повторило эту фразу еще несколько раз. Тогда Эльза Триоле выбежала на улицу. И через несколько минут городок стал неузнаваем. Выбежали люди с факелами. Побежали на аэродром, куда в точно назначенный час самолеты союзников стали сбрасывать оружие. Потом Триоле рассказывала о вдовствующей бельгийской королеве. Она в 38-м году была в Париже. Поехав кататься, она ускользнула от охраны и приехала в городок, где жил Ромен Роллан. Было уже одиннадцать часов вечера. Для Франции время позднее. Ромен Роллан спал. На звонок королевы вышла жена его. Она сказала, что мэтр спит. Когда королева назвала себя, жена мэтра решила, что перед ней сумасшедшая. Но королева подняла вуаль и была узнана. Ромен Роллан вышел к королеве худой, длинный, в халате, похожем на мантию. Королева опустилась перед ним на колени и стала умолять его спасти Бельгию. Сын ее, король Леопольд, предатель. Весь двор тоже. В случае войны они предадут Бельгию немцам. Королева умоляла написать об этом. Ромен Роллан отказался. Арагон, который узнал об этом визите через два-три месяца, ругал Ромен Роллана за этот отказ. Когда королева недавно приехала в Париж, она пригласила на прием в бельгийское посольство Арагона и Триоле. Посол называл их Д'Арагоны. Королева беседовала с ними. Сообщила, что учится русскому языку. Итак, они рассказывали, Берггольц пела, пел Прокофьев, потом они же читали свои стихи. Пили бессарабское вино. Ели торт и конфеты.

1947
31
августа

Сегодня последний день августа, так богатого событиями. Прошел он беспутно. Я почти не писал. Зато было сделано два-три открытия, которые, может быть, обогатят сценарий. Итак, вчера я, чтобы отработать свои часы, писал до начала четвертого ночи. После этого, как всегда, уснуть не мог. Проснулся поздно, и, несмотря на сладкое вино, которое пил, принимая в Союзе французов, проснулся полный идей. (Все это в ночь на последний день августа, в ночь на сегодня.) Пошел, изнемогая от избытка энергии, с Катей по магазинам. Сели на пятый номер и поехали на угол Восстания и Некрасова в комиссионный магазин. Смотрели чашки, часы, шубы, халаты. Ничего не купили. Улица Восстания вся сплошь ремонтируется. Пошли по ней до Невского. У родильного дома в сквере пышно растут цветы, желтые,

круглые. Катя знает их название и сказала мне. Что-то вроде: золотой шар. Растут они пышно, но бестолково. Чувствуется, что в доме не до них. Молодой этот сад кажется, не глядя на молодость, запущенным... Идем через похорошевшую Михайловскую площадь, скверик посреди площади полон цветами. Я так приучен к тому, что потерянное потеряно навеки, что Петр у Михайловского замка, асфальтированные площади, воскресный город вызывают у меня недоумение, но восторженное.

1947 1-2 сентября

Первого сентября, в понедельник, я пошел проводить Наташу на ее первую лекцию в университет. Погода была холодная, но иногда выглядывало солнце, и сразу становилось легче на душе. Катя вышла с нами купить цветов на цветочном базаре, который, впрочем, оказался закрыт. Мы с Наташей побежали бегом к автобусу, к семерке, и доехали. Я глядел, как Наташа скрылась в университетских дверях. Десять лет назад я проводил ее в школу, в первый класс. Возле университета толпились студенты. Впечатление было то же, что в тот раз, когда ходил я смотреть списки. Домой не хотелось. Я пошел в сквер возле Академии художеств. Сел на скамейку против той, ныне отсутствующей, на которой тридцать три года назад сидели я и Юрка Соколов. Я в том состоянии, когда думаешь жадно и жадно смотришь, но уловить и назвать, о чем думаешь, что видишь, что чувствуешь, — трудно, да и не хочется. Одна мысль или, точнее, одно ощущение было сильным, и определить его я попробую. Что, если тридцать три года назад я увидел бы себя теперешним, себя 47-го года, сидящего напротив? Или точнее — я, восемнадцатилетний, и я, пятидесятилетний, сидим друг против друга. Точнее: что изменилось? Я не чувствую, что изменился. И то время, и настоящая секунда кажутся мне одинаково реальными. Совершенно одинаковыми. Как я тогда мог не видеть себя, сидящего напротив? Так я думал. А ребята около играли в футбол маленьким резиновым мячом. Потом ремесленники под руководством инструктора стали бегать по круговой аллее. Одни бежали с азартом, другие конфузливо, третьи делали вид, что бегут. Я думал о каждом из них, пробегающих мимо. Думал быстро, мимоходом. Вот мальчик слабогрудый, капризный, вот простой, вот страшный. Солнце опять выглянуло. Вот мальчик злой. И вместе с тем я отмечал и понимал особенно легко тех, которые похожи на моих товарищей по реальному училищу. Вот Ма-

тюшка Поспеев. Вот Баромыкин. Вот Серба. Думал о них я быстро, мимоходом, и все возвращался к одной мысли — о себе тогда, о себе теперь, о времени и о том, сколько раз в день прохожу я мимо себя в будущем. Ну вот. Вернулся я домой, узнал, что надо пойти к "Стреле", к десяти часам, проводить Триоле и Арагона. Пришла из университета Наташа, ошеломленная первым днем, предстоящими трудностями (им сказали, что факультет их самый трудный в университете, а индотибетское отделение — труднейшее на факультете)... Я пошел на вокзал. Проводил приезжих. Вернулся домой на машине с Зоей Никитиной. Для нее приезд Арагона, Триоле и прочих был великим, мучительным счастьем. Боже мой, как она суетилась, кричала, бегала, самозабвенно беседовала о поэзии, хохотала, хлопотала. В Келломяках гостям уделили отдельную уборную (их две на всех) и вручили им ключ от оной. В комнате, где жили летом Берггольц и Макогоненко, сделали самоварную для гостей. Гости держались в стороне от остальных отдыхающих, которые прозвали территорию, отведенную гостям, — "зона французской оккупации"... С утра второго писал. Не слишком хорошо. Пошел в Союз на заседание драмсекции. За те два месяца, что прошли после предыдущего заседания, я столько думал, писал, праздномыслил, приходил в восторг, потом в отчаянье, ездил, бродил, что на всех товарищей смотрел, будто вижу их в первый раз. На заседании присутствовал сильно постаревший Митя Щеглов. Он спал в начале и темпераментно говорил в конце. Мы обсуждали план работы драмсекции. Ну вот. И в Союз, и домой шел пешком через два сада — Михайловский и Летний, через набережные. Вечером пришла Наташа, и довольная, и перепуганная после первой лекции по санскриту... Беседовали с Наташей о будущем. Она настроена пока что бодро, даже вдохновенно. Увлечена лингвистикой вообще. Ее поразило на лекции по истории русского языка, что тут видны самые истоки человеческого мышления.

1947
12
сентября

Ну вот и еще один день прожит. Много времени провел я за письменным столом, но все переписывал одно и то же. Медленно двигается у меня одна сцена... В половине шестого пошел я в Союз на заседание правления. Шел своей любимой дорогой — через Михайловский сад, Летний сад и набережные. В Михайловском сторожиха с красной повязкой на рукаве сгребала граблями сено. Потом

вдруг прекратила работать и давай свистеть в свисток. Сначала я не понял зачем. Потом догадался — на противоположном конце сада, возле самого музея, ребята воровали с клумбы цветы. Небо было покрыто облаками. Свет приглушенный, но зелень еще яркая, желтых листьев почти не видно. Сторожиха у Мойки, ребята у музея, деревья глядят сурово, облака стоят в небе, не двигаются. В Летнем саду удивило меня новое ощущение. Я шел не по главной аллее, где статуи, а по большой, пустынной, которая идет от середины пруда. И вдруг почувствовал себя посреди ровного строя деревьев. Это очень приблизительно передает очень ясное и точное чувство. Сплошная масса листьев справа и слева, а я двигаюсь посередине. Ну вот. И по набережной я шел с жадным вниманием к воде, к домам, к асфальту. И ощущение себя частью какой-то стройной конструкции не исчезало. Приблизительно так. Вот я поднялся на мост через Фонтанку и почувствовал, как изменилось мое соотношение с водой, домами, катером на Неве. Спустился на набережную — и опять все изменилось. Чувство приятное. В Союзе заседало правление. Разбирали пьесы Никитина и Козакова с Мариенгофом. Доклад делал Янковский. Пьеса Никитина ужасна. Козакова с Мариенгофом хоть профессиональна. Я дремал. Но потом Прокофьев заставил меня выступить, что я и сделал в высшей степени бестолково.

1947
15
сентября

В понедельник я должен был пойти на первое заседание совета Дома кино. Я сидел, работал и собирался честно выполнить это не слишком затруднительное обязательство, как вдруг позвонили из Союза. Позвали на встречу с чехословацкими журналистами и писателями. К семи часам вечера я пошел туда. Когда вышел — испугался, что опаздываю, и я поехал на такси. Оказалось, что боялся я напрасно. В Доме писателей было почти пусто. Чехословаки еще не приехали, да и русских было маловато. Мы постояли внизу, возле парикмахерской — Рест, Лифшиц, Кетлинская, Зонин, Дружинин. Говорили о библиотеке, где не хватает денег на библиографическую работу, о предстоящей к тридцатилетию выставке, о том, что собралось крайне мало писателей. Как бы не вышло так, что гостей окажется больше, чем хозяев. Потом поднялись мы наверх в комнату президиума. Там Прокофьев. Бледный, пухлый, лысый, развязный москвич Оплетин — заместитель председателя. Еще несколько писателей.

Распределяем обязанности. Мне приходится согласиться прочесть перевод рассказа писателя по имени Ян Дрда. Спускаемся вниз ждать гостей. Открыта парадная дверь, которую открывают, когда хоронят кого-нибудь из членов Союза или принимают почетных гостей... Значит, спустились мы вниз и стали ждать внизу чехословацких гостей. Капица вышел в переулок и позвал: “Идите сюда греться”. Мы вышли. И в самом деле, на воздухе теплей, чем в мраморном нашем вестибюле. Вдруг вернулось лето. Вот застучал мотор, и в переулок въехал автобус с гостями. Мы проводили их наверх. Пожилая дама в маленькой шапочке представлялась так: народная художница Ма́йорова. Так переводила она свой чешский титул: народная умелица. Увидел я писателя, рассказ которого должен был читать. Ян Дрда — молодой, но очень толстый, с бабьим лицом, в круглых очках, с густой шапкой вьющихся белокурых волос. Заместитель председателя Союза. Председатель (его фамилию забыл по своему обыкновению) скромный, седой, светлоглазый, едва слышно говорящий, легко краснеющий. Словацкий журналист, длинный, желтый, озлобленный. Он просил у всех автографы. И когда Браусевич расписался в его книжечке крайне неразборчиво, словак вскричал: “Это по-азербайджански?” Другой, словак, черный, похожий на сытого турка (Михаил Хорват его фамилия), доказывал Золотовскому, что у детской литературы великие агитационные задачи. Сутулый, почти горбатый редактор социал-демократической газеты, с очень внимательным лицом. Редактор католической газеты, красивый пожилой брюнет очень европейского вида, держится просто, но чрезвычайно достойно. Переводчица Лермонтова на чешский язык, тихая девица, похожая на общественницу районного масштаба. Честная, застенчивая, старательная. Привозят Лозинского, который за ночь перевел одно стихотворение председателя Союза. Начинаем вечер. Оплетин (или Аплетин) представляет гостей лихо и развязно. Говорит приветствие Прокофьев. Лозинский читает перевод, очень хороший, кстати.

Неизвестно зачем оглашается перевод того же стихотворения, сделанный москвичом Будрейко. Серебровская читает отрывок из книги народной умелицы. Я читаю рассказ Дрда “Пчела”. Рассказ, вероятно, ничего себе, но перевод ужасен. Пытаюсь его править на ходу. Потом наши поэты читают стихи. Во время их читки наступает психологический момент: Браусевич обходит избранных и шепчет им, что после вечера они

приглашаются ехать в “Асторию” ужинать. Я чувствую, что ехать не следовало бы. Не пить — скучно, а пить — это значит выбиться из колеи. Но по слабости характера еду в такси с Зониным и Кетлинской. В “Астории” в отдельном зале накрыт стол. Я сажусь между католиком и Дрда. В начале ужина католик застенчив. Я спрашиваю: “Понравился вам Ленинград?” Он восклицает отрывисто и растерянно: “Что? Да! Хорошо! О! Да!” Но затем, по мере того как оживляется атмосфера, оживляется и он. Говорит более связно. Даже пробует рассказать что-то о Гете. Но кто расцветает просто как цветок, так это Дрда. Он пьет, ест, поет, острит. Он просто вдохновлен. Его толщина, которая раздражала меня до сих пор — здесь, за столом, кажется очень уместной и радует, потому что понимаешь ее происхождение. Это здоровая полнота здорового кутилы. Все говорят речи, но Дрда говорит их не менее пяти. Потом чехи поют чешские песни, а мы — русские. В заключение происходит следующее: Прокофьев и Дрда сидят рядом. Оба коротенькие, толстые, вдохновенные. Мороженое уже съедено, кофе выпито, пора расходиться, но Дрда вопит: “Чехи не отступают” и ни с места! Наконец, заказав два литра водки, он уходит в свой номер, захватив Прокофьева, энергично бежит по коридору, как будто и не пил вовсе. А мы идем домой, чем и кончается понедельник.



Разговариваю с Браусевичем о чехах. Оказывается, в Праге должен состояться фестиваль кукольных театров. Народная умелица Майорова — энтузиаст этого дела. Узнав, что Браусевич пишет для кукол, она пришла в восторг и подарила ему свою книжку. Потом встречаю Прокофьева. Сообщает, что они с Дрда просидели до пяти утра. Иду домой пешком через Литейный по Симеоновской мимо цирка и моего любимого памятника Петру, растреллиевского. Прохладно, но на небе ни облачка. Несмотря на желтые листья, ощущение лета, вероятно потому, что во многих местах еще разрыта мостовая, идет ремонт, пыль стоит в воздухе.



Ох, какой бестолковый день! Ничего не сделано, а чувство такое, будто я целый день надрывался на какой-то мучительной работе. Начался день ничего себе. Разговаривал с Наташей, был переполнен различными высокими ощущениями. Бес-

смысленная радость бытия. Ясное небо. Решил пройтись немного перед тем, как начать работу. Собирался я пойти на Васильевский остров, подумать, о чем придется. Но тут пришел Колесов. Он шел в филармонию, и я пошел с ним в сторону филармонии. И не поехал поэтому на Васильевский, а пошел по магазинам искать “Крошку Доррит”, которой не хватает мне для полного собрания сочинений Диккенса. В книжной лавке писателей встретил Владимирова. Он сообщил, что бюро секции послало в Москву письмо с жалобой на медленную работу Реперткома. Мне в лавке обещали поискать “Крошку Доррит”. Походил еще по магазинам, нигде Диккенса не нашел и по дороге домой вдруг почувствовал, что я болен, очень болен. Болят суставы ног, а главное немеют руки, неприятно немеют. Прихожу домой. Открывает Катя. Бледная. Под глазами круги. У нее так разболелась голова, что она свалилась. Тошнит. Отпаиваю ее пирамидоном.



Вчера лег опять поздно, встал сегодня в девять, отчего голова работает энергично, но с малыми результатами. С утра беспокоит меня, что вечером надо выступать в Доме кино, читать первые страницы сценария. Пишу и отвлекаюсь. В час приходит Наташа. Идем с ней гулять. Решаем посетить Эрмитаж. Подходим к знакомым кариатидам. Дверь заперта. Никаких указаний на то, где теперь вход. Не может быть, что музей закрыт. Ведь сегодня воскресенье. Идут не спеша милиционер и милиционерша. Спрашиваем их. Оказывается, теперь вход с набережной. Зимний дворец со стороны набережной — в лесах, заканчивается окраска здания. Через фанерный коридор под лесами входим в музей. Идем по отделу первобытной культуры. Высохшая мумия коня из кургана. Лежит конь, покорно подогнув голову. Остатки рыжеватой шерсти. Огромный плоский кусок скалы с наскальными рисунками. Как всегда в Эрмитаже внимание болезненно напряжено, от богатства разбивается, разбегается. Не проходит и часу, как охватывает меня особая музейная тоска. Именно тоска, а не скука. Все по недостатку культуры. В результате только античные статуи производят сильное впечатление. Особенно Венера Таврическая, Тит и Веспасиан из черного базальта и статуи детей. В итальянском отделе смотришь одну картину, а остальные мешают. Отхожу душой у фламандцев. Вдруг поражает, уже когда мы выходим и мне кажется, что

ничего больше не пойму, Глюк Гудона. Вечером иду на открытие Дома кино. Трауберг говорит, что читать мне не придется — программа велика. Я охотно соглашаюсь. Серебряков играет прелюд Рахманинова. Шостакович — одну часть квинтета. Сидящий позади меня гражданин говорит своей даме: “А все-таки к Шостаковичу можно привыкнуть”. — “Привыкнуть! — возмущается дама. — Что вы говорите! Я им восхищаюсь! Совершенно новое звучание. А сколько юмора! Это сплошной смех”. Потом показывают отрывки из картин: хроника, где Пахомов рисует на крыше каменщиков. Репетиция оперы Дзержинского, где Шлепянов со своими недобрыми, черными глазами учит певцов и певиц петь партизан. Затем “Цитадель” — две сцены, “Пирогов” — две сцены. Затем концерт. Дзержинский, Соловьев-Седой, партерные акробаты, актеры Александринки, танцоры из железнодорожного ансамбля. Затем мы ужинали.



Понедельник проходит благополучно. Голова не болит. Напротив — работает в достаточной степени отчетливо. Бьюсь над серединой сценария. Наташа рядом чертит таблицы по санскриту. От времени до времени мы обмениваемся философскими мыслями. Но написал мало. Работа, несмотря на хорошо работающую голову, делается медленно. Впрочем, отчасти виноваты в этом визитеры. Приходит в два часа Ягдфельд. Он пишет для Уваровой эстрадный номер. Сидит у стола маленький, с большой шевелюрой, беспокойно поглядывает карими своими глазами, советуется. Номер ничего себе, но как всегда чего-то в нем не хватает. Весу, что ли, и я, как всегда, чувствую себя совершенно беспомощным, когда надо определить, чего не хватает. В таких случаях я удивляюсь Акимову и завидую его ясной голове. Ну вот. Около трех приходит сама Уварова. Продолжаем советоваться и, наконец, общими силами как будто придумываем, что делать дальше. После этого Ягдфельд удаляется. Лиза Уварова остается.



С утра ужасно тянет меня уехать. Не из города, а из дома, побродить по улицам. Наконец, в два часа не выдерживаю и сбегаю. Еду на автобусе до университета, чтобы не тратить силы даром. Иду к моему любимому скверу возле Академии художеств. Сквер этот, оказывается, называется Румянцевский или

Соловьевский. Листья сильно пожелтели, пахнет пылью, ощущение осени, начала занятий. Но праздномыслить мне не удается с обычной легкостью. Стараюсь понять, что мешает? И вдруг понимаю — то, что я об этом писал. Следовательно, попытки поймать себя за хвост даром не проходят. Надо это будет записать, думаю я. Скамейка из моего угла сада, из того самого угла, где тридцать три года назад сидел я с Юркой, исчезла. Я там только постоял и перешагнул через разломанную решетку на 2-ю линию. В доме со странной надписью по фронтону "Мозаичное императорское отделение" открыты подвальные окошечки. Видны длинные ряды стоек с разноцветными кирпичиками. С разноцветными плитками, точнее. Где-то внутри постукивает мотор. Значит, там идет работа. Замечаю дальше, что праздномыслить мешает мне еще боль в ноге. Болит кость у самой стопы. Впрочем, скоро все налаживается, и я оживаю. Больше всего оживляют солнце, прохлада, желтые листья, запах пыли, что все вместе составляет ощущение начала занятий, полное предчувствий и надежд. Думаю о том, как близки друг к другу предчувствия и воспоминания. Предчувствуешь, что произойдет нечто уже пережитое, то, что помнишь, — вдруг воскреснет. Иду по Большому проспекту. Почему-то именно на Васильевском острове особенно ощущаешь, что Ленинград — город приморский. Так и кажется, что увидишь в конце ровной-ровной, плоской-плоской дороги — море. Когда глядел я вдоль Второй линии на дома, недавно окрашенные, стоящие ровненько в строю, показалось мне — что-то печальное есть в этом зрелище. Что — побоялся определить. Войной, что ли, потянуло?

1947
24 сентября

Встаю раньше всех и не догадываюсь разбудить Наташу. Она встает вялая, недовольная и угрюмо усаживается за английский. Все время отвлекается. Глядит, явно ни о чем не думая, прямо перед собой. Мы с Катей уходим взглянуть, не дают ли что-нибудь в нашем промтоварном магазине и обменять Наташины часы, которые в четвертый раз остановились. Накрапывает дождик. Часовщик — выходной. Идем на улицу Герцена в антиквариат. Как всегда, когда денег нет, хочется купить множество вещей. Поднимаюсь в комнату, которая расположена выше основного зала. Туда ведет лестница ступенек в десять. Огромный овальный стол во всю эту просторную комнату. На столе — горками тарелки самых разных фабрик, времен

и цен. Шкафы с посудой, настольными лампами, блюдами. Сначала смотрю тарелки. Ничего “смешного”. Катюша задержалась внизу у фарфора, и я, от нечего делать, начинаю разглядывать картины, висящие на стенах. И вдруг — раз! Одна вышибает меня из вялого полусонного состояния. Картина написана суховато, но точно и старательно. И, видимо, не без удовольствия. Это — поросшие соснами кавказские горы. Мост через речку. По мосту старик гонит осла, груженого дровами. Речка голубовато-синяя. Цвет неточный, но я понимаю, что художник хотел сказать. И разом чувствую то, что чувствовал в горах над Майкопом, где так поразил меня цвет реки Белой. Продолжаю смотреть картины. Над дверью — совсем странное полотно. Большое. Лихо написанное. За огромным столом две женщины — блондинка и брюнетка. Перед ними — чайный прибор. А правее, на том же столе, борются две голые девушки, преувеличенно розовые, с пышными формами. Блондинка за столом улыбается, чуть отвернувшись от борющихся. Брюнетка глядит на них, закусив губу. И это напоминает мне безумное, распущенное, самоубийственное время 1907—1917 годов. Еще раз убеждаюсь, что время ощущается еще острее в третьестепенных произведениях. Иногда. Обе картины вспоминаются весь день. Майкоп и Москва. Даховская с бешеной речкой, и “Летучая мышь”.

1947
26-27
сентября

Перечитывая, вижу, что записываю очень малую часть того, чего вижу. Иногда получается похоже, иногда — совсем не похоже. Все это результат, во-первых, неумения отличать главное от второстепенного, просто неумение, говоря откровенно. Второе — скрытность, заставляющая меня о некоторых вещах не разговаривать даже с самим собой. (Сюда входит мое отношение к женщинам. Домашние ссоры, которых у нас гораздо меньше, чем в других семьях, но все-таки случаются. Ну и все, пожалуй.) Еще — ужасающее недоверие к себе. Разъедающее недоверие — я не верю, что умею писать, видеть, понимать. Впрочем, это последнее чувство иногда сменяется столь же твердой уверенностью в обратном. Ну, словом, — давно бы я бросил эти записи, если бы не страх. Страшно признавать, что вдруг что-то не вышло. Потом — я надеюсь, что все-таки научусь писать о себе. И, наконец, кое-что выходит похоже. Очень похоже. И, работая над сценарием, я чувствую, что рука ходит легче — значит, ежедневные

упражнения в чистой прозе, пожалуй, полезны. И еще — уж очень бесследно уходят дни за днями. А тут все-таки хоть что-то отражается. Худо, что пишу я эти записи только после более серьезной работы, уставши. И вот еще что — записывать то, что я думаю о своем основном деле — о литературе — не в силах. Совестно почему-то. А ведь этим, в основном, я и дышу. Ну вот. Следовательно, бросать не буду, а буду продолжать. Что определяет мой сегодняшний день? (Вот что портит мне еще работу над ежедневными записями: невольная вялость языка. Ни в пьесе, ни даже в сценарии я не написал бы "определяет". Я позволяю себе, из желания быть естественным, попросту писать спустя рукава.)

1947 *28-29-30 сентября*

Воскресенье проходит бестолково. Все время чувствую себя больным. Голова не работает. Попробую привести в ясность свои дела по пунктам, по разделам на сегодняшний день. *Союз*. Бываю там относительно редко. На заседаниях. По делу. Репутация каждого из нас в Союзе, точнее в руководстве Союза, меняется, и при этом меняется часто и, в большинстве случаев, по причинам для нас загадочным. За дверями комнаты президиума и парткома меня могут ругать, перетолковывать мои слова, приписывать то, чего я не говорил, а оправдаться невозможно. Все это делается заглазно. Узнаешь об этом, когда тебе вдруг не дадут лимита промтоварного, или по выражению лица когонибудь из причастных к власти. Поэтому писатели так нервно принимают даже такой, казалось бы, пустяк, как выдача, допустим, табачных талонов. Правда, следует признать, что Прокофьев, стоящий сейчас во главе Союза, в основе своей человек порядочный и чистый. В трудные дни после постановления ЦК держался с достоинством и без панической суетливости. Но и он нервен, подозрителен и, следовательно, не может не слушать, когда за закрытыми дверями по слухам и сплетням делают выводы о том или другом члене Союза. Кроме этого общего явления в Союзе бывают события частного порядка. Происходят столкновения в самом президиуме, что тоже без всякого твоего участия втягивает тебя в некие сложности. Например, сейчас, как будто, если верить слухам, ссорятся Друзин и Прокофьев. И Друзин, желая доказать, что Прокофьев плохой руководитель, утверждает, что по вине его, Прокофьева, ряд писателей (в том числе и я) мало участвуют в общественной работе. Как же я отношусь ко всему этому? Говоря по чести, в основном спокойно.

Почему? Потому что пишу. Потому что беспечен от природы. Потому что выработались некоторые внутренние, гигиенические правила, помогающие почти без участия сознания не дышать отравленным воздухом. Тем не менее, ввиду того, что я человек общественный, люблю людей и люблю, чтобы меня любили, когда по тонким приметам я чувствую, что моя репутация в глубинах Союза поколеблена — то расстраиваюсь. Впрочем, на несколько часов. Но следует признать, что в том самом неблагополучном фоне, что мешает чувствовать и думать отчетливо — дела союзные занимают свое место. На сегодняшний день, правда, в Союзе мои дела, как будто ничего себе. Вот и все о Союзе. Дальше. *Работа*. "Первоклассница" снимается в Ялте и, по слухам, получается отлично. Пьеса, написанная для Шапиро, тоже в работе, хотя ответа из Москвы он еще не получил. (Из Реперткома.) В театре Деммени заново поставили "Сказку о потерянном времени". С периферии приходят письма (адресованные, правда, не мне, а актерам), из которых ясно, что картина "Золушка" понята именно так, как мне хотелось. А самое главное, я пишу новый сценарий, и многое в нем, пока как будто, выходит. Сценарий о двух молодых людях, которые только что поженились, и вот проходит год их жизни с первыми ссорами и так далее и тому подобное. Главная трудность в том, чтобы сюжет был, но не мешал. (Словом, как всегда, когда я касаюсь самого основного — литературы — и касаюсь, так сказать, со стороны, мне делается совестно, слова отнимаются и мне хочется заткнуться). Итак, работа на данный день — идет. И нет у меня чувства, что я выброшен из жизни. Иногда мне кажется даже, что я сильнее, чем когда-либо в своей жизни. Но это чувство легко исчезает в те дни, когда я нездоров, как сегодня, например. Дальше. *Дом*. Здесь — основа Катюша. Бог послал мне настоящую жену, которую до того не отделяю от самого себя, что не умею написать о ней, как следовало бы. Благодаря Катюше, где бы мы ни жили — в страшной ли комнате в Кирове, на даче ли, в своей ли квартире — все чудом преображается, превращается в дом. Помню комнату, которую получили мы в начале в Кирове. Страшная, закопченая, лед на окне, две печки. Топятся они от нас, а нагреваются соседние комнаты. И через день комнату узнать нельзя было. Переставила Катя шкаф, повесила какие-то занавески на окнах, вязаное гарусное одеяло на стену. Еще два-три колдовства, и пришел к нам, измученным блокадой, еле живым, толстенький,

недобрый, живущий в европейски удобном исполкомовском доме Н.Н.Никитин. Посмотрел и сказал угрюмо: “Ну, ты в рубашке родился,— какую комнату отхватил”, — чем привел в ярость свидетельницу этого разговора Сарру Лебедеву. И в письме к Ольге Форш Никитин написал, что в Киров приехал Шварц и получил замечательную комнату с коврами. Но дело не только в этом. Именно узнав Катю, я понял щедрость, с какой оделила любовью природа некоторых женщин. Горе, что у нее не может быть детей. И этого мало. У нее особый дар понимания — я ей читаю все, что пишу, и слежу, нравится или нет, и всегда она права, хоть и ничем не похожа на литературных дам. Даже языком их владеть никогда не умела. Ужасно трудно писать о близком. Она очень хороша собой и следит за собой, как и подобает женщине. Нет больше сил писать о ней, так похоже и не похоже. Бог дал мне в жены женщину. Прожили мы вместе вот уже восемнадцать лет. И до сих пор мне не стыдно читать письма, которые я писал ей в начале нашего знакомства. Ну и довольно об этом. Так близко о себе все равно писать не научусь.

Итак, дома я спокоен, дом помогает работать, и самое путаное и тревожное существо в нашем доме — это я сам. Я сам пытаюсь держать себя в ежовых рукавицах и вечно срываюсь и снова начинаю новую жизнь. На сегодняшний день меня даже пугает бессмысленная радость, с которой я живу. Вчера увидел спящего кота, его розовый нос и великолепную шерсть, и вдруг так обрадовался, так восхитился, что сам ужаснулся. К чему бы это? Ну, довольно ловить себя за хвост.



Попробую дальше по пунктам приводить свои дела, свой сегодняшний день в ясность. *Друзья.* Друзей у меня нет. Мой первый и лучший друг — Юрка Соколов — пропал без вести, очевидно, погиб еще в конце той войны, войны 14-го года. До сих пор я вижу во сне, что он жив, и радуюсь, что на этот раз это уж не сон, а, слава богу, правда. Дружил я с Олейниковым, но, в сущности, дружба с этим странным человеком кончилась году в 25-м (познакомились мы в 1923-м). После этого много было всякого. Бывало, что месяцами мы не встречались. Никто за всю мою жизнь так тяжело не оскорблял меня, как он. Но я все-таки любил, как мог, этого человека. Страшно сказать — он был гений. И он пропал без вести, очевидно, погиб. Теперь есть люди, с

которыми мне интересно более или менее. Но не могу сказать, чтобы я их любил. Полагаю, что и они меня тоже. Я в хороших, приятельских отношениях с ними, но это не вполне близкие люди. Все время ощущается некоторое расстояние — то ли от разницы возрастов с одними, то ли от разницы натур с другими, то ли это вообще свойственно нашему времени. Нет, например, близких друзей и у моего друга Каверина, и у моего друга Слонимского и у многих других моих сверстников и современников.

1949
6
апреля

Сегодня шестое апреля. Мы все жили в Келломяках, но в понедельник 28 марта я заболел гриппом, и в пятницу мы приехали в город... За это время произошли у нас такие события. Наташа 26 марта вышла замуж за Олега Леонидовича Крыжановского. Ему тридцать лет. Он только что закончил диссертацию по своей специальности (кандидатскую). Он энтомолог. Производит впечатление простого и хорошего. Ко всему этому я еще не привык. Понимаю все происходящее несколько умозрительно. В ССП невесело. Атмосфера, от которой хочется кричать караул. Как всегда в поворотные моменты жизни Союза, вылезает всякая сволочь и делает свои дела. Пьесу, которую я читал в Комедии, и сценарий, все, очевидно, придется на время забыть. Во время пребывания своего в Келломяках я написал книжку "Наш завод". Фрез будет моим соавтором по этой книжке. Он приезжал дважды. Один раз жил в Доме творчества [писателей], раз — в городе, а ко мне только ездил. Вообще было несколько периодов жизни. И очень мрачные, почти невыносимые. И с просветами. Самый мрачный период — это февраль. Особенно мрачной была ночь, когда мы с Наташей и увидели северное сияние, которое полыхало по всей северной части неба до самого зенита. Это было очень страшно. Приходится признать, что жизнь идет к концу. Смерти я никогда не боялся, но за эти дни раза два подумал с ужасом: неужели придется умереть в таком дерьме? Безобразно шла жизнь в иные дни. Много прочел за эти дни. Все больше по истории. Перечитал Олеария. Забелина посмотрел. Семевского о царице Прасковье. Кое-какие статьи Костомарова. Начал третий и последний акт "Медведя". Много ходил. Зима была необыкновенно мягкая, без морозов почти.



Сегодня 1 января 1950 года. Минувший год был полон событий. Вышла замуж и переехала жить в Москву Наташа. Она ждет ребенка. Мы жили в Комарово до конца мая. 6 сентября вернулись обратно сюда же. Весь прошлый год почти прожили мы за городом. Летом поехал я в Сочи. Теперь вся эта поездка представляется мне страшным сном. Я поселился в гостинице, в удобном номере, один. Комитет утвердил мою пьесу. Ее должны были начать репетировать. Но погода в Сочи была страшной: белесое небо, белесое море и жара — влажная, банная, зловещая. Говорили, что подобной погоды в Сочи не было никогда. Потом Репертком запретил мою пьесу, потом появилась статья о гастролях театра в Москве, приведшая в конечном итоге к снятию Акимова, потом позвонила Катя, что она заболела, и я поехал в Ленинград.



Расскажу, как я ехал в Сочи [в 1949 году]. Театр Комедии, который там гастролировал, собирался ставить мою пьесу "Первый год". Я сначала заехал в Москву к Наташе, которая нелегко переносила первые месяцы беременности, ее все тошнило, и ей казалось, что это от ковра в большой их комнате. Очень уж он был пыльный. Наташа была еще новым человеком в доме, шла жизнь еще осторожная, и я прожил у них два-три дня с таким напряжением, как будто только и делал, что ходил на цыпочках. Вместе с Ремизовой, которая должна была мою пьесу ставить, часа в три дня выехали мы в очень красивом синем поезде, в тифлисском экспрессе, в Сочи.



Да, он был очень красив, этот экспресс, люди на полях бросали работу, глядели ему вслед. К счастью бы на нем только и ехать, да мне так и чудилось. Ко всему международный вагон был почти пуст, и я, дав проводнику пятьдесят рублей, занял отдельное купе. Ехал в нашем вагоне генерал, широкий, простой и нервный, что было заметно по его манере рассказывать своему спутнику анекдоты. Кончив рассказ, он слегка его толкал и уходил прочь по коридору. И затем возвращался с крайне мрачным лицом. Этот тик действовал у него безотказно. Он медленно поддавался летней вагонной обстановке. Сначала она победила его до пояса — он снял китель с генеральскими погонами и надел пижамную курточку. Потом снизу — он снял

сапоги и надел ночные туфли. Галифе с лампасами и на штрипках исчезли последними. С проводником я вскоре подружился. Он страстно любил свой вагон. (Поссорился с генеральским носильщиком за то, что тот недостаточно осторожно поднимает наверх генеральские чемоданы, царапает лакированные стены. Вагон только что из ремонта. Оказывается, приезжая в Москву и отдыхая положенные ему три, кажется, дня, проводник все же ездит проверять, точнее, навещать вагон. Пока вагон был в ремонте, ездил проводник в обычном международном на Минеральные Воды. Нет, не та картина!) Ремизова из тех знакомых, которых видишь довольно часто и давно, но всегда на людях, и представляешь себе, но не знаешь. При моей зависимости от людей я побаивался этой трехдневной дороги с незнакомой черненькой, сухонькой и серьезной спутницей. Но с этой стороны все оказалось проще, чем я представлял. Шостакович както со свойственной ему резкой, отчетливой артикуляцией и особенной манерой говорить сказал: “Афоризм Леонкавалло “И артист — человек” нуждается в ревизии”. Но актрис, надо сказать, это касается меньше, да Ремизова к тому же была еще и режиссер. Ехали мы по- приятельски, ходили вместе в вагон-ресторан, что я с юности любил.

1952
30
сентября

С первой поездки в Москву в 13-м году, когда я с отцом обедал в вагоне-ресторане, широкие окна, белые скатерти, вагон без отделений, особенный, до сих пор мне кажется праздничным. И в эту поездку он казался мне праздничным, хотя подавали нам какой-то гуляш с красноватым и сладковатым томатным соусом, и заведующий жаловался, что на станциях сколько угодно зелени, а ему запрещают самоснабжаться. На станции Кавказской, памятной мне с детства, я вышел. Была она восстановлена после войны, но ничего не напомнила: уж очень с другим ощущением я гулял по ее залам. Меня начинала томить неопределенная тоска. Ночью я увидел во сне, что в длинной зале станции Кавказской сидят на стульях с высоким спинками, на тяжелых, знакомых станционных стульях, бабы в платках. И умышленно грубо говорят, что Катя довольно пожила, что пора ей умереть. И я вижу, что Катя падает, и хватаю ее за плечи, трясу, не позволяю ей умирать, и лицо у нее подергивается — так она старается открыть глаза, послушаться меня, не умирать. Я просыпаюсь уже совсем в тоске. Утром мы в Армавире, смотрю на заспанных людей в буфете, ищу

майкопских знакомых, но не нахожу никого. А может быть, я не узнаю их, а они меня. К счастью, поезд идет по моим родным местам днем, и я вижу знакомые ровные-ровные поля подсолнуха. На станции Курганная проводник совсем уж по-приятельски просит постоять у двери вагона, пока он сбегает за помидорами на рынок. (На базар надо было бы сказать.) Пассажиров тут никогда не бывает, но если бы они появились, я должен был бы задержать их до возвращения проводника. Пасажиры не появлялись, но и проводник не возвращался. Я поглядывал на низенькую станцию, на удивительный подсолнух в чьем-то дворике — пять крупных цветов на одном толстом стебле, а проводник не шел. Второй звонок, а его нет и нет. Наконец я увидел его за палисадниками, он бежал особой плавной пробежкой, чтобы не повредить помидоры в мешке.



Вскоре меня позвала Ремизова завтракать, и я рассказал ей свой сон. Она уверила меня, что такие сны как раз к добру. Я ей не поверил, но ехали мы родными моими степями, и я старался думать, что и в самом деле нечего огорчаться. Но за разговорами я прозевал мое любимое место с низенькими домиками и высокими тополями. А может быть, его давно уж и на свете нет? Поискал и не нашел я знакомых в Белореченской. А дальше начинались такие прекрасные и памятные станции, тоннели, речки, горы, что я совсем забыл злых баб, которые приснились мне на станции Кавказской. Майкопские лярвы. В Сочи встретили нас Акимов и Юнгер. Когда мы вышли на перрон серобелым днем, я вдруг почувствовал, что из Сочи что-то вычтено. Все вокруг меньше, а главное, чего-то лишено. Чего? Что случилось? И Акимов был невесел и растерян, как мне показалось. Что такое? Я спросил, и мне ответили, что расстроены они тем, что умерла одна из работниц театра, из костюмерной мастерской. Такова была первая новость, которую я услышал. Потом, через десять-двенадцать дней, запретили мою пьесу. Потом появилась статья, приведшая в конечном счете к уходу Акимова, что, впрочем, было ясно, едва мы прочли ее. И в заключение я узнал по телефону, что заболела Катя, да так тяжело, что думали, уж не инфаркт ли это. И я срочно выехал из Сочи. И все эти дни и небо было белое, и море, а волны плоские, как придавленные. Я сразу угадал, едва выйдя на сочинский перрон, что счастья нет и не будет на этот раз. Что-то ушло. Но я не посмел этому поверить.



Живу беспокойно, чувствую себя неладно, как в промокшей одеже под бесконечным дождем на бесконечной дороге, а записи ничего не говорят… Я от желания быть точным и не точен, и ничего не успеваю рассказать. Итак — время состоит из неделимой бесконечно малой частицы, непрерывно заменяемой новой. Может быть, есть часы, дни или века… Вчера видел огромную, вероятно, двухсотлетнюю липу в Михайловском саду. Она подломилась на высоте в сажень от земли и, рухнув, повисла ветвями на соседнем дереве. Еще какие-то части коры расщепленного ствола соединяли ее с землей. Листья были свежи, дерево не знало, что обречено. Неделимая частица настоящего времени, возможно, заменяется прерывно?



Прощай, дерево,
Темнокорый ствол,
Зеленые листья,
Пышная верхушка.

Знал я тебя да с твоими братьями,
Видал, да рядом с товарищами,
Любил, да только со всем садом заодно,
А сегодня бреду
И вижу — беда пришла!

Братья твои живут,
А тебя, высокое, вихрь повалил,
Товарищи стоят,
А твои листья с травой переплелись.

Тут уж, друг,
На тебя одного я взглянул,
От всех отличил,
Шапку снял.

Спасибо, друг,
Что жил-поживал,

Своей зеленью людей баловал,
Дыханием радовал,
Шорохом успокаивал.

Кабы мог, я бы тебя поднял,
У смерти отнял,
Кабы знал — я вчера бы пришел,
Живого тебя приласкал...

Поздно.
В саду стало пусто.
Заскрипели колеса,
Дровосеки приехали.
Прощай, друг безымянный!

Это стихотворение я начал писать вчера ночью, вспомнив дерево, двухсотлетнюю липу, которую видел в Михайловском саду. Утром все возился с ним. Давно забытое наслаждение.



Невский проспект многолюднее, чем до войны. Все служат. Час дня — время как будто такое, когда человеку полагалось бы трудиться, но по случаю солнечной погоды толпа движется сплошным потоком. Много хорошо одетых мужчин, рослых и сытых. Очевидно, актеры музыкальной комедии, музыканты-эстрадники. Они, вместо того чтобы толочься в коридорах своих служб, гуляют по солнышку. Столь же ухоженных особей поставляет филармония и радио, расположенные здесь же, на параллельной Невскому улице Ракова. Но все же их меньшинство. В основном толпа не гуляет, а движется несколько замедленно, потому что ей тесно. Панели сужены, а на мостовую не пускают милиционеры. Весь Невский покрашен заново в светлые тона. Леса только что сняты. Улица кажется приодетой, но основная толпа сурова, одета в темное или темно-серое. Но глаз мой радуют две особенности толпы этого года: люди сыты и, несмотря на любовь Ленинградодежды к

немарким цветам, приодеты. Как скучно писать с натуры. Какие унылые задачи я себе ставлю! Самую чуточку приврать — и уже все осветилось бы. Я перестаю видеть правду, когда начинаю стараться писать только правду, и она выступает передо мной отчетливо, когда я принимаюсь сочинять. Вообще, сегодня я пуст, потому что много писал.



Дела очень плохи. Денег нет, и, очевидно, в пятницу я их не получу. Сегодня смотрел в Новом театре пьесу Люфанова “Жигули”. Попробую продолжить описание Невского. Перед многими магазинами стоят ларьки, или хорошо оборудованные тележки с застекленными полками, или столы — на этих последних торгуют только книжками или театральными билетами. А в ларьках и на тележках — виноград, груши, арбузы, папиросы, булки, яблоки. А народ все течет лавою. Вот инвалид с палкой шагает, загребая правой ногой. Вот старуха в детском полупрозрачном голубом дождевом плаще из пластиката, в руках — плетеная сетка с капустой и картошкой. На многих встречных женщинах такие разноцветные плащи и все больше не по росту. Что толпа эта спешит, несмотря на плавное свое течение, доказывают и магазины. Если некоторые задерживаются у ларьков и тележек, то магазины кажутся пустыми рядом с плотно набитыми панелями. Их время прошло. Хорошие хозяйки толпятся у дверей до 9, до открытия; сейчас, после перерыва, у прилавков случайные покупатели. Впрочем, много народа в фирменном магазине Главмяса между Садовой и ул. Пролеткульта. Давка и в бакалейном отделе гастронома в бывшем Елисеевском доме. А в промтоварных совсем тихо. Их время — воскресенье. Сюда ходят семьями, когда все свободны. Но это уже рассуждения, я поставил себе задачу говорить только о том, что вижу. На ограде Сада отдыха — огромный плакат эстрадного театра. Во многих витринах вдруг видишь знакомые и вместе с тем незнакомые лица — это рекламы театров, это старые знакомые в новых ролях. И недаром столько плащей! Вот уже и нет солнца. Накрапывает дождь. Еще одна особенность дневной толпы на Невском: это люди среднего возраста, дети и старики. Молодежь учится, сидит в вузах. Ну вот и все. У Тамары Сезеневской в воскресенье утром родился сын. Вот единственно хорошая новость.

1950 12 октября

Сегодня я пошел в центральную базу туристов, или на центральную станцию, забыл точное ее название. Час дня, как во вторник, когда я начал свои попытки писать с натуры. Но погода дождливая. Невский проспект кажется теперь деловым. Спешат синие, красные, голубые плащи и темные произведения Ленинградодежды. Улица Плеханова. Барклай-де-Толли. От погоды и тоски мне памятник кажется безобразным. Слишком много тут отяжелевшего, пожилого человека. Никакая бронза, никакой постамент не сделают живот, затянутый в мундир, торжественным. Вот отчего так охотно ставят вместо фигуры в рост — бюсты или аллегорические нагие группы в драпировках, а не в штанах и сапогах. Вспоминаю, что в своих воспоминаниях Мертваго сказал о Барклай-де-Толли, что тот был умен, честен, талантлив, но характером походил скорее на вдову министра, чем на министра, да еще военного. Помню, как обрадовала меня эта шутка, единственная во всей строгой книжке, и как понравился мне сам тихий и деликатный министр среди солдафонов. Но вот трамвай пришел все-таки, и я доехал до улицы Плеханова. В доме шестьдесят помещается вышеупомянутое учреждение. Во вторник я был там в первый раз вместе с Кошеверовой и Тамарой Жежеленко. Для сценария о детях-туристах, который я собираюсь писать, устроена была встреча с директором детской туристской станции и с директорами баз, приехавшими в Ленинград на слет или в гости — я не выяснял. Я узнал необыкновенно много интересного. Слишком много. Всегда, когда касаешься настоящего материала, то все благодаря подлинности своей кажется одинаково полноценным. Сегодня я попросил сотрудниц станции дать мне дневники и стенные газеты. Экспедиция на плотах по реке Оредеж показалась мне самой подходящей для фона будущего сценария. Я прочел пять их стенгазет, дающих полный отчет о поездке. Написаны они толково и, как подобает отчету, — отчетливо. Просидел там почти весь день. Записал все.



Сегодня, как я и предполагал, денег пришло мало, пятьсот рублей. Не только что долгов не раздать, а и не дожить до новой получки. Давно меня так не зажимало. Тем не менее день прошел до того людно и шумно, будто праздничный. Одних гостей перебывало пять человек: Таня Чокой, Таня Герман,

Кошеверова, Уварова, Колесов. Телефон звонил непрерывно и все по делам малоинтересным. Это вечером. А днем я был в управлении, где получил причитающуюся мне вышеупомянутую сумму денег. Затем вместе с Чирсковым отправился в райком партии. Куйбышевский райком. Куда мы, беспартийные, были приглашены на обсуждение репертуарных планов театров данного района. Мы представляли секцию. Я в первый раз присутствовал на заседании бюро. Продолжалось оно три с лишним часа. Вивьену досталось за беспечность, Бурлаченко — за недостаточно быструю перестройку театра, Чирсков поссорился с Коркиным, и все это было интересно и ново для меня. Выступления были, во всяком случае, деловые. Придя домой, я застал у нас Таню Герман. В дальнейшем пришли и остальные гости. Звонила Берггольц, звала меня и Колесова к себе, но уйти было невозможно. Около часа гости разошлись. Все думаю о сценарии и не знаю, как его строить, чтобы не перегрузить и не переоблегчить. Почему-то, когда я был в Новом театре, меня до тошноты раздражал поддельно простой актерский тон. А впрочем, попробуем. В кино актеры научились разговаривать по-человечески. С понедельника уже мы тут, и я устал с непривычки. За один только сегодняшний день я перевидал больше народу, чем в Комарово за месяц, а подумать удалось только сейчас, в два часа ночи, да и то голова как в тумане. Обычная городская история: каждый день занят с утра до вечера, проходит год — и видишь, что ты ничего не сделал. Завтра мечтаю уехать, хотя не знаю, что делать с деньгами: надо платить за дачу за последний квартал, надо платить за телефон, молочнику — просто беда! Я отвык сидеть без денег.



Я один в городской квартире. Катюша уехала в Комарово двенадцатичасовым поездом, а я проводил ее, зашел в Союз, потом к Тане Герман, потом в магазины и домой. Сейчас половина третьего. Пятнадцать минут назад я позвонил Кате, узнал, что она доехала благополучно, зажег газовую колонку, вдруг звонок: “Вас вызывает Комарово”. Я испугался. И тут же слышу радостный Катюшин голос: “Мы выиграли тысячу рублей!” Вот чудеса-то! Теперь мы обернемся. В четыре у меня заседание, после чего и я надеюсь выехать в Комарово.

1950
21
октября

Ну вот и проходит пятьдесят четвертый день моего рождения. С утра Катюша и Мотя* за работой. Точнее — со вчерашнего дня. Катюша обожгла себе палец вчера, когда пекла листы для наполеона. Потом уронила один из листов на пол, и он рассыпался на куски, которые съела Томка робко, не веря своему счастью, потому что до этого всякая [ее] попытка обнюхать тесто пресекалась. Потом Мотя роптала на то, что мы приобрели цыплят неощипанных. Когда их ощипываешь, то перо выдирается с кожей. Я видел тревожные сны. Проснулся — и первое, что услышал, — ворона кричит, а первое, что увидел, — дождь идет. Смутное ожидание счастья исчезает, хотя все домашние поздравляют меня. Пишу до половины второго, после чего мы идем встречать Кошеверову. Она читает мне отрывки из дневников ребят-туристов для сценария. Получаю телеграмму от Елены Александровны, говорю с нею по телефону, узнаю, что она приедет в половине шестого. Идем в начале четвертого с Надеждой Николаевной за грибами в лесок по дороге к поселку академиков. Грибов неожиданно много — сначала только сыроежки. Потом начинают попадаться моховики. День серый, холодный, но грибов все больше, и мне делается веселей. Минуем проволоку, ищем грибы на склоне горы, спускаемся к маленькому озеру, или пруду, с островком, на котором растет береза. Желтые листья на березах даже в серый день кажутся освещенными солнцем среди темных елей. (Дня два назад видел на склоне оврага березу. Листья ее осыпались на лапы растущих у ее подножия елок. Светило солнце. Казалось, что елки украшены.) От озера снова поднимаемся вверх, и я нахожу белый гриб! Сетка с грибами полна — маслята, моховики, сыроежки, горькуши. Приходит Пантелеев. Глубоко задевший меня разговор о пьесе “Медведь”, которую я дал ему почитать вчера. Задело меня то, что он сказал: “В пьесе, *как и в тебе*, мне многое нравится, а многое и не нравится”. День рождения делается серым. (Да! Еще до встречи с моим зоилом я поскользнулся и упал на крутом склоне, что считаю плохой приметой.) Ну а потом гости обедали и играли в карты. Звонила из Москвы Наташа. Как смеет Пантелеев, с которым я обращаюсь бережно, как со стеклянным, так говорить! В пьесе, видите ли, есть “шутки ради шутки”, “дурного вкуса” и так далее. Значит, и в жизни я ему кажусь таким.

* Мотя — домработница.

1950
22
октября

О пьесе Пантелеев может говорить, что ему угодно, а я с этим могу соглашаться или нет, я могу огорчаться — никто не любит, когда его бранят, но как он осмеливается говорить обо мне! Можно говорить о невыносимых, угрожающих общественному благополучию недостатках человека, вразумлять, отрезвлять, обличать, но и он, и я знаем отлично, что ничего подобного нет у меня. Он посмел сказать это только потому, что считает меня слабее, чем я есть на самом деле. Потому что я с ним обращаюсь бережно. Потому что он, как все почти, груб с близкими, со своими, словом, с теми, кого не боится. Я с моим страхом одиночества надеялся, что нашел друга. Как всегда в таких случаях, я забыл, что защищаться следует непрерывно. И вот получил весьма вразумительное напоминание об этом. Елена Александровна провела день у нас. Днем мы ходили с нею и с Катей за грибами. Катюша нашла белый гриб и очень обрадовалась, потому что она загадала: "Найду белый гриб, значит, все будет хорошо"... На душе беспокойно, работа не ладится. Я пошел погулять в одиночестве. Холодно. Луна просвечивает сквозь тучи, но тем не менее идет дождь. Лето и осень холодные, но зелени больше, чем в прошлом году. В нашем саду на сирени еще все листья целы, цветет табак, цветут георгины, маргаритки, ромашки, гвоздики. К моему рождению Катюша срезала столько цветов, что в вазах, кувшинах и кружках они заняли весь стол на террасе. (Их держали там в ночь на 21-е, чтобы они не завяли.)

1950
24
октября

Проснулся утром — вот радость-то! Небо чистое, тихо, тени на траве, иней. Входит Катя, с нею чихающая от радостного волнения Томка. Три градуса мороза. Работаю и в первом часу замечаю, что на юго-востоке небо заволакивается тучами. Они еще стоят низко, но к трем, ко времени обычной моей прогулки, солнце исчезнет. Мне жалко терять редкое утро. Иду в грибной лесок, по дороге к академикам. Спускаюсь к озерку и замечаю с горечью, что на овальном островке посреди него не одна береза, как я писал по памяти, а три — и еще какие-то деревья, как будто ольха. Уцелевшие грибы замерзли, покрылись инеем. Попадались мне одни поганки. Солнце, небо синее, и мне кажется, что все будет хорошо. Тем не менее совесть мучает меня, и я возвращаюсь домой. К трем, как я и

думал, все небо заволокло тучами, подул ветер. Иду в лес, беру Томку. Иду сначала по дороге к озеру. Тихо так, что звенит в ушах. На широкой дороге — ни души. Сворачиваю в просеку налево от дороги. Иду по этой просеке, и она приводит меня к болоту. Поворачиваю, иду лесом и вдруг, о счастье, — вижу белый гриб. Рядом второй, крошечный, поднял голову из мха. Точнее, показал темя. Немедленно прогулка как таковая прекращается. Я не бреду куда попало, а ищу. Но нахожу всего три моховичка и прощаюсь с грибами, больше их в этом году не собирать. А Томка рыщет по лесу, как пьяная, глаза безумные, язык на боку, несколько минут я считал, что потерял ее. Но мы благополучно возвращаемся домой, уже у самой цели выдержав бой с черным котенком. Победили, и вот я записываю ту часть дня, что провел в Комарово. Через десять минут надо идти на станцию. Сегодня сад перевели на военное положение. Вырыли георгины и клубни их спрятали, срезали гвоздику. На душе смутно. И в город ехать не хочется, и здесь оставаться неохота. Будни. А начался день, как праздник, из-за ясного неба.

1950
5
ноября

Если бы записывать все, что услышишь за день, записывать точно, то хоть на целый роман хватит материала. Вот Сильва рассказывает о Лизе. Лиза училась вместе с Володей Лифшицем и Шефнером в школе на Васильевском острове. Кончив школу, поступила в университет, на ассиро-вавилонское отделение. Оттуда пошла на войну, была машинисткой в штабе. Одних военных ее приключений довольно, чтобы написать книгу. Все пережила она: от смешных приключений до того страшного дня, когда послали ее за машинкой, оставленной в "Виллисе". Вернувшись, застала Лиза весь штаб мертвым. Прошла она весь путь до Берлина и демобилизовалась. И влюбилась в бывшего своего соученика с фамилией славной в истории путешествий. Но насколько был деятелен, ясен и смел предок, настолько сложен, молчалив и боится мамы потомок. Бедная, одинокая, самоотверженная, ефрейтор в отставке Лиза не понравилась маме, и восточник-доцент не посмел жениться на ефрейторе. Но он стал приходить к ней. От субботы до понедельника. И вот однажды он не пришел. Тогда Лиза легла в кровать и умолкла. Зашла к ней одна соседка по коммунальной

квартире. Потом другая. Лиза молчит. И не ест. В субботу она не поужинала. В воскресенье утром не позавтракала, а днем не пообедала. Соседки пошли к квартуполномоченному и сообщили, что Лиза объявила голодовку. Огорчился квартуполномоченный. Пошел к Лизе: "Вы почему не едите?" — "Отстаньте! У меня болит живот!" Квартуполномоченный известил о горестном событии квартального. Квартальный (это было уже в понедельник днем) пришел и сказал: "Гражданка! Я не могу допустить, чтобы в моем квартале люди умирали с голоду". "Отстаньте. У меня живот болит!" — ответила Лиза. "Когда у человека болит живот, — ответил квартальный, — он ест бульон или рисовый отвар, а не лежит без движения". Все это Лизу тронуло, она почувствовала себя менее одинокой и сказала: "Ладно уж, встаю".

1950
14 ноября

К трем часам снег исчез, как будто его и не было. Я спустился к морю и увидел, что берег, который я считал исчезнувшим до весны под снежным покровом, вдруг освободился, желтеет, как ни в чем ни бывало, песком поблескивает, камнями. И море освободилось ото льда. Но по берегу, шагах в пяти от воды, вырос вдоль моря на песке ледяной вал из битого подтаявшего льда вышиной по грудь человеку. Я взобрался на этот вал — держит. Томка у нас невестится, двор полон собак. Один из женихов, каштановый Музгар, средних лет крупный пес с поддергивающимся ухом, преклонение перед невестой частично переносит и на нас, ее хозяев. Во всяком случае, куда бы я ни шел, Музгар идет следом. По всей видимости, он из природы лаек, чистокровный, хорошо воспитан владельцем. Он идет следом, шагах в трех позади, не дальше и не ближе, и так бесшумно, что я иной раз забываю о его присутствии. Когда я взбираюсь на вал, Музгар плачет, но потом прыгает следом и спускается вместе со мной к воде. Несмотря на свой возраст и высокий рост, Музгар не скрывает своего страха перед морем. Волны, едва заметные, разбиваются на песке с едва слышным шумом, но Музгар отскакивает от них в сторону и раза два осмеливается, положив мне лапы на грудь, поплакать, попросить меня уйти из этих враждебных мест домой, где заперта прекрасная Томка. Так мы с ним и шагаем до самого Дома композиторов, снова одолеваем ледяной вал и сворачиваем в лес, в такую тишину, что слышно, как лист падает, трава шевелится. Мы сидим, отдыхая под соснами, я на пне, а пес

подстилке. В одиннадцатом часу приезжает Катя, и Музгар опять сопровождает меня, когда я иду к поезду. Вернувшись, мы закрываем перед ним калитку, и пес разражается настоящим плачем, страстным, жалобным, оскорбленным, и вдруг прыгает через забор, будто в цирке обучался. Вот и Катя приехала, а мне все беспокойно. В вагоне было жарко, и Катя себя чувствует совсем больной. Она уснула сейчас. Женихи дерутся за окнами. Ветер опять разыгрывается, а я читаю "Дженни Эйр" Шарлотты Бронте.

1950
15
ноября

Пришлось съездить в город посмотреть, так называемый "Театр сказки" — кукольный театр, который показывали в Доме детской книги. Я обещал руководительницам театра присутствовать на этом показе, в результате которого должны были решить, возьмут ли данный организм на постоянную работу при Доме. Сегодня писать трудно, слово не цепляется за слово. Мне трудно поэтому быть гладким и красноречивым, в чем я упражняюсь в последние дни. Поездом в 9.12, иначе я не поспел бы к началу спектакля, отправился я в город. А в дорогу взял "Фуше", сочинение очень мало мною любимого Цвейга. А ночь я не спал. Прочитав "Дженни Эйр" (вот эта книга задела меня за живое), я занялся заключением, точнее стал писать заключение, которое поручило мне сделать мне Управление по охране авторских прав по делу Лифшиц — Ленфильм. Лифшиц сделал четыре варианта сценария, после чего требования, предъявляемые автору, резко изменили. Не дрогнув, автор написал пятый вариант, после чего студия отвергла работу Лифшица. Я довольно добросовестно прочел весь предоставленный мне материал и был уверен, что напишу заключение быстро. Но с непривычки к такому роду литературы, я просидел до начала пятого. И не мог уснуть... Чтобы не идти в УОАП, вызвал Лифшица и передал свое заключение ему. Поехал в Дом детской книги. Посмотрел спектакль. Убедился, что приезд мой был никому не нужен. Побежал к поезду и, засыпая на ходу, в половине пятого вернулся домой... Так был убит неведомо зачем день. Работал, как лунатик. Потом, боясь бессонницы, бродил. Собаки рыдали. Деревенский Феб выл, подняв к небу свою кудлатую башку. Томку на семейном совете решили не сводить с женихами на этот раз, против чего они протестуют. Сейчас, наконец, стало тише.

1950
24 ноября

Надевши длинные белые валенки, пошел бродить по обычному своему пути: академический поселок, нижний лесок, море. Внизу дорожки еще не протоптаны, и я рад был валенкам. Несмотря на мороз, между корнями деревьев в снежных берегах бежит черный ручей. Иду по просеке и думаю — здесь, на севере, ощущаешь силу жизни, может быть и больше, чем на юге. Чтобы вырасти из песчаной почвы под ледяным ветром, в страшные морозы, вопреки всему развернуться, как эта елка, и подняться выше своего соседа — телеграфного столба, нужно иметь богатырские силы. И мне стало понятно, что этот лес не говорит с южной лихостью о своей силе и красоте просто потому, что ему некогда. Выражено неточно, но я, к сожалению, боюсь запрета себе — зачеркивать. Море сегодня темно-серое, бежит по направлению наискось к Зеленогорску. Снег с песка начисто сметен ветром. У берега снова появился лед, кое-где слоистый, беловатый, зеленоватый, а местами гладкий, как на катке. Есть и ледяной вал, но нанесло его вдоль мелей, на кромке замерзшей воды. У нас и в направлении Зеленогорска все в дымке, все в сумерках, которые готовы сгуститься. А налево — далеко-далеко — белый снежный обрыв заросшего лесом холма сияет, нет, горит во всю свою длину и серебром, и красноватым пламенем. На миг я подумал, что там пожар, но потом разглядел через туманную мглу, что там далеко небо голубеет, очистилось, значит, обрыв сияет на солнце, которое уже идет к закату. Писал сегодня “Медведя”. Кое-что получилось. Дом творчества открылся 22-го, но из его жителей я никого еще не видел.

1950
25 ноября

Сегодня валенки пришлось снять — оттепель, с крыш капает, стоит весь день какая-то мгла, то в одной, то в другой комнате приходится включать свет. Иногда я пишу в этих своих книжках против воли. Писать уже не научиться, поздно, более открытым я не делаюсь. Мемуаротерапия не очищает душу, тем более что по целому ряду причин писать о себе и обо всех с беспощадной полнотой удается редко. И все же бросить страшно. Дни так бегут, так сливаются в одно, так быстро летишь под горку, что хочется хоть камушками отмечать прожитые дни или зарубками. А кроме того, иной раз получается похоже. Перечитал сейчас описание вчерашней прогулки — все так и было. Верно. Ничего не выдумал я для того, чтобы облегчить себе задачу. И, наконец,

отказываться, бросать уж очень легко. Чему-то я все-таки научился. И не хочу больше поддаваться страшной своей болезни — бессознательному состоянию. Вчерашний день все-таки оставил след, какой ни на есть... Сегодня был на море. Лед опять сорвало, разбило, принесло к берегу, и он, битый, похожий на снег, тяжело колышется на волнах. Море бежит на этот раз не наискось, к Зеленогорску, а прямо к нам, к комаровскому берегу. Писал до пяти утра либретто для Кошеверовой. Повезу завтра, точнее, уже сегодня, в город. Иду спать и не верю, что усну.



Ездил в город, отвозил Кошеверовой либретто сценария, который я назвал в память о последнем моем юношеском путешествии в горы "Неробкий десяток". Так назвал нашу компанию Юрка Соколов... Хоть кусочек поэтического, богатейшего опыта тех дней перенести бы в сценарий. Когда-то в "Клад" я перенес частицу горных своих ощущений. Почему я пишу о детстве? Тургенев сказал, что человек с интересом говорит обо многом, а с аппетитом только о себе. Я надеялся, что этот аппетит и в самом деле пробудится во мне и я начну писать наконец и овладею постепенно языком, преодолею глухонемоту. Пока что нет у меня аппетита, и дело двигается с напряжением, через пень-колоду.



До трех писал, а в три пошел к морю. Дойдя до спуска, сразу увидел, что внизу совершается нечто значительное. Небо на западе снова очистилось, выглянуло солнце, противоположный берег просветлел, но море было еще чернее обычного. Белые гребни мчались наискось, справа налево и светились. Подойдя ближе, я увидел, что разыгралась настоящая буря. Ледяной вал снова вырос на берегу, и над ним взвивались брызги. Спустившись к самому валу, я увидел, что он вовсе не похож на те, что я наблюдал до сих пор. Он тянулся вдоль воды, местами подымаясь до двух метров, круто обрываясь в сторону моря. И он был глубоко изрезан. Прибой выбил в нем узкие проливы, иной раз ведущие в глубокие озера, похожие на кратеры вулканов, иной раз извивающиеся среди льда, иной раз пересекающие вал насквозь. В озерах-кратерах тяжелая вода, месиво из ледяных обломков, вскипала до краев, как лава, и переливалась временами через край. А в слепых заливах белые фонтаны взвивались да

взвивались, перехлестывали через вал и со звоном падали на песок. Вот меня задела такая рассыпающаяся струя льда, а пальто осталось сухим. В ней было больше битого льда, чем воды. Солнце стояло так низко над морем, что я, рассуждая по-летнему, остановился, думая увидеть, как скроется оно в волнах. Но солнце катилось да катилось все вправо да вправо. Оно коснулось воды левее маяка. Когда оно скрылось до половины, маяк чернел на самой его середине. А когда оно утонуло в воде, маяк оказался уже левее его — вот как, не снизу вверх, а слева направо уходило зимнее солнце в море. Я давно не видел солнца и радовался, что я вижу свою тень, что тени веток бегают по стволам деревьев, что зелень елок резко выступила в голом лесу. А море все ревело. Поднявшись наверх, я удивился тишине вокруг. Вечером снова писал. Выходил побродить. Небо чистое, в звездах. Ветер. Подморозило. Скользко так, что приходится следить за каждым своим шагом. Переделываю либретто для Ленфильма.

1951
22 февраля

В тетради этой я пишу, когда уже почти не работает голова, вечером или ночью, чаще всего, если огорчен или не в духе. Условие, которое поставил я себе — не зачеркивать — отменил, когда стал рассказывать истории посложнее. И вот перечитав вчера то, что писал последние месяцы, я убедился в следующем: несмотря на усталость, многое удалось рассказать довольно точно и достаточно чисто. Второе условие, которое поставил я себе — не врать, не перегруппировывать (ну и слово) события, исполнено. Этого и оказалось достаточным для того, чтобы кое-что и вышло. Заметил, что в прозе становлюсь менее связанным. Но все оправдываюсь. Чувствую потребность так или иначе объясниться. Это значит, что третьего условия — писать для себя и только для себя, исполнить не мог, да и вряд ли оно выполнимо. Если бы я писал только для себя, то получилось бы подобие шифра. Мне достаточно было написать: “картинная галерея”, “грецкий орех”, “реальное училище”, “книжный магазин Марева”, чтобы передо мной появлялись соответствующие, весьма сильные представления. Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства — и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели. Проще говоря, стараюсь, чтоб было похоже, хотя никто этого с меня не требует.

1951
4
апреля

Сегодня день полный сомнений, угрызений совести, нарушений обязательств. Сначала я мучительно старался пережить все ночные удушливые, безнадежные последствия проглоченных впечатлений. На этот раз меня мучила недочитанная философская книжка. Я, проснувшись и поняв, что не заснуть, стал читать эту самую осужденную книжку Г. Александрова. А, впрочем, не в ней дело. Затем я сел дописывать третий акт. И вот началось. У меня прибавилась тысяча сомнений, а техника все та же. Но тут меня позвали завтракать, и с ни с чем не сравнимой радостью я оторвался от своих сомнений. Потом я брился долго и старательно, боясь вернуться в застенок. Но другого выхода не было. Я занялся песенкой. Она меня совсем не мучила. Точнее, радовала, как всякая работа над стихами. Еще вчера она меня ободрила. Но, увы, я понимал, что, написав песенку, я никак не решу третьего акта и до конца его останется еще тысяча верст, а в субботу надо ехать в Москву с готовой пьесой. И вот я, понимая, что самое разумное перепрыгнуть через песенку или отказаться от нее, боясь стать лицом к лицу с прозой, все возился с ней. И тут пришел Гитович. С тою же радостью выскочил я из своего застенка — ведь если мешают, я не обязан висеть на дыбе. Гитович сидел у нас долго. Разговаривал со мной, потом со столяром, делавшим дверь. С ним Гитович на "ты". Пили вместе. Я напомнил Гитовичу, что обещал прийти к нему с коньяком. И мы решили, что гости выбили меня из колеи, я ушел гулять. Встретил Капицу. Пожаловался на то, что дачи собираются отнимать. Зашел в Дом творчества. Унылое неистребимое присутствие санузла в коридорах и на лестнице, и в комнатах. Разговор с Добиным о Мельникове-Печерском. Посидел с ним в столовой. Провожают меня домой Добин и Любарская. Дома ждет обед. Потом вожусь с песенкой и кончаю ее. Она придает нечто, заставляющее переписывать акт. Но тут надо идти к Гитовичам и нести коньяк. Иду. Вернувшись, печатаю и пишу.

1951
5
апреля

Вот кончается и эта книга, вся зима — с 10 ноября по сегодняшний день. Снова все тает, как в дни, когда я начинал свою первую тетрадь в Кирове, в сорок втором году. С того времени — это пятая тетрадь. В первый раз в жизни удалось вести непрерывные записи вот уже десятый месяц. Что получается?

Удалось, несомненно, рассказать кое-что о детстве, о Маршаке, о сегодняшних моих днях — это последнее получается хуже всего. Удалось вот в каком смысле — я впервые записываю все, как было, без всякого умалчивания, по возможности, и ничего не прибавляя. Если я стараюсь подробно и похоже описать сундук рыжего мороженщика, то это значит, что сундук вдруг выступил в моей памяти со всеми подробностями, когда я писал. Я убедился, что могу рассказывать о более сложных предметах, чем предполагал. Страшные мысли о моей немоте почти исчезли. Если я еще проживу, не слабея и не глупея несколько лет, то опыт, приобретенный за эти последние месяцы, может мне пригодиться. Но меня несколько тревожит то, что никогда до сих пор не тревожило. Это мое здоровье. Я после майкопской малярии привык часто испытывать упадок сил, мне часто нездоровилось. Но теперь я чувствую иной раз, что в этом году мне исполнится пятьдесят пять лет. Причиной этому еще и безрадостная зима. Безрадостно я жить не умею. Хочу десятого поехать в Москву, чтобы повезти [пьесу] в Москву и сдать в МТЮЗ. Сегодня впервые после большого промежутка спустился к морю. Бежит ручей по Морской вниз, по самому крутому месту спуска, бежит как раз посередине, между булыжниками. Шоссе очистилось от снега. Кто-то отодрал листы фанеры от будочек, в которых прятались статуи, и обе они видны, если подойдешь поближе. Одна из них кощунственно разрисована карандашом. Прогулка показалась мне тяжелой. Ну вот и кончена пятая моя тетрадь.

1951
7
апреля

Целый день писал третий акт и наконец слепил его с грехом пополам. Договорился с Олечкой о перепечатке и засел за сокращения и обработку первых двух актов. Мы решили поехать в город вечером восьмичасовым. В седьмом часу прочел я третий акт Катюше и ужаснулся. А я уж успел дозвониться до Якушкиной, что все готово и я десятого выеду с пьесой в Москву. Чувство у меня было такое, что не переделать мне третий акт. Прошел слух, что расписание изменилось. Я пошел на станцию справиться. Слухи не подтвердились. На обратном пути увидел я левака и договорился с ним. И мы поехали в город на машине. У нас еще лежит снег, только местами выступили прогалины. Так идет до Солнечной. И вдруг после Сестры-реки все меняется. Только пятнами уцелел тут снег, кажется, что мы попали в другой климатический пояс. Между Лисьим Носом и

Ольгино, хотя тут довольно густой, хоть и молодой лес, снег тоже растаял. Значит, дело не в том, открытая или закрытая местность. Думаю обо всем этом, а сердце болит: "Пропала пьеса, погибла пьеса!" С таким чувством несу ее Олечке. И вдруг соображаю: "Сегодня суббота. Олечка будет печатать два дня. Следовательно, до понедельника у меня есть время заняться несчастным последним актом". Забираю его, и мне делается веселей несколько. Сегодня мне страшно к нему прикоснуться. Звоню Козинцеву, еду в гости. Сашенька, внимательный, несколько удивленный, в купальном халатике с капюшоном, сидит после ванны в кроватке, а бабушка читает ему "Почемучку". Я помню, как писалась эта книга, как Николай Макарович сердился на слово "почемучка", казавшееся ему непристойным, и мы соглашались с ним. А книга прижилась. "Который раз читаю — не сосчитать! — жалуется бабушка. — А он все требует: эту, эту книжку". Возвращаюсь домой. В Ленинграде совсем уже весна. Козинцевы искренне удивились, что в Комарово есть снег. Иду по весенним улицам, и все как будто камень на сердце — третий акт! Перечитываю. Появляются надежды на то, что он исправим. Думаю. Сегодня благовещенье.

1951
8 апреля

Спал, как всегда, в мучениях. Сны все о том, что я уже сижу за столом и переделываю, все переделываю пьесу. Наконец, в девятом часу, я принимаюсь за это дело наяву. Убеждаюсь, что поправками и вставками ничего не добьешься. Начинаю попросту переписывать весь акт, кроме пролога и двух-трех страничек, заново. Работа идет, или мне кажется, что идет. Надо в ДЛТ, но я уговариваю Катюшу, чтобы она пошла туда одна. Продолжаю писать. Возвращается Катюша. Она купила шелковый зонтик Наташе к рождению, потом чемоданчик, не слишком маленький, но и не большой, как раз такой, какой нужен для поездок в Москву. Купила мне две рубашки. Словом, все вышло удачнее, чем в моем присутствии. Я там веду себя нетерпеливо. Во всяком случае за рубашками я бы не стал протискиваться через толпу. Я прочел Катюше поправки. Получилось много лучше, чем в первом варианте. Я стал пробиваться дальше, уже несколько слишком возбужденный и уверенный в успехе. Приходилось оставлять работу и шагать по комнатам. Вечером пришлось мне заехать к Наташе Шанько. Праздничный Ленинград, который

не в пример праздничному Майкопу приятно возбуждает меня. Мне поручено на обратном пути купить что-нибудь к ужину, но сегодня воскресенье. В восемь часов все закрыто. Захожу в “Метрополь” на Садовой. Там филиал ресторана продает жареную баранину, свиные котлеты, ростбиф, который я и покупаю. Теперь весь третий акт мне ясен и представляется мне таким прекрасным, каким ему в действительности никогда не быть. Я думаю о нем в ресторане, на улице, дома. Меня опьяняет мысль, что я спасен, что пьеса кончена, что я вообще счастливец. У нас Верочка. Меня уговаривают сыграть одну партию в 501. Я играю, и мне везет, и я в последнюю сдачу проигрываю. И мгновенно исчезают уверенность, опьянение счастья. Я сажусь дописывать — и ни с места. Бьюсь, бьюсь и злюсь на себя. Зачем было играть в карты? Как я забыл, что уверенность, опьянение надо беречь, а я, дурак, погасил их. В четвертом часу ночи, двинувшись вперед мало, я иду спать в отчаянии.

1951
9
апреля

Утром, отрезвев от восторга и отчаяния, довожу пьесу до конца. Отношу Олечке. Ее несколько пугает, что последний акт написан от руки. Успокаиваю ее тем, что пишу я безобразным, но разборчивым почерком. Уношу домой тридцать шесть страниц, уже перепечатанных ею. Я ободрен тем, что она хвалит пьесу. Правлю перепечатанное. Иду на городскую станцию, чтобы взять билет на завтра. Оказывается, это не так просто. Еду в Литфонд — и пугаюсь. Зуева, которая достает у нас билеты, отсутствует. У нее умирает мать. Выручает Союз. Они посылают свою курьершу по имени Шурочка. Она умеет доставать билеты. Я постепенно прихожу в состояние, близкое ко вчерашнему. Правда, третий акт уже написан и, конечно, совсем не так прекрасен, как представлялся в мыслях, но все же это много лучше того, что было слеплено в субботу...

Дома узнаю, что, пока я добирался из Союза, курьерша уже принесла билет на “Стрелу”. Это приводит меня в состояние “я счастливец”... Олечка уже печатает третий акт, что меня радует. И при этом продолжает восхищаться пьесой, что укрепляет меня в вышеназванном состоянии. Вечером у меня уже вся пьеса. Заходит Пантелеев. Потом Лиза и Верочка. Уговаривают меня прочесть третий акт. Слушают холодновато. Расхолаживает середина с пословицами, о чем гости и говорят мне. Это меня отрезвляет, но в отчаянье не приводит. Ведь это

не карты! После ухода гостей нахожу некоторые варианты и вставляю их. Пьеса выигрывает. Катюша огорчена критикой. Уверяет, что я напрасно читал. Боится, что я в Москве буду читать пьесу в театре без необходимой уверенности. Опять четвертый час ночи. Иду спать в спокойном настроении. Пьеса дописана — а это главное.



Под Москвой в кустах, на деревьях, в ложбинах плыл туман. Лил дождь. Тоска. Я вспомнил примету, что уезжать в дождь, а приезжать в ведро хорошо. А мне как раз в дождь и предстояло приехать. Но вот подул ветер, и облака разошлись. Не вполне, однако, местами увидел я голубое небо. Мы уезжали, точнее, садились в вагон со стороны необычайной, с узенькой платформы, потому что с нами ехал какой-то важный начальник. Сейчас меня беспокоила мысль, что в Москве нас выпустят на левую сторону и я не встречусь с Наташей. И я вдруг рассердился на моего многолетнего врага — на мелкую, но неотвязную мнительность. Я спокойно рискую собой в случаях более или менее опасных. На это, очевидно, и уходит вся моя выдержка. Я беспокоюсь и раздражаюсь по пустякам, и сейчас вот, вместо того, чтобы любоваться только что освободившейся из-под снега землей, я думаю о том, чего, вероятно, не будет. И в самом деле. Хоть нас и выпустили на левую узенькую платформу, я увидел среди встречающих озабоченно вглядывающуюся в приезжих тощенькую и бледную дочь. И вот мы сели в такси и отправились к ней. Заехали в гастроном под гостиницей "Москва", купили торт и приехали к знакомым воротам. Из школы выходили девочки. Рассчитываясь с шофером, я услышал, как они кричат: "Андрюша, Андрюша идет!" Я оглянулся. Феня* шла из ворот с Андрюшкой, вела его за концы шарфа, пропущенные мальчику под мышки. Боже мой, какой он синенький, маленький, жалкий, в каком-то самодельном чепчике. Наташа любуется сыном, с гордостью показывает его мне. В комнате ребенок выглядит менее жалким. У него славный лоб, большие темные глаза. Очевидно, на улице он замерз, в комнате синеватый цвет лица исчезает. По полу он бегает без поддержки шарфа. Увидев заводного ослика в тележке с прыгающим кучером, Андрюшка приятно улыбается. И я, наконец с чистым сердцем, в десятый раз подтверждаю, когда Наташа спрашивает: "Правда, он очень

*. Феня — няня сына Н. Крыжановской

славный?” Звоню по автомату в МТЮЗ. Отношу туда пьесу. Читку предположительно назначают на субботу. Обедаю. Москва нравится мне.

1951
12
апреля

В час иду к Маршаку. Он выглядит лучше, чем в мой прошлый визит к нему. Волосы чснова стоят дыбом, и я этому рад. Последний год он их причесывал гладко, отчего казался присмиревшим. Вчера у него был сердечный припадок, от этого Маршак говорит особенно глухим и грудным, столько лет знакомым голосом. Я рассказываю, что писал о нем. Слушаю его стихи. Следы вчерашнего припадка исчезают без следа. Маршак ссорится со своей постаревшей секретаршей Розалией Ивановной, которая не может сразу найти переводы из Гейне, сделанные Самуилом Яковлевичем накануне, ссорится с редакторшей неизвестной никому из нас газеты “Тревога”. Редакторша сказала по телефону: “Вы нас подводите, где же стихи?” — и получила в ответ по телефону же целый взрыв. Я иной раз испытываю настоящее счастье, наблюдая все это, погружаясь в столь напоминающую молодость, кипящую примаршаковскую обстановку. Наконец прощаемся, причем сегодня мы оба довольны друг другом. (Любопытно, что Маршак только от меня узнал, что Элик поет песни белорусские, английские, русские. Он очень удивился.)

1951
13
апреля

День мой начинается с того, что, проснувшись в семь часов, я в половине восьмого завтракаю. До этого читаю “Кандидат партии” в “Новом мире”. Живу я в маленькой, но, к счастью, отдельной комнате в первом этаже. Ее недавно оклеивали. Светлые, веселые обои. Тахта, покрытая периной. Письменный столик у окна, столик у стены, на котором стоят две бутылки боржома. У другой стены, прямо против окна — старенький простенький комодик, на котором стоит зеркало. Перед ним я бреюсь, не видя лица, источники света — и окно, и лампочка — у меня за спиной. Днем тахта покрыта светло-синим репсом, такая же длинная узенькая дорожка тянется над ней. Выше на стене висит развернутый свиток, кончающийся бамбуковыми палочками — японская картина, привезенная одним из друзей Олега с Сахалина. На картине этой изумленные японцы в халатах, высоких черных шапочках и при саблях бегут по крутой просторной крыше, глядят на луну, мимо которой двигается некое

волшебное шествие, непонятное мне. Стол, у которого я читаю Крона, завален учебниками и тетрадями. Итак, наверху стучит машинка, я завтракаю. Потом пошел в Детгиз, где был встречен дружелюбно. Встретил Михалкова. Договорился с Карпенко, что принесу ей для “Круглого года” песенки из пьесы. Возвратившись домой, я эти песенки переписал (о курах и о дожде). Когда Наташа вернулась из института, мы пошли с ней обратно в Детгиз, где песенки я сдал. Потом безуспешно попытались мы в Мосторге купить Наташе туфли. Не нашли подходящего номера, так что к рождению осталась она без подарка пока что. Вечером в МТЮЗе смотрели мы “Отверженных”. Играли худо. Зашли в магазин “Киев”, купили ужин и около двенадцати вернулись домой.

1951
14
апреля

Сегодня Наташа спустилась вниз не в половине восьмого, а в восемь, огорченная. У мальчика температура около 39, его вырвало. Наташа в институт не идет. Вызывает врача. Поднимаюсь к внуку, зрелище грустное. Он лежит у Наташи на руках головой на подушечке, и все укладывается поудобнее, и никак не может улечься. Врач приходит около двух и успокаивает всех — ничего серьезного, небольшая краснота в горле. К вечеру температура пройдет. К трем я в театре. Кроме художественного совета МТЮЗа пьесу слушают Малюгин и Шток. Вначале я огорчен: за дверью шумят. Разговаривают по телефону. Входят опоздавшие члены совета. Но вот порядок устанавливается. Пьесу слушают хорошо. Обсуждая, хвалят. Художник театра, тощий, черный, длинный и серьезный, по имени Владимир Львович, а фамилию я забыл, не без основания говорит о том, что в пьесе не три акта, а это три разные пьесы. От него слышу я то, что слышу буквально каждый раз на обсуждениях моих пьес: юмор ее слишком тонок для детей и не запутаются ли они в таком количестве материала. Неприятнее всех говорит Шток. Он боится, что третий акт слишком сатиричен и аллегоричен. Пугает судьбой книжки Чуковского, вышедшей во время войны. Возможно, что он прав, и тем неприятней мне было его слушать. Но и он хвалил. И Малюгин, у которого я обедаю после читки. На данный момент положение такое: театр пьесу принял. В понедельник передает ее в Комитет по делам искусств и Реперткоме. Вечером я у Туси Разумовской. Алигер со своим неподвижным лицом чем-то неприятна мне. Данин. Леня. День трудный, и я как в

тумане. Звоню по телефону в Комарово, разговариваю с Катей. Домой приезжаю около часу ночи. Мне дали ключ, так что в квартиру я вхожу бесшумно. Прислушиваюсь у лестницы. Наверху тихо. Значит, все благополучно пока что. Сегодня по старому 1 апреля — мамины именины. Дочитываю Крона. Талантливое, но саморазрушительное произведение. От целого ряда правдивых мест фальшивые выступают с невыносимой отчетливостью. Правда отшатывается от неправды, и стены разрушаются.

1951
15 апреля

С утра у Андрюши нормальная температура. Он бледен. Оттопыренные его ушки просвечивают, когда его подносят к окну. Все ему не нравится, все ему мало. Но есть ему хочется. Его любовь к Наташе трогательна. Феня сердится: “Когда кормила, он и то не цеплялся за нее так. А теперь ничего от нее не имеет, а не отпускает от себя”... Едем в Мосторг. У актерского выхода из Большого театра — толпа. Что случилось? Шофер объясняет — ждут Козловского. К нашему величайшему изумлению, несмотря на воскресную толпу, нам удается купить туфли, о которых Наташа мечтала. Таким образом, она завтра, в день рождения, не останется без подарка. Жара. Толпа. Движение масс, наблюдаемое в разных этажах с лестницы. Покупаем еще чулки и выбираемся с трудом из Мосторга. Наташа забыла все горести. Нам обоим кажется, что теперь все будет хорошо. Дома — веселый Андрюшка. Хватает и ест, что придется. Звоню к Заболоцким. Узнаю, что меня ищут Каверины. Соединяюсь с ними. Они зовут к себе вечером. Едем туда к десяти часам с Наташей. Там Любовь Михайловна и Ирина Эренбург. Козинцев. Угощают глинтвейном. Новая квартира их очень хороша. Домой мы возвращаемся около часа. Наверху все тихо.

1951
16 апреля

Сегодня Наташе исполнилось двадцать два года. В прошлом году этот день пришелся на воскресенье, а в этом на понедельник. Льет дождь. Холодно. У мальчика температура нормальная, но он грустит. Тем не менее мы с дочерью весело завтракаем в темной, безоконной кухне ее нынешнего жилья. По старой памяти у нас праздничное настроение в этот день. В положенное время уходит она в институт, а я через некоторое время поднимаюсь наверх.

Там паника — мальчика только что вырвало. Температуры нет, но он все укладывается на свою подушечку. При мне это несчастье повторяется с ним еще раз, после чего он веселеет и даже требует, чтобы его отпустили побегать. В двенадцать иду на городскую станцию и покупаю билет на “Стрелу”. К моему удивлению, станция находится на том же месте, позади Политехнического музея. Захожу в Детгиз. Карпенко просит к песенке о курах сказочку. Я обещаю сделать это. Мне выписывают счета, но получить по ним не удастся. У меня билет на среду, а выплатной день в четверг. Обещают перевести мне деньги почтой. По дороге домой покупаю угощение гостям, если таковые будут. Приходит Наташа. Подруги, зная, что сегодня день ее рождения, подарили ей книжку “Туркменистан” и деревянную тележку с медведем-кучером для Андрюши. В тележке — два больших яблока. Мальчик совсем весел, поэтому решили, что Наташа позвонит двоюродной сестре Олега, потом Ирине Милановской, потом — Леле, чтобы они пришли. Получаем телеграмму от Катюши, от Гани и бабушки и, наконец, от Олега, что окончательно приводит Наташу в хорошее настроение. Телеграмма адресована, правда, не ей, а “Крыжановским”. Нина Владимировна в прошлый его отъезд обижалась, что он пишет больше Наташе, и вот теперь даже телеграмма адресована всем зараз. Дождь. Холодный ветер. Идем звонить гостям и звать Галю. Покупаем яблок, варенья. Вечером — подобие праздника. Есть и пирог. Кузина Олега выше меня на полголовы, худа, рыжеватый румянец. Туркмен, которому Нина Владимировна перепечатывала диссертацию. Леля. Андрюша просыпается, плачет, его выносят гостям, на которых он глядит недоверчиво. В первом часу все расходятся. Среди ночи Андрюша отчаянно плачет. Его успокаивают, но мне все чудится его плач.

1951 17 апреля

Звоню утром Маршаку, прощаюсь с ним. Делаю прощальный визит Малюгину. Иду в четыре часа к Заболоцкому. Узнаю, что сегодня вдруг заболела их Наташа. Доктор определил аппендицит, подострый. Операцию можно отложить до окончания экзаменов, но все же решительное слово тут может сказать только хирург. Однако обед у Заболоцких сказывается — я пропустил ряд событий. Возвращаюсь к Малюгину. Посидевши у него немного, мы

пошли с ним к Крону. Он собирался на репетицию в МХАТ, дописывал последние поправки, которые должен был туда отнести, и попросил нас посидеть пять минут в комнате рядом, чтобы потом идти вместе. Мы переходим в столовую, где есть телефон. Звоню. У большинства моих знакомых москвичей квартиры имеют вид обиженный и заброшенный. Впечатление такое, будто их обставили и приодели лет пять назад да и бросили этим заниматься. Здесь не грязно, нет, но все кажется, будто домой люди забегают только перекусить и переспать. Когда Крон кончает работу, мы идем втроем до улицы Горького, где и расстаемся. Крон спешит во МХАТ, а Малюгин меня сопровождает в МТЮЗ. Там — общественный просмотр все тех же “Отверженных”. Договорившись с директором обо всех делах, в антракте встречаюсь с Пукшанской, Михалковым, Ремизовой. По дороге домой захожу в маленькое почтовое отделение, даю Катюше телеграмму о своем завтрашнем отъезде. В глубине за дверью кто-то плачет. Узнаю, что у одной из сотрудниц двенадцатилетний мальчик ушел в пятницу и не вернулся, пропал. А сегодня вторник! Остальные сотрудницы горячо обсуждают событие. Одни осуждают мать, другие — сына. Директор МТЮЗа показал мне новый приказ Моссовета, запрещающий детям находиться на улице после десяти часов. Шофер, который везет меня к Заболоцким, горячо этот приказ приветствует. Вот только когда я добрался к Заболоцким. Наташа Заболоцкая лежит очень веселая, болей нет. Обед, похожий на предыдущий. Заходит Василий Гроссман, чтобы узнать о Комарово. Заболоцкий поит вином столь сурово, требовательно и поучительно, что домой я попадаю к одиннадцати. Идем с Наташей к Акимову. Он улетает завтра в Вильнюс. Он передает Юнгер посылку и деньги. Я в таком вдохновенном и веселом духе, что едва-едва, только-только прихожу в себя. Читаю “Студентов”.

1951
18
апреля

Ну вот и пришел последний день моего пребывания в Москве. Перечитываю мои записи и радуюсь, что не пропадут эти житейские, столь обожаемые мною мелочи, которых я до сих пор не переживал и не переживу больше: 11 — 18 апреля 1951 года, пятьдесят пятый год моей жизни. Все их не соберешь и не запишешь по ряду причин, но и записанного довольно для того, чтобы мне

казалось — зарубки сделаны, и в любое время я могу воскресить в памяти этот крошечный отрезок жизни. Портили мне его заботы и волнения, бывало, что я скучал, но этих дней больше не будет, как не повторится ни одна секунда моей жизни. Обо всем этом я думал, а во всем теле чувствовал страх: вот-вот заболит голова, вот-вот начнутся угрызения совести. Но я стряхнул полусонные, приятные и неприятные полумысли, получувства и поднялся наверх. Нина Владимировна попеняла на легкомыслие моего поведения — последний вечер, а я не провел его с дочкой. У Андрюши разыгрался настоящий грипп: он чихает и, чихнув, смеется добродушно. Вернувшись вниз, я пишу сказочку, которую обещал в Детгизе. Нина Владимировна по моей просьбе перепечатывает ее. В Детгизе ее читают и одобряют, что ничего не значит. Они там ничего окончательно не решают. Календарь, для которого написана сказочка, пройдет еще несколько инстанций. Холодно. Моросит дождик. Пробую купить Катюше подарок в Мосторге. Не удается. Захожу в Столешников переулок, в комиссионный магазин. Ничего не найдя, покупаю ей конфет в большой кондитерской на улице Горького, не дойдя до Пушкинского бульвара. Пушкин стоит теперь по ту сторону площади. Непривычно, но мне, скорее, нравится. Покупаю ландыши, привожу Нине Владимировне за перепечатку. Наташи нет. Иду к Чуковским, и тут дождь становится проливным. Промокает пальто, со шляпы льет. Марина уехала в Малеевку к Коле. Переждав дождь, возвращаюсь домой... Когда мы спускаемся в мою комнату, успокаиваю Наташу. Я беспокоюсь, как всегда в вечер отъезда. Дождь прекращается. За окном — луна. Наташа уходит укладывать Андрея. У соседей плачет мальчик. Мне трудно поверить, что я уеду, и жалко Москву. В последнее время я в Москве и печатаюсь, и играюсь, если так можно выразиться перед отъездом.

1951
19 апреля

Ну вот я и вернулся домой. Вчера я попрощался с Наташиным семейством и пошел с ней к стоянке такси возле Дворца Советов. Мы ехали мимо Манежа, гостиницы “Москва”, и мне очень, очень нравилось тут, и мы с Наташей мечтали о чуде, которое сделало бы так, чтобы мы переехали в Москву. На вокзале купил я “Знамя” и письма Тургенева, и мы вошли в мое еще пустое купе. Наташа села писать письмо бабушке и маме, а я стоял у окна и

поглядывал на перрон, по которому шли да шли не спеша спокойные пассажиры, все с маленькими чемоданами, все в шляпах, всё больше мужчины. Пришли проводить меня Малюгин, Разумовская, Данин. Все входят в вагон — холодно. За пять минут до отхода поезда они выходят на перрон. Прощаемся. Я остаюсь на площадке. Когда поезд трогается, тоненькая моя дочка бежит некоторое время за вагоном, машет мне рукой. Я, как и по пути в Москву, оказываюсь один в купе. Надеваю свою старенькую мятую летнюю пижаму, задавив мысль, что войдет опоздавший пассажир и я чем-то и как-то буду смущен. Никто не входит, и я засыпаю скорее, чем думал, — в дороге я плохо сплю. Просыпаюсь. Синее небо. Солнце. Я приоткрываю занавеску, гляжу на леса, бегущие мимо. Мелькает мысль: а что мне будет за то, что с таким наслаждением смотрю в окошко. Давлю эту мысль. А почему бы мне и в самом деле не порадоваться. Река Мста, о чем говорит надпись перед мостом. Чем ближе к Ленинграду, тем лес печальнее, голоднее. Ржавые болотца. Но я все радуюсь. На вокзале встречает меня Леночка, которой я передаю посылку и деньги. От Заболоцких я во вторник звонил Катюше, но Комарово не ответило. Я беспокоился. Но когда я шел по последнему повороту лестницы, дверь нашей квартиры вдруг открылась, и оттуда выглянула ожидающая меня, улыбающаяся Катя. Мы завтракаем, и я рассказываю новости, все зараз, и выслушиваю новости ленинградские. Надо отвезти бабушке письмо... И, наконец, часам к одиннадцати мы уже в Комарово. Томка рыдает от восторга. Я радуюсь, что нет снега. Но около двенадцати он начинает валить крупными хлопьями, как зимой. Раздвинув занавеску, вижу — весь наш сад смутно белеет в темноте, весь в снегу.

1951
27 апреля

Ночью был небольшой мороз, утром на грядках белел иней. И вдруг без всякого перехода началось лето. К двенадцати часам градусник показал 20° в тени. Без пальто я бродил по лесу, спустился к морю. Торосы побелели, стали менее прозрачны на верхушках, но стоят твердо под синим, жарким, летним небом. Держится и лед за отмелями, стал только темнее. Местами угадываются полыньи. Две лягушки крупные, но еще сонные, держась за края бетонной трубы, плавают в канаве у шоссе. На подъеме вдруг замечаю муравьев. Они ползут вразброд, по нагревшемуся асфальту. Их много, но двигаются они одинаково, толчками, как бы пульсируя. Появились

бабочки. Лето, жарко, все без пальто, без шапок, в лощинах и в лесу снеговые, серые, загрубевшие, заледеневшие пятна. Немножко двинул вперед “Медведя”. Много бродил. У нас готовятся к празднику, топили печь, несмотря на это, когда входишь с улицы в дом, кажется, что прохладно. Целый день были открыты окна, да и сейчас, ночью, я их не закрыл. Этот внезапный поворот к теплу все восприняли как событие, как неожиданный подарок.

1951
28
апреля

Летняя погода продолжается. Сейчас около четырех часов дня, у меня открыто окно и форточка и все-таки в комнате жарко. Хотя я и сижу за столом в одной рубашке, засучив рукава. В одной рубашке, засучив рукава, я и бродил сегодня по лесу. У нас готовятся к празднику еще напряженнее, чем вчера. Работа почти не идет. Это я пишу уже в десятом часу. На закате спустился к морю. Торосы все стоят, только приобрели спокойные, даже величественные очертания. Еще вчера чувствовалось, что ледяная гряда эта нагромоздилась, вздыбилась только что. А сегодня можно поверить, что гора эта так и возвышалась тут целые века. Вот и все, что сделали с ледяными горами два дня жары. И лед за отмелями темнеет, но держится. Однако какая-то подвижка этих ледяных полей происходит. Было очень тихо, и несколько раз явственно слышался стеклянный звон. Поднимаясь, я еще раз пожалел, что расхвастался, рассказал о прошлогоднем разговоре о камнях, деревьях и море с невидимым собеседником. С тех пор так и не завязывался у меня разговор, а ведь камни, как тогда было открыто, и в самом деле — воспоминания. Недаром от старости, от древности не деревянеют, не растворяются, не испаряются, а именно каменеют.



Приехали вчера. Небо чисто, солнце, но уже в одной рубашке не выйти. Вечером у Смирнова слушал музыку: тройной концерт Бетховена, симфония Шуберта (це дур), трио Шумана и квартет Моцарта. Перед началом по моей просьбе Дмитрий Константинович сыграл мне “Grillen”. Я не слышал этой вещи очень, очень давно. На меня сразу пахнуло Майкопом, двенадцатым годом и сегодняшним ощущением от него, образовавшимся после рассказов Наташи Соловьевой в Москве. Как будто сразу увидел

человека и стариком, и мальчиком, причем не хочется знать, в котором качестве он и есть он. Страшно узнать. Домой шел от Смирновых около двенадцати. Увидел слишком уж светлое небо над деревьями на севере. И вдруг догадался — северное сияние. А оно все разрасталось да ширилось. Сияющее полукругом облако легло в самом зените, полыхая. Потянулись лучи от всей северной части горизонта. Небо изменилось. Знакомые звезды мерцали теперь далеко за светящимися, пульсирующими или дышащими прозрачными полями. У нас были Рахмановы и Пантелеев, играли в карты. Я их поднял. "Ох! — сказал Рахманов во дворе. — Действительно!" И тут же со своим недоверием ко всему, хотя бы скромно радующему, добавил: "Это просто прожектора". Через минуту, однако, он признал, что полукруглое, полыхающее в зените облако никак не похоже на прожектор. Вот и прошел первый день праздника. Народу меньше, чем мы боялись. Вероятно, оттого, что погода хороша, приезжие разбредаются по лесам, а не толпятся у шалмана... У меня есть твердое решение изменить плавное течение жизни, заставив себя работать больше, чем хочется. В отношениях со старыми друзьями этот порядок как будто наметился. Их стало поменьше. Мне не грустно и не весело.

1951
24
июня

Сегодня ровно год, как я решил взять себя в руки, работать ежедневно и уж во всяком случае во что бы то ни стало вести записи в своих тетерадях, не пропуская ни одного дня, невзирая ни на болезнь, ни на усталость, ни на какие затруднения. Впервые за всю мою жизнь мне удалось придерживаться этого правила целый год подряд. И я доволен и благодарен. Худо ли, хорошо ли, но мне удалось кое-что рассказать о моей сегодняшней жизни, значит, этот год не пропадет так бесследно, как предыдущие. И я решился за этот год на нечто более трудное. Я стал записывать о своем детстве все, что помню, ничего не скрывая и во всяком случае ничего не прибавляя. Пока что мне удалось рассказать о себе такие вещи, о которых всю жизнь я молчал. И как будто мне чуть-чуть удалось писать натуру, чего я никак не умел делать. Начал я записи в субботу 24 июня прошлого года. А сегодня у нас воскресенье. Год, прожитый с тех пор, был очень, очень уныл. Я что-то очень уж отрезвел. Боюсь, что поездка в Москву, завершившая мутную, унизительную зиму, что-то сдвинула в

моей душе. Я как бы растянул душу или вывихнул. Впрочем, я ни за что не хочу смотреть фактам в лицо. Пока что я не верю, что мне пятьдесят четыре года: жизнь продолжается. Впрочем, сегодня по случаю годовщины мне не работается.

1951
28
июня

Очень беспокоит меня Наташа. Сегодня у нас 28-ое, завтра она должна уже вернуться в Москву. Я получил от нее только одно письмо от 11 июня. Смутил меня московский штемпель на письме. А вдруг она не поехала на практику? Словом, душа все болит и болит. Несколько дней сочинял я письмо Олегу, и в воскресенье послал его, отлично понимая, что никакими письмами дела не поправить. А тут усложняется еще вопрос с приездом Наташи. Мотя наша вышла замуж и едет в субботу к себе в деревню за вещами. Работает она у нас теперь приходящей. Наташе трудно будет без Мотиной помощи. А Катя прихварывает. Все запутано и перепутано и трудно понять, как все оно развяжется. И ко всему этому не ладится у меня III акт пьесы. Как дойду до царя Золотого Царства, так стоп и ни с места. Лето странное, холодное и сухое. Катюша проводит в саду очень много времени, и он выглядит отлично, дачники все останавливаются у забора и любуются. Но сирень у нас только-только отцвела. Земляника, судя по моим же записям, созрела к 25 июня в прошлом году, а сейчас она еще вся в цвету. Позавчера был такой жаркий день, что мы едва не задохнулись. (Мы с Катюшей в понедельник поехали в город, а вернулись во вторник. Там, в городе, мы и задыхались.) Вчера прошел дождь, недостаточный для того, чтобы полить сады. А сегодня вдруг стало холодно. Вдали погромыхивало, сверкали молнии. Несколько раз чуть крапал дождь. Я спустился к морю. Ветер юго-западный. Буря. На миг я стал поспокойнее, погода была утешительная. Но к вечеру боль опять разыгралась. Между Зеленогорском и Ленинградом строят электричку. Уже стоят столбы вроде эйфелевых башен, настилаются высокие железобетонные платформы. Когда я пишу это, на путях моторная дрезина, привезшая кран, гудит не по-сухопутному, а по-морскому, пароходным голосом. Громко переговариваются рабочие. Передо мною стоят в синей вазе люпинусы, а на столе у кровати в высоком (неразб. — *Ред.*) стакане — белые розы. Вот как, значит, кончается сегодняшний день, точнее ночь — сейчас половина третьего.

1951
21
июля

Я опять ужасно запутал свои литературные дела. Пантелеев дал мне прочесть свою повесть. Прочел пока одну главу. Кое-что есть. Но очень много дубового. У него, как у всех одиноких и замкнутых на семь замков художников, образовались свои каноны, своя поэтика. Он старательно выполняет свои законы, а мы об этом и не догадываемся. Мы видим довольно неуклюжее, топором вырубленное строение. Он, когда пишет, подчиняется обязательному для внутреннего его слуха размеру. Растягивая фразы, громоздит эпитеты, чтобы все улеглось так, как ему нужно ("...дикое, черное, страшное, безобразное..."— о бреде мальчика), а мы, кроме нагромождения, ничего и не слышим. И за всем этим ощущаешь силу чистую, но не находящую выхода. Деревянная непробиваемая скорлупа скрывает эту драгоценную силу. А иной раз кажется, что эту силу ощущаешь только потому, что знаешь автора лично. Тут эта сила находит себе выражение. Тут, в жизни. А в повести он связан по рукам и ногам — и связал он себя сам. У этого много читающего человека нет любви к литературе как к мастерству. Он сидит над каждой страницей ночами, заменяет один средний вариант другим, в лучшем случае равноценным, чудовищно напрягаясь, пробует дышать ухом, смотреть локтем и, не добившись результатов, падает духом. А говоря смелее — нет у него чувства формы, таланта. Точнее, есть, пока он живет, и нет, когда он пишет.

1951
22
июля

Прочел всю повесть Пантелеева. Пятнадцать листов написаны в четыре, кажется, месяца. Чувствуешь правду в описании отца и матери, и тут же — тугословие, тяжеломыслие. Кажется, что человек не только не любит свое ремесло, а ненавидит, как каторжник. Так и выступает прокуренная комната, чудаческий подвиг, бессонница, каторжный, бесплодный труд или не знаю еще что. Я начал было работать с утра, но мысль, что повесть не прочитана, стала меня мучить, и, возмущаясь своей зависимостью от людей, я работу бросил, а читал с карандашом в руках и дочитал ее до обеда. Не успел я докончить этот самый обед, как пришел Пантелеев со своей редакторшей и гостем, мальчиком, по имени Коля, сыном умершей его приятельницы. Когда я увидел столь мне знакомую голову Алексея Ивановича, то все мои мысли о том, что он недостаточно талантлив, заметались и смешались. Выглядит он своеобразно. Перебитый в детстве нос делает лицо его некрасивым. Черные глаза, строгие и умные, замечаешь не сразу. Широкий, с провалом нос при-

дает и глазам Алексея Ивановича оттенок болезненный, нехороший. Но через некоторое время особое обаяние его непростого лица заставляет забыть первое ощущение. Суровое, печальное выражение его покоряет. Замечаешь маленький горестный рот под короткими усиками. Густые, преждевременно поседевшие волосы— седину в них я увидел чуть ли не в первую нашу встречу, двадцать пять лет назад, — дополняют общее впечатление, печальное и достойное. Держится он независимо, несколько даже наступательно независимо. Эта независимость, даже когда он молчит, не теряет своей наступательной окраски. А он крайне молчалив. При всей своей мужественной суровости, замкнутости, в одиночестве он не остается. Более того — он избалован вниманием. Отношения его с женщинами странны. Точнее — никто не знает его романов. Во время войны он был женат.

1951
23
июля

Во время войны он был женат, и я познакомился с его женой. Она показалась мне более чем некрасивой — просто неприятным существом. Впрочем, трудность заключалась в том, что все три женщины, которые присутствовали на новоселье у Пантелеева, куда я попал поздно, показались мне усохшими машинистками, одна другой хуже. И я просто верить не хотел, что одна из них его жена. И я постарался не выяснять, которая именно она. Так что и до сих пор я надеюсь, что женат он был на какой-то четвертой, отсутствовавшей. С женой он вскоре разошелся. Почему? Не знаю. Итак, о романах его мне совершенно ничего не известно, но избалован Алексей Иванович именно женщинами. Я видел женщин, влюбленных в него, и не только таких страшных девоподобных старух, как гостьи его на московском новоселье, а достаточно привлекательных женщин. Впрочем, я выразился неточно. Я видел двух-трех вполне привлекательных женщин, которые влюбились бы в Алексея Ивановича, дай он им надежду. А как охотно возятся с ним женщины, когда он заболевает. Я, кажется, когда-то рассказывал уже, как сестра-хозяйка нашего Дома творчества ставила ему горчичники, а он, смягчив несколько свое суровое и печальное выражение, не без удовольствия покряхтывал.

Я познакомился с ним в 1926 году, когда он пришел в детский отдел Госиздата со своей первой рукописью. С тех пор мы были в дружеских отношениях замедленного действия. Мы перешли на ты, встречаясь, разговаривали как друзья, но встречи наши были редки, от случая к

случаю. Только за последние два года я подошел к нему ближе, замедленные дружеские отношения как бы стали вступать в силу. Во всяком случае, раза два за это время я был близок к тому, чтобы поссориться с ним, как с настоящим другом. И огорчал он меня так, как может огорчить только близкий человек. Так что я постарался несколько отстраниться от него с прошлого года. Тем не менее это один из немногих людей, к которым я привязан. И многое в нем я уважаю. Тем более приятно и непривычно мне говорить о нем беспристрастно.

1951 *27 июля*

Если бы найти для ног, для сердца, для всего, что ослабевает с годами, такую же помощь, как глазная. Я все думаю, думаю и ни за что, ни в чем, совсем ни в чем не хочу уступать годам. Пусть я в чем-то ослабел, но буду искать средства, столь же верно и просто помогающие, как очки от дальнозоркости. Писать я стал получше, применив простое средство: ежедневно сидеть за столом, заставлять себя писать, выходит или не выходит, все равно. Тем не менее, сейчас я пишу безобразно. Сегодня я писал пьесу и как будто что-то наметилось. Может быть, завтра я ее кончу.



Я имел разговор с Катюшей, последствия которого до сих пор ощущаю. Я писал когда-то о ней и очень хвалил ее умение любую комнату, в которую мы попадали, сделать уютной. Ах, скажите, пожалуйста! Это дело десятое. Это третьестепенное доказательство одного: Катюша — женщина. Женщина во всей своей славе. Мой отец, едва заболевал кто-нибудь из своих, звал врача. И лечить своих, и писать о своих трудно. И страшно. Но я продолжаю: Катюша у меня женщина. Ее благословение и мучение — великий дар любви. Она всю жизнь боялась влюбляться — сила ее любви не знает границ. Она в любви проста, правдива и щедра. Не щадит себя. И этот огонь никогда в ней не угасал. И никогда в ней не угасал второй ее дар — сила материнской любви. Мы прожили вместе уже двадцать два года, и я испытал со всей полнотой и счастье, и горе, которое могут дать человеку эти свойства женщины. Самое большое счастье вот в чем: никогда или почти никогда любовь в нашем доме не падала до того, чтобы будни, быт и сор заслоняли ее. А ведь мы уже не молоды. И простота, здоровье и сила любви (ее, не моей) избавило нас от самого

непристойного разврата — от разврата супружеского. И ни разу Катя не сказала мне неправды. И ни разу не изменила мне, хотя однажды (январь — февраль — март 1937 г.) опасность была близка. Для нее изменить — значило уйти. А уйти от меня она не могла. Не по моим особенным достоинствам, а по своей великой любви. Как детей любят ни за что, так и она любит меня, и я со всем своим недоверием к себе — верю ей. Она очень красива. И знает это. И старается всегда быть в достойной своей красоты и женственности форме. В начале нашего знакомства я написал ей два стихотворения, и шутливых, и любовных. И мне до сих пор не стыдно их читать. Катюша бывает несправедлива, как женщина, пристрастна, как женщина, но всегда она правдива не по-женски, потому что сильна.

1951 *1 сентября*

Кончается и эта тетрадь. Впервые в жизни удалось мне так долго писать, не пропуская ни дня. И записи о детстве продвинул дальше, чем надеялся робко, и вспомнить и высказать тоже удалось больше, чем я мечтал. Так мне кажется по ощущению и воспоминанию — я ни разу еще не перечитал целиком то, что было написано. Сам не знаю почему. Боюсь, что не понравится? Нет, кажется, дело не в этом. Во всяком случае, для того чтобы перечитать написанное, нужно сделать некоторое усилие над собой, а я этого терпеть не могу, к сожалению. Кажется, дело в том, что я назвал и записал то, в чем и себе самому признавался с трудом. А впрочем, не в этом дело. Во всяком случае, вспоминая то, что я посмел рассказать, я чувствую, что был правдив, насколько позволил мне мой деликатный дух. Правдив до моего предела. Если что-то не высказано, значит, и не осознано. Ну и довольно об этом. За это время пережито много, очень много, чему я рад. Я так охотно, как любил говорить Маршак, поворачиваю в конюшню, что мне полезно было побегать. Обидно, что не придется мне писать о последнем месяце моей жизни лет через сорок. Тогда у меня хватило бы духу рассказать о себе подробно и даже точно. Впрочем, сейчас все входит в колею, отчего я испытываю некоторое огорчение. Страдания этого месяца были поэтическими и тем не менее вполне действительными. Московские мои поездки описаны. За это время удалось мне довести более или менее до конца пьесу “Василиса Работница”. Что из нее вышло, не знаю. Живу, как всегда последние дни, с жадностью. Лето жаркое, и, когда я выхожу из

дому, испытываю тот же самый нисколько не изменившийся, разве окрепший восторг, что испытывал в детстве. Начал переписывать на машинке детские воспоминания.



Вечером стало заметно, что осень близко. Деревья стоят зеленые. Жарко. Небо ясное. Но пляж, несмотря на воскресенье и жаркую погоду, к вечеру почти пуст. Дачники с чемоданами и букетами цветов спешат на дачные поезда, боятся вечерней воскресной давки. Но и в вечерних поездах сегодня просторнее, чем неделю назад. Появились уже встревоженные, опечаленные котята. Дачники подкармливали их, а теперь бросили. И бедняги в поисках еды и ласки кричат и под нашими окнами. Томка загнала одного такого на сосну, и Броня* сняла его, приставив лестницу, приманила кусочком мяса. Сейчас уже стемнело. Около восьми часов вечера, а на улице тихо-тихо. Осень близко.



Сегодня, кажется, наступила осень. Вдруг, часов с шести вечера. Утро было ясное и по-летнему жаркое. Я пошел в лес, в ближайший, тот, что начинается в начале Озерной улицы, поискать грибов. Почти сразу я нашел шесть белых. Они росли шагах в десяти друг от друга: рослые, но крепкие, хоть на выставку. Высвобождая из пересохшего серо-зеленого резного мха ножку первого гриба, с уважением ощущая ее упругость, я увидел и благородные крупные красно-коричневые шапочки остальных. Они поднимались над светлым мхом неправдоподобно открыто. Не смея верить своему счастью, собрал я их и потом в течение часа нашел еще трех красавцев уже в километре примерно от первых. Когда я нес их домой, дачница лет сорока, в халате штапельного полотна, с мальчиком, видимо внуком, встретилась мне на дороге. Она спросила меня, есть ли среди собранных грибов белые, и, когда я показал ей свою добычу, воскликнула: “Царица небесная!” Дома, разложенные рядышком на столе, они казались еще более удивительными. Насладившись похвалами домашних, я сел писать. К трем часам солнечный свет как будто помутнел, солнце не то что спряталось, а

* Броня — домработница.

прищурилось. Когда я пошел купаться, на небе стояли, почти не двигаясь, белые тонкие тучи. На берегу я был один. Чайки качались рядышком на воде недалеко от двух лодок, которые казались брошенными по случаю осени. Тучи все густели да густели. У горизонта они потемнели, закурчавились. Когда я подходил домой, стал накрапывать дождь, а потом и над головой белые тучи потемнели и закурчавились. Сейчас уже восьмой час, небо серое, шестнадцать градусов, и кажется, что сегодняшнее солнечное утро было давным-давно. Но зато стало легко дышать. Ощущение, столь мною любимое: начало занятий, новых учебников, нового, еще ничем не омраченного года овладевает мной. Нового учебного года, хочу сказать. Пятьдесят пятый класс.



Вчера в шесть мы поехали в город... Проснулся я в городе рано, шел дождь, я лежал, и самые унизительные воспоминания мучили меня, как старые бабы, повторяя с идиотским упрямством одно и то же. Днем я пошел в Эрмитаж. Он меня давит всегда. Сегодня я смотрел только античные скульптуры внизу, и все равно это было слишком для меня. Я искал Венеру Таврическую и дважды прошел мимо, вот как я был ошеломлен. Облака разошлись. В конце коридора за белой колоннадой я увидел дверь, открытую во двор, зеленые кусты, солнце, фонтан. Иорданский подъезд сияет золотом и белизной, как будто только что кончен. Мне захотелось подняться по лестнице. И, несмотря на особую, именно эрмитажную тяжесть на душе, и туман, и растерянность в мыслях, я зашел еще поглядеть на петровскую выставку. Существующие сегодня вещи — камзолы Петра, его парадная колесница и "Восковая персона" в особенности — ничего не прибавили к моему ощущению Петра. Они существовали так же естественно и просто, как мои башмаки, автобус, Нева, и не имели никакого отношения к тому миру, где у меня существует Петр. На несколько минут мне понравилась комната, где стоят токарные станки и еще какие-то машины. В их тяжеловесности и наивном желании их прилежно украсить я вдруг почувствовал что-то милое мне в том времени. Дома все как-то не ладилось. Купил вчера и сегодня несколько книжек. "Гарденины". Однотомник Куприна, два толстых тома: "Русская проза восемнадцатого века". Возле троллейбуса приплясывала испитая, сильно пожилая женщина и выкрикивала: "Я в цирке работала!

Знаю Италию! Знаю их всех! Все люди б…". Когда троллейбус* двинулся, она, выпучив глаза, отдала ему честь. Может быть, от этой чертовки весь день такой скверный? В поезде позади нас четыре девицы веселились изо всех сил, возбужденные обществом двух мужчин. Они шутили так: "Самая жирная рыба — колбаса". Говорили это с акцентом.



Я согласился переделывать для Райкина обозрение, которое ставил у него Акимов. Репертком требует больших переделок. Автор обозрения — Гузынин. Согласившись, и познакомившись с текстом, и приглядевшись к тому, от чего я уже отвык… Господи, как меня раздражает тяжеловесность моего слога! Эстрадный дух ужаснул меня, говоря без "приглядевшись и присмотревшись". Я немедленно отказался работать. Райкин (дух этот исходил отнюдь не от него), и Гузынин (тоже обезоруживающий добродушием), и Акимов стали уговаривать меня, и я дрогнул. И вот сел работать. Работа, к моему удивлению, вдруг пошла. Я написал заново первую сцену обозрения. Потом, уже сегодня, монолог в четыре страницы для Райкина. Все это как будто получается ничего себе. Все это приятно писать, оттого что я застоялся. Эстрадная атмосфера, которую я так ясно чувствовал, отказываясь, сейчас забыта мной начисто. Виной этого ощущения был, вероятно, Тихантовский, директор театра. Он выслушал план переделок холодно. На его испитом, с близко поставленными глазами лице выразилось недоверие. Он стал говорить, что при таком плане переделок получится не обозрение, а "песа". Пьесы же их театр играть не может. Не поднять. И я вдруг понял, что он рупор какой-то группы в театре, не верящей варягам и мне в том числе. Я сразу пришел в боевое настроение. Мой любимый способ сражаться — это плюнуть и уйти, что я и попытался сделать, как было описано. И был побежден. В час дня в понедельник, 24-го, директор пришел ко мне. Свое дурное настроение он объяснил припадком радикулита. (Настроение в тот день, когда он говорил о ненужности "песы".) Я спросил за пьесу десять тысяч рублей. Он обещал выяснить это дело в Москве, а пока предложил подписать договор на новую пьесу. Я согласился и согласился на аванс, чего не люблю делать в последние годы. И вот пишу…

* В подлиннике ошибочно — "автобус".

1951
27
сентября

Вчерашние записи сделаны были до одиннадцати утра, потому что я предчувствовал хлопотливый день. Так оно и вышло. Дописав (вчера) последнюю фразу, я пошел встречать Гузынина. Впервые в жизни я увидел его дней десять назад, когда начинались разговоры о моей работе у Райкина. Райкин должен был приехать ко мне. Но утром он позвонил и сказал томным голосом, что ему нездоровится и он просит прибыть к нему. Я и сам болел в последние дни… Я отказался. Немного спустя Райкин позвонил и еще более томно и мягким голосом попросил не откладывать нашей встречи. Константин Алексеевич (Гузынин) заедет за мной на машине. Время не ждет, темпы и тому подобное. И я дрогнул и согласился, как всегда. Я спустился в наш переулок, где чинят все зараз: мостовую, канализацию, водопровод. Среди наваленных горой булыжников и прикрытых досками колодцев и ям оставлен проезд к больнице Перовской. Гузынин приехал на такси. Шофер свернул на узенький проезд и, увидев меня, по знаку Гузынина остановился нескладно у самой горы булыжников. Пробираясь к дверце, я вдруг почувствовал, что проваливаюсь: одна нога ушла в яму, прикрытую досками. Я удержался на поверхности и благополучно влез в автомобиль. И увидел Гузынина в первый и стотысячный раз в жизни. Полное актерское лицо неопределенного возраста. Выражение притворной уверенности и притворного спокойствия. А что за этим спокойствием? Отсутствие уверенности и спокойствия? Да нет. Ничего нет. Я сказал Гузынину, что чуть не провалился сейчас в яму, что считаю дурной приметой. Как ни грустно, я говорил всерьез.

1951
28
сентября

Я вчера ходил с Верочкой за грибами, далеко, очень устал и поэтому заканчиваю описание первой встречи с Гузыниным и описание позавчерашнего дня — сегодня. Я сказал в машине Гузынину, что считаю дурной приметой мою, правда, несостоявшуюся катастрофу. В ответ на это он поглядел с притворной прямотой своими очень светлыми глазами и показал зубы. И вот мы приехали к Райкину. Он занимает две комнаты в огромной квартире в “доме собственников” на Некрасова, 60. (До революции эти квартиры являлись собственностью жильцов.) Райкин лежал на диване ампир в теплом шелковом темно-синем халате. Над ним стояла высочайшая, метра полтора от пола, тяжелая лампа ампир с абажуром из желтой

бумаги с розочками, размера, соответствующего лампе. Абажуры эти, как и галстуки в полоску, в последнее время можно найти у актеров, драматургов, режиссеров. Вырабатывает их одна бывшая актриса, фамилию которой забыл. Величина абажура, плотность бумаги, качество рисунка определяют состоятельность заказчика. Лампа на своей длинной, тяжелой, не то гранитной полированной, не то мраморной ножке, тяжелый буфет, тяжелый диван. И Райкин показался мне отяжелевшим. Я давно его не видел. Он пополнел, и нос его, вздернутый, не маленький, но и не еврейский, теперь выпер вперед. Вместе с покатым лбом это придает ему что-то животное. Временами. Но глаза его прекрасны и общее выражение лица — все очаровательно, как и в былые дни. О некоторой животности выражения говорю от излишней добросовестности. Они вручили мне пьесу. Райкин рассказывал, точнее, сыграл куски из нее. Гузынин комментировал. И я понял, что актеры его типа так часто "изображают" то, что не чувствуют, что теряют способность не "изображать". Так кажется.

1951 *29 сентября*

Органическую уверенность, естественный темперамент, спокойствие человека, воистину владеющего собой, словом, свойства настоящего артиста Гузынин и сто тысяч его собратьев только имитируют. Впрочем, и это я пишу от излишней добросовестности. Гузынин начисто лишен наглости, свойственной актерам и в особенности конферансье его типа. (А Гузынин — конферансье.) Что заставило его писать? Кто знает. Может быть, жена? Часто упоминаемый в письмах Чехова Маслов-Бежецкий — дядя Гузынина. Может быть, это? Итак, возвращаюсь к среде, 26 сентября. Я пошел встречать Гузынина на станцию и встретил. Райкин, поселившийся в Доме творчества архитекторов, приехал на своей машине с некоторым опозданием и сообщил, что ко мне должен приехать сегодня Акимов. В одном поезде с Гузыниным приехала к нам Верочка. Я ждал Райкина с некоторым беспокойством. Я втянулся в работу, и мне нравился монолог, который я сочинил для него. И кроме того, "Кафе" — это "песа". А монолог на четыре страницы — это уже обозрение. Райкин принял монолог восторженно. Гузынин тоже принял его, но в глубине его белых глаз я чувствовал то же недоверие, что и у Тихантовского.

Потом приехали Акимов и жена Райкина — Рома. У Акимова появилось одно свойство, пронизывающее мне душу, — он держится неуверенно. Этого я еще не чувствовал в нем ни разу. И я повидал в тот хлопотливый день и плотного Гузынина, и легкого — дунешь и сдуешь — Акимова, и громко хохочущую Верочку, и Райкина, томного, элегантного, к которому я привыкаю все больше, и большеголовую, белозубую и шумную Рому — день хлопотливый, день мучительный. В четверг я ходил за грибами с Верочкой, которая ночевала у нас.



И вот прошел четверг, в который, переживая вчерашний успех монолога и устав от похода в лес, я почти ничего не писал, и наступила пятница. И ко мне приехал Тихантовский заключать договор, приехал и Райкин на своей "Победе". И я подписал договор, и мы съездили в Териоки, где я купил кофе. В пятницу я для Райкина писал мало и плохо… И вот пришла суббота. С утра писал. Потом зашел навестить Бианки, у которого второй удар… От него потянуло меня в лесок за Домом творчества. Набрал маслят. Писал до трех часов ночи. Плохо. Встал сегодня в восемь, пробовал продолжать. Плохо. В двенадцатом часу приехали Гузынин и Райкин. Я читал им без особого успеха. До двух часов обсуждали, что делать дальше, распределяли работу. Пришла наша новая домработница по имени Шура. Мотя вышла замуж и ушла в отпуск, а потом и совсем… Пьеса с 6 августа лежит в Москве, и ни слова о ней я не слышу. Ну вот в общих чертах и все, что произошло за последние дни, пока я писал только о Майкопе. Я и доволен, и недоволен тем, что пишу Райкину. Стыдно признаться, но я до сих пор смутно обеспокоен происшествием с ямой.



Мучаюсь с обозрением для Райкина. Опьянение от нового жанра, от решения непривычных задач прошло. Осталась муть, принуждение. Сидел до четырех. Утром появились мои заказчики: Гузынин, оживившийся от того, что никаких чудес от меня не последовало, и Райкин с некоторым опозданием. Пока Райкина не было, Гузынин уверенно и небрежно бросал слова (притворно уверенно и неуклюже небрежно), пытался доказать, что труппа у Райкина плоха и не стоит для них, нецелесообразно писать пьесу. Что у актера вышло бы (у драматического актера), то у эстрадного не

выйдет. Райкин — увлекающийся человек, он часто не понимает, что реально, а что не реально, и так далее, и так далее. За всем этим я услышал знакомые ноты. Коротко это можно выразить так: "Нам не нужна "песа". Потом появился Райкин. Стали читать. Слушали недоверчиво. Потом оживились. Потом стали обсуждать и придумывать, от чего я тоже оживился. Потом разъехались, а я пошел к Бианки, полный ненависти к обозрению, к себе, отравленный чуждой мне средой. Я ее не осуждаю, не отрицаю, а просто не могу с ними "дышать одним воздухом". От Бианки я пошел за грибами. Нашел множество маслят. Особенно в неглубокой ямке возле фундамента разрушенной дачи. И все время гвоздила меня мысль о предстоящих мне еще мучениях. И я отчетливо увидел, что "песа" и в самом деле не получится. Не может получиться. Тоска, тоска! Сейчас мне предстоит сесть за переделку того, что я читал сегодня. И дело не в том, что работа низка для меня, глупости, а в том, что я с ней не справлюсь... Я ездил в город за деньгами. Устал от поездки, от мерзкой привычки при неудаче рассыпаться. В магазине Главмяса увидел колбасу, копченую, под названием "майкопская". Был польщен тем, что мой город так прославился. Купил. Обыкновенная копченая колбаса. Но ничем не хуже других сортов. Ай да мы!

1951
14 октября

Сегодня я кончил наконец переделки для Райкина. К концу работал с напряжением. Чувства освобождения нет. Мы ездили с Райкиным, точнее, он возил нас на Семь озер, в восемнадцати километрах от Зеленогорска. Там мне показалось что-то грустно. Озера чистые, даже синеватые, совсем похожие на горные. Желтые березы. Но все вместе вызывает печальное ощущение. Не поэтической печали, а тревожной. Много бурелома, обнажившегося, когда завяла трава. Обрывки газет. Сор. По случаю воскресенья у озера было еще четыре машины, кроме нашей... Стала болеть голова, звенит в ушах. Очевидно, мне и в самом деле в будущее воскресенье может исполниться пятьдесят пять лет. Сегодня заказчики мои вместе с Акимовым уехали "Стрелой" в Москву. Они надеются наивно завтра же прочесть комитетскому начальству пьесу и получить разрешение работать над ней. Во всяком случае, пока они там хлопочут, можно побродить без угрызений совести. Можно гулять, а не прогуливать.

1951
19
октября

Вчера был в городе. День прошел так: с утра я решил переделать для Леночки и Ускова эстрадный номер. Его сочинила для них Милочка Давидович. Потом переписал Акимов. Потом переписала Александра Исааковна. Они приехали сюда и показали его мне. Номер требовал переделки, и я посоветовал им, как это сделать. Но они попросили деликатненько, чтобы я внес эти поправки сам. Я согласился. И дня два назад занялся этим делом. Как всегда, выяснил, что мне легче написать заново, чем поправлять, что я и сделал... Приехали Лифшицы и предложили поехать на Семь озер. Я героически отказался и довел номер до конца. Лифшицы отвезли нас в город, и я передал номер Леночке и Ускову. Мои предчувствия относительно Райкина начинают сбываться. В Москве просто испугались, когда они приехали в назначенный срок с готовой пьесой. Потом под нажимом Райкина, которому надо начинать репетировать — труппа вернулась из отпуска, — согласились назначить читку. Она состоялась, но Холодилин, от которого зависит разрешение пьес, на читку не явился по уважительным причинам... На читке присутствовали люди не только не имеющие права разрешать или запрещать, а просто посторонние Комитету. Например, Масс и Червинский. Разговор получился неопределенный, отчего нежный Райкин растерялся и стал признавать свои ошибки, чего никто не хотел. Словом, яма, с которой начались наши отношения, оказалась вещей. Сегодня вернулись в Комарово. Писал. Гулял с Томкой. Совсем уже осень. На душе мутновато из-за Райкина. Зачем влез я в это дело?

1952
28
октября

Приехал Легошин, который хочет, чтобы я написал ему заявку на сказку о мире. Срочно. И при этом отнял у меня полдня... Когда я в половине восьмого провожаю Легошина на станцию, вижу северное сияние. При этом часть неба на северо-западе не белая, а в розовых лучах. Продолжается недолго. Но когда я около десяти иду с Томкой гулять, меня поражает странное явление. В лесу светло. Как перед рассветом. Луны нет. Видны звезды. Северное сияние погасло, и все-таки в лесу светло, как бывало в летние ночи. Точнее, в августовские. Ловлю себя на мысли, что если происходит космическая катастрофа, то я не обязан буду дописывать Райкину пьесу. Но все остается на месте. Я обязан.

1951
1
ноября

Около двенадцати часов приехали Зон и Кадочников на машине последнего. За последние десять лет у Кадочникова (или Кадошникова?) накопилось множество материалов. Обыкновенно актер в некоторых отношениях похож на автомобиль. Везет более или менее, куда направляют. Но самые сильные из них от этого начинают страдать. Пробуют режиссировать. Или, как дикие слоны, ходят вне стада, как Чирков, Бабочкин, одно время и Черкасов. В театре им тесновато. Они чувствуют, что не целиком выражают себя. И начинают искать способы выражения. Таков и Кадочников. Это единственный актер, вставки которого, образовывающиеся (опять ужасно пишу) в процессе репетиционной работы... Словом, он вставлял слова и целые фразы в свои роли, и я утверждал ему эти вставки. Он хочет использовать свои заметки за последние годы. Этот в высшей степени производительный человек никогда в жизни не сидел без актерской работы в чистом ее виде, но ему, видимо, не хватало ее. Он вел дневники, делал записи. И очень хорошо и свободно. Он их частично рассказал, частично сыграл. У него уже есть двухчасовая актерская программа. Эстрадная, хотел я сказать. В ней он рассказывает, как “создавал” свои актерские образы. Теперь он хочет, чтобы я написал ему новую программу из вещей, которые он записал. Не из вещей. Из людей. Совсем не работает голова. Заявку по Ликстанову я доканчивал сегодня утром, встав на рассвете. А лег в половине четвертого. Словом, я согласился работать для Кадочникова. Сделать “Актерский дневник”, который не читается, а играется. Он подвез нас в город. Разговор с Зоном о пьесе. Театр, оказывается, очень хочет, чтобы моя пьеса у них шла. Зон сомневается во втором и третьем актах. А вдруг переделки, которые он предлагает, ни к чему? Перегрузка пьесы, может быть, не недостаток?



Праздник. Радио. Музыка. Грузовик, украшенный фанерными знаменами, проезжает по Морской улице. Это комаровских детей возили в Зеленогорск. У нас гостит Лиза Уварова. Приехала вчера. Сейчас сидит и читает мою пьесу. Вчера мы гуляли с нею по морю. У берегов оно подмерзло. Был отлив, и камни, как всегда, были в ноябре после морозов, как я писал уже в прошлом и позапрошлом году, как бы в ледяных шатрах или футлярах. И вдруг

Лиза сказала: “Камни как в целлофане”. И я огорчился. Я по путанности своей не нахожу нужное слово, а это дурной признак для работника моей специальности. Чего только я не писал, а ощущение передается просто: камни как в целлофане. Не в шатрах, не в коробках из ледяной фанеры дело, а надо сказать: “Камни как в целлофане”. И дело сделано. Я огорчился.

1951 *16 декабря*

Вчера мы приехали в Ленинград — сегодня выборы судей. Приехали утром. Точнее, я приехал утром. Ночи не спал по непонятным для меня причинам. Совсем не спал. С вокзала поехал в Союз взять справку для обмена паспорта, он у меня кончается. Срок ему приходит завтра.

1951 *17 декабря*

К часу отправился я в театр смотреть репетицию в райкинской труппе. Привело это к тому, что меня попросили переписать еще две сцены. Ночью пришли ко мне Райкин и Акимов. Обсуждали, что делать. Что переделывать. Сидели до трех. А я не спал ночь до этого. Уснул в пятом часу. Встали в десятом. Потом отправились мы голосовать на наш избирательный участок, который помещается в Управлении по делам искусств. Потом я сел за работу. В три часа пришли Акимов и Райкин, и я сдал им половину переделок. Вечером сделал вторую половину. Сегодня в одиннадцать пошел сдавать в театр. Часть переделок взяли, часть пришлось доделать тут же на месте. Мне открыли одну из актерских уборных. С огромным трудом нашли чернила. Пока я писал, пришел Гузынин, крайне недовольный тем, что эти переделки я согласился внести. Я с тоской почувствовал, что меня засасывает опять театральная трясина. Сначала хотел плюнуть и уйти. Но потом доделал. А тем временем Акимов ставил “Кафе”. Переделки труппе понравились. Райкин в Москве.



Все никак не можем уехать из города. Задерживает обмен паспортов. Вчера я был осмотрен литфондовским врачом, который предположил, что я страдаю полнокровием. Поэтому сегодня в семь часов утра ко мне пришла молоденькая докторша, видимо, только в этом году кончившая курс. Вся она была худенькая и длинненькая, в особенности — кисти рук ее. Она расположила на

столе целое хозяйство трубочек, колбочек, пузырьков. Запахло денатуратом. Крепко держа своими худенькими и длинненькими пальцами мой указательный, она уколола его и стала наполнять тоненькие трубочки моей кровью. Работала она ловко, безостановочно, молча и скоро ушла. Глядя на нее, я соображал — есть ли у нее родители, беспокоились ли они, когда она сдавала экзамены, радовались ли, когда она кончила университет. В половине десятого спустился я вниз, в контору, и взял у паспортистки паспорта с несгибайками. Все тает, все в тумане. Подойдя к милиции, увидел я на двери надпись: "Бюро пропусков — дальше". Удивленный тем, что в отделении милиции теперь требуются пропуска, я пошел дальше и увидел вывеску, объяснившую мою ошибку. Это было бюро пропусков в пограничную зону. Я вернулся. Чисто. Пусто. Высокие окна. Стены только что окрашены масляной краской. Блестят. Поначалу мне почудилось, что в отделении ни одного человека. Но в самой дальней комнате, где лампы не были включены, я увидел людей, тихо сидящих на скамейках вдоль стены. Их было много. В утренних сумерках они казались серыми. Лица их. Я занял очередь — все эти люди тоже пришли обменивать паспорта. Тихо. Чисто. Холодно. Ровно в десять начальник начал прием. За паспортами он предложил явиться завтра, от 6 до 7. Значит, и завтра будем жить в городе?

1951
20
декабря

Мы все еще в городе. Собираемся через час в Комарово. Только что вернулись из милиции. Весь день шел дождь, снега нет. Осень. В милиции освещены все окна. Во вчерашней молчаливой комнате светло и оживленно — много разного народа, но больше всего почему-то пожилых женщин. Гул разговоров. Две очереди. Одна — получать паспорта — к окошечку, другая — к начальнику по делам прописки. Мы занимаем первую. Двигаемся быстро. Моя несчастная особенность — дрожь в руках — приводит к тому, что, когда надо расписаться на паспорте, я не могу этого сделать. Мне худенькая девица, вроде моей докторши, предлагает расписаться дома. "Но ведь, кажется, надо тушью?" — "Ничего, распишетесь чернилами". Этот разговор слышит вся очередь. На меня поглядывают внимательно. Уходим с Катюшей. Паспорт бессрочный, как положено в пятьдесят пять лет. Все это — и то, что я не мог расписаться, и бес-

срочность паспорта — смутно и вместе сильно мучило меня некоторое время. В домовой конторе мне удается расписаться на паспорте.

Продолжаю в Комарово. Здесь так скользко, что едва добрались до дому. За все время, что мы тут живем, не случалось подобного… [Райкин] вернулся из Москвы вчера и сообщил, что Главлит задерживает обозрение. Собирался ночью приехать ко мне, чтобы доделывать то, се, пятое, десятое. Не приехал. Заболел. Не то что заболел, а расклеился в дороге. Собирался прийти сегодня. Не пришел. В театре происходило производственное совещание. Премьера должна состояться во что бы то ни стало в этом году. Полный энергии Райкин призывал меня немедленно переделать то и се. Что именно, объяснит Тихантовский. Он, Райкин, должен идти на спектакль. Визит директора я вынужден был отклонить — собирался за паспортом. Райкин изложил свои требования по телефону. Тоска!



Позавчера поехали в город. Надо было сделать закупки к Новому году. Надо было пойти на собрание в Союз — отчет Литфонда. Надо было сдать Райкину последние поправки и посмотреть последнюю репетицию. Точнее, генеральную. Собрание, как и все собрания, связанные с деятельностью Литфонда, поражало следующим: отсутствием участников. И в зале народа мало. И выступает мало. А ни один из органов Союза не поносят так свирепо в разговорах, как Литфонд. Словом, как всегда в последнее время, в Союзе не будет встречи Нового года. Не было встречи и в прошлом году. Вечером ко мне приходит Райкин. Точнее, ночью. Обсуждаем последние поправки. С утра еду в Союз. Я, отуманенный заседанием, оставил [поправки] у гардеробщицы. Заодно ставлю штамп на паспорт, таким образом, новый паспорт уже окончательно оформлен. Дело с арендою дачи не решено еще до сих пор. Еще до Союза я покупаю билеты в кино. Конечно, жить за городом хорошо, но, пожалуй, слишком уж спокойно. Посещение кинематографа превращается в событие. В половине шестого мы сидим на балконе — любимые наши места — и смотрим “Адрес неизвестен”. Возвращаемся пешком. Вечером, точнее, ночью, работаю для Райкина. Кончаю эту работу сегодня около двух. В театре застаю обычную картину первой генеральной репетиции.

Акимов свирепствует. Райкин — тоже. Смотрю репетицию и не могу понять, хороша она или плоха. Затем иду в магазины. Праздничная толчея, давка у каждого киоска с елочными игрушками радует мое сердце. У нас собираются встречать Новый год Ирина Зарубина с дочкой и Таня Чокой с мужем и сыном. Мы вернулись.



Мы вернулись в Комарово, как я уже написал вчера. А сегодня в час позвонил Райкин. Министерство иностранных дел и Главлит внесли в обозрение ряд поправок. В этом году спектакль не состоится — третьего января директор поедет с новыми поправками в Москву. Райкин в Зеленогорске. В четыре часа приедет ко мне. Работать. Сейчас без четверти четыре. Настроение отвратительное. Весь этот год прошел у меня в поправках и переделках. И при этом нет у меня уверенности, что я прав. Переделывать то, в чем я уверен, я бы не стал.



Кончается пятьдесят первый год. Последний день начался хорошо — открыткой от Наташи, которая сообщила об их переезде сюда. (У меня лежит на диване, смотрит “Ниву” за 1896 год, Райкин. Он работал со мной, а теперь отдыхает перед тем, как уйти встречать Новый год к Черкасовым. Он делает вслух замечания о прочитанном. Поэтому я путаюсь и пишу нескладно.) Наташа переезжает сюда, и я радуюсь этому. Я слишком успокоился в Комарово, прячась даже от радостных чувств. Сегодняшний день идет необычно. Гости новогодние — Чокой, Отоцкий, Лешка, Ирина Зарубина, Таня Зарубина — приехали часов в шесть. А я сидел и писал для Райкина. Потом приехал Райкин, и я с ним писал. Настроение праздничное. А год был неважный. Работал не слишком удачно. Ничего из сделанного не пошло. В мае заболела Наташа, и я поехал в Москву. Поездка была несчастная, мучительная. И лето было напряженное. Чудом удалось писать каждый день. А хуже всего то, что я стал прихварывать... Ночи проходят мучительно — шевелящийся узор перед глазами, когда я просыпаюсь. И страх — не смерти, старости, робкие мысли: “А что, если жизнь и в самом деле прошла?” Я давлю эти мысли (от страха), но они хрипят свое. А жить мне иной раз нравится. Как и в

молодости. Писать я не разучился. А что, если жизнь и в самом деле еще не кончена? Работа для Райкина то погружала меня в тоску, то (особенно сегодня) казалось мне, что я могу больше, чем думаю. К Шуре приехала двенадцатилетняя дочь.



Вот и пришел 1952 год. Сели мы за стол без пяти двенадцать. Отоцкий (муж Тани Чокой) не разрешал открывать шампанское, утверждая, что еще рано, что он в этом деле специалист. И в последний миг он сломал пробку. Но на столе, к счастью, оказалась наготове другая бутылка, которую я и успел открыть. Уже звонили кремлевские куранты, когда мы начали разливать шампанское. Но с последним ударом часов мы уже его пили. Впервые за столом у нас встречали Новый год дети: Таня Зарубина, Лешка Чокой, Лара Парусова — Шурина дочка. От одиннадцати (Таня) до четырнадцати (Лешка). Девочка двенадцати лет, Лара, самая маленькая из всех. Она ехала к нам из своей деревни вместо одной ночи больше суток. Ей пришлось ночевать на станции Дно, где у нее была пересадка. Ошеломленная всем пережитым, намытая до блеска, круглолицая и вместе с тем худенькая, она сидела прямо предо мной, рядом с Катюшей. И ничего почти не ела. Когда часы били, она выпила бокал шампанского и вскоре сказала: “Я захмелела”. Но тем не менее из-за стола не встала, а сидела и сияла. И все смотрела на Таню Зарубину и во всем подражала ей. Около двух приехал со своей дачи Черкасов с Ниной, Райкин, Рома, Маслюковы и (неразб. — *Ред.*). И еще две девушки, неизвестные мне. Не столько девушки, сколько дамы нашего возраста. Стало живее. Но не веселее. Я не мог опьянеть. Черкасовы сообщили, что у них сломалась пробка от шампанского, но, к счастью, на столе оказалась вторая бутылка. Это совпадение заняло меня на некоторое время.

1952
2
января

С Германом я не встречался с середины марта прошлого года — вышла ссора нелепая, но имеющая свое основание, в достаточной мере глубокое. В первые дни меня это сильно мучило. Потом я скорее был рад создавшемуся положению. Мой древний страх перед одиночеством и болью не дал бы мне внести холод и ясность в безобразно запутавшуюся ерунду, которая называлась

дружбой с Германами. Если бы я имел право зачеркивать, то зачеркнул бы слово “безобразно” как слишком сильное. И слово “ерунда” ничего не говорит. Но раз так написалось, пусть остается. В ночь на Новый год они позвонили нам из города. Завтра целой компанией приедут к нам в гости, но без Тани... Был сегодня в городе. Получал деньги. Вернулся в половине восьмого. Маленькая Лара встречала меня на станции. Увидев меня, побежала к вагону, раскрыв объятия. А поезд еще не остановился. Несколько мгновений я думал, что она упадет между вагоном и платформой, но все кончилось счастливо. Подружилась она с Юленькой. Сидели, обнявшись, читали сказки Афанасьева. На душе беспокойно, и тревога не знает, за что уцепиться. Вечером заходил Рахманов. Я пошел его провожать и на обратном пути вспоминал старые обиды. Меня вечно обижал Шкловский, который невзлюбил меня с первой встречи, году, вероятно, в двадцать третьем! Но меня сегодня мучило не это, а то, что я держался перед ним виновато, зная об этом его чувстве. Тынянов меня любил, что Шкловского сердило еще больше. Сегодня выпал снег. В городе + 3°. У нас днем было – 3, а сейчас 0. Сильный ветер, скользко, не выйти.

1952 *12 января*

Мы в городе — Кате нездоровится, уже несколько дней у нее грипп. Вчера была генеральная репетиция у Райкина. Вся эта затея не имеет никакого отношения ко мне. Мастера цирка, мастера эстрады могут делать отлично очень малое количество вещей. Летать под куполом, жонглировать и вообще делать то, чем они овладели. К сожалению, на эстраде это не так заметно, и я наивно пытался [заставить] Райкина делать то, что ему несвойственно. Так же нелепо было бы [заставлять] гимнастов показывать фокусы. Но его возможности ясны немногим. Ему. И все. Да и то он их, скорее, чувствует. Отсюда вся возня и все неясности и, наконец, ублюдок, у которого я тоже числюсь отцом. В результате просмотра я опять дописываю. Сегодня решили переделать то, что было утверждено в сентябре. Тоска.

1952 *23 января*

Приехал из Мурманска театр. Райкин звонил утром. В двенадцать репетиция. В театре я узнал, что Райкин при участии всей труппы переделал номер, который диктовал я по телефону в Мурманск. Сыграл его мне. Получилось хорошо.

Вечером прогон. Больна Рома. Ссорятся Акимов и Райкин. Акимов нападает. Райкин применяет, по определению Акимова, метод эластичной обороны. Возвращаюсь домой в час с головой тяжелой, но скорее довольный тем, что живу. Завтра пустят на вечерний прогон публику.

1952 25 января

Просмотр на публике вчера состоялся. А сегодня просмотра не было. Почему? Это целый рассказ. К восьми часам у входа в эстрадный театр, точнее, у входа из вестибюля к вешалкам собралась толпа. Но какая! С большим трудом, по одному, мучаясь угрызениями совести за то, что я поверил директору, и не составил списка, и не сдал его администратору, а стал возле него и каждого приглашенного объяснял, я наконец провел на просмотр тех, кого позвал, и тех (а этих было большинство), которые просились. Больше всего беспокоили меня те, кого позвал я. А среди них сотрудники Управления авторских прав — сердитая Марья Васильевна, хорошенькая Люда и знакомый мне с 1924 года по “Ленинградской правде” главный бухгалтер управления Константин Августович. Их просто затерло в дверях, и я вынужден был кричать эстрадникам, которые все лезли и лезли: “Дайте дорогу управлению!” И выдернул их из веселой, и наглой, и безразличной толпы. Билетики, точнее, записочки с фамилиями приглашенных я разложил в восьмом и девятом рядах. Но веселые и наглые эстрадники сбросили их все и расселись, сохраняя невинное и упрямое выражение. Мы сели на казенных местах. И вот начался прогон, или генеральная репетиция. Я привык отвечать за то, что делаю, один. А этот результат коллективной и вместе с тем принудительной работы считал как бы общим. Но с некоторым удивлением убедился, что я работал не напрасно. Но главным героем был Акимов. Его упорство противостояло стихии эстрады, и он победил. Появилось некоторое подобие спектакля и неожиданно большой успех. Присутствовало московское начальство. А мы работаем сегодня до ночи. Точнее, они.

1952 26 января

Работали мы до ночи вчера после заседания в “Европейской” в 77-м номере у Свитнева. В гостинице встретились мы в 12, ушли в пять. Московские гости записывали, слушая репетицию, чуть ли не каждое слово и предъявили нам большое количество претензий. Но, к счастью, небольших. Тем не менее вчера я написал две

интермедии. Точнее, одну написал между заседанием и репетицией, другую придумал совместно с Гузыниным и Райкиным уже в театре. Потом я удрал к Германам, у которых не был с середины марта прошлого года. Танины именины. Поэтому и написал вчера, что работали до четырех часов ночи "они". Я отпал в одиннадцать. Но сегодня с девяти я уже печатал на машинке. Я так давно не работал напряженно, внося последние поправки в пьесу уже на ходу, что испытываю наслаждение. Чувствую, что живу. Акимов днем успел внести все поправки. Почти все поправки — ведь последние из них я принес ему на репетицию. Вечером еще одна репетиция. Завтра в двенадцать — генеральная. Послезавтра — просмотр... Вчера звонила Наташа, но, к сожалению, в Комарово. Разговаривала с Шурой. Приедет 3-го. Собирается приехать 3-го. Без Андрюши. Экзамены сдала на "отлично".

1952 *30 января*

Вчера ночью после спектакля у Райкина выехал я в Комарово. Начинаю приходить в себя. Не был тут неделю, а кажется, что месяц, так много пережито всяких волнений за эти дни. Вчера спектакль шел первый раз для так называемого кассового зрителя. Играли артисты без подъема, как всегда после ответственных и напряженных генеральных репетиций со зрителями. Ошибались, Райкин спел: "старый птенчик" вместо "веселый". Испортился клапан концертино у Шуры Маслюкова. Не получилась проекция задника с видами Парижа. Но тем не менее успех был, и я в третий раз выходил кланяться с Гузыниным. (Третий раз за эти дни.) Но это все не для меня. Я не привык так мало отвечать за то, что делается на сцене. Все слеплено из кусков. Вот кусок мой. А вот Гузынина. А вот Райкина. А вот всей труппы. И так далее. И все-таки я скорее доволен. Я все-таки полноправный участник того, что произошло. И лучше такое участие, чем тишина, в которую я был погружен в последнее время. Это жизнь. На просмотрах (особенно на втором) было то драгоценное ощущение успеха, которое так редко переживаешь. Но больше для эстрады работать я не намерен. После просмотра ночью я был у Маслюкова и Птицыной. Удивительная квартира, удобная, обдуманная и рассчитанная, как самая работа этой пары акробатов. Гараж с цементированной ямой. Мастерская рядом с гаражом. Все так приспособлено для удобной и спокойной жизни, что мне, как всегда в таких случаях, начинают лезть в голову мысли о смерти. Живет у них собачка — маленькая, долгошерстная, лобик

круглый, нос курносый, глаза человеческие — не по головке огромные, выпуклые. Маньчжурская порода. Служит, стоя на ладони у хозяйки, но стесняется посторонних. Взглянет на нас — и падает.

1952 17 марта

Весь день и всю ночь мело, весь двор в сугробах. Ночью мы пошли провожать Рахманова. Калитка не отворяется. Наискось через дорогу улеглись глубокие снеговые волны. Они, верхушки их, дымятся. Замело и железнодорожное полотно. Путь из города темнеет в снегу — недавно прошел поезд, а рельсы обратного пути исчезли под белыми косыми волнами. И все фонари в бешено несущихся снеговых облаках. Прорытая за полотном дорога исчезла, будто ее и не было. Идем по колена в снегу. Томка, для которой прогулка — высшее наслаждение, пробирается прыжками к Катюше и, став на задние лапы, плачет. Просит вернуться домой. Я задыхаюсь, как будто иду давно, а мы сделали всего шагов пятьдесят. Решаем повернуть обратно. Воздух разрежен, разорван бурей — нечем дышать. Даже дома в тишине и тепле я не сразу прихожу в себя. Болит грудь. Мне приходит в голову трезвая и отвратительная мысль: не начал ли я стареть? Что за слабость? Ночью меня душат какие-то живые и враждебные мне существа, их так же много, как снега в облаках, проносившихся мимо фонарей. Просыпаюсь в страхе, подобного которому не переживал с юности. Зажигаю свет. Перед глазами мерцание. Встаю, выглядываю на улицу — метет по-прежнему. Фонари в тумане, летящем к Зеленогорску. Сейчас потише. Солнце. Томка восхищена свежим снегом, купается в сугробах, хватает меня за валенки, рыча. Это у нее признак полного восторга. Но ветер еще метет.

1952 25 марта

Вчера я провел день в Ленинграде — был на радио, сдавал материал, который они предполагают записывать в четверг. В четверг я должен разговаривать со школьниками. Вот я и сдавал свою часть разговора. Слушали редактор и редакторша, не то окоченевшая от застенчивости, не то надменная по званию. Но напугала меня странная старуха — она будто бы ставила “Снежную королеву” в школе. Похожа она на старух графоманок, осаждающих Союз писателей. Когда я спросил ее, что она из своей постановки считает подходящим для передачи, старуха ответила загадочно: “У нас была установка, чтобы мы занимали в постановках и троечниц. Чтобы их перевоспитывать. Но я заня-

ла в передаче только отличниц. Они дали мне слово выучить роли — и они-то уж выучат!" Поговоривши с этими сотоварищами моими по работе, я отправился к другим вечным спутникам моей жизни в библиотеку — к детям, к библиотекарям. Читать мне пришлось на улице Герцена. Библиотека занимает большую квартиру в третьем этаже, бывшую барскую, с затеями. В фонаре, выходящем на улицу, стоит большой мраморный фонтан с Афродитой в человеческий рост, с двумя дельфинами. Высокую сводчатую арку, ведущую в фонарь, поддерживают кариатиды, по паре с каждой стороны. Сатир и нимфа. Сатиры похожи на молодых евреев. И тут же — шкафы с книжками, девочки с пионерскими галстуками — активистки, помогающие библиотекаршам-старушкам, плакаты, посвященные различным датам — гоголевскому юбилею, истории партии. Оттуда я пошел домой, удивляясь, как мне трудно ходить в городе. К ногам словно пуды привязаны.

1952
26 марта

Сегодня у меня день вроде актерского — все выступаю перед зрителями. Сегодня был в ДПШ — в Доме пионеров и школьников Ленинского района. Толпа на лестнице, переполненный зал, хотя я приехал за полчаса до начала. После моей читки детский самодеятельный коллектив должен играть "Снежную королеву". Я написал это по привычке. Не "Снежную королеву" — "Первоклассницу". Я в результате читал и наверху, в переполненном зале, и внизу, в одной из аудиторий. Это объясняется, увы, только тем, что сегодня каникулы, а вовсе не моей славой. Тем не менее внимание огромной аудитории меня радует и опьяняет. Когда я одеваюсь, в кабинете директора обнаруживается пятилетний, в высшей степени спокойный, мальчик в джемпере, рейтузах и валенках. Его "потерял старший брат". "Кто твой папа?" — "Учится в институте и служит". — "А мама?" — "Она не служит. Сварит обед и шьет на машинке". Еду в Союз, где у меня в четыре часа "встреча с детьми". Устроители — "секция пропаганды" и "детская секция". Здесь обратная картина. В зале полны только первые пять-шесть рядов. Несмотря на то что я просил, привели старшеклассников. После паузы к ним добавили примерно двадцать первоклассниц. Обычное у нас безразличие ко всем и ко всему. Встреча и здесь проходит отлично, несмотря на соединение первого класса с девятым. Помогает разгон, взятый в ДПШ. Но я ругаюсь с нашими устроителями. Ругаюсь, правда, довольно безразлично.

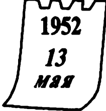
Я понимаю, что они едва не сорвали мне встречу — не по злобе, а по безразличию ко всем и всему.

1952
27
марта

Сегодня как будто закончились мои обязанности по неделе детской книги. Закончились самой трудной встречей, которая записывалась для радио. После этого мы вернулись в Комарово. Вдруг установилась зима. Да какая — сейчас — 22°. Но у нас тепло. На душе беспокойно. Наташа собирается в Турмению к Олегу.



Совещание по детской литературе открывается в Москве 14 апреля. Я, узнав это, обрадовался. Мне давно хочется побывать в Москве, поговорить с Наташей, а как раз 16-го — день ее рождения. Она хочет в июне вместо того, чтобы ехать на практику со своим курсом, отправиться в Туркестан к Олегу. Это меня пугает по многим причинам. Выглядит Наташа ужасно, в июне в Средней Азии жара страшная, а главное — я боюсь этой силы ее привязанности к мужу. Как бы она не навредила им. Их семейной жизни... Все эти дни обдумываю письмо к Наташе и ничего не могу придумать. Точнее, все мысли рассеиваются от сознания, что действовать дочь будет не по умным моим советам, а по безумным своим чувствам. А не написать — тоже нельзя. Какие еще новости? Из мелких горестей вот какая. В четверг записали на пленку мой разговор с детьми. Записывали без репетиции, мне он казался удавшимся, и вчера объявили в газете, — в 17.15 он будет передаваться по радио. Я ждал этого с интересом. Но вдруг с утра в Комарово выключили свет. Пришлось пойти в Дом творчества слушать передачу по трансляции. Со мной пошла Катюша, а в самом доме к нам присоединились Пантелеев и Рахманов. Впечатление у меня от передачи получилось ужасающее. Нарочитые, наглые, актерские интонации, о которых я и не подозревал. Словом, второй день это мешает мне жить. Больше выступать не буду.



Я сегодня утром кончил пьесу "Медведь", которую писал с перерывами с конца 44-го года. Эту пьесу я очень любил, прикасался в последнее время к ней с осторожностью и только в такие дни, когда заболел в первый раз в жизни по-новому. Обычно, то есть всегда до сих пор, я болел так — зараза попадала извне,

а я ее пересиливал, перебарывал. Теперь же сдал я сам. Измена пришла изнутри. Заболели почки: боль, температура. Но я не испугался, а удивился: так это, значит, правда, что люди стареют. Точнее, значит, это правда, что и я старею, как все люди. Первый акт я написал относительно скоро. Акимов стал торопить со вторым. И вот я пошел читать ему начало этого акта. Было это, кажется, в 47-м году. Когда я шел по второму коридору третьего этажа, какая-то девочка из своих дверей опрокинула корзинку, пролила постное масло. Она замывала мрачно пятно. Я пришел к Акимову, и он очень неприятно изругал второй акт и кое-что в первом. Любовную сцену, которую я очень любил. Я оскорбился. С тех пор каждый раз, как вижу я темное масляное пятно на полу коридора, так вспоминаю эту несчастную читку. (Пятно сохранилось до сегодняшнего дня.) Рассердившись, я написал второй акт заново, не прикасаясь к первому. Акимову на этот раз он понравился. Я читал два акта труппе, потом в Москве. И понял, что поставить пьесу не удастся, да и не следует. Третий акт я пробовал писать в Сочи — в несчастное лето 49-го года. Но написал его в последние месяцы. И вот сегодня утром дописал, не веря, что это произошло.

1952
25
июня

Вчера к вечеру погода стала совсем хороша, и я в семь часов вышел бродить, прощаться с белыми ночами. Пошел по Невскому, потом в сад против ворот Адмиралтейства, тех, что под шпилем. Они в лесах, в лесах и центральная башня. Днем ходили по магазинам в служебное, как будто, время, но все они были набиты покупателями, не протолкнешься. Полны были и все скамейки в саду. На песке у фонтана — дети. Две девушки с учебниками на боковой скамейке. Одна вчиталась так, что ничего не видит и не слышит, другая не то мечтает, не то вот-вот заснет, и ее некрасивое лицо светится женственным и покорным выражением. Я усаживаюсь с краешку на скамейке так, что мне виден Петр в профиль от Адмиралтейства, издали. Мне чуждо прошлое статуи. Мне понятно, что она живет сегодня. Не смыслом своим, а самим фактом своего существования. Всадник на коне с вечно знакомым движением. Я сидел недолго по неусидчивости своей и, выйдя из сада, пошел вдоль ограды к статуе. И тут, чуть не с каждым шагом, она казалась мне все прекраснее — и Петр, и его посадка, и конь. Но вблизи конь глядел немилостиво, строже всадника, и мне показалось,

что он был страшнее Петра, когда они скакали по улицам. У самого памятника какая-то девушка с "лейкой" в руках училась снимать и все спрашивала, глядя в какое-то окошечко на верху аппаратика: "Значит, два изображения должны слиться в одно?" За памятником, ближе к концу сада, старые деревья.

Я был осмеян за свою привычку рассказывать о том, что прочел в мемуарах. Мои старые друзья долго глумились надо мной и, как нарочно, несколько дней назад я получил напоминание об этом. Я на время со своим несчастным даром обижаться через годы после нанесения обиды, потерял то счастливое ощущение, с которым шагал через сад. Но потом отошел, вспомнив, что давно уже чувствую, что дело не в том, что эти люди, о которых я читал в мемуарах, жили, а в том, что они входят в мою жизнь и сегодня. Я просто не умел это объяснить. И я посмотрел с новым чувством на бывшую лавку Смирдина на углу Мойки и площади. И вообще ожил. Вот и все, что я могу рассказать о вчерашней прогулке.

1952 26 июня

Бестолковые дни, не работаю. Вчера болтался без толку. Бестолково и описал свое ощущение прошлого во вчерашних записях на предыдущей странице. Они, люди, которых я вечно вспоминаю в связи с Ленинградом, не кажутся мне умершими. Они при самом легком напряжении внимания представляются мне живыми. Продолжающими жить, но не потому, что входят в мою жизнь, а сами по себе.

1952 29 июня

Вчера я уехал в город. Бродил вечером недолго. В одиннадцать взял такси, заехал за Ганей (это уже сегодня). Погода тихая, первый жаркий день, ясное небо. В аэропорту пусто в здании вокзала. Диванчики, деревянные, длинные, стоят поперек на каменном полу зала просторного и гулкого. На потолке — сцены, изборажающие день авиации. Прохладно. Зато когда выходишь на летное поле, ослепляет летний день. Здесь и в самом деле чувствуется поле. Трава; летная дорожка не видна за ней. Пулковская высота поднимается на горизонте. Ясно различаются здания, купы деревьев, на шоссе вспыхивают пробегающие машины. А тут все замерло. Далеко направо грузят в машину какие-то ящики и больше никого. Я ухожу в зал и возвращаюсь на бетонный перрон, просторный и широкий, но со всех

сторон ограниченный волнующейся нескошенной травой. Щебечут ласточки — по карнизам вокзала множество их гнезд. Направо от широкого бетонного прохода, ведущего к летной дорожке, на скамейке сидят трое: пожилой человек, рядом человек помоложе и девушка. Все трое в позе угрюмого, но спокойного ожидания. И вдруг пожилой человек разражается слезами. “Не расстраивайтесь”, — говорит девушка, видимо, сама не сознавая, что сказала. Объявляют посадку на Архангельск. Плачущего уводят. Девушка, служащая аэропорта, объясняет, что у несчастного в армии умер сын. В прошлом году утонул двадцатидевятилетний старший, а теперь вот младший. Все меркнет для меня, и я отчаянно трушу. Ухожу в пустой зал, но страх перед незащищенностью точит меня. Появляются еще встречающие. Ганя хочет пить. Веду ее в ресторан. На темных панелях стен развешаны портреты бортмехаников-отличников. Минут за двадцать до прибытия самолета мы на перроне. Встречающих уже человек двадцать. Один из них раздражает меня тем, что, стоя спиной к гнездам, объясняет низкий полет ласточек приближающимся дождем. Вскоре я замечаю светящийся алюминиевым блеском на виражах идущий на посадку самолет. Молюсь. По радио подтверждают, что он из Москвы. И вот он уже возле, и мы встречаем Наташу и Андрюшку.

1952
10
июля

Жарко. Сегодня в “Советском искусстве” помещена статья “Вопреки теме и жанру”, в которой за обозрение, написанное с таким отвращением и мучениями, и унижениями, меня ругают. Прощай, Райкин! Я похудел. После того как меня отравил своим трупным ядом Нагишкин, и у меня вдруг давление стало 205/115, я принял меры. Стал худеть. Перестал есть, как ел. И вот я потерял за два почти месяца килограммов восемь, а давление стало 130/80. Я теперь легко хожу и лучше себя чувствую, но работаю с трудом. Вечный мой неистребимый враг, душевная болезнь, что ли, не дает мне работать да и все тут. И я настолько лучше чувствую себя, когда работаю. Настолько счастливее, что понять не могу, почему я этого не делаю. Сценарий я давно мог кончить. Пьесу тоже. “Медведя”, слава богу, я хоть довел более или менее до конца, да чтобы совсем не сойти с ума от ужаса, пишу в этих тетрадках. А то совсем засосали бы меня зыбучие пески. “Тело отяжелевшее засасывает грязь”, как писал я мальчиком в стихах.

1952
15
августа

Был вчера в городе на общем собрании по поводу годовщины решения ЦК. Народа немного — большая часть в отпуске, в разъездах. Ресторан пуст, за двумя-тремя столиками скромно обедающие писатели. Доклад Катерли. Выясняется из цифр, ею приводимых, что более ста писателей (из двухсот восьмидесяти, состоящих в Ленинградской организации) являются членами Союза с его основания. Медленно растут кадры молодых. Самому молодому из детских писателей — сорок лет. (Смех в зале, а я чувствую себя виноватым.) Я почувствовал себя впервые за три месяца плохо и ушел, вернее, уехал домой, в Комарово, после речи главного редактора Лениздата. Этот последний обвинял писателей, в частности, драматургов, в том, "что они ждут попутного ветра", "не ставят смелых проблем", "отстали от жизни на двадцать пять лет" и так далее. Призывал "вместо заоблачных кастратов" показывать "полнокровных советских людей", "давать острые конфликты". Сам он (Коничев его фамилия, вспомнил) издал в своем собственном издательстве исторический роман о Шубине, очень плохой, но зато шестидесятитысячным тиражом.

Приехав домой, узнал, что домработница наша, Шура, ни с того ни с сего страшно нагрубила Наташе и Олегу. Я в жизни не сказал ей обидного слова. Наташа тем более. Это место у меня больное, я не мог уснуть и утром устроил небольшой шум. С полчаса назад Шура, рыдая, приходила просить у меня прощения. Я в ужасе поскорее простил ее. Ей тридцать два года. Она необыкновенно здорова и несчастна. Мужа потеряла каким-то сложным образом. Дочь и мать в колхозе, а она здесь и все посылает посылки. Когда к Наташе приезжает Олег, Шура, как я узнал сегодня, плачет. Вспоминает, как она одинока. И по-человечески решила она ни за что ни про что обоих изругать. Наташа весь вечер плакала. А тут еще Андрей нездоров. Сценарий как заколдован. Я боюсь, что душевно болен. Когда я смотрю на Катю и Лизу Уварову, которые не могут не работать, то проникаюсь завистью. Я мечтал уехать к морю, но, очевидно, ничего из этого не выйдет.

1953
6
марта

Сегодня сообщили, что вчера скончался Сталин. Проснувшись, я выглянул в окно, увидел на магазине налево траурные флаги и понял, что произошло, а потом услышал радио. Через час еду в город — в пять общее собрание в Союзе. Мне сегодня

писать трудно. День мрачный, ночью не спалось. По радио передают печальную музыку.

1953
7
марта

Вчера в Союзе состоялось траурное собрание. Против обыкновения, зал наполнился за полчаса до срока. Анна Ахматова вошла, сохраняя обычную свою осанку, прошла вперед, заняла место в первых рядах. В президиуме — никого. Зал, переполненный и притихший-притихший, ждет. Не слышно даже приглушенных разговоров. Но вот в президиуме появляются Кочетов и Луговцов — секретарь партийной организации. Тише не делается, это невозможно, зал становится неподвижнее. Но не успел секретарь договорить: "Предлагаю почтить память почившего вождя..."— зал встает и стоит смирно дольше, чем обычно в подобных случаях. Плачут женщины. После того как прочитано сообщение Совета Министров и ЦК, Кочетов обращается в зал: "Кто просит слова, товарищи?" После паузы поднимается Владимир Поляков. Его длинное и длинноносое лицо, хранящее обычно свойственное всему виду эстрадников скептическое выражение: "Меня не надуешь", — сегодня торжественно и печально. И все же необычность происходящего нарушается. Собрание делается более традиционным. Только зал по-прежнему тих и неподвижен. После выступления нескольких поэтов и Пановой Прокофьев читает проект письма в ЦК, который и принимается.

1953
26
марта

Вчера читал Орлову и Рахманову и, несмотря на то, что они хвалили, у меня сегодня смутное чувство. И не читать нельзя, и когда прочтешь, на душе подобие похмелья. Рахманов понимает все, после того, как читаешь ему, похмелья не испытываешь. Орлов же человек другой категории. Для Рахманова книга — явление личной его жизни. И своя, и чужая. Встречи с великими писателями — события опять-таки личной его жизни. Он знает, что книга кем-то сделана, замечает законы, по которым ее делали, но вместе с тем в глубине души считает ее живым существом и оскорбляется, когда ее бранят, словно оскорбили близкого ему человека. Орлов же, увы, видит только, как сделана книга, и считает это самым главным. Больше ничего и не видит. Не в силах увидеть. Ничего тут не поделаешь. Приходится помнить это его свойство и обходить эту его сторону. Читать вслух — не здорово. Раз-

ве только — пьесы, произведения устные. Здоровее всего — печатать. Отзывы приходят, когда работаешь уже над новой книжкой. В субботу тридцатилетний юбилей Шуры Охитиной. Я получил приглашение. Не знаю, ехать ли? Как-то нехорошо отказываться от праздника артистки, игравшей в первой моей пьесе и во второй. В "Кладе". И жутко идти в ТЮЗ. Еще поверишь в старость.



Здесь, в Доме творчества, жил до 1 апреля Володя Орлов, человек с чертами натуры резкими до наивности. В качестве литературоведа привык он иметь дело с произведениями мертвыми и приобрел ту веселую самоуверенность, что свойственна могильщикам иль сторожам в мертвецкой. ("Граждане, или плакать, или дело делать", — как сказал могильщик на Смоленском кладбище.) Самоуверенность свою распространяет он и на книги, которые мы имеем слабость считать живыми и даже близкими. Я не в первый раз встречаюсь с подобным явлением и привык терпеть или обходить его, как дождь или болото. Спорить тут бесполезно. Но Володя Орлов иной раз бывает чересчур уж повелителен. И сколько ни уверяй себя, что он в своем поведении вражды к тебе не имеет, — иной раз обижаешься. Так, Рахманов вступился за Томаса Манна, которого лихо и самоуверенно закопал на всем скаку наш веселый могильщик. И я всей душой понял Рахманова. В своем ремесле Орлов молодец, память у него выдающаяся, знания внушают почтение. Глядя своими светлыми глазами через очки, широко ухмыляясь, читает Володя традиционным напевом стихи или рассказывает нечто новое о старых классиках — оно и приятно. В прошлом году был у него инфаркт. Румянец на его щеках — а был он румян — поблек, приобрел кирпичный оттенок. И весь Орлов чуть вытерся. Но в то же время и выпрямился — получив Сталинскую премию. В поведении его угадывается идея: "Значит, все, что я о себе думал, — правда!" Но, несмотря на пережитый инфаркт, он много пьет при случае, много ходит, не дрожит над собой. И Сталинская премия не мешает ему спорить, ввязываться в драку в области своего ремесла. В больших пределах, чем многие другие. В известных пределах, но внушающих уважение. Он не дрожит над собой. Он непритворно деятелен в общественной работе, например, пошел и поглядел, где собираются строить писательский дом, и настаивал, чтобы взяли другой участок, который приглядел лично. А как

болел он душой за больного друга своего Сережу Хмельницкого и не отступил, когда тот умер, а взял на себя трудоемкие и тоску наводящие похоронные хлопоты. И накричал энергично на шофера похоронного автобуса за то, что он в нагловатом тоне отказался хотя бы до угла доехать потихоньку, дать возможность проводить товарища тем, кто не мог отправиться на кладбище. И вот весь прошлый месяц жил Володя здесь, то раздражая, то умиляя и ничего общего не имея с Орловым, придуманным для рассказа. Но ощущение Орлова-соседа мне мешало, и я решил отказаться от этой фамилии в рассказе.

Все солнце, и все тает. Очень мучительно сплю — разламывается голова, болит. Вчера были Наташа и Олег на Пасху. Привезли прелестные Андрюшины карточки.



Вчера у нас был Пантелеев. Как всегда, жил одновременно двумя жизнями — общей с нами и собственной. Все думал не то о грехах своих, не то об обидах. Однажды схватился даже за щеку, так что я подумал, не зуб ли у него заболел. Но это были только признаки его второй жизни. Он сокрушался. Сосредоточенный, с горестным выражением маленького рта под жесткими усиками, с боксерским изуродованным носом (хотя он и не занимался никогда боксом), с печальными глазами, и несоизмеримый, прежде всего несоизмеримый с окружающими. И от этого замкнувшийся и до сих пор не раскрывшийся. Несоизмеримости своей он не радуется. Недаром он так много читал о психических и нервных болезнях и лечился у гипнотизера. Но существо его все существует, крепко существует, не поддается гипнозу, упирается.



Это же самое чувство заставляет его почти по-генеральски не понимать, когда ему рассказывают. “Как?”, “Кто?”, “Не понял!” И при этой вечно ощетинивающейся, своеобычной сущности он до удивления внушаем. К гипнотизеру пошел он, чтобы бросить курить. Эта страсть овладела им до такой степени, что грозила жизни. Он курил папиросу за папиросой, каждые полчаса просыпался по ночам, чтоб покурить. Началось кислородное голодание. Узнав, до какой степени подчиняется Алексей Иванович своей мании,

гипнотизер заявил, что понадобится по крайней мере месяц для его излечения. И был потрясен, когда Пантелеев излечился с первого же сеанса. После этого гипнотизер демонстрировал на нем чудеса пантелеевской внушаемости. Обрывок газеты действовал как нарывной пластырь и тому подобное. Рахманов, приехав в Комарово, простудился и, выходя гулять, закладывал в ухо кусочек ваты. Дня через три вижу: идут Рахманов и Пантелеев (непростуженный), но вата и у него белеет послушно в слуховом проходе. Именно этим странным соединением неуступчивости и внушаемости объясняется (неразб. — *Ред.*) в его работе. Метод им принят от Маршака твердо, но его несоизмеримая ни с какими методами, страстная и заторможенная, легко обвиняющая и сокрушающаяся натура упирается, и каждый рассказ у него — борьба с самим собой. А какая борьба идет у него внутри прежде, чем он сядет писать что бы то ни было! Прыжок из царства дикой и темной свободы в царство необходимости дается норовистому его существу после долгих и упорных мук. И ни разу ни слова, соответствующего ему самому. Только о детях да для детей и не своим голосом, а внушенным.

1953 9 апреля

Сегодня одиннадцать лет с тех пор, как я веду эти тетради. Это — двенадцатая. Из них восемь с половиной тетрадей, несколько больше, чем с половиной, написаны с середины 50-го года. Мне так несвойственна непрерывность в какой бы то ни было работе, что я все подсчитываю и умиляюсь. Сегодня, в одиннадцатую годовщину, я ровно на половине двенадцатой тетради. Я даже подогнал так, чтобы девятого апреля быть ровно на половине тетради. Первая из них заполнялась пять лет, а теперь выходит так, что в среднем я писал чуть больше целой тетради в год. Но польза есть! О, чудо, — польза есть. [Пантелеев] мучается над рукописью, прокуривая комнату до синевы, выправляя каждую букву. От ученических своих лет, от могучей редакторской воли Маршака он не освободился и не освободится, вероятно, никогда. Но и в упорстве и впечатлительности его есть одно всепронизывающее свойство: благородство. Он верный друг. Он ни разу не оступился, ни разу не свернул в болото во имя личного спокойствия, личной удачи. Он при всей замкнутости своей никак не одиночка. Он человек верующий. Литература для него не случайное дело. Это надежный работник.

1953
2
мая

Ночью были заморозки, предсказанные по радио. Тюльпаны, пионы и разбитое сердце закрыли газетами. Когда в шесть утра я выглянул в окно, кустики земляники побелели от инея, но светило солнце. Я стал читать Розанова (последние страницы о “Великом инквизиторе”) и укрепился в своем выводе. А рассуждения о романском и германском гении и о трех церквах уж до того произвольны, что даже раздражают, хотя в первом рассуждении что-то, вероятно, есть. Потом я уснул. Семь часов, солнце. Отодвигаю занавеску. В праздники на столбе у дороги говорит радио, что сегодня неприятно тревожит — напоминает лето сорок первого года. Продолжаю читать приложения к “Великому инквизитору”. Достоевский другое дело. С каждого поезда идут и идут люди, вчера Комарово было совсем пустынно, сегодня наверстывают. Ищу на что обидеться, потом делается полегче. Мы, как никто, чувствуем ложь. Никого так не пытали ложью. Вот почему я так люблю Чехова, которого бог благословил всю жизнь говорить правду. Правдив Пушкин. А ложь бьет нас, и мы угадываем всех ее пророков и предтеч. Вышел в сад. Газеты сняли, и цветы кажутся здоровыми. Земляника тоже. Вчера поздно вечером стал пересматривать кусочки рассказа, и первый из них, когда Знаменский еще назывался Воробьевым, меня обнадежил. Попробую сегодня сделать так: перепечатать все, что может пригодиться, и попробовать из этого что-нибудь сделать. Сейчас в тени +12, но вдруг пройдет ветер с ледяными прослойками и напугает. По радио опять предупредили, что ночью будут заморозки.

1953
3
мая

На Невском: мужчина с черной повязкой на глазу. Женщина подняла руку в пылу разговора ладонью кверху и забыла опустить, пораженная возражением. Так и прошла шага три. Парень лет шестнадцати, как случается в этом возрасте — он будто в пуху — и щеки, и пиджачишко, и кепка. Встретил другого, очень похожего на себя, и крикнул ему: “Гелло, сэр!” Я заглядываю во все витрины на пути. Девица лет девятнадцати задела меня авоськой и попросила: “Простите, дяденька”. Продавщицы в магазине работают, как на замедленной съемке, вероятно, у них руки не поднимаются, кажется, что они глубоко задумались о чем-то своем, не имеющем отношения к работе. Щеки красные. В булочной женщина отказалась от

довеска грамм в пятьдесят, и я вспомнил блокаду. Улица Желябова в черном дыму, будто пожар. Извергает клубы черного и плотного дыма железная труба над крышами у площади, и дым оседает на улицу, и я огорчаюсь. Толпа тридцатого апреля, предпразднично озабоченная, особая толпа 1953 года, больше такой не будет. Жарко по-летнему, дым, многие без пальто, пьяных мало.

1953
22 мая

Иногда во сне угадываешь соседство другого мира и, если сон плохой, — радуешься, а если хороший, огорчаешься. Я много раз читал, что жизнь похожа на сон, и принимал это равнодушно, чаще с раздражением. Но сейчас должен признать, что чувство конца, появляющееся у меня изредка, естественное в моем возрасте, больше всего похоже на много раз пережитое во сне предчувствие пробуждения. Возможно, что ад устроен наподобие сна. Если наяву боишься больше всего внезапных бед, вдруг уродующих всю твою жизнь, то страшный сон только из этих неожиданностей и состоит. В аду страшнее всего будет вечная непрочность и несправедливость всего тобой переживаемого. Жена превратится в змею без всякой с твоей стороны вины, младенец, неопределенно улыбаясь, пойдет на тебя с ножом, ты потеряешь силу, когда нужно отбиваться, ноги станут тяжелыми, когда надо бежать. И грешники с ужасом убеждаются, что изменения эти, беспричинные, как во сне, появившись в их жизни однажды, остаются навеки. Изменения происходят в других направлениях, например, стена делается мягкой, источает рыбный запах, и грешник понимает, что рыбье брюхо служит с этой минуты ему стеной.

1953
2 августа

Все последние дни, мало сказать, отравлены беспокойством за Наташу. Мне все казалось, что я больше ее не увижу. А жить без нее — невозможно. В силу ряда причин я сложился так, что без близких жить не могу. Против обыкновения боль не отпускала, а жгла и днем и ночью. Не спал, что в последнее время у меня редкость. Разболелась левая лопатка и плечо, чего со мной никогда не случалось. А главное, все потеряло смысл, вкус и цвет. Вероятно, это грех, но, может быть, он мне и простится — я таким уродился, что не могу без близких. Не поддержка их мне нужна, а присутствие. Мне веселее их поддерживать. А сегодня позвонил в Ленинград и вдруг —

Наташин голос. И все стало оживать, да и то не сразу, так ошеломили меня эти дни.



Сегодня дела у меня обстоят таким образом. Пьесу “Первое имя” послал я в Москву 3 сентября. Числа десятого, понимая, что в молчании театра ничего хорошего для пьесы не заключается, я позвонил по телефону Шах-Азизову. Вместо него говорил Путинцев. Пьеса им не понравилась, легковесна по сравнению с повестью, сделана слишком “по-тюзовски” и так далее и так далее. Потом прислали мне письмо примерно такого же содержания. В Москве 20-го открывается Пленум ССП, Пленум Правления. Среди прочих приглашен туда и я. Мне это нужно хотя бы для того, чтобы поговорить с Центральным Детским театром насчет “Первого имени”. С другой стороны, ехать мне не хочется, хотя бы потому, что 21-го день моего рождения, и я много-много лет не проводил его без близких. Но, очевидно, я поеду. Спешно кончаю “Василису Работницу”, которую сильно, полностью переписал, даже назвал иначе: “Два клена”. Два акта уже в перепечатке, третий я пишу. Хочу повезти с собой. У меня сейчас иногда чувство, как в страшном сне. Я говорю, шевелю губами, сам свой голос слышу, а больше никто. Я не понимаю, почему не нравится “Первое имя” в Москве. И боюсь, что с “Двумя кленами” выйдет нечто подобное. Вчера у меня было подобие сердечного припадка, точнее, болей. Я весь покрылся потом. Сегодня в Литфонде меня осматривали и просвечивали, и делали кардиограмму, и ничего не обнаружили. В Москву придется ехать в понедельник. Мне уже принесли билет. Сейчас сяду за пьесу. Боюсь, что третий акт скомкается — но не отступаю.



Я живу в гостинице “Советская” с Германом. № 330. Это две комнаты, одна — помесь кабинета, гостиной и столовой, вторая — спальня, которую мы попросили привести в более мужской вид — расставить кровати подальше друг от друга. Сегодня день моего рождения. Кончились роковые, значительные (даже фрейдовский ученик Виттельс по законам своей подозрительно тончайшей науки утверждает, что годы, кратные семи, — кризисные, переломные) — пятьдесят шесть моих лет. Я много лет не проводил день рождения вне семьи. Сегодня, правда, вся семья разговаривала со мной по телефо-

ну: сначала Катя, потом я позвонил Наташе. Потом Заболоцкие приготовили пирог к обеду, так что традиция была соблюдена. А вечером сидели мы в ресторане, и Светлов, Женя Рысс, Оля Берггольц и все другие поздравляли меня. За столиком сидели я, Оля и Юра, остальные поуходили. Я был доволен. На пленуме, что открылся сегодня, выслушал я доклад Симонова и пережил доклад Лавренева, мучительное публичное обнажение уродливого и нелепого существа. Чего тут только не было — и анализ первого явления "Мещан", полный восторга, и нападение на малозащищенных молодых более или менее драматургов, где душу отводил он с яростью мало оправданной, если брать самые пьесы, и вполне понятной, если принять во внимание накопившиеся обиды. Страшнее всех выступал Губарев — наглый и трусливый. Когда нас обоих года два назад обругал Нагишкин, Губарев сказал мне, выпучив глаза: "Ведь он в печати выступит". — "А, подумаешь, что нас не ругали никогда?" "Меня никогда не ругали", — ответил Губарев в смятении. И сегодня он ругал Маршака, нес невесть что, отстаивая свои пять квадратных сантиметров.

1953 26 октября

Все вижу как бы заново — Москва привела в чувство. Пожалуй, мне полезно было туда съездить. Правда, ходил я там осторожно, как бы в темноте, боясь на что-нибудь наткнуться и ушибиться. Когда говорил оратор, который мог бы задеть меня, я испытывал ужас, у меня сердце начинало колотиться. Я пытался усовестить себя, но увы, — все напрасно. Я испытывал ужас, как в кресле у зубного врача.

Николай Алексеевич Заболоцкий лежал на широком своем двухспальном, покрытом ковром диване. Глаза его, маленькие и светлые, глядели тускло, и один он все закрывал. Проверял зрение. У него подозревали туберкулез глаза. Процесс как будто бы удалось прекратить. Но Николай Алексеевич все прикрывал один глаз, проверял, не возобновился ли процесс. Он не то чтобы пополнел, а как-то перешел за собственные границы. Мягкий второй подбородок, вторые беловатые щеки за его привычными кирпичными — общее впечатление переполнения. На стене против дивана в овальной раме портрет нарумяненной дамы с напудренными волосами. Над книжным шкафом — морской пейзаж. Далее крестьянка в итальянском костюме, положив на траву младенца, молится у статуи мадонны. Над диваном большая гравюра с

портрета Толстого — кажется, репинского. Под углом к нему рисунок: амазонка скачет на коне. Николай Алексеевич полюбил живопись, полюбил упрямо, методично, не позволяя шутить над этим. Особенно гордится он дамой в овальной раме. "Это Рокотов!" В Москве известно всего шесть его картин, и одна из них у Николая Алексеевича. Николай Алексеевич лежал на диване.



И из глубин своего [прошлого], переполненного болезнями, тревогами, сонно поглядывал на меня своими голубыми глазками. И мы долго не виделись — из глубин прошедшего с тех пор времени поглядывал он на меня своими голубыми глазками. Словно стараясь узнать или понять, как я придусь к новым его болезням, тревогам и мыслям. Я попробовал подшутить над новыми его приобретениями. Он сначала посмеялся, а потом сказал сурово и осуждающе: "Я вижу, ты в живописи мастак!" И только сложными маневрами удалось мне помириться с ним и приблизиться к нему через ямы и канавы, вырытые временем, болезнями, тревогами и чудачествами. Я пришел в шесть, а хорошими знакомыми мы стали к девяти. Если бы не вечный мой страх одиночества, не Катерина Васильевна, не Наташа, которая росла, в сущности, и у нас, — я бы мог и уйти, не познакомившись снова с Николаем Алексеевичем. Угловатость гениальных людей стала меня отталкивать. Он может и чудачествовать, и проповедовать, и даже методично, упорно своевольничать: жизнь его и гениальность его снимают с него вину. Страдания его снимают с него вину. Но мне лень переносить чужую угловатость. А он в этой области мастак. Летом прошлого года, приехав на дачу, выразил он недовольство кошкой, которая окотилась, и потребовал, чтобы ее не было к следующему его приезду. А куда ее девать с котятами? Узнав, что приказ его не выполнен, он удалился в город и за все лето ни разу не побывал на даче, и худенькая, темноглазая Катерина Васильевна металась все лето между мужем и детьми... И вот он лежал на диване и глядел на меня с высоты своих горестей и чудачеств, но я взял его ласково за руку.



Я взял его ласково за ручку и со множеством предосторожностей свел к нам на землю. Он стал весел, снисходителен и по старинной, двадцатых годов, повадке принялся шутить, повторяя одну и ту же фразу. В тот вечер, двадцатого октября,

он повторял, едва Катерина Васильевна начинала рассказывать: “Моим язычком да табачок бы толочь!” Он цитировал ее самое. Накануне, когда играли они в карты, Николай Алексеевич сказал жене: “Ну и язычок у тебя”, на что она и ответила: “Моим язычком да табачок бы толочь!”. Занятый возобновлением знакомства, я не сразу заметил одну странность: я был зван обедать. Время — шесть часов — назначено было по обоюдному согласию. Но на стол и не думали накрывать. Наконец Катерина Васильевна сказала, что домработница, посланная за продуктами сейчас вернется, и меня покормят. “Как меня? А вы?” — “Мы обедали в два часа. Мы всегда обедаем в два. Мы с вами поужинаем”. Я взглянул на Николая Алексеевича. Со знакомого и незнакомого лица глянули на меня не без строгости странные его голубые маленькие глазки. Очевидно, вернувшись домой и узнав, что Катерина Васильевна позвала меня обедать (”гороховый суп и картофельные котлеты” — предупредила она), он отменил ее распоряжение. Но я не стал искать причин этого. Мы были уже в дружбе. Позвали еще и соседа, Колю Степанова. Когда я уходил, то решено было, что завтра в день моего рождения Катерина Васильевна испечет пироги. К обеду. Между тремя и пятью, в перерыве на пленуме. Я уходил отуманенный, устав, как после работы. Что там лица. На душах образовались морщины и отеки, и, встречаясь, мы не сразу узнаем друг друга. И страх одиночества охватил меня. Что будет?

1953 29 октября

Однако страх одиночества, страх перед незнакомым лицом старого знакомого я подавил в себе. Точнее, заслонки, те самые, что на поле боя не дают смотреть на раны и трупы, не дали мне смотреть, куда страшно. На пленуме Николай Алексеевич напомнил, что я сегодня обедаю у них. Я предупредил, что может быть опоздаю: мне нужно было отвезти пьесу в МТЮЗ. “Ну, мы тебя подождем!” — ответил Николай Алексеевич. Пьесу везти не пришлось. Я поехал к Заболоцким, едва начался перерыв, с твердой уверенностью, что буду у них раньше самого хозяина. К величайшему удивлению моему, Заболоцкие уже начали обедать. И за столом у них восседал почетный гость, Николай Бажан, украинский поэт и академик и член правительства. Они ушли до перерыва, ибо Бажан боялся опоздать на вечернее заседание. Именинный пирог был уже разрезан. Беседа шла

солидная, академичная, насчет старинных книг и новых переводов. Бажан все советовал Николаю Алексеевичу предпринять новый перевод Руставели, а он солидно, с достоинством отнекивался, словно кошевой от булавы. Бажан произвел впечатление хорошее, но мне было с ним неловко. Заслонки действовали безотказно — я не заметил ничего странного в том, что за стол сели без меня, ради которого и был затеян обед. Я только удивился. Но на душе было смутно.



Заболоцкого увидел я в первый раз в 27-м году. Был он тогда румян (теперь щеки у него кирпичного цвета), важен, как теперь, и строг в полной мере. Свои детские стихи подписывал он псевдонимом “Яков Миллер”. И когда начинал он говорить особенно методично и степенно, то друзья, посмеиваясь, называли его “Яша Миллер”. Он говорил о Гете почтительно и, думаю, единственный из всех нас имел поступки. Поступал не так, как хотелось, а как он считал для поэта разумным. Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала или как бы полушутя, бранил. Писал ему:

Скажи, зачем ты, дьявол,
Живешь, как готтентот.
Ужель не знаешь правил,
Как жить наоборот.

А кончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил: прекратил с ним знакомство. Писал он методично. Взявшись за переделку для детей Рабле, он прекрасным своим почерком заполнял страницу за страницей ежедневно. Думаю, что так же писал он и свои стихи. И он имел отчетливо сформулированные убеждения о стихах, о женщинах, о том, как следует жить. Были его идеи при всей методичности деревянны. Вроде деревянного самохода на деревянных рельсах. Деревянный вечный двигатель. Но крепки. Скажет: “Женщины не могут любить цветы”.



И упрется. И подведет под это утверждение сложную, дубовую конструкцию. Заболоцкий — сын агронома или землемера из Уржума, вырос в огромной и бедной семье, уж в такой русской среде, что не придумаешь гуще. Поэтому во всей его ме-

тодичности и в любви к Гете чувствовался тоже очень русский спор с домашним беспорядком и распущенностью. И чудачество. И сектантский деспотизм. Но все, кто подсмеивался над ним и дразнил: “Яша Миллер”,— делали это за глаза. Он сумел создать вокруг себя дубовый частокол. Его не боялись, но ссориться с ним боялись. Не хотели. Не за важность, не за деревянные философские системы, не за методичность и строгость любили мы его и уважали. А за силу. За силу, которая нашла себе выражение в его стихах. И самый беспощадный из всех, Николай Макарович, признавал: “Ничего не скажешь, когда пишет стихи — силен. Это как мускулы. У одного есть, а у другого нет”. Несмотря на то, что имел Николай Алексеевич склонность поступать разумно и по-своему, был он отчасти и внушаем. Однажды все мы постриглись под машинку. Нахмурившись, отчитывал он нас за нелепость этого поступка. Стрижка портит волосы. Священники не стригутся, а лысеют редко, а женщины — никогда. Стрижка — школьный предрассудок. Но через несколько дней пришел он в Детгиз стриженный наголо. При подчеркнуто волевой линии поведения жил он в основном, как и все. Хотел или не хотел, а принимал окраску среды, сам того не зная. И все же был он методичен, разумен, строг и чист.



Мне все кажется, что старость — это так как-то. Несерьезно. Григорий Михайлович Козинцев изящен, тонок, и говорит он тонким, почти женским голосом. Живет он в большой, высокой квартире с двумя уборными, ванной, железной дверью, которая закрывается не одним ключом. Кабинет его — с книжными полками до потолка, с коврами на полу, со старинным сундуком, с деревянными скульптурами (очень трогательная мадонна в человеческий рост глядит спокойно и благочестиво на книжные полки и письменный столик хозяина), несмотря на множество вещей, кажется просторным. Сейчас Григорий Михайлович ставит в Александринском театре “Гамлета”, и целая полка занята английскими книгами о Шекспире. Он знает множество вещей и думает много, на множество ладов. Который поток мыслей, из множества существующих, определяет его, трудно сказать. По снобической, аристократической натуре своей, сложившейся в двадцатые годы, он насмешливо скрытен. Как Шостакович. И Акимов. Но уязвим и

раним он сильно. На удар отвечает он ударом, но теряет больше крови, чем обидчик. Он — помесь мимозы и крапивы.



С пьесой "Два клена" — смутное движение. Из Москвы письмо о том, что пьесу еще не рассмотрели, а здесь ТЮЗ ею заинтересовался. И я оживился. Я успел разглядеть, что пьесы мои так медленно рассматриваются не по враждебному или подозрительному ко мне отношению, а, главным образом, по безразличию. А в общем, конечно, я не хотел думать это время, что никому я не нужен, но иногда это лезло в голову. И эта червеобразная мысль внушала брезгливость и отвращение.

Возвращаюсь к Козинцеву... Деревянная черная чья-то фигура до пояса, с изящными пальцами, вмонтирована в стену над дверью. Их несколько — хозяин любит деревянные скульптуры. Против мадонны на книжной полочке, в застекленной рамке, — автограф Маркса. Много немецких и английских книг по Шекспиру. Козинцев отлично знает его... Работает он, как все кинорежиссеры, много. Студия, условия производства приучили их к этому. Он денди. А всякий денди прежде всего держится естественно. А естественность, даже напускная, требует все же правдивости.



И строгая опрятность денди приучает их к опрятности, брезгливости душевной. Я говорю о снобах и денди по страсти, по призванию. Грязные дороги для них немыслимы. И в Козинцеве радует брезгливая, брюзгливая, капризная, но несомненная чистота. Его дорога — вся на свету. А в кино это не так уж часто случается. Высокий, тонкий, с тонким, длинным лицом, темноглазый, бледный, в минуты сильного волнения он теряет сознание. Это, правда, случается с ним редко. Но на приеме в Кремле у главы государства, где они с Траубергом докладывали о новом их сценарии “Карл Маркс”, держался Козинцев спокойно, а потом упал в обморок. Некоторая хрупкость угадывается и в его уязвимости. Обида проникает в самые недра его существа. Но тут он не теряет сознания. Я с удовольствием гляжу, любуюсь быстротой, с которой отвечает он на удар... В полемике он быстр и остроумен. Есть ли у него вера? Что он любит и ненавидит вне своего от-

крытого круга понятий и чувств? Есть ли у него нечто, кроме любви к деревянной скульптуре и к комментариям к Шекспиру? Каковы его масштабы? Я не знаю. По сложности развития советской кинематографии он ни разу не делал того, что ему и в самом деле хотелось. И еще более скрыты от людей его страсти и привязанности в жизни. Хорошего роста, тонкий, хорошо одетый, темноглазый, бледный, в работе он невыносим. Он неровен, придирчив, требователен, капризен. К концу работы вся его группа издергана и все готовы нервничать, придираться, капризничать. Он мнителен. И не без причин.

Он из хорошей медицинской семьи. Женщины их рода отличаются стойкостью. Анна Григорьевна, мать Григория Михайловича, — белоснежная, легкая, худенькая, изящная, до самой последней болезни своей, пока не слегла, была подтянута, приодета. Она была из тех старых людей, присутствие которых не тяготит, а радует. А было ей за восемьдесят...



Вырос Григорий Михайлович, окруженный любовью семьи, но в годы трудные, в те дни, когда Киев все переходил из рук в руки. Ему пришлось рано заботиться о заработке. Фрэз говорил мне, что тонкий, но вместе с тем не женский голос Григория Михайловича — следствие того, что он в ранние годы свои играл в театре Петрушки. Все кричал за него тоненьким голосом, кричал, да так и остался. В Ленинграде появился он в начале двадцатых годов. Вместе с Траубергом выпустил он афишу. ФЭКС — Фабрика эксцентрического театра. На ней было все: и типографские паровозики, которые в объявлениях верстались перед расписанием поездов, и вызов старым штампам, и все признаки нарождающегося нового шаблона. “Фабрика” — дань индустриальной эпохе. “Эксцентрического” — значит, отнюдь не реалистического театра, а какого-то там другого. Я прочел афишу эту вяло, в полной уверенности, что это непрочно, со смутным чувством, что где-то, когда-то читал нечто подобное. Но Фэксы — так стали звать Козинцева, Трауберга и их группу — оказались жизнеспособными. Вскоре завоевали они себе место — и заметное место! — на кинофабрике и в киноинституте или на киноотделении ИСИ — не помню, как называлось тогда место, где учили киноактеров, да так и не выучили ни одного. И не потому, что худо

учили, а по переменчивости времени. Когда первый курс кончил институт, то выяснилось, что эксцентрические актеры никому не нужны, а требуются реалистические. И в кино стали звать актеров из Александринки, Художественного и так далее. Не брали эти актеры уроков бокса, не умели фехтовать, в акробатике являлись полными невеждами — а их снимали, — так изменилось время. Но самая верхушка ФЭКСа, благодаря великому свойству левого искусства тех дней, а именно — чувству современности, не покинула завоеванных позиций. Напротив, расширила и укрепила их. Ярлычок "ФЭКС" понемножку отклеивался, и очередной порыв ветра сорвал его и унес так далеко, что и не вспоминается это словечко. Менялся и Козинцев — ибо таков основной признак интеллигенции двадцатых-тридцатых годов. Но у него были границы, за которые он живым не перешел бы. Вот отчего после бесконечных переделок "Белинского" он едва не съел свой коллектив и сосудистые болезни напали на него. Он волей-неволей переходил за границы, которые возможны для его организма, и поплатился за это. Он все же — скаковая лошадь. Благородное создание. Но все же, когда думаю я о вере, о возможностях его, — одна мысль пугает меня. А что, если он, как в детстве, подлаживал свой голос под Петрушку? И теперь, после многих напряжений, потерял свой голос?

1953
9
декабря

Вчера состоялся выпуск альманаха "Давайте не будем". До сих пор все эти премьеры проходили с успехом, да еще с таким, о котором говорили долго. Всю войну вспоминали успех первого альманаха. И об альманахе послевоенном говорили как о настоящем событии. Вчера успех был менее шумный. Особенно у первого отделения. Да и нечему было радоваться — и в самом деле было в этом первом отделении нечто тяжеловатое. Зато второе имело успех. И в самом деле было оно полегче. Но почему-то не поднимается рука писать об этом. Потом был ужин, и за ужином было принужденно, и сегодня смутное чувство неловкости без всякого на то основания. Когда буду переписывать о Козинцеве, надо будет сказать, что, когда выпущена была афиша ФЭКС, ему исполнилось всего только 18 лет. Он очень рано почувствовал себя ответственным за свои поступки. Взрослым. Когда к нему приходит с обиженным и сосредоточенным видом молодой режиссер

Граник, тридцати семи лет от роду, за творческой помощью — я поражаюсь. Восемнадцати лет Козинцев и то отверг бы таковую. Принял бы ее за наглое вмешательство в свою работу. Учиться — можно. Но именно для того, чтобы работать самостоятельно, без инструкторской руки на руле. Вчера Козинцев был необыкновенно мрачен. Он сидел в первом ряду и не улыбался. Да и жена его, Валентина Георгиевна, заслуживающая отдельного рассказа, была чернее тучи. Но о ней рассказать трудно. Она и умна, очень умна, и в искусстве разбирается, но душа эта, выкованная в студии Вахтанговского театра, не просматривается и не просвечивается так просто. Дьявол был у них завучем.

1953 *17 декабря*

Я все вижу скверные сны, до последней степени утомительные. Дьяволы какие-то вертятся вокруг. Недавно поспорили между собой два дьявола — один с небритой сединой на щеках, другой — молодой, носатый, вместе с тем и актер. Он, непрерывно говоря и глядя на меня, наступал на грудь ногой старому дьяволу, лежащему на моей кровати. Они оба ничем не отличались от людей, я просто знал, что они дьяволы. Старик, обессиленный, закрыл глаза. Потом оба они исчезли, постель освободилась, и я без особенной радости и уверенности подумал, что теперь я могу лечь спать. Такие вялые, но упорные, странные сны тянутся и тянутся. Вчера, когда я обжегся, то подумал — уж не дьяволы ли в самом деле преследуют меня и наяву? Может, им не нравится, что я пишу ежедневно? Эта игра понравилась мне. Я стал разглядывать пальцы. Были обожжены как раз те места, куда опирается ручка. Я вспомнил умерших друзей, с которыми не кончены у меня счеты, и упрекнул одного из них, назвав его по имени-отчеству. Бессмысленные, неизвестно кем нанесенные обиды после этого приобрели некоторую закономерность, нет — объяснимость. Сегодня собираемся ехать в Комарово.



Не записал я как был на примерке в литфондовской мастерской в четверг на прошлой неделе и увидел себя в трехстворчатое зеркало и понял как следует, вдруг, что с возрастом дело обстоит неважно. Я вижу себя в профиль, когда смотрюсь в зеркало, не вижу затылка, темени, двойного подбородка, мягкой шеи, подпираемой воротником, не вижу явных знаков изношенности. Мне стало понятно, почему друзья неприятно удивляются и останавливают

меня, когда побегу я вдруг через поле, почему бросаются встревоженно ко мне, когда зимой я поскользнусь и упаду. Я стал думать, что следовало бы резко изменить образ жизни, не для того, чтобы помолодеть, а хоть часть доделать из того, что мог бы. Какая-то неизменяемая сущность, сохранившаяся с детства до наших дней, с ужасом косится на изменившихся друзей и с еще большим страхом обнаруживает перемены во мне самом. Старость — это одиночество. Все вокруг незнакомо, даже ты сам с отвратительными признаками изношенности — чужой. Думаю в последние дни опять об отсутствии собственного мировоззрения, какого бы то ни было мировоззрения у большинства. У такого большинства, что это, конечно, нормально. Мир, состоящий из своеобразно и самостоятельно думающих единиц, не двинулся бы с места. У большинства в сознании — полое место, заполняемое верой, сложившейся на сегодня. От этого возможны дружные движения огромных и разнообразных человеческих масс. У огромного большинства полое место заполняется легко. Другие бродят, ищут веры. Вот отчего любой проповедник находит себе учеников. Верующие бессознательно часто бывают исполнительней.

1953
25 декабря

Сегодня звонил Товстоногов относительно “Медведя”, которого он прочел. Ему очень нравится первый акт, менее нравится второй и совсем не нравится третий, кроме некоторых сцен. Он просит выслушать его соображения, где я хочу — у них в театре, у меня дома — и так далее. Я слушал слова заинтересованного человека, действительно заинтересованного, желающего пьесу поставить, как музыку. Заходил к Тоне. Он все пробует написать, найти теорию художественного чтения, и я с завистью слушаю его рассуждения.



Сегодня мне предстоит идти на юбилей Бианки. Странный в одном отношении, что он будет проходить без юбиляра. Он из тех знакомых, которых я всегда рад встретить, но и шага не сделаю для этого. Разделяет нас, как это ни странно, та самая доисторическая ссора Маршака и Житкова. Она не поссорила нас, но и не дала за все эти годы сойтись ближе. Что-то в этой ссоре было, какая-то дьявольская сила, если Бианки воспринимает ее так, будто она вчера только произошла, и ненавидит Маршака в свои шестьдесят лет, как

юноша. Человек Бианки простой, попросту уважающий свою профессию и склонный от сознания значительности дела своего — поучать. И вокруг него писатель — как атмосфера. Несмотря на тяжелые болезни, живет Бианки достойно, окружен людьми, работает.



И вот вчера праздновался его юбилей. Слушал я речи с двойственным ощущением — удовольствия и отвращения. Удовольствия — оттого, что хвалят, а не ругают. И хвалят человека простого, который прожил жизнь по-мужски. Пил зверски, но и работал и в свою работу веровал. И если принимать во внимание все, то он, со своим высоким ростом и маленькой головой, с чуть-чуть птичьим выражением черных глаз, с черными густыми волосами назад, маленьким красивым ртом, — похож на свои книжки. Угадывалось в нем существо здоровое, без темных чувств. Ошибки его были ясными, с мужчинами такие случаются. Но по сравнению с тем, что бормоталось, читалось и выкрикивалось о нем на юбилее, казался он недоступно сложным, и то, что происходило с ним, не похоже на то, что изображалось в речах. Ну вот и я запутался. Говоря короче, юбилей радовал, а ораторы и хвалители раздражали.

Уж слишком часто они же, теми же самыми голосами, с той же ораторской техникой, — бранили. Уж слишком часто в тех же руках, где сегодня кадило, видели мы разбойничьи, да где там разбойничьи — чиновничьи ножики. Поэтому удовольствие от юбилея было чисто рассудочным, а отвращение — чистосердечным. Они говорили о Бианки в тех же выражениях, что о Форш — а, честное слово, между двумя этими юбилярами огромная разница.



Вчера в шесть часов вечера умер Тоня. После приезда из Москвы ему стало получше, он выходил и даже выступал на радио один раз, утром. Недели две назад он заболел — температура вскочила, давление упало после незначитель-ного припадка сердечных спазм. А вчера он умер. Узнал я об этом, вернувшись, домой в одиннадцатом часу. Поколебавшись, как всегда в таких случаях, нужен ли ты близким или приход твой будет только мешать, я пошел туда, в квартиру на канале Грибоедова, где он жил у сестер. Пока я писал это, позвонила Анечка Лепорская и сообщила, что умер

Суетин Николай Михайлович, с которым у нас было так много связано в прошлом. Когда ушла Катюша от первого мужа, от Сашки Зильбера, 12 февраля 1929 года, то поселилась она на первые две-три недели у Суетиных, у Анечки и маэстро, как звали мы тогда, полушутя, Николая Михайловича. Что за страшный месяц. Анечка, которая с ним прожила столько лет, причем он расходился с ней и возвращался, умирая, — плачет. Единственный близкий человек! Все заслонки, не отказывавшие мне до сих пор, пришли в движение. А вчера в одиннадцатом часу пришел я к Шварцам. Тоня — уже не Тоня. Дело не в белых губах и каменной неподвижности. А в том, что это не Тоня. Отнялось то, что его и делало Тоней. И, как всегда, я чувствовал, что нет у меня ответа на то, что произошло. Я ошеломлен — и только. Видимо, этот год будет нелегким.



Познакомился я с [Анечкой Лепорской] в 28-м году. Тоже — из самых близких людей и поэтому из самых трудных для описания. А не описывать обидно: уж очень характер любопытный. Она из Пскова, где родилась и выросла в среде, полярной той, где пришлось ей жить в дальнейшем. Отец ее был ректором семинарии, а учителем в Академии художеств — Казимир Малевич, основатель школы супрематистов. Человек с признаками гениальности, поляк, воспитавшийся на французском искусстве и восставший против своих учителей, — вот куда попала Анечка из строгой русской священнической семьи. Из Пскова почти что в Латинский квартал. Впрочем, был этот квартал уже деформирован. Малевич обосновался почему-то сначала в Витебске. К годовщинам, первым годовщинам Октября добывали Малевич и его ученики вагон, теплушку, на которой укрепляли огромный белый квадрат с черным посредине, герб школы или марку школы, и ехали показывать новые работы в Москву. И там выставляли их на Страстной, кажется, площади. И никто не удивлялся ни квадрату, ни выставке. Такое было время.



Думали, что так надо. В Витебске вел Малевич идейную борьбу с Шагалом и победил, и вытеснил побежденного в Париж. Как было установлено, кто победил, — я никак не могу себе представить. Вряд ли судило тут вече или Совет

рабочих депутатов. Идеи свои излагал Малевич столь темно, да еще с полонизмами, что о победе его, вероятно, судили ближайшие ученики, которых личным влиянием и загадочной речью сколотил Малевич вокруг своей школы плотней и дружней. Те из них, кого я знал, говорили об учителе своем и говорят до сих пор с благоговением и берегут его записные книжки, словно священное писание. И никогда о нем не сплетничали, но говорили о нем лично с улыбочкой, как лебедевские графики — о Лебедеве. Из Витебска с самыми верными перебрался Малевич в Ленинград. Тут Анечка с ним и встретилась и стала преданнейшей его ученицей и вышла замуж за Костю Рождественского. И сняли они комнату у Тыняновых, Анечка знала их еще с Пскова. Тут познакомилась она с Катей. А Малевич с лучшими учениками стал работать на Ломоносовском заводе. В Ленинграде он воевал больше всего с Татлиным. Они обвиняли друг друга чуть ли не в уголовных, очень таинственных преступлениях. Они, если верить их разбушевавшейся подозрительности, все время становились жертвами шпионажа. Лазутчики прокрадывались в мастерскую Татлина и похищали для Малевича его идеи. И наоборот. Посуда Малевича и его учеников — беспредметная, супрематическая, расписанная квадратами, и треугольниками, и кругами, — они искали чистой формы, хотели ее освободить, — производила впечатление. И длинный Татлин, стоящий возле своих картин на выставке в Академии и объясняющий их, производил еще более сильное впечатление. Любимым учеником Малевича был Суетин. Более молодые, — не по возрасту, а по стажу ученическому, — называли его полушутя: маэстро. И он влюбился в Анечку и приходил вечером, бросал камешки в окно Анечки. Звал ее объясняться. И через Катю передавал угрозы Косте.

1955
11 ноября

Вернусь к временам более ранним. Вчера, как нарочно, зашла Анечка, и я расспросил ее подробнее о витебских боях между Малевичем и Шагалом. В Витебске оказались эти художники по причинам голодного времени. Они работали в художественном институте, Анечка не могла вспомнить его названия точно: номенклатура так часто менялась за эти годы. Находился институт в ведении ИЗО Наркомпроса как будто, и Малевич возглавлял его.

Победа над Шагалом, в сущности, заключалась именно в том, что я вчера рассказал предположительно. Впрочем, школа супрематистов еще умела оформить выставку, праздник, казалась местным властям куда более современной, чем Шагал, с его летающими по воздуху влюбленными. Вот почему удавалось супрематистам добывать теплушки и ездить в Москву с творческим отчетом к каждой годовщине Октября. Однако, борьба Шагала с Малевичем вышла скоро за пределы мастерских. На каждом заборе Шагал и его ученики писали своих летающих женихов и невест, а на брандмауэрах — супрематисты свои квадраты. В Москву полетели жалобы. ИЗО Наркомпроса послал Фалька разобрать, в чем дело. Фальк приехал. И Витебск ему очень понравился. И вместо того, чтобы судить, он взял да и остался в этом городе и получил и себе мастерскую в иституте. И ученики с удивлением и восторгом узнали, что есть на свете живописные ощущения еще одного рода. И Фальк вместо того, чтобы судить, стал учить. И кончилось дело тем, что к 21-м году институт закрыли и Малевич с лучшими учениками перебрался в Петроград. Здесь он вовсе не поступил в Академию художеств, а стал во главе какого-то экспериментального института, работал на Ломоносовском заводе и так далее. Вот тут-то Анечка и Костя стали учениками Малевича. И Суетин, любимый ученик, вывезенный из Витебска, которого звали ленинградские ученики полушутя, а вместе и почтительно “маэстро”, влюбился в Анечку. И со свойственным школе красноречием убедил ее, наконец, уйти от Кости.

1955 *12 ноября*

Я познакомился с ними, когда уже давно состоялся развод. Анечка в пенсне, светловолосая, шустрая, веселая, высокая, а маэстро — с лицом аскетическим, темным, взглядом диковатым, молчаливый. Знакомились мы осторожно, поглядывая друг на друга с недоверием. Я был в ковбойке, такие рубахи продавались во всех магазинах в 28 году. Вследствие чего приняли они меня за киношника. А я почувствовал осуждение в диковатом взгляде маэстро и тоже замкнулся. Вскоре, однако, мы разглядели друг друга ближе. Анечка и маэстро были в расцвете, как бывает с людьми после тридцати лет. Маэстро вместе со вторым любимым учеником Малевича — Чашником руководил окраской

домов на улице Стачек. Связь с Ломоносовской фабрикой еще не была потеряна. Наступление на формалистов едва только намечалось. И маэстро, и Анечка охотно и легко, как подобает ученикам Малевича, говорили об искусстве. Любимым их словом было "ощущение" — причем, сами они признавали, что это слово дает приблизительное представление о том, что они пытаются с его помощью передать. Самым понятным было утверждение, что они хотят сначала найти чистую форму — черный квадрат в белом был как бы предпосылкой, началом этих поисков. Хармс тоже говорил: "Хочу писать так, чтобы было чисто". Здесь я еще понимал кое-что. Но ни один из знакомых художников не теоретизировал так много и так загадочно о путях к этой чистоте. Когда я смотрел на беспредметные их скульптуры, что-то понимал. Но длинные с цитатами — "Казимир сказал" и "Казимир написал" — речи оставались для меня темны. Анечка веселая, высокая, шустрая — по моему ощущению — более веровала, чем понимала. Вероятно, на свой аскетический, диковатый лад маэстро понимал то, что говорит, более Анечки. Во всяком случае он верил, что понимает.

1955
13
ноября

Уж очень сосредоточенно, без примеси притворства, он проповедовал, потупив диковатые, выпуклые свои глазки. И худые плечи, и руки расположены были у него в подобных [случаях] почти совсем по-монашески, совсем бы проповедник новой религии, если бы через каждые два слова не поносилась мистика. Мистика мешала добиться чистоты формы. Развод дался Анечке тяжело. До сих пор кажется мне, что тут — в решении развестись — сыграла роль та сила, что толкает иных женщин туда, где ждет ее боль. Веселая светловолосая Анечка, со своей вечно бодрой и шустрой повадкой, мучительно страдала и, чтобы справиться с собой, пошла лечиться к докторше. Она в домашних беседах называлась Софья и считалась непререкаемым авторитетом в области психики, как Казимир в области супрематизма. Лечила она психоанализом по Фрейду. Помогал ей муж, которого называли у Суетиных Сережка, хоть и относились к нему не без уважения. Он не был врачом. Стал психоаналитиком из пациентов. И мужем Софьи стал тем же путем, полечившись у нее долгое время. Мне спокойствие, уравновешенность дается с таким трудом, что я

чувствую ужас, когда кто-то анализом или не анализом пробует тронуть хоть песчинку из этой моей самодельной постройки. Но Анечка испытывала облегчение после каждого сеанса, где добирались до переживаний даже утробного периода ее жизни. И маэстро стал ходить на лечение психоанализом. “Это помогает вышибать из подсознательного всякую мистику”. Так и в фрейдизме и в сближении пациентов с врачом чувствовалась все та же потребность веры, что объединяла учеников Казимира. Маэстро был в расцвете сил. Его хватало и на супрематизм, и на психоанализ, и на проповеди. И Анечка и страдала, и хохотала, и писала натурщиц, решая их кубистически в зеленовато-коричневато-грязноватых тонах, и занималась хозяйством, и все спешила, и все опаздывала. И маэстро за ней. Чтобы не опаздывать, переводили они часы вперед [на час].



Потом на два. Но это мало чему помогло. Они собрались в Псков и три дня подряд опаздывали на поезд. Спускались со всеми вещами, садились на извозчика и возвращались обратно. Три раза! Однажды позвала нас Анечка к пяти часам обедать. Достала где-то утку. И с утра она и маэстро хлопотали над ней. Над уткой. Весело, шумно, шустрая, как всегда, убегала Анечка в кухню и возвращалась. И все как будто с толком. То принесет вымытые тарелки, то отнесет на кухню чищенную картошку. Но за стол мы сели в девять часов вечера. Жили они тогда в огромном доме, угол Греческой и Бассейной, дом бывших собственников квартир. У дома не было владельца. Каждый жилец не нанимал, а покупал квартиру. И многие владельцы квартир, в прошлом люди состоятельные, еще ютились в одной-двух комнатах своих бывших владений. Живут они там и до сих пор. В комиссионном магазине возле, на углу ул[ицы] Восстания, до сих пор можно увидеть их фарфоровые чашечки — старый Мейсен, Попов, Гарднер, веера, гранатовые браслеты, даже лорнеты на черепаховой палочке — все оттуда же, из недр этого дома. По общительности своей Анютка знала очень многих из этих на диво жизнеспособных представителей отживающего мира. И вечно узнавали мы об удивительных историях, разыгрывавшихся в недрах этого дома, подобных тем, что Софья добывала в недрах человеческой психики. То пожилая дама

выходила замуж за человека лет тридцати пяти, которого считали все женихом ее дочери. И в пасхальную ночь встречали мы их во дворе под руку, по дороге в Греческую церковь. Он в котелке на круглой, упрямой башке, большемордый, в белом атласном кашне и она, вполне еще привлекательная женщина, в каракульчевой шубке. То узнавали мы об истории противоположного характера: мать запрещала дочери выходить за того, кого та выбрала, и дочь — лимфатическая, тихая, умолкая, подчинялась. И в этом окружении Суетины и жили.



И приносила Анечка из недр этого дома не только новости о жильцах, но и разные новые лекарства. Склонность к подобного рода непременно самодельным лекарствам была ей удивительно свойственна. Где корни этому? Очевидно, все тот же дар — вера. Она все ждала чуда. К прежней детской вере пути позаросли. А тут еще Софья вышибала из подсознательного мистику. И вера укрывалась в кубистически решенных зеленых бедрах натурщицы, в религиозном уважении к фрейдизму и супрематизму. “Ощущение” произносилось с тем же чувством, что “откровение”. А лекарства, вроде алоэ (вскоре отвергнутого, поскольку признала его медицина), были еще и протестом против установившихся форм. Ожидание чуда, потому что установившиеся формы давали мало радости. Медицина была суха, холодна и рационалистична вроде академической живописи. А травы или отвар из лишая на березе — обещанные чудеса. Впрочем, недоверие к медицине законной — явление народное. Когда жили мы на Литейном, во втором этаже принимала сестра доктора Бадмаева. Бывало, не протолкнешься на лестнице к себе на четвертый. А в доме рядом принимал известный гомеопат, старик, по фамилии, кажется, Габрилович, и к нему записывались чуть не за две недели вперед. Анечка сообщала об инженере, открывшем какие-то порошки, обрывающие рак, о какой-то коре, излечивающей все болезни. И тут же рассказывала запутаннейший случай, излеченный Софьей. И добавляла: “А в лечебнице эту больную, несчастную, лечили водой!” Но всегда у Анечки было интересно. Зайдешь во двор дома собственников, поглядишь наверх. Две комнаты Суетиных были расположены под прямым углом. Если светятся окна, пускались мы в длинное путешествие наверх. Радовал меня запах на лестнице. Пахло, как в майкопской библиотеке. Жилось мне в те дни непривычно.

Жизнь вдруг переломилась и как будто бы очистилась, и я был счастлив, но никак не мог оглядеться.

1955
17
ноября

У Суетиных всегда было интересно. В те дни Суетин занимался своим делом вполне бескорыстно. Уже началось гонение на формалистов, а он все делал одно: или карандашом узкую, чуть склоненную набок как бы голову и ее же маслом, и фигуру, как бы фигуру, как бы с подносом, украшенным цветными треугольниками. И у фигуры была все та же склоненная голова, форма головы, без лица. Иногда маэстро начинал, все так же диковато поглядывая или потупив глаза, проповедовать и на литературные темы. Так, однажды объяснял он долго, сосредоточившись изо всех сил, как было бы интересно стихотворение о форме “А”. Буквы “А”. Имел ли он в виду форму ее начертания или некую другую, понять я не мог. Говоря, он делал руками движения, рисующие именно типографскую форму этого звука. Выражался же гораздо темнее. Как будто имелось в виду нечто другое, куда более сокровенно-глубокое, однако, безо всякой мистики. И ничего не понимая, я тем не менее чувствовал, что сам он верует в то, что добывает из цепи ощущений. В литературе он, как, впрочем, многие настоящие художники, ничего не понимал. Веровал в Хлебникова. В Коране признают одним из пророков Иисуса. А спросить у любого магометанина — читал ли он Евангелия? И кроме того, в те дни еще было ощущение какой-то связи между передним краем литературы, изо и музыки. Но наступление на этот край — на левое искусство или формализм — шло все возрастая. У Малевича мастерскую отобрали. Формалистов стали удалять со всех ключевых позиций. Но маэстро и Костя Рождественский, с которым тот успел помириться, считались все еще лучшими оформителями города. Умели объяснять каждую свою работу теоретически. К этому времени обстоятельства сложились так, что мы реже встречались с Анечкой и Суетиным. Им поручили оформление Парижской выставки.

1955
18
ноября

Суетины остались хорошими знакомыми, которых, по стечению обстоятельств, встречаешь два-три раза в год. Анечку, впрочем, чаще. Она прибегала с массой новостей и сведений, высокая, шустрая, веселая. От жадности, с которой она впиты-

вала впечатления, в голове у нее происходили иной раз недоразумения. Так, сообщила она мне однажды, что Шекспир писал по-латыни. Сколько я ни спорил, она стояла на своем. Первое впечатление задело ее чувства и тем самым заняло место среди прочих ее верований. А попробуй, вырви чувство, воздействуй на веру. Я звонил Лозинскому, но и он ее не убедил. Я показал ей издание "Гамлета" в переводе Лозинского, где на левых страницах шел текст английский, а на правых — перевод. Тут она чуть дрогнула. "Ну, может быть (может быть!) — сказала она. — Некоторые пьесы писал он по-английски. Но все (все!) они написаны по-латыни". Издали-издали стали доноситься слухи, что маэстро уже не тот. Работали они с Костей в Москве, своими глазами убедиться я не мог и потому предпочитал не верить, но рассказывали, что маэстро, пьяневший от одной рюмки, теперь научился пить. Связался с какой-то девушкой. С Анечкой не то разошелся, не то нет. Впервые встретился я с ним, когда вернулся он из Парижа. Анечка привела его к нам в гости. И в самом деле — держал маэстро руки и плечи не по-монашески. И не проповедовал. Со смертью Малевича, главы ордена, с успехом выставки он словно бы разрешил себе наслаждения менее высокие. Глаза все смотрели диковато. Он выпил со мной пол-литра коньяку, потом вина, но ничего с ним не случилось. Маэстро вырос, дверь школы со смертью учителя распахнулась и выпустила его в толпу взрослых и практических людей. Опьянев, он стал не проповедовать, нет, но делиться практическим опытом. Он объяснял, как надо обращаться с заказчиками. Как вести себя — не стоит вспоминать. Со свойственной людям его склада правдивостью, он не стыдился себя в новом воплощении и веровал, что так и надо.

1955
19
ноября

Взрослый маэстро отошел от нас еще дальше. Вскоре стал он готовить вместе с Костей оформление американской выставки. Советского отдела выставки. Тут они поднялись до таких высот, что Костя Рождественский уверовал в свою значительность до самой глубины души. Он и без того уродился дородным и рослым, а тут еще появилась некоторая сановитость и почти министерская рассеянность. Ему чудилось, что удача пришла к нему неспроста. Все, что он думал о самом себе, подтвердилось — так чудилось ему. Превратился он в оформителя, но писать бросил начисто. А маэстро, по правдивости своей, сошелся с молоденькой женщиной, но объяснил

Анечке, что без нее жить не может тоже, и она, по верности и склонности к самым трудным для нее, самым мучительным положениям, пошла на это. Все они жили в Москве и работали над оформлением выставки, но Анечка получала меньше других, — маэстро считал, что неудобно выдвигать жену. И при этом все знали, что есть у него еще жена.

Так и представлял он свою девушку. А потом с Костей уехали они в Америку. А у новой жены маэстро родилась девочка. Мы совсем уж почти не встречались. Катюша поговорила с маэстро по телефону, сказала, что Анечка погибнет, если он не поддержит, хотя бы с материальной стороны, ее жизнь. Потом, кажется, Катя встретилась с ним и поговорила в Летнем саду. И сказала потом, что понимает маэстро. Правдивость в любовной стороне его жизни, вероятно. Я не расспрашивал. (Почему всегда неловко писать о жене и приводить ее слова?) Летом сорокового года, когда совсем уже больной папа жил у нас на даче, и маму перевез я туда же, уговорили мы и Анечку переселиться к нам. Она заняла верх во флигельке, где жила хозяйка дачи. Сложностей и боли досталось ей на этот раз больше, чем может вынести человек. Она исхудала. Всегда бледная, как подобает блондинке с рыжеватым оттенком, тут стала она невозможно белой.

1955 20 *ноября*

Но по удивительной жизненной силе оставалась она все той же — веселой, шустрой, быстрой. Вставая на рассвете, ухитрялась тем не менее опаздывать к завтраку. Папа не жил, а мучился, но выходил к столу, задыхаясь. На людях ему было легче. И Анечке раза два-три удалось рассмешить его. Мы, как любил папа в детские мои годы, придумывали шарады, и Анечка умышленно давала нелепые ответы с необыкновенной быстротой. И папа смеялся.



Когда началась война и бомбежка Москвы, маэстро приехал в Ленинград, отправив свою девочку с матерью в эвакуацию. Он, в случае несчастий и бед, чувствовал себя спокойнее возле Анечки. По правдивости натуры ужас он так же мало скрывал, так же отдавался ему, как и прочим своим страстям. Увиделись мы с ним в 44-м году. К этому времени погибла молодая жена маэстро. Возле Уфы, в какой-то деревне. Уже перед возвращением в Москву пошла она в соседнее село купить шерсти и попала в буран, заблудилась

и замерзла. Анечка и маэстро обменяли квартиру, все в том же доме собственников. Я пришел к ним с Наташей, приехав на несколько дней из Москвы. Лестница оказалась еще круче. По черной этой лестнице попали мы в кухню, она же столовая. Вихрем налетела на меня Анечка, высокая, веселая. Встал из-за стола, улыбаясь и диковато поглядывая, маэстро, очень похожий на раннего, двадцатых годов. Он рисовал развалины домов. И как настоящий ученик Малевича, объяснял свои рисунки, давал их теорию. И все-таки они были хороши. Рисовал он все время женщину с худым лицом, головой, склоненной набок, как на прежних его картинах. И Анечка объяснила мне шепотом, что это он хочет найти ощущение женщины, умирающей в буран в снеговых сугробах. Анечка же работала в Музее обороны. Занималась реставрацией окраски зала Кировского театра. Жизнь кипела. По случаю моего приезда Анечка убежала в какую-то из квартир в недрах дома, к какой-то бывшей владелице квартиры, у которой всегда можно было купить водку. И вихрем же примчалась обратно с поллитром. Выпив, маэстро не говорил о том, как жить, а все больше смеялся, что не было ему свойственно в двадцатые годы. Появился он после этого у нас в гостинице "Москва". Он был художественным руководителем Ломоносовского завода. Получил орден Ленина — по совокупности. За выставки и завод.

1955
26 ноября

И вскоре снова ринулась Анечка туда, где страшней, словно в водопад. Оформлять зал Мариинского театра она кончала. И напечатана была поэтому беседа с ней, полная теоретических ее высказываний, в "Ленинградской правде". Очень сердился Натан Альтман по этому поводу: "Вот эта манера школы. Скажите, пожалуйста, восстановила окраску зала, хотя бы и новую придумала, — чего ж тут разводить философию! Покрасили — вот и весь смысл. Вопрос один — хорошо или плохо". Работала Анечка и на Ломоносовском заводе. Но в маэстро с горьким дымом и серным пламенем заиграли душевные вихри и телесные страсти. Он убедил Анечку взять к себе дочку его, Нину. История эта длилась долго и мучительно. Девочка появлялась с бабушкой и дедушкой, которые потом исчезали. Тут же примешалась история с мастерской. Анечка устраивала себе свою, а маэстро — свою, причем он собирался жениться на какой-то девице. Но не позволял Анечке уходить от него совсем. Это было бы для него

погибельно. А в квартире у них поселилась Анечкина сестра со своим сынишкой. Муж ее умер в блокаду. И Анечка приняла ее. Быстрая, шустрая, веселая носилась она по всем своим службам, объяснялась до утра с маэстро — иначе он не мог — и возилась со всеми своими подопечными. И Нинка — дочь маэстро — привязалась к ней, как к родной матери. И оставшиеся от прежних времен художники ходили к ней и вели длиннейшие труднопонимаемые разговоры. И Анютка вела их, словно богомолка с юродивыми. И в нее влюблялись еще. И она, продолжая любить маэстро или мучения, исходящие от него, отвечала иным влюбленным взаимностью. И принимала набор травок, открытый каким-то чудом врачихой Кириченко, и веровала в них со страстью, как в психоанализ. И всем она была нужна. Вся семья жила ею.

1955 27 ноября

Кроме сестры, живущей у нее и нигде не работающей (впрочем, потом она поступила куда-то), кроме Нинки, вечно в семье Лепорских заболевал кто-нибудь или впадал в бедственное состояние и обрушивался на Анютку со всей тяжестью, словно она осталась старшей в семье. Год жила у нее сестра, помешавшаяся в известный период женской жизни на том, что зять ее убийца и шпион. Впрочем, и Анечку она подозревала в чем-то подобном. И это перенесла Анютка наша со всей своей богатырской силой. Последние годы ее жизни с маэстро трудно рассказывать. Тут уж действительно нужен был психоанализ, или тибетские травы, или юродивый из-за Серпуховской заставы. Я, боясь за свою непрочную уравновешенность, старался не глядеть в ту сторону. Маэстро, не желая лгать и притворяться, дал разгореться и раздымиться во всю мочь в адской мгле тех лет одной своей страстишке. К Верке — так называлась эта девица в узком кругу. Служила эта Верка на заводе, не знаю, в какой должности, и согласилась ответить на домогательства маэстро только при условии зарегистрированного брака. Не знаю, поняла она хоть сотую часть того, что бормотал ей смуглый наш маэстро, потупив свои диковатые очи. Но как соблюсти свои интересы, понимала со всем хладнокровием молодой служащей. И после множества объяснений Нинка переехала к Анечке в мастерскую, а маэстро записался с Веркой. И она запрещала ему ходить объясняться с Анечкой и поносила ее всячески. Анечка встречалась с ней ежедневно на заводе, где Верка давала ей чувствовать, где законная жена. Кроме тех случаев, впрочем,

когда принимали с похвалой какую-нибудь Анечкину чашку или пепельницу. Тут вспоминалось, что она, Анечка, жена худрука, и на блеск успеха ее ложилась словно бы пыль. В изнеможении, превращаясь из бледной в серую, едва доживала Анечка до отпуска и уезжала на Рижское взморье.

1955 28 ноября

И там, на Рижском взморье, жила она шумно, шустро, весело, несмотря на усталость, с таким живым вниманием к людям, что они, истосковавшиеся без этого драгоценного проявления человеческого духа, открывались перед ней. О чем, приехав домой, рассказывала она в подробностях. Чужих тайн таить она не умела, с чем примирился я понемножку за время нашего знакомства. А в начале чуть не поссорился, когда узнал, что одна художница рассказывает историю нашей с Катюшей женитьбы, уже обросшую некоторыми подробностями, трогательными, но никогда не существовавшими. Анечка не лгала, но такова уж судьба историй, передаваемых из уст в уста. На Рижском взморье влюбился в Анечку старик-садовник, латыш. Со своими светлейшими волосами, высоким ростом казалась она ему, видимо, своей. Но как-то шла она по шоссе, и с грузовика какой-то парнюга латыш швырнул в нее картофелиной. Ударил в грудь, до синяка. Этот не счел ее своей. Откуда ему было знать Анечку, со всей ее перевернутой душой, самоотверженностью, мученичеством и счастьем. Подумал, дубина, русская идет — и все. В 52-м году летом уехала Анечка отдыхать в Коктебель, и вдруг вызвали ее телеграммой в Москву: у маэстро сильнейший инфаркт, и, как всегда, без Анечки ему показалось страшно в страшную минуту жизни. Она была все время при нем. Через некоторое время прибыла и Верка. Санаторий, в котором оказался больной маэстро, просто закипел от любопытства. Но скоро его перевезли в Кремлевскую больницу, и Верка удалилась к месту службы. Анечка оставалась при маэстро, пока не стал он поправляться. Вернувшись в Ленинград, она ежедневно звонила в больницу. В январе он вернулся. И стало ему настолько лучше, что — к Верке. Тут он узнал, что Верка продала его шубу, полагая, что он безнадежен. И маэстро вернулся к Анечке. И расхворался снова и 22 февраля 54-го года умер в Военно-медицинской академии. На гражданской панихиде, перпендикулярно к гробу, в отличие от других, прислоненных к нему, стоял стоймя неестественной величины венок из белых цветов, с надписью “от жены”.

1955
29
ноября

Сама Верка заняла место у изголовья, все остальные стояли на почтительном расстоянии, в прямом смысле этого слова. Иные жались у стен, в испуге и растерянности. Анечка стояла в первом ряду пришедших попрощаться с маэстро, окруженная друзьями и уцелевшими учениками Казимира, некоторые из которых приехали из Москвы. Среди них Костя Рождественский. О нем трудно было сказать: уцелевший. Слово это как бы указывает на некоторую неполноценность. Ущербность. Какое там! Он стал куда крепче и еще осанистее, чем в 20-е годы. Его простоватое и благообразное лицо дышало благодушием, хоть и хоронил он друга. Прямо с похорон отправлялся он в Данию оформлять какую-то выставку. Витебское умение побеждать и доказывать, что данный вид искусства является единственно советским, уцелело и процвело только в области оформления, и Костя Рождественский отныне оставался единственным его представителем. А маэстро лежал в белом гробу — любимый его цвет, Анечке удалось добиться этого. Страшный, как никогда, без признака благообразия, обычного у покойников. Лицо казалось маленьким, рот перекошенным. И тут же показалось, что он правдив, как и при жизни. Со страстью, с ужасом отрицал он смерть, умирая, и не скрыл этого, как ничего не скрывал, пока был жив. Умер без всякой мистики. Я, как всегда на похоронах, был в смятении чувств и потому холоден. За день до этого похоронил Тоню, что еще усиливало тупую холодность, с которой глядел я на происходящее. Но когда понесли гроб, белый, в цветах, к похоронному автобусу, и художники высыпали на улицу, дрогнуло у меня сердце. Кроме Кости Рождественского и еще двух-трех, остальные походили на толпу нищих у церкви. Ободранные, облезшие, кто с перевязанной щекой, кто в ватнике, кто с перевязанным глазом, кто хромой. Тут были уцелевшие с веселого и боевого времени двадцатых годов, чудом уцелевшие, битые-перебитые левые художники. Ели да пили они теперь от случая к случаю.



Но еще больше собралось их гонителей, честно верующих в реализм в нынешней трактовке его, пожравшие и поправшие и побившие камнями леваков, но нисколько от этого не раздобревшие. Угрюмо и осуждающе глядели они на мир, смутно понимая, что разрушив новое, не воскресили старого. И теперь

готовы были они написать, как нужно и что угодно, но ни заказов, ни приказов — один мрак на душе. В первый автобус возле гроба уложили часть венков, втиснулись близкие. И я решил проводить маэстро на кладбище, лучшая полоса моей жизни — конец двадцатых, начало тридцатых годов — была связана с ним. И я забрался в один из автобусов. На кладбище одни столпились у разрытой могилы, а я все с тем же смятением чувств присоединился к тем, кто остался на аллее. И Костя Рождественский, высокий, дородный и благообразный до того, что природная простоватость едва прорезывалась в большом лице его, милостиво приветствовал меня. Сказал: "И какой изящный! " Валя Курдов уклончиво и открыто, на восточный курдский лад, то взглядывая, то убегая от прямого взгляда, повел нас на могилу тестя, профессора Неменова, где на постаменте возвышался бронзовый бюст работы Сарры Лебедевой. И лица у художников стали непритворно строгими и внимательными. И они замолчали, как на молитве, обходя памятник со всех сторон. И почтительно похвалили бюст. И мы вернулись к могиле. И вдруг в конце аллеи показалась "Победа", такси, вопреки правилам несущееся под деревьями, мимо крестов и памятников. И затормозило такси возле нас. И оттуда по-старушечьи хлопотливо выбралась, чуть не вывалилась старая еврейка, бабушка Нинки и, переваливаясь, побежала к гробу. И с ходу завыла над ним, запричитала: "Что же это с тобой сделали". Пошла она обратно с Анечкой под руку.

1955
1
декабря

И, несмотря на скорбное выражение, лицо бабушки сияло некоторым самодовольством. "Видите, как управилась! Это надо уметь!" Холмик над могилой был скрыт под венками, и мы ушли. И только через несколько дней в памяти моей воскрес живой маэстро с темным худым лицом и диковатыми глазами. Как прожил он жизнь — не мне судить. Все было. Зато не было равнодушия. Анечка ездит на кладбище. Поставила решетку. Добилась пенсии для Нинки. Добилась утверждения ее в правах наследства. Причем Верка вывезла на глазах у соседей ряд чемоданов с вещами, папок с рисунками маэстро и его полотна с женщиной как бы с подносом, склонившей печально овал головы без лица, но написанной в красках чистых и ясных, без мистики. И многие другие. А на заводе Верка распустила слухи, что Анечка вывезла все это, подобрав ключи. Быстрая, шустрая, уже не

бледная, а светло-серая, продолжала Анечка борьбу за Нинкины права. Глаза у нее отекли, сердце сдавало. Но она отсудила ей отдельную комнату, и теперь, после ряда обменов, у девочки отдельная комната в 22 метра. Но живет она и у себя, и у Анечки, чтобы девочка не оставалась безнадзорной. Бабка ее, столь полная жизни, умерла недавно от рака. Работает Анечка на заводе. Встает чуть свет, чтобы успеть к восьми в село Рыбацкое, и возвращается темным вечером. И все полна забот о Нинке, о родном племяннике Димке, талантливом математике, поступившем в этом году в университет. Ей кажется, что мать лишает его уверенности в себе, развивает какие-то комплексы. Она все ищет новых и чистых форм для фарфоровых чашек. Недавно московская комиссия признала лучшим ее проект фарфоровой люстры. И пьет Анечка травы, чудом открытые Кириченко (иначе не поверила бы, коли не чудом). Но едва доживает до отпуска, несмотря на это. В отпуск ездит она теперь на Черное море в Пицунду. И возвращается загорелая, полная рассказов, шустрая и до того быстрая, что недавно в спешке упала и сломала ребро.

1955
2
декабря

Но в суете, в беспокойстве, в бегстве, к врачу собралась она только недели через две, когда ребро уже само по себе начало кое-как срастаться. Перемогалась, переносила боль все такая же шустрая и веселая, как и при целом ребре. Вчера была она у нас, принимала ванну — она живет в мастерской, где ванны у нее не имеется. Пришла веселая, серая от усталости, с отекшими верхними веками, нависшими над глазами. Когда вышла из ванны, то словно после отпуска расцвела. Светлые ее, круто вьющиеся, жесткие волосы, подсохнув, гривой поднялись над лбом. И вся она сияла от оживления. Рассказала о Нинке, с которой поссорилась в воспитательных целях, а теперь помирилась. Помянула с глубокой верой Кириченко. Но спросила, не могу ли я устроить ее через Литфонд к Сорокиной, известной гомеопатке. Увидала фотографии скульптур Коненкова, и лицо ее приняло то самое выражение, что я так люблю у художников. Непритворно отреченное. Она замолчала, как верующий на молитве. И потом заговорила неясно, не точно, как всегда говорят художники. После завода, после работы, дома была все той же — ни признака слабости или усталости. Все та же Анечка, какую встретил 27 лет назад.

1954
1
марта

Сегодня днем во втором часу в первый день масленицы у Наташи родилась дочка. Вчера, когда отвезли Наташу к Отто по нашему настоянию, "родовая деятельность", как сказали по телефону из лечебницы, у нее прекратилась. Наташа звонила Олегу, плакала, просила взять ее домой. В десять звонила к нам, не застала меня, говорила с Катюшей. Просила перевести хоть в дородовое, здесь уж слишком жутко. Кто-то сказал ей, что "родовая деятельность" может возобновиться и через месяц только. Просила передать мне, чтобы я не беспокоился, не думал, что она мучается. А я не мог простить себе, что мы заставили ее ехать в больницу. Ей так хотелось провести воскресный день дома. "Тут так хорошо". Всю ночь меня мучали кошмары, просыпался я от несуществующих звонков. Утром — полное молчание. В начале одиннадцатого Катюша дозвонилась до лечебницы Отто. Докторша сообщила, что схватки начались уже настоящие и что Наташе можно привезти апельсинов и шоколаду. Теперь они дают это, чтобы подкрепить рожениц. Я поехал к Андрюше, который встретил меня радостно, но и растерянно: чувствовал, что назревают какие-то события. Маму увезли! Феня уделила два апельсина из Андрюшиных запасов, из пяти штук, и я поехал к Отто. Снова я в больничной атмосфере, среди ожидаюших. Докторша сообщает, что схватки идут уже два часа. Она надеется позвонить мне часа через три и сообщить, кто родился. Домой иду пешком, чтобы скорее пролетело время. И едва я пришел и поговорил с Катей, — звонок: "Поздравляю с внучкой". Скоро узнаем вес: три кило триста. То есть восемь фунтов с четвертью. Звоним всем. Но я еще боюсь.

1954
18
марта

Режиссер Цетнерович Павел Владиславович человек очень высокого роста. Репетирует он неутомимо, не замечая времени, как оратор, нарушающий регламент. Он, тощий, узкоплечий, седой, ставит на режиссерский столик три стакана с очень крепким чаем, а под стул — бутылочку из-под боржома. "Тут мое лекарство",— сообщил он, когда я, по неведению, едва не опрокинул этот сосуд. Кажется, там черный кофе. И все время он мечется. То он на сцене, то в партере, и кричит, кричит. Кричит он указания актерам. Например: "Володя, тут вы затормозите, чтобы накопить, а я потом дожму, в поэтическом плане". "Лучше. Насыщенно. Но это еще не потолок". "У этих фраз правильные рельсы, но ты не снижай, и тогда эмоция сама

выплеснет". "Маша, тут у тебя есть привкус истошности". "Тут эмоция отошла, осталась материнская настойчивость" — и так далее. И актеры понимают его. Это сложное существо, актерский коллектив, в основном слушается своего долговязого и седого повелителя, но полное подчинение, священный трепет — отсутствуют. На замечания актеры, правда, невнятно и глухо огрызаются. Они в коридоре обсуждают трактовку образов и глухо и невнятно спорят с ней. Полного подчинения свирепый режиссер добиться может. Но священный трепет — другое дело. Тут нужна режиссеру слава, многие победы или очень молодой коллектив. Между тем Цетнерович очень уж моложав. Кажется иной раз, что ему лет пятнадцать, несмотря на его седые волосы, и авторитет свой он укрепляет, доказывает, что уже взрослый, — так же шумно и обидчиво, как в том возрасте. Сейчас еду на генеральную. Вечером постараюсь дописать, что из всего этого получится. Получилось вот что: премьеру отложили еще на четыре дня, то есть до 24-го. От сегодняшнего дня, следовательно, почти на неделю. Не знаю, что из этой новой премьеры выйдет. Сегодня шло плохо.

1954
19 марта

Вчерашняя генеральная репетиция вызвала тот самый нездоровый, сонный отзыв всего моего существа, который я терпеть не могу. Я дважды на самом деле засыпал да и только. Было человек полтораста зрителей — детей. Все девочки, ученицы третьего класса. "Реакции", как говорили на заседании художественного совета, были правильные, но то, что творилось на сцене, ни на что не было похоже. Я удивлялся, как девочки поняли хотя бы то, что деревья плакали. Слез не было. Не вышли. На нижних ветвях повисли не то значки, не то сережки, да и их тоже не осветили. Ужасна была избушка. Я, вместо того чтобы прийти в ярость, впал в безразличное состояние. Засыпал не только на репетиции, но и на художественном совете.

1954
7 апреля

Вчера был в Союзе, заказывал билет в Москву. Задумался и проехал остановку на [улице] Чайкиной. Троллейбус тихо вкатился на Литейный мост, и я увидел, что справа под набережной у самого моста, под самой Невой, существует подбитый сваями треугольник земли. Существует давно — домик выстроен на этой земле, растут деревья. И я попрекнул себя за невниматель-

ность. Сколько раз проезжал, сколько раз проходил я над этой речной негородской землей — и проглядел. Нева очистилась ото льда — две-три льдины с белыми краями затерялись на водяном пространстве. В этой нечаянной прогулке я некоторое время находился в настоящем времени. Не вспоминал и не мечтал, а шел и видел все вокруг — высохшие панели, солнце, понимал, что удалось еще увидеть Неву освободившуюся и с тем же выражением, какое поразило меня в сентябре 14-го года, при первой встрече. Увидев тогда Неву, я не почувствовал себя чужим.

1954
8
апреля

Всегда у меня тревожно на душе, когда гляжу я на свою столь уязвимую семью. Вот к чему относится последнее слово предыдущей страницы. Я перечитывал свой рассказ, не рассказ "5-я зона — Ленинград". В поисках точности забыл о главном: болотная скудность, окраинная скудность. Первая намечается, нет выступает после Белоострова, вторая — по мере приближения к городу. Нельзя забывать о вещах, которые кажутся очевидными и само собою разумеющимися. Их именно поэтому и не забываешь. Итак, сегодня собираюсь в Москву. Билет уже в кармане. Как одна партия в карты не похожа на другую, не будет похожа и эта поездка на прошлую, хоть вернулся я всего две недели назад.

1954
10
апреля

Вчера состоялась премьера "Двух кленов". Успех был, но не тот, который я люблю. Мне все время стыдно то за один, то за другой кусок спектакля. Возможно, не я в этом виноват, но самому себе этого не докажешь. Видимо, с ТЮЗом московским, несмотря на дружеские излияния с обеих сторон, мне больше не работать. Тем не менее, и успех, и атмосфера успеха имелись налицо и даже в ресторан ВТО пошли мы небольшой компанией с Чуковским и Рыссами, и Тусей, и Даней. И режиссером, и Якушкиной. И сегодня проснулся я без горестных ощущений. Потому что уезжая, ждал я худшего. Уезжая из Москвы в прошлый раз. Сегодня в три часа мне предстоит встреча с Лобановым. После этого только решу я, когда мне ехать: сегодня или подождать немножко. И побывать завтра у Кавериных в Переделкино. Не знаю, чего мне хочется. Сейчас без четверти двенадцать. В коридоре уборщицы разговаривают, бренчат ведрами, звенят ключами. Солнце то покажется, то скроется. Номер у меня длинный, крошечный, причи-

тающаяся ему мебель еле умещается. Письменный стол до половины против кровати. Полшага между ними. Позади кровати столик с телефоном и высокой настольной лампой с оранжевым абажуром, длинная бахрома которого мешает, когда читаешь ночью. Приходится класть лампочку на стул возле кровати, а бахрому откидывать. Между кроватью и дверью — массивный, не по номерку, шкаф с зеркальной дверцей. Против него вделана в стену умывальная фаянсовая раковина. Над ней — большое квадратное зеркало. На письменном столе, кроме пластмассового письменного прибора, — два чайника: большой никелированный и малый фарфоровый. Я могу сбегать к титану за кипятком, если захочу. Кроме того, стоит против меня стеклянный кувшин и целых три стакана. Стол покрыт стеклом. Вот и все.

1954
12
апреля

Тетрадь эта перестает быть помощником. Напишу две страницы и совесть спокойна. В прозе я чувствую себя, как и прежде, не свободным. Свободу, подобие свободы, приобретаю, только оторвавшись от самого себя, от себя лично, рассказывая о людях более или менее близких. О совсем близких говорю так же связанно, как о себе самом. Словом, нужно отказаться от прозы или найти новый способ упражнений, кроме этого, успокаивающего совесть. А отказаться от него, от этого вида прозы как будто и жалко. Через мое неумение иногда вдруг выступает и правда. Попробую записать Глинку Владислава Михайловича. Это один из самых привлекательных и немузыкальных людей, из тех, что встречал я в жизни... Слишком большой запас слов, как у не по возрасту развитых и начитанных детей, за что их в классе и уважают, но больше — дразнят. Работа во дворцах, с военными материалами к этому запасу слов, к этой богатой манере выражаться прибавила и несколько преувеличенную, как бы придворную манеру держаться. Такова вредность его профессии.

1954
13
апреля

Он много знает. Его специальность — восемнадцатый век, начало девятнадцатого. Русский отдел Эрмитажа, в сущности, его детище. Знает Глинка — впрочем, отлично — и военные поселения. Когда мы познакомились, занимался он как раз Аракчеевым. Любит он музейную свою работу, но кому может пройти безнаказанно ежедневное пребывание в высокоторжественных залах Эр-

митажа. Чувство юмора и музыкальность в бытовой области, где есть у нее свои законы, у Владислава Михайловича отсутствуют начисто. И это усиливает эрмитажное влияние. Рассказывает он охотно. И хорошо. И всегда интересно. Но и тут сказывается отравление музейным ядом и литературность все того же излишне развитого пятиклассника. Познакомился я с ним в тридцать восьмом году. Жили мы в Мельничных Ручьях, на литфондовской даче... Места для прогулок тут были небогатые. Мы с Катюшей брели не спеша к развалинам имения Всеволожского через овраг, заросший орешником. Стандартные литфондовские дачи вытяулись вдоль недавно разбитой, поросшей травой улицы, окаймленной неглубокими канавками. И, возвращаясь с прогулки, увидели тонкую, высокую фигуру Владислава Михайловича.

1954
14
апреля

Одетый, как всегда, очень корректно, по-городскому, держа голову чуть набок, правдиво и просто глядя через очки, заговорил он, как всегда, литературно и непросто о рукописи своей, которую должен был я прочесть. По нездоровой, преступной бездеятельности моей я не дочитал его романа, отрывков романа о военных поселениях. Но тем не менее поговорили о романе по существу. Заезжал он к нам еще раза два, и постепенно деловое знакомство перешло в личное. Все общие знакомые говорили о нем хорошо. Иные — с оттенком насмешки, которая приходилась на долю его манеры держаться и выправки, но и эти, вспомнив, видимо, простые, чуть по-обезьяньи глубоко посаженные глаза, спешили похвалить его. А я чем больше встречался с ним, тем яснее понимал, какую роль в его жизни играет форма. Он подчинялся ей с полным к ней уважением, она его вела. Я это особенно отчетливо [понял], когда перешел с ним на ты. Новая форма обращения неожиданно изменила наши отношения. Он стал проще, доверчивее, перестал обижаться на шутки. Люди при таких отношениях часто переходят на ты, а он, перейдя на ты, установил такие отношения. А обидчив был он сильно. Он не кричал, не ссорился, не требовал к ответу, но его манера обращения менялась, и он на некоторое время исчезал. (Я не люблю слово “манера”, но, рассказывая о Глинке, трудно найти другое.) Человек, приверженный форме, неизбежно несколько угловат: жизнь многообразней любых форм, и Глинкина обидчивость вызывалась именно этими его столкновениями с жизнью. Придется, видимо, мне

записывать за Глинкой. Его язык никак не могу вспомнить. И с удивлением вижу, что он из тех друзей, которые на слуху. Он мне ясен не фактами, а способом выражать себя.



Голос его звучит всегда неразговорно. С такими интонациями читают вслух пьесы или диалоги из романов. Голос человека, читающего вслух, всегда меняется. И голос Владислава Михайловича, говор его, — напряжен.

У него большая семья. Брат, погибший во время войны, в самом ее начале, оставил ему двух сирот. Мальчика, который теперь, правда, кончает Нахимовское, и девочку, ныне студентку. Мать Глинки живет у него. Жена Глинки работает где-то, помогает тащить семью. Дочка Глинки учится в медицинском институте. Вся эта нескладно мной перечисленная семья при восьмистах рублях эрмитажного жалованья захирела бы, и Глинка изо всех [сил] работает, чтобы свести концы с концами. Он консультирует в театрах и киностудиях, когда там готовятся исторические спектакли, пишет статьи, рецензии. Кроме того, пишет книги, что является второй его профессией, так как он не только историк, но и писатель, член ССП. Автор книг и детских, и взрослых. И в книгах его все то же великолепное знание материала и несвободный, напряженный голос. От всех своих дел он так устает, что его чуть обезьяньи глазки глядят часто не только просто, но и скорбно. Иной раз приходит он к нам совсем стариком. Не седые волосы и не впалые щеки, а общее выражение придает ему этот вид. У него больные ноги — отсутствие в них пульса. И болезнь усиливается иной раз. Но, отдохнув, он снова приобретает свой мужественный, подтянутый характер и появляется в дверях весело, условно весело выкрикивая шутливые приветствия. Отдыхает он иной раз в селе Михайловском. И без малейшей иронии, чуть печально, сообщает: “Да, еду ко святым местам”. Когда гостила у нас Варя, мы пошли в Эрмитаж, и проводником нашим по его залам был Глинка. По ряду причин в те дни сонные мои чувства проснулись. Эрмитаж не мучил меня, а радовал.



И главное мучение Эрмитажа было снято. Не рассеивалось внимание. Картины не кричали, перебивая друг друга: “Смотри на меня”. Не попрекали за неграмотность и холодность. Владислав Михайлович вел к самой значительной из них и говорил

так, что убеждал нас в ее значительности. На бледных его скулах вспыхнул румянец. Он чувствовал, что мы увлечены, и это увлекало его самого. Становилось все темнее, а свет еще не зажигали — вечное несчастье, осеннее несчастье музея. Но я впервые в жизни не чувствовал себя чужим в этом царстве. По дворцу, в котором картины не то жили, не то служили украшению стен, водил нас придворный. Верный своему повелителю. Было в его литературных интонациях нечто расхолаживающее, но тогда, в сумерках, понятое мной. Художник пристрастен, партиен. Он влюблен в того или другого мастера. Влюблен так лично, так близко, что часто не может рассказать об этом, как о любви к жене или детям. И любовь к одному мастеру делает его несправедливым к остальным. Объяснения Глинки были ровны. Он не был одинаково почтителен ко всем. Далеко нет! Но известная степень почтительности распространялась даже на художников, по его мнению, незначительных. Художник — это пророк, а музейный работник — священник. В его славословиях есть расхолаживающая повторяемость, ежедневность — несчастье каждого священника. Но если пламя веры чего-нибудь стоит, то Глинка был сегодня хоть и не пророком и не святым, но истинным праведником. Ему пятьдесят один год. Половину, большую половину своей жизни, благоговейно прослужил он своим богам. И я, отбросив дилетантское, дешевое презрение к священникам, молился с ним.

1954
17
апреля

В те дни по ряду причин был я опьянен тем, что проснулся и вижу. Как выздоравливающий, жадно всматривался я в то, что показывал нам Вячеслав Михайлович и заражался его восторгами. Взглянув на часы, он попросил прощения — ему надо было зайти на пять минут в русский отдел, по месту работы. Мы остались ждать в нескончаемо высокой дворцовой узкой и длинной зале, а может быть, коридоре, галерее, не знаю, как назвать это архитектурное явление. Мы сидели в мягких креслах, а против нас во всю стену разместились драгоценные гобелены, сдержанные зеленовато-серые краски коих всю жизнь наводили на меня тоску. Но сегодня и они были мне понятны. Мифологические и библейские сюжеты, разыгранные и вытканные со всей воспитанностью и церемонностью, соответствовали месту. Через восемьдесят минут появился строгий, сдержанно улыбающийся Глинка, седой,

стройный, моложавый, пропитанный всеми благовониями, неслышными, но угадываемыми миррой и ладаном храма сего. И мы пошли во французский отдел. И в зале восемнадцатого века меня словно ударила, окликнула картина, неясная даже при вспыхнувших уже лампах. Она висела на стенде, и сумерки были еще достаточно светлы, чтобы бороться с желтым электрическим светом. На берегу моря, на лугах и полях шла пасторальная жизнь, и поселяне, пастухи и пастушки, не глядели на синеватую гору, где в свободной естественной позе развалился гигант, играющий на свирели. Я поспешил уйти, чтобы, вглядевшись через полумрак, не убить того, что проснулось вдруг во мне. Потом поднялись мы к новым французским, недавно допущенным, скрепя сердце, в дворцовые залы.

1954
18
апреля

И я смотрел на них. Тут совсем пусто, только один недоумевающий бледный и тощий юноша с густыми и вьющимися черными волосами бродил от картины к картине. Услышав, что Глинка дает нам какие-то разъяснения, он подошел к нам и сказал: "Разрешите спросить, эти художники как называются — футуристы?" Вопрос ошеломил нас, мы стояли возле Ренуара, уж кажется, до того понятного. Но Глинка ответил богохульнику терпеливо и подробно, понимая, что согрешил тот по нечаянности, не ведая, что творит. От французов пошли мы с Глинкой в русский отдел, постояли возле Петра. Глинка тут уж совсем, как хозяин, шагнул к самой восковой персоне за пространство, отгороженное красным шнуром, и объяснил нам, как была сделана фигура. Проводил он нас до самого гардероба. И вот, отвалив тяжелые дворцовые двери, выбрались мы к Неве и увидали ночной уже город с фонарями и черную реку с полосами огней. И Варя сказала убежденно: "Нет, ленинградские студенты получают, конечно, больше, чем студенты других городов". А через несколько дней Глинка принес две своих книги для того, чтобы послал я их Варе в Майкоп, в память о нашем путешествии. Шестнадцатого, после того как отпраздновал я вместе с Наташей двадцать пятый день ее рождения и ушла она с Олегом в кино, я отправился к Акимову. Он позвал меня на день своего рождения. Пришел я поздно. Пробираясь на свое место, среди гостей за длинным столом наискось от меня увидел я кудрявого, седого Глинку с темными печальными глазками за блистающими стеклами очков. Когда видишь

человека во сне или пишешь о нем, то к привычному представлению о нем что-то прибавляется.

1954
19 апреля

"Ах, вот ты какой!" — подумал я. Глинка находился в печальной своей форме. Был он крайне утомлен и немолод. И глядел подтянуто, осуждающе, как всегда на сборищах такого вида. Я же, выпив, как всегда вообразил, что окружен ближайшими друзьями, шумел, и болтал, и смешил, стараясь не глядеть наискось. И вдруг в моем ряду за столом, через три человека увидел я очень молоденькую девушку, красота которой поразила меня. "Кто ты? — думал я печально и благоговейно, продолжая шуметь и болтать. — Куда приведет тебя дар божий?" "Кто эта девушка?" — спросил я. "Дочка Глинки, Ляля", — ответили мне. Подумать только! Сколько раз видел я ее и девочкой и подростком и думал весело: "Экая ты нескладная". Пришел я к Акимову от своей дочки и внука и внучки. И по дороге в Комарово думал я о том, что все же, видимо, мы отходим, дети и внуки занимают наше место. И как странно и славно, что у нашего подвижника музеев — дочка такой красоты. Словно в награду. А он-то поглядывает просто и печально своими темными глазками, словно награда эта не его счастье, а дочкино. Вот и все о Глинке.

1954
20 апреля

Был сегодня в городе на премьере "Гамлета" в постановке Козинцева. Временами понимал все, временами понимал, что не хватает сегодня сил для того, чтобы все понять. Поставлена пьеса ясно и резко, с музыкой, ударами грома, с подчеркнутой пышностью декораций на огромной сцене. Я давно не был в театре. Понимать Шекспира — это значит чувствовать себя в высоком обществе, среди богов. И я временами наслаждался тем, что до самой глубины без малейшей принужденности чувствую то, что происходит на сцене.

1954
23 апреля

У нас гастролирует театр Французской комедии. За билетами дежурят ночами, в Москве разговоров о театре я слышал множество. Азарт охватил всех: У меня боролись два чувства: интерес к театру и отвращение к давке. На Союз прислали тридцать пять билетов. Их разыграли в лотерею, и я проиграл и обиделся,

но промолчал. Однако вчера вечером мне позвонили, что для меня есть билет на сегодняшний утренний спектакль. Узкие, неудобные коридоры, пышный зал, новые кресла с высокими желтыми спинками. В зале все знакомы, как на премьере "Гамлета". Спектакль непривычный. По-настоящему нравится мне, то есть поражает, как чудо, артист, играющий учителя танцев, Жак Шарон. Он до такой степени совпадал с музыкой, так танцевал, а вместе с тем показывал, как надо танцевать, а на лице хранил томное, печальное выражение — мелодия шла в миноре, — что я ожил, как в присутствии высшей силы. Остальное было хорошо, но понятно. Сенье играл умно. Дамы показались очень уж много пережившими. У Бретти лицо беззастенчиво. И такой же рот. И так далее и прочее. Тут думаешь, и рассуждаешь, и понимаешь. А я люблю удивляться. Но с самых давних лет французские писатели то этак, то так рассказывали мне об этом театре. И русские то хвалили его, то бранили. Когда я шел, имелось у меня "предзнание", которое укрепилось и приобрело прелесть трехмерного существования. К концу я устал от балета обыкновенного, не удивительного. И все же я видел театр единой формы. И очень сдержанную манеру игры.

1954
24 апреля

Когда я посмотрел несколько лет назад фильм "Дети райка", то был введен в околотеатральную и театральную среду французского театра сороковых годов. Фильм "На рассвете", еще две-три французские картины удивили, как будто заговорил, да еще по-русски, некий условный персонаж. При доставшемся мне складе сознания я понимал явление только с помощью искусства. К живописи я был глуховат. Дебюсси раздражал в высшей степени капризной и необязательной программностью. А литературу французскую я признавал умозрительно, но не любил и не понимал. В детстве любил "Отверженных", даже обожал. И все. И вдруг явление под названием "французы" оказалось в кино понятным да еще и близким. Это я расценил как событие, не столь близко задевающее, как те, что бьют тебя в антракте, но достаточно многозначительное. Вчерашний спектакль ничего не прибавил к моему новому знанию, но и ничего не отнял. Разве прибавилось вот что: минор в менуэте Люлли выражает изящное, балетное, а может быть, и просто танцевально-бальное томление. Возвра-

щаюсь к кино. На "Гамлете", к концу, я устал. Устал и на вчерашнем легчайшем, газированном представлении. А в октябре, на пленуме, после целого дня заседаний, после очень плохого фильма показали великолепный итальянский — "Два сольди надежды". И этот конец утомительнейшего дня с мучительнейшими антрактами воскресил, и утешил, и перевесил все пережитое до сих пор. Фильм шел еще на итальянском языке...

1954 25 апреля

Стал смотреть старую свою пьесу о молодых супругах, и захотелось мне как будто переделать ее. Не попробовать ли взять героев отчетливее и сложнее. И подумать о сюжете, что я до сих пор не делал, пуская героев идти. Распуская их. Все же пьеса — очевидно, постройка. Материал, конечно, требует, чтобы с ним [считались], но все же пьеса — это постройка, а не жила, за которой надо следовать, подчиняясь ей.

1954 26 апреля

Отвратительное мое свойство, заключающееся в том, что происходящее в антрактах задевает живее и больнее, чем происходящее на сцене, продолжает мучить и сегодня. Вчера был странный день — все время менялась погода — то солнце, то снег, то солнце и снег вместе, а в заключение повалили с неба такие густые хлопья, что это произвело несерьезное впечатление. Штуки показывают. Так же менялись все время и гости, и я перестраивался несколько раз. И сад за окном часа два выглядел по-зимнему, потом потемнел. Акимов, как всегда был ясен, рассказывал о французах. Он с ними завтракал и разговаривал по-французски. Один из присутствующих гостей глядел совсем дурачком и расспрашивал, как по-русски огурцы, как надо говорить икра́ или и́кра. Речь говорил, приняв совсем уж загадочную позу. В правой руке бокал, а левой, вцепившись в фалду, прикрывал он, словно купальщик, стыд. С течением времени выяснилось, что дурачок не настоящий, а атташе посольства, по всей видимости говорящий по-русски. "Вот так и надо играть шпионов". Понравилась Акимову маленькая черноглазая большеротая инженю, на которую нарисовал он шарж. Она подписала его. Об актере, играющем Сида, Акимов сказал, что самое в нем приятное — отсутствие изъянов. Ничего

не приходится прощать ему. Он не только талантлив, но и красив, строен, высок, обладает отличным голосом. До самого обеда вчера был Акимов озабочен, все думал о предстоящем выступлении — ночью предстояло ему говорить на заключительном прощальном банкете. Потом сел он за машинку и написал речь. И я понял, что комплекс полноценности не мешает ему, не ослепляет, как женщин, которые веруют, что все им дастся само собой, за их полноценность. Он верил, что всего добьется ввиду своей полноценности. Она толкала его к энергичному действию.

1954
27
апреля

Когда в ТЮЗе дети начинают увлекаться происходящим на сцене, то роняют металлические номерки от вешалок. Динь! Динь! Когда же на сцене делается поспокойнее, они ныряют под стулья и долго шарят в темноте. Ищут. Сегодня вдруг вспомнил. Зрительный зал во время спектакля, когда идет моя пьеса, особенно интересен мне, не менее сцены, что вполне понятно, впрочем. Но бывает интересен и без причин личного характера. Если бы не было мне противопоказано отвлеченно мыслить, я обдумал бы это существо, наполняющее зрительный зал. Оно то неожиданно понимает все, то глохнет, когда не ждешь. Оно смелее, чем на собраниях и митингах, полагая, очевидно, что тут можно. Оно скучает в чисто служебных местах. Ну, и так далее, довольно мыслить о коллективном мышлении. Но, не испытав, никто не поймет, как радует, как любишь зрительный зал во время успеха твоей пьесы. Как трогает он тебя пониманием. Одиночество — горе, а зрительный зал подтверждает, что ты не один. Зато как пугает существо, наполняющее зал, когда восхищается тем, что отвратительно. Не поймешь, — все сумасшедшие, а ты здоров, или все здоровы, а ты сумасшедший. И то и другое страшно. Но человек, переживший успех пьесы, никогда этого не забудет и не спутает с успехом неполновесным, вроде того, что перенес я только что в МТЮЗе.

1954
28
апреля

Второй день идет снег, отчего на душе еще неопределенней. Был вчера у Козинцева. (Мы вечером приехали в город.) Он все тот же. Он не ограничен. Никак. Но границы его резко очерчены. Он не то что не может, а не хочет переходить за них. Черта здоровая. Но все тот же матовый, дневной, джентльменский свет, более

джентльменский, чем у Акимова. К этому основательное знание Шекспира и нелюбовь к Мольеру, что подтверждает мое предположение о склонности человека к писателям, которые поражают его, непонятны ему своей противоположностью. Вернувшись от Козинцева домой, я совсем было заболел. Удивился даже. О своих болезнях я обычно молчу, а тут пришлось попросить валидола. За этот год я постарел. Непривычно и то, что нет у меня сейчас отложеной работы. От этого неопределенность на душе растет. После того, как в Москве испытал я подобие успеха, и "Медведь" был как бы принят в два театра — сейчас затишье. И на душе тревожно. То я привык мысли, что пьеса лежит и лежит, а теперь я стал бояться, что она не пойдет. Еще о французах: Козинцев отрицает их в известных границах. Я стал спорить и вдруг угадал: это не столько его точка зрения, сколько всего вида. Александринка ревнует. Козинцеву не в диковинку отчетливое, не желающее переходить границы искусство Французской комедии, и он охотно примкнул к тому кругу, к которому он сейчас ближе всего. А в Александринке, полагающей себя с французскими гостями в одном чине, раздражены. И действуют в доступном им направлении. Козинцев бранит их, не переходя границ, а внутри театра уже и сплетничают. Утверждают, что держатся гости безобразно, такая-то надменна, такая-то глупа, и молчат, когда говорят с ними о борьбе за мир.

1954
29
апреля

Не хочется читать, и я решил закончить эту счетную тетрадь, семнадцатую из на́чатых в Кирове двенадцать лет назад. По-настоящему я взялся за них в пятидесятом году, — до того заполнил я не полностью три, а с тех пор веду к концу четырнадцатую и удивляюсь, и все не могу налюбоваться. Впервые в жизни мне удается пересилить себя и что-то делать ежедневно. И страсть к чтению едва-едва, постепенно-постепенно заменяется склонностью к писанию. Я отвожу старательно мысли о старости. Я начал поздно и хочу кончить как можно позже. И я стал писать лучше — чего же мне думать тут? Иной раз я думаю, что, может быть, эти ежедневные записи и вредят. Мне иной раз кажется, что обрывки — не дело. Если не объединишь в целое, в единую форму, то все равно, что и не рассказал ничего. А иной раз я думаю, что форм куда больше, чем кажется. Самый большой успех в театре пережил я четырнадцать лет назад, как раз в апреле — прошла "Тень" у Акимова.

Сила очень определенная, но не знаю, добрая или злая, спешит всегда отрезвить меня. После генеральной репетиции от пяти часов дня до вечера я верил в полную победу и был счастлив.

1954
15
июня

Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет. Моя нездоровая скромность, доходящая до мании ничтожества, и думать об этом не велит. И все же стараюсь я быть понятным, истовым, как верующий, когда молится. Он не смеет верить, что всякая его молитва дойдет, но на молитве он по меньшей мере благопристоен и старается быть правдивым. За то время, что заполнялась предыдущая, зеленая тетрадь, пришло настоящее лето. В Комарово сад наш расцвел, как никогда. В начале июня сильно похолодало, грозили, да, вероятно, и были "слабые заморозки на почве", как ежедневно предупреждал по радио голос из бюро погоды. Но все цветы выжили, и земляника белеет всеми грядками самым деловым образом, а сирень — праздничным. Благополучно отцветают ирисы и тюльпаны. Вся поселковая пыль и суета поглощается свежестью, едва войдешь в калитку. Кусты акаций мы одно время считали погибшими, но и они очнулись и развернулись. Мы не слишком избалованы процветанием, и к чувству довольства примешивается привычный страх: а как мы за это будем расплачиваться? Мухоловки вили у нас в стене дачи в заброшенном вентиляторе гнездо в 51-м и 52-м годах. Прошлым летом не вернулись, что опечалило всех нас. И вот с восторгом увидели мы их тоненькие клювы и светло-светло-серые жилеты. Они вновь избрали нас. И свили гнезда и высиживают птенцов. Мало этого. Пара зябликов поселилась на невысоком тополе, свили гнездо на развилке ветвей чуть выше человеческого роста. Когда заняты они были этим делом, Катюша решила помочь и разбросала хлопья ваты по грядке недалеко от тополя. Я протестовал, говоря, что не станут зяблики пользоваться для постройки незнакомым материалом. И ошибся. Стоя у окна, увидел я, как зяблики осторожно, как бы мимолетом, забирали хлопья ваты по два, по три разом и кружным путем возвращались к своей постройке. И сейчас, проходя мимо тополя, вижу я невысоко над собой гнездо, а над краем его клюв и черные бисеринки глаз, смотрящих настороженно и не на меня, а старательно надо мной. Легче, вероятно, когда я только слышен, но не видим. Было похолодание, были жаркие дни,

были грозы и ливни. Таково лето. А домашняя жизнь шагает все беспокойнее, все тревожнее. Андрюшка захворал, покормили его в самую жару не вполне свежим гусем. И до того исхудал, что смотреть невозможно. Олега посылают на три-четыре месяца в Китай. Бедная моя Наталья в отчаянье. Все таланты ее, которые намечались в детстве, слились в одну силу — в талант любить. И при этом одного человека — мужа. И именно Олега. Детей она любит, бесконечно с ними терпелива и ласкова, но Олега больше. И мучается, когда его нет, а с ней и я. Не знаю, к чему приведет все это вместе. Одна Машенька пока что радует. С пьесами моими, то есть с "Медведем", все неясно. И очень беспокойно и уныло вокруг литературы — "заморозки на уровне почвы". Сегодня в Союзе общее собрание писателей. Иду, словно к зубному врачу. Что-то будет?

1954
24
июня

Сегодня четыре года, как ведутся мои счетоводные книги, а едва оторвусь я от описания характеров людей, так или иначе со мной связанных, так и теряюсь. Причем люди эти не должны быть близкими. Близких описывать не хватает трезвости. Но так или иначе — я втянулся в эту работу, и стараясь сохранять бесхитростность, переходящую в серость, и запрещая себе зачеркивать, чтобы видна была фактура, черновик с его непроизвольной правдивостью, пишу я каждый день. И даже уезжая. А для меня это чудо, чем дальше оно продолжается, тем больше я удивляюсь и утешаюсь. И когда приближался к четвертой годовщине, то считал: вот я пишу ежедневно уже четыре года без двадцати дней, без трех дней и так далее. Все это хорошо, но каждая поездка в город для меня полна событий, и я все думаю и живу в полную силу. А записать не умею именно потому, вероятно, что живу в полную силу. Представления мои, и веселые, и печальные, до того бесформенны, что рассеиваются, не оставляя следа. Нет, все-таки передаю я себя полностью, бродя и праздномысля, или когда пишу пьесы. В этом последнем случае форма сама дается.

1954
8
июля

Новый заместитель министра культуры — Охлопков, режиссер и артист лет пятидесяти с лишним, седой, густоволосый, аккуратно подстриженный, в кремовом костюме, загорелый, голова в ширину шеи, небольшая, что ча́сто у людей рослых

подобного склада. Небольшой нос, толстые губы — своеобразное, очень русское, а может быть, и деревенское лицо. Ощущение простоты, ощущение значительности, впрочем, скорее биологического характера, исчезает, едва начинает он говорить. Своеобразие облика полностью подчиняется, нет, полностью расплывается под ливнем чисто актерско-режиссерского красноречия. Весь жизненный опыт приучил его к тому, что, поговорив перед началом работы вот на такой приблизительный, мнимо значительный, развязно-распущенно-поэтический лад, приводишь актеров в размягченное, пластическое состояние. И лепишь из них, что требуется. А если и не приведешь их речами своими в такое состояние, то все равно так или иначе в конце концов добьешься своего. В постановках своеобразие и значительность охлопковского облика оживают и (неразб. — *Ред.*). Другое дело, когда речь подобной разновидности произносится государственным деятелем. После нее не приступишь к постановке. Начал вчера министерский работник, крупнейший министерский работник, заместитель министра — с той актерской простотой, что порождена системой Станиславского и тревожит слух более тонко и глубоко, чем открытый и наивный актерский пафос. Правильнее было бы сказать не "тревожит", а оскорбляет слух. Жарко. В просмотровом зале нечем дышать. А замминистра говорит час, два и не видно конца его речи. Этот вид красноречия не имеет формы, и угадать, когда умолкнет этот здоровяк в кремовом костюме, нет возможности. Несколько сценаристов, режиссеры, директора картин, операторы молча и дисциплинированно обливаются потом. Начал замминистра с того, что говорить он не будет, а кончил извинениями, что занял своим выступлением все время, отведенное для собрания, и выслушает наши претензии, для чего он и собирал нас, в следующий приезд. В промежутке услышали мы, что когда провожал он молодежь на целину, то испытал чувство, которое легче передать не скрипкой, а виолончелью, что искусство требует разнообразия.



Что хорошо выпускать такие картины, которые вызывали бы у правительства желание посидеть с нами, обнявшись, полчаса. Что слова "редкая птица долетает до середины Днепра" пребывают в повести "Тарас Бульба". Почему итальянские

картины лучше наших, хотя философски, теоретически мы куда сильней? Вполне понятно! Итальянцы взяли все лучшее из наших картин! И так далее, без конца. Попадались в этом потоке, в этой пляске ассоциаций и здравые мысли, вроде того, что творческие работники — сценаристы, режиссеры, актеры должны быть в системе киностудий на первом месте. Что несправедливо установление, по которому режиссеры, не обеспеченные сценарием, получают половинную зарплату — не они виноваты, что находятся в простое! Но эти здравые идеи тонули в таком хлестаковско-поэтическом извержении, что не верилось в их жизнеспособность. Тем более, что они и опровергались частично самим Охлопковым. Вот мечет он молнии по поводу того, что покойный Пудовкин бледнел, когда вызывали его в министерство, ехал к месту работы своей, словно на казнь! Безобразие! Позор! Пудовкин, перед которым все они ничего не стоят, бледнел! И так далее. Но вот через несколько прыжков и пируэтов возвращается Охлопков к творческим работникам — сценаристам, режиссерам, артистам, которые должны быть первыми в системе. И, сохраняя здравое, уверенное выражение на загорелом своем лице, мечет громы против артистов. "С ними надо так разговаривать, чтобы они бледными выходили из кабинета!" Глотов, директор киностудии, слушал оратора опустив глаза, опухший от усталости — он уже трое суток переживал присутствие замминистра. Все мы знаем цену Глотову, бывшему директору школы, сохранившему на студии привычки прежней своей работы. Он, конечно, средний административный работник, излишне осторожный, недостаточно масштабный, но все же знающий технику своего ремесла. И впервые за годы нашего знакомства показался он мне явлением не то что положительным, но терпимым и, в известной степени, целесообразным, что ли. И сегодня мне кажется уже — а вдруг Охлопков не совсем здоров. Не физически. А психически.

1954
12 июля

Сегодня утром стал читать письма Чистякова, купленные на днях в городе. Это имя связано с Юркой Соколовым, то есть с самым важным временем моей жизни. Когда Юрка учился в Училище поощрения художеств, когда почтительно глядели мы на Шильниковского — студента самой Академии, — услышал я о Чистякове впервые. Память о нем, обаяние его имени разрастались. Говорилось, что

подобного учителя не было никогда, ссылались на имена и высказывания знаменитых его учеников. Поминали его так часто, что уже много позже, услышав полные почтения рассказы Форш, — я обрадовался так, словно веру моей молодости воскресили, подтвердили правоту тех дней. Начал я читать Чистякова с некоторым страхом: а ну как разочаруюсь? Но все оказалось выше, чем я ждал. Прежде всего, — обрадовал, как подарок, великолепный язык, которым все скажешь, чего душа ни пожелает. И затем — особая, несколько печальная содержательность художника, в своем прямом деле не выразившего себя во всей полноте. Отсюда, вероятно, и дар его педагогический. Он преподавал с той же силой, что и картины писал. А на живопись смотрел он вот как: “Искусством, живописью нужно петь, хвалить и славить бога, увлекаться, а не малевать что-то грязное, пошлое и кое-как, на скорую руку, вдобавок. На это есть карандаш, тушь, фотография...”

1954
30 июля

Я люблю Ленинград летом, но не знаю, удастся ли рассказать об этом лете достаточно вразумительно. Ремонтируются и красятся дома всякое лето. Но леса ставят разборные. Железная, сильно ржавая конструкция, вокруг которой обычно ставят заборы с навесиком, чтобы не ушибло прохожих. Такие конструкции и забор долго стояли вокруг больницы Перовской. Потом передвинули их по каналу ближе к Невскому, водрузили у здания комбанка. И тут работы закончились. Вчера горели паяльные лампы, стучали молотки, конструкцию разбирали. Банк, бывшее общество взаимного кредита, реставрировали со всеми цветами, амурами позднего барокко. Впрочем, об этом, просто рассказывая, упоминать не стоит. Чистяков говорил: “Смотри на натуру, как корова”. А корова не знает, что такое барокко. Здание банка покрасили маслом в глуховато-розово-лиловатый цвет. Мусс бывает такого цвета. В съедобный цвет. По каналу Грибоедова, от нашего дома до Спаса-на-Крови, строят заново каменную облицовку стен канала. Здесь долго забивали сваи чугунным грузом, машинным способом. Дом наш вздрагивал от каждого удара. Теперь вместо ровных стенок канала — сваи, дощатые плотины, у церкви — временный деревенский наивный дощатый мостик с надписью: “Переход воспрещен”. На кране большой плакат: “Под грузом не стоять”. Михайловский скверик весь в цветах.

Низкорослые кусты роз, кто говорит из Болгарии, кто — с Кавказа. Лилии, бегонии. Цветы тянутся вдоль новых, в два ряда высаженных лип у Гостиного двора. Новые эти липы немолоды. Пересажены взрослыми. И кажется взгляду, что стоят они тут давным-давно. Так и были. Кроме этих цветов, у магазина Елисеева, у Казанского собора продают цветы срезанные: лилии, левкои, гвоздики. Чистяков учит: "Пишешь ухо, гляди на глаз". Цветы существуют рядом со ржавыми конструкциями.

1954
31
июля

В картине, которую воспринимаешь, не спеша шагая по Невскому, все нераздельно, а рассказывать приходится по очереди. И когда очередь доходит до цветов, то кажется, что ржавые конструкции вокруг ремонтируемых домов исчезли. Нет. Цветы цветами, а леса лесами. Только цветов меньше. Итак: дома в железных ржавых лесах, в скверах возле Казанского собора, у Гостиного — клумбы цветов. Срезанными торгуют на углах. Но не на каждом углу. И далеко не каждый дом в лесах. Этим летом множество театров приехало на гастроли. Поэтому больше, чем обычно, увеличенных фотографий в окнах, в витринах магазинов. Только что уехал киевский русский театр, играют литовский театр, архангельский, свердловский. Со всех витрин глядят [лица] значительные, в высшей степени правдиво и сдержанно изображающие различные страсти. Уличная толпа гораздо светлее обычного. И разноцветней. Цветы ситцевых тканей, полосы тканей штапельных. Впрочем, я не уверен, что все это "ткани". Так ли они называются. Но верно то, что одеты женщины куда светлей и веселей. Обуты почти все в босоножки — большой палец выглядывает из окошечка. Вместо каблука — вся подошва равномерно поднимается от носка к пятке. Большинство мужчин с непокрытой головой, но появились и соломенные шляпы: грубоватые, все с черной лентой. Носят их преимущественно мужчины среднего возраста. Железные леса на домах, цветы, заметно посветлевшая толпа, афиши и портреты в магазинных витринах. И все это соединено неуверенной, все не знающей куда повернуть, погодой. Летят, летят облака. Пыли нет в это лето. То дождь, то тяжелые машины-цистерны с водяными усами в половину улицы. И все же какой-то дымкой соединены, объединены мы все и все вокруг нас на улице. Дым городской, летняя мгла.

Здесь и бензиновый перегар, и дым из заводских труб, растворившийся в воздухе. В этом воздухе, в этой чуть заметной мгле солнце светит все же сильно, тени на асфальте черны. Зелень деревьев летом 54-го года пышней, чем в прошлом и позапрошлом году — неустойчивость погоды, ливни и солнце пошли ей впрок. Сегодня всматривался я в толпу и видел больше, чем нужно для того, чтобы говорить о толпе этого лета. Вдруг удивляло меня вечное свойство всякой толпы: разнообразие походок. Каждый заведен на свой лад. Второе свойство всякой летней толпы: женщины кажутся привлекательнее в своих легких и цветных платьях. Сегодня суббота и поэтому в магазинах очереди. Я был на рынке. К моему привычному Кузнечному пройти не так-то просто. Дом возле него, на углу против Владимирской церкви, снесен, окружен высоким забором. За забором идет какое-то строительство, кажется, станции метро. Между забором и оградой церкви остался сильно суженный проезд. Народ движется сплошным потоком, и грузовики с воем вытесняют этот поток на панель. Вдоль серых стен рынка сплошной прилавок на самой панели. Вот где действительно много цветов. И много покупателей. Вот еще, пожалуй, особенность этого лета: много покупают. Днем, когда на всех остановках такси машин было сколько угодно, теперь часто приходится ждать. Полно и на рынке. Цены выше прошлогодних, дороже, чем в прошлом году, мясо. Дороже фрукты. Привозные. Нет, я отхожу от картины. Я сказал, что люблю Ленинград летом. Когда вышел сегодня, старался смотреть, чтобы рассказать за что, соблюдая некоторые законы. И едва заговорил о ценах, понял, что заблудился. Этим лето не нарисуешь. Больно просто. И вообще не хочется рисовать. Я приехал в Комарово один. Катюша в городе. Застал нашего постаревшего вдруг кота совсем больным. Он хворает уже месяца два, падает на ходу, валится на бок. Сегодня же он забился под диван, словно умирать собрался. Сейчас ему как будто полегче. Беспокойно, беспокойно на душе. Со всех сторон беспокойно.



Продолжаю свои попытки писать с натуры. За время последних лет толпа не стала дружней или веселей, но несомненно научилась не считаться сама с собой. Единицы, составляющие толпу, не замечают друг друга. В первый раз угадал я это в одно из летних воскресений на островах. Пляж переполнен людьми, и все они

одеваются, раздеваются, лежат, едва прикрывшись, на песке, не замечая близости соседа. Война, эвакуация, коммунальные квартиры приучили не видеть чужих, поставленных в небывалую к тебе близость. Поэтому так спокойно и безразлично, как предмет неодушевленный, отодвигают тебя в магазине или, перегоняя на улице, давят в бок и все тут. Это одно. А вот другое: желание поделиться — чем? А если не желание поделиться, то что же заставляет мальчика лет шестнадцати, живущего против нас, ставить патефон на подоконнике открытого окна. Играя на баяне, он делает то же самое — садится на подоконник.

Двор наш необыкновенно изменился с тех пор, как мы приехали, с июля 1945 года. Разобраны слепленные из обломков досок сараи, отделяющие наш двор от противоположного. Теперь вместо сараев тянется бульварчик с двумя рядами жиденьких, но старательных деревьев. Ночами в тишине они даже шелестят, как могут. Если бы не упирался наш бульварчик в трансформаторную будку, занимающую половину двора, с черепами и костями на железных ставнях, то было бы совсем славно. Летом, когда во дворе у нас кипит жизнь, а окна во всех квартирах открыты, я слышу и не слышу того, что совершается у нас или у нашего подножья. Все шумы знакомы. Дети плачут, или смеются, или играют так, что их слышно далеко на улице. Это, пожалуй, основной шум часов до десяти вечера. В него вплетаются сигналы машин. Иногда тоскливый, и патетический, и бессмысленный вой сирены. Это кричат пароходики на Неве, и как ни привычен этот звук, в первые мгновенья теряешься — что это за безумие, да еще ко всему — механическое. Когда выглянешь в окно и увидишь старинного, петербургского разреза окна, просторные, длинные, с закруглением наверху, то как радует шум прибоя, так в хорошие мои дни радует шум человеческой летней жизни, и я заглядываю на миг, чтобы не выглядеть подглядывающим, в знакомые до мелочей квартиры. Прямо напротив — два окна квартиры, где живет семья женщин: старая женщина, много курящая женщина средних лет, девочка, кончившая в этом году десять классов — она с мая до сегодняшнего дня сидит, не разгибая спины, готовится. Младшая сильно выросла, ей теперь лет тринадцать, вероятно. Стала носить большие круглые очки. И ни одного мужчины в доме. Этажом ниже одну большую комнату разделили на две и поселились в них два милиционера в офицерских чинах. Один помоложе, с женой и мальчиком.

Он худ, черен. Пальцы длинные. Жена рослая (он тоже), темноглазая, стриженая, широкоплечая. К уюту вполне равнодушна, даже занавесок нет на окне. Привлекательна. Рядом милиционер пониже, побелее, поплотнее. Очень хозяйственный. Сам вставляет рамы и вату между ними посыпает цветной бумагой. Часто к утру или в два-три часа ночи видишь, как то черный, то белобрысый лейтенанты одеваются, уходят на дежурство или пьют чай, вернувшись. Этажом ниже — тот самый желтоволосый мальчик, что ставит на окно патефон. Или играет на баяне целый день, без устали. У него даже подушка положена на подоконник. Когда патефон вопит на весь двор, он лежит на подушке локтем, следит за впечатлениями. В этом доме, в этой семье больше мужчин. Трое или четверо на одну женщину. Все живут в одной комнате.

1954
2
августа

Все — почти мальчики по возрасту. Вероятно, сыновья женщины полной, вполне молодой еще. Она то шьет, то подает на стол, то пол моет. В той же квартире живет кубастенькая женщина, кудри по плечам белобрысые, вечной завивки. Окна у нее, особенно к вечеру, старательно занавешиваются. У нее в гостях часто бывают мужчины. Летом она в этих случаях и не зажигает света. Зимой то зажигает, то гасит. Уходит на работу рано, возвращается около семи и тут-то и предается всем сложностям личной жизни. У соседей не появляется. Забыл рассказать, что у соседей ее, то есть там, где мальчик, опершись на локоть, слушает на подоконнике патефон, на стенах комнаты много картин в рамах. Уж не был ли их отец художником? И здесь во всех этажах, кроме комнат лейтенантов, цветы в горшках. И в самом нижнем этаже, обитателей которого не знаю, не вижу, еще не убраны выставленные за окно, по случаю ночного дождя, комнатные цветы. Таковы квартиры прямо против моего окна. Правее окна лестничной клетки. За нею окна жильцов, еще менее мне знакомых, чем нижние. Знаю одно, точнее, вижу одно: верхние жильцы развели в ящиках за окнами целый садик. Тут и гортензии, и разноцветные табаки, и даже подсолнухи, впрочем, не давшие цвета. Вся мебель сложена сейчас в левой комнате, громоздится до середины окна. В правой идет ремонт. Эти окна описывать трудно, но я вспомнил, что Чистяков давал подобные задачи: бросал на пол кусок бумаги и приказывал его нарисовать. И близкий, и непривычный ракурс. А кроме того,

окна, открытые во дворе, подтверждают, что лето продолжается. Обрывки разговоров. Баян. Равномерный стук молотка.

1954
3
августа

Равномерные удары молотка по железу, или, точнее, по железному листу, — тоже звук почти непрекращающийся, как патефонная музыка, или звонки велосипедов, или крики играющих детей. Здания в ржавых железных конструкциях, посветлевшая толпа, тесная, но недружная, широкие ленинградские улицы, солнце и дымка, пышная, этим летом особенно пышная листва, открытые окна. Жизнь летом явственна не только в деревьях, но и в домах, и во дворах. Днем Невский удивляет, особенно в хорошую погоду, огромным количеством служащих, не спеша двигающихся под солнцем. Неслужащих людей среднего возраста — не найти в природе. Как же удалось им открутиться от службы? После пяти-шести хвосты выстраиваются у остановок, валом валят служащие, которым не удалось скрыться до срока. В это время вливаются они потоком в магазинные двери. Сердиты они, утомлены, может, и обижены, и по вечному закону вымещают горе на близких. Затем Невский, затем улица пустеет. Этим летом, если не войти в магазин, значит, появилось мясо, или свежая рыба, или сосиски. Даже с колбасой бывают перебои — впервые за много лет. Но толпа спокойнее, чем год-два назад. Возле городской кассы толпа. На ступеньках античного портика между Гостиным и Думой вечная толпа — перекличка дежурящих за билетами. Необыкновенно много и дачников. Лето 1954 года много более похоже на лето, чем в прошлом и позапрошлом году. Главный архитектор по загородному строительству рассказывал, что в одно из воскресений июня было продано 750 тысяч билетов в сторону Сестрорецка — Зеленогорска. Это не считая автобусов, машин и грузовиков с экскурсантами. “Три тысячи ящиков пива заготовил Зеленогорск — все были выпиты”. Вот как гуляют этим летом!

1954
4
августа

Опять потерял свободу речи, возвращаюсь к глухонемоте. Попробовал рассказать о нынешнем лете — и все не то. Длинно. На самом деле определяется оно коротко: то грозы, то солнце, ливни редкие на севере, в магазинах то пусто, то очереди исчезают, и внезапно появляются сыр, колбаса, мясо. На улице

много цветов — и в скверах, и срезанных на лотках. Цветы раскупают. Как и всякое лето, окрашивают и ремонтируют дома. Вместо деревянных лесов — ржавые конструкции, вроде как бы из водопроводных труб. Толпа светлей, веселее, пестрее, чем прежде, — материалы цветные на женских платьях, светло-серые, бежевые, белые мужские костюмы. У окна, где показывает диапозитивы Центральная театральная касса, — толпа, приходится, обходя ее, сходить с широчайшей панели на мостовую. Недаром раскупаются цветы, недаром толпятся у цветных диапозитивов — душа хочет игры. И когда судьба послала ленинградцам такую игрушку, как шведские корабли на Неве и шведские моряки на Невском, — как толпа заиграла! Их окружали как чудо, веселя. В автобусе я слышал рассказ, который повторял весь город: “На флагманском корабле прибыла тайно шведская королева. Ей восемнадцать лет. В газетах этого не пишут, но она в мантии и в короне ездила с визитом в горисполком”. Душа просит игрушек, новенького, даже сказки. Любимая брань: “Э, надоело”. Погода тревожная, неустойчивая, но толпа благодушнее, чем в прошлом году. И, пожалуй, богаче. Вот и все. Был в городе, сейчас в Комарово. Боюсь, что больше не буду писать. Вдруг растаял, как в тумане, интерес к этому делу. В прозе я ограничен и связан, а в драматургии раздражаю себя сам. Так и бежит день за днем. Одно осталось: мечты о работе.

1954
5
августа

Сложность этого лета увеличилась оттого, что приехал Шкловский, мой вечный мучитель. Он со своей уродливой, курносой, вечно готовой к улыбке до ушей маске страшен мне. Он подозревает, что я не писатель. А это для меня страшнее смерти. Когда я не вижу его, то и не вспоминаю, по возможности, а когда вижу, то теряюсь, недопустимо разговорчив, стараюсь отличиться, проявляю слабость, что мне теперь невыносимо. Беда моя в том, что я не преуменьшаю, а скорее преувеличиваю достоинства порицающих меня людей. А Шкловский, при всей суетности и суетливости своей, более всех, кого я знаю из критиков, чувствует литературу. Именно литературу. Когда он слышит музыку, то меняется в лице, уходит из комнаты. Он, вероятно, так же безразличен и к живописи. Из комнаты не выходит, потому что картины не бросаются в глаза, как музыка врывается в уши. Но литературу он действительно любит, больше любит, чем все, кого я знал его про-

фессии. Старается понять, ищет законы — по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его ни прочел. Не любит книги о книгах, как его собратья. Нет. Органично связан с литературой. Поэтому он сильнее писатель, чем ученый.



Недавно перечитал я “Третью фабрику”. Это, несомненно, книга, и очень русская. Здесь вовсе не в форме дело, что бы ни предполагал Шкловский. Бог располагает в этой книжке. И форма до того послушна тут автору, что ее не замечаешь. И, как в лучших русских книжках, не знаешь, как ее назвать. Что это — роман? Нет почему-то. Воспоминания? Как будто и не воспоминания. В жизни, со своей лысой, курносой башкой, Шкловский занимает место очень определенное и независимое. У Тыняновых он возмущал Леночку тем, что брал еду со стола и ел еще до того, как все усаживались за стол. И он же посреди общего разговора вдруг уходил в отведенную ему комнату. Посылают за ним, а он уснул. Но он же возьмет, бывало, щетку, и выметет кабинет Юрия Николаевича и коридор, и переставит мебель на свой лад. Сказать человеку в лицо резкость любил. Глядя на режиссера Герасимова, сказал: “Я не могу к вам хорошо относиться, вы напоминаете мне человека, которого я ненавидел”. — “Знаю. Савинкова?” — спросил Герасимов. “Да. Это неспроста”. Герасимов пропустил таинственный, но явно обидный смысл, скрытый в слове “неспроста”, и полушутя стал рассказывать, как завидуют его наружности актеры. Он всегда играет злодеев, а это, как известно, самые лучшие роли. На диспутах Шкловский не терялся. В гневе он краснел, а Библия говорит, что это признак хорошего солдата. По-солдатски был он верен друзьям. Но тут начинается уважение к времени, со всеми его последствиями. Сам он отступал, бывало, и отмежевывался от своих работ. Друзей не тянул за собой. Но себя вдруг обижал. На похоронах друзей плакал. Любил, следовательно, своих всем существом. Органично. Слушает он недолго, но жадно. И поглощает то, что услышал, глубоко. Так глубоко, что забывает источник.



Однажды у Тыняновых зашел разговор об одном писателе. И я объяснил присущую тому озабоченность и суетливость тем, что известность пришла к нему как бы приказом от такого-то числа, за таким-то номером. От этого данный писатель в вечных хлопотах.

Если его назначили известным, то, стало быть, могут и снять.

И он с ужасом присматривается, приглядывается, прислушивается — не произошло ли каких изменений в его судьбе. Старается. Оправдывается. И нет у него и минуты спокойной. Шкловский выслушал это внимательно, против своего обыкновения. И в конце вечера, когда разговор вернулся все к тому же писателю, Шкловский сказал: "Вся беда в том, что его назначили известным..." — и так далее. Мысль задела его, и он ее поглотил, и стала она его собственной. Это не значит, что он похищал чужие мысли. Если говорить о качестве знания, то его знание делалось знанием, только если он его принимал в самую глубь существа. Поглощал. Если он придавал значение источнику, то помнил его. Поэтому в спорах он был так свиреп. Человек, нападающий на его мысли, нападал на него всего, оскорблял его лично. Он на каком-то совещании так ударил стулом, поспорив с Корнеем Ивановичем, что отлетели ножки. Коля говорил потом, что "Шкловский хотел ударить папу стулом", что не соответствовало действительности. Он бил кулаками по столу, стулом об пол, но драться не дрался. Вырос Шкловский на людях, в спорах, любил наблюдать непосредственное действие своих слов. Было время, когда вокруг него собрались ученики. Харджиев, Гриц и еще, и еще. И со всеми он поссорился. И диктовал свои книги, чтобы хоть на машинистке испытывать действие своих слов. Так, во всяком случае, говорили его друзья. "Витя не может без аудитории". Был он влюбчив. И недавно развелся с женой.

1954
8 августа

Развод и новая женитьба дались ему непросто. Он потерял квартиру, и денежные его дела в это время шли неладно. Он поселился с новой женой своей в маленькой комнатке. Жил трудно. И шестидесятилетие его в этой комнатке и праздновалось. Собрались друзья. Тесно было, как в трамвае. Уйти в другую комнату и уснуть, как некогда, теперь возможности не было. И Виктор Борисович лег спать тут же, свернулся калачиком на маленьком диванчике и уснул всем сердцем своим, всеми помышлениями, глубоко, органично, скрылся от всех, ушел на свободу, со всей страстностью и искренностью, не изменяющими ему никогда. И тут вдруг появилась Эльза Триоле — пришла женщина, о которой тридцать с лишним лет назад была написана книга "Письма не о любви". А он так и не проснулся.

1954
9
августа

Борис Михаилович Эйхенбаум так давно знаком всем нам, так нежен, так бел, что говорить о нем точно как бы кощунство. Не то я сказал: "нежен" — не то слово. "Субтилен" — вот это несколько ближе. Он со всеми нами ласков и внимателен, что любишь, но в глубине души недостаточно ценишь. Не на вес золота, как ласку и внимание людей более грубых. Кажется, что это ему легко и в глубине души он благожелательно равнодушен к тебе — и только. Когда была жива Рая, человек куда более воплотившийся, Боря относился к людям куда более контрастно и отчетливо. Эта субтильность его подсказывает еще темную, но неотвязную мыслишку: такому нетрудно быть порядочным, хорошим даже человеком, и вместе с тем нет человека, который, познакомившись с ним, не уважал бы его в конце концов. Как в Шкловском, угадываешь в нем непрерывную работу мысли. Менее страстную, более ровную и более научную. Вот в науке своей воплотился Борис Михайлович со всей полнотой.

1954
10
августа

Недавно поразило меня, когда разглядывал я толпу, как разно заведены люди, шагающие мне навстречу по улице. Разно, очень разно заведены и Шкловский, и Эйхенбаум, но двигатели в них работают непрерывно, и топливо для них, горючее, добывается, течет непрерывно от источников здоровых. Любопытство, жажда познания, а отсюда любовь к одному, отрицание другого. И Шкловский тут много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум — к мыслителям, иной раз излишне чистым. Сейчас они оба живут в Доме творчества, и как ни зайдешь — то у одного, то у другого какие-то открытия. Борис Михайлович беленький, легенький, с огромной, нет, точнее, с просторной головой. Волосы вокруг просторной, красной от летнего загара лысины кажутся серебряными. Он очень вежливо, что ему никак не трудно, очень внимательно встречает тебя и рассказывает, что такое Бах. Он в последнее время занимается Полонским, ему заказана статья к однотомнику, и все думает и думает о музыке. Он приобрел проигрыватель и целую библиотеку долгоиграющих пластинок. Составил к ним карточный каталог. Читает упорно книги по музыковедению. Никто не заказывал ему статью о Бахе, но он все думает о нем, думает. Шкловский, когда входишь в сад Дома творчества, на площадку между столовой и самим домом, где стоит в цветочной клумбе на высоком деревянном постаменте бюст Горького, Шкловский, повторяю,

поворачивает к тебе всю свою большеротую, курносую, клоунскую маску. Смотрит Шкловский и как бы взвешивает на внутренних весах, выносит он тебя нынче или не выносит. И если стрелка весов за тебя — заговаривает.

1954
11
августа

В последний раз он говорил о том, что в первых вариантах "Войны и мира" сюжет зависит от воли героев, от их сознательных решений. Князь Андрей отказывается от Наташи для того, чтобы Пьер мог на ней жениться. И постепенно убирает все сознательные поступки, и сюжет развивается вне воли героев. Впрочем, рассказав это, Шкловский добавил: "У меня нет уверенности, что это интересно. Я теперь совсем потерял ощущение того, что интересно и что нет". Вчера мы вернулись вечером в Комарово. Приехали в город в субботу. Наташа везла с собой цветы, чтобы посадить на папиной могиле. Мы нашли ее осенью прошлого года во второй раз. До этого разыскал ее случайно Валя. И все мы собирались привести могилу в порядок. Но вот Катюша в позапрошлое воскресенье приехала на кладбище с Анечкой, нашла нужных людей, и специалист этого дела, сообщивший как-то Анечке, что он с шестилетнего возраста состоит при кладбищах, взялся сделать чугунный крест и то, что называют они там раковиной. Овальное небольшое надгробие, выложенное вокруг белыми камушками. В субботу, приехав на кладбище, убедились, что специалист своего обещания не сдержал. На Богословском кладбище теперь у нас много друзей и знакомых. И мы посадили привезенные цветы на могиле Суетина. Вечером позвонил специалист, сообщил, что его посылали в колхоз и поэтому не мог он выполнить заказ. Обещал к субботе. Никогда я не привыкну к кладбищам.

1954
20
августа

Вспоминая мою жизнь и понимая легче, чем тогда, и себя и события, что переживались двадцать пять лет назад, почувствовал я вдруг ночью, засыпая, что вся жизнь человеческая — явление двойное. Одни события вокруг, а другие — внутри. Душа идет, идет, меняется. И не только у тебя, а у близких. У тех, у которых душа не спит. Пришел к человеку, разговариваешь, а он уже не тот, что вчера. Счастье и несчастье, большие, страшные события нарушают путешествие души. Она замирает от счастья или от ужаса. И

когда приходит в себя, все вокруг нее изменилось. Светлее стало или темнее. Приходишь к человеку, а душа уже ушла, летит по новому миру. И в этом мире случаются события, едва уловимые. Забредет душа в такую страну, что сам удивляешься. Чаще всего это случается, когда события общего мира затянут тебя в обстановку непривычную и незначительную, но напряженную. Вчера пришлось мне поехать на общегородской пионерский праздник в Зеленогорск. Первое чувство — что мог бы и не приезжать. Не читать меня звали, а сказать приветствие. Сказал. Хотел уехать, но меня посадили на диванчик, деревянный, садовый — смотреть. Большое поле. Узор посреди из крашеного песка, невозможно охристого, невозможно кирпично-красного. Трибуны по ту сторону поля. Беговая прямоугольная дорожка ограничивает его. И несмотря на огромное количество ребят, праздник едва теплится, все спотыкается. Идет карнавал из героев детских книг. Ведут Гулливера лилипуты. Дальше не могу понять кто. Вернее всего мушкетеры. Мистер-Твистер. И почему-то Бобчинский и Добчинский в картонных цилиндрах. Участники карнавала в своих картонных, бумажных и настоящих бархатных тут же костюмах смущены так, что заражают и нас. Они так же не сливаются с миром, как раскрашенный песок.

1954
21 августа

И вот я отделяюсь, перестаю понимать то, что делается. Впечатления, которых не искал и не ждал, а просто тебя к ним занесло, — всегда мне враждебны. Если я им удивляюсь, то холодно. И раскрашенный песок, и дети в бумажных одеждах, и день, то ясный, то темнеющий, все в дымке — все кажется не вполне настоящим. А резко, словно я проснулся и увидел, представился мне Сталинабад. Кусок площади, заросшей бурьяном, все расширяется передо мной. Вижу канаву, мостики, чувствую дома вокруг. Вижу боковые улицы, переулки, которыми мы идем в (неразб.-*Ред.*) к Войно-Ясенецким. И воспоминание это не только ясно, представление это не только значительно более похоже на действительность, чем то, что совершается передо мной. Оно еще и осмысленнее. Но почему? В чем смысл? Запас слов из общего мира до того не соответствует этому только моему представлению, что его и не выразишь никогда. Это душа идет своей дорогой. Времени для нее не существует и поэтому она прошла по

Сталинабаду 44-го года с такою легкостью и простотой. Точнее мне это не передать. Сегодня суббота, день ясный, но холодный, 16 градусов. "Водокрут" двигается. Все время хочется уехать на юг. Здоровье мое ухудшается. Перебои, которые замечаю, если держу на пульсе руку. Голова — явные приливы крови. Третьего дня вдруг так разболелось колено, что я не мог ходить. Сейчас могу. Не знаю, может быть, старость мечтает о покое. Но в предчувствии старости хочется еще раз или несколько раз вырваться из привычной колеи. Полететь на самолете к морю. Пройти по шоссе и через заросший ажиной овраг, увидеть море. На теплоходе глядеть на удаляющийся берег. На тихо отходящую от борта пристань. И новые люди. И погода, привычная с детства. И тревога.

1954
23
августа

Ночи превратились для меня в мучения... Бессонницей я не страдаю. Мучают бессмысленные и страшные сны. Просыпаюсь я примерно каждый час, пью воду, успокаиваюсь с трудом. Болит голова. Перебои. Я испытываю отвращение к самому себе. И вместо воспоминаний о прошлом я начинаю мечтать, что было бы, если бы... И касается это все Майкопа. И вчера я подумал, что "Том Сойер" и есть разновидность подобных мечтаний. Я в мечтах сегодня тайно от всех овладевал музыкой. И поражал всех, выступая на вечере в реальном училище. И поражал Бернгарда Ивановича. И дальше. Я приходил к Грауерману, уже студентом. И знакомился с Сатиными. А через них с Рахманиновым и так далее, и так далее, просто стыдно писать. Но в мечтах, ночью, все выходит воздушнее, убедительней и безобиднее. И майкопские чувства — первые, когда образовывался запас и вырабатывался ход чувств — убирают глупость и грубость желания славы и только. И пахнет пылью днем и цветами вечером. Днем, когда я играю одному Бернгарду Ивановичу, а вечером, когда я иду на выпускной вечер, на второе отделение. Когда Милочка думает, что я не приду, наверное. А я выступаю и поражаю всех. И как всегда в любых мечтаниях я прежде всего работаю. Часами играю на рояле. Пишу тоже по многу часов. Вчера же ночью понял еще вот что: как вдруг кольнет тебя в бок в результате неосознанного, нет, в результате вне сознания идущего жизненного процесса, так выплывают воспоминания и представления в результате вне сознания совершающегося движения души.

1954
28
августа

Сегодня кончил переделку сценария для Роу... Сдав сценарий, вышел я на улицу с чувством свободы и почти счастья. Шел по своему привычному отрезку канала Грибоедова и думал, как передать разнообразие пути. И [сам] меняешься от места или это кажущееся изменение — как тебе кажется, что вода изменилась в зависимости от того, что в ней отразилось. И вдруг придумал кусочек для повести. Там, где описывается рай. В раю человек действительно меняется полностью в зависимости от места. Он один в лесу и другой на море. И остается при этом самим собой и счастлив, что меняется... Продавцы в магазинах очень ласковы со мной. Я с радостью приписал бы это своим достоинствам, но дело не во мне, а в моей вежливости. Это им отдых. В поезде младший лейтенант, летчик, маленький, наивный. Один погон вот-вот оторвется. Общительный. Спросил, который час. Рассказал, что опоздал на предыдущий поезд. Потом стал искать билет. Перерыл все карманы. Рубли. Платки. Использованные билеты. Наконец, нашел и обрадовался. Рассказал, как сел без билета и как неприятно ему было, когда пришел ревизор (контролер теперь не говорят). Глядя на его твердощекое наивное личико, на полуоторвавшийся погон, удивлялся я — как это он летает. Увидев у меня Гаршина, сказал: “Читал эту книжку. Не понравилась”.

1954
29
августа

И вскоре уснул мой спутник. А я читал. А когда взглянул, то сидел уже другой человек, утомленный, длиннолицый, и дремал на месте твердощекого лейтенанта. И держал в руках плоский пакетик в целлофане, где помещались чулки капрон. И я подумал — совсем недавно вошли в жизнь чулки капрон в пакетиках, плоских, с отверстием, как на пакетах с патефонными пластинками, с круглым вырезом, где виден через целлофан цвет чулка. А кажется этот пакетик теперь таким знакомым, таким обычным, хоть не говори. А он характерен для конца сороковых и начала пятидесятых. Пока я так думал, человек с утомленным длинным лицом задремал и уронил свой пакетик. Я поднял и, осторожно разбудив задремавшего, подал ему пакет. Он сонно взглянул, потом понял, поблагодарил, потом темные его глаза приняли испуганное выражение и он спросил: “Белоостров не проехали?” Мне показалось, что он рабочий, после дневной смены. Налево от меня шел спор. Двое пьяных. В меру. Один в

военной, нет, в морской форме. Другой в пиджачке и косоворотке. Моряк все останавливал штатского, а тот разглагольствовал, нападая на стриженого, седеющего, заботливо одетого, в затейливых сандалиях гражданина с дочерью-студенткой и матерью, читающей книжку. У гражданина лицо упрямое, большое расстояние от носа до верхней губы, лоб маленький, глаза большие, темные, выпуклые. Он пытался отвечать нападающему холодно и недоступно, но глаза его принимали вдруг выражение злобное. Я не мог понять причины спора. Но услышал, что разглагольствующий пользуется набором идей 1954 года. Говорил он о семье, и ее святости, и о внимании к трудящимся.

1954
30 августа

Говорил искренно, с глубокой верой, вдохновенно. Человек в затейливых сандалиях — тоже образца 1953—54 года — к концу вовсе умолк, только глаза его, когда он взглядывал на врага, принимали все более свирепое выражение. И когда проповедник и упрекающий его за болтовню моряк вышли в Песочной, человек в сандалиях помолчал, а потом вдруг напал на дочь, сказав, что не умеет она себя вести. “Смеялась его остротам. Что — двадцать лет, двадцать лет! Могу делать тебе замечания, если не умеешь себя вести”. И, вынув коробочку “Северной Пальмиры”, длинный, седеющий, все с тем же выражением глупого рта, пошел на площадку, чтобы в Белоострове выйти покурить. На площадке он стоял неподвижно. Переживал. “Я же еще и виновата!” — сказала дочка бабушке. А та все читала, не отрываясь от книжки, в очках, увеличивающих ее глаза. И по строгому нейтралитету, который держала бабушка, понял я, что не мать она длинногубого, а теща. В дальнейшем они молчали всю дорогу, разглядывали поцарапанные стычкой души. И я разглядывал их, в бесконечном разнообразии людей пытаясь найти и нечто общее. Но испытывал одно: жадное любопытство именно к этому разнообразию. Любовь к жизни. И только. Больше ничего не находил. И приехал домой. И тут вдруг заметил, что я зол. Вдруг выплыло из ничего это ощущение. Я удивился и не дал ему воли. И пошел, пообедав, к Смирновым. И по дороге оступился и слетел со старого, относительно невысокого перрона прямо на рельсы. Упал с такой силой, что шофер, проезжавший по дороге, затормозил и стал глядеть, не надо ли меня будет отвезти в больницу. Но я вскочил и пошел дальше. Без повреждений обошлось дело. Теперь досаду я испытывал. И страх. Я

суеверен. Шостакович с матерью шел навстречу. Он увидел, как я упал, и упрекнул в неосторожности. А если поезд?

1954
6
сентября

Вчера позвонил мне Акимов, предлагая встретиться на улице, поговорить о новой пьесе: "Мы с Вейсбремом выходим из театра, веселые и оживленные, и идем по солнечной стороне Невского. Выходи к нам навстречу". Так я и сделал. Воскресная толпа двигалась по проспекту. Снова — и солнце, и мгла. На Михайловскую сворачивают автобусы, украшенные цветами. У окон оживленные люди с букетами. Женщина, лет под сорок, самозабвенно улыбаясь, с пылающими щеками, машет рукой толпе, задержанной медленно проплывающими машинами. Мы смущенно глядим. Только один военный машет в ответ, несмело подняв руку. Мы не знаем, кто это приехал. И только у Садовой вспоминаю я, что сегодня приехал "Пароход мира". Акимова и Вейсбрема встречаю я за магазином Елисеева. С ними третий — рослый, волосы назад, очки. Акимов представляет: "Молодой артист из Иркутска. Я его учу ставить "Гамлета". Так мы шагаем в обратном направлении, впереди — Акимов с иркутянином, позади — я с Вейсбремом. На углу Желябова уходит актер. Я зову обедать в "Асторию". Вейсбрем отказывается. Мы идем с Акимовым, не спеша, разговаривая о том, для чего и встретились: о новой пьесе. Возле сквера на Исаакиевской площади стоят в ряд автобусы. При входе встречаем мы Образцова, и он объясняет, что нам в "Астории" не пообедать: все занято экскурсией мира. Кончается тем, что мы приходим к Акимову. И я говорю о том, что в последнее время понял: опыта жизненного и мыслей много, но оживают они, когда я нахожу форму для них. Так стало в последнее время. Восторг, и ужас, и удивление, создавшие варварскую, безобразную, но свою форму в ранней моей молодости, сменились спокойствием. Происходит обратное — душа оживает от верно найденной формы? Верно это или нет?

1954
7
сентября

Что разумней? Точнее, что почтенней, более соответствует высоким задачам и так далее? Не вхожу в рассуждение, а считаюсь с фактом. Я начинаю думать, чтобы почувствовать форму, и ничего с этим не поделаешь. И я недавно подумал, как интересно было бы написать разговор людей. Четыре человека. Двое и двое. Они разделены — каждая пара. Одна пара в одном доме, другая —

в другом, но зрители видят их вместе на сцене, разделенной пополам. Они говорят об одном и том же, не зная того, что знают зрители, то подходят к правильному решению некой задачи, то вот-вот совершат роковую ошибку. Именно роковую — не зависящую от их желания и разрушающую их жизнь. И едва увидел я этот кусочек формы, как захотелось мне написать пьесу. И целый ряд мыслей, пока я рассказывал Акимову об этой сцене, об этом каркасе сцены, охватил меня. И я предложил Акимову пьесу: "Серебряная свадьба". Муж и жена. Они накрывают на стол в ожидании гостей, которые должны сейчас прийти. И намеками, полусловами вспоминают прошлое. И сейчас, когда я записывал разговор, то понял, о чем должна быть сцена двух групп, разделенных стеной, но видимых нам. Жена, рассердившись, пришла на свидание в комнату негодяя. И вот-вот изменит мужу. Муж говорит с другом. В это самое время. И мы видим, что он ни в чем не виноват. И вот-вот разрушится жизнь двух людей из-за мелочи, нет, из-за непонимания. Они намекают, накрывая на стол, о пережитом полусловами, а мы все видим. В подробностях. Открывается занавес. Стол на просцениуме. А на сцене происходят все события. Вот чем буду я заниматься. Рассказал все это, часть этого, Акимову, и мы оживились. Потом я остался обедать у них, вместо "Астории". Вареная рыба, фрикадельки — хозяин на диете. И после обеда я поднялся к нему. И мы продолжали говорить о пьесе.

1954 8 сентября

Сегодня начался у меня конъюнктивит в правом глазу. Пишу с трудом. Плачу одним глазом. Это — третий раз в моей жизни. В 1918 году, в 1928 и вот в 1954-м. Долго лежал, закрыв глаза, на диване, и вот стало терпимее. Пишу в темных очках, а день, как нарочно, солнечный. Вчера звонил Акимов, спрашивает, что я придумал для пьесы. (Снял темные очки. Делаю вид, что я здоров.) Я стал ему рассказывать и понял, что сделал это преждевременно. Сразу нарушил строй, рассыпал строение, поначалу не более прочное, чем из карт. Я не умею и никогда не научусь строить, не видя, не ощущая материала. Людей и воздуха, в котором они ходят. Впрочем, написав "Василису Работницу", пьесу громоздкую и нескладную, я через год, перечитав ее, понял, как нужно ее строить, и, выбросив два акта из трех, написал более простую и построенную пьесу "Два клена". То же самое с "Водокрутом". Нескладная пьеса. И еще более нескладный сценарий. Я со страхом прочел его, когда

Роу добился через восемь лет его постановки. И построил наконец. Очевидно, для меня единственный способ строить — это забыть плохо построенную, но до конца забытую вещь. Не забытую, до конца написанную вещь. В том случае, если я не угадал постройку сразу. Был вчера в Доме творчества, как всегда, говорил оживленно, даже радостно, как будто опьяненный встречей с друзьями. А друзей-то и не было. Точнее, были не только друзья.

1954 9-10 сентября

А вчера звонил Козинцев. Ему предлагают писать "Дон Кихота". Он позвонил об этом мне, и мне вдруг захотелось написать сценарий на эту тему. Хожу теперь и мечтаю.

Продолжаю думать о "Дон Кихоте". Необходимо отступить от романа так, как отступило время. Ставить не "Дон Кихота", а легенду о Дон Кихоте. Сделать так, чтобы, не отступая от романа, внешне не отступая, рассказать его заново.

1954 14 сентября

Продолжаю читать "Дон Кихота", и прелесть путешествия по дорогам, постоялые дворы, костры понемногу отогревают настороживешееся мое внимание. Притаившуюся мою впечатлительность. Особенно тронула сцена у пастухов, где Дон Кихота принимают и угощают. Вообще, видимо, начинать сценарий следует сразу на большой дороге, с разговора о том, чем питаются странствующие рыцари, о том, что они не спят, о литературе. Потому что из всех нападок на рыцарские романы следует сохранить то, о чем можно поспорить с абстрактными героями нынешних книг. Страстная любовь к жизни стареющего человека — вот что еще можно придумать себе, когда будешь работать. Не Дон Кихот страстно любит жизнь, а автор. Драки, рвота, поносы, кровь! Особенно драки! Дон Кихота избивают с удивительной периодичностью. И я, понимая, что это протест против непрерывных побед рыцарских романов, просто не знаю, как поступать с этим в сценарии. Но вот рыцарь и оруженосец тронулись в путь, и надежды мои оживают. Утешает меня и то, что по мере развития романа, к счастью, автор начинает любить Дон Кихота, и тот из настоящего сумасшедшего обращается в безрассудного безумца, из маньяка — в одержимого высокой идеей. И если удастся передать прелесть путешествия, с одной стороны, и показать, что видит Дон Кихот и что видит Санчо Панса, — то, может, и

одолеем? Главное — не давать себе замирать почтительно, опустив руки по швам перед величием собственной задачи и романа, которого касаешься.

1954 15 сентября

Сегодня утром пришло мне в голову вместо планов, которые никогда у меня не удаются, написать сразу сценарий “Дон Кихот”. Мне куда легче думать, переписывая. Дон Кихот имел прозвище: Алонзо Добрый. Он и читать начал по доброте, чтобы успокоить боль сердца. И на дорогу вышел, убедившись, что жить и любить можно иначе, чем соседи, а непрерывно совершая подвиги. Неужели добро может породить зло? Теперь мелочи, которые приходят в голову. Вор, укравший Серого, рыдает от угрызений совести, но иначе поступить не может. А может быть, этот вор и есть противоположность Дон Кихоту. “Уж очень я озлобился!” Он же говорит: “Добро не может породить зла. Но в чем добро? Да в уничтожении зла. А раз не уничтожил ты зла — следовательно, не сотворил ты добра. А что ты сотворил? Зло! Значит, такой же ты злодей, как и я”. Он должен говорить: “Я простой, я круглый, словно шарик или нечто в этом роде”. Очень мила дочь хозяина. Она любит рыцарские романы не за драки и не за повести, а за жалобы влюбленных. Она добра, как Дон Кихот. И, перевязав ему раны, отправляется за ним. И вор, переодетый Цыганом, как в романе, с ними. Можно придумать множество переодеваний. Это приводит к тому, что в честном человеке подозревает Дон Кихот переодетого Хинеса де Пасамонте. В последнюю ночь перед своей смертью бродит Дон Кихот и прощается с миром. И перед смертью начинает понимать речи деревьев, слушает разговор Росинанта и Серого. Дочь трактирщика, к ужасу Дон Кихота, иной раз говорит неправду. И объясняет это. Рассуждая, говорит: “Я не умна — моя бабушка умна, у нее нашлось к старости время подумать”. — “У женщин нет времени думать”.

1954 16 сентября

Продолжаю читать “Дон Кихота” и думать о сценарии. Вчера, впервые за год, а может быть, и еще за больший срок, спустился возле [дачи] Державиных и внизу свернул направо, повторил прогулку, когда-то ежедневную. Прорыты глубокие канавы. По чистому песчаному дну бегут ручьи. Все это незнакомо. Но журчат новые ручьи, как старые. Прорублена широкая просека, по ней дохожу до поворота к морю. И все думаю о Дон Кихоте. Прибой был,

видимо, эти дни сильный. Обломки камыша, похожие на груды карандашей, показывают, извиваясь валиками по песку, как прибой успокаивался, отходил шаг за шагом. Вода. Дно. Камни. А я все думаю. Мне становится ясен конец фильма. Дон Кихот, окруженный друзьями, ждет приближения смерти. И, утомленные ожиданием, они засыпают. И Дон Кихот поднимается и выходит. Он слышит разговор Росинанта и Серого. Разговор о нем. Росинант перечисляет, сколько раз в жизни он смертельно уставал. Осел говорит, что ему легче потому, что он не умеет считать. Он устал, как ему кажется, всего раз — и этот раз все продолжается. Ночью не отдых. Отдыхаешь за едой. А когда нет еды, то начинаешь думать. А когда делаешь то, чего не умеешь, то устаешь еще больше. И оба с завистью начинают было говорить, что хозяин отдыхает. И вдруг ворон говорит: "Не отдыхает он. Умирает". И с тоской говорят они: "Да что там усталость. В конюшне — тоска". Оба вспоминают утро. Солнце на дороге. Горы. И Дон Кихот соглашается с ними. Он выходит на дорогу и слышит, как могила просит: "Остановись, прохожий". Надгробный памятник повторяет это. И никто не останавливается, не слушает.

1954
17 сентября

Продолжаю читать "Дон Кихота" и все глубже погружаюсь в его дух. Все думаю, что вор может быть тенью Дон Кихота, его противоположностью. Думаю, что словами о золотом веке следует окончить сценарий. Он едет и говорит об этом все тише, тише, пока на экране не выступает слово "конец". А начало сценария — брань экономки. Она бранит его в ясное-ясное утро. Санчо седлает Росинанта. Жена Дон Кихота говорит. Не то пишу — жена Санчо Пансы говорит: "Почему я, твоя жена, которой сам бог велел бранить мужа, молчу себе или плачу тише, чем птичка, а его экономка, на которую он даже и не взглянул никогда, кричит на него, как власть имущая". И Панса объясняет: "Потому что он добр, а я строг". Они едут по горе, по дороге, которая идет петлями, неуклонно спускаясь вниз, но то приближается к дому, то удаляется от него. И каждый раз, когда они на линии дома, — брань слышнее. Нет, не так. Они едут по дороге. А экономка бежит по тропинке вниз. И, браня, снабжает Дон Кихота провизией, которую забирает в свою сумку Санчо Панса. И Дон Кихот считает это волшебством, а Санчо объясняет ему, как просто догоняет его экономка. Но Дон Кихот не слышит. "Трусость и предательство слушать то, что противоречит твоей вере, поверять ее разумом". Встреча с

каторжниками? Или с мельницами? Надо второй раз перечитать “Дон Кихота”.

1954 *18 сентября*

Прочел статью Державина об инсценировках “Дон Кихота”, и сразу слегка побледнел тот мир, близость которого я чувствовал все последние дни. Я испугался. Никаких экранизаций не хотелось бы мне делать, никаких инсценировок. Я на это не способен. Я сразу пугаюсь. Изобилие материала меня не вдохновляет — изобилие материала о романе, а не в нем самом. Я верю только в мое собственное ощущение духа того времени. Нет, Дон Кихота. И веру эту так легко ослабить или затуманить. Знание источников делает вооруженными тех людей, в настоящее понимание которых не верю да и только. Но судить и рядить предстоит все же им. Тем не менее что бы то ни было, а сад, по которому бродит Дон Кихот ночью, не затуманивается. Уже стал чем-то вроде личного моего воспоминания. Но ведь Доре вносил самого себя и множество выдумок, не отступая от романа. Можно было бы показать и такой фокус: рассказать всю историю, строго следуя Сервантесу — сюжетно. А себе дать волю в трактовке, как делал это Доре. Не знаю, — знаю только, что пока читаю роман — интересно и завлекательно, а едва коснусь работы вокруг него — трезвею и смущаюсь. Едва я начинаю думать о вольной переработке, — сразу слышу разговоры. Дон Кихот, объезжающий гостиницу при луне, так ясен, что хоть садись и пиши. Вплоть до запаха соломы и навоза. Влюбленная девочка, дочь аудитора, племянница солдата. Мальчик в костюме погонщика. Всех — хоть садись и пиши. Страшно начинать и еще страшнее ждать. А ну как совсем отрезвею? Впрочем, сегодня вопрос должен решиться. Я еду на студию, чтобы там договориться насчет этой самой работы и решить вопрос.



Вечером иду я на музыку. И мне приходит в голову, что Дон Кихот должен крайне удивиться, увидев, что после боя Санчо Панса окровавлен. В рыцарских романах о грязи, распухшем, как яблоко, носе и всем безобразии драки — не говорилось. Колдовство. Его в конце сравнивает некто с цветком, названным в честь Георгия Победоносца — георгином. Он не приносит плодов. Не радует благоуханием. Он велик и только. И то бледен, как мрамор памятника, то красен, словно кровь. Трезвая осень вокруг. Плоды везут на базар. Цветы

умерли или проданы. И только георгин утешает: стоит и не боится осени. Пока не увянет.



Росинант говорит: "Нельзя стоять на месте, когда голос хозяина, шпоры и удила приказывают идти вперед". И ему не улежать на смертном одре, если жалость, совесть и негодование прикажут, пришпорят и возьмут под уздцы. Дон Кихот говорит, рассуждая о странствующих рыцарях: "Увы, Санчо, нельзя нам, рыцарям, больше трех дней отдыхать и радоваться победе и принимать награды. Иначе так отяжелеешь, что не взберешься на коня". Вот пока все, что думал о сценарии...

Санчо говорит: "На моем теле больше места для колотушек".



В половине второго у Козинцева обсуждали "Дон Кихота". Григорий Михайлович начинает интересоваться сценарием. Но пока ни он, ни я не знаем, что делать, куда повернуть. Я знаю куски, которые начинают кристаллизоваться.

В Комарово ехали на машине. Мост в конце Кировского проспекта (по-видимому, Каменноостровский) до сих пор перестраивается. Кажется, уже два года. В таком же положении тот мост, что соединяет Каменный остров с Новой Деревней (кажется, Строгановский). Поэтому делаем мы долгий объезд через весь город. Переезжаем Сампсониевский мост. Едем, оставляя справа Боткинскую улицу и столь знакомый мне корпус Госпитальной хирургии, и терапевтический корпус напротив, где стоит спиной к улице, лицом к входу бронзовый Боткин. Теперь и он, и бронзовая полуголая женщина со змеей, и оба корпуса в зелени, в кустах, в деревьях. Лето еще тянется. Деревья вокруг Академии огромные, вероятно, с основания ее живут. Углубляемся внутрь Выборгской стороны. Этой осенью на углах возле киосков, торгующих зеленью, устроены загородки, где горой возвышаются арбузы. Их множество. И все же у всех загородок — очереди. Рубль кило! Нет, никогда не было в городе столько арбузов, словно на юге. Сделав крутой поворот, выезжаем на Невку против Ботанического сада. Горы песка возле самой воды. Кажется, тут склады льда. Под ним, под песком, домики в два этажа. Потом заводики за кирпичными заборами. И на той стороне то полосы, то трубы. Снова отъезжаем от реки в окраинную путаницу домов, заборов, вот-вот

кончится город. Стоит старинный дом с колоннами, стоит без соседей. Двухэтажный. Городской, а напротив — пустыри. И снова поворот. И снова городские улицы.



И вот снова асфальт, новые дома, невысокие, но быстро привившиеся на этой дороге, где слева Невка и острова с пышной зеленью и чахлыми фанерными конструкциями, а справа в таких же пышных, но не всюду уцелевших деревьях, улица, одна сторона улицы. Вот проезжаем мы старинную, чудом уцелевшую, ныне охраняемую дачу, деревянную, с бельведером, двумя крылами, колоннами. Вот буддийский храм. Его ремонтируют. Золотят фигурные украшения над фронтоном. И я из уважения говорю мысленно: "Ом, мани, падме, хоум". Вот по обе стороны шоссе протянулись высокие заборы. Они не кажутся унылыми — выкрашены в светло-серый цвет. Старые деревья высятся вдоль заборов. Железная конструкция шагнула высоко над шоссе. Один устой за левым забором, другой — за правым. На переплете над шоссе, напоминающим кран,— слова "Курортный район". На другой стороне слово "Ленинград". Черта города. И через две-три минуты город и в самом деле обрывается. Проносится слева высокий постамент с непонятной, не по вышине постамента, черной, не то пляшущей, не то ликующей женской фигуркой. И вот мы на дамбе среди низменной болотистой местности. На горизонте на уровне земли белеют паруса. У Лахты вода подступает к самому шоссе. Налево — заливчик, глубокий и неширокий. Лодки рыболовной артели. Вправо — не то река, не то болото, не то озеро теряется в зарослях. И вот первый поселок на нашем пути. Лахта. В первые годы после войны он наводил тоску грязью и немощностью своих домишек. Казалось, что они только грязью и слеплены. Теперь поселок приосанился. Особенно летом кажется он вполне ожившим. А Ольгино — сразу за Лахтой — то и вовсе живет. Здесь садики и домики ухоженные.



Начинаю приходить в себя после вчерашних разговоров, и "Дон Кихот" освобождается от тумана. Ладно. Будем держаться романа. Но и Доре держится романа, и Кукрыниксы, и современные Сервантесу художники и авторы гобеленов, что

висят в Эрмитаже. И каждый из них следует роману на свой лад. Я перечитал роман и вижу, что там целый мир, который дает возможность рассказать то, что хочешь. А хочу я рассказать следующее: человек, ужаснувшийся злу и начавший с ним драться, как безумец, всегда прав. Он умнеет к концу жизни. Умирает Дон Кихот с горя. И потому что отрезвел, то есть перестал быть Дон Кихотом. Можно и пересказать весь роман, не отступая ни на шаг. Введя историка или автора. Или голос. Или разговоры на перекрестках. Или экономку в придорожном трактире, где собирает она о своем господине новости. А в финале, который я хотел дописать, я могу сказать что угодно, если после слов Дон Кихота о том, что он Алонзо Добрый, мы услышим голос, говорящий: “Так, по некоторым слухам, кончилась история Дон Кихота. Но с другой стороны — тысячи тысяч людей утверждают, что Дон Кихот живет. Как же это? Почему? Потому что Дон Кихот выехал в четвертый раз, как нам кажется. Как нам удалось узнать”. И идет финал, придуманный нами. О святости мечты. И о великой святости действия, которому завидуют мечтатели. И осмеивают действующих.

1954 *24 сентября*

Снова перечитываю “Дон Кихота”, на этот раз выписывая из этой энциклопедии все, что может понадобиться для работы, разбив на отделы: одежда, вооружение, пища, дорога и так далее. Теперь о другом: о чем я вчера думал. Очень немного народа смеется только когда хочется. У многих смех стал подобием междометия, выражающего смущение, недоверие, растерянность. В этих случаях смех не появляется сам собою, как ему положено, а произносится как слово. И раздражает часто своей ублюдочностью: ни чувство, ни мысль. Лживое, поддельное, принужденное высказывание. Это первое. А вот второе. В желании рассказать анекдот или просто смешной случай и в радости рассказчика, когда он вызывает смех, есть известная слабость. Ему нужно чужое чувство, чтоб разгорелось его собственное. И он смеется в большинстве случаев вместе со слушателями. В этом есть нечто женственное. Не у всех, впрочем. Некоторые рассказывают не от слабости, а от избытка сил. И вообще смех — явление коллективное. Редко смеется человек один в комнате, даже читая, или вспоминая, или придумывая что-нибудь смешное. А читая вслух или рассказывая — непременно засмеется. Оставляю чужую область. Попробую рассказывать дальше о поездке в Комарово на машине.

Итак, при выезде из Ольгино видишь по левую руку высочайшую радиомачту, стоящую словно на пуантах, на одной точке, поддерживаемую длинными тросами. За полями, где она стоит, в рощице, виднеется большой дом, вроде усадьбы, бывшая дача Стенбок-Ферморов. И шоссе уходит в лес, удаляется от взморья. Мы мчимся вдоль однорельсового, нет, одноколейного пути по низкорослому лесу. Он слишком густ. И с этой нездоровой гущиной стали бороться — разреживают березы. А вырубленные сжигают.



И запах дыма, нет, не простого дыма, а костра в лесу, проникший в нашу машину, шевельнул было почти забытое за последние месяцы ощущение — предчувствие счастья. В низкорослом березовом лесу между Ольгино и Лисьим Носом шоссе дает крутые повороты и тут в кустах часто замечаешь мотоциклет и милиционера возле — инспектор ГАИ, притаившись, ловит нарушителей. Появляются плакаты, большие, словно картины. Написаны они маслом. Торчат у дороги на двух столбах. Они делятся на три вида — рекламные, идеологические и напоминающие об ужасах нарушения правил движения. На картине с надписью: “Поворот!” изображена машина, сбивающая на повороте столбики и направляющаяся в кювет. На картине “Последствия лихачества” “Победа” врезалась в грузовик. Идеологические плакаты говорят о мире, любви к Родине. Рядом с рекламой маргарина это пугает. Видишь лицо администратора, подлинного создателя произведений, что стоят, раскорячившись, на своих двух столбах вдоль шоссе. Все время совершаются небольшие события: обгоны идущих впереди машин. Вот грузовик. В кузове его горой громоздятся невыкрашенные школьные парты. Этот неукладистый груз угрожающе раскачивается, шофер едет не спеша и тем не менее не хочет услышать наши гудки. Дважды отходим в хвост упрямому грузовику, уступая путь встречным, и, наконец, обходим его, и шоферы обмениваются надменными взглядами. Некоторое время мчимся мы беспрепятственно, но вот за одним из поворотов обнаруживаем пятитонку. В кузове ее огромные колеса в многопудовой резине. Во всяком случае так выглядят они, когда вне машины. И этот шофер не сразу соглашается взять вправо.

1954
26
сентября

Так мы переживаем, как целую жизнь, дорожную жизнь, вполне отличную от окраинно-городской, ново-деревенской, лахтинской дорожной жизни, жизнь среди несущегося мимо низкорослого березового леска. Это самый длинный перегон. Но вот мы вступаем в резко отличный мир поселка Лисий Нос. Кажется, что расположен он совсем на уровне моря. Однако дорога, идущая влево от шоссе, до войны грунтовая, а сейчас рельсовая, но забалластированная, явно направляется вниз. И с некоторым ужасом гляжу я на эту дорогу и на мыс за серой водой. Каждый раз вспоминаю, что в столыпинские времена здесь казнили. Но поселок об этом забыл. Против станции — павильон ресторана, аптека с крыльцом и лесенкой — во всяком случае так я вижу сейчас, а дальше высокие, знающие себе цену, отлично сохранившиеся дачи вдоль шоссе. Все двухэтажные, свежевыкрашенные, с балконами. Направо, за полотном, за живой изгородью оштукатуренная дача, где в тридцать шестом году жила семилетняя моя Наташа с бабушкой. Березовый лесок словно только ждал случая, чтобы исчезнуть. За Лисьим Носом налево низменность, уходящая к воде, направо пустырь, вскоре исчезающий. Появляются первые дома Горской, Александровской, Тарховки, Разлива, Сестрорецка. Эти дачные местности переходят друг в друга незаметно, хоть и вовсе не похожи. Горская начинается печально — с кладбища. За ним нескладное здание с нишей в оба этажа неясного назначения. Затем идут дачки, неуверенные в себе. После войны шоссе асфальтировано все. И проведено важное улучшение в самом направлении трассы. Прежде у Горской, у самого почти кладбища, шоссе переходило на правую сторону полотна.

1954
27
сентября

Затем у Тарховки снова шоссе переходило на левую сторону. И у Разлива — опять на правую. Это приводило к тому, что вечно ты ждешь у шлагбаумов. И знатоки уверяли, что иначе и невозможно: грунт по левую сторону полотна не годится. Болотист. Тем не менее шоссе после войны улеглось вполне благополучно на этой самой болотистой стороне, и шлагбаум тут угрожает тебе всего только раз — у Разлива. В начале новой трассы белеет некоторое подобие триумфальной арки: полукруглое на тонких ножках с флагштоками, клумбами, газонами, статуями вождей. Этим отмечается

твой въезд в подлинно курортный район. Уже давно, едва минуешь Лисий Нос, как видишь ты Кронштадт совсем близко, рукой подать, в иные дни и далеко, в дымке — в иные. Кронштадтские форты с приподнятыми, как бы искусственными, берегами. Острова эти похожи на твое детское представление о том, что есть остров. Море все удаляется. Приближаясь к Разливу, ты его едва видишь за кустами, за леском... Напротив шлагбаума по правой стороне стояла в те времена деревянная часовенка с деревянным, серым, вытянутым куполом луковичкой... Вот налево кирпичная школа. Сюда я ходил читать ребятам и Наташу брал с собой. С тех пор школу надстроили. Замедлив ход, двигаемся улочкой между маленькими домиками.

1954 28 сентября

Завтра — двадцать пять лет с тех пор, как переехал я на 7-ю Советскую к Кате и резко изменилась вся моя жизнь. Собирались мы отпраздновать серебряную свадьбу — и пришлось это дело отменить. Катюша нездорова, плохо с сердцем. И я не жалею об этой отмене. Друзей таких, которых хотелось бы принять и с которыми весело было бы, — не имеется. Все в Москве. С Юрой встречаемся все напряженней, при внешне уважительных отношениях. Ну, и так далее. Это был бы шумный, невеселый обед, после которого осталось бы длительное похмелье.

Продолжаю рассказывать о поездке в Комарово. Шоссе бежит по последней улице Разлива. Маленькие, старательно выкрашенные дачки со стандартными заборами. Направо, за коротенькими переулками поблескивает озеро. Улица упирается в широкую деревянную водосбросную плотину. От нее влево к морю по широкому руслу то бежит, прыгая по камням, целый поток воды, то поблескивают лужицы. Водосбросный канал идет до самого моря. Впрочем, недавно я узнал, что это не канал, а река Гагара. Шоссе, нет, не шоссе, путь наш пересекает широкую плотину, и шоссе, обогнув озеро, круто поворачивает вправо. На этом повороте густо растут ивы особенного вида — с листьями серебристыми, как у маслин в Новом Афоне. Блеск воды, асфальт, серебряные деревья в два ряда у озера, деревья сада за решеткой напоминают юг, радуют, начинается новая сестрорецкая дорожная жизнь. Значительно ниже шоссе, за площадкой в цветах красное кирпичное здание старинного сестрорецкого завода, совсем не похожее на завод.

Базарная площадь. Улица в деревьях. Это видят все. А я каждый раз вижу то, что тут пережито мною.

1954
*29
сентября*

Сегодня у нас серебряная свадьба. Гостей не будет — Катюша больна. И я не огорчен, что гостей не будет. Вчера вечером попробовал написать первую сцену "Дон Кихота" и очень доволен собой, даже спал лучше, чем всегда, и проснулся с ощущением счастья.

Продолжаю рассказывать. Улицы Сестрорецка вот тут, в центре, возле рынка, связаны у меня со множеством, не знаю, как назвать, не воспоминаний, а представлений не менее известных, чем те, которые переживаю, проезжая тут сегодня. Вот я вижу, как идем мы с Катюшей в крытый рынок, ныне не существующий. Очередь в полупустой мясной ларек. С некоторым ужасом решаюсь я на покупку четырехсот грамм легкого для кошки нашей. Капризная Васенка наша отказывается есть. Ничего в этом воспоминании нет веселого. Почему же вспоминаю я с такой радостью тускловатый по-северному, но солнечный день, сетку с покупкой в руках, вялого, ошеломленного скудностью своих товаров мясника. И свою комнату на чердаке и особый чердачный запах — глины и дыма. И Васютку, с достоинством отступающую от покупки. И все это слито вместе: рынок, улицы, дом, чердак — слиты в веселое ощущение, полное жизни. Что-то происходило с душой неосознанное, но важное в это мгновение. И, по-видимому, счастливое. И еще: мы с Катюшей идем от рынка, мимо дома с высоким, ступенек в десять крыльцом, и замечаем, что центр Сестрорецка вымощен кладбищенскими плитами. И положены они отшлифованной стороной кверху. То есть той стороной, на которой надгробные надписи. И мы читаем, что здесь покоится тело надворного советника такого-то, скончавшегося в 1840 году. А рядом плита, покрывавшая некогда могилу второй гильдии купца. Вся панель из каменных прямоугольников с надписями.



В середине тридцатых годов на берегу Сестры-реки жили тут, за горою, Тыняновы. К месту нынешнего шоссе ходу не было, начиналась тут, за горою, запретная зона у финской границы. У дачи, нет, недалеко от их дачи на пригорке перед запретной зоной зеленело кладбище, как все наши кладбища казавшееся

заброшенным и разрушенным. Года четыре назад проезжая тут, по некогда запретной зоне, увидели мы на горке — кресты. Кладбище продолжало расти. Теперь оно перешагнуло за гору, подползло к самому почти шоссе, и взяли его в ограду. Выглядит оно на голом песке угрюмым. Вскоре за кладбищем видим флагштоки, статую бойца с автоматом. Налево полотно дороги, направо — болота. Картина стоит раскорячкой на столбах, предупреждает на свой мрачный лад о близости переезда — поезд налетел на грузовик. Мы переезжаем через полотно и пересекаем бывшую финскую границу. Некоторое время вокруг песчаные изрытые пустыри. Беседка торчит на пригорке. Но вот мы снова видим флагштоки, полукруглые конструкции на тонких колоннах, газон, клумбы, статуи вождей, и местность резко меняется. Высокие деревья окружают шоссе, мы в Оллило, ныне Солнечной. Здесь, как это ни странно, начинается другой климат. Я думал как-то, что племена выбирали себе место жительства по душе, а не только по другим каким причинам. В Оллило, в Финляндии бывшей, зима наступает раньше и отступает позже. В Сестрорецке все уже растаяло, а тут снег еще и не тронулся. Сейчас, впрочем, осень одинаково продвинулась вперед и там, и тут. Вот бывшая дача Чуковских, в долине ближе к морю.

1954
2
октября

Так как кроме своих воспоминаний имеются у нас еще и чужие, у меня во всяком случае, то, проезжая мимо дачи Чуковских, вспоминаю я и его детство. Однажды, давным-давно, в двадцатых годах, при первом знакомстве Стенич сказал Коле что-то до крайности оскорбительное, как он это умел. И Коля, дня через два рассказывая об этом, признался, что был глубоко задет. “А потом подумал — а что он знает обо мне? Разве он знает мое детство, дорожки, по которым я ходил в Куоккале?” И эти слова о дорожке почему-то сильнейшим образом тронули меня, подействовали на мое воображение. И я всегда оглядываюсь на высокую двухэтажную дачу под высокими деревьями. По словам Коли, местность стала в наше время красивее. Шоссе пролегло на месте бывшей пыльной проселочной дороги. Исчезли мелкие летние дачки, что теснились вдоль дороги. И так далее.

Здесь в любое время обгоняем мы и встречаем гуляющих из домов отдыха. Зимой они все больше на финских санках. В самом центре Репино мы съезжаем с шоссе, поднимаемся через поселок к железнодорожному

полотну. Шлагбаум закрыт всегда. Даем сигналы. Если путь свободен, всегда недовольная сторожиха поднимает его.



Всегда недовольная сторожиха поднимает шлагбаум — вертит рукоятку и сначала поднимает черно-белый шест по ту сторону полотна, а потом и по нашу. Если же приближается поезд, сторожиха стоит к нам спиной и не без удовольствия всем видом своим показывает, что она в своем праве. Гудите, гудите — не слушаю. Проходит бесконечно длинный товарный поезд с полусонным кондуктором на задней площадке или пролетает электричка со своим особым облегченным шумом. Стучат только колеса, нет вздохов и шипения паровоза. И поднимается черно-белый шест по ту сторону полотна, а потом и по нашу. И мы въезжаем на грунтовую дорогу. Справа налево насыпь и рельсы. Начинается последний, самый короткий отрезок нашей дорожной жизни. Несколько лет назад, нет, два-три года назад Володя Лифшиц предложил подвезти нас до города в своей машине. И когда мы подъезжали уже к переезду, метров за двести от него произошло событие, которое вспоминаю теперь постоянно. Вначале, еще не поняв, я только почувствовал невиданное движение на полотне. Что-то неслось через рельсы нам наперерез, не человек, не зверь, серое, огромное. И вдруг сердце замерло: перед самым радиатором огромная и вместе с тем быстрая, словно ей ничего это не стоит, пронеслась через дорогу, закинув назад безрогую свою башку, лосиха. И скрылась в лесу. Больше подобных чудес мы не переживали. По северному, сдержанному, непривычному душе лесу ведет дорога к дачному нашему дому. Первые изгороди комаровских дач. Улица Громыхалова. Полукруглый объезд у сторожки. Улица, ведущая к дому отдыха ВТО. Станция видна.



Налево за полотном, за футбольным полем, где в любое время гоняют мяч ребята, наискось, представляясь более высокой, чем оказывается, когда подъедешь ближе, показывает деревянные крылья наша станция, крытая ее галерея. Третья дачная, Вторая дачная. Морская. За красно-коричневым магазином светло-серый забор, высокий и, как нам кажется, ладный. В сентябре этого года исполнилось пять лет с тех пор, как мы поселились на даче, которую когда-то получил Герман. В январе 49-го, получив квартиру в городе, Герман предложил нам пожить у

них зимой, чтобы не пропадала дача. И мы согласились. Первую зиму жили мы тут без домработницы. Боюсь, что злые духи, оставленные тут финскими волшебниками, увидев нас, послушно принялись за работу. То вселялись они в нашего кота, и он с воплями вцеплялся зубами Катюше в руку так, что доктор опасался заражения, рука распухла. То в городе бросались на меня самые неожиданные люди. Счастья не было. И время мчалось. И с Наташей не ладилось, не шло ее учение. Я не писал. Начал было и бросил. Финские демоны подтолкнули, и я прочел то, что начал, друзьям прежде времени. А время летело и становилось все суровее. И летом 49-го года поехал я в Сочи, но и там достигли они меня. Катюша вдруг тяжело заболела. Сильнейший припадок стенокардии. И пьесу мою запретили, и я выехал в Сочи ошеломленный. Летом Германы жили на даче, а осенью уехали и предложили нам взять дачу совсем, оставался им еще год аренды. И мы согласились. В городе казалось еще страшней. Несмотря на то, что Катя заболела явно после достаточно тяжелой, физически тяжелой зимы в Комарово, она решила переезжать! И мы переехали. И забор, и крыша, и сад — все за эти годы сделано нами. И внутри отделана дача. И все же каждые два года нас пытались отсюда выжить.



Мы вчера приехали в Комарово. Печь топили. Спал я с открытой форточкой, и разбудило меня движение, шорох, трепетание между окном и занавеской. Еще не проснувшись, угадал я причину — птица влетела в открытую форточку и не может найти выхода. И в самом деле, синичка сидела на занавеске, глядела на меня одним глазом, и запищала, и заметалась, когда я подошел к окну. Я вспомнил, что Бианки советовал говорить с птицами ласково, они по музыкальности своей чутки к интонациям. Но уговоры мои не действовали, и пока я не открыл окно, что удалось не сразу, птица все металась и пищала в отчаянье. А когда открылось окно, синица исчезла так беззвучно, что я не поверил себе, поискал еще ее между занавесками. Ворона трижды каркнула, когда открылось окно, и мне вспомнилось, что дома у нас считалось дурной приметой, если птица залетит в комнату. Небо ясное, на землянике — иней. Тополя под окнами и кусты еще зеленые, ни одного желтого листика. Едва кончилось происшествие с птицей, как мне пришлось одеваться — кот поднял крик. Я вышел с ним, думая о приметах. Верю я в них или не верю? Так интересно думать, что и

в самом деле существуют финские колдуны. Пошатываясь, ходил наш больной кот под кустами, все приникая вплотную носом к веткам. И открывал рот. Дыхание захватывало. Кошки бродили тут ночью. А я глядел и думал о пяти годах, прожитых тут. Прежде мы уезжали куда-нибудь каждое лето, а теперь все не трогаемся с места. И от этого слились все годы в одно целое. Трудно, вспоминая, разделить годы. Сначала — Рахманов, Пантелеев. Попытка писать повесть. Длинные прогулки, когда еще не было чувства пустоты в лесу и на море, какое овладело мной в прошлом году. Отъезд Наташи в Москву, ее замужество — это до окончательного переселения сюда.



Вспоминаю эти пять лет. Бывал ли я за эти, сбившиеся в один ком дни, счастлив? Страшно было. Так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило: "Возделывай свой сад", но если возле изгороди предательски и бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, становишься соучастником убийц. Но прежде всего — убийцы вооружены, а ты безоружен, — что же ты можешь сделать? Возделывай свой сад. Но убийцы задушили не только людей, самый воздух душен так, что, сколько ни возделывай, ничего не вырастет. Броди по лесу и у моря и мечтай, что все кончится хорошо, — это не выход, не способ жить, а способ пережить. Я был гораздо менее отчетлив в своих мыслях и решениях в те дни, чем это представляется теперь. Заслонки, отгораживающие от самых страшных вещей, делали свое дело. За них, правда, всегда расплачиваешься, но они, возможно, и создают подобие мужества. Таковы несчастья эти, и нет надежды, что они кончатся. Еще что? С удивлением должен признать, что я все же что-то делал. Заставил себя вести эти тетради каждый день. Написал рассказ о Житкове, о Чуковском, о Печатном дворе, о поездке поездом в город — это уже переписано, а в тетрадях почти все готово, нуждается только в переписке, написано много больше. О Глинке, о Шкловском, о путешествии по горам. Не считая беспомощного, но добросовестного рассказа о себе от самого раннего детства до студенческих лет. Точнее, до конца первой любви. Тут я сказал о себе все, что мог выразить. И сознательно ничего не скрыв. Получилось вяло от желания быть правдивым, но часто и правдиво. Дописал я "Медведя", который сначала радовал, а теперь стал огорчать. Переписал сценарий "Водокрута" — недавно. Написал "Два клена", что далось мне с трудом.

Сначала получилась, а точнее, не получилась пьеса “Василиса Работница”, и только в прошлом году — “Два клена”. И работал для Райкина, с ужасом.

1954
7
октября

В общем, перебирая все, что написал за эти пять лет, я не без удивления замечаю, что это не так уж мало. Но успеха, как до войны или с “Золушкой” после — я не видел. Более того. Гурко и Нагишкин, из которых последний упорно и настойчиво на совещании по детской литературе, потом в “Комсомольской правде”, потом в “Новом мире” поносил меня всячески. И при том до такой степени удушливо, что хоть дерись, а не станет легче. Нет, тяжелое время прожил я тут. А болезнь Катюши. А смерть Тони. Нет, лучше уж вспоминать другие времена. В Союзе, куда мне предстоит сегодня ехать на заседание ревизионной комиссии, любят говорить мне при встрече одну и ту же фразу: “Тем, что вы живете в Комарово, вы продлили себе жизнь”. И фраза эта своей глупостью, скудостью и узостью каждый раз действует на меня угнетающе. Во-первых, я не чувствую необходимости принимать меры для продления жизни. Не потому, что собираюсь помирать, а как раз потому, что не собираюсь. Во-вторых, жизнь определяется не свежим воздухом и здоровым климатом. Уйти от чувства, что за забором сада, который тебе положено возделывать, кого-то душат, невозможно. И тревога пополам с унынием не рассеивается, когда живешь в дачном поселке. Именно в Союзе ощущение удушливости особенно отчетливо. Именно там оно и вырабатывается. И именно там с идиотским упорством повторяют, что я, счастливец, продлеваю свою жизнь в Комарово... При всем рассказанном я чувствую, что могу работать. Прошлогоднее затмение рассеивается. Как будто что-то вернулось в Комарово — бродить стало интересно, как в первые годы. Жизнь продолжается.



Вчера вечером прочитал начало сценария Пантелееву и, как всегда, стал сомневаться после чтения, так ли следует начинать. И придумал новое начало. И сегодня все время о нем думаю. А что, если начинать всю историю с того, что Дон Кихот останавливается на перекрестке четырех дорог, пробует прочесть надпись на придорожном камне и обнаруживает, что она давно стерлась. Тогда, по рыцарскому обычаю, бросает он поводья на шею коня — пусть Росинант

приведет к подвигам. Но Росинант заснул. И никуда не хочет идти. И мимо рыцаря, прикованного к месту, проходят различные люди, из разговоров с которыми и выясняется, кто он и что он. И все думаю я на этот счет, и думаю, и не могу решить. Во всяком случае, попробую я это начало сделать. Проходят мимо козопасы с копьями, проезжают молодые, и, наконец, Самсон Карраско. Этот уверен в превосходстве науки над мечтаниями. И, может быть, в финале встречаются они на перекрестке еще раз. Ты возьмешь у меня знаний, а я у тебя научусь ненависти к злу, и любви к добру, и любви к действию. Вчера я почти целый день пробыл в городе. Заседал секретариат, и ревизионная комиссия на нем присутствовала. Сильно побелевший и с мешками под глазами Кочетов. Побелевший лицом. Еще побелевший, он всегда был бледен. Тощелицый, хитрейший и легковеснейший Дудин. Еще и рябой при этом. Он все заседание писал эпиграммы, и рисовал карикатуры, и писал записки разным людям — вел себя, как неусидчивый, плохой мальчик. А когда говорил по делу, то казалось, что это фальшивка. Все это не беда — не скрывайся за этим и робость и трижды хитрость. Рассмешив — обезоружить. И он в дружбе с черносотенцами.



Он встает и все тем же поддельно-значительным голосом, как бы играя в секретаря правления, глядя в сторону, вносит предложения, и какие там шутки. Вся муть и мрак, о которых стараешься не думать, входя в Союз, заполняют комнату. Он считает полезным для своей карьерки объединиться с палачами-неудачниками. Неудачниками в области литературы. Кочетов сделан из более благородного материала. Он верит, что прав. Озлобленность, которую он внес неожиданно для всех в свою секретарскую работу, им выстрадана. Очевидно, годы газетной работы его воспитали известным образом. Не сама работа, а редакционный воздух, борьба самолюбий, удары по лицу за малейшую удачу. И он болен. Во всяком случае держится он — как бы это сказать — масштабнее... Я, отвыкнувший в Комарово от заседаний, помалкиваю, и стараюсь не смотреть фактам в лицо, и убеждаю себя, что все может обойтись. Когда кончается заседание секретариата, начинается ревизионная комиссия. Председатель наш, Подзелинский, очень маленького роста, с большой лысой головой, кислым выражением лица, —

личность странная. От него по наружности никто ничего хорошего не ждет, но очень обижаются, когда он полностью подтверждает эти подозрения. Недоверчив и мнителен до чудачества. Он перестал выступать от нашего бюро пропаганды с чтением своих художественных произведений, чтобы не говорили, что он зарабатывает, пользуясь тем, что он председатель ревизионной комиссии. Напал на Котовщикову за то, что взяла она ссуду в Литфонде. Безвозвратную. Она объяснила ему, что членство в комиссии не лишает ее прав рядового члена Союза. С месяц ворчал он. Пока вдруг сам не взял такую же ссуду. Из зависти.



Все думаю о “Дон Кихоте”. Мое начало кажется мне теперь милым, что раздражает меня. Дух романа суровее. Тоска по добру прорывается через колотушки, жестокость, условное остроумие тех дней и такую же рассудочную поэзию. То, что нам дорого, сказывается в “Дон Кихоте” как бы украдкой. Контрабандой. Причем автор как будто сам смущен тем, что у него высказывается. Дон Кихот говорит умно и трогательно — и тут же автор спешит пояснить: эти речи удивительны у безумца! Они как бы и приводятся для того, чтобы показать, какая удивительная, достойная описания вещь — безумие. И если нарушить эту как бы непроизвольно сказывающуюся поэтическую, человеколюбивую сторону, точнее, если дать ей выйти открыто на первый план — ничего хорошего не выйдет. Воздух романа строг, сух, жесток. И этого нельзя забывать. Поэтому детски откровенное начало меня смущает. То начало, что я написал.



Вчера вечером охватила меня вдруг без причины и без подготовки комаровская тоска. Впрочем, причина была — дождь и тьма. Но потом я взялся переделывать начало сценария и успел даже переписать переделку на машинке. Из уважения к Дон Кихоту делаю я по-новому, точнее, по-старому: пишу сначала от руки и только потом перепечатываю. И это мне помогает очень и как будто даже ускоряет дело. Не мешала ли мне машинка в последние годы? В новом варианте выгодно, что показываю я рыцаря настоящего, пока идут надписи. Есть с чем сравнивать Дон Кихота, когда видят его зрители впервые. Начало, правда, немножко похоже на литературный сценарий

“Золушки”, но в картину тот пролог не вошел. И новое начало ближе к открытой стороне романа — насмешливой. В первом варианте слишком отчетливо говорилось о доброте Дон Кихота. Кончил я писать в четвертом часу. Тоска исчезла — завтрашний день приблизился. Я боялся только, что не усну, как бывает, когда голова на полном ходу. Но обошлось. Утром — ветер и солнце. Вчера вечером я мечтал уехать, а сегодня пожалел. Но сейчас, в первом часу, опять облака и то и дело брызжет дождь, крупный и частый. Сегодня мне опять предстоит пережить заседание ревизионной комиссии. За окном дождь сменился градом. А пока написал эти слова — прекратился. Вероятно, есть что-то нездоровое в моей ненависти к деятельности такого рода, да уж очень наболела та часть моей души, что связана с Союзом последних лет. Предполагаем мы пробыть в городе несколько дней. Вероятно, этой зимой мы будем жить пополам, и здесь, и в Ленинграде. В ноябре больше в городе — отчетно-выборное собрание. Выберут делегатом на съезд — хлопотливо. Не выберут — еще хуже.



Приехав в Ленинград, нашел я письмо из Театра Ермоловой. “В связи с тем, что театр в ближайшее время приступает к работе над Вашей пьесой, просим Вас, если за это время были внесены… какие-либо поправки, выслать нам новый экземпляр…”, чтобы послать его “в репертуарно-художественную инспекцию… для получения разрешения”. Сначала я обрадовался. Увидев конверт с маркой театра, ждал я всяческих неприятностей. Оказалось, что нет их, а есть сообщение о “работе над Вашей пьесой”. А потом я несколько удивился и стал сомневаться. Какая-то неясность со второй частью письма. Откуда вдруг получилось так, что театр еще не посылал пьесы в “репертуарно-художественную инспекцию”? Ведь как раз оттуда добывал ее Гарин и как раз там шел разговор о том, что ее не следует ставить, напугавший и театр Ленинского Комсомола. Зачем же меня запрашивают о поправках? Не собираются ли они там “в репертуарно-художественной инспекции”, узнавши, что поправок не имеется, запретить пьесу со звоном и шумом? Впрочем, побывавши в эти дни в Союзе, почитавши протоколы, убедился я, что живу чрезмерно робко, по-рязански. Шелковская линия моего развития стала к старости особенно ощутительной. При каждом успехе испытываю ужас и недоверие. Если бы не беспечность при этом, то совсем было бы

невесело. Но веселость берет верх, и я сегодня смешил и смеялся. Сегодня позвонил Лобанову. Понял, что письмо, по существу, является попыткой узнать, как обстоят у нас дела — не добился ли чего-нибудь здешний театр, не переделал ли я чего-нибудь по указанию Ленинского Комсомола и не попробовать ли начать хлопотать снова. В общем, полная неясность.

1954 14 октября

Больше всего я боюсь, что переживу постепенную потерю того, что накапливалось с детских лет, — чувство моря, чувство осени, чувство путешествия, чувство влюбленности, чувство дружбы. Принимались они каждый раз как открытия. До последних дней богатство росло. Чувство формы продолжало развиваться, сказываясь иной раз с неожиданной силой. Так было недавно со стихами Пушкина, когда я понял особым образом слова: "Глубокий, вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров". Слово "хвалебный" рядом с "хором валов" в применении к движению волн показалось мне наполненным особым содержанием, больше, чем звуко-вым и смысловым, но связанным и с тем и с другим. Так же, как "полупрозрачная наляжет ночи тень". Испытал однажды чисто физическое чувство освобождения и особого освежения, когда слушал долго Баха в четыре руки. И встречал эти чувства, как открытия, с удивлением и благодарностью. И больше всего я боюсь, что богатство это начнет раз от разу уменьшаться и я перестану верить, что возможны переживания подобного рода. Впрочем, страх этот ослабляется прочным и неизменяющим чувством: ожиданием счастья. И великим даром: умением закрывать глаза. Вчера был у Вейсбрема в странной его квартирке в одну комнату. Ковры, два дивана, портьеры, книжные полки, стол с пузатой и высокой лампой с абажуром. И рыцарь в латах в углу. Поднимешь забрало — видишь печальное усатое молодое лицо из папье-маше. И четыре кошки, подобранных на лестнице. Из них одна вот-вот окотится. В субботу прогон "Кленов".

1954 15 октября

Вчера, возвращаясь из Союза, я заметил, что вода в Неве стоит непривычно высоко. Вечером по радио объявили угрожающее положение — два метра выше ординара. Возможно дальнейшее повышение. В девять часов мы с Катюшей вышли поглядеть на Неву. Несмотря на сильнейшие порывы ветра и дождь, на

улицах похоже на пасхальную ночь. Все двигаются в одном направлении. Фонари то гаснут, то вспыхивают. И каждый раз в темноте мальчишки поднимают разбойничий свист. Празднично выглядят семьи: все вышли, и старшие, и дети. Громкие разговоры. Смех. Мойка у Машкова переулка стоит, нет, идет, то вспыхивая, то угасая вместе с фонарями, на четверть, на две ниже парапета. На мосту зрители. Замерли у перил, как зачарованные. Но кроме толпы радующейся появляются озабоченные хозяйки, этим не до веселья. Под исчезающим и налетающим дождем, в платках, с зонтами, выросли очереди, прежде всего у булочных. Навстречу толпе, двигающейся к Неве, бегут женщины с полными авоськами. На последнем отрезке переулка к самой Неве, во дворе магазина, особенно длинный хвост вырос в полутьме у какого-то ларька. Против переулка у парапета такие же молчаливые, неподвижные зрители, как над Мойкой. И мы находим себе место с ними. Нева черная и серебряная, но не в этом сила — у самых последних ступенек лестницы, переполняя берега, бушует. Морские волны бьют о берег. Чудо. И все глядят молча. Стараются освоить. И, освоив, двигаются по набережной. Тут я замечаю, что неподвижные зрители все сменяют друг друга.

1954
16
октября

Постояв у парапета против Машкова переулка, мы идем медленно по набережной к Зимнему дворцу. Беспокойный, но и веселый шум, и блеск, и чернота, и плеск воды. У Дома ученых окна и подъезд празднично освещены. На площадках лестницы люди. Сначала мы думаем, что собрался народ в ответ на то, что совершается за парапетом. Но нет, там какой-то вечер. Жизнь учреждения не так гибка и подвижна, как у нас, двигающихся толпой по набережной. Впрочем, пролетают мимо и грузовики с солдатами — один, второй. Мчатся куда-то к заводам, которые объявлены на угрожающем положении — туда, к Гавани. И Эрмитаж, и Зимний дворец — темны. Ни одного освещенного окна. Это даже обижает. А они почему не встревожены? Впрочем, вот в подвале освещены два окна, но это жилое помещение. Занавески на окнах. Шкафы. Фонари вдоль набережной мигают только до Дворцового моста. Дальше весь их ряд сияет непоколебимо. И там их свет на волнах борется с лунным — двигается золотая и черная вода. И мы сворачиваем к своему дому, где узнаем, что подъем воды прекратился.

1954
21
октября

Сколько я себя помню, всегда начинался этот день с того, что близкие меня поздравляли с особенным выражением лица— значительным и ласковым. Вечером собирались гости. В этот день старшие прощали мне [то], за что в обычный день влетело бы. Я получал подарки. Словом, привык, наконец, я и сам встречать день своего рождения с лицом значительным и ласковым. В прошлом году провел я этот день в Москве, на драматургическом пленуме. И то друзья поздравляли, приходили телеграммы. В этом году я сначала хотел отменить какие бы то ни было празднования. Все это получается уж непременно невесело и всей тяжестью ложится на Катюшу, так что потом она хворает. Но Катюша нашла, что это нехорошо, никогда так не делалось, и гости все-таки придут. Во вчерашнем спектакле мне многое понравилось, а кое-что показалось очень уж актерским. Я давно не был в театре. Вчера вдруг с удивлением узнал в себе некоторые дворянские черты. Откуда бы? В частности, умение не смотреть фактам в лицо и верить, что все обойдется. Впрочем, это не интересно. Но вот что важно. Зал вчера был в основном кассовый, то есть обычный, зритель, купивший билеты в кассе, наполнял его. И пьесу смотрели внимательно. Некоторые плакали. И на “Гамлете” — полно. Это тоже свойство 53–54-го годов: желание услышать нечто сложное и полноценное. День сегодня вполне осенний. Дождь с утра. На окне в кухне устроена кормушка для голубей, и они, склевав положенный паек, сидят напротив. Сначала от диких или непородистых резко отличались две голубки: белая и каштановая. Их потомки сравняли стаю.



Я все писал содоклад о детской литературе в Ленинграде. Я столько раз уклонялся от всяких выступлений, что, надо признаться, делал это не без интереса. С тем, что живу я в стороне, в Комарово, отказываюсь от всего, за последнее время уж больно охотно примирялись. В этом есть своя здоровая сторона, но вместе с тем и что-то слишком уж спокойное, даже безразличное. Кроме работы над докладом встретился я со зрителями. В Доме искусств, на сцене, сели полукругом все почти драматурги Ленинграда, и Цимбал сделал о нас доклад. А потом мы по очереди рассказывали о себе, а зрители предъявляли нам счет.



Я написал содоклад по детской литературе, преодолев самое для меня страшное — полуобморочное состояние от мысли, что надо сесть и работать. Как всегда ринулся я, как в воду, когда уже оставались считанные часы, к столу. И успел. Вчера я ушел в Союз к трем часам. В четыре утверждал доклад на секции. Точнее, около пяти. Товарищи мои несколько удивились — похвалили за необычность формы. И даже предложили сделать из него статью для "Звезды". И я пришел в состояние покоя, блаженного покоя. В семь говорил я все там же, в Союзе, вступительное слово на собрании библиотекарей. Все с тем же состоянием покоя, обычным, когда меня хвалят. Сидел я и слушал бедных глупых пожилых женщин. И думал о том, как они были детьми. И о том, что знакомые не кажутся глупыми.



Когда я вчера увидел в уголке двух мрачных артистов, двух главных врагов Акимова, то поразили они меня глубокой личной, именно личной, мрачностью выражения. Оба бледны. Оба сосредоточены, как несчастные влюбленные или ревнивцы. Таковы актеры. И в самом деле — склока в театре идет не умственная, не искусственная, а от сердца. Попробуй расспросить этих бледных ревнивцев, за что ненавидят они Акимова, и услышишь такую смесь сплетен, обвинений в формализме, почуешь такую бабью уверенность в своей правоте, что испугаешься. И вчера, так как я не разговаривал, а только смотрел, мне стало понятно, как физиологична эта борьба. Прямо действительно как в любви. Словно отбил у них Акимов девушку, и пути, которыми он действовал, кажутся им теперь глубоко оскорбительными и недобродетельными. Народ актеры такой. У них все около. Что роль, что общественная деятельность, что все такое прочее. Сейчас позвонил Роу: приехал. А я еще и ручку в чернила не окунал. Что тут делать! Придется поработать сегодня, как это ни грустно. Вчера вечером был в гостях. Болтал с таким наслаждением и вдохновением, как будто дело делаю. Это тоже результат шестилетнего пребывания в Комарово. Если там в первое время бывал вокруг народ, то в последнее — сидели мы за столом да пасьянс раскладывали вдвоем с Катей. А я, ничего не поделаешь, люблю, когда кругом друзья. Сегодня кончаются морозные дни. Обещают по радио оттепель, а местами гололед, что тут сделаешь? Сижу и придумываю — как

бы справиться мне со сценарием для Роу. И что писать в этих тетрадях? Надоело вспоминать. Ненавижу или, точнее, не умею рассуждать. Что делать?



Удалось, кажется, написать сценарные новые куски для Роу. У меня в последнее время что-то испортилось, не понимаю, что написал. Пока пишу — слишком уж нравится. Сидел безвыходно весь день. В такие дни душа прекращает идти своим путем, а идет одной колеей с окружающей жизнью. Ничего не вспоминается внезапно. Приближается день нашего так называемого отчетно-выборного собрания. Послезавтра. А доклад все не выправлен. Сначала я его приготовил слишком уж скоро, а потом все утешался мыслью, что у меня еще много времени. А теперь в оцепенении оттого, как мало времени.



Сегодня открылось наше отчетно-выборное собрание в Таврическом дворце. Зал поначалу был переполнен, к трем часам начал заметно пустеть. К вечеру гости разбежались. Во всем огромном зале остались только писатели, да и то не полностью. Весь предполагаемый порядок дня нарушался в течение дня дважды. Один раз — когда вместо очередного выступления в прениях объявили содоклад Базанова. Такое впечатление, что люди почувствовали, что совещание не наладилось, заедает, буксует, и засуетились. Мне предстоит выступать завтра. Осталось два содоклада: мой да Саянова. Я полон ужаса и словно промок насквозь и при этом не под дождем. Кочетов со мною важен и надменен, и на меня производит ужасающее впечатление, что это может на меня произвести впечатление. Что мне до него — а вот поди ж ты!



Доклад, который я читал, понравился и вызвал, на мой взгляд, даже слишком много разговоров. Тут обиделся Чевычелов. И все те, которые утверждали, что критикую я его слишком мягко, все, раздраженные моим так называемым успехом, за спиной готовят что-то, во всяком случае сговариваются с Чевычеловым. И даже секретарь по пропаганде Козьмин сказал: “Ну, это вы его уж слишком стукнули”. Словом, я неосторожным движением

привел в действие ядоперегонную конструкцию. А это мне вовсе не по характеру. Я хочу одного: "оставьте меня в покое". А здоровое желание: "дайте додраться" — к сожалению, никогда не было мне свойственно. Сначала я испытывал древнее мое удовольствие оттого, что я — как все. А теперь осталась одна брезгливость. Вот и все. И среди этого комплекса на первом месте брезгливость к самому себе: как может пугать меня перешептывание и суета за моей спиной. Вот и все еще раз. Нам выдали билеты на "Стрелу" и удостоверения, что избран на съезд писателей с правом решающего голоса. Едем в понедельник да еще 13-го числа. Предполагается, что съезд продлится до 25-го числа.

1954
13
декабря

Что я думал, сидя на совещании? Подымающиеся амфитеатром сплошные ряды кресел казались мне похожими на огромную ванну, поднявшуюся до самого почти верха стены. Купальщики виднелись по грудь в волне. А иной раз казалось, что амфитеатр сделан из пластической массы, в которой, как в воске, некий штамп впечатал правильные, глубокие вмятины — проходы. А один проход, отчетливо видимый с моего места во всю глубину, круто ограниченный креслами, казался мне похожим на ущелье. Или, говоря точнее, — явлением родственным, как кошка тигру. Еще что?

1954
14
декабря

Я в Москве, живу в девятом этаже гостиницы "Москва" и как будто домой вернулся — так мне все тут знакомо и удобно, и, главное, получил отдельный и достаточно просторный номер. В Союзе полная неразбериха и толпится разноязычный народ, причем спокойнее всего приезжие. Их положение ясно, и они уже определились. А москвичи — основная масса — еще не получили гостевых билетов. Да и мы, законно избранные делегаты, получили только временные удостоверения, только временные, хотя к съезду готовимся с шумом и с криком более полугода. Если не больше. Правда, временные, то есть постоянные — были уже готовы и отпечатаны, но их кто-то не утвердил. Вчера устроена была встреча в Кремле. Только и разговоров о ней. О речи Шолохова. Бог ему судья. Я спокойнее, чем ждал, хотя имел сегодня неприятный разговор с Маршаком по поводу его статьи в "Правде". Разговор вполне дружеский, но явно Алексей

Иванович говорил, и говорил строже с нашим шефом, чем я мог бы... Завтра II съезд открывается.

1954
15
декабря

Второй съезд открылся. Мы пришли в Кремль к часу. Как во сне или на картинке — все чисто-чисто и не для проживания, а для других проявлений человеческого общества. Для молитвы? Возможно. Ровные площади, а на площадях церкви, знакомые с детства, но приведенные в тот же отчетливый, почти абстрактный, как на картинке, а быть может и на проекте, вид. Площади, залитые асфальтом, невелики по количеству и размерам церквей. Великолепен Успенский собор, Иван Великий с переходами лестниц, Благовещенский собор. Я вдруг вспоминаю сон, который вижу постоянно: я вхожу в церковь с невысокими сводами в росписях, в старинных иконах по стенам. И Благовещенский собор напоминает мне этот сон так ясно, что и я на время не проживаю в тех привычных измерениях, к которым привык, присоединяюсь ко всему окружающему миру. Конечно, построен этот мир не для человеческого проживания, но и не для молитв, но для управления государством. Юношеское ощущение — Кремль это прошлое — заменилось чувством: история делается тут, за стенами, вот откуда эта строгость и почти абстрактность. Соборы полны черными почти людьми из Средней Азии в меховых шапках, азербайджанцами, грузинами, сибиряками и прочими, и прочими. В алтаре у гробниц патриархов говорят по-татарски, по-польски. Москвичи все обсуждают — кто получил гостевые на хоры, кто в партер, кто разовые. Но это почему-то не кажется кощунством. Рядом управляют государством — это дело большое, хотя бы и сказывалось в мелочах. Девушки с красными повязками — экскурсоводы. Кто-то из москвичей уверяет, что одна из них спросила: "Это кто, писатели или кооператоры?" (У этих последних закончился сегодня съезд.) Вряд ли.

1954
16
декабря

Прерываю рассказ о вчерашнем праздничном дне, чтобы перейти к сегодняшним будням. Полевой в своем докладе достаточно безобразно, цитируя все того же Нагишкина, обругал меня. Вечером (Полевой обругал меня утром) услышали мы уже о настоящем несчастье — умер бедный Миша Козаков. Он встретил нас на вокзале, был значителен, мил и не казался более, чем обычно, боль-

ным. Вчера утром он пошел за билетом в Союз — за пропуском на заседание в Кремль — и почувствовал себя на улице дурно. И его привезли домой, а сегодня он умер. Продолжаю рассказ о вчерашнем заседании. Нет, сначала о Кремле. В Оружейной палате мы увидели все — и оружие, и латы, и украшенную бирюзой булаву, и булаву с хрустальным шариком на острие — видимо, чтобы он, сверкая на солнце, был видим войскам, и тут же, в двадцати шагах, севрский сервиз, подаренный Наполеоном после Тильзита. На всех тарелках мифологические сюжеты с игрой, а через двадцать шагов — ризы патриархов в жемчугах и неграненых драгоценных камнях. В них есть свое дикое великолепие. Как изумруд найден, так и вделан, в серебряную или золотую оправу. А через двадцать шагов — эмали и немецкая серебряная посуда. Но поразительнее всего отделанные жемчугами, как дети выкладывают дорожки раковинами, патриаршьи и митрополичьи одежды. Но время приближалось к четырем, и мы пошли во дворец. После несколько бесформенного, но оглушительного великолепия Оружейной палаты лестница кажется строгой. Придя в Георгиевский зал, где был в 1940 году на банкете после декады ленинградского искусства, я понял, почему напоминал он мне вокзал. Не тем, что как в буфете стояли накрытые столы, а полукруглым потолком. Величину зала скрадывают полукруглые ниши стен.

1954
17
декабря

Сегодня в Ленинграде был просмотр “Двух кленов”. Прошел, по Катиным словам, хорошо, но я что-то как в тумане от съезда: жарко, все говорят длинно, а главное — я хожу в обруганных. Впрочем, до сегодняшнего дня я постепенно дойду. Возвращаюсь все к тому, к первому, к праздничному дню. Посмотрели Грановитую палату и поднялись мы в терема. Низенькие комнаты, цветные стекла. И показалось мне, что видели тут хозяева комнат мало радости: того испортили, того отравили, того придавили. Затем отправились мы в огромный зал заседаний. Мы зарегистрировались у предназначенных для этого столиков. Огромный зал. Ровно в четыре появляется Костя Федин, седой, строгий, стройный. Он ведет под руку Ольгу Дмитриевну. Она медлительно, нет, скорее степенно, со старческой, не пугающей, но естественной медлительностью спускается по проходу к столу президиума. И не успевает она стать на свое место, как из дверей налево, противоположных тем, из которых вышли Федин и Форш, появляется президиум ЦК в полном составе. Зал, стоя, аплодирует. Прези-

диум отвечает залу тем же. Затем Ольга Дмитриевна внятно и громко читает обращение к съезду. Это самый торжественный его момент. И объявляет его открытым. Далее ведет собрание Федин. После выбора президиума и разных комиссий съезда Сурков, размахивая руками… Нет, ошибся, слово получает Поспелов и читает обращение ЦК к съезду. И только после этого, размахивая руками и глядя в рукопись, начинает Сурков свой трехчасовой доклад. Все пристально разглядывают президиум. Высокую фигуру Булганина, оживленного Хрущева, Молотова.

1954 *18 декабря*

И опять охватывает ощущение: история вернулась в Кремль. После того как монотонные, усыпляющие вопли и помавания кулаками Суркова усыпили внимание, в президиуме, в самом его значительном разделе начались разговоры — о чем? Хрущев все наклонялся через неподвижно сидящего Маленкова к Молотову и что-то говорил ему. Что? Микоян, очень черноволосый и очень черноусый, помалкивал, думая о своем, явно не слушая докладчика. Во всяком случае я не мог себе представить, что доклад можно слушать. Так же сурово думал о чем-то Каганович. От времени до времени появлялись за спиною то одного, то другого члена правительства люди с бумагами на подпись. В шесть часов объявили перерыв, и самая загадочная и могущественная часть нашего президиума удалилась и не вернулась больше. И я, утомленный всеми происшествиями дня, стал постепенно засыпать под монотонные вопли помавающего кулаками Суркова. И, оглянувшись, увидел, что я не одинок. С уходом почетного президиума ощущение значительности и праздничности стало угасать и покрываться пеплом. Черные, нет, смуглые до черноты соседи из Средней Азии спали откровенно. Один даже улыбнулся во сне. В окончание доклада не верилось. Вот у самого докладчика язык стал отказывать. Вместо: “миллионы людей” он сказал: “миллионы рублей”, и благодарный зал оживился, засмеялся, заблестели глаза. Все выше вздымает кулаки Сурков, все ниже наклоняется к докладу, к его листам и, наконец, — о счастье — провозглашает последние фразы. Аплодисменты. Нам сообщают, что в Георгиевском зале состоится концерт. Я с утра не ел. Мы собираемся пойти с Алексеем Ивановичем в буфет.

1954
19
декабря

Но по дороге заходим все же в Георгиевский зал. Стены крупными волнами, золотые, едва видимые при слегка приглушенном свете названия полков и фамилии Георгиевских кавалеров. Полукруглый потолок. Гремит духовой оркестр, вспыхивает снова угасшее было чувство праздника — и нет его, угасает, едва замолкает оркестр. Я убеждаюсь, что в зале нет стульев. Точнее, замечаю их отсутствие. Все стоят, разговаривают, только у самой эстрады пять-шесть рядов далеко не праздничных венских стульев. Они заняты. Ведущий объявляет, что будет играть Святослав Рихтер. Его встречают вялые аплодисменты тех, что заняли стулья. И происходит некое кощунство: играет один из лучших пианистов мира, а мы словно на ярмарке. Зал гудит, разговаривают, разбившись на группы, те, для кого Рихтер играет. Большинство и не поворачивается к эстраде, словно громкоговоритель слушают. И мы уходим в буфет. По дороге встречаем практичных москвичей с кульками, словно из лавочки: накупили в буфете мандаринов, несут домой. Низкое, длинное, на уровне площади помещение буфета. Ужинаем и слушаем концерт по радио. Между окнами и запорошенной снегом крышей какого-то низенького здания деловой походкой проходят люди, большей частью военные. А на весь буфет гремит бас Огнивцева, потом играет рояль, и иной раз слышен шорох и легкий шум прыжков, пляшет какая-то балерина, затем поет певица. Когда поднимаемся мы наверх, концерт приближается к концу. Плывет, словно не перебирая ногами, ансамбль “Березка” и, вероятно, впервые с основания своего, удаляется, не бисируя. Зал гудит. Последним выходит томный, избалованный Райкин, но и он гибнет в бездне сдержанно гудящего невнимания. Иду домой.

1954
20
декабря

Кончаю эту тетрадь в унылые дни — темно и на душе, и за окном. В искупление ленинградских успехов — “Двух кленов”, содоклада и прочего — я сейчас просто в загоне. Впрочем, попробуем как-нибудь пережить все это. Итак, я вышел из Кремлевского дворца и все перебирал в душе необычный сегодняшний день. У ворот часовой указал мне калитку, через которую вышел я в сад, Александровский, и пошел по улице к Манежу, не по улице, а вдоль решетки сада. На другой день получил я тот самый внезапный

удар по животу, вне всяких правил, а судьи промолчали. И мгновенно поглупел. И без того тяжелый, многопудовый съезд наш в жарком Колонном зале трудно переносим. А тут еще прибавилась и тяжесть на душе. Все поэтические представления — о позор! — исчезли из души начисто, словно я заболел и меня мутит. А тут еще замешался Роу. Звонит в панике, что сценарий может не пойти, раз обо мне такое сказано. А тут еще сообщают, что заболел Миша Козаков и на другой день умер. На второй день съезда. Прибавилась еще одна, совершенно затемняющая душу, туча. В пятницу хоронили мы Козакова на Немецком кладбище. В час началась гражданская панихида. Открыл Фадеев. Потом говорил Слонимский. Наконец, последним — Федин. Начал — и едва не заплакал. А съезд тем временем шел — выступал Корнейчук, читал доклад о драматургии. Здесь я был упомянут, что было мне сообщено по крайней мере пятью-шестью людьми. Все эти дни я боялся, что свалюсь — жарко, напряжен все время до предела. Просыпаюсь рано, ложусь поздно. Засыпаю на чужих выступлениях — к примеру, на докладе Герасимова. Вчера выспался — стало полегче.

1954
21
декабря

На вечернем заседании выступил Шолохов. Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южнорусский говор с “h” вместо “г” — и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, — и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да попросту говоря — лучший. Никакая история гражданской войны не объяснит ее так, как “Тихий Дон”. Не было с “Анны Карениной” такого описания страстной любви, как между Аксиньей и Григорием Мелеховым. Не люблю влезать не в свою область. Постараюсь повторить то же самое, но точнее. Всю трагичность гражданской войны показал Шолохов. Без его книги — так никто и не понял бы ее. И “Анну Каренину” упомянул я напрасно. Страсть здесь еще страшнее. И грубее. Ну, словом, бросаю чужую область — смотрю я на “Тихий Дон”, как на чудо. И никак не видно было сегодня ни по внешности, ни по говору, ни по тому, что он

говорил, — что это вот и есть автор “Тихого Дона”. Заключила вечер Галина Николаева. Голос резкий. Если в словах попадается буква “а”, она растягивает на этой букве рот. Решительна, повелительна, самоуверенна, неубедительна. Пока молчала, казалась издали даже привлекательной. Сосед мой, видимо, москвич, с ненавистью делал полушепотом замечания на каждое ее слово. Говоря о критике, Галина Николаева сказала, что в статьях нынешних говорят упрощенно, уж совсем не принимая во внимание творческих особенностей и силы автора, только о содержании. “С этой точки зрения Лермонтов может оказаться слабее Галины Николаевой”. И когда мы выходили, то москвич бормотал в пространство: “Куда уж дальше! Объявила, что она сильнее Лермонтова”. Делали столь же негромкие, но до одурения полные ненависти замечания и другие мои соседи. Выступал и министр культуры Александров. Речь его примечательна была тем, что тянулась час, и, к его негодованию, прервана была криками: “Регламент, регламент!” Полагаю, что впервые в своей жизни услышал министр критику снизу. Академик Виноградов детски наивно рассуждал о языке современных писателей, а зал ответил ему на это полным невниманием. Говорил Кирсанов. Его наружность полностью совпадает с его сущностью. Но говорил он, тем не менее, интересно. На зал все негодуют за то, что встречает аплодисментами ораторов противоположных лагерей, наивно полагая, что он, зал, единое целое. Между тем довольно и ста человек, из восьмисот присутствующих, чтобы создать впечатление грома аплодисментов. Говорил Корней Иванович, как всегда — на публику. Говорил на языке критиков.

1954
22
декабря

Вчера вечером был я у Образцова. Мне лень гвоздик забить в подошве, а Образцов за то время, что мы не виделись, перепланировал квартиру. Из четырех комнат — три огромных. Как всегда, при полном к нему уважении, мешает мне что-то уважать его до конца. Возможно — белые ресницы. Мхатовская простота и чистота и никакого безобразия. Нет, никакой дикости. Много вещей. Часы с кукушкой, игрушки, бокалы, венецианская люстра, три фарфоровых Образцова — один огромный, больше метра, раскрашенный и два маленьких. Впрочем, в цвете только брюки — лицо белое. Картины

в золотых рамах. Одна их них — Пуссена. Так и написано на раме: Poussin (приблизительно), потом год. Одна картина итальянская в полстены. Колонны, ступени, мощеная плитами площадь и разбросанные в разных позах на большом пространстве люди и ангелы. Главное ощущение от картины, что она произведение архитектурное, а фигуры даны для масштаба. Много вещей, очень много вещей. Разговор, как всегда, когда мне неловко, не налаживается. Но потом, все же договорились, что буду я для них писать сказку "Иван-царевич и серый волк". Хорошо бы написать ее дико. Пришел домой поздно, писал еще, встал рано. Первым говорил Благой, пушкинист, человек почтенный, доктор наук, лысая большая голова, черные, огромные кусты бровей. Прыгает внутри кафедры, словно поплавок. Говорит нечто, не имеющее отношения к съезду, условно глубокое и приблизительно умное. Но тем не менее, я теряюсь и смущаюсь, когда аудитория сначала негромко, а потом весьма отчетливо принимается кричать: "Регламент!" — и опытный, старый профессор теряется и уходит. В середине первой половины дня — сенсация. Выступает Гладков и резко осуждает Шолохова. Его вчерашнюю речь. Сейчас опять иду на съезд. Что-то будет! На съезде содоклад Тихонова об иностранной литературе. Длинное и красное лицо и белые волосы, и никакого уважения к этим сединам я не ощущаю. Это все Коля Тихонов — отяжелевший, постаревший, но навеки не взрослый. Только прежде он обожал, чтобы его слушали, а теперь спокойно выполняет обряд — бубнит, а зал гудит. Я сбежал, а теперь беспокоюсь.

1954 *23 декабря*

Вчера вечером мы большой компанией пошли в ВТО, а я сегодня совсем худо чувствую себя — в бане и жаре съезда. На утреннем заседании первым говорил Кочетов. Он начал с того, что на выставке ленинградских художников видел картину: мальчик и девочка на гимназическом балу. Написано "с живописной стороны" хорошо. У картины — толпа, но ничего картина эта не дает зрителю. Такие явления случаются и в литературе — и так далее и тому подобное. Слушали вяло. Разговор о том, что люди, поднявшие производственную тему или тему — колхозные герои, сражающиеся на переднем крае — задевала мало. И он ушел под аплодисменты приличные, но недружные. В своем выступлении Шагинян вступилась за Панову и

напала на Кочетова. Вечером Сергей Антонов заступился за картину, которую бранил Кочетов. Все живее идет съезд, выражаясь условно и неточно, но физика его делается все трудней. Я сегодня бежал с утреннего заседания, а потом с вечернего. Пошел по улицам пройтись и подышать свежим воздухом. Мокро, как весной, идет дождь. Глядя вверх по улице Горького, почувствовал, что вспоминаю Москву 1914—15 года. Воздух тот же. Разве бензину побольше. И еще новое, даже для последних лет — я почувствовал, что задыхаюсь, поднимаясь вверх по улице Горького. Когда я вернулся после своего пробега, все было по-старому. Только что объявили перерыв. У книжных киосков стояли очереди. (Пока идут заседания, книжки закрывают листами бумаги и торговлю прекращают. Одно время запирали и буфет, но теперь он работает и во время заседаний.) Бродили, как тени, багровые старики. Бегали имеющие отношение к секретариату девицы с какими-то рукописями. Когда началось заседание и слово получил Грибачев — зал был уже переполнен. Стояли в проходах. Жарко и влажно было до того, что я понял: надо совсем уйти, или дело будет плохо. И вот я дома. Жду — собирались прийти Эрберги и Толя. Поговорил по телефону с Катей. В Комарово подморозило. Все тихо.

1954
24
декабря

Сегодня съезд приближается к концу. Мое засыпание во время речей становится похожим на дурноту. Я все чаще сбегаю из зала. Я устал. Мысли едва цепляются одна за другую. Сегодня выступление Ольги Берггольц напечатано в газете со всеми добрыми словами по моему адресу. В “Литературной”. И Барто в своем выступлении заступилась за меня. Вечером. Потом произошло нечто еще более странное, во всяком случае любопытное. Я шел с Пантелеевым, и вдруг Володя Беляев сказал: “Вас-то мне и надо. Идем, идем сниматься”. Съемки для кино у нас происходят в эти дни непрерывно, то в зале, то в фойе. То ораторов снимают, то публику. Медленно разгораются, набирают свет юпитеры, прожектора слепят глаза, раздается мерное рокотание киноаппаратов. И через некоторое время свет так же медленно угасает. Когда Володя остановил нас, мы услышали: “Стойте, стойте, погодите включать свет”. И появился Полевой. Увидев меня, он, длинный, но начинающий полнеть, мертвенно

бледный, черноглазый с приспущенными веками, черноволосый, добродушно захохотал и сказал: “Он со мной не захочет сниматься!” И завязался разговор, из которого я понял, что кроме убийц из ненависти или по убеждению, или наемных, есть еще и добродушные. По неряшеству. “Я же вас выругал всего за одну сказочку”, — и так далее. Вечером собирается такое количество народа, столько раз включаются и выключаются юпитеры, что жара, о которой я столько раз говорил, просто выгоняет меня из зала, а потом и из Дома союзов. Еду к Кальме — сегодня сочельник. Там зажигают елку. В пирожках запечен боб и он достается мне. Достается и собачка, запеченная в пироге — эта, последняя, впрочем, более по блату. И все время гвоздит мысль, что пока я тут смеюсь, на съезде происходит нечто важное, касающееся меня и всех, может быть, и неприятное. Домой иду во втором часу. Завтра — выборы. Говорил сегодня с Комарово. Катюша что-то невесела. Говорит — нездоровится. В перерыве ездили бригадой к метростроевцам в детский дом культуры в 15 километрах по Ярославскому шоссе.

1954
25
декабря

В детском доме культуры приняли нас неожиданно хорошо. У меня не было со мною рукописи — я говорил ребятам вступительное слово, — и наслаждался — аудитория слушала, и мне жалко было расставаться с ощущением той свободы и уверенности, которой так весело отдаваться в подобных случаях. И мне кажется, что дальнейший успех всей бригады вызван был той атмосферой доверия, что установилась сначала. Выезд на Ярославское шоссе и въезд в город затруднены до крайности, — машины шаг за шагом, впрочем, они не шагают — с трудом, словно через узкое горлышко, выбираются на шоссе. Мучительнее всего, точнее, единственным мучением поездки были мои спутники. В задержке среди потока машин была своя прелесть: огромные пятитонки, и легкие пикапы, и “ЗИМы” шли навстречу и обгоняли нас в три ряда — туда и обратно. Тут ощущался огромный город. И жизнь. Но тихо жалящий тебя, в твое отсутствие, вполне бесплодный Григорьев и вечно ложно беременная Голубева — вот где был ужас. Особенно Голубева, тараторящая с неиссякаемой злобой против всех, у кого что-то родилось. То она несла невесть что против Кетлинской. В кликушеской, бессмысленной горячке на одной ноте она все тараторила, тараторила, вонзала куда попало отравленные булавки.

Какое тут руководство поможет! Сегодня мы начинаем в три — заседает партгруппа, обсуждает кандидатуры в правление. Вчера я возле стенда с карикатурами встретил Эренбурга. Худой, седой, красно-синие мешки под глазами, коричневый пиджак висит на плечах мешком. Поговорил с ним. Весь съезд к этому времени говорил о том, что французы отвергли ратификацию договора. Эренбург объяснил, что дело решится только в понедельник. Сейчас узнал, что вчера с заключительным словом выступали Рюриков, Симонов и Сурков. Остальные отказались. Говорили они, как сказали мне, интереснее, чем докладывали. Вчерашнее заседание кончилось в двенадцатом часу. Я сижу дома, в номере, и, вместо того, чтобы отдыхать, тревожусь. Не знаю, куда бы пойти.

1954
26
декабря

Ну, вот съезд и дошел до своего конца. Утром получил я пропуск на банкет в Кремле. Седьмой стол в Грановитой палате. Получивши пропуск, отправился к Историческому музею, где был назначен сбор делегатов съезда для возложения венков на могилу, на Мавзолей Ленина и Сталина. Ровно в половине одиннадцатого, парами, растянувшись на всю Красную площадь, двинулись делегаты к Мавзолею. В четверть двенадцатого возложили венки, и я второй раз за последние десять дней вошел в теплые, хоть и мраморные, сени и пошел по ступенькам вниз, впечатление от стеклянных гробниц передать не умею, и поднялся вверх на волю. Здесь ждали нас автобусы, и поехали мы к памятнику Горькому у Белорусского вокзала. И здесь возложили мы венок от имени делегатов, и автобусы, которым, словно правительственным машинам, милиционеры давали сразу пропуск, делали, как говорят теперь, зеленую улицу, привезли нас к “Москве”. В четыре мы снова на заседании в Большом Кремлевском дворце. Множество гостей, как в первый день. Но места правительства пусты. Короткое торжественное заседание. И все. В пять часов мы свободны. Возвращаться в гостиницу? Идем смотреть снова Оружейную палату, и я понимаю теперь, в чем ее отличие от музея. Это сокровищница, так как представляли мы ее в детстве. Драгоценное оружие, серебряные сосуды, драгоценные камни, — все это приобреталось не для показа, а для личного пользования. В половине восьмого заиграл духовой оркестр. Длинные столы, во весь зал Георгиевский и во всю Грановитую палату. Сажусь за свой седьмой стол. Слева — Чуркина, напротив

Авдеенко с женой, Ираклий и Вива, справа какие-то грузины. Все, что происходит в Георгиевском зале, мы у себя в Грановитой слушаем по радио. Вот скоро двенадцать часов, и банкет мало-помалу затихает. И я прохожу Спасские ворота, когда куранты начинают отбивать двенадцать. Общее впечатление от съезда? Оно отсутствует. Может быть, отсеется в Москве. Подожду. Пишу и засыпаю.

1954
27
декабря

Сегодня две недели, как выехали мы из Ленинграда и, если все будет благополучно, сегодня же и уедем. Давно я не жил так долго в Москве. И уж во всяком случае никогда не жил в таком длительном напряжении. Когда живешь в окружении людей близких и уважающих тебя, то ничто не напоминает, как мало ты защищен. А тут видишь, что любой может тебя пристукнуть и ничего ему за это не будет. И еще — даже уважающие тебя люди — уважают любовно, но как бы покровительственно. Азарт игры, уж раз ты в нее втянут, заставляет их понимать, что я, может быть, и крупная карта, да не той масти. И меня пугает, что сам я склонен понимать эти правила и даже подчиняться им. Лучшая речь — Федина. В ней хоть подкупает желание сказать что-то так, чтобы тебя услышали. Построить как-то. И говорил ее выразительно. Считаясь с тобой. А в речи Александрова, скажем, это заменялось уверенностью, что я обязан его слушать. А в иных речах — “я говорю для стенограммы, а вы мне ни к чему”. И так далее. Съезд, дорогой и громоздкий, мог быть организован хитрее и искуснее. Слишком много обиженных. Ну и довольно пока что о съезде. Начался он со смерти Миши Козакова. Припадок начался у него, когда он вышел за пригласительным билетом на первое заседание. Кладбище, разрытая могила, речи. Кладбищенский яд. А кончился вчерашним днем. Усталость просто валит меня с ног. Я засыпаю на ходу. С утра пришел Роу с Погожевой, редакторшей Погожевой. Я поспорил с ним довольно резко. Потом все втроем поехали мы на студию. Потом я подписал договор.

1954
30
декабря

Приближается к концу этот страшный, и счастливый, и мучительный, и богатый событиями год. Не знаю, как мы будем жить в новом году. Знаю, что я еще могу работать. Или — опять могу работать лучше, чем в последние годы. Я, расска-

зывая о Майкопе и, в особенности, разглядывая фотографии, слишком уж ясно его вспомнил, и он так приблизился к сегодняшнему дню, что потерял свою, так сказать, легендарность. Но влюблен я был уж действительно неистово. Это я почувствовал и в Москве. Оттепель, я иду по московскому переулку — и вдруг испытываю острый страх боли. И понял какой — сорокалетней давности. Вспомнился, ожил 1914 год. На один миг. Презираю всех, кто говорит, снисходительно улыбаясь, о подростках или юношах и о их любви. От такой любви и умирают. Сила моего чувства зависела и от того, как я вижу теперь, что я был слаб, как девочка. Я поддавался боли. Я хотел немедленно, сегодня же избавиться от нее. И шел объясняться, мириться, требовать, жаловаться — и еще больше запутывался. Но если я хоть что-нибудь написал и сделал за свою жизнь, то это — следствие душевных мучений тех лет. Когда любовь вдруг в один день, словно задохнулась в собственном дыму, я сначала испытывал наслаждение покоя. Потом ощущение пустоты в душе и тоска по полноте чувств. Я начал просыпаться, как рассказывал уже, на потемневших, словно опаленных ленинградских улицах двадцать первого года. Настоящие пьяницы, когда видят, что вина мало, оставляют последнюю рюмочку нетронутой до конца ужина. Все поглядывают на нее. Есть у них еще что-то впереди. Вот так и я. Ни за что не позволяю себе смотреть на то, что основное уже прожито. Все поглядываю на последнюю рюмочку и кажется мне, что у меня есть еще что-то впереди. Начал по-новому "Дон Кихота". Точнее, начал план главы. Боюсь, как бы не повредила мне излишняя почтительность. Сегодня чувство свободы и облегчения после Москвы окрепло.

1955 1 января

А "Дон Кихот" стоит и не двигается. То, что начал я вчера, не пригодилось. Надо сделать просто парикмахерскую, где цирюльник рассказывает новости. Тому, кто купил землю у Дон Кихота. Тут надо попробовать в нескольких словах дать все начало романа. Купец проявляет крайнее недоверие. "Не верю", — когда говорят ему о Дон Кихоте и прочем тому подобном.

...Я начинаю бояться "Дон Кихота". Я не люблю излишней свободы, но когда связан, то это еще хуже.

1955
2 января

На съезде отравился я основательнее, чем предполагал. Вчера играли пятый квинтет Шуберта. И я с ужасом убедился, что похожий на обморок сон напал на меня, как в Доме союзов. Не мог слушать я и Бетховена. Незнакомое мне трио. Фортепьянное. И знакомое мне трио ре минор Моцарта. И только знакомое фортепьянное трио Бетховена привело меня в чувство. Третье. И я подумал: "А вдруг я в Москве не устал, а состарился. Ничего удивительного: ведь мне пятьдесят восемь лет". Но мысль эта не огорчает меня, а скорее радует: вот как я славно придумал! И, отворачиваясь от смысла этого открытия, гляжу я на последнюю рюмочку и жду. Когда я пишу все это, у нас гости. С рассказа о них начну говорить о Комарово. Как это ни странно, но очень быстро приживаются новые имена местностей. Старое имя Келломяки исчезло так же просто, как некогда Петербург, а потом и Петроград. В Комарово, тогда еще, кажется, Келломяках, чинили, нет, ставили заново забор. У нас на даче. И мы познакомились, даже подружились с Иваном Прокофьичем. Был он тонок, светловолос, моложав и принадлежал к людям, согласившимся работать. Я испытывал радость, словно это залог божественных сил, встречаясь с ними. Мальчишка-водопроводчик, который чинил у нас отопление, мальчики-физики, мальчик-продавец в гастрономе, мальчики-юннаты — вызывают у меня каждый раз прочное чувство радости и надежды. Они согласились работать. Выбрали работу. А жизнь оставляет столько лазеек, что выбор этот — вполне и всегда доброволен. И наш Иван Прокофьевич принадлежал к этой аристократии, благословенной, избранной. Правда, было у него четверо детей, но множество комаровских жителей уклонялись от всяких обязанностей, не глядя на семьи. Итак, работал у нас Иван Прокофьич. Главным был не он. Подряд взял столяр, которого сложные дела все заставляли исчезать бесследно. И горячего в работе Ивана Прокофьича это обижало до глубины. До того, что однажды вечером, распалясь, дал он подрядчику по морде. А тому подрядчику и без нашего подряда жилось страшно. Его жена выбивала из дому. И ее дочери. Получив пощечину, он молча повернулся и убежал к Чухляеву — к милиционеру. Все испугались, и мы в том числе. Если дело дошло бы до акта и до суда, мог бы Иван Прокофьич пострадать. Но дело обошлось.

1955
3
января

Тогда же познакомились мы с Машей, с женой Ивана Прокофьича. Была она приветлива, но степенна, неторопилива, лицо строгое, иконописное. Катюша удивлялась ее зубам. А она сказала, что четырех ей не хватает. И добавила на ухо Катюше, шепотом, что с каждыми родами теряла по зубу. И это знакомство наше, вначале деловое, окрепло с годами. С тех дней родила Маша еще троих ребят. Один мальчик, предпоследний, умер, когда исполнилось ему семь дней всего. Болел Иван Прокофьич язвой желудка. Потом вдруг стал запивать, чего прежде не случалось. И однажды, когда были мы в городе, в пьяном виде поднял целый бунт против дачников, поспорив с ними у ларька. Бунтовал он в одиночку, но страшно. Народ от него так и сыпался горохом — никто его не мог удержать. Подбегут и отхлынут. По деревенской привычке ухватился он за наш забор, за тот самый, что строил, чтобы выдернуть из него кол, но завыла наша домработница Шура. Да и сам Иван Прокофьич разглядел, должно быть, сквозь туман, что забор из штакетника и не выдернуть тут кола. И он перестал его расшатывать и с голыми руками снова ринулся в бой. Пришли милиционеры. И забрали беднягу. А толпа уговорила дачников не поднимать дела. Раза два я видел, как вела Ивана Прокофьича Маша домой. Вела со строгим лицом, терпеливо, истово, как будто выполняя древний обряд. Скандалов он больше не поднимал. Ужаснулся сам себе. Он ничего не мог вспомнить о вечере, когда бунтовал в одиночку чуть не целый час. Летом мы виделись каждый день — он работал возле. Показал сына, Ивана Ивановича, мальчика двух с половиной лет, с великолепными ресницами. Возле на бревнах сидела бабка, совсем иссохшая восьмидесятилетняя старуха. Мы подарили Ивану Ивановичу грузовичок с прицепом. “Вот ты и повезешь бабушку домой”, — сказал отец. Иван Иванович огорчился. “А дома она слезет?” — спросил он. Летом же родилась у Ивана Прокофьевича последняя дочка, и Катюшу позвали в крестные матери. И она согласилась. Она попросила только, чтобы девочку назвали Екатериной. Чтобы была еще одна Екатерина Ивановна. Тезка.

1955
4
января

И пришла Маша со своей семилетней дочкой Женей. Оказывается, установился у них в семье обычай: имена новорожденным выбирают дети. И будущей Катиной крестнице они уже выбрали имя — Люся, а на Екатерину не соглашались.

Женя пряталась за маминой спиной и, потеряв от смущения голос, на все уговоры отвечала одно шепотом: “Люся красивее”. Наконец, я предложил, что куплю большую куклу, которая умеет говорить “мама”. Пусть ребята назовут ее Люся, а девочку Катя. После короткого молчания Женя ответила все тем же шепотом: “Я такую куклу видела”. И стало понятно, что условия приняты. Когда я привез обещанную куклу в Комарово, то увидели мы, что на коробке наклеена этикетка с именем: “Катюша”. Пришлось ее отклеить и заменить именем “Люся”. Через некоторое время купил я еще одну куклу пятилетней Тане, чтобы она не огорчалась. Купили мы приданое. И вот в один ясный летний день появилась у нас Маша с девочкой с еще синими веками и мятым личиком двухнедельного младенца. И они уехали в Шувалово. Утром было дело. А не днем. Они уехали в Шувалово ясным летним утром, девятичасовым поездом. И в два часа Катя вернулась обратно, умиленная и удивленная. Их обуховская семья отличается мышлением ясным и решительным, лишенным таланта — веровать. Но церковь, священник, объясняющий смысл каждого обряда, дети, шестилетняя девочка, пришедшая креститься одна — крестная мать опоздала — все это тронуло ее своей необычностью. Под Новый год Катюша побывала у крестницы. Живут они в километре от поселка, у самого леса. Девять человек в двенадцатиметровой комнате. А 2-го, когда начал я эту запись, пришли они к нам: Маша, Женя, Таня и трехлетний Иван Иванович. Ему понравилось у нас. Он сказал, что поживет у нас, а потом уже вернется домой. И все угощал мать. Повторял ласково, озабоченно: “Мама, да ты ешь! Ешь, мама”. И он, и девочки, несмотря на тесноту домашнюю и замученную семьей мать — она сильно постарела за последние два года, несмотря на болезненность отца, были, видимо, равноправными членами семьи, держались уверенно. Здесь не вымещали обид, не отводили душу на слабейших. Детей любили. И согласился Иван Иванович уйти, только когда ему сказали, что отец его ждет.

1955
5
января

Таков Иван Прокофьич и такова Маша. Второй работник — это Василий Емельянович, и жена его, бывшая наша домработница, — тоже согласились работать, взяли на себя эту ношу — но и он и она со своей стороны предъявляют за это к жизни достаточно строгие требования. Не работать они не могут. Мотя зашла

летом поговорить с Катериной Ивановной о своих делах. Застала ее в саду. И, разговаривая, выполола три грядки земляники, руки у нее как будто сами ходили. И у Василия Емельяновича руки золотые. Он и столяр и маляр, за все берется, и делает все талантливо, с игрой. Так сделал он кирпичную лесенку, чтобы наш кот поднимался по ней из-под дома, куда мы выпускаем его на прогулку. И любопытно, что кот, минуя деревянные ступеньки, ходит по кирпичным. Когда жила Наташа у них на даче, — вырыл Емельяныч прудик, зацементировал его, сколотил лодку, в которой свободно помещался Андрюша, наполнил прудик водой из колодца. И Андрей наш плавал по пруду в остроносой лодке, и соседи сбегались полюбоваться. И надо сказать при этом, что Емельяныч по цепкости своей не отказывается и не отказывался ни от каких заказов и подрядов, которые выполняет после службы, он работает столяром в дачном хозяйстве. И все успевает. У него все время была комната в одной из дач дачного треста. А во дворе поставил Емельяныч сарай. По внешнему виду. Сарай с высокой стеной по фасаду, скошенный к задней стене, низенькой. Обшит был сарай досками. Но войдешь — и оказываешься в чистенькой выбеленной зимней дачке. В середине — кухонька с плитой, а направо и налево две комнаты. В левой жила Наташа, в правой — Емельяныч с Мотей. Комнату, полученную от треста, он тоже сдавал на лето. Да, впрочем, и на зиму. Зимой они с Мотей жили на даче Александрова. Сторожами. И пока довольно о них. Несчастья продолжаются. Утром около девяти приехала сестра Ларисы Браусевич, и я услышал плач в Катиной комнате. В ночь на сегодня, в четыре часа, Браусевич умер в Свердловске. Потом прибежала к нам маленькая Лара, племянница Ларисы. Обливаясь слезами, протянула она мне газеты, что оставила в калитке почтальонша, потом протянула книжки, что брала у меня почитать. И все это молча, только всхлипывая. Сегодня собираемся в город.

1955
6 января

Мы в Ленинграде. Был вчера вечером у Козинцева, читал начало “Дон Кихота”, уже третье с тех дней, что начал я работать. Со 2-го до вчерашнего дня написал я больше десяти страниц на машинке, не считая вариантов, отвергнутых мною самим. Удивляюсь собственной трудоспособности. Работал-то я, в сущности, один день, — народ мешал. Этого самого второго января, что начал я

работу, перебывало у меня в течение дня общим счетом — семнадцать человек. И я был скорее доволен. Тишина последнего года начала угнетать меня.

Возвращаюсь к Емельянычу и Моте. Мотя — толкова и талантлива не менее Емельяныча. Она перебралась с первым своим мужем в Ленинград из деревни, когда была совсем еще молоденькой. Поступили на Путиловский. Прижились. Дали им квартиру в новом доме. Родился у них сын. Приняли Мотю и мужа в партию. А когда поступила Мотя к нам в домработницы в 1949 году, ничего у нее уже не осталось. Мужа убили в первые дни войны, квартиру разбомбили, мальчик в блокаду умер. В деревне ее, где-то возле Осташково, были у Моти осиротевшие племянник и племянница. Совсем еще ребята — лет двенадцати, тринадцати, они самостоятельно вдвоем вели хозяйство — и слезно молили Мотю, чтобы приехала помочь. В первые дни, а приехала Мотя как раз к жатве, решила она, что пропадет, никак не выдержит. Потом привыкла понемногу. “Разве сравнить городскую работу с деревенской”. Племянник развел сад, который славился в районе. Однажды коза объела яблоню. “Слышу — бьет племянник козу, вот-вот убьет совсем. Я только успела крикнуть: “Ваня — коза дороже яблони!” — и он отошел, слава богу, отпустил животное”. Вернувшись в город, вышла Мотя замуж во второй раз, и муж погиб под поездом. Был он железнодорожник. И поступила Мотя к нам. Уже сильно за сорок. Повышенное кровяное давление. Многих зубов не хватает — и страстная жажда жизни, цепкость, интерес ко всему: от газет до всех комаровских сплетен. Пока она жила в деревне, не вносила членских взносов. Но райком партии разыскал ее и восстановил. Емельяныч считался завидным женихом.

1955
7
января

Все знали, что он в свои пятьдесят с лишним лет, одинок и собирается жениться. Все знали, что делал он раза два предложение Марии Николаевне, еще молодой и благообразной заведующей магазином, но та пока что отказывает. Ее взрослые дети против. И Мария Николаевна — раздумывает. Когда он шел по улице, длинный, но при этом складный, своей легкой походкой, я понимал, что он и в самом деле — вполне жених. Усомнился я в этом немного, когда он, работая как-то у нас, показал мне решение ВТЭК. И сообщил даже, что профессор даже студентам его показывал — как при таком сердце может человек заниматься физической работой. Документ, что я видел, рассказывал, что

тяжелой формой порока сердца. И он, улыбаясь, подтвердил, что часто на этой почве бывает у него кровохарканье и он встать не может от слабости недели две, а потом проходит. И он опять работает. Мотя купила себе модную шляпку, в которой старая, мятая, смышленая, беззубая ее мордочка стала совсем ужасной. И ушла на вечеринку. И, как потом все рассказывали, эта шляпка и решила ее судьбу. Емельяныч, тоже приглашенный, влюбился в Мотю и оставил Ирину (а не Марию, как написал я сначала) Николаевну. Перестал ей делать предложения, на что она обиделась и стала обвинять Мотю в предательстве. Недели через две он пришел к Катерине Ивановне советоваться: хорошая ли Мотя женщина. И они записались. Оба сильно пожилые, страстные работники, цепкие, больные, жадные до жизни. И вот появился у них сначала сарайчик, о котором я рассказывал. Комнату дачного треста сдавали они семейству целому, комнату сарайчика — Наташе. Вечерами играл Емельяныч на баяне в сумерки, а Мотя слушала, и Андрюшка прибегал к ним в гости, обожал эту музыку. Но на этом сарайчике они не остановились. Получили участок и, надрываясь, — то один, то другая лежали в больнице, — построили Мотя и Емельяныч огромную настоящую двухэтажную дачу.

1955
8
января

На две семьи построили они дачу. Из двух несообщающихся половин. И участок разделили пополам. Совладелец давал деньги на материалы, а Емельяныч строил. Поселившись в новой даче, Емельяныч сохранил сарайчик и долго не хотел возвращать комнату, что имел от дачного треста, пока его не пристыдили на партийном собрании. Емельяныч тоже, как и Мотя, член партии. Я заходил к ним. У них две зимних комнаты внизу и две летних — наверху, совладелец отделен от них начисто, только механически связаны между собой две дачи. Но Мотя уже ропщет, и они подумывают о даче вполне самостоятельной. И построят, если выживут. В данное время лежит Мотя больная — в который раз. Совладелица-еврейка рассказывает: “Ничего она не может кушать! Я ей сварила курочку, и она скушает кусочек — и сразу рвота!” А до этого лежал в больнице Емельяныч. Они в цепкости своей все надрываются, все вижу в окно — бежит Емельяныч, на плече доска, в руках топор. Или Мотя в ватнике (а у нее есть отличная шуба) с синими губами, совсем больная, стоит в очереди. Едят они в обрез, не пьют, все копят. Тратят только на вещи да на дачу. С деревней связь оборвана,

да и с заводом тоже, говор ни городской, ни деревенский. Денежную реформу называет она "денежной юдоформой". "Это просвещенны яйца". "Квартира хорошая в белом этаже" — и так далее. Тех сил, что у Ивана Прокофьича и Маши, тех связей с какой-то трудно определимой, но несомненно русской колеей жизни, — у них нет уже. Выветрилось, выбито, выгорело. Осталась жадность до жизни, без веры, без языка, без закона. Но работают талантливо. Зато Нюра и Алексей, как большинство комаровских жителей, работают только в крайнем случае. Нюра о себе рассказывает коротко. Жила с мужем в городе. В блокаду он умер, две девочки совсем ослабели, свекровь доходила. Нюру с девочками назначили в эвакуацию. Свекровь сказала: "Ну, за девочек я спокойна — они раньше тебя помрут". "Так и вышло, — улыбаясь, рассказывала Нюра. — Они в теплушке и умерли". Вернувшись, Нюра вышла замуж за Алексея. Этот тощенький человечек, с запавшим ртом, вечно с папироской, вечно ошеломленный водкой или похмельем, имел успех.

1955
9
января

В любое время дня выйдешь — и вот он стоит, выставив вперед одну ногу, глядит рассеянно и не то мечтает, не то ожидает, чтобы поднесли. Потрепанный, легенький, молчаливый. И из-за него, рассказывали, даже молодые продавщицы ссорились — нравился женщинам. И Нюра, тоже вечно с папиросой, с подведенными губами и в валенках, все с ним ссорилась, особенно с похмелья. Ее тоже можно было встретить в любое время, но она хоть не стояла, ожидая пока поднесут, а подрабатывала: помогала носить товары с грузовиков в магазин, продавала летом эскимо, у нас чего-нибудь делала поденно. И к вечеру, вступая на дежурство, так или иначе, но оба бывали выпивши. В шесть часов вечера принимали они магазин, запертый на контрольный замок, и садились — не сразу, а по очереди, на ящик возле магазина — сторожить. Одну ночь — Нюра, в другую — Алексей. В начале нашего знакомства ходили дежурить они со щенком — шустрым, черненьким, от саяновской собаки. Щенок вырыл себе в мусоре глубокую нору с поворотом. В нашем саду. Прятался там от осенних холодов. И мы были тронуты его понятливостью. И мы стали его прикармливать. И поселился он у нас окончательно. Это и есть Томка. И

Алексей и Нюра подарили нам ее, сказав, что это кобелек, что, однако, не подтвердилось. Так Нюра и Алексей жили, пока три года назад не вернулась с грудным ребенком отбывшая срок в лагерях за растрату, кажется, молоденькая племянница Нюрина — Женька. Алексей взбунтовался. И выгнал гостей из своей жилплощади, и запер дверь, и забрал ключ. И по Нюриной просьбе Катя ходила уговаривать Алексея, доказывая, что жилплощадь-то у них общая, и надо же на первое время приютить женщину с ребенком. И вот поселились они втроем, даже вчетвером, считая ребенка, в одной комнате. И кончилось дело тем, что влюбился Алексей в Женьку и женился на ней и родила Женька еще двоих мальчиков. И живут они все вшестером, в одной комнате. И летом сдают ее и перебираются в сарайчик. И дачники стонут от клопов.

1955 10 января

Одна семья так и уехала, проведя одну только ночь в комнате Нюры и Алексея. И задаток потеряли. Жаловалась эта злосчастная семья, что всю ночь просидели на табуретках, что никогда не видали они подобного количества клопов. А трое взрослых и трое детей — постоянные жильцы — притерпелись. И притерпелись они к вечному безденежью, еще более безнадежному, чем прежде. И Нюра притерпелась ко второй жене, к родной своей племяннице. И нянчит детей, которые Алексея зовут “папа”, а Нюру “бабушка”. Как-то заболел Юрочка, старший, и его увезла скорая помощь. И мать отнеслась к этому сдержанно, а Нюрка — по полу каталась с горя. А младшего принесла недавно к нам и, показывая его с гордостью, сказала: “Двадцать шестого ребенка выращиваю”. Считала она и своих, и чужих, при которых состояла нянькой. Алексей стал теперь совсем тощим. Обалделые серые глаза, впалые щеки, не то видит он тебя, не то туман один перед ним. Теперь уж не встретишь его на углу, с папироской, нога вперед. Теперь он все больше бегает. И пьянеет тяжелее: ведут его под руки, а он выкрикивает невесть что. Ругань без слов. Вопли, имеющие все признаки брани. Год назад едва не потерял он места. По анкетным данным. Проверяя их, выяснили, что Алексей убийца. Правда, по нечаянности. Бросали мешки с картошкой на грузовик, задели берданку, что была у него в руках, и выстрелила она, и убила женщину. Или он бросил берданку на грузовик, и та выстрелила —

не помню. Но Алексею удалось с помощью профсоюза восстановиться на работе. И все-таки и он, и Нюра все время на волоске: все ловят их на посту в пьяном виде или — еще хуже — не обнаруживают их на посту при проверке. Но не увольняют их. Думаю, что притерпелись к ним, как сами они к своей комнате, как притерпелся к жизни старший Женькин сынишка. Он около года, заболев дистрофией, перестал ходить, потом погибал от воспаления легкого. Говорить начал чуть ли не на третьем году. А теперь ему четыре. Это плотный, немножко слишком уж маленький, большеголовый, но умненький и ладный мальчик с прелестной улыбкой. Бьют его нещадно. А он весел. Живет. Притерпелся.

1955
11
января

Между этими двумя крайностями: Иваном Прокофьичем и Алексей Гаврилычем можно было бы распределить все комаровское население, как по шкале. И большинство мужчин пришлось бы отнести к работающим в крайнем случае. Женщины суетятся с утра до вечера. В массе своей они озлоблены, нервны. Довольно послушать, как бранятся они в очередях, отводят душу. Яростней всех нападают они на дачников: "Вы сюда отдыхать приехали" — и так далее. Детям влетает меньше. Бывшая наша почтальонша, черноглазая, широколицая, полногубая, смуглая, молодая, вышла за железнодорожника и ходит беременная четвертым. Один на руках, другой держится за платье, так и бродит она — то за картошкой, то за керосином. И при встрече любит показать ребят. Как выросли. Они такие же широколицые и смуглые, как мать. И я часто прохожу мимо их двора и удивляюсь тому, как терпелива она с детьми. А Валька, по прозвищу Заика, — в прошлом партизанка, сестра в санбате (кажется) или связистка, истерически лживая, вечно посылающая заявления маршалу Жукову, который, по ее словам, знает ее лично, или Ворошилову, та держала трех своих ребят в страхе. Точнее, двух. Младший у нее был грудной. Муж ее, пожарник, — значительно старше Вальки-Заики, изо всех своих сил и по-бабьи работая, когда приходилось, волок всю семью. Даже по ягоды и по грибы ходил он. Он все брал у меня книжки почитать. Рассудительный, степенный, красный, будто от температуры. Тощий. И как ему не везло! Работа все не ладилась. Рубил у нас дрова, замахнулся топором, задел за веревку, натянутую для белья, и попал обухом в лоб. И Катя его перевязывала, а

он сидел смирно, обычная краснота сошла пятнами, сонно поводил глазами. Одно время как будто повезло им: его назначили завхозом в новый детский дом, что открыли на бывшей обкомовской даче за высоким забором. А Вальку-Заику — сестрой хозяйкой. Но там они не удержались. По Валькиным объяснениям их оклеветали враги, а по рассказам людей беспристрастных — комиссия какая-то обнаружила недостачу в продуктах и вещах. И снова остались они без места, и Валька безумствовала.

1955
12
января

Однажды в разгаре своих неудач, степенный, красный, тощий, сидел он у нас и жаловался, что не приняли его, не перевели из кандидатов в члены партии. Провалился по марксистско-ленинской теории. “Спрашивают меня, что такое мальтузианство, — жаловался отец трех детей. — А я молчу. Забыл, да и все тут!” Иметь с ними дело было трудно. Они все обещали и предлагали с необыкновенной легкостью, только деньги просили вперед. А получив, исчезали. Или подводили. Так, обещал он вынести мусор из сада — и просто перебросил его через забор, к старым большевикам. И скрылся. А нас оштрафовали. После происшествий подобного рода Валька-Заика прятала лицо в платок, будто у нее зубы болят, при встрече. А потом привыкала, прибегала к нам, как ни в чем не бывало. И запутались, наконец, дела их до того, что решили они переселиться из Комарово. Куда? И скоро услышали мы, что выбран край. Сначала выбрался он один в Казахстан, на целину. Месяца через два после его отъезда Валька уже бегала и рассказывала, что муж ее так отличился, что предоставили ему для семьи целый дом. Что сейчас она принесет газету, где напечатан его портрет. Что ему уже дали один орден и представили к другому. Так или иначе, но скоро и Валька-Заика снялась со всеми своими детьми с места и отправилась в Казахстан. Не одна Валька-Заика имела дар создавать легенды. Комаровские обыватели имеют склонность к этому искусству. Уезжая в Карловы Вары, Черкасовы договорились со старой актрисой Де Лазари, что останется она на лето в комаровской их даче, при их сыне Андрюшке. И вот в Комарово установилась легенда, и при этом необыкновенно устойчивая, что Де Лазари — первая жена Черкасова, которая из любви к бросившему ее мужу смотрит за его ребенком.

Когда я, смеясь, попробовал установить истину, то наткнулся на решительный отпор. Посмеивались, полагая, что покрываю я своего. Но в этой легенде есть известная поэтичность. Большинство же из них — безобразны, и я ужасаюсь, угадывая по легендам, как ядовита почва их породившая.

1955 *27 июля*

Я живу в Комарово. Катюша в городе — со дня на день должны мы переезжать в новую квартиру. Я как будто здоров. Живут у нас Наташа и внуки. Они болели по очереди. Теперь как будто здоровы. "Дон Кихота" я сократил, отчего он как бы оплешивел. Я говорю о сценарии. Как раз когда болели Андрюша и Наташа — похолодало. Пошли дожди. Вчера и сегодня потеплее. Начал я переписывать "Телефонную книжку".



Пишу я все это на новой квартире. На Малой Посадской. Живем мы теперь во втором этаже дома № 8, кв. 3. (Перебрался 5-го.) Двадцать один год прожил я на старой квартире, по каналу Грибоедова. И все чего-то ждал. Здесь вдвое просторнее. Три комнаты, так что у Катюши своя, у меня своя, а посредине столовая. Как это ни странно, почему-то не жалею я старую квартиру.



Все живу в городе. Второй день на новой квартире, на новой для меня — в качестве места жительства новой — Петроградской стороне. Утром выходил, установил, что междугородный телефонный пункт возле. Три раза пытался дозвониться до Комарово, но напрасно. В ожидании пошел по скверу, который больше похож на парк со старыми деревьями, к Петропавловской крепости. Запах клевера. Воскресный народ. В доме еще непривычно.



Опять лежу. Сильные боли в сердце. Спазм коронарных сосудов. Слишком много ходил в городе... Вечером ставили пиявки "на область сердца". Впервые в жизни испытал я это удовольствие. Намазали меня сахарным сиропом в области сердца. И сестра вынула пинцетом из банки, на которой была наклейка

“черешня”, пять черных гадиков и разложила у меня на груди, по сиропу. Гадики стали капризничать. “Играют”, — сказала сестра. Они виляли своими черными тельцами, собирались в кучку. “Любят семейно!” — сказала сестра, распределяя их по указанному врачом участку. Но вот один гадик затих, свернувшись колечком, и я почувствовал жжение, как бы от укуса комара. “Взял”, — сказала сестра с облегчением. Взяли и еще три пиявки. Последняя оказалась вялой, болезненной. Самая тощенькая из всех, она только притворялась, что играет, и вытягивалась во всем своем безобразии, и я чувствовал ее липкое, холодное прикосновение. В конце концов сестра выбросила ее обратно в банку. Вот тут и началось ожидание насасывания гада, полагаю, больше двух часов. Я человек неусидчивый. То, что я не сидел, а лежал, мало меняло положение. К концу прошиб меня холодный пот, напала зевота, а пиявки все росли, надувались или пупырились, как говорила сестра. Они залоснились. Стало заметно, что похожи они строением на дождевых червей: кольчатые. Только черные кольца тоньше. И обладали они хоботками, которые становились заметны, когда пробовала сестра пинцетом — не согласятся ли проклятики отвалиться. Вначале сестра развлекала меня разговорами.

1955
13 августа

Рассказала мне сестра, что она из Павловска. Муж с начала войны ушел на фронт и писал ей: “Езжай в Ленинград к моей маме! В Павловске или разбомбят тебя или попадешь в плен”. Ну я и уехала. А две девчонки соседские пожалели барахло. Уехали сначала со мной, а потом вернулись в Павловск. И пропали. Либо их разбомбило, либо в плену до сих пор”. Из дальнейших рассказов, которые длились, пока пиявки пузырились, узнаю я, что сестра в блокаду не эвакуировалась, работала в больнице. И до сих пор, встречая товарищей по работе, радуется, будто встретила родных. С остановившимся лицом сестра сообщает, что муж ее был убит на войне. Но вскоре я узнаю, что она вышла замуж снова. “Он тоже очень хороший человек. Шофер первого автобусного парка. Водит автобус № 5, по правому берегу Невы. Парк их далеко от дома, но есть машина, развозящая шоферов по домам после конца дежурства. Комната у сестры маленькая. Жильцы дружные, но больно уж их много, семь семейств. Сей-

час предполагается в доме капитальный ремонт. Кухню будут делать светлую и обещают за счет кухни прибавить им площадь. Если же не прибавят, они будут менять комнату с какой-нибудь старушкой, живущей высоко. Квартира сестры в бельэтаже. Я слушаю сестру с тем же удовольствием, с каким гляжу в окно на прохожих. Но вот все темы исчерпаны. Сестра уходит пить чай. Возвращается. Потом приносит мне полотенце вытереть пот. Наконец, три пиявки отваливаются, а четвертую сестра посыпает, потеряв терпение, солью. И черный гадик, извиваясь и ежась, оставляет меня, наконец. Ранки сильно кровоточат. Сестра перевязывает меня. Так кончаются два часа, которые я решил принять, не ропща. Сегодня не больно — тень боли. Видимо, я не поправился вполне.

1955
14-15
августа

Вчера доктор решил, что у меня опять инфаркт. На этот раз я готов этому поверить: сердце у меня будто увеличилось, как ни ляжешь сегодня ночью — мешает. Вообще чувствую себя больным. Вряд ли мне теперь удастся выполнять условие, что я взял на себя. Заболел я сильнее, чем в первый раз. Боль прошла. Но вчера часов в пять, когда собиралась меня Катя кормить обедом, вдруг пульс участился до такой степени, когда невозможно его сосчитать. И потерял какой бы то ни было ритм. И так дело продолжалось всю ночь. Дембо пришел вечером, утром, днем. Стали вспрыскивать камфору. Не могу сказать, что я чувствовал себя плохо. Сознание оставалось ясным, только обливался я холодным потом. Ночью я спал и не спал. Кровать казалась мне разделенной на два участка. Один — где я лежал на спине, и второй, где я со всякими ухищрениями поворачивался на правый бок. Сердце билось не только часто — какой бы то ни было ритм был нарушен. Продолжалось это до 11 часов сегодняшнего дня. Чтобы не нарушать условие окончательно, буду писать, сколько в силах. Чтобы сохранить непрерывность записей. Тем и кончаю.



Все эти дни читал я “Дневник писателя”. О трех идеях, что приготовились к смертельной схватке: романская, германская и славянская. Читал свирепые, задыхающиеся проповеди, словно в дыму и ладане. Перечитал “Бобок”. То гениально, то

деспотично. И вдруг утром прочел у Чехова рассказ “Свадьба” — не тот, что с генералом, а просто бессюжетное описание свадьбы. Где прелестно описано, как бесшумно, как тень, опускается невеста на колени, чтобы отец благословил ее иконой. В рассказе много смешного. “Спиро!” — “Цичас”. Два голоса в горле у кучера кареты. Тоненький — “тпру” и басовый — “балуй”. Но вот легкая перемена тональности — и с каким уважением показана невеста. И сколько воздуха, как легко дышится. Нет ладана. Но и нет желания карать. Бесспорно, нет ни у кучера, ни у музыкантов в проходной никаких трех идей. Как и не было. То, чем они обернулись, — господь с ними.

1955
18
августа

То, как обернутся идеи XIX века, став в XX действием, снилось Достоевскому. Иногда пророчески. Иногда со всей нелепостью сна. И пророчества, сбываясь, как это любит жизнь, оборачивались так, что ни в каком сне не приснится. Объединение славян сбылось. Но не так. Сбылись кое-какие злые пророчества. Но вот чего не ждал ни один пророк и не пророк, предскажи — засмеяли бы, — это великое значение Достоевского именно в Германии. В России собрания его сочинений у букинистов стоят дорого. Так называемое юбилейное — свыше тысячи. Его читают, но массовыми тиражами издают с осторожностью. Словно боятся. В Германии же — кто только на него не ссылался, от Ницше до Фрейда. И сам Эйнштейн говорил об интеллектуальном наслаждении, которое испытывает он при чтении Достоевского. Вот тебе и непримиримая борьба трех великих идей. Значит, не в этих идеях бог. И черты всечеловечества обнаружились шире, чем ждал Достоевский. Зачем же было так страшно греметь ключами возле камеры, где и топор, и плаха? Впрочем, довольно. Достоевского я люблю. Но прочел Чехова, и мне почудилось, что я воскресаю.

1955
22
августа

Шариковая моя ручка стала капризничать, и Надежда Николаевна Кошеверова подарила мне свою, обычную, вроде “паркера”, только ленинградскую. Некогда Акимов бранил меня за отсутствие вечного пера и даже подарил свое старое, но я не мог к нему привыкнуть. Было это еще до войны. Черненькая

ручка с капризами. И мне казалось, что она несчастливая. Кровь моих крестьянских предков заставляет меня не верить машине. Но вот постепенно привык я к пишущей машинке. А теперь необходимость велит взяться за авторучку. И она мне на этот раз нравится. Лежу.



Сегодня исполнилось мне пятьдесят девять лет. Я помню книги, подаренные мне полвека назад. “Рыжик” Свирского и “Капитан Гаттерас” Жюля Верна. Я видел сегодня во сне лошадей, что значит ложь. Прошлый год был полон событиями все больше печальными, но преходящими. И не на что особенно надеяться в этом году. Эраст готовит “Медведя” в Театре киноактера. Козинцев собирается снимать “Дон Кихота”. Уже наступил у них пусковой период. Но я болел. И не знаю, хватит ли беспечности у меня для того, чтобы перенести неудачу. Живем на новой квартире, и я не жалею старую. Хоть бы раз вспомнил. Собираюсь писать пьесу.



Вот и пятьдесят шестой год пришел. Встретили мы его этажом выше у Пантелеева, который женился на Илико Орловой, о чем я не мог писать как о событии, разыгравшемся на глазах. По дальнозоркости. Встречали мы вчетвером: мы да Пантелеевы, тихо и мирно. Прошлый год я то болел, то считался больным. Как теперь понимаю, четыре-пять дней были не слишком легкими и в самом деле, так как ночи проходили в бреду, чего не случалось со мной, должно быть, с 20-го года, с тех пор, как перенес я тиф. Сыпняк. Потом — чувство, подобное восторгу. Август был жаркий. Окно открыто. Я читал путеводитель по Кавказу, и мне казалось, что жизнь вот-вот начнется снова. Удалось мне тем не менее даже в самые трудные дни писать мои страницы. Но со здоровьем родилось новое для меня ощущение — возраста. Теперь проходит. Когда стал выходить на улицу. Еще раз понял, насколько легче болеть самому, чем когда болеют близкие... До болезни успел я кончить сценарий “Дон Кихота”. И, к счастью, по болезни не присутствовал на его обсуждении, хоть и прошло оно на редкость гладко. Гладко прошел сценарий и через министерство, и теперь полным ходом идет подготовительный период. Произошли после болезни важные события и в

духовной моей жизни. Но я никак не могу их освоить. В Москве Гарин кончает репетировать “Медведя”. Пришлось переименовать пьесу. Называется она теперь “Обыкновенное чудо”.

1956
16
января

У меня произошли события неожиданные и тем более радостные. Эраст Гарин ставил в Театре киноактера “Медведя”. Он теперь называется “Обыкновенное чудо”. Премьера должна состояться 18 января. Вдруг 13-го днем — звонок из Москвы. Прошла с большим успехом генеральная репетиция. Сообщают об этом Эраст и его помощница Егорова. Ночью звонит Фрэз — с тем же самым, 14-го около часу ночи — опять звонок. Спектакль показали на кассовой публике, целевой так называемый, купленный какой-то организацией. Перед началом — духовой оркестр, танцы. Все ждали провала. И вдруг публика отлично поняла пьесу. Успех еще больший. Вчера звонил об этом Коварский. Не знаю, что будет дальше, но пока я был обрадован.

1956
17
января

Меня радует не столько успех, сколько отсутствие неуспеха. То есть боли. Всякую брань я переношу, как ожог, долго не проходит. А успеху так и не научился верить. Посмотрим, что будет завтра. Был вчера на съемке проб к “Дон Кихоту”. Суета, много народу, дым валит из одной многоламповой пушки, прожекторы на башенках, к которым поднимаются по железным лестничкам, маленький световой прибор у самой съемочной площадки. Москвина с аппаратом везут на тележке по узеньким, как трубка, рельсам. Он наставляет объектив на актеров, и все световые приспособления направлены на них снизу, сбоку, сверху. Из могучей пушки бьет свет, идет дым. Это репетиция. Одна, другая. И вот — съемка. “Проверьте, закрыты ли двери!”— “Заперты”,— отвечает мужской голос. У всех, даже у зрителей, лица напряженные. Осветители замерли у своих приборов. Выражение решительное, как у пулеметчиков. Один — узколицый, в очках, вроде студента, другой, с лицом грубым и осуждающим, похож на дворника, но выражение одно. Помощницы гримера и он сам — в белых халатах. И они глядят, словно прицелились. “Мотор!” Начинается съемка. Актеры сохраняют самообладание, но играют хуже, чем на репетиции. Дублей не

снимают — берегут пленку. Понять, что получилось у Черкасова, Толубеева, Мамаевой, так же трудно, как на примерке костюма — как он будет сидеть. Тем не менее я скорее испытываю удовольствие от всего происходящего. Вроде как бы участвуешь в жизни. Раздражает меня актерская привычка рожать текст, уже давно родившийся и напечатанный. Они делают вид, отравленные законами сценического правдоподобия, что текст их ролей только что пришел им в голову. И они запинаются, как не запинается никто в быту. Но, надеюсь, все это еще от примерок. Вот и все новости.



Сегодня подходит к концу моя тетрадка. Сегодня крещение. Сегодня в Москве премьера "Обыкновенного чуда", он же "Медведь", и я не знаю, как пройдет на этот раз... Звонили из Москвы. Пока "Медведь" идет хорошо.

Сегодня (точнее, сейчас) идет просмотр "Медведя". Вероятно, третий акт... В первый раз я не присутствую на собственном спектакле. И не испытываю почему-то особенной горести. Мне уже звонили во время второго акта по гонорарным делам оттуда. Из театра. Говорят, что принимают так же, как 14-го. На премьерах, которые переживал я до сих пор, был я, к собственному удивлению, спокоен. Как спал. Особенно удивился я собственному спокойствию на "Ундервуде". Мне до того не понравилось, показалось странным начало, что я даже засмеялся. Но есть особое счастье — когда спектакль уже идет не первый раз — ждать спокойно и следить за поведением зрительного зала. В тех случаях, когда он имел успех. Тогда может показаться, что ты не один. Сейчас еще звонили из Москвы. Каверин был на спектакле. Этот уже хоть и хвалил, но что-то смутное проскальзывает в его похвалах. Правда, утверждает, что занавес давали раз десять. Но все говорил: "Хорошо, хорошо", а до этого мне твердили: "Замечательно, замечательно!"... Не успел я поставить многоточие, как позвонила опять Москва. Гарин, полный восторга, и Хеся — еще более полная восторга. Точнее — восторг ее внушал больше доверия. Эраст выпил с рабочими сцены на радостях. Вместо снисходительного "хорошо... хорошо..." Каверина, вместо "хорошо" с запинкой — почувствовал я прелестную атмосферу, что бывает за кулисами в день успеха. И утешился.



Вчера позвонили из Союза, что там общее собрание. Точнее, открытое партийное собрание с участием беспартийных по крайне важному вопросу. Катюша протестовала: Дембо приказал, чтобы весною я был особенно осторожен. Облезший за зиму Дом писателей. Все те же знакомые лица товарищей по работе. Все приветливы. Одни и в самом деле, другие — словно подкрадываются, надев масочки. Мы собрались в зале. Позади председателя эстрада, серый занавес сурового полотна — все приготовлено к основному спектаклю капустника "Давайте не будем". Но лица у собравшихся озабоченные. Озадаченные. Все уже слышали, зачем собрали нас. За председательским столиком появляется Луговцов, наш партийный секретарь, и вот по очереди, сменяя друг друга, читают Левоневский, Фогельсон и кто-то четвертый — да, Айзеншток — речь Хрущева о культе личности. Материалы подобраны известные каждому из нас. Факты эти мешали жить, камнем лежали на душе, перегораживали дорогу, по которой вела и волокла нас жизнь. Кетлинская не хочет верить тому, что знает в глубине души. Но это так глубоко запрятано, столько сил ушло, чтобы не глядеть на то, что есть, а на то, что требуется, — куда уж тут переучиваться. Жизнь не начнешь сначала. Поэтому она бледна смертельно. Кетлинская. Убрана вдруг почва, которой столько лет питались корни. Как жить дальше? Зато одна из самых бездарных и въедливых писательниц, Мерчуткина от литературы, недавно верившая в одно, готова уже кормиться другим, всплескивает рукми, вскрикивает в негодовании: "Подумать только! Ужас какой!" В перерыве, по привычке, установившейся не случайно, все говорят о чем угодно, только не о том, что мы слышали. У буфета народа мало. Не пьют. По звонку собираются в зал быстрее, чем обычно, и снова слышим историю, такую знакомую историю пережитых нами десятилетий. И у вешалок молчание. Не знаю, что думают состарившиеся со мной друзья. Нет — спутники. Сегодня женский день и, наверное, по этому поводу пьяных на улице больше, чем обычно. Вечером, как в дни больших событий, я чувствую себя так, будто в душе что-то переделано и сильно пахнет краской. Среди множества мыслей есть подобие порядка, а не душевного смятения, как привык я за последние годы в подобных случаях.

1956
25
марта

Сейчас гулял с Козинцевым, как всегда до Кировского моста и налево, до китайских львов, привезенных лейтенантом Гродековым в Санкт-Петербург в 1907 году. Тут я увидел Неву в первый раз в 14-м году, но львов почему-то не запомнил. Тепло. У Нахимовского училища упражняются какие-то пехотные части с оркестром. Видимо, готовятся к первомайскому параду. Множество детей. С ними сегодня и матери, и отцы, а иной раз только отцы. Они сегодня выходные. Мы садимся на деревянный диванчик, спиной к Петропавловской крепости. Мимо идут и идут ленинградцы 56-го года, и я чувствую острое желание понять, в чем их особенность. Да, конечно, стали они разноцветнее. Обувь разнообразнее. Много ботиков на молнии и резиновой подошве, замшевых. Много чешских туфель. Лучше одеты ребята. Снег свален в Неву и высится горой. Выше стен Петропавловской крепости. Опершись на гранитный парапет, люди не то глазеют на Неву, не то греются. На снеговых горах тоже чернеют люди. Не спеша идем домой. Навстречу — сплошная толпа гуляющих, все больше с детьми и словно ошеломленные солнцем. Лифт дома не работает. Как всегда, стоит между этажами — так проводит он воскресенье.



Еще до войны я не чувствовал, что у меня друзей нет. Хоть иные из них больно задевали меня, других я подолгу не видел, иные и вовсе исчезли, но мне казалось, что есть у меня друзья. Часто, с ученических лет, считалось, что я дружу с тем или другим, а от дружбы-то ничего не оставалось. Так и теперь — многие считают, что я дружен с Пантелеевым. Нет. У этого странного существа друзей нет. На этом и остановлюсь, хоть знаю его теперь в высшей степени ясно. Я уже писал о нем как-то, хоть знал его меньше и писал хуже. Это слишком хороший знакомый теперь, и, если буду я описывать его, получатся не наблюдения и открытия, а сплетни.



Прошло уже сорок спектаклей. И пришло то время, к которому я присужден — время отрезвления. Какие-то силы старательно приводят меня в чувство, отрезвляют, хотя я вовсе и не пьянел. Тем не менее вчера написал я еще один, новый, вариант III акта. Вечером читал Акимову, и он принял его. Сегодня он

печатается. Купили мы у Черкасова машину, отчего чувствую себя смутно. Пока, кроме хлопот, не вижу я никаких от нее радостей... И ко всему весна не хочет прийти. Снег летит мимо окон. Смешно к шестидесяти годам ждать счастья, но я ведь не вижу, сколько мне лет. Заболел Москвин. У него инфаркт. Съемки "Дон Кихота" продолжаются. Козинцев в отчаянии. Мне жаль Москвина. И так далее. И так далее. Надо писать пьесу о молодых супругах для Комедии. Потом сценарий и детскую пьесу. Одного хочу — чтобы не мешало мне ничто.

1956 *24 апреля*

Кончаю двадцать седьмую тетрадь. Начал первую из них в апреле 42-го года в Кирове. А веду без перерывов, ежедневно, с июня 50-го. Сейчас это вошло у меня в привычку. И я испытываю особенную, не слишком острую, но вполне ощущаемую радость, когда мне удается что-то назвать, описать точно. Я, к сожалению, не одарен благом незабвенности. Я считаюсь с людьми, даже с теми, что не люди, а особый вид привидений, обладающих телом, но лишенных духа, — самый страшный вид призраков. А в этих книгах я один. И, не удержавшись, не понимая себя без взгляда со стороны, читал я отрывки некоторым знакомым. И когда меня хвалили, радовался острее, чем в полной пустоте. Ничего не поделаешь. Разговаривать с самим собой — признак безумия. Искать сочувствия, как ни осуждаю себя за это, — признак здоровья. Время у меня сейчас трудное. Беспокойное. Акимов кончает репетиции. "Обыкновенное чудо" прошло в Москве с успехом, причем меня едва коснулась его теневая сторона: я не сидел в зале на генеральной, на премьере, не слышал ругательных отзывов. Ко мне дошли отфильтрованные, положительные. Теперь мне в конце недели предстоит все испытать здесь. В субботу и воскресенье — дневные просмотры. Когда-то я любил такие дни. Чувствуешь, что живешь. А сейчас испытываю напряжение...

1956 *29 апреля*

Сегодня была у меня премьера "Обыкновенного чуда" в Комедии. Видел я пьесу и позавчера — первый прогон, и сегодня — последний прогон, последняя открытая генеральная перед премьерой, перед спектаклем на публике, который состоится завтра. Вчера составляли мы списки людей, которых необходимо

позвать. Потом они приезжали за билетами. Потом отправились мы в театр пораньше, чтобы избежать давки у входа и просьб о билетах. Начало. Чувствую по актерам, что спектакль сегодня пойдет похуже. И сам не знаю почему. Споткнулся в первом монологе, во вступлении, Колесов. Неуверенно говорит всегда прекрасно играющая Зарубина. Но зал верит мне, и театру, и Акимову. Для всех этот спектакль — признак радости. Признак возвращения прежней Комедии, ставшей в некотором смысле легендарной. Довоенной Комедии. Первый акт не нравится мне, но им очень довольны. Аплодируют среди действия. Я сижу и шевелю губами за актерами, на чем ловлю себя. Смеюсь вместе с публикой, отчего потом смущаюсь. В антрактах хвалят. Вызывают в конце, но у меня нет уверенности в успехе. Третий акт — не готов. Финал. Вечером приезжает Акимов. Целый день звонят и поздравляют, но я чувствую, что спектакль не готов. Поэтому занимаюсь финалом. И чувствую облегчение от этого. Сокращаем. Сейчас около двух часов. На душе скорее спокойно — чувствую, что живу. Райкин ругает простоту трактовки роли Сухановым. Дрейден ругал Ускова. Но я чувствую, что живу.

1956
25
мая

Вчера произошло новое отрезвляющее и оздоровляющее явление: принесли "Советскую культуру", где народный артист М. Жаров невнятно, однако в достаточной степени неприятно, ругает пьесу "Обыкновенное чудо", приписывая успех спектакля необычности жанра и талантливости постановки.

1956
12
октября

Я истратил весь азарт, который помогал мне, когда я начал работу над "Телефонной книжкой". Мне стало ясно, что до самого дна, до человека как до явления не так-то просто дорыться. Когда знаешь слишком много, путаешься в подробностях, не решаешься брать резко, когда знаешь мало, то рискуешь, теряешь главную радость — быть точным. Теперь о себе. Мне через девять дней исполнится шестьдесят лет. На душе смутно. Сами собой опустились те самые заслонки, что мешали или спасали всю жизнь, не давая понять всю силу происходящих событий, едва они приближались. В Союзе готовят юбилейный вечер. Я летом был у Прокофьева, просил избавить меня от этого. Он было согласился, а потом все пошло само собой, и я не знаю, хочу я этого

вечера или нет. Смутно на душе. Пробую для себя подвести итоги — и данных нет. Я не понимаю (когда перестаю писать) собственную работу. А пока пишу, склонен восхищаться, потому что вижу не то, что хотел сказать. Я не знаю многого, потому что эти заслонки путают чувства. И нет ни одного человека, которому я верил бы, если он хвалит меня. Зато любая брань меня задевает больно и надолго. Я знаю очень мало и многого не хочу знать. И я не стал взрослым по уклончивости, легкости и слабости характера, когда вдруг выяснилось, что я старик. Я все предчувствовал, а теперь как будто и неоткуда ждать счастья. Заслонки опущены, чувствительность притупилась, а все-таки меня в самой глубине продолжает беспокоить и даже мучить предстоящее торжество. Наташа на юге, и это меня беспокоит. Катюша все прихварывает. И дрожит надо мной. Старые друзья либо умерли, либо отошли, и вечером меня начинает томить недавно, года два назад, словно откуда-то извне, как болезнь, напавшая тоска. Неопределенная, но сковывающая. Молиться не могу, потому что не верю в свое право на это. Вот в какой путанице я встречаю шестидесятый год моего рождения. В прошлом году, когда я лежал больной, погода, как нарочно, стояла отличная, лето задержалось, и мне все чудилось — вот-вот придет счастье. Грех жаловаться. И я не жалуюсь — смутно на душе.

1956
14
октября

Читаю статьи Блока. Через непонятную сегодня речь, сквозь значительность, ключ к которой утерян, вдруг ясность, и простота, и пророческие предчувствия. Не всегда отчетливые, но ведь пророк не гадалка, он не врет, а переводит с такого языка, на котором нет слов, в нашем представлении. И серьезность, которая мне, увы, не была дана. Я все, как в реальном училище, убегаю с уроков... Всегда я работаю, силой усаживая себя за стол, будто репетитор свой собственный. И написал то, что написал, только благодаря некоторому дару импровизации. Это, как ни рассматривай, — второстепенный дар. У меня нет или почти нет черновиков. Особенно в двадцатые, тридцатые годы. “Клад” написал в три дня. В более поздние годы, когда задачи стал я себе ставить посложнее, пошло дело медленнее. И то не слишком. Да, первый акт “Медведя” написал я в 44-м году, а последний — в 54-м. Но я попросту бросал работу. Напишу первый акт — и брошу. Напишу второй — и несколько лет молчу. Правда, писал я, когда хочется. Меня долго мучило

утверждение Толстого, что писать надо, когда не можешь не писать. Я чувствовал себя виноватым, когда не пишу, но как будто болезнь какая-то мешала мне писать или проклятье. Но я мог не писать, раз не писал подолгу! Потом утешало меня следующее: я встретил множество людей, которые не могут не писать, не могут не играть, — и не писатели они и не актеры. Следовательно, в насилии над собой нет греха. Сколько людей — столько и способов себя сделать работником. Высказать себя. Впрочем, именно сейчас, когда виден потолок, я особенно отчетливо понимаю, что сделано непростительно мало, и обвинять в этом некого... Писать следует тоньше, если хочешь ты, наконец, писать для взрослых. У меня вдруг появляется отвращение к сюжету, едва я оставляю сказку и начинаю пробовать писать с натуры.



Что определяет этот год? Я до такой степени занят сейчас собой, своим переходом в разряд стариков, что перестал видеть и слышать. Я заметил, что Петроградская сторона сумрачнее центра, где я жил до сих пор. Свирепые дворничихи, которые то шепчутся друг с другом, то кричат и ругаются, почтальонши, вечно опаздывающие, пьяные, произносящие обличительные речи. Сердиты и контролерши в сберкассе. Но выражение это у людей. Сама же Петроградская сторона сумрачна на улицах боковых, в пяти минутах ходьбы от Кировского проспекта. Проспект же сохранил уверенность в своем растущем значении. Это выражение создалось еще до революции, когда строились удобные, с затеями дома стиля модерн. Таков дом на бывшем Кронверкском, где жил Горький, и дома на площади Льва Толстого.

Сегодня зовут меня в ТЮЗ поздравлять с юбилеем.



Вчера были в ТЮЗе. Такси нашли раньше, чем предполагали и поэтому решили сначала проехаться по набережной, по Невскому и только потом на Моховую. Небо было ясное, чуть затуманенное, а над рекой туман стоял гуще, так что Ростральные колонны и Биржа едва проглядывали. Солнце, перерезанное черной тучей, опускалось в туман. Смотреть на него было легко — туман смягчал. Все, что ниже солнца, горело малиновым, приглушенным огнем. Я старался припомнить прошлое, но настоящее, хоть и приглушенное, каза-

лось значительным, подсказывающим, не хотелось вспоминать. И Невский показался новым, хотя и знакомым. И тут мне еще яснее послышалось, что молодость молодостью, а настоящее, как ты его ни понимай, значительнее. И выросло из прошлого, так что и тут никуда не делось, как дома и нового, и глубоко знакомого проспекта. Впрочем, сегодня в рассказе это получается яснее, вчера я только едва-едва, как в тумане, не называя, угадывал то, о чем говорю.

Мешали еще и мелкие заботы. Что будет в ТЮЗе? Не приехать бы слишком рано. Не опоздать бы. Но общее ощущение значительности не оставляло. Против ТЮЗа чинят мостовую, так что выйти нам пришлось у глазной больницы, что меня огорчило. Вспомнил, как в 38-м году ходил сюда навещать внезапно ослепшего отца. Но тут заслонка скорее-скорее опустилась, и мы отошли от больницы. В ТЮЗ идти было все еще рано. Небо совсем прояснилось, воздух после машины казался чистым. И мы пошли, не спеша, гуляя по Моховой. К театру уже вели зрителей, все больше третьеклассников. Они были опьянены происходящим. Одна девочка от избытка чувств крикнула мне: “В ТЮЗ идем!” И легко перенесла замечание педагога. И вот ровно в назначенное время, без четверти шесть, вошли мы в новый сегодня и столько лет знакомый вестибюль театра. Натан — ныне директор ТЮЗа — уже нас ждал. В кабинете его вручили нам пригласительные билеты. Появлялись актеры то один, то другой — поздравить.

1956
*19
октября*

Когда пришло время, взяли меня под руки две актрисы, отчего почувствовал я себя не то взятым под стражу, не то инвалидом, и, путаясь под ногами, повели. Перед полукругом тюзовской сценической площадки стояло кресло и микрофон — радио прислало сотрудников записывать мою встречу с детьми. Оркестр играл песенку Иванушки из “Двух кленов”. Ребята аплодировали нашему появлению сначала бурно, а потом, услышав музыку, — в такт, подчиняясь оркестру. Макарьев легенький, сухенький, очень моложавый — никак не дать ему шестидесяти четырех лет, — улыбаясь мудрой и педагогической улыбкой, начал речь. Она вся была построена на музыкальных цитатах. Первая — песенка Иванушки: “Я Иван Великан”. И Макарьев назвал меня великаном. Потом оркестр сыграл музыку к “Кладу”, которую я не узнал. И Макарьев назвал меня кладом. Я стоял

и слушал с твердым ощущением, что это ко мне не относится. Знакомый театр не вызывал воспоминаний, но и чувство реальности происходящего, чувство настоящего — тоже затуманилось. Кончив приветствие, сохраняя все ту же улыбку, стал Макарьев вызывать представителей разных школ. И вот пошли делегации: по одному, по двое, по трое. Девочки и мальчики в формах, в пионерских галстуках. По мере приближения ко мне и микрофону лица их принимали выражение все более испуганное и напряженное, смотрели они не на меня, а прямо в тупое рыльце микрофона. И произносили свои приветствия. И дарили либо цветы, либо адрес. Четыре девочки вышли без всякого подарка. Три из них, по очереди, произнесли свое приветствие, а четвертая таким же торжественным голосом, как подруги, возгласила: "Евгений Львович! Мы приготовили Вам подарок и оставили в пионерской комнате, а ее заперли, и ключа мы не могли найти..." Ей не дали договорить аплодисменты и восторженный хохот слушателей. Потом я отвечал на приветствия. Потом тюзовская художница — это уже за кулисами — попросила, чтобы я посидел десять минут. Ей нужен мой портрет. И я стал позировать.

1956
20
октября

Сегодня продолжаются юбилейные поздравления, все несут и несут телеграммы. Я с детства считал день своего рождения особенным, и все в доме поддерживали меня в этом убеждении. Так я и привык думать. И сегодня мне трудно взглянуть на дело трезво. Труднее, чем я предполагал. Только ночью, перед сном, показалось мне, что промелькнула дурная примета! Рязанское, шелковское, веками вбитое недоверие и возможность счастья. Ну, посмотрим, что будет. Продолжаю рассказывать о ТЮЗе. Итак, когда кончилась торжественная часть, и я сидел с актерами, а художница рисовала — вдруг разговорилась Зандберг. И я подивился немощи человеческой памяти. Она мне же, с глубокой уверенностью в том, что так и было, стала рассказывать, как был написан "Ундервуд". Нет, значит, прошлое и в самом деле не существует. Разбитная, сильно пожилая женщина, называя меня Женей, повторяла: "Неужели вы не помните", уверяла меня и всех присутствующих в следующем. Когда Уварова лежала в больнице, я навестил ее вместе с Зандберг. (Ничего подобного не было. Я ни разу не навестил Уварову. В те годы я не так хорошо был с ней знаком.)

И чтобы утешить больную, я сказал ей: "Ты, Лиза (я в те годы был с Уваровой на "вы"), ты, Лиза, в моей пьесе будешь играть старуху, которая всех щиплет. А вы, Верочка, пионерку, которая растет каждый день и кажется выше своего роста". И стал шутить, хохмить (о, ужас). И через неделю (неправда, "Ундервуд" я писал недели две) принес пьесу, где все эти хохмы были вставлены, — "помните, Женя?" И я ответил: "Продолжайте, продолжайте, я слушаю вас с величайшим интересом". Так он и было на самом деле. Ничего похожего на правду! Я слушал с глубочайшим интересом и не мог представить себе, что делалось в этой душе, какой путь ей пришлось пережить за эти годы, чтобы до такой степени все забыть и научиться так подменять пережитое сочиненным. На самом же деле "Ундервуд", как это ни грустно, был написан для нее. Я от тоски и избытка сил стал играть во влюбленность. В нее. В Зандберг. И увлекся.



Юбилей вчера состоялся. Все прошло более или менее благополучно, мои предчувствия как будто не имели основания. Тем не менее. На душе чувство неловкости. Юбилей — обряд или парад грубоватый. Впрочем, буду рассказывать по порядку.



Как все было сложно, как долго театр колебался, прежде чем поставить пьесу, и как все словно дымом выело из памяти Зандберг. Раз, два и готово. Пришел навестить Уварову и в утешение ей сочинил тут же пьесу, а потом переписал со всеми хохмами (о, ужас)! Я не решился перечитать "Ундервуд", когда пьеса попалась мне недавно в руки. Но помню, что писал я ее не шутя. Что же такое прошлое? Для меня двадцатые годы все равно, что вчера, а тут же рядом человеку в тех же годах чудится нечто такое, чего и не было. И что творилось в душе этой пожилой, недоброй женщины в те времена, когда была она безразлична, добра и молода? Вызвали такси. Мы двинулись усаживаться туда со всеми цветами и адресами. Ехал я домой уже без всяких мыслей и воспоминаний. (Когда я предавался воспоминаниям, я только ужасался. Это теперь записываю я все подробно.) Итак, домой я ехал без всяких мыслей и воспоминаний, словно из бани какой-то. А потом пошли юбилейные дни.

Напоминали они и что-то страшное, словно открыли дверь в дом и всем можно входить, и праздничное. Нечто подобное пережил я, когда сидел в самолете, проделывающем мертвые петли. Ни радости, ни страха, а только растерянность — я ничего подобного не переживал прежде. И спокойствие. Впрочем, все были со мною осторожны и старались, чтобы все происходило неказенно, так что я даже не почувствовал протеста. И банкет прошел почти весело. Для меня, непьющего. Несколько слов, сказанных Зощенко, вдруг примирили меня со всем происходящим. На другой день обедали у меня Каверины, Чуковские, Лева Зильбер. На третий — ужинали Шток, Дрейдены, Надя Кошеверова. Сейчас прихожу в себя. Юбилей — обряд грубый.



И хочешь не хочешь, двери твоего дома открываются, и я до сих пор что-то в этом празднике ощущаю не то что как насилие, не то что как оскорбление, но близкое к этому. Когда кричат: “Качать его! Ура”, — то наименьшее удовольствие получает тот, кого качают. А кроме того, новое и отчетливое по внутреннему, почти неопределимому смыслу чувство важности именно сегодняшнего дня — затуманилось. Вчера был на студии. Видел Альдонсу в придворном костюме. Кто-то ее истово и неутомимо портит. На ее лице, совсем юном весной, появились морщинки. У губ. Впрочем, может быть, она просто прихварывает. Во всяком случае я, начисто лишенный здоровой грубости, огорчаюсь, глядя на нее. Перебирая жизнь, вижу теперь, что всегда я бывал счастлив неопределенно. Кроме тех лет, когда встретился с Катюшей. А так — все ожидание счастья и “бессмысленная радость бытия, не то предчувствие, не то воспоминанье”. Я никогда не мог просто брать, мне надо было непременно что-нибудь за это отдать. А жизнь определенна. Ожидания, предчувствия, угадывание смысла иногда представляются мне позорными. Вчера на студии, впрочем, испытал я некоторое удовлетворение, увидев, какие силы пущены в ход для того, чтобы сценарий, написанный мной именно благодаря тем душевным особенностям, на которые я жалуюсь — реализовать. И горят рефлекторы. И дым валит из какого-то цилиндрического прибора, тоже извергающего световой столб, прямо и бесповоротно в лицо актеру. И едет по рельсам аппарат, на котором,

припав глазами к окошечку, стоит на четвереньках свирепый и определенный Москвин. И огромная фабричная труба возвышается над корпусом, вставшим против пятого ателье. И там, за окнами, ревут машины. Можно подумать, что здесь производят товар. Ленты. На самом же деле пытаются реализовать те неопределимые ценности, без которых вся фабрика превращается в бессмыслицу. Так я утешался вчера, шагая с Козинцевым в просмотровый зал. И в зале то приходил в отчаянье, когда все получалось грубо, то радовался, когда что-то пробивалось.

1956
27 октября

Все то же чувство открытой за спиной двери, несвободы и неловкости. Я боюсь, что заслонок опустилось больше, чем следует. Еще в прошлом году представлялось мне, что я сохранил как раз в этой области ясность чувств. Но теперь убедился: если брань я переживаю болезненно, то похвалы — безразлично. Сегодня опять была передача по радио, и кроме раздражения и неловкости — ничего. Чем бы заняться? Я хотел написать сказку о храбрости, да боюсь, что получится уж слишком поучительно. Если взять такую историю: мальчик остался один. На нем ответственность за младших — скука! Я вышиблен из колеи и сплю. Вчера был на заседании редколлегии — и об этом нет сил рассказывать. Что мне хочется написать? Больше всего — очень простую сказку, где сюжет развивался бы естественно, но занимательно. Нет, здесь об этом я писать не могу.

1956
1 ноября

Сегодня упражняюсь в работе с натуры. Пробую передать осенний день, ощущение осеннего дня только с помощью того, что вижу за окном, пока пишу. Итак, глухая серая стена, прямая по краям и изрезанная геометрическими линиями на вершине, возвышается над складом. Она идет от карниза вверх, затем повторяет границы дымохода, затем более спокойное движение вверх, крутой прыжок к крыше примыкающего дома, и под тупым углом вниз. Когда вглядишься, понимаешь, что площадь брандмауэра составлена из двух примыкающих друг к другу домов. Тот, фасад которого я вижу, — четырехэтажный. Второй же, фасад которого выходит во двор под прямым углом к складу, невидим. Но по всем признакам это пятиэтажный дом. Брандмауэр обоих домов один, составляет единую плоскость, но

прямая линия границы видна. Образует линию разница в цвете. Четырехэтажный дом — желто-темно-серый на плоскости брандмауэра, а связанный с ним общей стеной, вероятно, более молод и потому светло-сер. Но все же единая, откровенно деловая плоскость, не желающая скрывать этого.

1956
8
ноября

Сегодня с утра день более веселый. Приходят студенты Академии Художеств, все трое — разные, два черных, один рыжеватый, очень молодые, скованные застенчивостью и уважением, но храбро сопротивляющиеся этому. Они увлекаются куклами и придумали пьесу для кукольного театра, точнее, у них есть идея пьесы. Кукол они сделают сами и поставят сами. Может быть, для фестиваля молодежи. На чердаке, в мусоре — Петрушка, бутылка, телефонная трубка, губка. Из них, забыл уже как, делаются живые существа, которые и переживают различные приключения. Рассказывали черненькие, рыжеватый молчал и хмурился — стеснялся. Здоровый, сбитый, коренастый. Я стал думать вслух и неожиданно, увлеченный вниманием и смехом студентов, пережил настоящее наслаждение чистой выдумкой. Неотягощенный необходимостью записывать и чувством ответственности, я предложил убрать старый сюжет. Петрушка влюбляется в куклу. У него белый костюм, вроде Пьеро, и он сам его стирал и гладил по утрам, чтобы объясниться в любви, когда будет в чистом костюме. Но каждый раз с ним что-нибудь случалось — не успеешь оглянуться, и он то в чернилах, то в масле. Куклу запирают в шкаф. И так далее и так далее. Придумался пьяница — в прошлом губка. Он пьет, потому что умнеет от этого, но каждый раз не хватает одной рюмочки, чтобы окончательно поумнеть. Как выпьешь ее, эту последнюю рюмочку, так и заснешь. Кот, проповедующий полное спокойствие и теряющий его посреди проповеди — то мышь почует, то кота, и возвращается из похода с разодранным ухом и подбитым глазом. Все это радовало меня еще и ясным ощущением мира, в котором все это совершается. Я не могу передать его прелести, но тогда чувствовал его, а сейчас, записывая, не чувствую. Уходили мои гости оживленными, и я был оживлен. Обещал шефство над их работой. Потом заходил еще юноша со стихами. Прелестен.



Был сейчас на студии. Дон Кихот в спальне. Второе ателье. Новое. Черкасов ползает по полу, ищет иголку. Москвин кричит: "Включите раздолбайчик. Камарилья, поверни рукоятку на двадцать оборотов". Все знакомо. Павильон только что построен. Моют пол. Герцогский дворец. Среди других вещей — настоящий аналой XVI века, взятый откуда-то из музея. Козинцев измучен. Жалуется, что веко на одном глазу закрывается само собой. Но работает упорно, не жалея себя. Все работают. Москвин, не разгибаясь, глядит в аппарат и командует. Возле буфета сильный, наводящий тоску запах постного масла и лука. Тут же толпятся какие-то существа в золотых кафтанах и чалмах. Кто-то в мантии. Лица, мертвые от фиолетового грима. Работа в кино требует многих усилий, людей не хватает, но в коридорах вечно болтаются и болтают люди. Смотреть на них скучно. Запах лука и постного масла и с них, словно химический состав, снимает всякое подобие окраски... После вчерашнего посещения студентов у меня осталось ощущение какого-то открытия. Не в них и не во мне. А в том ясном мире, который я, рассказывая, видел и вижу до сих пор. Тянет написать что-то очень простое. Форму я чувствую. Вопрос — о чем, из того, что накоплено, рассказывать. Вот опять заговорил о себе. О чем же писать? О вечных и тщетных попытках сохранить чистый белый балахон?

1956
14
ноября

Вчера по телевизору была передача обо мне. "Мастер театральной сказки". Я ждал худшего. Говорили Цимбал, Акимов, Зон, Мишка Шапиро. Показали один акт из "Снежной королевы", отрывки из "Золушки" и "Первоклассницы" и один акт "Обыкновенного чуда". Был пролог и эпилог с действующими лицами из моих пьес и сценариев — вот этого я и боялся. Но и это сошло. Было не слишком радостно, не столько лестно, сколько неудобно, но обошлось.

Вчера днем был на студии. Построен герцогский дворец — огромный зал. Идет освоение. Появляется не спеша Вертинская — странное существо: стройная, неестественно худенькая в своем черном бархатном платье. Лицо удлиненное, длинные раскосые зелено-серые глаза, недоброе надменное выражение. Герцогини, выросшие во дворцах, должны быть именно такими — и привлекательными, и отравленными. Альтисидора добродушнее и юнее, но так же тонка и так же поражает ее тоненькая

талия и бархатное платье. Мальчик паж стоит, откинув назад свою крупную голову. Лицо с тонкими чертами, черные глаза. Тонкие руки конвульсивно вздрагивают. Ему дали подержать живую обезьяну, и с ним едва не случился припадок от ужаса и отвращения. Держит обезьяну другой подросток, повыше и попроще. Толстая макака внимательно и просто поглядывает на окружающих, берет с ладони герцогини виноград. Но едва та пробует погладить маленькую голову зверька, макака открывает угрожающе пасть. И возле нее вырастает хозяин, грубиян с пропитой мордой. "Ну ты, корова!" — кричит он и дает обезьяне пощечину. И та смущенно замирает, ссутулившись. И недоброе лицо Вертинской вдруг делается добрым, и, протянув обе руки, она просит: "Не бейте, уж лучше я ее не буду гладить".

1956
19
декабря

Кончается съемка "Дон Кихота". Вчера Козинцев решил показать картину в приблизительно смонтированном состоянии работникам цехов — осветителям, монтерам, портнихам. Полный зал. Утомленные или как запертые лица. Как запертые ворота. Старушки в платочках. Парни в ватниках. Я шел спокойно, а увидев даже не рядового зрителя, а такого, который и в кино не бывает, испугался. Девицы, ошеломленные собственной своей судьбой женской до того, что на их здоровенных лицах застыло выражение тупой боли. Девицы развязные, твердо решившие, что своего не упустят, — у этих лица смеющиеся нарочно, без особого желания, веселье как униформа. Пожилые люди, для которых и работа не радость и отдых не сахар. Я в смятении.

Как много на свете чужих людей. Тебя это не тревожит на улице и в дачном поезде, но тут, в зале, где мы будем перед ними как бы разоблачаться — вот какие мы в работе, судите нас! — тут становится жутко и стыдно. Однако отступление невозможно. Козинцев выходит, становится перед зрителями, говорит несколько вступительных слов, и я угадываю, что и он в смятении. Но вот свет гаснет. На широком экране ставшие столь знакомыми за последние дни стены, покрытые черепицей крыши, острая скалистая вершина горы вдали — Ламанча, построенная в Коктебеле. Начинается действие, и незнакомые люди сливаются в близкое и понятное целое — в зрителей. Они смеются, заражая друг друга, кашляют,

когда внимание рассеивается, кашляют все. Точнее, кашлянет один — и в разных углах зала, словно им напомнили, словно в ответ, кашлянут еще с десяток зрителей. Иногда притихнут и ты думаешь: "Поняли, о, милые!" Иногда засмеются вовсе некстати. Но самое главное чудо свершилось — исчезли чужие люди, в темноте сидели объединенные нашей работой зрители. Конечно, картина будет торжеством Толубеева. Пойдут восхвалять Черкасова по привычной дорожке. Совершенно справедливо оценят работу Козинцева. Мою работу вряд ли заметят. (Все это в случае успеха.) Но я чувствую себя ответственным наравне со всеми и испытываю удовольствие от того внимания, с которым смотрят на этом опасном просмотре, без музыки, с плохим звуком, приблизительно смонтированную картину. Черкасов, уже давший в заграничные газеты различные сообщения о своей работе, ведущий дневник с тем, чтобы потом выпустить книгу "Как я создал роль Дон Кихота", после просмотра находится в необычном состоянии. Обычная его самоуверенность как бы тускнеет.

1956
20
декабря

И сегодня, гуляя с Козинцевым, я узнал, что Черкасов это утешение нашел. Он сказал: "Высотное здание построено. Мне надо будет написать статью, указание актерам, которые будут озвучивать меня для иностранного экрана". Предел самоуверенности Черкасова непознаваем. Вчера я был на выставке Пикассо и позавидовал свободе. Внутренней. Он делает то, что хочет. Та чистота, о которой мечтал Хармс. Пикассо не зависит даже от собственной школы, от собственных открытий, если они ему сегодня не нужны. Убедился, что содержание не ушло. Ушел сюжет. А содержание, которое не определить словами, осталось. Выставка вызвала необыкновенный шум в городе. У картин едва не дерутся. Доска, где вывешиваются отзывы, производит впечатление поля боя. "Ах, как хочется после этой выставки в Русский музей", — пишет один. "Ступай и усни там", — отвечает другой. И так далее и тому подобное.



Вчера произошло неожиданное событие — по радио объявили, в вечерних последних известиях, что мне дали орден Трудового Красного Знамени. Звонил весь вечер телефон. Прибежали с поздравлениями соседи.

1957
28
февраля

Все хочется еще счастья. Я понимаю, что единственное не обманет — это работа. И все-таки еще я живу, на все оглядываюсь, отвечаю на мелочи с непростительной живостью. В субботу, 23-го, вызвали меня в горисполком к 4 часам. Вручать орден. Мариинский дворец. Во втором этаже зарегистрировала меня секретарша и предложила с дворцовой вежливостью присесть в комнате возле. Подождать. Особая холодная и достойная чистота. Дверь в круглый зал с колоннами, в зал небольшой, рядов на десять, где белеют кресла с высокими и широкими спинками в чехлах. Ожидающие награждения сидят по углам. Знакомые, видимо, одного учреждения, собираются группами. Прямо против меня очень усталая женщина в ситцевом платье, на плечах вязаный платок. Сидит, уставясь всем своим скуластым лицом, светлыми глазами — в никуда. Нет ей дела ни до дворцовых комнат, ни до предстоящей церемонии. Будни одолели. Нетерпеливо шагает взад и вперед начинающий полнеть густоволосый человек в коричневом костюме. Появляется рослый декоративный мужчина начальственного типа.



В начале пятого приглашают нас в приемную председателя исполкома Смирнова. Возле секретарши ждет старик с орденами в черном. Бойкая миловидная девица разговаривает по телефону с каким-то Борисом Мироновичем. Она находится в оживлении административном. Даже в азарте. Отдает распоряжения о встрече немецких парламентариев в каком-то театре: “Цветы эти оставьте, пусть их поднесут актеры. Как расположены у вас флаги? Нет, я не понимаю. Вот я стою лицом к сцене. Нет, вы не понимаете меня, Борис Миронович. Я стою лицом к сцене. Что направо, что налево? Так. Налево СССР, в центре РСФСР и направо СССР. Правильно. Теперь записывайте приветствие. Надо сказать буквально так…” Что именно — мы не узнаем, так как высокая дверь кабинета открывается, и секретарша предлагает нам войти туда. В дверях пережидает, благосклонно улыбаясь нам, человек с папкой, видимо, кончивший какой-то доклад предисполкому. Сам председатель ожидает нас у маленького столика, на котором возвышается горка красных и серо-зеленых книг и несколько футляров. Смирнов — мужчина рослый и дородный, с белым, красивым по-начальнически лицом, в котором кроме начальнической степенности

есть и что-то излишне застывшее. Он бледен от комнатного, дворцового образа жизни. Нам предлагают занять места за длинным столом заседаний. Вот и рассказывай тут. Едва успел я дописать до этого места, как позвали меня завтракать... Нас человек двадцать. Появляется еще одна женщина с ребенком.

1957
2
марта

Полный, здоровый, несколько апатичный мальчик, год с небольшим. Смирнов со своим декоративным, а вместе недостаточно уверенным в себе видом, становится левее большого стола, ближе к столику, где лежат награды. Его подручный оглашает приказы Президиума Верховного Совета. Смирнов берет первую коробочку. Вызывают старика с орденами в черном костюме, ушедшего на пенсию железнодорожника, много лет работавшего начальником "Красной стрелы". Получив орден, старик разражается речью. Кричит надрывно, будто говорит на площади, таращит глаза. Он благодарит советскую власть. "Двадцать восемь лет я жил при старом режиме. И что получил? Ничего! Советская власть дала мне техническое образование..." и так далее. Слушают его равнодушно, хоть он и кричит. Даже мальчик, что сидит на руках у матери, не поворачивает голову, смотрит прямо перед собой. Видимо, то, что он попал в такую необычную для него среду, лишило его [способности] удивляться. Следующим вызывают меня. К величайшему удивлению моему, все сидящие за столом и ожидающие награждений аплодируют. Я все время был спокоен, холоден и внимателен, но тут смутился и не могу припомнить — по правилам ли взял я орден в левую руку, а правой пожал руку награждающего. Речи я не произнес, потому что помнил по рассказам награждений, что полагается всего одна ответная речь. Так же чинно и тихо, без речей, получали остальные свои награды. Только все улыбались, возвращаясь на свое место за длинным столом. Полнеющий человек с густыми волосами оказался эстрадным певцом по фамилии Кострица. Почетные грамоты Верховного Совета Латвийской ССР получили строители парома и Азербайджанской ССР — строители телецентра. Женщины оказались матерями-героинями, вырастившими по десять детей. Им мы тоже аплодировали. Апатичного мальчика мать оставила, когда пошла получать орден. Он насупился, однако не заплакал. После церемонии Смирнов за-

говорил. Поздравил нас всех за те успехи в индустрии Ленинградской области, которых мы добились. И мы пошли по домам.

1957
9
мая

"Золушка" в 47-м году имела успех. В том же году режиссер Грюндгенс в Театре имени Рейнгардта в Берлине поставил "Тень", и тоже с успехом. После этого пошли неудачи в течение нескольких лет. Правда, мне казалось, что я научился писать прозу. А вместе с тем не мог дописать детскую пьесу. И, насилуя себя, работал для Райкина. И до сих пор помню чувство унижения, нет, заколдованности, когда пытался я переделать чужой роман для Центрального детского театра. И сценарий. Успех "Обыкновенного чуда" в Москве и тут "Дон Кихот", которого Козинцев будет на днях показывать в Канне.

Лежу, болею, но не слабеет жажда [жизни] самой обыкновенной, уходящей корнями в самую обыкновенную унавоженную землю. И вместе с тем изменение в духовной жизни. Не знаю, что будет. Опять хочется писать. Ну, вот и довел я рассказ до сегодня.

1957
10
мая

Не могу больше писать ни о себе, ни о людях. Стыдливость не дает говорить о себе в полный голос. Останавливаешься там, где мог бы сказать новое. Лежа и обдумывая, я понял себя до конца. Писать об этом вяло я бы уж не стал. Тут никакое полусонное бормотанье невозможно. Но и невозможно слова сказать в полной тайне, без слов, что приближаешься к тому огню, который все очищает. А заговори — и остудишься, и извратишь. А говорить о себе, не говоря всего, это хуже, чем молчать. Это я и не я. Надоело мне говорить и о других. Бежишь и бежишь свободно и весело и вдруг позорно валишься носом в землю. Оказывается, что ты вовсе и не свободен, а привязан за ногу. То сложностью обстоятельств, то внезапной недопустимой добротой, то личным пристрастием. Скучно.

1957
18
мая

Жюри в Канне забаллотировало "Дон Кихота". Премия досталась картине "Сорок первый". Перед этим появились сообщения, что картина "Дон Кихот" прошла с исключительным успехом, что это событие, что впервые за существование ро-

мана удалось воплощение его в другом виде искусства, и так далее и так далее. Передавалось это по радио (у нас). В "Советской культуре" напечатаны сообщения "Франс пресс" и агентства "Рейтер", что критика дала высокую оценку "Дон Кихоту". Если бы всего этого не было, то я ничего бы и не ждал. Тем более что о сценаристе, говоря о фильме, как правило, и не вспоминают. Но все равно есть командное чувство. Команда, в которой ты играешь, за которую ты отвечаешь в большей или меньшей степени, — вдруг проигрывает. И тут неудачу ты чувствуешь, пожалуй, острее, чем удачу.

1957
1
июня

Когда-то в 20-х годах Маршак сказал, что я импровизатор. Шла очередная правка какой-то рукописи. "Ты импровизатор, — сказал Маршак. — Каждый раз твое первое предложение лучше последующего". Думаю, что это справедливо. "Ундервуд" написан в две недели. "Клад" — в три дня. "Красная Шапочка" — в две недели. "Снежная королева"— около месяца. "Принцесса и свинопас" — в неделю. В дальнейшем я стал писать как будто медленнее. На самом же деле беловых вариантов у меня не было, и "Тень" и "Дракон" так и печатались на машинке с черновиков, к ужасу машинистки. Я не работал неделями, а потом в день, в два делал половину действия, целую сцену. И еще — я не переписывал. Начиная переписывать, я, к своему удивлению, делал новый вариант. Смесь моего оцепенения с опьянением собственным воображением — вот моя работа. Оцепенение можно назвать ленью. Только это будет упрощением. Самоубийственная, похожая на сон бездеятельность — и дни, полные опьянения, как будто какие-то враждебные силы выпустили меня на волю. К концу сороковых годов меня стало пугать, что я ничего не умею. Что я ограничен. Что я немой — так и не расскажу, что видел. Но в эти же годы я невзлюбил литературу — всякая попытка построить сюжет — и та стала казаться мне ложью, если речь шла не о сказках. Я был поражен тем, что настоящие вещи, — в сущности — дневник, во всяком случае в них чувствуешь живое человеческое существо Автора, таким, каким был он в тот день, когда писал. И я заставил себя вести эти тетради. Но теперь подошел к новой задаче. Отчасти из страха литературности, отчасти по привычке я и тут все писал начисто.

1957
8
июня

Третьего июня показывали “Дон Кихота” писателям. Так как идет, точнее, шла какая-то конференция в Пушкинском доме, то пришли и профессора. На обсуждении выступали: Эйхенбаум, Оксман, Коля Степанов, Виноградов, Алексеев. Из писателей Панова. Хвалили. В Москве картина, к моему удивлению, делает полные сборы. Я понимаю, что это хорошо, и не слишком понимаю. Автор картины — это режиссер, а никак не сценарист. Что бы там ни говорили в речах. Мне бы пора остепениться, но я не могу.

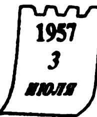
На душе туман, через который я отлично вижу то, что не следует видеть, если хочешь жить. Старость не дает права ходить при всех в подштанниках. И даже если жизнь кончена, не мое дело это знать. Это не мысль, а чувство, которое я передаю грубовато, а переживаю вполне убедительно.



Сегодня семь лет с тех пор, как начал я писать ежедневно в этих тетрадях. А в апреле исполнилось пятнадцать лет с тех пор, как я их веду. Но семь лет назад начались ежедневные записи, в чем и заключается главный их смысл. Пишу я лежа, плохо с сердцем, а чувствую я себя в основном хорошо.



Дня три я сплю как следует, принимая снотворное. Смутные слухи из Москвы. Вчера был Козинцев, принес немецкие плакаты. Очень красиво сделанные. Сегодня у меня выходной от моих мучений день. Поговорил с Катюшей, и она утешила меня. Потихоньку начинаю думать, что писать дальше. У Акимова в Комедии неприятности. Сначала не дали ему награждения к 250-летию города. Потом приняли в штыки новую его постановку “Кресло № 16”. Вчера был летний день, сегодня льет дождь. Но я отдыхаю. И смутный просвет, и мне хочется жить и трудиться, что, может быть, что-нибудь впереди. Была Надежда Николаевна. Говорила с Козинцевым о непорядках на Ленфильме.



Козинцев вдруг рассердил меня невоспитанностью. Или это была демонстрация? Он разговаривал с Надей, и каждая моя попытка вставить слово отвергалась, будто я — пустое место. Припоминаю сейчас, что подобные обстоятельства наблюда-

лись и прежде. Изящный, даже слишком изящный, с голосом неожиданно высоким — не то флажолет, не то фальцет тонкий, хорошего роста, с узким лицом, с меланхолическим выражением коричневых глаз, он производил впечатление благоприятное, но чуть подозрительное. Шло это последнее чувство от фальцета и того же тембра ожесточенности. Я знаю, что он ненавидит с женственной неудержимостью и очень редко проступает чувство любви к кому или чему бы то ни было. Это последнее объясняется еще и тем, что он сноб, или пижон, образца двадцатых годов. Всякий узник, как бы ни менял он кличку, определяется прежде всего ледяным спокойствием и полным презрением, даже ужасом к высказыванию чувств. Акимов, характер или поведение которого образовались в те же годы, признался одному близкому человеку, что, когда хоронил мать, ему, Акимову, мучительнее всего было сознание, что каждый понимает его чувство. Итак, Козинцев подчеркнуто насмешлив и зол, что дается ему без всякого труда. Человек он по-настоящему образованный. Шекспира знает, как никто в кинематографе и его окрестностях, причем читал его в подлиннике и прочел все, что можно о Шекспире, составил целую библиотеку, и профессиональные шекспирологи уважают его. Когда работали мы над [Сервантесом] , убедился я в богатстве его знаний по эпохе Возрождения и по истории того времени. Он поймал художника, повесившего на стене герцогского дворца портрет адмирала, жившего лет через пятьдесят после событий, происходящих в фильме. И о знаниях своих он не звонит, не добивается ученого звания, как это любят в кино. Статьи его о шекспировских пьесах внушают уважение. Но знания его не снимают злости, почти женской, а злость не вынимает из его составных частей настоящую любовь к искусству, к высокому искусству. И поэтическое чувство, вспыхивая в его коричневых глазах, не убивает скупости. Ну что тут делать!

1957
7
июля

Вчера вечером вышел к столу. До этого смотрели по телевизору “Искателей” Гранина. Роман испорчен. Картина суха. Были Дрейден и Кошеверова. Разговор о Ленфильме: почти весь производственный план полетел. Приехал из Москвы редактор по фамилии, кажется, Скрипицын, и запретил картину, где гибнущих (неразб. — *Ред.*) спасает окрестное население. Где роль государства? В этом же качестве остальные изменения в плане, но сделанное

уже местным начальством. Кроют Лесногонского. Игра идет нешуточная. Снят сценарий Некрасова. Недавно утвержденный... Вчера в Ленинград приехал новый состав Президиума ЦК. Выступали на заводах. На улицах толпы ловят машины гостей. Сегодня Нюра пришла сияющая, видела две машины. В одной Хрущев и Козлов. В другой Булганин один. Ехали на демонстрацию. Рассказывала Нюра об этом истово, подробно. Что Булганин (неразб. — *Ред.*) на каких-то мосточках, а Хрущев и Козлов разговаривали. О событиях и переменах в Президиуме — ни слова. По телевизору передавали демонстрацию. Я как будто хуже себя чувствую, чем вчера. Не слишком ли рано я встал? А впрочем — надо же когда-нибудь объявить себя здоровым. Я не знаю, как будет дальше. Я хочу бродить. Невский представляется мне раем. Впрочем, бывают чудеса, и поправляются люди совсем.

1957
8
июля

Вчера был Козинцев, приходил прощаться — уезжает в Дубулты со всем семейством. Был он ясен, болотные туманы не поднимались над его душой, и он соответствовал своей стройной и тонкой фигуре с коричневыми глазами. Говорил, что никак не может придумать, о чем писать дальше. Перебирал все: от интернациональной бригады в Испании до Фальстафа. Поругали мы рецензию в “Смене”, и тут даже Козинцев, как выяснилось, не помнит, что сочинено, а что взято из романа. Он полагал, что сцена ухода Санчо с губернаторского поста — чистая цитата. Даже подсмеивался надо мной. “Он себя не отличает от Сервантеса”. Пришлось мне достать подлинник и прочесть сцену ухода, великолепную и печальную, и вовсе не похожую на то, что написал я в сценарии. И Козинцев удивился: как это испанцы в Канне этого не заметили?

1957
13
июля

Вот теперь вплотную становится на очередь задача: что писать. Надо бы и для ТЮЗа. “Сказка о храбрости” раздражает поучительностью. И я не вижу воздуха, которым все они дышат. Если взять трех братьев, из которых один без промаха стреляет, другой выпивает море. Впрочем, ему можно дать другой талант. Впрочем, и это неприятно, тянет в одну сторону, а хочется чего-то вполне человеческого. Брат и сестра ищут покоя в диком лесу. Неинте-

ресно и невозможно. Как в тумане мелькают передо мной городские стены, усатые люди в шароварах. Пираты? Мальчик, которого везли лечиться от храбрости, потому что он вечно был на волосок от смерти? Если подобный мальчик попадает к пиратам, он может навести на них такого страху, что освободится в конце концов. В этом уже есть что-то веселое. Он учит мальчиков, находящихся в плену, сопротивляться разбойникам. Находит девочку, которая до того запугана, что ее не научишь храбрости. Но и она вдруг кажется героиней, когда мальчик попадает в опасность. Пираты не знают, что характер девочки изменился, и это — победа. Пираты — неудачники. Все учились, но плохо. Главный из них за всю жизнь получил одну тройку и считается с тех пор среди своих мудрецом. И при этом они усаты, ходят в шароварах, охотно поднимают крик, хватаются за оружие. Ладно. Но время? Чей сын мальчик? А если он племянник богатого русского купца? Вся семья один к одному храбрецы в свою пользу. А этого испортили. За всех заступается. Недавно отбил у разбойников старика. Ведь надо уметь считать! Много ли старику жить осталось, чтоб ради него жизнью рисковать. И отправляют мальчика в дальний путь: "Надо уметь считать. Жалко парня, но оставь его — от него одни убытки пойдут", — и так далее. Пираты говорят традиционным пиратским языком. Девочка сама не помнит, откуда она, — тут на корабле и выросла. Поэтому тон у нее мягкий и нежный, а язык чисто разбойничий.

1957 *14 июля*

Все это было бы ничего — да слишком уж напряженно. Хочется пружинку попроще и обстановку тоже. Хорошо, если бы не выходила вся история за пределы дома, самого обыкновенного современного дома. Он построен не на пустом месте. Есть время, когда старые жильцы просыпаются и через очертания нового здания проступают прежние, до маленькой избенки, стоявшей на этом месте триста лет назад в глухом лесу. Они твердо помнят одно, одно соединяет их: хуже всего смотреть безучастно на чужие несчастья. От этого и сам становишься потом несчастным. Нет. Поучительно. Лучше так: люди разных поколений вместе участвуют в разных приключениях. Надо проще. Вчера в "Правде" заметка, что "Дон Кихота" показывают на фестивале в Локарно.

1957 15 *августа*

Попытка сделать бессюжетную историю о страстях уж слишком разваливается. Как это ни странно, пьесу я могу начать, только когда мне ясна форма. А в прозе определенная форма раздражает меня, как ложь. Приехал Акимов из Карловых Вар. Привез лекарства. Много рассказывает. Но форму новой пьесы так же мало чувствует, как я. Ничего не подсказывает, а раньше любил это делать. Видимо, переживает такую же неясность в мыслях, как я. А я, если не буду считать себя здоровым, видимо, ничего толком не придумаю.



Подходит к концу тетрадь, которую вел я в необыкновенно унылое время. Свободной формы для прозы так и не нашел; нет формы — значит, лепишь фразы на плохо знакомом языке. Для разговору не годится, не только что для работы.

Откуда брать материал для новой пьесы? Все, что я читаю, раздражает поспешностью, с которой начинают меня учить. И акта не прошло, как начинаются хитрости, которым грош цена. И хоть бы учили великим прописным истинам. Нет. Пристли рассказывает, как люди начинают безумствовать из-за денег, найдя клад; Сориа — об ученом, работающем в области водородной бомбы, едва не погубившем жену; Кронин — об ужасе карьеризма в науке. Всему этому грош цена, до того это вяло промурлыкано. Сказка как таковая — не умещается на сцене. Необходимо время и место. Иначе не поймешь, как актеров одевать. И сказочный тон, приглаживающий и упрощающий, не к лицу в шестьдесят лет. Но и реализм, приглаженный и упрощенный, — хуже всякой сказки. Есть мне что сказать? Конечно! Но пока нет формы, то, что я знаю, валяется, как составные части еще неизвестной конструкции. Вот уж, воистину, материал. И только.

У меня есть отношение к материалу — но вялое, не дающее тока.

1957 20 *августа*

Тридцать лет назад мне жилось легко, несмотря ни на что, потому что чувство "пока" еще не оставило меня. Собственно говоря, ждать, казалось бы, нечего. Друзья и сверстники писали книги, да и я, в сущности, писал. Но я писал книги маленькие, в стихах, для дошкольников, и мне чудилось, что я за них не

отвечаю. Те же книги, что писали мои сверстники со всей ответственностью, прозаические, толстые, — так глубоко не нравились мне, что я не беспокоился. Видишь, как изменился с тех лет, когда прочтешь "Зависть" Олеши. Книга нравилась всем, даже самым свирепым из нас. Тогда. Но, прочтя ее в прошлом году, я будто забыл язык. Я с трудом понимал ее высокопарную часть. Только там, где рассказывает Олеша о соли, соскальзывающей с ножа, не оставляя следа, или описывает отрезанный от целой части кусок колбасы, с веревочкой на ее слепом конце, вспоминаешь часть тогдашних ощущений. Мы, видимо, были другими, кое-что я могу назвать из своих получувств-полумыслей точнее, чем в те дни, а кое-что ушло, и не поймаешь. Дело не в том, что я стал старше, а в том, что двадцатые и тридцатые годы — это целые эпохи, с новыми людьми, новыми книгами, и переходы совершались резче, чем это можно предположить. Административно и вместе с тем органично. Я прочел в "Вечерней красной" о том, что найден будто бы способ делать искусственные старинные, столетние вина. И одно время (как раз тридцать лет назад) думал написать рассказ сверчка, на глазах у которого совершается этот процесс, это чудо, меняется мир. Но не нашел формы — и тем самым мыслей, достаточно воплотившихся.

1957
29
августа

С 21-го я заболел настолько, что пришлось прекратить писать — а ведь я даже за время инфаркта, в самые трудные дни продолжал работать. На этот раз я не смог. Вчера мы вернулись в город. Поехали в Комарово 24 июля, вернулись 29 августа, и половину этого времени, да что там половину — две трети болел да болел. И если бы на старый лад, а то болел с бредом, с криками (во сне) и с полным безразличием ко всему, главным образом, к себе — наяву ко мне никого не пускали, кроме врачей, а мне было все равно. Здесь я себя чувствую как будто лучше, но [безразличие] сменилось отвращением и раздражением. Приехал Глеб, который не раздражает, а скорее радует, но он — по ту сторону болезни, как и все. Сегодня брился и заметил с ужасом, как я постарел за эти дни в Комарове. С ужасом думаю, что придет неимоверной длины день.

Катя возится со мной, как может, но даже она — по ту сторону болезни, а я один, уйти от нормальных людей — значит непременно оказаться

в одиночестве. Все перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал. Видимо, театральная привычка производить впечатление испортила. Да и не привык работать я последовательно и внимательно. Сразу же хочется начать оправдываться, на что я не имею права, так как идет не обвинение, а подсчет. Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и я давал. Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем я не мог успокоиться и порадоваться. Бывали у меня годы (этот принадлежит к ним), когда несчастья преследовали меня. Бывали легкие — и только. Настоящее счастье, со всем его безумием и горечью, давалось редко. Один раз, если говорить строго. Я говорю о 29-м годе. Но и оно вдруг через столько лет кажется мне иной раз затуманенным: к прошлому возврата нет, будущего не будет, и я словно потерял все.

1957
30
августа

Догонять пропущенное уже сил нет (или еще сил нет), так что за мной долгу дней десять. Это бывало за семь лет, что ведутся книжки, особенно вначале, в 50-м году, когда я не был так педантичен. Сейчас случилось поневоле. Я болел, неинтересно болел, как, бывает, неинтересно пьешь: никак не напьешься, только в голове пусто. Продолжаю подсчет. Дал ли я кому-нибудь счастье? Не поймешь. Я отдавал себя. Как будто ничего не требуя, целиком, но этим самым связывал и требовал. Правилами игры, о которых я не говорил, но которые сами собой подразумеваются в человеческом обществе, воспитанном на порядках, которые я последнее время особенно ненавижу. Я думал, что главные несчастья приносят в мир люди сильные, но, увы, и от правил и законов, установленных слабыми, жизнь тускнеет. И пользуются этими законами как раз люди сильные для того, чтобы загнать слабых окончательно в угол. Дал ли я кому-нибудь счастье? Пойди разберись за той границей человеческой жизни, где слов нет, одни волны ходят. И тут я мешал, вероятно, а не только давал, иначе не нападало бы на меня в последнее время желание умереть, вызванное отвращением к себе, что тут скажешь, перейдя границу, за которой нет слов. Катюша была всю жизнь очень, очень привязана ко мне. Но любила ли, кроме

того единственного и рокового лета 29-го года, — кто знает. Пытаясь вглядываться в волны той части нашего существования, где слов нет, вижу, что иногда любила, а иногда нет, — значит, бывала несчастна. Уйти от меня, когда привязана она ко мне, как к собственному ребенку, легко сказать! Жизни переплелись так, что не расплетешь, в одну. Но дал ли я ей счастье? Я человек непростой. Она — простой, страстный, цельный, не умеющий разговаривать. Я научил ее за эти годы своему языку — но он для нее остался мертвым, и говорит она по необходимости, для меня, а не для себя. Определить, талантлив человек или нет, невозможно,— за это, может быть, мне кое-что и простилось бы. Или учлось бы. И вот я считаю и пересчитываю — и не знаю, какой итог.

1957 20 октября

Обычно в день рождения я подводил итоги: что сделано было за год. И в первый раз я вынужден признать: да ничего! Написан до половины сценарий для Кошеверовой. Акимов стал репетировать позавчера, вместе с Чежеговым, мою пьесу "Вдвоем", сделанную год назад. И больше ничего. Полная тишина. Пока я болел, мне хотелось умереть. Сейчас не хочется, но равнодушие, приглушенность остались. Словно в пыли я или в тумане. Вот и все.

1957 10 ноября

Прошли праздники. Я их не заметил, как и подобает лежачему больному. Я в сущности лежу уже десятый месяц. И не узнаю себя. Я долго чувствую. Всю ночь могу думать об одном и том же. Как бы это ни было мучительно. Я думаю, что если поправлюсь надежно (это мне трудно себе представить), то начну писать по-новому.

1957 11 ноября

Надоело мне уходить в болезнь все глубже и глубже и без особого к тому основания. Если я не встряхнусь и не поднимусь — не выбраться мне из болезни. Говорил сегодня с Козинцевым. Он рассказал, что видел сегодня на улице старика сердитого, и смотрящего до того по-крестьянски, что Козинцев решил, что он со студии, приготовлен к съемке, но [оказавшись] поближе убедился, что старик — настоящий старик, с бородой [...], и вьющейся от природы, с вьющимися седыми волосами. Седые кудри лежали правильно — но сами собой, без

помощи студийных парикмахеров. Старик был пьян — но благостно, никого не обижал. Он заговаривал с детьми так ласково, что матери останавливались: "Послушай, дедушка тебе что-то хочет сказать". А дедушка умолял всех встречных детей об одном: *"Милый ты мой, хороший. Вот такой хороший мальчик, — я тебе голубя подарю — живого. И живого теленочка. А ты меня за это зарой. Только хорошенько зарой, милый ты мой, хороший мальчик"*. Вот уже и без четверти семь. Ночь проспал как будто. За окном очень тихо.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ



СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Жил-был мальчик, по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

— Успею! — говорил он в конце первой четверти.— Во второй вас всех догоню.

А приходила вторая — он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Все "успею" да "успею".

И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлепнул портфелем по загородке и крикнул:

— Тетя Наташа! Возьмите мое пальтишко!

А тетя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

— Кто меня зовет?

— Это я. Петя Зубов, — отвечает мальчик.

— А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? — спрашивает тетя Наташа.

— А я и сам удивляюсь, — отвечает Петя. — Вдруг охрип ни с того ни с сего.

Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет:

— Ой!

Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

— Тетя Наташа, что с вами?

— Как что? — отвечает тетя Наташа. — Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

— Какой же я дедушка? — спрашивает мальчик. — Я — Петя, ученик третьего класса.

— Да вы посмотрите в зеркало! — говорит тетя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.

Крикнул он басом:

— Мама! — и выбежал прочь из школы. Бежит он и думает:

"Ну, уж если и мама меня не узнает, тогда все пропало". Прибежал Петя домой и позвонил три раза. Мама открыла ему дверь.

Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

— Вам кого, дедушка? — спросила мама наконец.

— Ты меня не узнаешь? — - прошептал Петя.

— Простите — нет, — ответила мама.

Отвернулся бедный Петя и пошел куда глаза глядят.

Идет он и думает:

— Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей... И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики — те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут — ведь я всего только три года работал. Да и как работал — на двойки да на тройки. Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик.

Чем же все это кончится?

Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело.

"Хорошо бы отдохнуть", — подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за елками, белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик — хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола — четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул.

Просыпается Петя — в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята — два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут.

— Два года, да еще пять, да еще семь, да еще три... Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они, и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники, и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и еще одного мальчика, и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами этого не заметили — ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята — старыми стариками.

Как быть?

Что делать ?

Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, — не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него.

Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

— Господа волшебники! Знайте — ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть.

— Как? — воскликнули волшебники.

— Сейчас скажу, — ответил Сергей Владимирович.

Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

Петя Зубов замер, как мышка.

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

— К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:

— Откуда им все это узнать?

— Откуда им все это узнать?

А Пантелей Захарович проворчал:

— Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

А Марфа Васильевна пробормотала:

— Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собьются.

— Так-то оно так, — ответил Сергей Владимирович. — А все-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки — нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять — идем на работу.

И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя Зубов — идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, бабушка, — вы не школьница?

— Что, что? — спросила старушка сурово.

— Вы не третьеклассница? — прошептал Петя робко.

А старушка как застучит ногами да как замахнется на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унес. Отдышался от немного — дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики — скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно — настоящие, не третьеклассники.

Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот старик с ведром и

кистью — это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик — начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, — нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.

И вдруг вскочил.

Увидел он — сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.

Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

— Подожду! — сказал он сам себе. — Посмотрю, что она дальше делать будет.

А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету, — Петя ахнул от радости: "Пионерская правда"! — и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.

Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трёшки.

Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

— Бабушка! Честное слово, вы школьница!

Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:

— Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы кто такой?

Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.

— Бабушка! Вы школьница?

— Школьница, — отвечает старушка. — Ученица третьего класса,

Наденька Соколова. А вы кто такие?

Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики — и во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детское кино, и в Дом Занимательной Науки — пропал мальчик, да и только.

А время идет. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день. Что делать? Неужели все пропало?

Вдруг Маруся закричала:

— Смотрите! Смотрите!

Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на “колбасе” висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажегся на перекрестке красный огонь, остановился трамвай.

Схватили ребята “колбасника” за полы, оторвали от “колбасы”.

— Ты школьник? — спрашивают.

— А как же? — отвечает он. — Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего?

Рассказали ему ребята, кто они такие.

Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.

— Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

— Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.

Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу, соскочили наши старики — и в чащу бегом.

Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.

Наступила ночь, темная-темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

— Ах время, время! — говорит Петя. — Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику — боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.

Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч, и засияла на небе полная луна.

Влез Петя Зубов на березу и увидел — вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых елок.

Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

— Тише! Ни слова! За мной!

Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно.

Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

— Они спят! — сказала Маруся.

— Тише! — прошептал Петя.

Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и — раз, два, три — закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щеки.

— Поднимите меня, — закричал Петя. — Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их и не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.

1948

ДВА КЛЕНА

Сказка в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Василиса-работница.

Федор, Егорушка, Иванушка — ее сыновья.

Баба-яга.

Медведь.

Котофей Иванович.

Шарик.

Мыши.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Два молодых клена стоят рядышком на лесной поляне. Тихий ясный день. Но вот проносится ветерок, и правый клен вздрагивает, словно проснувшись. Макушка его клонится к левому деревцу. Раздается шорох, шепот, и клен говорит по-человечески.

Первый клен. Братец, братец Федя! Ветерок подул. Проснись!

Второй клен. Тише, тише, Егорушка, я маму во сне вижу.

Егорушка. Спроси, ищет нас мама?

Федор. Говорит, ищет.

Егорушка. Спроси, простила нас мама за то, что мы из дому убежали?

Федор. Говорит, простила.

Егорушка. Спроси, знает ли она, что Баба-яга превратила нас в клены?

Федор. Говорит: ну что ж, мало ли что в дороге случается.

Егорушка. Спроси, долго ли нам тут еще томиться?

Федор. Мама, мама! Долго нам тут еще томиться? Мама! Пропала! Я проснулся. Здравствуй, братец.

Егорушка. Здравствуй. Не плачь, ты не маленький.

Федор. Я не плачу. Это роса.

Егорушка. В такой ясный день разве можно плакать? Каждая травка радуется, каждая ветка, и ты радуйся.

Федор. Я радуюсь. Я верю: вот-вот придет наша мама, и мы услышим ее зов: Фед-о-о-ор! Его-о-о-рушка!

Голос. Фед-о-о-ор! Его-о-о-орушка!

Егорушка. Эхо?

Федор. Что ты, что ты! Забыл, как хитра Баба-яга? Никто нас с тобой не слышит: ни люди, ни птицы, ни звери, ни вода, ни ветер, ни трава, ни деревья, ни само эхо.

Голос. Егорушка-а-а-а! Феденька-а-а!

Федор. Молчи, не отвечай, это Баба-яга нас дразнит, хочет до слез довести. Она под любой голос подделывается.

Голос *(совсем близко)*. Егорушка, сынок! Феденька, родной! Это мама вас по всему свету ищет, а найти не может.

Федор. Она! Баба-яга как ни ловка, а не может звать нас так ласково. Мама, мама! Вот мы тут стоим, ветками машем!

Егорушка. Листьями шелестим.

Федор. Мама! Мама!

Егорушка. Уходит!

Федор. Нет, стоит, оглядывается. Не может она уйти.

Егорушка. Повернула! К нам, к нам спешит!

На поляну выходит высокая крепкая женщина лет сорока, за плечами мешок, на поясе — меч. Это Василиса-работница.

Федор. Мама, мама! Да какая же ты печальная!

Егорушка. А волосы-то серебряные.

Федор. А глаза-то добрые.

Егорушка. А у пояса отцовский меч.

Василиса. Дети мои, дети, бедные мои мальчики. Два года я шла без отдыха, а сейчас так и тянет отдохнуть, будто я вас уже и нашла.

Федор. Мы тут, мама!

Егорушка. Мама, не уходи!

Василиса. Клены шумят так ласково, так утешительно, что я и в самом деле отдохну. *(Снимает мешок, садится на камень.)* Кто это там по лесу бродит среди лета в шубе? Эй, живая душа, отзовись!

Федор. Мама, не надо!

Егорушка. Это Бабы-яги цепной медведь.

Василиса. Ау, живая душа! Поди-ка сюда.

Медведь с ревом выбегает на поляну.

Медведь. Кто меня, зверя лютого, зовет? Ох, натворю сейчас бед, небу жарко станет. *(Видит Василису, останавливается как вкопанный.)* Ох, беда какая! Зачем ты, сирота, пришла? Я только тем и утешаюсь, что никто сюда не забредает, никого грызть, кусать не приходится. Мне это не по душе, я, сирота, добрый.

Василиса. Ну а добрый, так и не трогай меня.

М е д в е д ь. Никак нельзя. Я с тем к Бабе-яге нанялся.

В а с и л и с а. Как же тебя, беднягу, угораздило?

М е д в е д ь. По простоте. Собака и кот жили-жили у хозяина, да и состарились. Дело житейское, со всяким может случиться. А хозяин их возьми да и рассчитай. Гляжу — бродят, есть просят. Что тут делать? Кормил, кормил, да разве на троих напасешься? Взял у Бабы-яги пуд пшена в долг. А она меня за это в кабалу на год. В цепные медведи.

В а с и л и с а. А где же цепь-то?

М е д в е д ь. Срываюсь все. Уж больно я силен.

В а с и л и с а. И долго тебе еще служить?

М е д в е д ь. Третий год на исходе, а она все не отпускает. Как придет время расчет брать, она меня запутает, со счету собьет — и служи опять. Прямо беда!

В а с и л и с а. Бедный Михайло Потапыч!

М е д в е д ь. Не жалей ты меня, а жалей себя, сироту. *(Ревет.)* Пропадешь ни за грош! Я-то не трону, Баба-яга погубит.

В а с и л и с а. Не плачь, Мишенька. Я тебя медом угощу.

М е д в е д ь. Не надо. Разве меня утешишь, когда я так загоревал. А какой мед у тебя?

В а с и л и с а *(достает из мешка горшок)*. Гляди!

М е д в е д ь. Липовый. Ну давай, может, мне и в самом деле полегчает. Да ты его весь давай, все равно тебе, сироте, пропадать.

В а с и л и с а. Нельзя, Мишенька. Сыновьям несу гостинец.

М е д в е д ь. А где ж они у тебя?

В а с и л и с а. Пропали, Михайло Потапыч.

М е д в е д ь. Ох, горе какое! Да как же это? Да почему же это? Да когда же это?

В а с и л и с а. Ты кушай да слушай, а я расскажу тебе все по порядку. Муж мой был воин, Данила-богатырь. Ты о Змее Горыныче слыхал?

М е д в е д ь. Как не слыхать! Он деда моего, мимолетом, для смеха, взял да и опалил огнем.

В а с и л и с а. А мой Данила-богатырь Змея Горыныча убил, да и сам в том бою голову сложил. Стали мы жить вчетвером: я да три сына — Федор, Егорушка, Иванушка. Исполнилось Федору тринадцать лет, и пошел он стадо встречать. А козел у нас был строгий, что твой дикий.

Встал он на дыбки — и на Федю. А Федя его за рога — да и оземь. Возвращается сын домой: так и так, мама, я — богатырь. Я ему: опомнись, мальчик! Какой же ты богатырь — ни силы, ни умения, ни грамотности. Злодей твои годы считать не станет, а только порадуется твоей слабости. Коня без моей помощи ты подковать не сумеешь. Выедешь на распутье, а там камень, а на камне надпись — что ждет путника на тех путях. Богатырь должен на всем скаку, не слезая с коня, прочесть надпись и выбрать правильный путь. И здесь ты, сынок, ошибешься. Погоди! Придет твое время — сама тебя отпущу. Молчит. И ночью сбежал.

М е д в е д ь. Ох! Куда?

В а с и л и с а. Со злодеями сражаться, за обиженных заступаться.

М е д в е д ь. Это славно.

В а с и л и с а. Чего уж лучше. Да только наутро принесли прохожие его меч. Перевязь перетерлась, а богатырь и не заметил. А через три дня и конь богатырский прискакал. Обидел его хозяин. Не чистил, не купал, овса не засыпал.

Ф е д о р. Я, мама, только об одном думал: как бы с кем подраться.

В а с и л и с а. А сын так и не вернулся домой.

М е д в е д ь. Ох!

В а с и л и с а. Прошло три года — исполнилось Егорушке тринадцать лет. И напал на него бык. А Егорушка его за нос — да и на цепь. Приходит ко мне: так и так, мама, я — богатырь. А ночью сбежал. А через сорок дней прибежал домой его конь. Стремена звенят, а в седле никого. Глянул на меня конь, заплакал и грянулся на землю. И дух из него вон.

Е г о р у ш к а. Он видел, что со мной сталось.

В а с и л и с а. Как тут быть? Оставила я хозяйство на Иванушку, хоть ему только десять лет, и отправилась на поиски.

М е д в е д ь. И давно ты медвежат своих ищешь?

В а с и л и с а. Третий год на исходе.

М е д в е д ь. Ох, горе, горе! Встретишь и не узнаешь.

В а с и л и с а. Узнаю. Кто из дому без толку сбежал — не растет и не умнеет. Им все по тринадцати лет.

Ф е д о р. Это верно, мама.

Е г о р у ш к а. Мы с Федором теперь ровесники.

В а с и л и с а. И привели меня поиски в этот темный лес. Не слыхал ли ты, Мишенька, где мои детки?

М е д в е д ь. Молчи, не расспрашивай, а то, как тот конь, я грянусь оземь и помру с горя. Мне тебя жалко, а помочь не могу.

Ф е д о р. Это верно.

Е г о р у ш к а. Он и не видал, как мы превратились в клены.

В а с и л и с а. Что ж, придется Бабу-ягу расспросить. Веди меня к ней!

М е д в е д ь. Ее дома нет. Раньше вечера не вернется.

В а с и л и с а. А где ее дом ?

М е д в е д ь. А ее дом — избушка на курьих ножках, сегодня здесь, а когда и там. Известно, куры. Им бы только бродить да в земле копаться.

В а с и л и с а. Пойдем поищем избушку. Не там ли мои мальчики спрятаны?

М е д в е д ь. А зачем искать? Сама придет. Цып, цып, цып!

Шум, треск, кудахтанье. Из чащи выходит и з б у ш к а.
На каждом ее углу по две курьих ножки. Василиса подходит к избе.

В а с и л и с а. Смело живете, не опасаетесь. На двери замка нет?

М е д в е д ь. Нет. Баба-яга на курьи ножки надеется. Они чужого забрыкают.

В а с и л и с а. Строгие?

Подходит к избе. Курьи ножки брыкаются.

А что, если к ним с лаской подойти?

М е д в е д ь. Попробуй. Они этого отроду не видывали.

В а с и л и с а. Куры мои, курочки, двору вы украшение, а хозяевам утешение. Слушайте, какую песенку я про вас сложила. *(Поет.)*

Ой вы, курочки мои,
Куры рябенькие! Кто ни глянет —
Смирно станет,
Залюбуется.

Не орлицы ли,
Не жар-птицы ли,
Не царицы ли заморские
В курятнике живут?

Очи кругленькие,
Крылья крепенькие,
Когда по двору идут,
Словно по морю плывут.

Расступайся, народ:
Куры вышли из ворот,
Наши куры государыни,
Хохлатушки!

Под песню эту курьи ножки сначала переминаются, а потом пускаются в пляс. Кончив петь, Василиса подходит к избушке. Ножки стоят смирно.

Вот так-то лучше!

Распахивается дверь. За дверью в кресле сидит Баба-яга.

Медведь. Баба-яга! Откуда ты взялась, злодейка?

Баба-яга. Молчать, а то проглочу! Цепному псу полагается радоваться, увидевши хозяйку, а ты ругаешься. *(Прыгает на землю. Избе.)* Ступай прочь!

Изба уходит.

Здравствуй, Василиса-работница. Давно тебя жду.

Василиса. Ждешь?

Баба-яга. Давно жду. Я очень ловко приспособилась ловить вас, людишек. Я, Баба-яга, умница, ласточка, касаточка, старушка-вострушка!

Василиса. А ты себя, видно, любишь?

Баба-яга. Мало сказать — люблю, я в себе, голубке, души не чаю. Тем и сильна. Вы, людишки, любите друг дружку, а я, ненаглядная, только себя самое. У вас тысячи забот — о друзьях да близких, а я только о себе, лапушке, и беспокоюсь. Вот и беру верх. *(Смотрится в зеркало.)* Золото мое! Чего тебе, старушке-попрыгушке, хочется? Чайку или водицы? Пожалуй, что водицы. Из колодца или из болотца? Пожалуй, из болотца, она тиной пахнет. Василиса, беги на болотце, принеси воды ведерко.

Василиса. Я тебе не слуга.

Баба-яга. Послужишь мне, послужишь! Я очень хорошо умею

ловить вас, людишек. Поймаешь одного человечка на крючок — сейчас же и другие следом потянутся. На выручку. Брат за братом, мать за сыном, друг за другом. Ты, говорят, на все руки мастерица?

Василиса. Пока трех сыновей вырастила — всему научилась.

Баба-яга. Такую работницу мне и надо. Хочешь ребят своих спасти и домой увести — поступай ко мне на службу. Служи мне, пока я тебя не похвалю. А похвалю — забирай ты своих детенышей, да и ступай на все четыре стороны.

Медведь. Не нанимайся! От нее доброго слова не дождешься. Она только себя и хвалит.

Баба-яга. Молчи, ты не понимаешь меня!

Медведь. Очень хорошо понимаю.

Баба-яга. Нет! Меня тот понимает, кто мною восхищается. Отвечай, Василиса, — согласна? Делай, что приказано, старайся, и если я хоть единый разик работу твою похвалю, ха-ха, то вольная воля твоим сыновьям. Вот я что придумала, мушка-веселушка.

Василиса. Работа меня от всех бед спасала. Возьмусь! Авось и похвалишь, не удержишься. Но только покажи мне сыновей. Тут ли они. Не обманываешь ли.

Баба-яга. Показать не покажу. Уж очень они у меня надежно заперты. А услышать ты их услышишь. По моему велению, по моему хотению, поговорите сыновья с матерью. *(Дует изо всех сил.)*

Клены шелестят.

Федор. Мама, мама, не оставляй нас!

Егорушка. Мама, хоть мы и большие, а плохо нам, как маленьким.

Василиса. Федор, Егорушка! Где вы?

Баба-яга. Молчать, не отвечать! Поговорили — и довольно.

Перестает дуть. Клены умолкают.

Василиса, остаешься?

Василиса. Остаюсь!

Баба-яга. Этого-то мне и надо. Прощай, служанка! Некогда мне дома сидеть, с бабами разговаривать. Меня в тысячи мест ждут. Того ограбь, того побей, того накажи ни за что ни про что! Всем я, злодеечка, нужна! Прощай!

В а с и л и с а. Прощай, Баба-яга!

Баба-яга исчезает с шумом и свистом
и тотчас же появляется как из-под земли.

Б а б а - я г а. Ты тут дом прибери без меня так, чтобы любо-дорого было смотреть.

В а с и л и с а. Будь покойна. приберу.

Б а б а - я г а. Прощай, Василиса! *(С шумом и свистом исчезает и тотчас же появляется.)* Мало я тебе дала работы. Избалуешься. Я тут за триста лет зарыла в трехстах местах, да и забыла, триста кладов. Ты их все найди, сочти, да гляди у меня, чтобы и грошик не пропал. Прощай!

В а с и л и с а. Прощай, Баба-яга!

Баба-яга исчезает и тотчас же возвращается.

Б а б а - я г а. Мало я тебе работы дала. Разленишься. Хранились у меня в амбаре триста пудов ржи да триста пшеницы. Мыши прогрызли мешки, рожь и пшеница перемешались. Ты их разбери да на муку перемели. Чтобы к моему возвращению была я, мушка, и золотом и хлебом богата. Тогда я тебя и похвалю. Прощай.

В а с и л и с а. Прощай, Баба-яга! Когда ждать тебя домой?

Б а б а - я г а. А завтра к вечеру. Ха-ха-ха!

М е д в е д ь. Да разве она успеет все дела переделать? Совести у тебя нет!

Б а б а - я г а. Правильно, Миша, и нет и не было. Ха-ха-ха! *(С шумом, свистом, пламенем и дымом исчезает.)*

М е д в е д ь. Полетела... Вон верхушки деревьев гнутся. Что ж делать-то будем? Плакать?

В а с и л и с а. Кот и собака, которых ты приютил, помогут. Идем к ним.

М е д в е д ь. Зачем идти, они сами придут. *(Зовет.)* Шарик, Шарик! Ко мне бегом! Дело есть! Шарик! И вы, Котофей Иванович, пожалуйте сюда. С котом вежливо приходится разговаривать, а то заупрямится. Что такое кис-кис-кис — даже и не понимает.

В а с и л и с а. Какой строгий!

М е д в е д ь. Шарик! Где ты? Котофей Иванович! Пожалуйте сюда.

Вбегает Ш а р и к, пожилой, но крупный и сильный пес,

взъерошенный, в репьях. Носится по поляне кругами.

Шарик. Кто за кустом шуршит? Не смей на нашей земле шуршать! Эй, ты, синица! Не смей на Михайла Потапыча глядеть! Он мой хозяин. А это кто за пнем? Не сметь по нашей поляне ползать!

Медведь. Поди сюда, Шарик, дело есть.

Шарик. Нельзя, Михайло Потапыч. Должен я хоть немножко посторожить, таков обычай. Гау, гау, гау! Ну, вот и все. Здравствуй, хозяин! Как ты хорош, не наглядеться! Как ты пригож, не налюбоваться! Р-р-р-р! А это кто? Р-р-р!

Медведь. Хорошая женщина, Василиса-работница.

Шарик. Р-р-р-р! Прости, хорошая женщина, что рычу, а иначе нельзя, обычай таков. Р-р-р-р! Ну, вот и все. Здравствуй, Василиса-работница.

Василиса. Здравствуй, Шарик.

Медведь. Что Василиса-работница прикажет, то и делай.

Шарик. Слушаю, Михайло Потапыч.

Василиса. Зарыла Баба-яга в трехстах местах триста кладов. Если я их найду, Баба-яга вернет мне моих сыновей. Помоги нам, у тебя чутье посильней нашего.

Шарик. Это славно! Охота не охота, а похоже. Носом в землю и по лесу. Гау, гау!

Василиса. Погоди, погоди, на поиски мы ночью пойдем, а пока ты броди да сторожи. Как бы не вернулась Баба-яга, не помешала работать.

Шарик. И это славно.

Василиса. А где же Котофей Иванович?

Голос. А я уже давно тут за дубом стою.

Василиса. Что же ты к нам не идешь?

Голос. Разумный кот, перед тем как войти, три раза оглянется.

Из-за дерева появляется не спеша большой пушистый кот.

Василиса. Хорош. Да ты, никак, сибирский?

Котофей Иванович. Это как сказать...

Василиса. Кот Баюн, великан и сказочник, тебе не родственник?

Котофей. А что?

Василиса. Да ничего, просто так.

К о т о ф е й. Прадедушка.

В а с и л и с а. Значит, ты мастер и мышей ловить, и сказки говорить?

К о т о ф е й. А что?

В а с и л и с а. Да ничего, так просто.

К о т о ф е й. Мастер.

В а с и л и с а. А не можешь ли ты со всего леса мышей в амбар согнать?

К о т о ф е й. Не могу!

М е д в е д ь. Котофей Иванович! Хорошо ли человеку отказывать?

К о т о ф е й. Разумный кот только с третьего раза слушается, таков наш обычай. Не загоню я мышей в амбар, не загоню, а впрочем, будь по-твоему.

В а с и л и с а. А как сгонишь ты мышей в амбар, прикажи им рожь от пшеницы отобрать. Ладно?

К о т о ф е й. Нет, не ладно, не ладно. Ну, так уж и быть, ладно.

В а с и л и с а. А пока они разбирают, рассказывай им сказки, да посмешней, чтобы они всё хохотали, а зерно не грызли.

К о т о ф е й. Мышам сказки рассказывать? Ну, это уж нет! Это уж ни за что! А впрочем, ладно, так уж и быть.

В а с и л и с а. Мы этим ночью займемся, а пока слушай, не шныряет ли вокруг Баба-яга.

К о т о ф е й. Слушать могу. От этого мы, коты, никогда не отказываемся.

В а с и л и с а. Оставлю вас обоих тут полными хозяевами, а мы с Михайлом Потапычем поедем лес для ветряной мельницы валить. Цып, цып, цып!

Входит и з б а на курьих ножках.

Садись, Михайло Потапыч!

Усаживаются рядышком в избе.

Кыш вперед!

Изба уносится прочь галопом, увозит Василису и медведя.

Ш а р и к. Воу, воу! Возьмите и меня с собой.

К о т о ф е й. На место!

Ш а р и к. До чего ж я не люблю, когда меня хозяева не берут, просто жить не хочется!

К о т о ф е й. На место!

Шарик. Не кричи на меня! Ты не человек!

Котофей. Слышал, я за хозяина остаюсь!

Шарик. И я тоже, и я тоже!

Котофей. Хорош хозяин, чуть не убежал, бросивши дела.

Шарик. Так ведь не убежал все-таки. Остался! Ладно уж, не смотри на меня так сердито; до чего же я не люблю, когда на меня друзья сердятся! Котофей Иванович, дай лапку!

Котофей. Отойди, любезный, от тебя псиной пахнет.

Шарик. Это к дождю.

Котофей. Какой там дождь, вылизываться надо!

Шарик. Нет у нас такого обычая — вылизываться по сто раз в день. Я...

Котофей. Тише! Идет кто-то!

Шарик. С какой стороны?

Котофей. Из лесу.

Шарик *(принюхивается)*. Человек идет. Что-то уж больно он грозен!

Котофей. Кричит, ногами топает.

Шарик. Придется его укусить.

Котофей. Сначала разглядим, что это за чудище. А ну, прячься в кусты!

Скрываются. Веселый голос поет во всю силу:

Я Иван-великан!
Я Иван-великан!

На поляну выходит мальчик лет тринадцати, небольшого роста. Продолжает петь.

Мальчик.

Я Иванушка,
Великанушка!

Я путем-дорогою
Никого не трогаю,
Не буяню, не свищу,
Все я матушку ищу,

Со мной она простилася —
Домой не воротилася,
Ушла моя родимая
В леса непроходимые!

Я Иван-великан,
Я Иван-великан,
Я Иванище,
Великанище!

Е г о р у ш к а *(полушепотом)*. Иванушка, беги прочь, а то деревцом станешь!

Ф е д о р *(полушепотом)*. Не услышит! Ветер очень слаб. А и услышит, так не поймет.

И в а н у ш к а. Кто в кустах шевелится, выходи.

Ш а р и к (*из кустов*). Р-р-р!

И в а н у ш к а *(радостно)*. Собака! Вот счастье-то! Поди сюда, песик! Тебя как зовут?

Ш а р и к. Р-р-р! Шарик!

И в а н у ш к а. Да ты покажись, не бойся! Я так рад, что ты и не поверишь. Целый месяц по такой глуши иду, что никого, кроме волков, и не встречал. А с волками не разговоришься. Как увидят, так в сторону.

К о т о ф е й. Зимой они с тобой поговорили бы.

И в а н у ш к а. Еще и зимы ждать! Котик! Покажись! Я вижу, как у тебя в кустах глаза горят. Вот радость-то! Шарик, Шарик! Сюда!

Ш а р и к *(выходит из кустов)*. Ах, Иванушка, Иванушка, зачем ты увязался без спросу за своей матушкой! Выдерут тебя!

И в а н у ш к а. Что ты, что ты! Богатырей не дерут, а я теперь богатырь.

К о т о ф е й. Это кто же тебе сказал?

И в а н у ш к а. Я сам догадался!

К о т о ф е й. Богатыри словно бы ростом покрупнее.

И в а н у ш к а. Не в росте сила, а в храбрости. Жил я, жил, и вдруг вижу: того я не боюсь, сего не боюсь — значит, стал богатырем.

К о т о ф е й выходит из кустов.

Ох ты, какой красавец!

Шарик. А я? А я?

Иванушка *(коту)*. Дай-ка я тебя поглажу.

Шарик. А меня, а меня?

Иванушка. И тебя тоже. Котик-красавец! Шарик-умница! Не встречалась ли вам моя мама? Зовут ее Василиса-работница. Что же ты, котик, перестал мурлыкать?

Котофей. Меня зовут Котофей Иванович.

Иванушка. Что ты, Котофей Иванович, так на меня смотришь?

Котофей. Не знаю, сказать или не говорить?

Иванушка. Скажите, миленькие, родные! Вы не поверите, как я без нее соскучился!

Шарик. Придется сказать.

Котофей. Здесь твоя мама, Иванушка.

Иванушка. Ой! *(Прячется в кусты.)*

Котофей. Вот так богатырь! От мамы родной прячется!

Шарик. А говорил — соскучился...

Иванушка *(выглядывая из кустов)*. Конечно, соскучился! Но ведь она приказала мне дома сидеть. А я не послушался. Увидит она меня — и огорчится. Нет, нет, я ей не покажусь!

Котофей. А зачем же прибежал?

Иванушка. Чтобы хоть из-за угла на нее взглянуть, голос ее услышать. Буду я, друзья, держаться возле, да потихоньку, потихоньку совершу подвиг, помогу маме своей. Ну, тут она, конечно, и простит меня за все. Где же моя мама?

Шарик. Поехала с нашим ненаглядным хозяином, Михайло Потапычем, лес валить для ветряной мельницы. Чует мое сердце, вернутся скоро.

Иванушка. А зачем мельница маме?

Котофей. Баба-яга задала ей такую работку, что замяукаешь. Успеет Василиса-работница все дела в срок переделать — освободит Баба-яга твоих братьев, Федора да Егорушку.

Иванушка. И они здесь? Вот радость-то!

Котофей. Погоди радоваться. Запрятала Баба-яга братьев твоих так, что и я не слышу их, и Шарик не чует!

Иванушка. Найдем!

Шарик. Найти-то найдем, да не сразу. А пока утешил бы ты

свою маму, показался бы ей.

Котофей. А то попадешь ты тут без присмотра в беду.

Иванушка. Что ты, что ты, я богатырь!

Шарик. Так-то оно так, а все-таки...

Иванушка. Нет, нет, друзья. У мамы и своих забот вон сколько, а тут еще: здравствуйте, Иванушка пришел! Не говорите ей! Слышите? Послушайтесь меня.

Шарик. Да уж, видно, придется послушаться. Ты хоть и маленький, а все же человек.

Грохот.

Котофей. Привезли они лес. У поляны сгрузили.

Иванушка. Бегу! *(Скрывается.)*

Входят Василиса и медведь.

Медведь. Ох, братцы вы мои, это работа так работа! Это не то, что на цепи сидеть да на прохожих рычать. Славно! Весело! Подите поглядите, сколько мы лесу привезли.

Василиса. Некогда! Беги ты, Мишенька, на перекресток трех дорог к кузнецу Кузьме Кузьмичу. Слыхал о таком?

Медведь. Человек известный. Он всем богатырям коней подковывает, шлемы, панцири чинит.

Василиса. Беги к нему, попроси гвоздей пуд. Да две пилы, да четыре рубанка, да четыре молотка. Скажи, для какого дела, — он не откажет.

Медведь. Бегу! *(Исчезает.)*

Василиса. А я пока прилягу. Всю ночь работать придется без отдыха.

Котофей. Спи спокойно. А мы тебя посторожим. *(Скрывается в чаще.)*

Василиса. Клены шелестят так ласково, так успокоительно, что глаза сами собой закрываются. *(Закрывает глаза.)*

Постепенно темнеет.
Издали-издали слышно, как перекликаются сторожа.

Шарик. Гау, гау! Слу-у-у-шай!

Котофей. Мяу, мяу, погля-ядывай!

Иванушка выходит из кустов.
Поет тихо-тихо, и братья присоединяются к нему.

Иванушка.

Баю матушку мою,
Баю-баюшки-баю!
Ты, бывало,
Баю-бай,
Нам певала
Баю-бай.

Федор и Егорушка.

Мы теперь тебе втроем
Ту же песенку поем.

Все втроем.

Баю-баюшки-баю,
Баю матушку мою!
Ты ночами
Не спала,
Вслед за нами
Шла и шла.
Все спешила ради нас,
Ножки била ради нас,
Ручки натрудила,
Сердце повредила.
Ради нас, твоих детей,
Поправляйся поскорей,
Силы набирайся,
Спи, не просыпайся,
Баю матушку мою,
Баю-баюшки-баю.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация первого действия. Поляна преобразилась до неузнаваемости.
Проложены дорожки, усыпанные песком.
Выросла ветряная мельница, весело машет крыльями.
Возле мельницы деревянный навес. Под ним мешки с мукой и зерном.
Рядом второй навес. Под ним мешки с золотом.
Котофей похаживает возле мешков с зерном.

Котофей. Разбирайте, разбирайте зерно, мышки мои славные. Всего только полмешочка и осталось.

Тоненькие голоса. Разбираем, разбираем, стараемся. Только ты, хозяин, рассказывай, а то у нас зубки чешутся, как бы мы мешки не погрызли.

Котофей. Ну, слушайте, мышки-норушки, котам самые первые подружки.

Тоненький смех.

Жили-были три мышки, одна рыженькая, другая беленькая, а третья полосатенькая.

Тоненький смех.

И до того они были дружны, что даже кот их боялся. Подстережет он беленькую, а его рыженькая за лапку, а полосатенькая за усы.

Смех.

Погонится он за полосатенькой — его беленькая за хвост, а рыженькая за ушко.

Смех.

Что тут делать? Думал кот, думал и позвал двух своих родных братьев. Позвал он их... Чего вы не смеетесь?

Тоненькие голоса. А нам не до смеху.

Котофей. Мало ли что! Смейтесь, а то худо будет.

Мыши смеются принужденно.

Позвал кот двух братьев и говорит: так и так, братцы, обижают меня мыши. Помогите. Сам я рыжий и схвачу рыженькую мышку, ты, белый, хватай беленькую, а ты, полосатый, полосатенькую. Вот мы с обидчицами и разделаемся. Смейтесь!

Принужденный смех.

Подслушали котов три мышки-подружки и загрустили. Что тут делать, как тут быть? И придумали. Забрались они в печку, в золе вывалялись и стали все трое серенькими.

Мыши смеются радостно.

Выбежали они прямо на трех братьев, а те уши развесили, не знают, которую хватать.

Хохот.

С тех пор стали все мыши серенькими.

Хохот.

А коты хватают всех мышей без разбора.

Хохот обрывается.

Смейтесь!

Тоненькие голоса. А мы, хозяин, всю работу кончили, отпусти нас. В норках мышата без родителей соскучились.

Котофей. А ну, дайте взглянуть на вашу работу. Да не бойтесь, не трону, не пищите. *(Подходит к мешкам.)* И в самом деле постарались. Все славно, ступайте. Целый год за это ни одной мыши не обижу.

Тоненькие голоса. Спасибо, хозяин, спасибо, Котофей Иванович.

Котофей. Бегите!

Тоненькие голоса. Прощайте, Котофей Иванович. Прощай. Ха-ха-ха! Полосатенькая — за хвост, а рыженькая за лапку. Ха-ха-ха! Беленькая — за ушко, а полосатенькая — за нос. Ха-ха-ха!

Затихают вдали.

Котофей. Ох! Триста тридцать три сказки рассказал, умаялся.

Усаживается под деревом, вылизывается тщательно.
Выбегает медведь, он весь в муке, словно мельник.
За ним Шарик.

Медведь. Ну, как там последние мешки?

Котофей не отвечает.

Шарик. Да не спрашивай ты его. Когда он умывается, то ничего не слышит. *(Подбегает к мешкам.)* Готовы, несем. *(Помогает медведю взвалить оба мешка на спину.)*

Медведь. Солнце еще вон как высоко стоит, а мы работу кончаем. Вот радость-то!

Убегает. Шарик за ним. Не добежав, возвращается к коту.
Не дойдя до кота, бежит к мельнице. Наконец останавливается в отчаянии.

Шарик. Идем на мельницу.

Котофей. Не пойду!

Шарик. Что ты со мной делаешь, злодей! Сижу на мельнице — за тебя душа болит. Бегу сюда — за хозяина беспокоюсь. Пожалей ты мое бедное сердце! Порадуй меня, пойдем. Держитесь все вместе, рядышком, а я вас буду сторожить.

Котофей. Нельзя!

Шарик. Почему же нельзя-то?

Котофей. Я сижу, лапки лижу, а ушки-то у меня на макушке. Что-то мне все слышится.

Шарик. Гау, гау! Она?

Котофей. Она не она, а только крадется сюда кто-то.

Шарик. Гау, гау! Тревога!

Котофей. Тихо! Не мешай работе, ступай на мельницу. Надо будет — замяукаю.

Шарик. Р-р-р-р! Пусть только приползет, я ее за костяную ногу — раз! Меня костями не удивишь! *(Уходит.)*

Кот перестает вылизываться, застывает с одной поднятой лапкой.
Прислушивается. Шорох в кустах, они качаются. Кот прячется за дерево.
Спиной к зрителям, пятясь из-за кустов, появляется Иванушка.
Он тянет за собой накрытый стол.

Котофей. Да это, никак, Иванушка!

И в а н у ш к а. Ага. Это я, богатырь!

К о т о ф е й. Что ты приволок?

И в а н у ш к а. Рыбы наловил, грибов набрал, печку сложил и обед сварил.

К о т о ф е й. Вот за это я тебя хвалю.

И в а н у ш к а. Еще бы не похвалить. Всю ночь наши работали, проголодались небось, выйдут, а тут им накрытый стол.

К о т о ф е й. Как бы не догадалась матушка, что это твоя работа.

И в а н у ш к а. Никогда ей не догадаться. Когда она уходила, я и щей сварить не умел, а теперь, что ни прикажи, все приготовлю.

К о т о ф е й. А ну-ка, дай взглянуть, что у тебя настряпано.

И в а н у ш к а. Гляди.

Оборачивается к коту, и тот, взвизгнув,
прыгает от него чуть ли не на сажень. И есть отчего.
Волосы у Иванушки взъерошены, лицо вымазано сажей и глиной.
Чудище, а не мальчик.

Ты что?

К о т о ф е й. Погляди на себя.

И в а н у ш к а. Некогда.

К о т о ф е й. Ты с ног до головы перемазался! Вылижись!

И в а н у ш к а. Вымажешься тут. Печка дымит, дрова гореть не хотят. Я их до того раздувал, что щеки чуть не лопнули.

К о т о ф е й *(у стола)*. Ты рыбу чем ловил? Лапками?

И в а н у ш к а. Что ты, что ты! На удочку. Мы, богатыри, из дому никогда не выходим с пустыми карманами. Гляди: чего-чего у меня только в карманах нет! Вот лески. Вот крючки. Вот свисток. Вот орехи. Вот кремень и огниво. Вот праща.

К о т о ф е й. Убери! Я эти пращи видеть не могу. Из них вечно в котов стреляют.

И в а н у ш к а. Кто стреляет-то? Мальчишки, а я небось богатырь.

К о т о ф е й. Ну все-таки...

И в а н у ш к а. Не бойся, я этого и в детстве никогда не делал. Ты, смотри, не проговорись маме, что это я обед приготовил.

К о т о ф е й. А что я ей скажу?

И в а н у ш к а. Придумай сказочку какую-нибудь, ты на это мастер.

К о т о ф е й. Да уж, видно, придется. А ты пойди на речку, умойся.

И в а н у ш к а. Потом, потом. Я хочу поглядеть, как мама будет обеду радоваться.

К о т о ф е й. Ну, тогда прячься! Жернова замолчали. Помол окончен! Идут они!

И в а н у ш к а. Бегу! *(Скрывается.)*

Тотчас же появляется м е д в е д ь с мешками,
сопровождаемый радостно прыгающим Ш а р и к о м.

М е д в е д ь. Готово! Ай да мы! Теперь осталось только избушку прибрать, а до вечера еще во как далеко. Вот радость-то. Ноги сами ходят, сами пляшут, не удержаться! *(Пляшет и поет.)*

Эх вы, лапки мои,
Косолапенькие,
Они носят молодца,
Что воробушка!

Отчего я не лечу?
Оттого, что не хочу!
Не скачу, а плаваю,
Выступаю павою!

Эх вы, дочки мои,
Вы цветочки мои,
Я над вами ветерочком,
Ноготочки мои!

Я взлетаю, что пушок,
Выше неба на вершок!
Ай да лапки мои,
Косолапенькие!

(Делает прыжок, едва не налетает на стол.) Батюшки мои, это что за чудеса?

Ш а р и к. Стол накрытый!

М е д в е д ь. А на столе грибки белые! И рыбка жареная! И кто это ее жарил, время терял, когда она, матушка, и сырая хороша! Хозяйка,

хозяйка, сюда, у нас тут чудеса творятся.

Появляется В а с и л и с а - р а б о т н и ц а.

Хозяюшка, взгляни. Стол накрытый, а на столе обед.

Василиса подходит к столу.

В а с и л и с а. И в самом деле — чудеса! И как раз ко времени. Котофей Иванович! Какой это добрый человек о нас позаботился? Что ты молчишь-то? Ведь ты сторожил — должен знать. Уж не проспал ли ты?

К о т о ф е й. Иди, хозяюшка, к столу и кушай смело. Видал я того, кто о нас позаботился. Он и сейчас далеко не ушел, на нашу радость любуется.

Ш а р и к. Так это Ива...

Котофей бьет Шарика незаметно лапкой,
Иванушка в кустах хватается за голову.

В а с и л и с а *(Шарику)*. Как ты говоришь? Ива?

Ш а р и к. Я...

К о т о ф е й. Он верно говорит. Приготовил нам обед добрейший волшебник Ивамур Мурмураевич.

Иванушка успокаивается.

В а с и л и с а. Никогда о таком не слыхала.

М е д в е д ь *(с набитым ртом)*. Да ты ешь, матушка, ешь. Ешь скорее, а то тебе ничего не останется. Наваливайтесь миром! И вы ешьте, дружки.

Ш а р и к. Со стола?

М е д в е д ь. Ешь, не спрашивай.

Ш а р и к. А не выдерут?

М е д в е д ь. Сегодня не выдерут ради праздника.

В а с и л и с а *(у стола)*. Что же это за волшебник такой — Ивамур Мурмураевич? Никогда о таком и не слыхивала.

К о т о ф е й. Мур, мур, хозяюшка! Есть волшебники старые, всем известные, а есть и молодые. А Ивамур Мурмураевич совсем котеночек.

В а с и л и с а. А каков же он собою?

К о т о ф е й. Страшен. Одна щека черная, другая белая, нос дымчатый. Лапки пятнистые. Ходить не может.

М е д в е д ь. Не может?

К о т о ф е й. Нет. Все бегает да прыгает. И до того силен! Забор,

скажем, сто лет стоит, а он раз-два — и расшатал.

М е д в е д ь. Когти есть?

К о т о ф е й. Есть, только он их отдельно носит. В кармане. Он этими когтями рыбку ловит.

М е д в е д ь. Летать умеет?

К о т о ф е й. При случае. Разбежится, споткнется и полетит. Весел. Смел. Только мыться боится, зато плавать любит. Совсем посинеет, а из воды его клещами не вытянешь. Но если уж кого любит, то любит. Видела бы ты, хозяюшка, как он на твою работу любовался, каждое твое словечко ловил. Уж очень он добрый волшебник.

В а с и л и с а. Для волшебника готовит-то он не больно хорошо. Которая рыба перепечена, а которая недопечена.

К о т о ф е й. Котенок еще.

В а с и л и с а *(встает из-за стола).* Ну, Ивамур Мурмураевич, коли слышишь ты меня, спасибо тебе, дружок, за угощение. И скажу тебе я вот еще что. Коли ты котенок, не уходи ты от своей мамы далеко, дружок, а если и попадешь в беду, зови ее, она прибежит. Дети мои, дети, слышите вы меня?

Ф е д о р. Слышим, матушка!

Е г о р у ш к а. Мы потому молчали, чтобы каждое дыханьице ветра тебе помогало!

Ф е д о р. Чтобы веселее он мельничные крылья вертел.

В а с и л и с а. Дети мои, дети! Как проснулась я — так сразу за работу, и поговорить с вами не пришлось. Все верчусь, все бегаю — вечная мамина судьба. Вы уж не обижайтесь. Если я поворчу на вас, уставши, не сердитесь. Я бы вас повеселила, я бы вас рассмешила и песенку спела бы, да все некогда — вечная мамина беда. А вот как заработаю я вам полную свободу да пойдем мы, взявшись за руки, домой, тут-то мы и наговоримся вволю. Я вызволю вас! Верьте! Ничего не бойтесь!

Е г о р у ш к а. Мама, мама!

Ф е д о р. Да неужели мы можем обидеться?

Е г о р у ш к а. Мы на тебя любуемся.

В а с и л и с а. У нас все готово, дети, осталось только избушку на курьих ножках прибрать. Это мы быстро. Котофей Иванович! Шарик! Бежим на речку и избушку туда погоним.

М е д в е д ь. А я?

В а с и л и с а. А ты оставайся тут сторожем. Только не спи!

М е д в е д ь. Что ты, что ты! Сейчас не зима.

В а с и л и с а. Берите, друзья, мыло, мочалки, щетки, метелки — и за мной.

Уходят. На сцене медведь.

М е д в е д ь. Как можно спать? Сурки — те, правда, мастера спать, хомяки. Совы — те тоже днем спят. А медведи *(зевает)* никогда. Правда, всю ночь я этого... как его *(зевает)* работал. А потом поел плотно, ох, плотно. Так и тянет прилечь. Песню, что ли, спеть? *(Напевает.)* Спи, мой Мишенька, косолапенький, и косматенький, и хорошенький... Не ту песню завел. Почудилось мне, что я у мамы в берлоге, а она этого... того... как его... *(Засыпает.)*

Вбегает И в а н у ш к а.

И в а н у ш к а. Ну, так я и знал! Чуяло мое сердце. Пошел было на речку помыться, возле мамы покрутиться, да вспомнил, что я со стола не убрал. Прибегаю, а тут сторож спит. Михайло Потапыч! Вставай!

Медведь не двигается.

Грабят!

Медведь храпит.

Ну что тут делать? Пощекотать его?

Щекочет. Медведь хихикает тоненьким голоском, но не просыпается.

Спит. Придется за водой сбегать да облить его... *(Бежит к лесу.)* Нет, нельзя мне уходить! Крадется кто-то!

Б а б а - я г а на цыпочках выходит из лесу.

Баба-яга! *(Прячется в кустах.)*

Б а б а - я г а. Ах я, бедное дитя, круглая сироточка, что же мне делать-то? Никак мне и в самом деле попалась служанка поворотливая, заботливая, работящая. Вот беда так беда! Кого же я, душенька, бранить буду, кого куском хлеба попрекать? Неужели мне, жабе зелененькой, придется собственную свою служанку хвалить? Да ни за что! Мне, гадючке, это вредно. Хорошо, я, лисичка, догадалась раньше срока домой приползти. Я сейчас все поверну по-своему. Медведь уснул,

теперь его и пушками не разбудишь. Украду я сама у себя мешочек золота, да и взыщу с нее потом!

Идет к мешкам. Иванушка прыгает из кустов ей наперерез. Баба-яга отшатывается в ужасе.

Это еще что за чудище? Триста лет в лесу живу, а подобных не видывала. Ты кто такой?

Иванушка. Я волшебник, котенок Ивамур Мурмураевич.

Баба-яга. Волшебник?

Иванушка. Ага!

Баба-яга делает к Иванушке шаг. Он выхватывает из кармана свисток.

Не подходи! *(Свистит оглушительно.)*

Баба-яга. Перестань! Оглушил...

Иванушка. А ты не смей близко подходить. Мы, волшебники, этого терпеть не можем.

Баба-яга. Вот навязалось чудище на мою голову. На вид мальчик, а не боится Бабы-яги. На вид слаб, а свистит, как богатырь. И страшен, хоть не гляди! Эй ты, Ивамур! А чем ты можешь доказать, что ты волшебник?

Иванушка. А ты попробуй от меня уйти, и я тебя назад заверну.

Баба-яга. Ты меня? Назад? Да никогда.

Иванушка. Иди, иди, не оглядывайся.

Баба-яга идет. Иванушка достает из кармана леску с крючком и грузилом, размахивается, швыряет Бабе-яге вслед; крючок впивается ей в хвост платья. Тянет Бабу-ягу к себе. Та мечется.

Не уйдешь! Сам и тот не ушел, где уж тебе, Бабе-яге. *(То отпуская, то притягивая, заставляет Бабу-ягу приблизиться к себе. Снимает ее с крючка, отскакивает в сторону.)* Видала?

Баба-яга. А так ты можешь? *(Щелкает пальцами, сыплются искры.)*

Иванушка. Сделай милость. *(Выхватывает из кармана кремень и огниво. Ударяет. Искры сыплются ярче, чем у Бабы-яги.)*

Баба-яга. Видишь, вон шишка на сосне?

Иванушка. Вижу.

Баба-яга. Ф-ф-ф-у! *(Дует, шишка валится на землю.)* Видал?

И в а н у ш к а. Гляди вон на ту шишку. Вон, вон на ту! Выше! Еще выше! *(Достает из кармана пращу, размахивается, швыряет камень, шишка валится.)* Видала?

Б а б а - я г а. Ох, не серди меня, я тебя пополам разгрызу.

И в а н у ш к а. Где тебе, зубы поломаешь!

Б а б а - я г а. Я? Гляди! *(Хватает с земли камень.)* Видишь — камень. *(Разгрызает его пополам.)* Видал? Камень разгрызла, а тебя и подавно.

И в а н у ш к а. А теперь смотри, что я сделаю. *(Берет с земли камень и подменяет его орехом. Разгрызает орех и съедает.)* Видала? И разгрыз и съел, а уж тебя и подавно.

Б а б а - я г а. Ну что же это такое! Никогда этого со мной не бывало. Уж сколько лет все передо мной дрожат, а этот Ивамур только посмеивается. Неужели я у себя дома больше не хозяйка? Нет, шалишь, меня не перехитришь! Ну, прощай, Ивамур Мурмураевич, твой верх. *(Исчезает.)*

И в а н у ш к а *(хохочет)*. Вот славно-то! "Умываться надо, умываться" — вот тебе и надо! Разве я напугал бы Бабу-ягу умытым? "Карманы не набивай, карманы не набивай" — вот тебе и не набивай. Разве я справился бы с ней без своих крючков да свистков?

Б а б а - я г а неслышно вырастает позади Иванушки.

Вот тебе — мальчик, мальчик. А я оказался сильнее даже, чем медведь. Он уснул, а я один на один справился с Бабой-ягой.

Б а б а - я г а. А она, птичка, тут как тут. *(Хватает Иванушку.)*

И в а н у ш к а. Мама! Мама! Мама!

Вбегает В а с и л и с а - р а б о т н и ц а.

В а с и л и с а. Я здесь, сынок! Отпусти, Баба-яга, моего мальчика.

Б а б а - я г а. Ишь чего захотела! Да когда же это я добычу из рук выпускала!

В а с и л и с а. Отпусти, говорят! *(Выхватывает меч и взмахивает над головой Бабы-яги.)* Узнаешь этот меч? Он Змею Горынычу голову отсек — и тебя, злодейку, прикончит.

Б а б а - я г а *(выпускает Иванушку, выхватывает из складок платья свой меч, кривой и черный)*. Я, умница, больше люблю в спину бить, но при случае и лицом к лицу могу сразиться!

Сражаются так, что искры летят из мечей.

Василиса-работница выбивает меч из рук Бабы-яги.

Не убивай меня, иначе не найти тебе сыновей.

В а с и л и с а. Говори, где мои мальчики!

Б а б а - я г а. Умру, а не скажу! Я до того упряма, что и себя, бедняжечку, не пожалею.

Василиса опускает меч.

Вот так-то лучше. Когда похвалю, тогда скажу. Сама посуди: можно ли хвалить служанку, которая на хозяйку руку подняла?

В а с и л и с а. Как же ты можешь меня не похвалить: я все, что велено, то и сделала.

Б а б а - я г а. Нет, нет, нет такого закона — дерзких служанок хвалить. Подумаешь, муки намолола. Это любой мельник может. Эй вы, мешки, ступайте в амбар!

Мешки с мукой убегают, как живые.

Подумаешь, клады вырыла. Да с этим делом любой землекоп справится. Эй, золото, иди к себе под землю!

Мешки с золотом проваливаются под землю.

Нет, нет, не заслужила ты похвалы. Я тебе другую работу дам. Сделаешь — похвалю.

В а с и л и с а. Говори какую!

Б а б а - я г а. Подумать надо. Готовься! Скоро приду, прикажу. *(Исчезает.)*

И в а н у ш к а. Мамочка!

В а с и л и с а. Иванушка!

Обнимаются.

К о т о ф е й И в а н о в и ч и Ш а р и к появляются из чащи.

Ш а р и к. Ну, радуйтесь, радуйтесь, а мы посторожим.

И в а н у ш к а. Мама, мамочка, я три года терпел, а потом вдруг затосковал, ну просто — богатырски. И отправился я тебя искать. Ты не сердишься?

В а с и л и с а. Котофей Иванович, Шарик, принесите ушат горячей воды и щетку, которая покрепче.

Котофей и Шарик убегают.

И в а н у ш к а. Это я, мама, только сегодня так вымазался, а то я

умывался каждый день, надо не надо. И прибирал весь дом. Подметал, как ты приказывала. Не сгребал сор под шкафы и сундуки, а все как полагается. И когда уходил — прибрал и полы вымыл.

Василиса. Скучал, говоришь?

Иванушка. Да, особенно в сумерки. И в день рождения. В день рождения встану, бывало, сам себя поздравлю, но ведь этого человеку мало, правда, мама? Ну, испеку себе пирог с малиной, а все скучно.

Василиса. Не болел?

Иванушка. Один раз болел, уж очень у меня пирог не допекся, а я весь его съел с горя. А больше не болел ни разу.

Вбегают Котофей и Шарик, приносят ушат с горячей водой и щетку.

Василиса. Поставьте здесь за кустом. Идем, сынок, я тебя умою.

Иванушка. Я сам!

Василиса. Нет уж, сынок! Идем.

Иванушка *(за кустами)*. Ой, мама, горячо. Ну, ничего, я потерплю, мы, богатыри... Ой... и не то переносим. Ай, вода в уши попала.

Василиса. Нет, нет, сынок, это тебе кажется.

Иванушка. Мамочка, шея у меня чистая.

Василиса. Нет, сынок, это тебе кажется.

Шарик. Бедный щеночек.

Котофей. Нет, счастливый. Я до сих пор помню, как меня матушка вылизывала, выкусывала.

Василиса. Ну, вот и все.

Выводит из-за кустов Иванушку, сияющего чистотой.

Вот теперь я вижу, какой ты у меня. Стой ровненько, на плече рубашка разорвалась, я зашью.

Иванушка. Это Баба-яга.

Василиса достает иголку и нитку. Зашивает.

Василиса. Не вертись, а то уколю.

Иванушка. Это я от радости верчусь, мама. Подумай: три года обо мне никто не заботился, а теперь вдруг ты зашиваешь на мне рубашку. Стежечки такие мелкие. *(Глядит на свое плечо.)*

Василиса. Не коси глазами, а то так и останутся.

Иванушка. Я не кошу, мама, я только смотрю. У меня всегда зашитое место выгибается лодочкой, а у тебя так ровненько получается! Мама, ты сердишься на меня?

Василиса. И надо бы, да уж очень я тебе рада.

Иванушка. А почему же ты такая сердитая?

Василиса. Вот всегда вы, дети, так ошибаетесь. Не сердита я. Озабочена. Братья-то твои у Бабы-яги в руках. Думала я, что похвалит она меня, не удержится, а дело-то вон как обернулось.

Иванушка. Мама!

Василиса. Все ты хочешь сам, все хочешь один, а мы победим, если будем дружно со злодеями сражаться, за обиженных заступаться. Ты мальчик храбрый, разумный, держись около, помогай мне. А как вырастешь — я тебя сама отпущу.

Медведь *(вскакивая)*. Караул, ограбили! Ни муки, ни золота. Помогите! Да как же это, да почему же это? Я ни на миг единый глаз не сомкнул, а вон что получилось.

Василиса. Не горюй, Михайло Потапыч. Никто нас не ограбил. Это Баба-яга вернулась, да и прибрала свое добро.

Медведь. Почему же я ее не видел?

Василиса. Вздремнул часок.

Медведь. Это, значит, мне приснилось, что я не сплю!

Котофей. Тише! Баба-яга сюда бежит.

Входит Баба-яга.

Баба-яга. Придумала я тебе работу.

Василиса. Говори.

Баба-яга. Найди, где твои дети спрятаны! Найдешь — похвалю, не найдешь — пеняй на себя. Может быть, я тебя и накажу. Очень от тебя беспокойства много. Я, богачка, с тобой, служанкой, на мечах билась. Подумай только, до чего ты меня довела! Чего смеешься, мальчишка? Смотри, превращу тебя в камень.

Медведь. Не превратишь. Для этого надо смирно стоять, а он тебя не боится.

Баба-яга. Молчи, косолапый холоп, а не то худо будет.

Медведь. Не кричи на меня, я тебе больше не слуга.

Баба-яга. Ладно, с тобой я еще рассчитаюсь. Отвечай, Василиса, берешься найти своих сыновей?

В а с и л и с а. Берусь.

Б а б а - я г а. Даю тебе сроку, пока солнце не зайдет.

М е д в е д ь. Что ты, что ты! Солнышко вот-вот скроется.

Б а б а - я г а. А мне этого только и надо! Ну, Василиса, раз, два, три — ищи, а как найдешь — позови меня. *(Исчезает.)*

В а с и л и с а. Ищите, ищите все. А я подумаю, как мне узнать, они это или мне почудилось.

Все бродят, ищут. Василиса стоит задумавшись.

Е г о р у ш к а. Иванушка, мы здесь.

Ф е д о р. Кыс! Кыс! Кыс! Котофей!

Е г о р у ш к а. Шарик, Шарик! На, на, на!

Ф е д о р. Сюда, сюда!

Е г о р у ш к а. Нет, нет! Миша, вверх погляди.

Вдруг издали доносятся голоса:
"Мама! Ау! Мама, сюда скорее, мы тут, возле черного болота".

М е д в е д ь. Бежим!

Е г о р у ш к а. Не верь, мама!

Ф е д о р. Это Баба-яга кричит.

Е г о р у ш к а. Она под любой голос подделывается.

М е д в е д ь. Чего же ты, хозяюшка! Солнце зайдет! Скорей к болоту.

В а с и л и с а. Погоди, Мишенька, дай послушаем еще.

Голоса издали:
"Мама! Родная! Мы тут, в глубоком овраге под старой березой".

Ш а р и к. Воу, воу! Это правда, есть такой овраг!

Голос издали, отчаянно:
"Мама, скорее! Баба-яга к нам крадется с мечом в руках".

В а с и л и с а. Бежим! *(Идет быстро к чаще. Оборачивается.)* Так я и знала. Вот они где. Баба-яга! Нашла я своих деток.

Б а б а - я г а вырастает как из-под земли.

Б а б а - я г а. Где они?

В а с и л и с а *(показывает на клены)*. Гляди: что это?

Листья кленов покрылись слезами,
сверкающими под лучами заходящего солнца.

Что это, спрашиваю я тебя?

Б а б а - я г а. Чего тут спрашивать-то? Клены.

В а с и л и с а. А плачут они почему?

Б а б а - я г а. Роса.

В а с и л и с а. Нет, Баба-яга, не обманешь ты меня. Сейчас увидим, что это за роса. *(Подходит к деревцам.)* Что вы, мальчики, что вы! Я еще вчера в шелесте вашем почуяла родные голоса, на сердце у меня стало спокойнее. Неужели вы думали, что я поверила Бабе-яге? Я нарочно пошла от вас прочь, чтобы вы заплакали, а теперь вернулась. Ну, довольно, довольно, Егорушка, Федор, поплакали, помогли маме — и будет. Не маленькие. Богатыри — и вдруг плачут. Тут мама, она не оставит, не уйдет, не даст в обиду. Гляди, Баба-яга! Слезы высохли. Вот мои дети!

Б а б а - я г а. Ладно, угадала.

М е д в е д ь. Ах ты! Ох ты! Сколько раз я мимо ходил, сколько раз спину о них чесал — и ни о чем не догадывался. Простите, мальчики, меня, медведя!

В а с и л и с а. Ну что же, Баба-яга, я жду.

Б а б а - я г а. Чего ждать-то?

В а с и л и с а. Освободи моих сыновей.

Б а б а - я г а. Смотрите, что выдумала! Оживлять их еще! Они деревянные куда смирнее, уж такие послушные, из дому шагу не ступят, слова не скажут дерзкого!

И в а н у ш к а. Ах ты, обманщица!

Б а б а - я г а. Спасибо на добром слове, сынок. Конечно, обманщица. Нет, Василиса, нет, рано обрадовалась. Да где же это видано, чтобы добрые люди над нами, разбойничками, верх брали? Я, змейка, всегда людей на кривой обойду. Нет, Василиса, сослужи мне еще одну службу, тогда я, может быть, и освобожу мальчишек.

В а с и л и с а. Говори, какую!

Б а б а - я г а. Куда спешить-то! Утро вечера мудренее, завтра скажу. *(Исчезает.)*

В а с и л и с а. Ну, друзья, раскладывайте костер, будем мальчиков моих охранять, чтобы их, беззащитных, Баба-яга не обидела. Но только не спать!

М е д в е д ь. Нет, нет, не спать, как это можно!

В а с и л и с а. Песни будем петь.

К о т о ф е й. Сказки рассказывать.
И в а н у ш к а. Летняя ночь короткая, она быстро пролетит.

Собирают хворост, разводят костер. Василиса поет.

В а с и л и с а.

Федя, Федя, не горюй,
Егорушка, не скучай,
Ваша мама пришла,
Она меду принесла,
Чистые рубашки,
Новые сапожки.

Я умою сыновей,
Чтобы стали побелей,
Накормлю я сыновей,
Чтобы стали здоровей,
Я обую сыновей,
Чтоб шагали веселей.

Я дорогою иду,
Я Иванушку веду,
Я на Федора гляжу,
Его за руку держу.
На Егора я гляжу,
Его за пояс держу.

Сыновей веду домой!
Сыновья мои со мной!

Федя, Федя, не горюй,
Егорушка, не скучай!
Ваша мама пришла,
Счастье детям принесла.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Декорация первого действия.
Время близится к рассвету. Горит костер.
В а с и л и с а стоит возле кленов, поглядывает на них озабоченно.

В а с и л и с а. Ребята, ребята, что вы дрожите-то? Беду почуяли? Или ветер вас растревожил? Отвечайте, отвечайте смело! Авось я и пойму.

Е г о р у ш к а. Мама, мама, слышишь, как лес шумит?

Ф е д о р. И все деревья одно говорят.

Е г о р у ш к а. “Братцы клены, бедные ребята!”

Ф е д о р. “Береги-и-и-тесь! Береги-и-и-тесь!”

Е г о р у ш к а. “Выползла Баба-яга из своей избушки!”

Ф е д о р. “А в руках у нее то, что деревцу страшнее всего”.

Е г о р у ш к а. “Топор да пила, пила да топор”.

В а с и л и с а. Слов ваших не разобрала, но одно поняла: страшно вам, дети. Ничего, бедняги, ничего. Перед рассветом мне и то жутко. Темно, холодно, над болотами туман ползет. Но вы потерпите. Солнце вот-вот проснется. Правду говорю. Оно свое дело помнит. А Баба-яга у нас под присмотром. Друзья пошли разведать, не затеяла ли чего злодейка.

Вбегает м е д в е д ь.

М е д в е д ь. Баба-яга пропала!

В а с и л и с а. Как пропала?

М е д в е д ь. Выползла она из избушки, а у нее в руках... Не буду при Федоре и Егорушке говорить — что. Вышла она. Мы за ней. А она прыг — и вдруг растаяла, как облачко, вместе с пилой и топором. И все. Я скорее сюда, тебе в помощь. А Шарик за нею. Для пса все равно — видно ее или не видно, растаяла она или нет. Шарик по горячим следам летит. Не отстанет. Он...

Вбегает Ш а р и к.

Ш а р и к. Хозяйка, хозяйка, выдери меня, вот я и прут принес!

М е д в е д ь. А что ты натворил, такой-сякой?

Ш а р и к. След потерял! Вывела меня Баба-яга к болотам по воде туда, по воде сюда — и пропала. Но ничего! Котофей уселся на берегу, замер, как неживой. прислушивается. Он ее, как мышь, подстережет. А я скорей сюда, чтобы ты меня, хозяйка, наказала.

В а с и л и с а. Я не сержусь. У Бабы-яги что — шапка-невидимка есть?

М е д в е д ь. Есть. Старенькая, рваненькая, по скупости новую купить жалеет. Однако в сумерки работает шапка ничего. Ты, хозяйка, не думай! Шапка не шапка, но от Котофея Ивановича старухе никуда не уйти!

К о т о ф е й И в а н о в и ч неслышно появляется у ног Василисы.

К о т о ф е й И в а н о в и ч. Ушла Баба-яга.

М е д в е д ь. Ушла?

К о т о ф е й. Ничего не поделаешь, ушла.

В а с и л и с а. А где Иванушка?

К о т о ф е й. Это я тебе потом скажу!

М е д в е д ь. Что же делать-то? Плакать?

К о т о ф е й. Зачем плакать?

М е д в е д ь. А что же нам, бедненьким, осталось?

К о т о ф е й. Сказки рассказывать.

М е д в е д ь. Не поможет нам сказка!

К о т о ф е й. Кто так говорит, ничего в этом деле не понимает. Василиса-работница! Хозяюшка! Прикажи им сесть в кружок, а я в серединке.

В а с и л и с а. Сделайте, как он просит.

К о т о ф е й. И ты, хозяюшка, садись.

Все усаживаются вокруг кленов. Котофей в середине.

Слушайте меня во все уши, сказка моя неспроста сказывается. Жил да был дровосек.

М е д в е д ь. У нас? В нашем лесу?

К о т о ф е й. В соседнем.

М е д в е д ь. А того я не видал, только слыхал о нем. Это такой чернявенький?

К о т о ф е й. Зачем ты меня перебиваешь, зачем спрашиваешь?

Медведь. После того как я упустил Бабу-ягу, мне кажется, что все на меня сердятся. Я понять хочу, разговариваешь ты со мной или нет.

Котофей. Я тоже Бабу-ягу упустил.

Медведь. На тебя ворчать не будут, побоятся. А я сирота простой.

Котофей. Ладно, ладно, не сердимся мы на тебя, только слушай и не перебивай. Жил да был дровосек, уж такой добрый, все отдаст, о чем ни попроси. Вот однажды зимой приходит он из лесу без шапки. Жена спрашивает: "Где шапка, где шапка?" — "Одному бедному старику отдал, уж очень он, убогий, замерз". — "Ну что ж, — отвечает жена,— старому-то шапка нужнее". Только она это слово вымолвила, под самой дверью: динь-динь, топ-топ, скрип-скрип! И тоненький голосок зовет, кричит: "Откройте, откройте, пустите погреться!" Открыл дровосек дверь — что за чудеса! За порогом кони ростом с котят, стоять не хотят, серебряными подковками постукивают, золотыми колокольчиками позвякивают. И ввозят они в избу на медных полозьях дровосекову шапку. А в шапке мальчик не более моей лапки, да такой славный, да такой веселый! "Ты кто такой?" — "А я ваш сын Лутонюшка, послан вам за вашу доброту!" Вот радость-то!

Шарик *(вскакивает).* Гау, гау, гау!

Котофей. Ищи, ищи, ищи!

Шарик. Баба-яга крадется.

Котофей. А ну, ну, ну, ищи, ищи, ищи!

Шарик. Нет! Ошибся.

Котофей. А ошибся, так не мешай! Стали они жить да поживать, дровосек, да его жена, да сын их Лутонюшка. Работал мальчик — на диво. Он на своих конях и чугуны из печи таскал, и за мышами гонялся, а весной все грядки вскопал. Выковал он себе косу по росту — овец стричь. Ходит по овцам, как по лугам, чик-чик, жвык-жвык — шерсть так и летит. И побежала по всем лесам о Лутонюшке слава. И призадумалась их соседка злодейка-чародейка: "Ах, ох, как бы мне этого Лутонюшку к рукам прибрать. Работает, как большой, а ест, как маленький". Взвилась она под небеса и опустилась в Лутонины леса. "Эй, дровосек, отдавай сына!" — "Не отдам!" — "Отдавай, говорят!" — "Не отдам!" — "Убью!" И только она это слово вымолвила, вылетает ей прямо под ноги Лутонюшка на своем боевом коне. Захохотала злодейка-чародейка, замахнулась мечом — раз! — и мимо. Лутонюшка мал, да

увертлив. Целый день рубился он со злодейкой, и ни разу она его не задела, все он ее колол копьем. А как стемнело, забрался Лутонюшка на дерево, а с дерева злодейке на шлем. Хотела она сшибить Лутонюшку, да как стукнет сама себя по лбу. И села на землю. И ползком домой. С тех пор носа не смеет она показать в Лутонины леса.

М е д в е д ь. А как звали эту злодейку-чародейку? Что-то я в наших лесах такую не припомню.

К о т о ф е й. А звали ее — Баба-яга!

Б а б а - я г а *(она невидима)*. Врешь!

И в а н у ш к а вырастает возле того места, откуда раздался голос, подпрыгивает, хватает с воздуха что-то. Сразу Б а б а - я г а обнаруживается перед зрителем. Иванушка пляшет с шапкою-невидимкою в руках. Баба-яга бросается на него.

В а с и л и с а. Надень шапку-невидимку, сынок!

Иванушка пробует надеть шапку. Но Баба-яга успевает ее схватить. Некоторое время каждый тянет ее к себе. Но вот ветхая шапка разрывается пополам, и противники едва не падают на землю. Подоспевшая к месту столкновения Василиса-работница успевает подобрать топор и пилу, которые Баба-яга уронила, сражаясь за шапку.

Б а б а - я г а. Безобразие какое у меня в хозяйстве творится! Прислуга, вместо того чтобы спать, сидит да хозяйкины косточки перебирает. Я до этого Лутонюшки еще доберусь! Всем вам, добрякам, худо будет, конец пришел моему терпению! *(Уходит.)*

И в а н у ш к а. Ха-ха-ха! Видишь, мама, как славно мы с Котофеем Ивановичем придумали. Ушли мы с озера, а Баба-яга за нами. А Котофей стал сказку рассказывать. А я лежу за кустами, не дышу. А Котофей рассказывает. А я все не дышу. И тут она ка-ак проговорится! И я — прыг! Все вышло как по писаному! Конечно, обидно, что я не догадался шапку-невидимку надеть. Она и дома пригодилась бы в прятки играть! Но все же сегодня я помог тебе больше, чем вчера. Правда, мама?

В а с и л и с а. Правда, сынок.

Солнце всходит. Первые лучи его падают на поляну.

Видишь, Феденька, видишь, Егорушка, как я обещала, так и вышло. Солнце проснулось, туман уполз, светло стало. Весело. Что притихли, дети? Скажите хоть слово!

Ф е д о р. Мама, если бы ты знала, как трудно мальчику в такое утро на одном месте стоять!

Е г о р у ш к а. Если бы ты знала, мама, как трудно мальчику, когда за него сражаются, за него работают, а он стоит как вкопанный.

В а с и л и с а. Не грустите, не грустите, дети, недолго вам ждать осталось!

За сценой сердитый голос Бабы-яги. Баба-яга. "Кыш! Куда! Вот сварю из вас куриную похлебку, так поумнеете!" Выезжает избушка на курьих ножках. Б а б а - я г а сидит, развалясь, в кресле за открытой дверью.

Б а б а - я г а. Шагайте веселей. Курьи ножки, а плетутся, как черепашьи. Тпру!

Избушка на курьих ножках останавливается.

Ох, устала!

М е д в е д ь. Чего тебе уставать-то! Чужим трудом живешь.

Б а б а - я г а. Ох, что он говорит! Ты думаешь, это легко — чужим трудом жить? Думаешь, это сахар ничего не делать? Я еще девочкой-ягой была, в школу бегала, а уж покоя и на часик не знала. Ваш брат работничек вытвердит, бывало, все уроки, да и спит себе, а я, бедная малютка-яга, с боку на бок ворочаюсь, все думаю, как бы мне, милочке, завтра, ничего не зная, извернуться да вывернуться. И всю жизнь так-то. Вы, работники простые, работаете да песенки поете, а я надрываюсь, чтобы, ничего не делая, жить по-царски. И приходится мне, бедной, и по болотам скакать, и мечом махать, только бы люди на меня работали. Ну, Василиса, что тебе приказать?

В а с и л и с а. Решай, Баба-яга.

Б а б а - я г а. Думала я, думала — и придумала. Дам я тебе работу полегче, чтобы бранить тебя было попроще. Гляди на мою избушку. В окно ко мне не влезть. Такие решетки, что и я даже не выломаю. Бревна до того крепкие, что никаким топором и щепочки не отколоть. А замка нет. Сделай мне на дверь замок, может быть я тебя и похвалю. Берешься?

В а с и л и с а. Берусь.

Б а б а - я г а. Делай, а я пока на себя в зеркало полюбуюсь. *(Смотрится в зеркало.)* У, ты, шалунья моя единственная. У тю-тю-тю! Сто ей в головуску, кросецке, плисло! Замоцек ей сделай! У тю-тю-тю!

В а с и л и с а. А ну-ка, Мишенька, согни мне этот прут железный

пополам.

М е д в е д ь. Готово.

В а с и л и с а. А ты, Иванушка, обстругай мне эту дощечку.

И в а н у ш к а. Сейчас, мама.

В а с и л и с а. А ты, Котофей Иванович, обточи это колечко.

К о т о ф е й. Давай, хозяйка.

В а с и л и с а. А ты, Шарик, посторожи, чтобы не ушла Баба-яга.

Б а б а - я г а. А я никуда и не собираюсь нынче. Мне и дома хорошо. Работают. Смотрите-ка! Никогда я этого не видала. Всегда, бывало, на готовенькое прихожу. Как называется ящичек, что у Ивашки в руках?

В а с и л и с а. Рубанок.

Б а б а - я г а. А зачем он эти белые ленточки делает? На продажу?

В а с и л и с а. Это стружка.

М е д в е д ь. Да не притворяйся ты, Баба-яга! Видел я, как ты топором да пилой орудуешь!

Б а б а - я г а. Срубить да свалить я, конечно, могу. Это дело благородное. А строить — нет, шалишь. Это уж вы для меня старайтесь. А что это за палочка у тебя в руках?

В а с и л и с а. Напильник.

Б а б а - я г а. Подумать только! Ах, бедные, бедные людишки! И зачем это вы работаете!

В а с и л и с а. Скоро увидишь зачем.

Б а б а - я г а. Надеешься детишек спасти?

В а с и л и с а. Надеюсь.

Б а б а - я г а. Любишь своих сыновей?

В а с и л и с а. А конечно, люблю.

Б а б а - я г а. А которого больше?

В а с и л и с а. А того, которому я нынче нужнее. Заболеет Федор — он мой любимый сын, пока не поправится. Иванушка в беду попадет — он мне всех дороже. Поняла?

М е д в е д ь. Что ты, матушка, где ей!

Б а б а - я г а. А вот и поняла. Наука нехитрая. Одного я только понять не могу, как детишки не прискучили тебе, пока маленькими были да пищали с утра до вечера без толку. Я, красавица, давно бы таких — раз, да и за окошко!

В а с и л и с а. Вот и видно, что ты Баба-яга, а не человек. Разве

малые дети без толку пищат? Это они маму свою зовут, просят по-своему: мама, помоги! А как поможешь им, тут они и улыбнутся. А матери только этого и надо.

Б а б а - я г а. А как подросли твои крикуны да стали чуть поумнее — разве не замучили они тебя своеволием, не обидели непослушанием? Ты к ним — любя, а они от тебя — грубя. Я бы таких сразу из дому выгнала!

В а с и л и с а. Вот и видно, что ты Баба-яга, а не человек. Разве они нарочно грубят? Просто у них добрые слова на донышке лежат, а дурные на самом верху. Тут надо терпение иметь. Готово! Вставлен замок в двери.

Б а б а - я г а. Что-то больно скоро. Непрочный небось!

В а с и л и с а. Погоди браниться, испробуй сначала. *(Закрывает дверь.)*

Замок защелкивается со звоном, Баба-яга остается в избе.

Красиво звонит замок?

Б а б а - я г а. Нет, некрасиво! Что? Поймала? Нашла дурочку? Похвалила я тебя?

В а с и л и с а. Похвалишь, не удержишься!

Б а б а - я г а. Ха-ха-ха!

В а с и л и с а. Чем смеяться — попробуй-ка дверь открыть.

Б а б а - я г а *(дергает дверь)*. Ах ты дерзкая! Ты заперла меня?

В а с и л и с а. Заперла, Баба-яга. Хорош мой замок?

Б а б а - я г а. Плох!

В а с и л и с а. А плох, так попробуй выйди.

Вся изба дрожит. Баба-яга воет. Голова ее показывается в окне.

Б а б а - я г а. Василиса! Открой! Я приказываю!

В а с и л и с а. Хорош мой замок?

Б а б а - я г а. Все равно не похвалю!

В а с и л и с а. Ну, тогда и сиди в избе. Не шуми, не стучи. От бревен и щепочки не отколоть, так они крепки.

Б а б а - я г а. Курьи ножки! Затопчите дерзкую!

Курьи ножки переминаются, а с места не двигаются.

Вперед!

Курьи ножки не двигаются.

М е д в е д ь. Не послушаются они тебя.

Б а б а - я г а. Это еще почему?

М е д в е д ь. Сколько они тебе лет служили — доброго слова ни разу не слышали. А Василиса-работница и поговорила с ними как с людьми, и песенку им спела.

Б а б а - я г а. Василиса, если ты меня не выпустишь, такая беда может случиться, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

В а с и л и с а. Что же это за беда?

Б а б а - я г а. Я с горя заболею.

М е д в е д ь. Не верь, не заболеет.

Б а б а - я г а. Василиса, ты пойми, все равно я тебя погублю. Меня, злодейку, нельзя, ну просто никак невозможно победить! Мой будет верх.

В а с и л и с а. Никогда! Ты за всю свою жизнь ящичка простого не сколотила, корзинки не сплела, травинки не вырастила, сказочки не придумала, песенки не спела, а все ломала, да била, да отнимала. Где же тебе, неумелой, с нами справиться?

Б а б а - я г а. Эй, Людоед Людоедыч! Беги сюда бегом! Нас, злодеев, обижают! Помоги!

М е д в е д ь. Придет он, как же! Ты с ним из-за двух копеек поссорилась и прогнала из наших лесов. Из людоедов тут одни комары остались, а они не больно страшны.

Б а б а - я г а. Ведьма, а ведьма! Беги сюда бегом, подружка! Спаси!

М е д в е д ь. И с ней ты поссорилась из-за гроша.

Б а б а - я г а. Говори, Василиса, чего ты хочешь?

В а с и л и с а. Освободи моих сыновей.

Б а б а - я г а. Ни за что! Не добьешься! Вот так и будут они стоять друг против друга до скончания веков. Я тебя не послушаюсь!

В а с и л и с а. Послушаешься!

Б а б а - я г а. Ни за что!

В а с и л и с а. Курьи ножки! Несите ее в болото, туда, где поглубже.

Курьи ножки идут послушно.

Б а б а - я г а. Куда вы, куда вы! Вы и сами там погибнете.

К у р ь и   н о ж к и. Мы-то выкарабкаемся, мы цапастенькие.

Б а б а - я г а. Василиса, верни их!

В а с и л и с а. Цып, цып, цып!

Избушка возвращается.

Б а б а - я г а. Василиса, давай мириться.

В а с и л и с а. Освободи моих детей.

Б а б а - я г а. Подойди ко мне поближе, я тебе что-то скажу.

В а с и л и с а. Говори при всех.

Б а б а - я г а. Стыдно.

В а с и л и с а. Ничего, говори.

Б а б а - я г а. Освободить-то я их... этого... не умею.

В а с и л и с а. Не лги.

Б а б а - я г а. Клянусь своим драгоценным здоровьем! Это не я их в клены обратила, а ведьма, моя подручная. Она получала у меня алтын с человека.

Ф е д о р. Это правда, мама.

Е г о р у ш к а. Возле нее какая-то старушка вертелась с ореховой палочкой.

В а с и л и с а. Курьи ножки, в болото!

Б а б а - я г а. Стой, стой! Освободить я их не могу, а как сделать это — знаю.

В а с и л и с а. Говори!

Б а б а - я г а. Иди ты все время на восток, не сворачивая. Все пряменько, пряменько, пряменько — поняла? Попадется болото — ничего, шагай через болото. К морю выйдешь — плыви через море, только не сворачивая, а то заплутаешься. А как выйдешь на берег, по правую руку увидишь ты лес втрое выше нашего, и листья там не зеленые, а белые, седые — уж больно тот лес стар. А посреди леса увидишь ты холм, весь он белой травою порос, а в том холме — пещера. А посреди пещеры — белый камень. Отвалишь ты камень, а под ним колодец. А вода в том колодце — кипит, бурлит, словно кипяток, и сама собою светится. Принеси той воды кружечку, покропи клены, и они тотчас же оживут. Вот и все. Фу, устала. Никогда в жизни столько не говорила о других, все, бывало, о себе, о птичке-малышке.

В а с и л и с а. А сколько туда ходу?

Б а б а - я г а. Не менее году.

Федор и Егорушка вскрикивают горестно.

В а с и л и с а. Обманываешь ты!

М е д в е д ь. Нет, не обманывает. Вот радость-то! *(Хохочет.)* Вот

горе-то! *(Плачет.)*

Василиса. Что с тобой?

Медведь. Успокоюсь — расскажу.

Баба-яга. Иди, иди, Василиса. Не теряй времени.

Василиса. Мы и тебя захватим.

Баба-яга. Избушка на курьих ножках через чащу не проберется. А выпускать меня — как можно! Ускользну! Нет, уж придется вам одним шагать. Год туда — год обратно, а за два года мало ли что может приключиться. Может, все еще по-моему повернется! Иди, иди, чего ждать-то!

Василиса. Постой, дай с друзьями посоветоваться.

Отходит в сторону со всеми своими друзьями.

Что с тобой, Миша, делается? Почему ты то смеешься, то плачешь?

Медведь. Ха-ха-ха! Ох-ох-ох! Вот оно, наше спасение, тут, возле, а не ухватишь.

Василиса. Почему?

Медведь. Василиса, родимая, слушай. Сейчас я, ха-ха, расскажу, ох-ох, все по порядку. Помнишь, я говорил тебе, что моего деда Змей Горыныч просто так, для смеху, взял да и опалил огнем.

Василиса. Помню, Мишенька.

Медведь. Когда приключилась у нас эта беда, отец мой, Потап Михайлович, кубарем в пещеру. К живой воде. И домой со всех ног. Мы тогда недалеко от пещеры этой жили. Ха-ха-ха, ох-ох-ох!

Иванушка. Да рассказывай ты, не томи душу!

Медведь. Возвращается он с ведром живой воды. Горе, горе! Лежит старик и не дышит. Вокруг родня плачет. Лес насупился, как осенью. Обрызгали деда живой водой — что за чудеса: шерсть опаленная закурчавилась, как новая, старое сердце забилось, как молодое, встал дед и чихнул, а весь лес ему: на здоровье. Ха-ха-ха! Ой-ой-ой!

Шарик. Да не плачь ты, хозяин, а то и я завою.

Василиса. Рассказывай дальше.

Медведь. И остался у меня с тех пор целый кувшин живой воды. Ха-ха-ха!

Василиса. Где же кувшин-то?

Медведь. В сундучке моем, ха-ха-ха!

В а с и л и с а. А сундучок где?

М е д в е д ь. У Бабы-яги в избушке. Она его под печкой держит. Чтобы я не уволился без спросу. Ох-ох-ох!

В а с и л и с а. Придется отпереть замок-то!

К о т о ф е й. Нельзя! Ускользнет мышка наша из своей мышеловки. Мы иначе сделаем. Я прыгну тихонько на крышу, да по трубе печной в избу. Да и добуду все, что требуется.

М е д в е д ь. Почует она!

Ш а р и к. Ничего. Я ее раздразню, и она ничего не услышит.

Кот исчезает. Шарик бежит к избе.

Баба-яга! Ты хвастала, будто по-собачьи понимаешь?

Б а б а - я г а. А конечно, понимаю. Для того чтобы ссориться, нет лучшего языка, чем собачий. А я, мушка, люблю ссориться!

Ш а р и к. Гау, гау, гау! Скажи, что это значит?

Б а б а - я г а. А это значит: сюда, охотник, белка на сосне.

Ш а р и к. Смотри, и вправду понимает. А это? *(Лает.)*

Б а б а - я г а. Поди сюда, я тебе хвост оторву.

Ш а р и к. А это? *(Лает.)*

Б а б а - я г а. Ах ты дерзкий пес!

Ш а р и к. Не поняла?

Б а б а - я г а. Ты посмел мне сказать, что я любого голубя добрее? Так вот же тебе за это! *(Лает.)*

Шарик отвечает ей тем же. Некоторое время они лают яростно друг на друга, как псы, которые вот-вот подерутся.

(Внезапно обрывает лай.) Караул, грабят! *(Исчезает.)*

В избе мяуканье, фырканье, вопли, потом полная тишина.

Ш а р и к. Воу, воу! Погиб наш котик! Воу!

И в а н у ш к а. Мне надо было бы полезть.

М е д в е д ь. Да разве ты в трубу пробрался бы? Это я, окаянный, во всем виноват. Зачем я живую воду в сундучке держал?

Ф е д о р. А мы-то стоим и с места двинуться не можем.

Ш а р и к. Воу, воу! Уж так я ругал ее обидно, ангелом называл — и то не помогло. Воу, воу!

В а с и л и с а. Да погодите, может быть, он еще и жив и здоров.

Кс-кс-кс.

Молчание.

И в а н у ш к а. Бедный котик!

В а с и л и с а. Постойте, погодите! Я забыла, что он даже и не понимает, что такое "кс-кс-кс". Кот строгий. Котофей Иванович!

Голос с крыши: "Мур!"

М е д в е д ь. Жив!

Ш а р и к. Что же ты не идешь, сердце мне надрываешь?

К о т о ф е й *(издали)*. Вылизываюсь. В саже вымазался.

М е д в е д ь. А мы думали, что ты погиб.

К о т о ф е й *(издали)*. Нет, она меня было цапнула за хвост, да я отбился. *(Прыгает с крыши, в лапах большой кувшин.)*

В а с и л и с а. Этот кувшин, Миша?

М е д в е д ь. Он самый!

Б а б а - я г а *(в окно)*. Выдохлась вода, выдохлась, выдохлась!

Е г о р у ш к а. Мама!

В а с и л и с а. А ну-ка, отойдите в сторонку, друзья.

Все отходят в сторону. Василиса подходит к кленам.
Кувшин тщательно перевязан и закупорен круглым дубовым бруском.
Когда Василиса вынимает брусок, из кувшина поднимается синее пламя.

Б а б а - я г а. Горе какое, не выдохлась.

Василиса брызжет живой водой на клены. И тотчас же они исчезают в синеватом тумане. Глухо-глухо, как из-под земли, звучит музыка. Но вот она становится все явственнее, все веселее. Туман рассеивается. Клены исчезли. На поляне стоят д в а м а л ь ч и к а одного роста, они похожи друг на друга и на Иванушку. Они оглядываются растерянно, как будто только что проснулись, и вдруг замечают Василису. Они вскрикивают: "Мама!"

В а с и л и с а *(обнимает их)*. Мальчики мои, мальчики!

К о т о ф е й. Радуйтесь, радуйтесь, теперь вас никто не посмеет тронуть.

Е г о р у ш к а. Иванушка!

Ф е д о р. Братец! *(Обнимает брата.)*

В а с и л и с а. Дети мои, дети! Какими пропали, такими и нашлись!

И на денек старше не стали!

Ф е д о р. Мама, мы больше не будем.

Е г о р у ш к а. Мы теперь будем расти не по дням, а по часам!

Ф е д о р. Мама, идем, идем. Мы столько стояли на этой поляне...

Е г о р у ш к а. Что ноги больше стоять не хотят. Прощайте, деревья-друзья, не обижайтесь, нам домой пора.

Д е р е в ь я *(шелестят негромко, но явственно)*. Прощайте, прощайте, братцы клены! Не обижайте нас! Не забывайте, что мы живые. Не разучитесь говорить по-нашему, когда домой вернетесь.

Ф е д о р. Никогда не разучимся!

Б а б а - я г а. Кончится ли это безобразие! Стоят и радуются у меня на глазах! Знаете, кажется, что я терпеть не могу, когда люди радуются. Отпустите меня сейчас же!

В а с и л и с а. Никогда! Мы пойдем домой и тебя захватим. И дома всем миром решим, что с тобой делать.

Б а б а - я г а. Отпусти, я тебе все свое золото отдам!

В а с и л и с а. Не отпущу! Давайте руки, друзья.

Все подают друг другу руки.

Вперед! Курьи ножки, за мной!

Идут, избушка — следом.

К о т о ф е й. Вот и сказке нашей конец, а кто нас понял, тот молодец!

Занавес

1954

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Сказка в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Хозяин.
Хозяйка.
Медведь.
Король.
Принцесса.
Министр-администратор.
Первый министр.
Придворная дама.
Оринтия.
Аманда.
Трактирщик.
Охотник.
Ученик охотника.
Палач.

ПРОЛОГ

**Перед занавесом появляется ч е л о в е к,
который говорит зрителям негромко и задумчиво:**

— “Обыкновенное чудо” — какое странное название! Если чудо — значит, необыкновенное! А если обыкновенное — следовательно, не чудо.

Разгадка в том, что у нас речь пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга — что обыкновенно. Ссорятся — что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И наконец сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, — что и удивительно и обыкновенно.

О любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку.

В сказке очень удобно укладываются рядом обыкновенное и чудесное и легко понимаются, если смотреть на сказку как на сказку. Как в детстве. Не искать в ней скрытого смысла. Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь.

Среди действующих лиц нашей сказки, более близких к “обыкновенному”, узнаете вы людей, которых приходится встречать достаточно часто. Например, король. Вы легко угадаете в нем обыкновенного квартирного деспота, хилого тирана, ловко умеющего объяснять свои бесчинства соображениями принципиальными. Или дистрофией сердечной мышцы. Или психастенией. А то и наследственностью. В сказке сделан он королем, чтобы черты его характера дошли до своего естественного предела. Узнаете вы и министра-администратора, лихого снабженца. И заслуженного деятеля охоты. И некоторых других.

Но герои сказки, более близкие к “чуду”, лишены *бытовых* черт сегодняшнего дня. Таковы и волшебник, и его жена, и принцесса, и медведь.

Как уживаются столь разные люди в одной сказке? А очень просто. Как в жизни.

И начинается наша сказка просто. Один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как ты волшебника ни корми — его все тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям. И вот ввязался он в любовную историю тех самых молодых людей, о которых говорил я вначале. И все запуталось, перепуталось — и наконец распуталось так неожиданно, что сам волшебник, привыкший к чудесам, и тот всплеснул руками от удивления.

Горем все окончилось для влюбленных или счастьем — узнаете вы в самом конце сказки. *(Исчезает.)*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Усадьба в Карпатских горах. Большая комната, сияющая чистотой. На очаге — ослепительно сверкающий медный кофейник. Бородатый человек, огромного роста, широкоплечий, подметает комнату и разговаривает сам с собой во весь голос. Это хозяин усадьбы.

Хозяин. Вот так! Вот славно! Работаю и работаю, как подобает хозяину, всякий глянет и похвалит, все у меня, как у людей. Не пою, не пляшу, не кувыркаюсь, как дикий зверь. Нельзя хозяину отличной усадьбы в горах реветь зубром, нет, нет! Работаю безо всяких вольностей... Ах! *(Прислушивается, закрывает лицо руками.)* Она идет! Она! Она! Ее шаги... Пятнадцать лет я женат, а влюблен до сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово так! Идет! Она! *(Хихикает застенчиво.)* Вот пустяки какие, сердце бьется так, что даже больно... Здравствуй, жена!

Входит хозяйка, еще молодая, очень привлекательная женщина.

Здравствуй, жена, здравствуй! Давно ли мы расстались, часик всего назад, а рад я тебе, будто мы год не виделись, вот как я тебя люблю... *(Пугается.)* Что с тобой? Кто тебя посмел обидеть?

Хозяйка. Ты.

Хозяин. Да не может быть! Ах я грубиян! Бедная женщина, грустная такая стоит, головой качает... Вот беда-то! Что же я, окаянный, наделал?

Хозяйка. Подумай.

Хозяин. Да уж где тут думать... Говори, не томи...

Хозяйка. Что ты натворил нынче утром в курятнике?

Хозяин *(хохочет)*. Так ведь это я любя!

Хозяйка. Спасибо тебе за такую любовь. Открываю курятник, и вдруг — здравствуйте! У всех моих цыплят по четыре лапки...

Х о з я и н. Ну что ж тут обидного?

Х о з я й к а. А у курицы усы, как у солдата.

Х о з я и н. Ха-ха-ха!

Х о з я й к а. Кто обещал исправиться? Кто обещал жить, как все?

Х о з я и н. Ну дорогая, ну милая, ну прости меня! Что уж тут поделаешь... Ведь все-таки я волшебник!

Х о з я й к а. Мало ли что!

Х о з я и н. Утро было веселое, небо ясное, прямо силы девать некуда, так хорошо. Захотелось пошалить...

Х о з я й к а. Ну и сделал бы что-нибудь полезное для хозяйства. Вон песок привезли дорожки посыпать. Взял бы да превратил его в сахар.

Х о з я и н. Ну какая же это шалость!

Х о з я й к а. Или те камни, что сложены возле амбара, превратил бы в сыр.

Х о з я и н. Не смешно!

Х о з я й к а. Ну что мне с тобой делать? Бьюсь, бьюсь, а ты все тот же дикий охотник, горный волшебник, безумный бородач!

Х о з я и н. Я стараюсь!

Х о з я й к а. Так все идет славно, как у людей, и вдруг хлоп — гром, молния, чудеса, превращения, сказки, легенды там всякие... Бедняжка... *(Целует его.)* Ну иди, родной!

Х о з я и н. Куда?

Х о з я й к а. В курятник.

Х о з я и н. Зачем?

Х о з я й к а. Исправь то, что там натворил.

Х о з я и н. Не могу!

Х о з я й к а. Ну, пожалуйста!

Х о з я и н. Не могу. Ты ведь сама знаешь, как повелось на свете. Иногда пошалишь — а потом все исправишь. А иной раз щелк — и нет пути назад! Уж я этих цыплят и волшебной палочкой колотил, и вихрем их завивал, и семь раз ударил молнией — все напрасно! Значит, уж тут сделанного не поправишь.

Х о з я й к а. Ну что ж, ничего не поделаешь... Курицу я каждый день буду брить, а от цыплят отворачиваться. Ну а теперь перейдем к самому главному. Кого ты ждешь?

Х о з я и н. Никого.

Хозяйка. Посмотри мне в глаза.

Хозяин. Смотрю.

Хозяйка. Говори правду, что будет? Каких гостей нам сегодня принимать? Людей? Или привидения зайдут поиграть с тобой в кости? Да не бойся, говори. Если у нас появится призрак молодой монахини, то я даже рада буду. Она обещала захватить с того света выкройку кофточки с широкими рукавами, какие носили триста лет назад. Этот фасон опять в моде. Придет монашка?

Хозяин. Нет.

Хозяйка. Жаль. Так никого не будет? Нет? Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Ты себя скорей обманешь, чем меня. Вон, вон уши горят, из глаз искры сыплются...

Хозяин. Неправда! Где?

Хозяйка. Вон, вон они! Так и сверкают. Да ты не робей, ты признавайся! Ну? Разом!

Хозяин. Ладно! Будут, будут у нас гости сегодня. Ты уж прости меня, я стараюсь. Домоседом стал. Но... Но просит душа чего-нибудь этакого... волшебного. Не обижайся!

Хозяйка. Я знала, за кого иду замуж.

Хозяин. Будут, будут гости! Вот, вот сейчас, сейчас!

Хозяйка. Поправь воротник скорее. Одерни рукава!

Хозяин *(хохочет)*. Слышишь, слышишь? Едет.

Приближающийся топот копыт.

Это он, это он!

Хозяйка. Кто?

Хозяин. Тот самый юноша, из-за которого и начнутся у нас удивительные события. Вот радость-то! Вот приятно!

Хозяйка. Это юноша как юноша?

Хозяин. Да, да!

Хозяйка. Вот и хорошо, у меня как раз кофе вскипел.

Стук в дверь.

Хозяин. Войди, войди, давно ждем. Очень рад!

Входит юноша. Одет изящно. Скромен, прост, задумчив.
Молча кланяется хозяевам.

(Обнимает его.) Здравствуй, здравствуй, сынок!

Х о з я й к а. Садитесь к столу, пожалуйста, выпейте кофе, пожалуйста. Как вас зовут, сынок?

Ю н о ш а. Медведь.

Х о з я й к а. Как вы говорите?

Ю н о ш а. Медведь.

Х о з я й к а. Какое неподходящее прозвище!

Ю н о ш а. Это вовсе не прозвище. Я и в самом деле медведь.

Х о з я й к а. Нет, что вы... Почему? Вы двигаетесь так ловко, говорите так мягко.

Ю н о ш а. Видите ли... Меня семь лет назад превратил в человека ваш муж. И сделал он это прекрасно. Он у вас великолепный волшебник. У него золотые руки, хозяйка.

Х о з я и н. Спасибо, сынок! *(Пожимает Медведю руку.)*

Х о з я й к а. Это правда?

Х о з я и н. Так ведь это когда было! Дорогая! Семь лет назад!

Х о з я й к а. А почему ты мне сразу не признался в этом?

Х о з я и н. Забыл! Просто-напросто забыл, и все тут! Шел, понимаешь, по лесу, вижу: молодой медведь. Подросток еще. Голова лобастая, глаза умные. Разговорились мы, слово за слово, понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку — раз, два, три — и этого... Ну чего тут сердиться, не понимаю. Погода была хорошая, небо ясное...

Х о з я й к а. Замолчи! Терпеть не могу, когда для собственной забавы мучают животных. Слона заставляют танцевать в кисейной юбочке, соловья сажают в клетку, тигра учат качаться на качелях. Тебе трудно, сынок?

М е д в е д ь. Да, хозяйка! Быть настоящим человеком — очень нелегко.

Х о з я й к а. Бедный мальчик! *(Мужу.)* Чего ты хохочешь, бессердечный?

Х о з я и н. Радуюсь! Любуюсь на свою работу. Человек из мертвого камня сделает статую — и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай еще более живое. Вот это работа!

Х о з я й к а. Какая там работа! Шалости и больше ничего. Ах, прости, сынок, он скрыл от меня, кто ты такой, и я подала сахару к кофе.

М е д в е д ь. Это очень любезно с вашей стороны! Почему вы просите прощения?

Хозяйка. Но вы должны любить мед...

Медведь. Нет, я видеть его не могу! Он будит во мне воспоминания.

Хозяйка. Сейчас же, сейчас же преврати его в медведя, если ты меня любишь! Отпусти его на свободу!

Хозяин. Дорогая, дорогая, все будет отлично! Он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем.

Хозяйка. Правда? Ну, я очень рада. Ты здесь будешь его превращать? Мне выйти из комнаты?

Медведь. Не спешите, дорогая хозяйка. Увы, это случится не так скоро. Я стану вновь медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня.

Хозяйка. Когда, когда? Повтори-ка!

Медведь. Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса меня полюбит и поцелует — я разом превращусь в медведя и убегу в родные мои горы.

Хозяйка. Боже мой, как это грустно!

Хозяин. Вот здравствуйте! Опять не угодил... Почему?

Хозяйка. А о принцессе-то вы и не подумали?

Хозяин. Пустяки! Влюбляться полезно.

Хозяйка. Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, а он вдруг превратится в дикого зверя?

Хозяин. Дело житейское, жена.

Хозяйка. Но ведь он потом убежит в лес!

Хозяин. И это бывает.

Хозяйка. Сынок, сынок, ты бросишь влюбленную девушку?

Медведь. Увидев, что я медведь, она меня сразу разлюбит, хозяйка.

Хозяйка. Что ты знаешь о любви, мальчуган! *(Отводит мужа в сторону. Тихо.)* Я не хочу пугать мальчика, но опасную, опасную игру затеял ты, муж! Землетрясениями ты сбивал масло, молниями приколачивал гвозди, ураган таскал нам из города мебель, посуду, зеркала, перламутровые пуговицы. Я ко всему приучена, но теперь я боюсь.

Хозяин. Чего?

Хозяйка. Ураган, землетрясение, молнии — все это пустяки. Нам с людьми придется дело иметь. Да еще с молодыми. Да еще с влюбленными!

Я чувствую, непременно, непременно случится то, чего мы совсем не ждем!

Хозяин. Ну а что может случиться? Принцесса в него не влюбится? Глупости! Смотри, какой он славный...

Хозяйка. А если...

Гремят трубы.

Хозяин. Поздно тут рассуждать, дорогая. Я сделал так, что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу!

Гремят трубы.

И вот он едет сюда со свитой, министрами и принцессой, своей единственной дочкой. Беги, сынок! Мы их сами примем. Когда будет нужно, я позову тебя.

Медведь убегает.

Хозяйка. И тебе не стыдно будет смотреть в глаза королю?

Хозяин. Ни капельки! Я королей, откровенно говоря, терпеть не могу!

Хозяйка. Все-таки гость!

Хозяин. Да ну его! У него в свите едет палач, а в багаже везут плаху.

Хозяйка. Может, сплетни просто?

Хозяин. Увидишь. Сейчас войдет грубиян, хам, начнет безобразничать, распоряжаться, требовать.

Хозяйка. А вдруг нет! Ведь пропадем со стыда!

Хозяин. Увидишь!

Стук в дверь.

Можно!

Входит король.

Король. Здравствуйте, любезные! Я король, дорогие мои.

Хозяин. Добрый день, ваше величество.

Король. Мне, сам не знаю почему, ужасно понравилась ваша усадьба. Едем по дороге, а меня так и тянет свернуть в горы, подняться к вам. Разрешите нам, пожалуйста, погостить у вас несколько дней!

Хозяин. Боже мой... Ай-ай-ай!

Король. Что с вами?

Хозяин. Я думал, вы не такой. Не вежливый, не мягкий. А впрочем, это неважно! Чего-нибудь придумаем. Я всегда рад гостям.

К о р о л ь. Но мы беспокойные гости!

Х о з я и н. Да это черт с ним! Дело не в этом... Садитесь, пожалуйста!

К о р о л ь. Вы мне нравитесь, хозяин. *(Усаживается.)*

Х о з я и н. Фу ты черт!

К о р о л ь. И поэтому я объясню вам, почему мы беспокойные гости. Можно?

Х о з я и н. Прошу вас, пожалуйста!

К о р о л ь. Я страшный человек!

Х о з я и н *(радостно)*. Ну да?

К о р о л ь. Очень страшный. Я тиран!

Х о з я и н. Ха-ха-ха!

К о р о л ь. Деспот. А кроме того, я коварен, злопамятен, капризен.

Х о з я и н. Вот видишь? Что я тебе говорил, жена?

К о р о л ь. И самое обидное, что не я в этом виноват...

Х о з я и н. А кто же?

К о р о л ь. Предки. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Паразиты они, вот что я вам скажу, простите невольную резкость выражения. Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек. И вдруг такого натворю, что хоть плачь.

Х о з я и н. А удержаться никак не возможно?

К о р о л ь. Куда там! Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость — все ворчат и никто не хочет понять, что это тетя виновата.

Х о з я и н. Вы подумайте! *(Хохочет.)* С ума сойти! *(Хохочет.)*

К о р о л ь. Э, да вы тоже весельчак!

Х о з я и н. Просто удержу нет, король.

К о р о л ь. Вот это славно! *(Достает из сумки, висящей у него через плечо, пузатую плетеную флягу.)* Хозяйка, три бокала!

Х о з я й к а. Извольте, государь!

К о р о л ь. Это драгоценное, трехсотлетнее королевское вино. Нет, нет, не обижайте меня. Давайте отпразднуем нашу встречу. *(Разливает вино.)* Цвет, цвет какой! Костюм бы сделать такого цвета — все другие короли лопнули бы от зависти! Ну, со свиданьицем! Пейте до дна!

Х о з я и н. Не пей, жена.

К о р о л ь. То есть как это "не пей"?

Х о з я и н. А очень просто!

К о р о л ь. Обидеть хотите?

Х о з я и н. Не в том дело...

К о р о л ь. Обидеть? Гостя? *(Хватается за шпагу.)*

Х о з я и н. Тише, тише, ты! Не дома.

К о р о л ь. Ты учить меня вздумал?! Да я только глазом моргну — и нет тебя. Мне плевать, дома я или не дома. Министры спишутся, я выражу сожаление. А ты так и останешься в сырой земле на веки веков. Дома, не дома... Наглец! Еще улыбается... Пей!

Х о з я и н. Не стану!

К о р о л ь. Почему?

Х о з я и н. Да потому, что вино-то отравленное, король!

К о р о л ь. Какое, какое?

Х о з я и н. Отравленное, отравленное!

К о р о л ь. Подумайте, что выдумал!

Х о з я и н. Пей ты первый! Пей, пей! *(Хохочет.)* То-то, брат! *(Бросает в очаг все три бокала.)*

К о р о л ь. Ну это уж глупо! Не хотел пить — я вылил бы зелье обратно в бутылку. Вещь в дороге необходимая! Легко ли на чужбине достать яду?

Х о з я й к а. Стыдно, стыдно, ваше величество!

К о р о л ь. Не я виноват!

Х о з я й к а. А кто?

К о р о л ь. Дядя! Он так же вот разговорится, бывало, с кем придется, наплетет о себе с три короба, а потом ему делается стыдно. И у него душа была тонкая, деликатная, легко уязвимая. И чтобы потом не мучиться, он, бывало, возьмет да и отравит собеседника.

Х о з я и н. Подлец!

К о р о л ь. Скотина форменная! Оставил наследство, негодяй!

Х о з я и н. Значит, дядя виноват?

К о р о л ь. Дядя, дядя, дядя! Нечего улыбаться! Я человек начитанный, совестливый. Другой свалил бы вину за свои подлости на товарищей, на начальство, на соседей, на жену. А я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне полегче.

Х о з я и н. А...

К о р о л ь. Молчи! Знаю, что ты скажешь! Отвечать самому, не сваливая вину на ближних, за все свои подлости и глупости — выше человеческих сил! Я не гений какой-нибудь. Просто король, какими пруд пруди. Ну и довольно об этом! Все стало ясно. Вы меня знаете, я — вас: можно не притворяться, не ломаться. Чего же вы хмуритесь? Остались живы-здоровы, ну и слава богу... Чего там...

Х о з я й к а. Скажите, пожалуйста, король, а принцесса тоже...

К о р о л ь *(очень мягко)*. Ах, нет, нет, что вы! Она совсем другая.

Х о з я й к а. Вот горе-то какое!

К о р о л ь. Не правда ли? Она очень добрая у меня. И славная. Ей трудно приходится...

Х о з я й к а. Мать жива?

К о р о л ь. Умерла, когда принцессе было всего семь минут от роду. Уж вы не обижайте мою дочку.

Х о з я й к а. Король!

К о р о л ь. Ах, я перестаю быть королем, когда вижу ее или думаю о ней. Друзья, друзья мои, какое счастье, что я так люблю только родную дочь! Чужой человек веревки из меня вил бы, и я скончался бы от этого. В бозе почил бы... Да... Так-то вот.

Х о з я и н *(достает из кармана яблоко)*. Скушайте яблочко!

К о р о л ь. Спасибо, не хочется.

Х о з я и н. Хорошее. Не ядовитое!

К о р о л ь. Да я знаю. Вот что, друзья мои. Мне захотелось рассказать вам обо всех моих заботах и горестях. А раз уж захотелось — конец! Не удержаться. Я расскажу! А? Можно?

Х о з я и н. Ну о чем тут спрашивать? Сядь, жена. Поуютней. Поближе к очагу. Вот и я сел. Так вам удобно? Воды принести? Не закрыть ли окна?

К о р о л ь. Нет, нет, спасибо.

Х о з я и н. Мы слушаем, ваше величество! Рассказывайте!

К о р о л ь. Спасибо. Вы знаете, друзья мои, где расположена моя страна?

Х о з я и н. Знаю.

К о р о л ь. Где?

Х о з я и н. За тридевять земель.

Король. Совершенно верно. И вот сейчас вы узнаете, почему мы поехали путешествовать и забрались так далеко. Она причиною этому.

Хозяин. Принцесса?

Король. Да! Она. Дело в том, друзья мои, что принцессе еще и пяти лет не было, когда я заметил, что она совсем не похожа на королевскую дочь. Сначала я ужаснулся. Даже заподозрил в измене свою бедную покойную жену. Стал выяснять, выспрашивать — и забросил следствие на полдороге. Испугался. Я успел так сильно привязаться к девочке! Мне стало даже нравиться, что она такая необыкновенная. Придешь в детскую — и вдруг, стыдно сказать, делаешься симпатичным. Хе-хе. Прямо хоть от престола отказывайся... Это все между нами, господа!

Хозяин. Ну еще бы! Конечно!

Король. До смешного доходило. Подписываешь, бывало, кому-нибудь там смертный приговор и хохочешь, вспоминая ее смешные шалости и словечки. Потеха, верно?

Хозяин. Да нет, почему же!

Король. Ну вот. Так мы и жили. Девочка умнеет, подрастает. Что сделал бы на моем месте настоящий добрый отец? Приучил бы дочь постепенно к житейской грубости, жестокости, коварству. А я, эгоист проклятый, так привык отдыхать возле нее душою, что стал, напротив того, охранять бедняжку от всего, что могло бы ее испортить. Подлость, верно?

Хозяин. Да нет, отчего же!

Король. Подлость, подлость! Согнал во дворец лучших людей со всего королевства. Приставил их к дочке. За стенкой такое делается, что самому бывает жутко. Знаете небось, что такое королевский дворец?

Хозяин. Ух!

Король. Вот то-то и есть! За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат... Словом, идет повседневная, будничная жизнь. А войдешь на половину принцессы — там музыка, разговоры о хороших людях, о поэзии, вечный праздник. Ну и рухнула эта стена из-за чистого пустяка. Помню как сейчас — дело было в субботу. Сижу я, работаю, проверяю донесения министров друг на дружку. Дочка сидит возле, вышивает мне шарф к именинам... Все тихо, мирно, птички поют. Вдруг церемониймейстер входит, докладывает: тетя приехала. Герцо-

гиня. А я ее терпеть не мог. Визгливая баба. Я и говорю церемониймейстеру: скажи ей, что меня дома нет. Пустяк?

Хозяин. Пустяк.

Король. Это для нас с вами пустяк, потому что мы люди как люди. А бедная дочь моя, которую я вырастил как бы в теплице, упала в обморок!

Хозяин. Ну да?

Король. Честное слово. Ее, видите ли, поразило, что папа, ее папа может сказать неправду. Стала она скучать, задумываться, томиться, а я растерялся. Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется! А когда ее хоронили, он шел за гробом да посвистывал. А потом упал да умер. Хорош мальчик?

Хозяин. Куда уж лучше.

Король. Вовремя проснулась наследственность? Понимаете, какая получилась трагедия? Принцесса бродит по дворцу, думает, глядит, слушает, а я сижу на троне сложа ручки да посвистываю. Принцесса вот-вот узнает обо мне такое, что убьет ее насмерть, а я беспомощно улыбаюсь. Но однажды ночью я вдруг очнулся. Вскочил. Приказал запрягать коней — и на рассвете мы уже мчались по дороге, милостиво отвечая на низкие поклоны наших любезных подданных.

Хозяйка. Боже мой, как все это грустно!

Король. У соседей мы не задерживались. Известно, что за сплетники соседи. Мы мчались все дальше и дальше, пока не добрались до Карпатских гор, где о нас никто никогда ничего и не слыхивал. Воздух тут чистый, горный. Разрешите погостить у вас, пока мы не построим замок со всеми удобствами, садом, темницей и площадками для игр...

Хозяйка. Боюсь, что...

Хозяин. Не бойся, пожалуйста! Прошу! Умоляю! Мне все это так нравится! Ну милая, ну дорогая! Идем, идем, ваше величество, я покажу вам комнаты.

Король. Благодарю вас!

Хозяин *(пропускает короля вперед)*. Пожалуйста, сюда, ваше величество! Осторожней, здесь ступенька. Вот так. *(Оборачивается к жене. Шепотом.)* Дай ты мне хоть один денек пошалить! Влюбляться

полезно! Не умрет, господи боже мой! *(Убегает.)*

Хозяйка. Ну уж нет! Пошалить! Разве такая девушка перенесет, когда милый и ласковый юноша на ее глазах превратится в дикого зверя! Опытной женщине — и то стало бы жутко. Не позволю! Уговорю этого бедного медведя потерпеть еще немного, поискать другую принцессу, похуже. Вон, кстати, и конь его стоит нерасседланный, фыркает в овес — значит, сыт и отдохнул. Садись верхом да скачи за горы! Потом вернешься! *(Зовет.)* Сынок! Сынок! Где ты? *(Уходит.)*

Голос ее слышен за сценой: "Где же ты? Сынок!" Вбегает Медведь.

Медведь. Здесь я.

Хозяйка *(за сценой)*. Выйди ко мне в садик!

Медведь. Бегу!

Распахивает дверь. За дверью девушка с букетом в руках.

Простите, я, кажется, толкнул вас, милая девушка?

Девушка роняет цветы. Медведь поднимает их.

Что с вами? Неужели я напугал вас?

Девушка. Нет. Я только немножко растерялась. Видите ли, меня до сих пор никто не называл просто: милая девушка.

Медведь. Я не хотел обидеть вас!

Девушка. Да ведь я вовсе и не обиделась!

Медведь. Ну, слава богу! Моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что девушка милая, то так прямо и говорю ей об этом.

Голос хозяйки. Сынок, сынок, я тебя жду!

Девушка. Это вас зовут?

Медведь. Меня.

Девушка. Вы сын владельца этого дома?

Медведь. Нет, я сирота.

Девушка. Я тоже. То есть отец мой жив, а мать умерла, когда мне было всего семь минут от роду.

Медведь. Но у вас, наверное, много друзей?

Девушка. Почему вы думаете?

Медведь. Не знаю... Мне кажется, что все должны вас любить.

Девушка. За что же?

Медведь. Очень уж вы нежная. Правда... Скажите, когда вы

прячете лицо свое в цветы, — это значит, что вы рассердились?

Д е в у ш к а. Нет.

М е д в е д ь. Тогда я вам еще вот что скажу: вы красивы. Вы так красивы! Очень. Удивительно. Ужасно.

Г о л о с х о з я й к и. Сынок, сынок, где же ты?

М е д в е д ь. Не уходите, пожалуйста!

Д е в у ш к а. Но ведь вас зовут.

М е д в е д ь. Да. Зовут. И вот что я еще скажу вам. Вы мне очень понравились. Ужасно. Сразу.

Девушка хохочет.

Я смешной?

Д е в у ш к а. Нет. Но... что же мне еще делать? Я не знаю. Ведь со мною так никто не разговаривал...

М е д в е д ь. Я очень этому рад. Боже мой, что же это я делаю? Вы, наверное, устали с дороги, проголодались, а я все болтаю да болтаю. Садитесь, пожалуйста. Вот молоко. Парное. Пейте! Ну же! С хлебом, с хлебом!

Девушка повинуется. Она пьет молоко и ест хлеб, не сводя глаз с Медведя.

Д е в у ш к а. Скажите, пожалуйста, вы не волшебник?

М е д в е д ь. Нет, что вы!

Д е в у ш к а. А почему же тогда я так слушаюсь вас? Я очень сытно позавтракала всего пять минут назад — и вот опять пью молоко, да еще с хлебом. Вы честное слово не волшебник?

М е д в е д ь. Честное слово.

Д е в у ш к а. А почему же, когда вы говорили... что я... понравилась вам, то... я почувствовала какую-то странную слабость в плечах и в руках и... Простите, что я у вас об этом спрашиваю, но кого же мне еще спросить? Мы так вдруг подружились! Верно?

М е д в е д ь. Да, да!

Д е в у ш к а. Ничего не понимаю... Сегодня праздник?

М е д в е д ь. Не знаю. Да. Праздник.

Д е в у ш к а. Я так и знала.

М е д в е д ь. А скажите, пожалуйста, кто вы? Вы состоите в свите короля?

Д е в у ш к а. Нет.

М е д в е д ь. Ах, понимаю! Вы из свиты принцессы?

Д е в у ш к а. А вдруг я и есть сама принцесса?

М е д в е д ь. Нет, нет, не шутите со мной так жестоко!

Д е в у ш к а. Что с вами? Вы вдруг так побледнели! Что я такое сказала?

М е д в е д ь. Нет, нет, вы не принцесса. Нет! Я долго бродил по свету и видел множество принцесс — вы на них совсем не похожи!

Д е в у ш к а. Но...

М е д в е д ь. Нет, нет, не мучайте меня. Говорите о чем хотите, только не об этом.

Д е в у ш к а. Хорошо. Вы... Вы говорите, что много бродили по свету?

М е д в е д ь. Да. Я все учился да учился, и в Сорбонне, и в Лейдене, и в Праге. Мне казалось, что человеку жить очень трудно, и я совсем загрустил. И тогда я стал учиться.

Д е в у ш к а. Ну и как?

М е д в е д ь. Не помогло.

Д е в у ш к а. Вы грустите по-прежнему?

М е д в е д ь. Не все время, но грущу.

Д е в у ш к а. Как странно! А мне-то казалось, что вы такой спокойный, радостный, простой!

М е д в е д ь. Это оттого, что я здоров, как медведь. Что с вами? Почему вы вдруг покраснели?

Д е в у ш к а. Сама не знаю. Ведь я так изменилась за последние пять минут, что совсем не знаю себя. Сейчас попробую понять, в чем тут дело. Я... я испугалась!

М е д в е д ь. Чего?

Д е в у ш к а. Вы сказали, что вы здоровы, как медведь. Медведь... Шутка сказать. А я так беззащитна с этой своей волшебной покорностью. Вы не обидите меня?

М е д в е д ь. Дайте мне руку.

Девушка повинуется.
Медведь становится на одно колено. Целует ей руку.

Пусть меня гром убьет, если я когда-нибудь обижу вас. Куда вы пойдете — туда и я пойду, когда вы умрете — тогда и я умру.

Гремят трубы.

Д е в у ш к а. Боже мой! Я совсем забыла о них. Свита добралась наконец до места. *(Подходит к окну.)* Какие вчерашние, домашние лица! Давайте спрячемся от них!

М е д в е д ь. Да, да!

Д е в у ш к а. Бежим на речку!

Убегают, взявшись за руки. Тотчас же в комнату входит х о з я й к а. Она улыбается сквозь слезы.

Х о з я й к а. Ах, боже мой, боже мой! Я слышала, стоя здесь под окном, весь их разговор от слова и до слова. А войти и разлучить их не посмела. Почему? Почему я и плачу и радуюсь, как дура? Ведь я понимаю, что ничем хорошим это кончиться не может, а на душе праздник. Ну вот и налетел ураган, любовь пришла. Бедные дети, счастливые дети!

Робкий стук в дверь.

Войдите!

Входит очень тихий, небрежно одетый ч е л о в е к с узелком в руках.

Ч е л о в е к. Здравствуйте, хозяюшка! Простите, что я врываюсь к вам. Может быть, я помешал? Может быть, мне уйти?

Х о з я й к а. Нет, нет, что вы! Садитесь, пожалуйста!

Ч е л о в е к. Можно положить узелок?

Х о з я й к а. Конечно, прошу вас!

Ч е л о в е к. Вы очень добры. Ах, какой славный, удобный очаг! И ручка для вертела! И крючок для чайника!

Х о з я й к а. Вы королевский повар?

Ч е л о в е к. Нет, хозяюшка, я первый министр короля.

Х о з я й к а. Кто, кто?

М и н и с т р. Первый министр его величества.

Х о з я й к а. Ах, простите...

М и н и с т р. Ничего, я не сержусь... Когда-то все угадывали с первого взгляда, что я министр. Я был сияющий, величественный такой. Знатоки утверждали, что трудно понять, кто держится важнее и достойнее — я или королевские кошки. А теперь... Сами видите...

Х о з я й к а. Что же довело вас до такого состояния?

М и н и с т р. Дорога, хозяюшка.

Х о з я й к а. Дорога?

М и н и с т р. В силу некоторых причин, мы, группа придворных, были вырваны из привычной обстановки и отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно, а тут еще этот тиран.

Х о з я й к а. Король?

М и н и с т р. Что вы, что вы! К его величеству мы давно привыкли. Тиран — это министр-администратор.

Х о з я й к а. Но если вы первый министр, то он ваш подчиненный? Как же он может быть вашим тираном?

М и н и с т р. Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним.

Х о з я й к а. Как же это удалось ему?

М и н и с т р. Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого.

Х о з я й к а. А почему вы не пожалуетесь королю?

М и н и с т р. Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом языке... обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать.

Входят д в е ф р е й л и н ы и п р и д в о р н а я д а м а.

Д а м а *(говорит мягко, негромко, произносит каждое слово с аристократической отчетливостью)*. Черт его знает, когда это кончится! Мы тут запаршивеем к свиньям, пока этот ядовитый гад соблаговолит дать нам мыла. Здравствуйте, хозяйка, простите, что мы без стука. Мы в дороге одичали, как чертова мать.

М и н и с т р. Да, вот она, дорога! Мужчины делаются тихими от ужаса, а женщины — грозными. Позвольте представить вам красу и гордость королевской свиты — первую кавалерственную даму.

Д а м а. Боже мой, как давно не слышала я подобных слов! *(Делает реверанс.)* Очень рада, черт побери. *(Представляет хозяйке.)* Фрейлины принцессы Оринтия и Аманда.

Фрейлины приседают.

Простите, хозяйка, но я вне себя! Его окаянное превосходительство министр-администратор не дал нам сегодня пудры, духов келькфлер

и глицеринового мыла, смягчающего кожу и предохраняющего от обветривания. Я убеждена, что он продал все это туземцам. Поверите ли, когда мы выезжали из столицы, у него была всего только жалкая картонка из-под шляпы, в которой лежал бутерброд и его жалкие кальсоны. *(Министру.)* Не вздрагивайте, мой дорогой, то ли мы видели в дороге! Повторяю: кальсоны. А теперь у наглеца тридцать три ларца и двадцать два чемодана, не считая того, что он отправил домой с оказией.

Station Ринтия. И самое ужасное, что говорить мы теперь можем только о завтраках, обедах и ужинах.

Аманда. А разве для этого покинули мы родной дворец?

Дама. Скотина не хочет понять, что главное в нашем путешествии тонкие чувства: чувства принцессы, чувства короля. Мы были взяты в свиту, как женщины деликатные, чувствительные, милые. Я готова страдать. Не спать ночами. Умереть даже согласна, чтобы помочь принцессе. Но зачем терпеть лишние, никому не нужные, унизительные мучения из-за потерявшего стыд верблюда?

Хозяйка. Не угодно ли вам умыться с дороги, сударыни?

Дама. Мыла нет у нас!

Хозяйка. Я вам дам все что требуется и сколько угодно горячей воды.

Дама. Вы святая! *(Целует хозяйку.)* Мыться! Вспомнить оседлую жизнь! Какое счастье!

Хозяйка. Идемте, идемте, я провожу вас. Присядьте, сударь! Я сейчас вернусь и угощу вас кофе.

Уходит с придворной дамой и фрейлинами. Министр садится у очага.
Входит министр-администратор. Первый министр вскакивает.

Министр *(робко)*. Здравствуйте!

Администратор. А?

Министр. Я сказал: здравствуйте!

Администратор. Виделись!

Министр. Ах, почему, почему вы так невежливы со мной?

Администратор. Я не сказал вам ни одного нехорошего слова. *(Достает из кармана записную книжку и углубляется в какие-то вычисления.)*

Министр. Простите... Где наши чемоданы?

А д м и н и с т р а т о р. Вот народец! Все о себе, все только о себе!

М и н и с т р. Но я...

А д м и н и с т р а т о р. Будете мешать — оставлю без завтрака.

М и н и с т р. Да нет, я ничего. Я так просто... Я сам пойду поищу его... чемоданчик-то. Боже мой, когда же все это кончится! *(Уходит.)*

А д м и н и с т р а т о р *(бормочет, углубившись в книжку)*. Два фунта придворным, а четыре в уме... Три фунта королю, а полтора в уме. Фунт принцессе, а полфунта в уме. Итого в уме шесть фунтиков! За одно утро! Молодец. Умница.

Входит х о з я й к а. Администратор подмигивает ей.

Ровно в полночь!

Х о з я й к а. Что в полночь?

А д м и н и с т р а т о р. Приходите к амбару. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я привлекателен — чего же тут время терять? В полночь. У амбара. Жду. Не пожалеете.

Х о з я й к а. Как вы смеете!

А д м и н и с т р а т о р. Да, дорогая моя, — смею. Я и на принцессу, ха-ха, поглядываю многозначительно, но дурочка пока что ничего такого не понимает. Я своего не пропущу!

Х о з я й к а. Вы сумасшедший?

А д м и н и с т р а т о р. Что вы, напротив! Я так нормален, что сам удивляюсь.

Х о з я й к а. Ну, значит, вы просто негодяй.

А д м и н и с т р а т о р. Ах, дорогая, а кто хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего. Сегодня, например, вижу: летит бабочка. Головка крошечная, безмозглая. Крыльями — бяк, бяк — дура дурой! Это зрелище на меня так подействовало, что я взял да украл у короля двести золотых. Чего тут стесняться, когда весь мир создан совершенно не на мой вкус. Береза — тупица, дуб — осел. Речка — идиотка. Облака — кретины. Люди — мошенники. Все! Даже грудные младенцы только об одном мечтают, как бы пожрать да поспать. Да ну его! Чего там в самом деле? Придете?

Х о з я й к а. И не подумаю. Да еще мужу пожалуюсь, и он превратит вас в крысу.

А д м и н и с т р а т о р. Позвольте, он волшебник?

Х о з я й к а. Да.

А д м и н и с т р а т о р. Предупреждать надо! В таком случае —

забудьте о моем наглом предложении. *(Скороговоркой.)* Считаю его безобразной ошибкой. Я крайне подлый человек. Раскаиваюсь, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить. Все. Где же, однако, эти проклятые придворные!

Хозяйка. За что вы их так ненавидите?

Администратор. Сам не знаю. Но чем больше я на них наживаюсь, тем больше ненавижу.

Хозяйка. Вернувшись домой, они вам все припомнят.

Администратор. Глупости! Вернутся, умилятся, обрадуются, захлопочутся, все забудут.

Трубит в трубу. Входят первый министр, придворная дама, фрейлины.

Где вы шляетесь, господа? Не могу же я бегать за каждым в отдельности. Ах! *(Придворной даме.)* Вы умылись?

Дама. Умылась, черт меня подери!

Администратор. Предупреждаю: если вы будете умываться через мою голову, я снимаю с себя всякую ответственность. Должен быть известный порядок, господа. Тогда все делайте сами! Что такое, на самом деле...

Министр. Тише! Его величество идет сюда!

Входят король и хозяин. Придворные низко кланяются.

Король. Честное слово, мне здесь очень нравится. Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял! Хорошо все-таки, что я не у себя! Дома я не удержался бы и заточил бы вас в свинцовую башню на рыночной площади. Ужасное место! Днем жара, ночью холод. Узники до того мучаются, что даже тюремщики иногда плачут от жалости... Заточил бы я вас, а домик себе!

Хозяин *(хохочет)*. Вот изверг-то!

Король. А вы как думали? Король — от темени до пят! Двенадцать поколений предков — и все изверги, один к одному! Сударыни, где моя дочь?

Дама. Ваше величество! Принцесса приказала нам отстать. Их высочеству угодно было собирать цветы на прелестной поляне, возле шумного горного ручья в полном одиночестве.

К о р о л ь. Как осмелились вы бросить крошку одну! В траве могут быть змеи, от ручья дует!

Х о з я й к а. Нет, король, нет! Не бойтесь за нее. *(Указывает в окно.)* Вон она идет, живехонька, здоровехонька!

К о р о л ь *(бросается к окну)*. Правда! Да, да, верно, вон, вон идет дочка моя единственная. *(Хохочет.)* Засмеялась! *(Хмурится.)* А теперь задумалась... *(Сияет.)* А теперь улыбнулась. Да как нежно, как ласково! Что это за юноша с нею? Он ей нравится — значит, и мне тоже. Какого он происхождения?

Х о з я и н. Волшебного!

К о р о л ь. Прекрасно. Родители живы?

Х о з я и н. Умерли.

К о р о л ь. Великолепно! Братья, сестры есть?

Х о з я и н. Нету.

К о р о л ь. Лучше и быть не может. Я пожалую ему титул, состояние, и пусть он путешествует с нами. Не может он быть плохим человеком, если так понравился нам. Хозяйка, он славный юноша?

Х о з я й к а. Очень, но...

К о р о л ь. Никаких "но"! Сто лет человек не видел свою дочь радостной, а ему говорят "но"! Довольно, кончено! Я счастлив — и все тут! Буду сегодня кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками, как мой двоюродный прадед, который утонул в аквариуме, пытаясь поймать зубами золотую рыбку. Откройте бочку вина! Две бочки! Три! Приготовьте тарелки — я их буду бить! Уберите хлеб из овина — я подожгу овин! И пошлите в город за стеклами и стекольщиком! Мы счастливы, мы веселы, все пойдет теперь, как в хорошем сне!

Входят п р и н ц е с с а и М е д в е д ь.

П р и н ц е с с а. Здравствуйте, господа!

П р и д в о р н ы е *(хором)*. Здравствуйте, ваше королевское высочество!

Медведь замирает в ужасе.

П р и н ц е с с а. Я, правда, видела уже вас всех сегодня, но мне кажется, что это было так давно! Господа, этот юноша — мой лучший друг.

К о р о л ь. Жалую ему титул принца!

Придворные низко кланяются Медведю, он озирается с ужасом.

Принцесса. Спасибо, папа! Господа! В детстве я завидовала девочкам, у которых есть братья. Мне казалось, что это очень интересно, когда дома возле живет такое непохожее на нас, отчаянное, суровое и веселое существо. И существо это любит вас, потому что вы ему родная сестра. А теперь я не жалею об этом. По-моему, он...

Берет Медведя за руку. Тот вздрагивает.

По-моему, он нравится мне больше даже, чем родной брат. С братьями ссорятся, а с ним я, по-моему, никогда не могла бы поссориться. Он любит то, что я люблю, понимает меня, даже когда я говорю непонятно, и мне с ним очень легко. Я его тоже понимаю, как самое себя. Видите, какой он сердитый. *(Смеется.)* Знаете почему? Я скрыла от него, что я принцесса, он их терпеть не может. Мне хотелось, чтобы он увидал, как непохожа я на других принцесс. Дорогой мой, да ведь я их тоже терпеть не могу! Нет, нет, пожалуйста, не смотрите на меня с таким ужасом! Ну, прошу вас! Ведь это я! Вспомните! Не сердитесь! Не пугайте меня! Не надо! Ну, хотите — я поцелую вас?

Медведь *(с ужасом)*. Ни за что!

Принцесса. Я не понимаю!

Медведь *(тихо, с отчаянием)*. Прощайте, навсегда прощайте! *(Убегает.)*

Пауза. Хозяйка плачет.

Принцесса. Что я ему сделала? Он вернется?

Отчаянный топот копыт.

Король *(у окна)*. Куда вы?! *(Выбегает.)*

Придворные и хозяин за ним. Принцесса бросается к хозяйке.

Принцесса. Вы его назвали — сынок. Вы его знаете. Что я ему сделала?

Хозяйка. Ничего, родная. Ты ни в чем не виновата. Не качай головой, поверь мне!

Принцесса. Нет, нет, я понимаю, все понимаю! Ему не понравилось, что я его взяла за руку при всех. Он так вздрогнул, когда я сделала это. И это... это еще... Я говорила о братьях ужасно нелепо... Я сказала:

интересно, когда возле живет непохожее существо... Существо... Это так по-книжному, так глупо. Или... или... Боже мой! Как я могла забыть самое позорное! Я сказала ему, что поцелую его, а он...

Входят король, хозяин, придворные.

Король. Он ускакал, не оглядываясь, на своем сумасшедшем коне, прямо без дороги, в горы.

Принцесса убегает.

Куда ты? Что ты! *(Мчится за нею следом.)*

Слышно, как щелкает ключ в замке: Король возвращается. Он неузнаваем.

Палач!

Палач показывается в окне.

Палач. Жду, государь.

Король. Приготовься!

Палач. Жду, государь!

Глухой барабанный бой.

Король. Господа придворные, молитесь! Принцесса заперлась в комнате и не пускает меня к себе. Вы все будете казнены!

Администратор. Король!

Король. Все! Эй, вы там. Песочные часы!

Входит королевский слуга. Ставит на стол большие песочные часы.

Помилую только того, кто, пока бежит песок в часах, объяснит мне все и научит, как помочь принцессе. Думайте, господа, думайте. Песок бежит быстро! Говорите по очереди, коротко и точно. Первый министр!

Министр. Государь, по крайнему моему разумению, старшие не должны вмешиваться в любовные дела детей, если это хорошие дети, конечно.

Король. Вы умрете первым, ваше превосходительство! *(Придворной даме.)* Говорите, сударыня!

Дама. Много, много лет назад, государь, я стояла у окна, а юноша на черном коне мчался прочь от меня по горной дороге. Была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт все затихал и затихал вдали...

Администратор. Да говори ты скорей, окаянная! Песок-то сыплется!

Король. Не мешайте!

Администратор. Ведь одна порция на всех. Нам что останется!

Король. Продолжайте, сударыня.

Дама *(неторопливо, с торжеством глядя на администратора).* От всей души благодарю вас, ваше королевское величество! Итак, была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт все затихал и затихал вдали и наконец умолк навеки... Ни разу с той поры не видела я бедного мальчика. И, как вы знаете, государь, я вышла замуж за другого — и вот жива, спокойна и верно служу вашему величеству.

Король. А были вы счастливы после того, как он ускакал?

Дама. Ни одной минуты за всю мою жизнь!

Король. Вы тоже сложите свою голову на плахе, сударыня!

Дама кланяется с достоинством.

(Администратору.) Докладывайте!

Администратор. Самый лучший способ утешить принцессу — это выдать замуж за человека, доказавшего свою практичность, знание жизни, распорядительность и состоящего при короле.

Король. Вы говорите о палаче?

Администратор. Что вы, ваше величество! Я его с этой стороны и не знаю совсем...

Король. Узнаете. Аманда!

Аманда. Король, мы помолились и готовы к смерти.

Король. И вы не посоветуете, как нам быть?

Оринтия. Каждая девушка поступает по-своему в подобных случаях. Только сама принцесса может решить, что тут делать.

Распахивается дверь. Принцесса появляется на пороге.
Она в мужском платье, при шпаге, за поясом пистолеты.

Хозяин. Ха-ха-ха! Отличная девушка! Молодчина!

Король. Дочка! Что ты? Зачем ты пугаешь меня? Куда ты собралась?

Принцесса. Этого я никому не скажу. Оседлать коня!

Король. Да, да, едем, едем!

А д м и н и с т р а т о р. Прекрасно! Палач, уйдите, пожалуйста, родной. Там вас покормят. Убрать песочные часы! Придворные, в кареты!

П р и н ц е с с а. Замолчите! *(Подходит к отцу.)* Я очень тебя люблю, отец, не сердись на меня, но я уезжаю одна.

К о р о л ь. Нет!

П р и н ц е с с а. Клянусь, что убью каждого, кто последует за мной! Запомните это все.

К о р о л ь. Даже я?

П р и н ц е с с а. У меня теперь своя жизнь. Никто ничего не понимает, никому я ничего не скажу больше. Я одна, одна, и хочу быть одна! Прощайте! *(Уходит.)*

Король стоит некоторое время неподвижно, ошеломленный. Топот копыт приводит его в себя. Он бросается к окну.

К о р о л ь. Скачет верхом! Без дороги! В горы! Она заблудится! Она простудится! Упадет с седла и запутается в стремени! За ней! Следом! Чего вы ждете?

А д м и н и с т р а т о р. Ваше величество! Принцесса изволила поклясться, что застрелит каждого, кто последует за ней!

К о р о л ь. Все равно! Я буду следить за ней издали. За камушками ползти. За кустами. В траве буду прятаться от родной дочери, но не брошу ее. За мной!

Выбегает. Придворные за ним.

Х о з я й к а. Ну? Ты доволен?

Х о з я и н. Очень!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Общая комната в трактире "Эмилия". Поздний вечер. Пылает огонь в камине.
Светло. Уютно. Стены дрожат от отчаянных порывов ветра.
За прилавком — трактирщик.
Это маленький, быстрый, стройный, изящный в движениях человек.

Трактирщик. Ну и погодка! Метель, буря, лавины, обвалы! Даже дикие козы испугались и прибежали ко мне во двор просить о помощи. Сколько лет живу здесь, на горной вершине, среди вечных снегов, а такого урагана не припомню. Хорошо, что трактир мой построен надежно, как хороший замок, кладовые полны, огонь пылает. Трактир "Эмилия"! Трактир "Эмилия"... Эмилия... Да, да... Проходят охотники, проезжают дровосеки, волокут волоком мачтовые сосны, странники бредут неведомо куда, неведомо откуда, и все они позвонят в колокол, постучат в дверь, зайдут отдохнуть, поговорить, посмеяться, пожаловаться. И каждый раз я, как дурак, надеюсь, что каким-то чудом она вдруг войдет сюда. Она уже седая теперь, наверное. Седая. Давно замужем... И все-таки я мечтаю хоть голос ее услышать. Эмилия, Эмилия...

Звонит колокол.

...Боже мой!

Стучат в дверь. Трактирщик бросается открывать.

Войдите! Пожалуйста, войдите!

Входят король, министры, придворные.
Все они закутаны с головы до ног, занесены снегом.

К огню, господа, к огню! Не плачьте, сударыни, прошу вас! Я понимаю, что трудно не обижаться, когда вас бьют по лицу, суют за шиворот снег, толкают в сугроб, но ведь буря это делает без всякой злобы, нечаянно. Буря только разыгралась — и все тут. Позвольте, я помогу вам. Вот так. Горячего вина, пожалуйста. Вот так!

Министр. Какое прекрасное вино!

Трактирщик. Благодарю вас! Я сам вырастил лозу, сам давил виноград, сам выдержал вино в своих подвалах и своими руками подаю его людям. Я все делаю сам. В молодости я ненавидел людей, но это так скучно! Ведь тогда ничего не хочется делать и тебя одолевают бесплодные, печальные мысли. И вот я стал служить людям и понемножку привязался к ним. Горячего молока, сударыни! Да, я служу людям и горжусь этим! Я считаю, что трактирщик выше, чем Александр Македонский. Тот людей убивал, а я их кормлю, веселю, прячу от непогоды. Конечно, я беру за это деньги, но и Македонский работал не бесплатно. Еще вина, пожалуйста! С кем имею честь говорить? Впрочем, как вам угодно. Я привык к тому, что странники скрывают свои имена.

Король. Трактирщик, я король.

Трактирщик. Добрый вечер, ваше величество!

Король. Добрый вечер. Я очень несчастен, трактирщик!

Трактирщик. Это случается, ваше величество.

Король. Врешь, я беспримерно несчастен! Во время этой проклятой бури мне было полегчало. А теперь вот я согрелся, ожил и все мои тревоги и горести ожили вместе со мной. Безобразие какое! Дайте мне еще вина!

Трактирщик. Сделайте одолжение!

Король. У меня дочка пропала!

Трактирщик. Ай-ай-ай!

Король. Эти бездельники, эти дармоеды оставили ребенка без присмотра. Дочка влюбилась, поссорилась, переоделась мальчиком и скрылась. Она не забредала к вам?

Трактирщик. Увы, нет, государь!

Король. Кто живет в трактире?

Трактирщик. Знаменитый охотник с двумя учениками.

Король. Охотник? Позовите его! Он мог встретить мою дочку. Ведь охотники охотятся повсюду!

Трактирщик. Увы, государь, этот охотник теперь совсем не охотится.

Король. А чем же он занимается?

Трактирщик. Борется за свою славу. Он добыл уже пятьдесят дипломов, подтверждающих, что он знаменит, и подстрелил шестьдесят хулителей своего таланта.

Король. А здесь он что делает?

Трактирщик. Отдыхает! Бороться за свою славу — что может быть утомительнее?

Король. Ну, тогда черт с ним. Эй, вы там, приговоренные к смерти! В путь!

Трактирщик. Куда вы, государь? Подумайте! Вы идете на верную гибель!

Король. А вам-то что? Мне легче там, где лупят снегом по лицу и толкают в шею. Встать!

Придворные встают.

Трактирщик. Погодите, ваше величество! Не надо капризничать, не надо лезть назло судьбе к самому черту в лапы. Я понимаю, что когда приходит беда — трудно усидеть на месте...

Король. Невозможно!

Трактирщик. А приходится иногда! В такую ночь никого вы не разыщете, а только сами пропадете без вести.

Король. Ну и пусть!

Трактирщик. Нельзя же думать только о себе. Не мальчик, слава богу, отец семейства. Ну, ну, ну! Не надо гримасничать, кулаки сжимать, зубами скрипеть. Вы меня послушайте! Я дело говорю! Моя гостиница оборудована всем, что может принести пользу гостям. Слыхали вы, что люди научились теперь передавать мысли на расстояние?

Король. Придворный ученый что-то пробовал мне рассказать об этом, да я уснул.

Трактирщик. И напрасно! Сейчас я расспрошу соседей о бедной принцессе, не выходя из этой комнаты.

Король. Честное слово?

Трактирщик. Увидите. В пяти часах езды от нас — монастырь, где экономом работает мой лучший друг. Это самый любопытный монах на свете. Он знает все, что творится на сто верст вокруг. Сейчас я передам ему все, что требуется, и через несколько секунд получу ответ. Тише, тише, друзья мои, не шевелитесь, не вздыхайте так тяжело: мне надо сосредоточиться. Так. Передаю мысли на расстояние. "Ау! Ау! Гоп-гоп! Мужской монастырь, келья девять, отцу эконому. Отец эконом! Гоп-гоп! Ау! Горах заблудилась девушка мужском платье. Сообщи, где она.

Целую. Трактирщик". Вот и все. Сударыни, не надо плакать. Я настраиваюсь на прием, а женские слезы расстраивают меня. Вот так. Благодарю вас. Тише. Перехожу на прием. "Трактир "Эмилия". Трактирщику. Не знаю сожалению. Пришли монастырь две туши черных козлов". Все понятно! Отец эконом, к сожалению, не знает, где принцесса, и просит прислать для монастырской трапезы...

К о р о л ь. К черту трапезу! Спрашивайте других соседей!

Т р а к т и р щ и к. Увы, государь, уж если отец эконом ничего не знает, то все другие тем более.

К о р о л ь. Я сейчас проглочу мешок пороху, ударю себя по животу и разорвусь в клочья!

Т р а к т и р щ и к. Эти домашние средства никогда и ничему не помогают. *(Берет связку ключей.)* Я отведу вам самую большую комнату, государь!

К о р о л ь. Что я там буду делать?

Т р а к т и р щ и к. Ходить из угла в угол. А на рассвете мы вместе отправимся на поиски. Верно говорю. Вот вам ключ. И вы, господа, получайте ключи от своих комнат. Это самое разумное из всего, что можно сделать сегодня. Отдохнуть надо, друзья мои! Набраться сил! Берите свечи. Вот так. Пожалуйте за мной!

Уходит, сопровождаемый королем и придворными.
Тотчас же в комнату входит у ч е н и к знаменитого охотника.
Оглядевшись осторожно, он кричит перепелом.
Ему отвечает чириканье скворца, и в комнату заглядывает о х о т н и к.

У ч е н и к. Идите смело! Никого тут нету!

О х о т н и к. Если это охотники приехали сюда, то я застрелю тебя, как зайца.

У ч е н и к. Да я-то здесь при чем? Господи!

О х о т н и к. Молчи! Куда ни поеду отдыхать — везде толкутся окаянные охотники. Ненавижу! Да еще тут же охотничьи жены обсуждают охотничьи дела вкривь и вкось! Тьфу! Дурак ты!

У ч е н и к. Господи! Да я-то тут при чем?

О х о т н и к. Заруби себе на носу: если эти приезжие — охотники, то мы уезжаем немедленно. Болван! Убить тебя мало!

У ч е н и к. Да что же это такое? Да за что же вы меня, начальник, мучаете! Да я...

О х о т н и к. Молчи! Молчи, когда старшие сердятся! Ты чего

хочешь? Чтобы я, настоящий охотник, тратил заряды даром? Нет, брат! Я для того и держу учеников, чтобы моя брань задевала хоть кого-нибудь. Семьи у меня нет, терпи ты. Письма отправил?

У ч е н и к. Отнес еще до бури. И когда шел обратно, то...

О х о т н и к. Помолчи! Все отправил? И то, что в большом конверте? Начальнику охоты?

У ч е н и к. Все, все! И когда шел обратно, следы видел. И заячьи, и лисьи.

О х о т н и к. К черту следы! Есть мне время заниматься глупостями, когда там внизу глупцы и завистники роют мне яму.

У ч е н и к. А может, не роют?

О х о т н и к. Роют, знаю я их!

У ч е н и к. Ну и пусть. А мы настреляли бы дичи целую гору — вот когда нас боялись бы... Они нам яму, а мы им добычу, ну и вышло бы, что мы молодцы, а они подлецы. Настрелять бы...

О х о т н и к. Осел! Настрелять бы... Как начнут они там внизу обсуждать каждый мой выстрел — с ума сойдешь! Лису, мол, он убил, как в прошлом году, ничего не внес нового в дело охоты. А если, чего доброго, промахнешься! Я, который до сих пор бил без промаха? Молчи! Убью! *(Очень мягко.)* А где же мой новый ученик?

У ч е н и к. Чистит ружье.

О х о т н и к. Молодец!

У ч е н и к. Конечно! У вас кто новый, тот и молодец.

О х о т н и к. Ну и что? Во-первых, я его не знаю и могу ждать от него любых чудес. Во-вторых, он меня не знает и поэтому уважает без всяких оговорок и рассуждений. Не то, что ты!

Звонит колокол.

Батюшки мои! Приехал кто-то! В такую погоду! Честное слово, это какой-нибудь охотник. Нарочно вылез в бурю, чтобы потом хвастать...

Стук в дверь.

Открывай, дурак! Так бы и убил тебя!

У ч е н и к. Господи, да я-то здесь при чем?

Отпирает дверь. Входит М е д в е д ь, занесенный снегом, ошеломленный. Отряхивается, оглядывается.

М е д в е д ь. Куда это меня занесло?

О х о т н и к. Идите к огню, грейтесь.

М е д в е д ь. Благодарю. Это гостиница?

О х о т н и к. Да. Хозяин сейчас выйдет. Вы охотник?

М е д в е д ь. Что вы! Что вы!

О х о т н и к. Почему вы говорите с таким ужасом об этом?

М е д в е д ь. Я не люблю охотников.

О х о т н и к. А вы их знаете, молодой человек?

М е д в е д ь. Да, мы встречались.

О х о т н и к. Охотники — это самые достойные люди на земле! Это все честные, простые парни. Они любят свое дело. Они вязнут в болотах, взбираются на горные вершины, блуждают по такой чаще, где даже зверю приходится жутко. И делают они все это не из любви к наживе, не из честолюбия, нет, нет! Их ведет благородная страсть! Понял?

М е д в е д ь. Нет, не понял. Но умоляю вас, не будем спорить! Я не знал, что вы так любите охотников!

О х о т н и к. Кто, я? Я просто терпеть не могу, когда их ругают посторонние.

М е д в е д ь. Хорошо, я не буду их ругать. Мне не до этого.

О х о т н и к. Я сам охотник! Знаменитый!

М е д в е д ь. Мне очень жаль.

О х о т н и к. Не считая мелкой дичи, я подстрелил на своем веку пятьсот оленей, пятьсот коз, четыреста волков и девяносто девять медведей.

Медведь вскакивает.

Чего вы вскочили?

М е д в е д ь. Убивать медведей — все равно что детей убивать!

О х о т н и к. Хороши дети! Вы видели их когти?

М е д в е д ь. Да. Они много короче, чем охотничьи кинжалы.

О х о т н и к. А сила медвежья?

М е д в е д ь. Не надо было дразнить зверя.

О х о т н и к. Я так возмущен, что просто слов нет, придется стрелять. *(Кричит.)* Эй! Мальчуган! Принеси сюда ружье! Живо! Сейчас я вас убью, молодой человек.

М е д в е д ь. Мне все равно.

О х о т н и к. Где же ты, мальчуган? Ружье, ружье мне.

Вбегает п р и н ц е с с а. В руках у нее ружье. Медведь вскакивает.

(Принцессе.) Гляди, ученик, и учись. Этот наглец и невежда сейчас

будет убит. Не жалей его. Он не человек, так как ничего не понимает в искусстве. Подай мне ружье, мальчик. Что ты прижимаешь его к себе, как маленького ребенка?

Вбегает трактирщик.

Трактирщик. Что случилось? А, понимаю. Дай ему ружье, мальчик, не бойся. Пока господин знаменитый охотник отдыхал после обеда, я высыпал порох из всех зарядов. Я знаю привычки моего почтенного гостя!

Охотник. Проклятье!

Трактирщик. Вовсе не проклятье, дорогой друг. Вы, старые скандалисты, в глубине души бываете довольны, когда вас хватают за руки.

Охотник. Нахал!

Трактирщик. Ладно, ладно! Съешь лучше двойную порцию охотничьих сосисок.

Охотник. Давай, черт с тобой. И охотничьей настойки двойную порцию.

Трактирщик. Вот так-то лучше.

Охотник *(ученикам)*. Садитесь, мальчуганы. Завтра, когда погода станет потише, идем на охоту.

Ученик. Ура!

Охотник. В хлопотах и суете я забыл, какое это высокое, прекрасное искусство. Этот дурачок раззадорил меня.

Трактирщик. Тише ты! *(Отводит Медведя в дальний угол, усаживает за стол.)* Садитесь, пожалуйста, сударь. Что с вами? Вы нездоровы? Сейчас я вас вылечу. У меня прекрасная аптечка для проезжающих... У вас жар?

Медведь. Не знаю... *(Шепотом.)* Кто эта девушка?

Трактирщик. Все понятно... Вы сходите с ума от несчастной любви. Тут, к сожалению, лекарства бессильны.

Медведь. Кто эта девушка?

Трактирщик. Здесь ее нет, бедняга!

Медведь. Ну как же нет! Вон она шепчется с охотником.

Трактирщик. Это вам все чудится! Это вовсе не она, это он. Это просто ученик знаменитого охотника. Вы понимаете меня?

Медведь. Благодарю вас. Да.

О х о т н и к. Что вы там шепчетесь обо мне?

Т р а к т и р щ и к. И вовсе не о тебе.

О х о т н и к. Все равно! Терпеть не могу, когда на меня глазеют. Отнеси ужин ко мне в комнату. Ученики, за мной!

Трактирщик несет поднос с ужином. Охотник с учеником и принцессой идут следом. Медведь бросается за ними. Вдруг дверь распахивается, прежде чем Медведь успевает добежать до нее. На пороге принцесса. Некоторое время принцесса и Медведь молча смотрят друг на друга. Но вот принцесса обходит Медведя, идет к столу, за которым сидела, берет забытый там носовой платок и направляется к выходу, не глядя на Медведя.

М е д в е д ь. Простите... У вас нет сестры?

Принцесса отрицательно качает головой.

Посидите со мной немного. Пожалуйста! Дело в том, что вы удивительно похожи на девушку, которую мне необходимо забыть как можно скорее. Куда же вы?

П р и н ц е с с а. Не хочу напоминать то, что необходимо забыть.

М е д в е д ь. Боже мой! И голос ее!

П р и н ц е с с а. Вы бредите.

М е д в е д ь. Очень может быть. Я как в тумане.

П р и н ц е с с а. Отчего?

М е д в е д ь. Я ехал и ехал трое суток, без отдыха, без дороги. Поехал бы дальше, но мой конь заплакал, как ребенок, когда я хотел миновать эту гостиницу.

П р и н ц е с с а. Вы убили кого-нибудь?

М е д в е д ь. Нет, что вы!

П р и н ц е с с а. От кого же бежали вы, как преступник?

М е д в е д ь. От любви.

П р и н ц е с с а. Какая забавная история!

М е д в е д ь. Не смейтесь. Я знаю: молодые люди — жестокий народ. Ведь они еще ничего не успели пережить. Я сам был таким всего три дня назад. Но с тех пор поумнел. Вы были когда-нибудь влюблены?

П р и н ц е с с а. Не верю я в эти глупости.

М е д в е д ь. Я тоже не верил. А потом влюбился.

П р и н ц е с с а. В кого же это, позвольте узнать?

М е д в е д ь. В ту самую девушку, которая так похожа на вас.

П р и н ц е с с а. Смотрите пожалуйста.

Медведь. Умоляю вас, не улыбайтесь! Я очень серьезно влюбился!

Принцесса. Да уж от легкого увлечения так далеко не убежишь.

Медведь. Ах, вы не понимаете... Я влюбился и был счастлив. Недолго, но зато как никогда в жизни. А потом...

Принцесса. Ну?

Медведь. Потом я вдруг узнал об этой девушке нечто такое, что все перевернуло разом. И в довершение беды я вдруг увидел ясно, что и она влюбилась в меня тоже.

Принцесса. Какой удар для влюбленного!

Медведь. В этом случае страшный удар! А еще страшнее, страшнее всего мне стало, когда она сказала, что поцелует меня.

Принцесса. Глупая девчонка!

Медведь. Что?

Принцесса. Презренная дура!

Медведь. Не смей так говорить о ней!

Принцесса. Она этого стоит.

Медведь. Не тебе судить! Это прекрасная девушка. Простая и доверчивая, как... как... как я!

Принцесса. Вы? Вы хитрец, хвастун и болтун.

Медведь. Я?

Принцесса. Да! Первому встречному с худо скрытым торжеством рассказываете вы о своих победах.

Медведь. Так вот как ты поняла меня?

Принцесса. Да, именно так! Она глупа...

Медведь. Изволь говорить о ней почтительно!

Принцесса. Она глупа, глупа, глупа!

Медведь. Довольно! Дерзких щенят наказывают! *(Выхватывает шпагу.)* Защищайся!

Принцесса. К вашим услугам!

Сражаются ожесточенно.

Уже дважды я мог убить вас.

Медведь. А я, мальчуган, ищу смерти!

Принцесса. Почему вы не умерли без посторонней помощи?

Медведь. Здоровье не позволяет.

Делает выпад. Сбивает шляпу с головы принцессы.
Ее тяжелые косы падают почти до земли. Медведь роняет шпагу.

Принцесса! Вот счастье! Вот беда! Это вы! Вы! Зачем вы здесь?

Принцесса. Три дня я гналась за вами. Только в бурю потеряла ваш след, встретила охотника и пошла к нему в ученики.

Медведь. Вы три дня гнались за мной?

Принцесса. Да! Чтобы сказать, как вы мне безразличны. Знайте, что вы для меня все равно что... все равно что бабушка, да еще чужая! И я не собираюсь вас целовать! И не думала я вовсе влюбляться в вас. Прощайте! *(Уходит. Возвращается.)* Вы так обидели меня, что я все равно отомщу вам! Я докажу вам, как вы мне безразличны. Умру, а докажу! *(Уходит.)*

Медведь. Бежать, бежать скорее! Она сердилась и бранила меня, а я видел только ее губы и думал, думал об одном: вот сейчас я ее поцелую! Медведь проклятый! Бежать, бежать! А может быть, еще раз, всего только разик взглянуть на нее. Глаза у нее такие ясные! И она здесь, здесь, рядом, за стеной. Сделать несколько шагов и... *(Смеется.)* Подумать только — она в одном доме со мной! Вот счастье! Что я делаю! Я погублю ее и себя! Эй ты, зверь! Прочь отсюда! В путь!

Входит трактирщик.

Я уезжаю!

Трактирщик. Это невозможно.

Медведь. Я не боюсь урагана.

Трактирщик. Конечно, конечно! Но вы разве не слышите, как стало тихо?

Медведь. Верно. Почему это?

Трактирщик. Я попробовал сейчас выйти во двор взглянуть, не снесло ли крышу нового амбара, — и не мог.

Медведь. Не могли?

Трактирщик. Мы погребены под снегом. В последние полчаса не хлопья, а целые сугробы валились с неба. Мой старый друг, горный волшебник, женился и остепенился, а то я подумал бы, что это его шалости.

Медведь. Если уехать нельзя, то заприте меня!

Трактирщик. Запереть?

Медведь. Да, да, на ключ!

Трактирщик. Зачем?

Медведь. Мне нельзя встречаться с ней! Я ее люблю!

Т р а к т и р щ и к. Кого?

М е д в е д ь. Принцессу!

Т р а к т и р щ и к. Она здесь?

М е д в е д ь. Здесь. Она переоделась в мужское платье. Я сразу узнал ее, а вы мне не поверили.

Т р а к т и р щ и к. Так это и в самом деле была она?

М е д в е д ь. Она! Боже мой... Только теперь, когда не вижу ее, я начинаю понимать, как оскорбила она меня!

Т р а к т и р щ и к. Нет!

М е д в е д ь. Как нет? Вы слышали, что она мне тут наговорила?

Т р а к т и р щ и к. Не слышал, но это все равно. Я столько пережил, что все понимаю.

М е д в е д ь. С открытой душой, по-дружески я жаловался ей на свою горькую судьбу, а она подслушала меня, как предатель.

Т р а к т и р щ и к. Не понимаю. Она подслушала, как вы жаловались ей же?

М е д в е д ь. Ах, ведь тогда я думал, что говорю с юношей, похожим на нее! Так понять меня! Все кончено! Больше я не скажу ей ни слова! Этого простить нельзя! Когда путь будет свободен, я только один разик молча взгляну на нее и уеду. Заприте, заприте меня!

Т р а к т и р щ и к. Вот вам ключ. Ступайте. Вон ваша комната. Нет, нет, запирать я вас не стану. В дверях новенький замок, и мне будет жалко, если вы его сломаете. Спокойной ночи. Идите, идите же!

М е д в е д ь. Спокойной ночи. *(Уходит.)*

Т р а к т и р щ и к. Спокойной ночи. Только не найти его тебе, нигде не найти тебе покоя. Запрись в монастырь — одиночество напомнит о ней. Открой трактир при дороге — каждый стук двери напомнит тебе о ней.

Входит п р и д в о р н а я д а м а.

Д а м а. Простите, но свеча у меня в комнате все время гаснет.

Т р а к т и р щ и к. Эмилия! Ведь это верно? Ведь вас зовут Эмилия?

Д а м а. Да, меня зовут так. Но, сударь...

Т р а к т и р щ и к. Эмилия!

Д а м а. Черт меня побери!

Т р а к т и р щ и к. Вы узнаете меня?

Д а м а. Эмиль...

Трактирщик. Так звали юношу, которого жестокая девушка заставила бежать за тридевять земель, в горы, в вечные снега.

Дама. Не смотрите на меня. Лицо обветрилось. Впрочем, к дьяволу все. Смотрите. Вот я какая. Смешно?

Трактирщик. Я вижу вас такой, как двадцать пять лет назад.

Дама. Проклятие!

Трактирщик. На самых многолюдных маскарадах я узнавал вас под любой маской.

Дама. Помню.

Трактирщик. Что мне маска, которую надело на вас время!

Дама. Но вы не сразу узнали меня!

Трактирщик. Вы были так закутаны. Не смейтесь!

Дама. Я разучилась плакать. Вы меня узнали, но вы не знаете меня. Я стала злобной. Особенно в последнее время. Трубки нет?

Трактирщик. Трубки?

Дама. Я курю в последнее время. Тайно. Матросский табак. Адское зелье. От этого табака свечка и гасла все время у меня в комнате. Я и пить пробовала. Не понравилось. Вот я какая теперь стала.

Трактирщик. Вы всегда были такой.

Дама. Я?

Трактирщик. Да. Всегда у вас был упрямый и гордый нрав. Теперь он сказывается по-новому — вот и вся разница. Замужем были?

Дама. Была.

Трактирщик. За кем?

Дама. Вы его не знали.

Трактирщик. Он здесь?

Дама. Умер.

Трактирщик. А я думал, что этот юный паж стал вашим супругом.

Дама. Он тоже умер.

Трактирщик. Вот как? Отчего?

Дама. Утонул, отправившись на поиски младшего сына, которого буря унесла в море. Юношу подобрал купеческий корабль, а отец утонул.

Трактирщик. Так. Значит, юный паж...

Дама. Стал седым ученым и умер, а вы все сердитесь на него.

Трактирщик. Вы целовались с ним на балконе!

Д а м а. А вы танцевали с дочкой генерала.

Т р а к т и р щ и к. Танцевать прилично!

Д а м а. Черт побери! Вы шептали ей что-то на ухо все время!

Т р а к т и р щ и к. Я шептал ей: раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Она все время сбивалась с такта.

Д а м а. Смешно!

Т р а к т и р щ и к. Ужасно смешно! До слез.

Д а м а. С чего вы взяли, что мы были бы счастливы, поженившись?

Т р а к т и р щ и к. А вы сомневаетесь в этом? Да? Что же вы молчите!

Д а м а. Вечной любви не бывает.

Т р а к т и р щ и к. У трактирной стойки я не то еще слышал о любви. А вам не подобает так говорить. Вы всегда были разумны и наблюдательны.

Д а м а. Ладно. Ну простите меня, окаянную, за то, что я целовалась с этим мальчишкой. Дайте руку.

Эмиль и Эмилия пожимают друг другу руки.

Ну, вот и все. Жизнь не начнешь сначала.

Т р а к т и р щ и к. Все равно. Я счастлив, что вижу вас.

Д а м а. Я тоже. Тем глупее. Ладно. Плакать я теперь разучилась. Только смеюсь или бранюсь. Поговорим о другом, если вам не угодно, чтобы я ругалась, как кучер, или ржала, как лошадь.

Т р а к т и р щ и к. Да, да. У нас есть о чем поговорить. У меня в доме двое влюбленных детей могут погибнуть без нашей помощи.

Д а м а. Кто эти бедняги?

Т р а к т и р щ и к. Принцесса и тот юноша, из-за которого она бежала из дому. Он приехал сюда вслед за вами.

Д а м а. Они встретились?

Т р а к т и р щ и к. Да. И успели поссориться.

Д а м а. Бей в барабаны!

Т р а к т и р щ и к. Что вы говорите?

Д а м а. Труби в трубы!

Т р а к т и р щ и к. В какие трубы?

Д а м а. Не обращайте внимания. Дворцовая привычка. Так у нас командуют в случае пожара, наводнения, урагана. Караул, в ружье! Надо что-то немедленно предпринять. Пойду доложу королю. Дети погибают! Шпаги вон! К бою готовь! В штыки! *(Убегает.)*

Трактирщик. Я все понял... Эмилия была замужем за дворцовым комендантом. Труби в трубы! Бей в барабаны! Шпаги вон! Курит. Чертыхается. Бедная, гордая, нежная Эмилия! Разве он понимал, на ком женат, проклятый грубиян, царство ему небесное!

Вбегают король, первый министр, министр-администратор, фрейлины, придворная дама.

Король. Вы ее видели?

Трактирщик. Да.

Король. Бледна, худа, еле держится на ногах?

Трактирщик. Загорела, хорошо ест, бегает, как мальчик.

Король. Ха-ха-ха! Молодец.

Трактирщик. Спасибо.

Король. Не вы молодец, она молодец. Впрочем, все равно, пользуйтесь. И он здесь?

Трактирщик. Да.

Король. Влюблен?

Трактирщик. Очень.

Король. Ха-ха-ха! То-то! Знай наших. Мучается?

Трактирщик. Ужасно.

Король. Так ему и надо! Ха-ха-ха! Он мучается, а она жива, здорова, спокойна, весела...

Входит охотник, сопровождаемый учеником.

Охотник. Дай капель!

Трактирщик. Каких?

Охотник. Почем я знаю? Ученик мой заскучал.

Трактирщик. Этот?

Ученик. Еще чего! Я умру — он и то не заметит.

Охотник. Новенький мой заскучал, не ест, не пьет, невпопад отвечает.

Король. Принцесса?

Охотник. Кто, кто?

Трактирщик. Твой новенький — переодетая принцесса.

Ученик. Волк тебя заешь! А я ее чуть не стукнул по шее!

Охотник *(ученику)*. Негодяй! Болван! Мальчика от девочки не можешь отличить!

Ученик. Вы тоже не отличили.

О х о т н и к. Есть мне время заниматься подобными пустяками!

К о р о л ь. Замолчи ты! Где принцесса?

О х о т н и к. Но, но, но, не ори, любезный! У меня работа тонкая, нервная. Я окриков не переношу. Пришибу тебя и отвечать не буду!

Т р а к т и р щ и к. Это король!

О х о т н и к. Ой! *(Кланяется низко.)* Простите, ваше величество.

К о р о л ь. Где моя дочь?

О х о т н и к. Их высочество изволят сидеть у очага в нашей комнате. Сидят они и глядят на уголья.

К о р о л ь. Проводите меня к ней!

О х о т н и к. Рад служить, ваше величество! Сюда, пожалуйста, ваше величество. Я вас провожу, а вы мне диплом. Дескать, учил королевскую дочь благородному искусству охоты.

К о р о л ь. Ладно, потом.

О х о т н и к. Спасибо, ваше величество.

Уходят. Администратор затыкает уши.

А д м и н и с т р а т о р. Сейчас, сейчас мы услышим пальбу!

Т р а к т и р щ и к. Какую?

А д м и н и с т р а т о р. Принцесса дала слово, что застрелит каждого, кто последует за ней.

Д а м а. Она не станет стрелять в родного отца.

А д м и н и с т р а т о р. Знаю я людей! Для честного словца не пожалеют и отца.

Т р а к т и р щ и к. А я не догадался разрядить пистолеты учеников.

Д а м а. Бежим туда! Уговорим ее!

М и н и с т р. Тише! Государь возвращается. Он разгневан!

А д м и н и с т р а т о р. Опять начнет казнить! А я и так простужен! Нет работы вредней придворной.

Входят к о р о л ь и о х о т н и к.

К о р о л ь *(негромко и просто)*. Я в ужасном горе. Она сидит там у огня, тихая, несчастная. Одна — вы слышите? Одна! Ушла из дому, от забот моих ушла. И если я приведу целую армию и все королевское могущество отдам ей в руки — это ей не поможет. Как же это так? Что же мне делать? Я ее растил, берег, а теперь вдруг не могу ей помочь. Она за тридевять земель от меня. Подите к ней. Расспросите ее. Может быть, мы ей можем помочь все-таки? Ступайте же!

А д м и н и с т р а т о р. Она стрелять будет, ваше величество!

К о р о л ь. Ну так что? Вы все равно приговорены к смерти. Боже мой! Зачем все так меняется в твоем мире? Где моя маленькая дочка? Страстная, оскорбленная девушка сидит у огня. Да, да, оскорбленная. Я вижу. Мало ли я их оскорблял на своем веку. Спросите, что он ей сделал? Как мне поступить с ним? Казнить? Это я могу. Поговорить с ним? Берусь! Ну! Ступайте же!

Т р а к т и р щ и к. Позвольте мне поговорить с принцессой, король.

К о р о л ь. Нельзя! Пусть к дочке пойдет кто-нибудь из своих.

Т р а к т и р щ и к. Именно свои влюбленным кажутся особенно чужими. Все переменилось, а свои остались такими, как были.

К о р о л ь. Я не подумал об этом. Вы совершенно правы. Тем не менее приказания своего не отменю.

Т р а к т и р щ и к. Почему?

К о р о л ь. Почему, почему... Самодур потому что. Во мне тетя родная проснулась, дура неисправимая. Шляпу мне!

Министр подает королю шляпу.

Бумаги мне.

Трактирщик подает королю бумагу.

Бросим жребий. Так. Так, готово. Тот, кто вынет бумажку с крестом, пойдет к принцессе.

Д а м а. Позвольте мне без всяких крестов поговорить с принцессой, ваше величество. Мне есть что сказать ей.

К о р о л ь. Не позволю! Мне попала вожжа под мантию! Я — король или не король? Жребий, жребий! Первый министр! Вы первый!

Министр тянет жребий, разворачивает бумажку.

М и н и с т р. Увы, государь!

А д м и н и с т р а т о р. Слава богу!

М и н и с т р. На бумаге нет креста!

А д м и н и с т р а т о р. Зачем же было кричать “увы”, болван!

К о р о л ь. Тише! Ваша очередь, сударыня!

Д а м а. Мне идти, государь.

А д м и н и с т р а т о р. От всей души поздравляю! Царствия вам небесного!

К о р о л ь. А ну, покажите мне бумажку, сударыня! *(Выхватывает из*

рук придворной дамы ее жребий, рассматривает, качает головой.) Вы врунья, сударыня! Вот упрямый народ! Так и норовят одурачить бедного своего повелителя! Следующий! *(Администратору.)* Тяните жребий, сударь. Куда! Куда вы лезете! Откройте глаза, любезный! Вот, вот она, шляпа, перед вами.

Администратор тянет жребий, смотрит.

Администратор. Ха-ха-ха!

Король. Что ха-ха-ха!

Администратор. То есть я хотел сказать — увы! Вот честное слово, провалиться мне, я не вижу никакого креста. Ай-ай-ай, какая обида! Следующий!

Король. Дайте мне ваш жребий!

Администратор. Кого?

Король. Бумажку! Живо! *(Заглядывает в бумажку.)* Нет креста?

Администратор. Нет!

Король. А это что?

Администратор. Какой же это крест? Смешно, честное слово... Это скорее буква "х"!

Король. Нет, любезный, это он и есть! Ступайте!

Администратор. Люди, люди, опомнитесь! Что вы делаете? Мы бросили дела, забыли сан и звание, поскакали в горы по чертовым мостам, по козьим дорожкам. Что нас довело до этого?

Дама. Любовь!

Администратор. Давайте, господа, говорить серьезно! Нет никакой любви на свете!

Трактирщик. Есть!

Администратор. Уж вам-то стыдно притворяться! Человек коммерческий, имеете свое дело.

Трактирщик. И все же я берусь доказать, что любовь существует на свете!

Администратор. Нет ее! Людям я не верю, я слишком хорошо их знаю, а сам ни разу не влюблялся. Следовательно, нет любви! Следовательно, меня посылают на смерть из-за выдумки, предрассудка, пустого места!

Король. Не задерживайте меня, любезный. Не будьте эгоистом.

Администратор. Ладно, ваше величество, я не буду, только

послушайте меня. Когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке или купец плывет в маленьком суденышке по Великому океану — это почтенно, это понятно. Люди деньги зарабатывают. А во имя чего, извините, мне голову терять? То, что вы называете любовью, — это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно. При чем же тут смерть?

Дама. Замолчите, презренный!

Администратор. Ваше величество, не велите ей ругаться! Нечего, сударыня, нечего смотреть на меня так, будто вы и в самом деле думаете то, что говорите. Нечего, нечего! Все люди свиньи, только одни в этом признаются, а другие ломаются. Не я презренный, не я злодей, а все эти благородные страдальцы, странствующие проповедники, бродячие певцы, нищие музыканты, площадные болтуны. Я весь на виду, всякому понятно, чего я хочу. С каждого понемножку — и я уже не сержусь, веселею, успокаиваюсь, сижу себе да щелкаю на счетах. А эти раздуватели чувств, мучители душ человеческих — вот они воистину злодеи, убийцы непойманные. Это они лгут, будто совесть существует в природе, уверяют, что сострадание прекрасно, восхваляют верность, учат доблести и толкают на смерть обманутых дурачков! Это они выдумали любовь. Нет ее! Поверьте солидному, состоятельному мужчине!

Король. А почему принцесса страдает?

Администратор. По молодости лет, ваше величество!

Король. Ладно. Сказал последнее слово приговоренного и хватит. Все равно не помилую! Ступай! Ни слова! Застрелю!

Администратор уходит, пошатываясь.

Экий дьявол! И зачем только я слушал его? Он разбудил во мне тетю, которую каждый мог убедить в чем угодно. Бедняжка была восемнадцать раз замужем, не считая легких увлечений. А ну как и в самом деле нет никакой любви на свете? Может быть, у принцессы просто ангина или бронхит, а я мучаюсь.

Дама. Ваше величество...

Король. Помолчите, сударыня! Вы женщина почтенная, верующая. Спросим молодежь. Аманда! Вы верите в любовь?

Аманда. Нет, ваше величество!

Король. Вот видите! А почему?

Аманда. Я была влюблена в одного человека, и он оказался таким

чудовищем, что я перестала верить в любовь. Я влюбляюсь теперь во всех, кому не лень. Все равно!

Король. Вот видите! А вы что скажете о любви, Оринтия?

Оринтия. Все, что вам угодно, кроме правды, ваше величество.

Король. Почему?

Оринтия. Говорить о любви правду так страшно и так трудно, что я разучилась это делать раз и навсегда. Я говорю о любви то, чего от меня ждут.

Король. Вы мне скажите только одно — есть любовь на свете?

Оринтия. Есть, ваше величество, если вам угодно. Я сама столько раз влюблялась!

Король. А может, нет ее?

Оринтия. Нет ее, если вам угодно, государь! Есть легкое, веселое безумие, которое всегда кончается пустяками.

Выстрел.

Король. Вот вам и пустяки!

Охотник. Царствие ему небесное!

Ученик. А может, он... она... они — промахнулись?

Охотник. Наглец! Моя ученица — и вдруг...

Ученик. Долго ли училась-то!

Охотник. О ком говоришь! При ком говоришь! Очнись!

Король. Тише вы! Не мешайте мне! Я радуюсь! Ха-ха-ха! Наконец-то, наконец вырвалась дочка моя из той проклятой теплицы, в которой я, старый дурак, ее вырастил. Теперь она поступает, как все нормальные люди: у нее неприятности — и вот она палит в кого попало. *(Всхлипывает.)* Растет дочка. Эй, трактирщик! Приберите там в коридоре!

Входит администратор. В руках у него дымящийся пистолет.

Ученик. Промахнулась! Ха-ха-ха!

Король. Это что такое? Почему вы живы, нахал?

Администратор. Потому что это я стрелял, государь.

Король. Вы?

Администратор. Да, вот представьте себе.

Король. В кого?

Администратор. В кого, в кого... В принцессу! Она жива, жива, не пугайтесь!

Король. Эй, вы там! Плаху, палача и рюмку водки. Водку мне,

остальное ему. Живо!

А д м и н и с т р а т о р. Не торопитесь, любезный!

К о р о л ь. Кому это ты говоришь?

Входит М е д в е д ь. Останавливается в дверях.

А д м и н и с т р а т о р. Вам, папаша, говорю. Не торопитесь! Принцесса — моя невеста.

П р и д в о р н а я д а м а. Бей в барабаны, труби в трубы, караул, в ружье!

П е р в ы й м и н и с т р. Он сошел с ума?

Т р а к т и р щ и к. О, если бы!

К о р о л ь. Рассказывай толком, а то убью!

А д м и н и с т р а т о р. Расскажу с удовольствием. Люблю рассказывать о делах, которые удались. Да вы садитесь, господа, чего там в самом деле, я разрешаю. Не хотите — как хотите. Ну вот, значит... Пошел я, как вы настаивали, к девушке... Пошел, значит. Хорошо. Приоткрываю дверь, а сам думаю: ох, убьет... Умирать хочется, как любому из присутствующих. Ну вот. А она обернулась на скрип двери и вскочила. Я, сами понимаете, ахнул. Выхватил, естественно, пистолет из кармана. И, как поступил бы на моем месте любой из присутствующих, выпалил из пистолета в девушку. А она и не заметила. Взяла меня за руку и говорит: я думала, думала, сидя тут у огня, да и поклялась выйти замуж за первого встречного. Ха-ха! Видите, как мне везет, как ловко вышло, что я промахнулся. Ай да я!

П р и д в о р н а я д а м а. Бедный ребенок!

А д м и н и с т р а т о р. Не перебивать! Я спрашиваю: значит, я ваш жених теперь? А она отвечает: что же делать, если вы подвернулись под руку. Гляжу — губки дрожат, пальчики вздрагивают, в глазах чувства, на шейке жилка бьется, то-се, пятое, десятое... *(Захлебывается.)* Ох ты, ух ты!

Трактирщик подает водку королю.
Администратор выхватывает рюмку, выпивает одним глотком.

Ура! Обнял я ее, следовательно, чмокнул в самые губки.

М е д в е д ь. Замолчи, убью!

А д м и н и с т р а т о р. Нечего, нечего. Убивали меня уже сегодня — и что вышло? На чем я остановился-то? Ах, да... Поцеловались мы, значит...

М е д в е д ь. Замолчи!

А д м и н и с т р а т о р. Король! Распорядитесь, чтобы меня не перебивали! Неужели трудно? Поцеловались мы, а потом она говорит: ступайте, доложите обо всем папе, а я пока переоденусь девочкой. А я ей на это: разрешите помочь застегнуть то, другое, зашнуровать, затянуть, хе-хе... А она мне, кокетка такая, отвечает: вон отсюда! А я ей на это: до скорого свидания, ваше высочество, канашка, курочка. Ха-ха-ха!

К о р о л ь. Черт знает что... Эй, вы... Свита... Поищите там чего-нибудь в аптечке... Я потерял сознание, остались одни чувства... Тонкие... Едва определимые... То ли мне хочется музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь. Чувствую, чувствую смутно-смутно — случилось что-то неладное, а взглянуть в лицо действительности — нечем...

Входит п р и н ц е с с а. Бросается к отцу.

П р и н ц е с с а *(отчаянно)*. Папа! Папа! *(Замечает Медведя. Спокойно.)* Добрый вечер, папа. А я замуж выхожу.

К о р о л ь. За кого, дочка?

П р и н ц е с с а *(указывает на администратора кивком головы)*. Вот за этого. Подите сюда! Дайте мне руку.

А д м и н и с т р а т о р. С наслаждением! Хе-хе...

П р и н ц е с с а. Не смейте хихикать, а то я застрелю вас!

К о р о л ь. Молодец! Вот это по-нашему!

П р и н ц е с с а. Свадьбу я назначаю через час.

К о р о л ь. Через час? Отлично! Свадьба — во всяком случае радостное и веселое событие, а там видно будет. Хорошо! Что, в самом деле... Дочь нашлась, все живы, здоровы, вина вдоволь. Распаковать багаж! Надеть праздничные наряды! Зажечь все свечи! Потом разберемся!

М е д в е д ь. Стойте!

К о р о л ь. Что такое? Ну, ну, ну! Говорите же!

М е д в е д ь *(обращается к Оринтии и Аманде, которые стоят обнявшись)*. Я прошу вашей руки. Будьте моей женой. Взгляните на меня — я молод, здоров, прост. Я добрый человек и никогда вас не обижу. Будьте моей женой!

П р и н ц е с с а. Не отвечайте ему!

М е д в е д ь. Ах, вот как! Вам можно, а мне нет!

П р и н ц е с с а. Я поклялась выйти замуж за первого встречного.

М е д в е д ь. Я тоже.

П р и н ц е с с а. Я... Впрочем, довольно, довольно, мне все равно! *(Идет к выходу.)* Дамы! За мной! Вы поможете мне надеть подвенечное платье.

К о р о л ь. Кавалеры, за мной! Вы мне поможете заказать свадебный ужин. Трактирщик, это и вас касается.

Т р а к т и р щ и к. Ладно, ваше величество, ступайте, я вас догоню. *(Придворной даме, шепотом.)* Под любым предлогом заставьте принцессу вернуться сюда, в эту комнату.

П р и д в о р н а я д а м а. Силой приволоку, разрази меня нечистый!

Все уходят, кроме Медведя и фрейлин, которые все стоят, обнявшись, у стены.

М е д в е д ь *(фрейлинам)*. Будьте моей женой!

А м а н д а. Сударь, сударь! Кому из нас вы делаете предложение?

О р и н т и я. Ведь нас двое.

М е д в е д ь. Простите, я не заметил.

Вбегает т р а к т и р щ и к.

Т р а к т и р щ и к. Назад, иначе вы погибнете! Подходить слишком близко к влюбленным, когда они ссорятся, смертельно опасно! Бегите, пока не поздно!

М е д в е д ь. Не уходите!

Т р а к т и р щ и к. Замолчи, свяжу! Неужели вам не жалко этих бедных девушек?

М е д в е д ь. Меня не жалели, и я не хочу никого жалеть!

Т р а к т и р щ и к. Слышите? Скорее, скорее прочь!

Оринтия и Аманда уходят, оглядываясь.

Слушай, ты! Дурачок! Опомнись, прошу тебя, будь добр! Несколько разумных ласковых слов — и вот вы снова счастливы. Понял? Скажи ей: слушайте, принцесса, так, мол, и так, я виноват, простите, не губите, я больше не буду, я нечаянно. А потом возьми да и поцелуй ее.

М е д в е д ь. Ни за что!

Т р а к т и р щ и к. Не упрямься! Поцелуй, да только покрепче!

М е д в е д ь. Нет!

Т р а к т и р щ и к. Не теряй времени! До свадьбы осталось всего сорок пять минут. Вы едва успеете помириться. Скорее. Опомнись! Я слышу шаги, это Эмилия ведет сюда принцессу. Ну же! Выше голову!

Распахивается дверь и в комнату входит придворная дама в роскошном наряде. Ее сопровождают лакеи с зажженными канделябрами.

Придворная дама. Поздравляю вас, господа, с большой радостью!

Трактирщик. Слышишь, сынок?

Придворная дама. Пришел конец всем нашим горестям и злоключениям.

Трактирщик. Молодец, Эмилия!

Придворная дама. Согласно приказу принцессы, ее бракосочетание с господином министром, которое должно было состояться через сорок пять минут...

Трактирщик. Умница! Ну, ну?

Придворная дама. Состоится немедленно!

Трактирщик. Эмилия! Опомнитесь! Это несчастье, а вы улыбаетесь!

Придворная дама. Таков приказ. Не трогайте меня, я при исполнении служебных обязанностей, будь я проклята! *(Сияя.)* Пожалуйста, ваше величество, все готово. *(Трактирщику.)* Ну что я могла сделать! Она упряма, как, как... как мы с вами когда-то!

Входит король в горностаевой мантии и короне. Он ведет за руку принцессу в подвенечном платье. Далее следует министр-администратор. На всех его пальцах сверкают бриллиантовые кольца. Следом за ним — придворные в праздничных нарядах.

Король. Ну что ж. Сейчас начнем венчать. *(Смотрит на Медведя с надеждой.)* Честное слово, сейчас начну. Без шуток. Раз! Два! Три! *(Вздыхает.)* Начинаю! *(Торжественно.)* Как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства, приступаю к совершению таинства брака. Жених и невеста! Дайте друг другу руки!

Медведь. Нет!

Король. Что нет? Ну же, ну! Говорите, не стесняйтесь!

Медведь. Уйдите все отсюда! Мне поговорить с ней надо! Уходите же!

Администратор *(выступая вперед)*. Ах ты наглец!

Медведь отталкивает его с такой силой, что министр-администратор летит в дверь.

П р и д в о р н а я д а м а. Ура! Простите, ваше величество...

К о р о л ь. Пожалуйста! Я сам рад. Отец все-таки.

М е д в е д ь. Уйдите, умоляю! Оставьте нас одних!

Т р а к т и р щ и к. Ваше величество, а ваше величество! Пойдемте! Неудобно...

К о р о л ь. Ну вот еще! Мне тоже небось хочется узнать, чем кончится их разговор!

П р и д в о р н а я д а м а. Государь!

К о р о л ь. Отстаньте! А впрочем, ладно. Я ведь могу подслушивать у замочной скважины. *(Бежит на цыпочках.)* Пойдемте, пойдемте, господа! Неудобно!

Все убегают за ним, кроме принцессы и Медведя.

М е д в е д ь. Принцесса, сейчас я признаюсь во всем. На беду мы встретились, на беду полюбили друг друга. Я... я... Если вы поцелуете меня — я превращусь в медведя.

Принцесса закрывает лицо руками.

Я сам не рад! Это не я, это волшебник... Ему бы все шалить, а мы, бедные, вон как запутались. Поэтому я и бежал. Ведь я поклялся, что скорее умру, чем обижу вас. Простите! Это не я! Это он... Простите!

П р и н ц е с с а. Вы, вы — и вдруг превратитесь в медведя?

М е д в е д ь. Да.

П р и н ц е с с а. Как только я вас поцелую?

М е д в е д ь. Да.

П р и н ц е с с а. Вы, вы молча будете бродить взад-вперед по комнатам, как по клетке? Никогда не поговорите со мною по-человечески? А если я уж очень надоем вам своими разговорами — вы зарычите на меня, как зверь? Неужели так уныло кончатся все безумные радости и горести последних дней?

М е д в е д ь. Да.

П р и н ц е с с а. Папа! Папа!

Вбегает к о р о л ь, сопровождаемый всей свитой.

Папа — он...

К о р о л ь. Да, да, я подслушал. Вот жалость-то какая!

П р и н ц е с с а. Уедем, уедем поскорее!

Король. Дочка, дочка... Со мною происходит нечто ужасное... Доброе что-то — такой страх! — что-то доброе проснулось в моей душе. Давай подумаем — может быть, не стоит его прогонять. А? Живут же другие — и ничего! Подумаешь — медведь... Не хорек все-таки... Мы бы его причесывали, приручали. Он бы нам бы иногда плясал бы...

Принцесса. Нет! Я его слишком люблю для этого.

Медведь делает шаг вперед и останавливается, опустив голову.

Прощай, навсегда прощай! *(Убегает.)*

Все, кроме Медведя, — за нею. Вдруг начинает играть музыка. Окна распахиваются сами собой. Восходит солнце. Снега и в помине нет. На горных склонах выросла трава, качаются цветы. С хохотом врывается хозяин. За ним, улыбаясь, спешит хозяйка. Она взглядывает на Медведя и сразу перестает улыбаться.

Хозяин *(вопит)*. Поздравляю! Поздравляю! Совет да любовь!

Хозяйка. Замолчи, дурачок...

Хозяин. Почему — дурачок?

Хозяйка. Не то кричишь. Тут не свадьба, а горе...

Хозяин. Что? Как? Не может быть! Я привел их в эту уютную гостиницу да завалил сугробами все входы и выходы. Я радовался своей выдумке, так радовался, что вечный снег и тот растаял и горные склоны зазеленели под солнышком. Ты не поцеловал ее?

Медведь. Но ведь...

Хозяин. Трус!

Печальная музыка. На зеленую траву, на цветы падает снег. Опустив голову, ни на кого не глядя, проходит через комнату принцесса под руку с королем. За ними вся свита. Все это шествие проходит за окнами под падающим снегом. Выбегает трактирщик с чемоданом. Он потряхивает связкой ключей.

Трактирщик. Господа, господа, гостиница закрывается. Я уезжаю, господа!

Хозяин. Ладно! Давай мне ключи, я сам все запру.

Трактирщик. Вот спасибо! Поторопи охотника. Он там укладывает свои дипломы.

Хозяин. Ладно.

Трактирщик *(Медведю)*. Слушай, бедный мальчик...

Хозяин. Ступай, я сам с ним поговорю. Поторопись, опоздаешь, отстанешь!

Т р а к т и р щ и к. Боже избави! *(Убегает.)*

Х о з я и н. Ты! Держи ответ! Как ты посмел не поцеловать ее?

М е д в е д ь. Но ведь вы знаете, чем это кончилось бы!

Х о з я и н. Нет, не знаю! Ты не любил девушку!

М е д в е д ь. Неправда!

Х о з я и н. Не любил, иначе волшебная сила безрассудства охватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад — из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты что сделал из любви к девушке?

М е д в е д ь. Я отказался от нее.

Х о з я и н. Великолепный поступок. А ты знаешь, что всего только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда все им удается. И ты прозевал свое счастье. Прощай. Я больше не буду тебе помогать. Нет! Мешать начну тебе изо всех сил. До чего довел... Я, весельчак и шалун, заговорил из-за тебя как проповедник. Пойдем, жена, закрывать ставни.

Х о з я й к а. Идем, дурачок...

Стук закрываемых ставень. Входят о х о т н и к и е г о у ч е н и к. В руках у них огромные папки.

М е д в е д ь. Хотите убить сотого медведя?

О х о т н и к. Медведя? Сотого?

М е д в е д ь. Да, да! Рано или поздно — я разыщу принцессу, поцелую ее и превращусь в медведя... И тут вы...

О х о т н и к. Понимаю! Ново. Заманчиво. Но мне, право, неловко пользоваться вашей любезностью...

М е д в е д ь. Ничего, не стесняйтесь.

О х о т н и к. А как посмотрит на это ее королевское высочество?

М е д в е д ь. Обрадуется!

О х о т н и к. Ну что же... Искусство требует жертв. Я согласен.

М е д в е д ь. Спасибо, друг! Идем!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сад, уступами спускающийся к морю. Кипарисы, пальмы, пышная зелень, цветы. Широкая терраса, на перилах которой сидит т р а к т и р щ и к. Он одет по-летнему, в белом с головы до ног, посвежевший, помолодевший.

Т р а к т и р щ и к. Ау! Ау-у-у! Гоп, гоп! Монастырь, а монастырь! Отзовись! Отец эконом, где же ты? У меня новости есть! Слышишь? Новости! Неужели и это не заставит тебя насторожить уши? Неужели ты совсем разучился обмениваться мыслями на расстоянии? Целый год я вызываю тебя — и все напрасно. Отец эконом! Ау-у-у-у! Гоп, гоп! *(Вскакивает.)* Ура! Гоп, гоп! Здравствуй, старик! Ну, наконец-то! Да не ори ты так, ушам больно! Мало ли что! Я тоже обрадовался, да не ору же. Что? Нет уж, сначала ты выкладывай все, старый сплетник, а потом я расскажу, что пережили мы за этот год. Да, да. Все новости расскажу, ничего не пропущу, не беспокойся. Ну ладно уж, перестань охать да причитать, переходи к делу. Так, так, понимаю. А ты что? А настоятель что? А она что? Ха-ха-ха! Вот шустрая бабенка! Понимаю. Ну а как там гостиница моя? Работает? Да ну? Как, как, повтори-ка. *(Всхлипывает и сморкается.)* Приятно. Трогательно. Погоди, дай запишу. Тут нам угрожают разные беды и неприятности, так что полезно запастись утешительными новостями. Ну? Как говорят люди? Без него гостиница как тело без души? Это без меня, то есть? Спасибо, старый козел, порадовал ты меня. Ну а еще что? В остальном, говоришь, все как было? Все по-прежнему? Вот чудеса-то! Меня там нет, а все идет по-прежнему! Подумать только! Ну ладно, теперь я примусь рассказывать. Сначала о себе. Я страдаю невыносимо. Ну сам посуди, вернулся я на родину. Так? Все вокруг прекрасно. Верно? Все цветет да радуется, как и в дни моей молодости, только я уже совсем не тот! Погубил я свое счастье, прозевал. Вот ужас, правда? Почему я говорю об этом так весело? Ну все-таки дома... Я, не глядя на мои невыносимые страдания, все-таки прибавился

в весе на пять кило. Ничего не поделаешь. Живу. И кроме того, страдания страданиями, а все-таки женился же я. На ней, на ней. На Э! Э! Э! Чего тут не понимать! Э! А не называю имя ее полностью, потому что, женившись, я остался почтительным влюбленным. Не могу я орать на весь мир имя, священное для меня. Нечего ржать, демон, ты ничего не понимаешь в любви, ты монах. Чего? Ну какая же это любовь, старый бесстыдник! Вот то-то и есть. А? Как принцесса? Ох, брат, плохо. Грустно, брат. Расхворалась у нас принцесса. От того расхворалась, во что ты, козел, не веришь. Вот то-то и есть, что от любви. Доктор говорит, что принцесса может умереть, да мы не хотим верить. Это было бы уж слишком несправедливо. Да не пришел он сюда, не пришел, понимаешь. Охотник пришел, а медведь пропадает неведомо где. По всей видимости, принц-администратор не пропускает его к нам всеми неправдами, какие есть на земле. Да, представь себе, администратор теперь принц, и силен, как бес. Деньги, брат. Он до того разбогател, что просто страх. Что хочет, то и делает. Волшебник не волшебник, а вроде того. Ну, довольно о нем. Противно. Охотник-то? Нет, не охотится. Книжку пытается написать по теории охоты. Когда выйдет книжка? Неизвестно. Он отрывки пока печатает, а потом перестреливается с товарищами по профессии из-за каждой запятой. Заведует у нас королевской охотой. Женился, между прочим. На фрейлине принцессы, Аманде. Девочка у них родилась. Назвали Мушка. А ученик охотника женился на Оринтии. У них мальчик. Назвали Мишень. Вот, брат. Принцесса страдает, болеет, а жизнь идет своим чередом. Что ты говоришь? Рыба тут дешевле, чем у вас, а говядина в одной цене. Что? Овощи, брат, такие, которые тебе и не снились. Тыквы сдают небогатым семьям под дачи. Дачники и живут в тыкве, и питаются ею. И благодаря этому дача, чем дольше в ней живешь, тем становится просторнее. Вот, брат. Пробовали и арбузы сдавать, но в них жить сыровато. Ну, прощай, брат. Принцесса идет. Грустно, брат. Прощай, брат. Завтра в это время слушай меня. Ох-ох-ох, дела-делишки...

Входит п р и н ц е с с а.

Здравствуйте, принцесса!

П р и н ц е с с а. Здравствуйте, дорогой мой друг! Мы еще не виделись? А мне-то казалось, что я уже говорила вам, что сегодня умру.

Т р а к т и р щ и к. Не может этого быть! Вы не умрете!

П р и н ц е с с а. Я и рада бы, но все так сложилось, что другого выхода не найти. Мне и дышать трудно, и глядеть — вот как я устала. Я никому этого не показываю, потому что привыкла с детства не плакать, когда ушибусь, но ведь вы свой, верно?

Т р а к т и р щ и к. Я не хочу вам верить.

П р и н ц е с с а. А придется все-таки! Как умирают без хлеба, без воды, без воздуха, так и я умираю от того, что нет мне счастья, да и все тут.

Т р а к т и р щ и к. Вы ошибаетесь!

П р и н ц е с с а. Нет! Как человек вдруг понимает, что влюблен, так же сразу он угадывает, когда смерть приходит за ним.

Т р а к т и р щ и к. Принцесса, не надо, пожалуйста!

П р и н ц е с с а. Я знаю, что это грустно, но еще грустнее вам будет, если я оставлю вас не попрощавшись. Сейчас я напишу письма, уложу вещи, а вы пока соберите друзей здесь, на террасе. А я потом выйду и попрощаюсь с вами. Хорошо? *(Уходит.)*

Т р а к т и р щ и к. Вот горе-то, вот беда. Нет, нет, я не верю, что это может случиться! Она такая славная, такая нежная, никому ничего худого не сделала! Друзья, друзья мои! Скорее! Сюда! Принцесса зовет! Друзья, друзья мои!

Входят х о з я и н и х о з я й к а.

Вы! Вот счастье-то, вот радость! И вы услышали меня?

Х о з я и н. Услышали, услышали!

Т р а к т и р щ и к. Вы были возле?

Х о з я й к а. Нет, мы сидели дома на крылечке. Но муж мой вдруг вскочил, закричал: “Пора, зовут”, схватил меня на руки, взвился под облака, а оттуда вниз, прямо к вам. Здравствуйте, Эмиль!

Т р а к т и р щ и к. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои! Вы знаете, что у нас тут творится! Помогите нам. Администратор стал принцем и не пускает медведя к бедной принцессе.

Х о з я й к а. Ах, это совсем не администратор.

Т р а к т и р щ и к. А кто же?

Х о з я й к а. Мы.

Т р а к т и р щ и к. Не верю! Вы клевещете на себя!

Х о з я и н. Замолчи! Как ты смеешь причитать, ужасаться, надеяться на хороший конец там, где уже нет, нет пути назад. Избаловался!

Изнежился! Раскис тут под пальмами. Женился и думает теперь, что все в мире должно идти ровненько да гладенько. Да, да! Это я не пускаю мальчишку сюда. Я!

Трактирщик. А зачем?

Хозяин. А затем, чтобы принцесса спокойно и с достоинством встретила свой конец.

Трактирщик. Ох!

Хозяин. Не охай!

Трактирщик. А что, если чудом...

Хозяин. Я когда-нибудь учил тебя управлять гостиницей или сохранять верность в любви? Нет? Ну и ты не смей говорить мне о чудесах. Чудеса подчинены таким же законам, как и все другие явления природы. Нет такой силы на свете, которая может помочь бедным детям. Ты чего хочешь? Чтобы он на наших глазах превратился в медведя и охотник застрелил бы его? Крик, безумие, безобразие вместо печального и тихого конца? Этого ты хочешь?

Трактирщик. Нет.

Хозяин. Ну и не будем об этом говорить.

Трактирщик. А если все-таки мальчик проберется сюда...

Хозяин. Ну уж нет! Самые тихие речки по моей просьбе выходят из берегов и преграждают ему путь, едва он подходит к броду. Горы, уж на что домоседы, но и те, скрипя камнями и шумя лесами, сходят с места, становятся на его дороге. Я уже не говорю об ураганах. Эти рады сбить человека с пути. Но это еще не все. Как ни было мне противно, но приказал я злым волшебникам делать ему зло. Только убивать его не разрешил.

Хозяйка. И вредить его здоровью.

Хозяин. А все остальное — позволил. И вот огромные лягушки опрокидывают его коня, выскочив из засады. Комары жалят его.

Хозяйка. Только не малярийные.

Хозяин. Но зато огромные, как пчелы. И его мучают сны до того страшные, что только такие здоровяки, как наш медведь, могут их досмотреть до конца, не проснувшись. Злые волшебники стараются изо всех сил, ведь они подчинены нам, добрым. Нет, нет! Все будет хорошо, все кончится печально. Зови, зови друзей прощаться с принцессой.

Трактирщик. Друзья, друзья мои!

Появляются Эмилия, первый министр, Оринтия, Аманда, ученик охотника.

Друзья мои...

Эмилия. Не надо, не говори, мы все слышали.

Хозяин. А где же охотник?

Ученик. Пошел к доктору за успокоительными каплями. Боится заболеть от беспокойства.

Эмилия. Это смешно, но я не в силах смеяться. Когда теряешь одного из друзей, то остальным на время прощаешь все... *(Всхлипывает.)*

Хозяин. Сударыня, сударыня! Будем держаться как взрослые люди. И в трагических концах есть свое величие.

Эмилия. Какое?

Хозяин. Они заставляют задуматься оставшихся в живых.

Эмилия. Что же тут величественного? Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу. Поговорим о другом.

Хозяин. Да, да, давайте. Где же бедняга король? Плачет небось!

Эмилия. В карты играет, старый попрыгун!

Первый министр. Сударыня, не надо браниться! Это я виноват во всем. Министр обязан докладывать государю всю правду, а я боялся огорчить его величество. Надо, надо открыть королю глаза!

Эмилия. Он и так все великолепно видит.

Первый министр. Нет, нет, не видит. Это принц-администратор плох, а король просто прелесть что такое. Я дал себе клятву, что при первой же встрече открою государю глаза. И король спасет свою дочь, а следовательно, и всех нас!

Эмилия. А если не спасет?

Первый министр. Тогда и я взбунтуюсь, черт возьми!

Эмилия. Король идет сюда. Действуйте. Я и над вами не в силах смеяться, господин первый министр.

Входит король. Он очень весел.

Король. Здравствуйте, здравствуйте! Какое прекрасное утро. Как дела, как принцесса? Впрочем, не надо мне отвечать, я и так понимаю, что все обстоит благополучно.

Первый министр. Ваше величество...

К о р о л ь. До свидания, до свидания!

П е р в ы й   м и н и с т р. Ваше величество, выслушайте меня.

К о р о л ь. Я спать хочу.

П е р в ы й   м и н и с т р. Коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную, вашу единственную дочь! Поглядите, что делается у нас! Мошенник, наглый деляга без сердца и разума захватил власть в королевстве. Всё, всё служит теперь одному — разбойничьему его кошельку. Всюду, всюду бродят его приказчики и таскают с места на место тюки с товарами, ни на что не глядя. Они врезываются в похоронные процессии, останавливают свадьбы, валят с ног детишек, толкают стариков. Прикажите прогнать принца-администратора — и принцессе легче станет дышать, и страшная свадьба не будет больше грозить бедняжке. Ваше величество!..

К о р о л ь. Ничего, ничего я не могу сделать!

П е р в ы й   м и н и с т р. Почему?

К о р о л ь. Потому что я вырождаюсь, дурак ты этакий! Книжки надо читать и не требовать от короля того, что он не в силах сделать. Принцесса умрет? Ну и пусть. Едва я увижу, что этот ужас в самом деле грозит мне, как покончу самоубийством. У меня и яд давно приготовлен. Я недавно попробовал это зелье на одном карточном партнере. Прелесть что такое. Тот помер и не заметил. Чего же кричать-то? Чего беспокоиться обо мне?

Э м и л и я. Мы не о вас беспокоимся, а о принцессе.

К о р о л ь. Вы не беспокоитесь о своем короле?

П е р в ы й   м и н и с т р. Да, ваше превосходительство.

К о р о л ь. Ох! Как вы меня назвали?

П е р в ы й   м и н и с т р. Ваше превосходительство.

К о р о л ь. Меня, величайшего из королей, обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт!

П е р в ы й   м и н и с т р. Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.

К о р о л ь. Ох!

П е р в ы й   м и н и с т р. Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!

К о р о л ь. Ой!

П е р в ы й   м и н и с т р. Подвижник!

Король. Ай!

Первый министр. Отшельник, но отнюдь не святой.

Король. Воды!

Эмилия. Не давайте ему воды, пусть слушает правду!

Первый министр. Почетный папа римский? Ха-ха! Вы не папа римский, не папа, поняли? Не папа, да и все тут!

Король. Ну, это уж слишком! Палач!

Эмилия. Он не придет, он работает в газете министра-администратора. Пишет стихи.

Король. Министр, министр-администратор! Сюда! Обижают!

Входит министр-администратор.
Он держится теперь необыкновенно солидно. Говорит не спеша, вещает.

Администратор. Но почему? Отчего? Кто смеет обижать нашего славного, нашего рубаху-парня, как я его называю, нашего королька?

Король. Они ругают меня, велят, чтобы я вас прогнал!

Администратор. Какие гнусные интриги, как я это называю.

Король. Они меня пугают.

Администратор. Чем?

Король. Говорят, что принцесса умрет.

Администратор. От чего?

Король. От любви, что ли.

Администратор. Это, я бы сказал, вздор. Бред, как я это называю. Наш общий врач, мой и королька, вчера только осматривал принцессу и докладывал мне о состоянии ее здоровья. Никаких болезней, приключающихся от любви, у принцессы не обнаружено. Это первое. А во-вторых, от любви приключаются болезни потешные, для анекдотов, как я это называю, и вполне излечимые, если их не запустить, конечно. При чем же тут смерть?

Король. Вот видите! Я же вам говорил. Доктору лучше знать, в опасности принцесса или нет.

Администратор. Доктор своей головой поручился мне, что принцесса вот-вот поправится. У нее просто предсвадебная лихорадка, как я это называю.

Вбегает охотник.

О х о т н и к. Несчастье, несчастье! Доктор сбежал!

К о р о л ь. Почему?

А д м и н и с т р а т о р. Вы лжете!

О х о т н и к. Эй, ты! Я люблю министров, но только вежливых! Запамятовал? Я человек искусства, а не простой народ! Я стреляю без промаха!

А д м и н и с т р а т о р. Виноват, заработался.

К о р о л ь. Рассказывайте, рассказывайте, господин охотник! Прошу вас!

О х о т н и к. Слушаюсь, ваше величество. Прихожу я к доктору за успокоительными каплями — и вдруг вижу: комнаты отперты, ящики открыты, шкафы пусты, а на столе записка. Вот она!

К о р о л ь. Не смейте показывать ее мне! Я не желаю! Я боюсь! Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают. Свиньи вы, а не верноподданные. Не смейте ходить за мною! Не слушаю, не слушаю, не слушаю! *(Убегает, заткнув уши.)*

А д м и н и с т р а т о р. Постарел королек...

Э м и л и я. С вами постареешь.

А д м и н и с т р а т о р. Прекратим болтовню, как я это называю. Покажите, пожалуйста, записку, господин охотник.

Э м и л и я. Прочтите ее нам всем вслух, господин охотник.

О х о т н и к. Извольте. Она очень проста. *(Читает.)* “Спасти принцессу может только чудо. Вы ее уморили, а винить будете меня. А доктор тоже человек, у него свои слабости, он жить хочет. Прощайте. Доктор”.

А д м и н и с т р а т о р. Черт побери, как это некстати. Доктора, доктора! Верните его сейчас же и свалите на него все! Живо! *(Убегает.)*

П р и н ц е с с а появляется на террасе. Она одета по-дорожному.

П р и н ц е с с а. Нет, нет, не вставайте, не трогайтесь с места, друзья мои! И вы тут, друг мой волшебник, и вы. Как славно! Какой особенный день! Мне все так удается сегодня. Вещи, которые я считала пропавшими, находятся вдруг сами собой. Волосы послушно укладываются, когда я причесываюсь. А если я начинаю вспоминать прошлое, то ко мне приходят только радостные воспоминания. Жизнь улыбается мне на прощание. Вам сказали, что я сегодня умру?

Хозяйка. Ох!

Принцесса. Да, да, это гораздо страшнее, чем я думала. Смерть-то, оказывается, груба. Да еще и грязна. Она приходит с целым мешком отвратительных инструментов, похожих на докторские. Там у нее лежат необточенные серые каменные молотки для ударов, ржавые крючки для разрыва сердца и еще более безобразные приспособления, о которых не хочется говорить.

Эмилия. Откуда вы это знаете, принцесса?

Принцесса. Смерть подошла так близко, что мне видно все. И довольно об этом. Друзья мои, будьте со мною еще добрее, чем всегда. Не думайте о своем горе, а постарайтесь скрасить последние мои минуты.

Эмиль. Приказывайте, принцесса! Мы все сделаем.

Принцесса. Говорите со мною как ни в чем не бывало. Шутите, улыбайтесь. Рассказывайте что хотите. Только бы я не думала о том, что случится скоро со мной. Оринтия, Аманда, вы счастливы замужем?

Аманда. Не так, как мы думали, но счастливы.

Принцесса. Все время?

Оринтия. Довольно часто.

Принцесса. Вы хорошие жены?

Охотник. Очень! Другие охотники просто лопаются от зависти.

Принцесса. Нет, пусть жены ответят сами. Вы хорошие жены?

Аманда. Не знаю, принцесса. Думаю, что ничего себе. Но только я так страшно люблю своего мужа и ребенка...

Оринтия. И я тоже.

Аманда. Что мне бывает иной раз трудно, невозможно сохранить разум.

Оринтия. И мне тоже.

Аманда. Давно ли удивлялись мы глупости, нерасчетливости, бесстыдной откровенности, с которой законные жены устраивают сцены своим мужьям...

Оринтия. И вот теперь грешим тем же самым.

Принцесса. Счастливицы! Сколько надо пережить, перечувствовать, чтобы так измениться! А я все тосковала, да и только. Жизнь, жизнь... Кто это? *(Вглядывается в глубину сада.)*

Эмилия. Что вы, принцесса! Там никого нет.

Принцесса. Шаги, шаги! Слышите?

Охотник. Это... она?

Принцесса. Нет, это он, это он!

Входит Медведь. Общее движение.

Вы... Вы ко мне?

Медведь. Да. Здравствуйте! Почему вы плачете?

Принцесса. От радости. Друзья мои... Где же они все?

Медведь. Едва я вошел, как они вышли на цыпочках.

Принцесса. Ну вот и хорошо. У меня теперь есть тайна, которую я не могла бы поведать даже самым близким людям. Только вам. Вот она: я люблю вас. Да, да! Правда, правда! Так люблю, что все прощу вам. Вам все можно. Вы хотите превратиться в медведя — хорошо. Пусть. Только не уходите. Я не могу больше пропадать тут одна. Почему вы так давно не приходили? Нет, нет, не отвечайте мне, не надо, я не спрашиваю. Если вы не приходили, значит, не могли. Я не упрекаю вас — видите, какая я стала смирная. Только не оставляйте меня.

Медведь. Нет, нет.

Принцесса. За мною смерть приходила сегодня.

Медведь. Нет!

Принцесса. Правда, правда. Но я ее не боюсь. Я просто рассказываю вам новости. Каждый раз, как только случалось что-нибудь печальное или просто примечательное, я думала: он придет — и я расскажу ему. Почему вы не шли так долго!

Медведь. Нет, нет, я шел. Все время шел. Я думал только об одном: как приду к вам и скажу: “Не сердитесь. Вот я. Я не мог иначе! Я пришел”. *(Обнимает принцессу.)* Не сердитесь! Я пришел!

Принцесса. Ну вот и хорошо. Я так счастлива, что не верю ни в смерть, ни в горе. Особенно сейчас, когда ты подошел так близко ко мне. Никто никогда не подходил ко мне так близко. И не обнимал меня. Ты обнимаешь меня так, как будто имеешь на это право. Мне это нравится, очень нравится. Вот сейчас и я тебя обниму. И никто не посмеет тронуть тебя. Пойдем, пойдем, я покажу тебе мою комнату, где я столько плакала, балкон, с которого я смотрела, не идешь ли ты, сто книг о медведях. Пойдем, пойдем.

Уходят, и тотчас же входит хозяйка.

Хозяйка. Боже мой, что делать, что делать мне, бедной! Я слышала, стоя здесь за деревом, каждое их слово и плакала, будто я на похоронах. Да так оно и есть! Бедные дети, бедные дети! Что может быть печальнее! Жених и невеста, которым не стать мужем и женой.

Входит хозяин.

Как грустно, правда?

Хозяин. Правда.

Хозяйка. Я люблю тебя, я не сержусь, но зачем, зачем затеял ты все это!

Хозяин. Таким уж я на свет уродился. Не могу не затевать, дорогая моя, милая моя. Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Но я волшебник. И я взял и собрал людей и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю. Одни, правда, работали лучше, другие хуже, но я уже успел привыкнуть к ним. Не зачеркивать же! Не слова — люди. Вот, например, Эмиль и Эмилия. Я надеялся, что они будут помогать молодым, помня свои минувшие горести. А они взяли да и обвенчались. Взяли да и обвенчались! Ха-ха-ха! Молодцы! Не вычеркивать же мне их за это. Взяли да и обвенчались, дурачки, ха-ха-ха! Взяли да и обвенчались!

Садится рядом с женой. Обнимает ее за плечи.
Говорит, тихонько покачивая ее, как бы убаюкивая.

Взяли да и обвенчались, дурачки такие. И пусть, и пусть! Спи, родная моя, и пусть себе. Я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки. А пока — ты со мной, и я с тобой. С ума можно сойти от счастья. Ты со мной. Я с тобой. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны,— смерть иной раз отступает от них. Отступает, ха-ха-ха! А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака. Ха-ха-ха! *(Плачет.)* А я, дурак, обращусь в дуб. Честное слово, С меня это станется. Вот. Никто и не умрет из нас, и все кончится благополучно. Ха-ха-ха! А ты сердишься. А ты ворчишь на меня. А я вон что придумал. Спи. Проснешься — смотришь, и уже пришло завтра. А все горести были вчера. Спи. Спи, родная.

Входит о х о т н и к. В руках у него ружье. Входят его у ч е н и к, О р и н т и я, А м а н д а, Э м и л ь, Э м и л и я.

Горюете, друзья?

Э м и л ь. Да.

Х о з я и н. Садитесь. Будем горевать вместе.

Э м и л и я. Ах, как мне хотелось бы попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах. Небо там серое, часто идут дожди, ветер воет в трубах. И там вовсе нет этого окаянного слова "вдруг". Там одно вытекает из другого. Там люди, приходя в незнакомый дом, встречают именно то, чего ждали, и, возвращаясь, находят свой дом неизменившимся, и еще ропщут на это, неблагодарные. Необыкновенные события случаются там так редко, что люди не узнают их, когда они приходят все-таки наконец. Сама смерть там выглядит понятной. Особенно смерть чужих людей. И нет там ни волшебников, ни чудес. Юноши, поцеловав девушку, не превращаются в медведя, а если и превращаются, то никто не придает этому значения. Удивительный мир, счастливый мир... Впрочем, простите меня за то, что я строю фантастические замки.

Х о з я и н. Да, да, не надо, не надо! Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны. Да, да, утешительные сны. Спите, спите, друзья мои. Спите. Пусть все кругом спят, а влюбленные прощаются друг с другом.

П е р в ы й м и н и с т р. Удобно ли это?

Х о з я и н. Разумеется.

П е р в ы й м и н и с т р. Обязанности придворного...

Х о з я и н. Окончились. На свете нет никого, кроме двух детей. Они прощаются друг с другом и никого не видят вокруг. Пусть так и будет. Спите, спите, друзья мои. Спите. Проснетесь — смотришь, уже и пришло завтра, а все горести были вчера. Спите. *(Охотнику.)* А ты что не спишь?

О х о т н и к. Слово дал. Я... Тише! Спугнешь медведя!

Входит п р и н ц е с с а. За ней М е д в е д ь.

М е д в е д ь. Почему ты вдруг убежала от меня?

П р и н ц е с с а. Мне стало страшно.

М е д в е д ь. Страшно? Не надо, пойдем обратно. Пойдем к тебе.

П р и н ц е с с а. Смотри: все вдруг уснули. И часовые на башнях. И отец на троне. И министр-администратор возле замочной скважины. Сейчас полдень, а вокруг тихо, как в полночь. Почему?

М е д в е д ь. Потому, что я люблю тебя. Пойдем к тебе.

П р и н ц е с с а. Мы вдруг остались одни на свете. Подожди, не обижай меня.

М е д в е д ь. Хорошо.

П р и н ц е с с а. Нет, нет, не сердись. *(Обнимает Медведя.)* Пусть будет, как ты хочешь. Боже мой, какое счастье, что я так решила. А я, дурочка, и не догадывалась, как это хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. *(Обнимает и целует его.)*

Полный мрак. Удар грома. Музыка. Вспыхивает свет. Принцесса и Медведь, взявшись за руки, глядят друг на друга.

Х о з я и н. Глядите! Чудо, чудо! Он остался человеком!

Отдаленный, очень печальный, постепенно замирающий звук бубенчиков.

Ха-ха-ха! Слышите? Смерть уезжает на своей белой лошаденке, удирает несолоно хлебавши! Чудо, чудо! Принцесса поцеловала его — и он остался человеком, и смерть отступила от счастливых влюбленных.

О х о т н и к. Но я видел, видел, как он превратился в медведя!

Х о з я и н. Ну, может быть, на несколько секунд,— со всяким это может случиться в подобных обстоятельствах. А потом что? Гляди: это человек, человек идет по дорожке со своей невестой и разговаривает с ней тихонько. Любовь так переплавила его, что не стать ему больше медведем. Просто прелесть, что я за дурак. Ха-ха-ха! Нет уж, извини, жена, но я сейчас же, сейчас же начну творить чудеса, чтобы не лопнуть от избытка сил. Раз! Вот вам гирлянды из живых цветов! Два! Вот вам гирлянды из живых котят! Не сердись, жена! Видишь: они тоже радуются и играют. Котенок ангорский, котенок сиамский и котенок сибирский, а кувыркаются, как родные братья, по случаю праздника! Славно!

Х о з я й к а. Так-то оно так, но уж лучше бы сделал ты что-нибудь полезное для влюбленных. Ну, например, превратил бы администра-тора в крысу.

Х о з я и н. Сделай одолжение! *(Взмахивает руками.)*

Свист, дым, скрежет, писк.

Готово! Слышишь, как он злится и пищит в подполье? Еще что прикажешь?

Хозяйка. Хорошо бы и короля... подальше бы. Вот это был бы подарок. Избавиться от такого тестя!

Хозяин. Какой он тесть! Он...

Хозяйка. Не сплетничай в праздник! Грех! Преврати, родной, короля в птичку. И не страшно, и вреда от него не будет.

Хозяин. Сделай одолжение! В какую?

Хозяйка. В колибри.

Хозяин. Не влезет.

Хозяйка. Ну тогда — в сороку.

Хозяин. Вот это другое дело. *(Взмахивает руками.)*

Сноп искр. Прозрачное облачко, тая, пролетает через сад.

Ха-ха-ха! Он и на это не способен. Не превратился он в птицу, а растаял как облачко, будто его и не было.

Хозяйка. И это славно. Но что с детьми? Они и не глядят на нас. Дочка! Скажи нам хоть слово!

Принцесса. Здравствуйте! Я видела уже вас всех сегодня, но мне кажется, что это было так давно. Друзья мои, этот юноша — мой жених.

Медведь. Это правда, чистая правда!

Хозяин. Мы верим, верим. Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте — и вы будете так счастливы, что это просто чудо!

Занавес

1956

ПОВЕСТЬ О МОЛОДЫХ СУПРУГАХ

Пьеса в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Маруся Орлова.
Сережа Орлов.
Ольга Ивановна.
Шурочка.
Леня.
Никанор Никанорович.
Юрик.
Миша.
Валя.
Гардеробщик.
Ширяев.
Кукла.
Медвежонок.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

**Перед зрителями огромный листок отрывного календаря.
На нем число: 30 апреля. Когда он исчезает, мы видим просторную комнату.
Два письменных стола — один большой, другой маленький. Стулья. Кресло.
Диван. Все новенькое, — дерево так и сверкает на солнце свежей
полировкой. Два окна. Дверь, ведущая в коридор. На переднем плане —
этажерка. На верху этажерки восседают две огромные игрушки: дорогие,
старые,
находящиеся в отличной сохранности кукла и медвежонок.
Когда занавес открывается, на сцене пусто.
Раздается едва слышная музыка, словно играет музыкальный ящик,
но вот простенькая музыка становится сложней и слышней,
и дорогие старые игрушки оживают. И поворачивают головы к публике.
И начинают говорить самыми обыкновенными, не кукольными, не детскими, а
живыми человеческими голосами.**

Кукла. Куклы разговаривать не умеют.

Медвежонок. Не умеют, хотите верьте, хотите нет. Ни словечка не выговорить, хоть ревмя реви.

Кукла. А нам есть что рассказать, дети. Нам почти по сто лет. И столько мы перевидали...

Медвежонок. Столько перенесли — ух! И радовался-то я, бывало, с людьми, и так горевал, словно с меня с живого плюш спарывали!

Кукла. Ужасно, ужасно нам, старикам, хорошеньким, полным сил, нарядным, хочется поучить молодых.

Медвежонок. А возможности нет... Не услышат.

Кукла. Ни за что не услышат, словно мы старые люди, а не куклы.

Медвежонок. Еще подари нас детям — оно бы и ничего. А нас возьми да и подари молодым супругам.

Кукла. Беспомощные, слепые, счастливые.

Медвежонок. И знать не знают о том, что жить вместе — целая

наука.

К у к л а. Еще жена тревожится...

М е д в е ж о н о к. А муж, такой-сякой, только зубы скалит — радуется.

К у к л а. Конечно, может быть, все пойдет у них чистенько, гладенько, аккуратненько...

М е д в е ж о н о к. А только навряд ли... Люди все-таки, а не куклы! Народ нетерпеливый, страстный, требовательный.

К у к л а. Я фарфоровая, у меня ротик маленький, деликатный, не знаю, как это сказать... Нет зрелища радостней, чем счастье, и нет досаднее, чем когда живая и здоровая семейная жизнь разбивается на кусочки...

М е д в е ж о н о к. По неловкости, по неумению, по молодости лет.

К у к л а. Ах, как хочется учить!

М е д в е ж о н о к. И никто не хочет учиться. Что делать?

К у к л а. Споем с горя. *(Поют.)*

В доме восемь на Сенной
Поселились муж с женой...

Человеческие голоса, шаги. Куклы замирают, как неживые. В комнату входит не спеша О л ь г а И в а н о в н а, пожилая, седая, худощавая женщина. Оглядывается внимательно и сосредоточенно, осматривает комнату. Ее сопровождает хозяйка квартиры, очень молоденькая, почти девочка, М а р у с я О р л о в а. У них нет ничего общего в наружности, но угадывается какое-то едва заметное сходство в сдержанной манере держаться, в речи, спокойной и простой.

О л ь г а И в а н о в н а. Хорошо. Все разумно. Все с любовью обставлено. И без претензий. Здесь ты и занимаешься?

М а р у с я. Здесь. Сережа за своим столом или за чертежной доской. А я за своим. У него большой стол, у меня маленький. Сережа говорит: будто детеныш. Мой столик.

О л ь г а И в а н о в н а. Так. Понимаю. Все хорошо, Илютина. Чего ты смеешься?

М а р у с я. Ольга Ивановна, я теперь не Илютина, я теперь Орлова.

О л ь г а И в а н о в н а. Не сердись. Не привыкла я еще. Всего месяц ведь ты замужем.

М а р у с я. И три дня. Месяц и три дня.

О л ь г а И в а н о в н а. Месяц и три дня. Хорошо, Орлова.

Хорошо, Маруся. Ну а теперь говори — зачем ты вызвала меня открыткой? Что случилось?

Маруся. Ольга Ивановна, простите меня — ничего. Но ведь — сколько я себя помню — ближе вас никого у меня не было. Чуть, бывало, ушибусь — я все к вам... *(Поднимает руки, словно собирается обнять Ольгу Ивановну, и опускает.)* Все к вам, бывало, бегу утешения искать... А теперь, когда мне хорошо, — кому же рассказать, кроме вас?

Ольга Ивановна. Спасибо, Илютина. То есть Маруся. Откуда у тебя такие дорогие игрушки?

Маруся. Никанор Никанорович подарил. Начальник проектного бюро и Сережин начальник. Пришел он к нам такой строгий, как экзаменатор.

Ольга Ивановна. Ну, и принял зачет?

Маруся. Ничего не сказал. А на другой день явился с огромным свертком и говорит: "Мария Николаевна!" Это я — Мария Николаевна. "В нашей, говорит, семье эти игрушки живут лет, наверное, девяносто. Переходят от матери к дочке. А я, последний в семье, как нарочно — мальчик. И дочерью не обзавелся в свое время. Примите, говорит, в качестве свадебного подарка, говорит. Одна только просьба — беседуйте с ними каждый день, как с живыми. Они у меня так приучены, Мария Николаевна".

Ольга Ивановна. И ты выполняешь просьбу?

Маруся. Да.

Ольга Ивановна. А они отвечают?

Маруся. Пока нет.

Ольга Ивановна. Жалко.

Маруся. Сдержанные...

Ольга Ивановна. До свидания, Маруся. До свидания, моя дорогая Мария Николаевна! Вот и дожила я до того, что тебя по отчеству зовут. До свидания.

Маруся. Побудьте.

Ольга Ивановна. Не могу. Меня в роно ждут. *(Идет к двери. Останавливается.)* До свидания, еще раз.

Маруся. До свидания, Ольга Ивановна.

Идут к двери.

Ольга Ивановна! Побудьте! Я не только для того позвала вас,

чтобы сказать, как мне хорошо. Мне так хорошо, что даже страшно. Вот в чем дело-то. Я спокойно говорю, я не жалуюсь, а даже, ну что ли, восхищаюсь своей жизнью, Ольга Ивановна, но только мне до того хорошо, что даже страшно. Вы меня вырастили! Вы, вы! Я знаю! Вы старались, чтобы никто не замечал, что любите меня больше всех ребят в интернате. Но любили меня больше всех. Лишний раз не позволяли приласкаться, но с тех пор, как пришла открытка, что мама и папа погибли, вы стали мне самый близкий человек на свете. *(Обнимает ее, плачет и смеется.)* Теперь можно, теперь мы не в детском доме, теперь я стала Мария Николаевна, никто не осудит за несправедливость, — поцелуйте меня. И побудьте еще немножко.

Ольга Ивановна. Хорошо. Побуду. Почему тебе страшно?

Маруся. Ольга Ивановна, что со мной? Я не знаю. Люди разве глупеют от любви? А я поглупела. Честное слово. Стала какая-то непростая.

Ольга Ивановна. Ссоритесь?

Маруся. Нет, как можно, никогда, что вы! Но, например, могу я над каким-нибудь его словечком одним думать целый день — и на лекции, и в лаборатории. Есть такие слова, которым радуюсь целыми днями. Но бывают такие, от которых холодею. Умом знаю, что пустяк, а чувствами... Ольга Ивановна, отчего я не узнаю себя? Отчего меня будто подменили? Что же я теперь — какая-то зависимая?

Длинный звонок.

Ольга Ивановна. Сережа пришел?

Маруся. Нет, у него ключ. *(Выбегает из комнаты.)*

Ольга Ивановна *(куклам)*. Ну, дети? Что скажете? У вас должен быть ответ. Не маленькие, по девяносто лет вам, крошкам. Сколько семей перевидали? Восседаете важно, словно комиссия. Пришли принимать новую семью — а конкретной помощи никакой.

Маруся возвращается.

Маруся. Шурочка. Соседка. С нашей площадки. Мужу позвонить на завод. Ольга Ивановна, вы меня поймите, я не жалуюсь. Вот я говорю: стала я зависимая. Вы не подумайте, что от мужа. Этого нет. Стала я зависимой от новых своих, ну что ли, чувств. Что же со мной будет? *(Смеется и вытирает слезы.)* Вы не придавайте значения, Ольга

Ивановна. Это я от радости, не знаю, что делать. Боюсь я за свое счастье. Неопытная я.

Ольга Ивановна. Понимаю. Когда эвакуировались мы из Ленинграда, тебе только что исполнилось пять лет. И выросла ты в большом коллективе, в детском доме. Так? Потом общежитие университетское, университет — еще больший коллектив. Верно? И вот вдруг попадаешь ты в самый маленький коллектив на свете. Муж и жена. И повредить этому самому крошечному коллективу легко, как ребенку, особенно в первый год. Жить вместе, вдвоем — это целая наука. А кто научит?

Маруся. Вот и я говорю.

Ольга Ивановна. Хорошо уж то, что ты беспокоишься. Все будет хорошо.

Маруся. Вы правда так думаете?

Ольга Ивановна. Все будет хорошо. Чехов в каком-то из писем говорит: в семейной жизни главное — терпение.

Возглас за дверью: "Как, как он говорит?" Прежде чем Ольга Ивановна успевает ответить, в комнату вбегает женщина лет двадцати пяти, очень здоровая, пышущая силой, заботливо одетая, с вечной завивкой. Это Шурочка. Она протягивает руку Ольге Ивановне.

Шурочка. Шура или Шурочка, как хотите называйте, но только не бейте. Я поправляла шпильку у зеркала и услышала. Простите, что я так вмешиваюсь в ваш разговор. Этого я допустить не могу. Терпение. С какой же стати мне терпеть? Что я сделала, чтобы терпеть? Почему мы должны терпеть? Вы, конечно, не знаете, как я живу. Но вот вам факт: я сегодня работаю в вечерней смене, а он в утренней. Поспеши, чтобы хоть слово жене сказать, — так нет! Звоню в цех — он в библиотеку ушел. И я это должна терпеть? Почему после смены как зарезанная я бросаюсь в трамвай с передней площадки: пожалуйста, пусть скандалят, только бы скорей домой. Я вам так скажу... простите, не знаю имени-отчества.

Маруся. Ольга Ивановна.

Шурочка. Простите, Ольга Ивановна, но только Чехов пошутил, наверное, — у него много смешного. Когда мне мой Миша читал вслух, так я хохотала как убитая. "В семейной жизни главное — терпение". Ха-ха-ха! С ним попробуй потерпи. С моим Мишей. Дойдешь до того, что

останемся мы с Майей, с дочкой моей, одни, как дуры. Нет!

Маруся. Шурочка, ну что жаловаться-то? Такого, как Миша, поищи!

Шурочка. Одни обиды от него.

Маруся. Иду я вчера, Ольга Ивановна, по нашей улице, а Шурочка с Мишей впереди. Он говорит ей что-то, едва-едва слышно. А Шурочка ему: “Не ори на меня! Не ори на меня!”

Шурочка со смехом бросается обнимать Марусю.

Шурочка. Верно! Сказала — как напечатала! Он шепчет, а я ему: “Не ори!” Потому что шептал он с раздражением... Ах ты господи! Глупы мы, бабы, конечно. Всего нам мало. Почему это, Ольга Ивановна? Почему: зайдешь в ДЛТ — мужья шагают тихо, спокойно, а жены все больше как обиженные? И на улице прислушайтесь — кто кого пилит? Все больше жены мужей. Он идет, насупился, а она ворчит как безумная. Почему?

Ольга Ивановна. Не знаю, Шура.

Шурочка. А я знаю: потому что мы больше любим. Они отвлекаются, а мы не отвлекаемся. Все на них косимся, за них держимся. У них тысячи забот, а у нас...

Маруся. Ты же на всю фабрику знаменитая ткачиха.

Шурочка. Не об этом толк. Мой Миша... А ну его... Что это мы все о мужчинах да о мужчинах, как дети, Ольга Ивановна! Это вы Марусина воспитательница?

Ольга Ивановна. Она вам рассказывала обо мне?

Шурочка. Не беспокойтесь, я выспросила. Если я кого люблю, хочу о них все знать.

Ольга Ивановна. Я, Шурочка, действительно Марусина воспитательница. И вот пришла взглянуть, как налаживается ее жизнь.

Шурочка *(убежденно)*. Хорошо налаживается. Поверьте мне, у Маруси характер не такой огненный, как у меня.

Ольга Ивановна. Или, попросту сказать, не такой нетерпеливый.

Шурочка. Ольга Ивановна! Это под мышкой можно температуру измерить, а в душе не измерите! Такой или сякой, но у меня характер неудержимый, а Маруся добрая. Это первое. А второе — Сережа не из тех

мужчин, что женятся. Верно, верно! Не смотрите на меня, как будто я несу сама не знаю что. Я знаю, что говорю! Уж если такой мужчина, как Сережа, женился — значит, полюбил. Отказался от вольной воли — значит, любит. Если самостоятельный мужчина женился — значит, твердо. Он уже всякого повидал, его обратно на волю не потянет. А за такими тихими, как мой Миша, только присматривай! Да что это мы все о мужчинах да о мужчинах, как маленькие, Ольга Ивановна! Что бы мне почитать о семейной жизни?

Ольга Ивановна. Поговорим. Только не сейчас. Мне нужно в роно.

Шурочка. Ох! А у меня там Майечка бедная одна в квартире! Простите, если что наговорила лишнего. До свидания, Маруся, до свидания, родная. До сих пор не могу нарадоваться, что такая соседка у меня завелась. До свидания, Ольга Ивановна, простите, если не так! *(Убегает.)*

Ольга Ивановна. Ну вот, Илютина... То есть Мария Николаевна. Тебя уже полюбили тут.

Маруся. Эта Шурочка — открытая душа.

Ольга Ивановна. Я рада, что побывала. Издали многое чудилось, особенно в сумерки, после уроков, или ночью, когда не спится, а в голову лезут одни печальные мысли, как будто веселые уснули вместе со всеми добрыми людьми. А пришла — и ничего. Живем. *(Целует Марусю.)* До свидания. Все. Теперь я буду у вас бывать.

Маруся. Непременно! Ольга Ивановна, как можно чаще. Я с вами — умнее.

Выходят. Стук запираемой двери, и Маруся возвращается. Улыбаясь, подходит к куклам.

Вот, дети, какая я стала. Ольгу Ивановну побеспокоила. И зачем? Только для того, чтобы поговорить. И поговорила! Вот что удивительно. Все посмела сказать, до Сережиного прихода. Сережа. Слышите, дети? Сережа уже едет домой. Сидит в трамвае, смотрит в окно и думает: скорей, скорей. А я его жду. И все ушли. Первый вечер наш, полностью. Он обещал освободиться. А что он сказал, то и сделает, — вон он какой у меня, дети. И никого у нас нет.

Звонок.

Сглазила.

Выбегает из комнаты и возвращается с Никанором Никаноровичем и Леней. Никанору Никаноровичу лет под шестьдесят, но ни в фигуре, ни во всей повадке нет еще признаков старости. Он в отличном пальто, в руках шляпа. Леня стройный, очень мягкий в движениях, с мягким голосом, человек лет тридцати.

Леня. Простите, Маруся.

Никанор Никанорович. Мария Николаевна.

Леня. Простите, что врываемся так внезапно, словно пришли счетчик проверить или телеграмму принесли. Мы, Маруся...

Никанор Никанорович. Мария Николаевна, вам говорят!

Леня. Мы к вам на одну минутку.

Никанор Никанорович. Что не снимает с нас обязанности сказать: здравствуйте, Мария Николаевна.

Маруся. Здравствуйте, Никанор Никанорович. И вы, Леня. Раздевайтесь, посидите! Сережа звонил из управления, что уже выехал.

Леня. Не можем мы раздеться. Мы загубили свое будущее.

Маруся. Как так?

Леня. Никанор Никанорович взял билеты в театр. Придется идти. Весна. Ждешь, что случится что-нибудь неожиданное. Так славно было бы пойти по улице куда глаза глядят, свободно, без цели. А теперь изволь в театре сидеть. А что в театре может случиться неожиданного?

Маруся. А вы убегите!

Никанор Никанорович. От меня не убежишь! Запомните: если у человека имя необычное и такое же отчество — следовательно, он из семьи упрямых людей.

Леня. А у нашего дорогого начальника еще и имя и отчество начинаются с отрицания: Никанор Никанорович. Поди поспорь.

Никанор Никанорович. Сидели на работе — разговаривали как люди. Шли по улице — тоже разговаривали серьезно. А вошли к вам — и подшучиваем друг над другом, как мальчишки. Значит, стесняемся. Или попросту уважаем вас, Мария Николаевна, хоть мы и старшие. Запомните это. Мы вот по какому делу. После того как Сережа уже уехал в управление, нам звонили из Москвы.

Маруся. О Сережином проекте?

Никанор Никанорович. Да. Он...

Леня. То есть проект.

Никанор Никанорович. ...прошел сегодня первую

инстанцию. Это, в сущности, определяет дело. Завтра — окончательное решение.

Л е н я. Которое несомненно будет положительным. Вот и все. До свидания, Маруся.

М а р у с я. А может быть, подождете?

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Не искушайте. Леня, в путь.

Л е н я. До свидания, Маруся.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Не провожайте нас, а то я рассержусь. Мы сами захлопнем дверь! До свидания, Мария Николаевна.

Уходят.

М а р у с я *(куклам)*. Ушли. Дети, неужели я — Мария Николаевна? Все время называет меня так очень, очень взрослый человек. И не шутя. Вот как я изменилась, дети. И ничего, мне не страшно. Я нарочно позвала Ольгу Ивановну, чтобы на меня, Марию Николаевну, полюбовалась... Нет, страшно! Вот похвастала — и стало мне страшно. Я, дети, боюсь и не боюсь. Мне страшно и не страшно. Мне так спокойно и беспокойно. Бросает меня то в жар, то в холод — вот я какая Мария Николаевна, непоследовательная, сложная. *(Берет с окна сумочку, достает карманное зеркальце и разглядывает себя.)* Ах ты какая, Мария Николаевна, таинственная! Душа у тебя так изменилась, а нос все тот же. Неправильный. И лицо будто у Маруси. Что же это значит, Мария Николаевна, объясните, если вас не затруднит! Пойми после этого людей! Ну и Мария Николаевна! Вот так явление природы!

Дверь открывается тихонько.
На пороге останавливается С е р е ж а О р л о в. Ему — под тридцать.
Внимателен, без признака рассеянности. Прост — без признака наивности.
Общее ощущение — строгости. Но, увидев Марусю, словно светлеет.
Не смутившись, не удивившись, кладет Маруся зеркальце на стол.

М а р у с я. Пришел, Сережа?

С е р е ж а. Пришел. Ты одна?

М а р у с я. Одна.

С е р е ж а. А я было испугался. Слышу — разговор.

Садятся на диван.

М а р у с я. Я разговаривала сама с собой.

С е р е ж а. О чем?

Маруся. О себе. И вдруг вижу — ты стоишь в дверях. И тут произошло чудо.

Сережа. Какое?

Маруся. Я не смутилась. Люди всегда смущаются, когда поймаешь их на подобных глупостях. А мне хоть бы что. Вот я какая, значит, стала с тобой. Беззастенчивая. Сережа, мне что-то важное надо было тебе передать, но увидела тебя — и все из головы вон. Видишь, какая я стала. *(Хохочет.)*

Сережа. Что ты? Ну, чего ты? Скажи.

Маруся. Ты... ты меня передразниваешь. Честное слово. Нечаянно передразниваешь. Что у меня на лице, то и у тебя. Я глаза открою — и ты. Я говорю, а ты губами шевелишь. Каждый день в тебе что-нибудь новое открывается. Значит, ты у меня богатая натура. Сейчас я тебя буду кормить.

Сережа. Мы же договорились, что я пообедаю на работе.

Маруся. А может быть, ты с тех пор проголодался?

Сережа. Нет.

Маруся. Жаль. Очень люблю тебя кормить. Ну хоть корочку хлебную съешь, пожалуйста.

Сережа. Ладно, неси корочку.

Маруся. Бог с тобой, не надо. Ты не сердишься, что я болтаю глупости? Нет, нет, не отвечай, я вижу, что не сердишься. Я нарочно, от хорошего настроения, чтобы тебя рассмешить, чтобы стало тебе весело, как мне.

Сережа. Мне с тобой всегда весело.

Маруся. Вот и славно. Только не трогай меня. Даже за руку не бери. Не надо. Я хочу говорить с тобой. Правда. Говорить — и все тут. А то голова закружится, и разговор оборвется. Сережа, Сереженька. Неужели мы с тобой будем как все?

Сережа. Никогда.

Маруся. Неужели, как все, перестанем мы удивляться друг другу? Пойдут ссоры? Обиды? Ты смеешься? А вдруг? *(Встает. Подходит к окну.)*

Сережа. Куда ты?

Маруся. Не могу я на тебя больше смотреть. Я тебя так люблю, что даже плакать хочется. *(Распахивает окно, и тотчас же в комнату*

врывается уличный шум.) Вот это весна! Вот это весна так весна! Настоящее лето. Поди сюда, погадаем. *(Садится на подоконник. Сережа присоединяется к ней.)*

С е р е ж а. Как погадаем?

М а р у с я. Гляди, ребята играют в волейбол. Если правая команда выиграет, то все у нас в жизни будет легко, легче легкого, легче пуха с тополей, и так прекрасно, что даже на общегородской конференции нас будут ставить в пример несознательным супругам. Не смейся. Мало ли что бывает в жизни.

С е р е ж а. Эх! Пасовать не умеют! Каким шкетам доверила ты наше будущее! Хотя вон тот, черненький, подает толково.

М а р у с я. Ты думаешь, я суеверная? Ну вот ни настолечко. А все-таки, если правые проиграют, я так расстроюсь! Не смейся, дурачок. Я нарочно говорю посмешнее, чтобы тебя развеселить, а ты веришь. Даже жалко мне тебя стало. Аут! Маленького мячом ударило.

С е р е ж а. Ничего, он смеется.

М а р у с я. А когда к маме подбежал — заревел.

С е р е ж а. Закон природы.

М а р у с я. Сережа, а ты детей любишь?

С е р е ж а. Я? Да. То есть как тебе оказать... Я к детям вообще отношусь спокойно, а с грудными — теряюсь.

М а р у с я. Почему?

С е р е ж а. Загадочные они какие-то. Эх, красиво срезал.

М а р у с я. Сетбол! Ну, Сережа, гляди в оба, сейчас решается наша судьба.

С е р е ж а. Опять черненький подает. Широко больно размахнулся, как бы в аут не ушел мячик. Ну, бей! Чего мучаешь?

М а р у с я *(закрыв глаза)*. Хочу, чтобы наши выиграли.

Отчаянный вопль за сценой: "Ребята! В красный уголок кино приехало!"

С е р е ж а. Чего они.

М а р у с я. В красный уголок приехало кино.

Вопль за сценой: "Для нас! Для среднего возраста!"

С е р е ж а. Да вы доиграйте! Успеете!

Вопли за сценой: "Мяч заберите!" — "А сетку кто снимет — дядя?" — "Ребята, вы мою шапку топчете". — "А ты ее не кидай!" — "Я от радости!" — "Ура!

Ой, хорошо! Давай, не отставай!" Вопли удаляются.

Маруся. Не доиграли. Это как понимать?

Сережа. Не хочет нам отвечать твое гадание.

Маруся. Ошибаешься. Это и есть ответ. Никто нам не поможет, не подскажет, все придется самим решать и угадывать.

Сережа. Вот и славно.

Маруся. Славно, только чуть-чуть страшно.

Сережа. Ничего. Столько лет на свете прожили — значит, что-то умеем.

Маруся. Ох! Вспомнила. Ты сказал: "что-то умеем", и я вспомнила. Заходили Никанор Никанорович и Леня. Сегодня твой проект прошел первую инстанцию.

Сережа. Прошел?

Маруся. Да! И Леня говорит, что это уже решает дело. Завтра — окончательный ответ. Ну что? Что с тобой? Не уходи!

Сережа. Я не ухожу.

Маруся. Нет, ты ушел. Леня говорит, что вопрос уже, в сущности, решен. Понимаешь?

Сережа. Я все понимаю, Маруся. Я не ушел. Правда. Я с тобой. И в доказательство расскажу, что меня беспокоит. Ты не удивляешься?

Маруся. Я бы то же самое сделала.

Сережа. А я, когда встревожен, не могу говорить, не могу думать, только сержусь. Когда тревожусь за свою работу, сержусь я. Когда ушла она из моих рук и скрылась из глаз. Друзья смотрят — и то страшно. Но тут особый страх — не оплошал ли я. А когда в чужих руках, боюсь я... Никогда об этом не говорил. Боюсь бездельников.

Маруся. Бездельников?

Сережа шагает взад и вперед по комнате. Не отвечает.

Бездельников... Понимаю. Тех, кто боится дела.

Сережа останавливается как вкопанный.

Чего ты удивляешься?

Сережа. Удивляюсь, что ты поняла меня. И ты их видела?

Маруся. Попадались.

Сережа. Смертной ненавистью ненавижу бездельников, которые развивают бешеную деятельность, только бы ничего не делать.

Которые способны убить дело, только бы ничего не делать. Их ловят, но они умеют находить мертвое пространство. Необстреливаемое. Чему ты улыбаешься?

М а р у с я. Мне нравится, как ты хорошо говоришь. Складно.

С е р е ж а. Все это передумано тысячу раз. Они друг друга узнают и поддерживают, не сговариваясь. В работе — движение. А они боятся движения. И легко убивают работающих... Впрочем, я терпеть не могу, когда меня убивают, и не даюсь. Но в драке — приходится их трогать руками. Понимаешь?

М а р у с я. Противно.

С е р е ж а. Вот именно. Гляди. *(Показывает в окно.)* Мы с Леней подсчитали. Когда строился по моему проекту вон тот дом...

М а р у с я. Знаю я его, знаю, с зеленой крышей. Я нарочно всегда делаю крюк, чтобы мимо него пройти. Даже когда ты меня ждешь.

С е р е ж а. Так вот. Больше ста дней рабочих убил я тогда на борьбу с бездельниками, и они были на краю победы. Никанор Никанорович три раза в Москву ездил. В конце концов, правда, они одного только и добились, что последнюю командировку ему не оплатили. Но утвердили. А меня в коллективной статье, подписанной тремя лентяями, обозвали конструктивистом.

М а р у с я. Свиньи.

С е р е ж а *(смеется)*. Ты у меня все понимаешь. Ты теперь совсем наша. Все у нас тебя любят.

М а р у с я. Я тоже. Только на Леню сержусь иной раз.

С е р е ж а. Напрасно.

М а р у с я. А почему он, когда шутит, всех оглядывает внимательно, смотрит в самое твое лицо — какое впечатление произвел.

С е р е ж а. По близорукости.

М а р у с я. И все звонит каким-то женщинам. И все разным. Им обидно.

С е р е ж а. Он звонит таким, которых не обидишь.

М а р у с я. Не сердись. Прости меня. Я стала безумная какая-то. Леня мне понравился бы — прежде. А теперь мне в голову лезет мысль, что он тебя может испортить.

Смеются.

Ты не презираешь меня за то, что я такая безумная?

С е р е ж а. Еще больше люблю.

М а р у с я. Погоди немножко, и я поумнею.

С е р е ж а. Не смей.

М а р у с я. Ты не велишь?

С е р е ж а. Запрещаю. Правда. Довольно. Не надо ни о чем думать. Не думай.

М а р у с я. А вдруг я сойду с ума.

С е р е ж а. И отлично.

М а р у с я. Ты велишь?

С е р е ж а. Да.

М а р у с я. Что-то я уж очень полюбила слушаться! Я...

Звонок.

С е р е ж а. Не открывай.

М а р у с я. Не откроем.

С е р е ж а. Спрячемся на сегодня.

М а р у с я. Здесь дом. Как в детстве — помнишь? — здесь не ловят.

Звонок.

Вот человек! Ничего не понимает.

Звонок.

С е р е ж а. Звони, звони! Нам от этого еще уютней.

Чередование длинных и коротких звонков. Маруся вскакивает.

М а р у с я. Сережа! Да ведь это он!

С е р е ж а. Кто — он?

М а р у с я. Ну как ты не понимаешь? Наш Юрик! Слышишь? *(Хохочет.)* Он передает азбукой Морзе: "Ю-р-о-ч-к-а м-и-л-е-н-ь-к-и-й я-в-и-л-с-я".

Хохочет, выбегает в прихожую и возвращается с Ю р и к о м, очень молодым человеком, года, может быть, на два всего старше Маруси. Он чуть прихрамывает. Очень незаметно. Весел. Не сводит глаз с Маруси. Так пристально рассматривает ее, что Сережу и не замечает сначала. В руках огромный сверток.

Сережа, это Юрик!

Юрик на миг перестает улыбаться, взглядывает на Сережу и тотчас же будто забывает о нем. С наслаждением глядит на Марусю.

Помнишь, я рассказывала, Сережа? Он на два класса меня старше был. Чем он увлекается, тем и весь детдом, бывало. Это он научил нас принимать азбуку Морзе на слух.

Ю р и к. Забудем прошлое, перейдем к настоящему.

М а р у с я *(хохочет)*. И голос прежний! Вот славно-то. Да положи ты сверток свой.

Ю р и к. Невозможно, рассыплется. Неси скорее кастрюльку, или тазик, или коробку — любую тару. Это подарок тебе!

М а р у с я. Какой?

Ю р и к. Черешни купил. Первые. Из Средней Азии или с Черного моря. Три кило тебе в честь первой встречи после разлуки.

М а р у с я. С ума сошел!

Ю р и к. Благодарить надо, а ты оговариваешь. Беги за кастрюлькой, не мучай человека!

М а р у с я. Ну и Юрик! Чудеса! Как мало другие люди меняются, не то что я! *(Убегает.)*

Ю р и к *(Сереже)*. Ох, намучился я, пока искал Марусю. В общежитии никто ее адреса не хочет говорить, все какой-то незнакомый народ. А кто знакомый — в кино ушли. А прибежал сюда — не открывают. Ближе друга нет у меня, чем Маруся, хоть и старше был на два класса. Вместе эвакуировались. Меня на вокзале Финляндском на прощание в ногу ранило. Осколком. Я маленький, а она еще меньше, все воду носила мне. И вдруг потерял ее.

Вбегает М а р у с я с кастрюлькой.

М а р у с я. Ну, давай пересыпай. Что ты на меня так глядишь? Лицо запачкано, что ли?

Ю р и к. Эх ты, дитя, дитя, взглядов не понимаешь. *(Пересыпает черешни.)* Одна гражданка обиделась, что много беру. А я ей: “Ну можно ли ссориться возле такого радостного продукта! Не пшено ведь!” Ну и мастерица ты прятаться. Хорошо, Валя Волобуева дала твой адрес.

М а р у с я. Валя?

Ю р и к. Она. Я спрашиваю, как ты живешь, а Валя: “Сами увидите”.

М а р у с я. Ты теперь кто? Он, Сережа, кончил школу, не стал держать в вуз, а пошел в геологическую экспедицию, коллектором. Потом на Камчатку уплыл. Я, говорит, засиделся. А теперь ты кто?

Ю р и к. А теперь я понял, что если так много ездить взад и вперед —

изнежишься. Да, да! Привыкнешь каждый день новеньким кормиться. Не-е-ет! Хватит. Я поступил на "Электросилу" и буду держать в Электротехнический на вечернее отделение.

М а р у с я. И учиться и работать?

Ю р и к. У меня такая идея, что если я себя немедленно не возьму в руки, то выйдет из меня бродяга. Я испугался. Себя потеряешь, тебя потеряешь. Почему в адресном столе нет твоего адреса?

М а р у с я. Есть. *(Хохочет.)*

Ю р и к. Смотри! Мария Илютина в Ленинграде не проживает!

М а р у с я. Зато проживает в Ленинграде Мария Николаевна Орлова. Ну чего ты отступил, как от призрака! Я Орлова! Я замуж вышла! Юрик! Ты чего?

Ю р и к. Это моя манера радоваться и восхищаться. *(Сереже.)* Вы и есть — он?

М а р у с я. Да. Сережа. Можно, он будет называть тебя Сережа?

С е р е ж а. Можно.

Ю р и к. Поздравляю, Сережа. Ну, я рад.

М а р у с я. Еще бы!

Ю р и к. Очень рад. Если бы ты не замужем была — я пропал бы с досады.

М а р у с я *(хохочет)*. Это еще почему?

Ю р и к. Не смейся. Я в тебя влюбился, когда перешел в восьмой класс, — и на всю мою жизнь. Понимаешь теперь, как хорошо, что ты замужем?

М а р у с я. Почему?

Ю р и к. Потому что я и сам женился, между прочим.

М а р у с я *(хохочет)*. Ты? Да ты еще мальчик!

Ю р и к. А ты кто?

М а р у с я. А я — Мария Николаевна. Познакомишь с женой? А какая она? Блондинка? Или черненькая? А зовут как? А где работает? Или она учится?

Ю р и к. А вот познакомишься с ней — все узнаешь.

М а р у с я *(хохочет)*. Подумать только: Юрик — женат.

Ю р и к *(Сереже)*. Вот всегда так и было. Смеется! Есть такой закон, еще не открытый наукой: в ребят из своего детдома не влюбляются. Я, бывало, намекаю ей на свою любовь, а она хохочет. А я мучаюсь.

Маруся. Юрик, не барахли.

Юрик. Вот вечно так. Не верила моим мучениям. Да и правильно. Такие мучения здоровому и веселому человеку только на пользу. Стоишь на вахте. Погода беспощадная, камчатская, а вспомнишь Марусю — сразу делается все многозначительно. И на этом кончим. До свидания, молодые супруги.

Маруся. Как до свидания? Год пропадал — и вдруг...

Юрик. До свидания, друзья, до свидания. Тебе сегодня не до нас. Я не в укор говорю, — сам знаю, что такое любовь! Забыла ты весь мир, притаилась — но не тут-то было! Самый верный из друзей проник к тебе в дом хитростью. Что же делать? Разве от жизни уйдешь? Разве от нее спрячешься? Никогда! Пожелаю я вам, друзья, вот чего: пусть случится чудо, пусть врывается к вам жизнь только так, как я сегодня: с дружбой и лаской и полными руками. Будьте счастливы! Будь счастлива, сестричка моя единственная!

Маруся целует его.

Жалко! Такая нежная, такая маленькая — и вдруг ты, Сережа, ее муж. Эх, грубый мы народ, мужчины. Не обижайте ее, Сережа, не обижайте. Эх, Маруся!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Освещены только куклы и листок календаря, на котором стоит 27 июня.

Кукла и медвежонок *(поют):*

В доме восемь на Сенной
Поселились муж с женой.
И не только поселились,
Но как дети подружились.

Хохот, шум. Куклы замирают, как неживые. Календарный листок исчезает. Декорация та же. Столы сдвинуты — и оба письменных, и еще какой-то третий, очевидно, кухонный. Все они покрыты двумя скатертями. Поверхность получилась неровная. Но гости, расположившиеся за столами, чувствуют себя отлично. Шумят. Ужин приближается к концу. Сережа садится у проигрывателя. Маруся и Юрик меняют приборы.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч пробует откупорить бутылку шампанского, что ему не удается. Собрались: Л е н я, Ш у р о ч к а, ее муж М и ш а, В а л я В о л о б у е в а — Марусина подруга по университету, О л ь г а И в а н о в н а.

О л ь г а И в а н о в н а *(Лене)*. Довольно. Кончено. Детей тут нет. Я гуляю.

Л е н я. И совершенно правильно делаете.

О л ь г а И в а н о в н а. Сегодня Марусе двадцать лет. И она ровно три месяца замужем. Целый квартал — шутка сказать! Я гуляю и никого не воспитываю. Сегодня у меня выходной. Никанор Никанорович, что же шампанское? Я речь хочу сказать.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Пробка сидит как припаянная.

Ш у р о ч к а *(хохочет)*. Как припаянная! Ох, умереть. *(Хохочет.)* Попробуй дерево припаяй!

Л е н я. Вы поворачивайте пробку вокруг оси.

Ш у р о ч к а. Вы Мише моему дайте, Никанор Никанорович, он сразу откроет. У него руки железные.

В а л я. Дайте я попробую.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Ни за что! Сережа, поставьте какую-нибудь пластинку, пусть слушают, а мне не мешают.

С е р е ж а. Слушаю. *(Ставит пластинку.)*

О л ь г а И в а н о в н а. Довольно. Я гуляю. Об этом и речь скажу. Я никого не воспитываю. Верите ли, в эвакуацию еду на телеге. Правлю лошадью. И кричу ей: “Я тебе что сказала! Что за непослушная девочка!” Нет, хватит. Сегодня за столом взрослые. Поговорим о любви. Скажите, Маруся и Сережа счастливы?

Л е н я. Мы с Марусей подружились. Мы все с ней подружились. Она простая.

О л ь г а И в а н о в н а. Ну вот и хорошо, вот и все.

Л е н я. Маруся простая. А любовь — дело непростое.

О л ь г а И в а н о в н а. Ну вас!

Л е н я. Вы же хотели говорить как взрослый человек.

О л ь г а И в а н о в н а. Ну вас!

Л е н я. Любовь — дело непростое, особенно когда живут люди вместе.

О л ь г а И в а н о в н а. Все на свете непросто.

Л е н я. Любовь такая дура, каких свет не видел.

О л ь г а И в а н о в н а. Ладно. Вода тоже дура, а паровозы тянет.

Л е н я. Сравнили.

О л ь г а И в а н о в н а. Да, сравнила. А по-вашему, надо махнуть рукой и подчиниться?

Л е н я. Руководить нашими молодыми предлагаете? Не обижайтесь, Ольга Ивановна, я их не меньше вашего люблю. Ну, во всяком случае Сережу. Воевали вместе. Но слова ему не скажу о его семейной жизни.

Ш у р о ч к а. Ой, выключите пластинку — не люблю симфонии.

Л е н я. Это не симфония. Это "Приглашение к танцу" Вебера.

Ш у р о ч к а. Все равно незнакомое.

Л е н я. Слушать только знакомое — все равно что сидеть по десять лет в одном классе.

Ш у р о ч к а. Да? Так вы судите? А я вас срежу. Почему когда хорошего знакомого встречаешь, то радуешься, а когда знакомую песню, то нельзя? Ага — замолчал? Нет, нет, симфоний я не люблю. От симфоний — душа болит. Тревожно от них... Сережа, откройте, пожалуйста, дверь в коридорчик. Если Майечка позовет из вашей спальни, я услышу. Спасибо. Нет, я не люблю симфоний, хоть зарежьте. Больше всего люблю я передачи по заказу радиослушателей. Тут уж все знакомое.

Л е н я. Будто родственники в гости ввалились в воскресенье.

Ш у р о ч к а *(хохочет)*. Ох, умереть! Ох, плакать мне сегодня! Ох, этот Леня — хуже затейника в Доме отдыха. Родственники... Конечно, есть такие родственники — как увидишь, так и увянешь. До того принципиальные. Не улыбнутся никогда. Но есть и другие... Миша, Мишенька! Звездочка ты моя! Слушает, как я говорю, — и не стесняется. Другие мужья, извините, корчатся прямо, когда их жены разговаривают. Все им кажется, что жена глупость скажет. А Мишенька мой только хлопает своими ресницами. Миша мой, Мишенька, скажи хоть словечко, — все разговаривают, один ты молчишь!

М и ш а. И в самом деле — дайте мне бутылку, Никанор Никанорович.

Ш у р о ч к а. Заговорил! Золото ты мое! Да как убедительно, как разумно! Неужели вы ему откажете? Я, когда он такой добрый да ласковый, согласна все для него сделать, как для мамы родной.

Л е н я. Что вы замолчали, Ольга Ивановна?

О л ь г а И в а н о в н а. Огорчилась. Вспомнила то, что не следует. Неужели вы думаете, что они могут быть несчастны? Почему

вы сказали: “Ни слова ему не скажу о его семейной жизни”? Вы заметили что-нибудь?

Леня. Нет, что вы!

Ольга Ивановна. А по-моему, они невеселые сегодня.

Леня. Вот тоже особенность семейной жизни. Тонкость ее. У Сережи был неприятный разговор на одном объекте. Он не в духе. И сразу же и Маруся потемнела.

Ольга Ивановна. Сочувствует.

Леня. Я тоже сочувствую, но не заражаюсь его душевным состоянием. А супруги легко заражаются душевным состоянием друг друга.

Ольга Ивановна. Ну, это уже философия.

Леня. Нет, физиология. Какие же они муж и жена, если не увлекают друг друга. Если уж мы говорим как взрослые. Не только обнимаются и целуются заразительно, но и радуются, и сердятся, и...

Ольга Ивановна. Ну вас!

Леня. Видите — разговаривать о них — и то мы не можем с полной ясностью, а вы хотите еще и направлять. Ведь они муж и жена! Напоминаю!

Ольга Ивановна. Ладно. Авось останутся еще и людьми.

Леня. Надеюсь, но... Маруся очень простая. Ее можно обидеть насмерть.

Ольга Ивановна. Леня!..

Никанор Никанорович. Готово.

Валя. Открыли?

Никанор Никанорович. Сломалась пробка.

Общий хохот.

Шурочка. Вечно это с шампанским. Надо письмо в газету написать.

Юрик. А ну, дайте мне бутылку.

Шурочка. Миша откроет. Миша мой.

Юрик. Я тут тоже вроде свой. Чего же Мише надрываться? *(Берет бутылку, убегает. Маруся за ним.)*

Шурочка *(хохочет.)* Свой! Сережа! Как вы терпите, я за такие слова голову бы оторвала!

Валя. Какие глупости! Ведь они вместе учились.

Ольга Ивановна. Леня, почему вы сказали, что Марусю можно обидеть насмерть?

Л е н я. С непривычки.

О л ь г а И в а н о в н а. Не понимаю.

Л е н я. Я умею серьезно разговаривать о работе. А вы вдруг заговорили серьезно о семейной жизни. И мне с непривычки почудилось невесть что. Да тут я и выпил еще. Простые люди не гнутся, а разбиваются... Довольно. Несу невесть что. Никанор Никанорович, зачем шепчетесь вы с Шурочкой? Это нетипично.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Отстаньте! *(Шурочке.)* С чего вы это взяли?

Ш у р о ч к а. А вот можете убить меня, и я слова не пикну, если я неправа.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Выдумали.

Ш у р о ч к а. Кого угодно можно обмануть, но только не меня. Юрик не женат, не женат, не женат! Пусть он жену сюда не приводит. Это ничего не доказывает. Может, она такая, что Юрик ее стесняется. Мало ли на ком можно сгоряча жениться! Это бывает. Но он неухоженный. Какая бы плохая жена ни досталась на долю парню — все же зашила бы рукав на выходном костюме. По шву распорото. У меня — и то руки чесались зашить, да Маруся опередила.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. А зачем ему лгать?

Ш у р о ч к а. Нет, нет, у него все поведение холостяцкое. Говорит, что с женой живет дружно. Так хоть раз на часы взгляни, когда ты в гостях. По телефону позвони: "Нюра, я задержался". Нет, никогда. Недавно вышла у нас такая глупость, что и с умным случается, — заигрались мы в подкидного дурака до половины третьего ночи. Позвонил Юрик домой, что задерживается? Нет!

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Зачем Юрику лгать, спрашиваю я вас?

Ш у р о ч к а. Зачем?

С о н н ы й д е т с к и й г о л о с. Мама!

Миша вскакивает.

Ш у р о ч к а. Кажется, маму ребенок зовет, а не папу! Иду, Майечка, иду. *(Убегает.)*

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Влетело, Миша?

М и ш а. Вы не думайте. Она не всегда. Иной раз сорвется, а бывает добрее доброго. Она веселая.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Огонь женщина. А как экзамены, Миша?

М и ш а. Ох, Никанор Никанорович, глупею. Когда надо отвечать — глупею. Молчаливость окаянная одолевает. Язык отнимается. Это я сейчас разговорился, коньяку выпил, а на экзамены выпивши не пойдешь. Но в общем начинают привыкать ко мне, ждут, когда я разговорюсь. Но это в сторону. Вы Шурочку не знаете. И никто ее не жалеет так, как я. Сейчас она умнее любого, не успеешь оглянуться — и хуже ребенка балованного. Но это в сторону. Об этом молчок.

Вбегает Ш у р о ч к а.

Ш у р о ч к а. Уснула моя радость. Потребовала было песню, что ей папа поет, — "Два гренадера". Вот чему он учит ребенка. Ладно, ладно, не гляди на меня, сегодня я всем все прощаю, мне весело сегодня.

М а р у с я вбегает.

М а р у с я. Добился Юрик наш! Валя, скорее готовь бокалы. Пробка сама пошла.

Входит Ю р и к.

В а л я. Ой, только не в меня, Юрик! Я этого терпеть не могу!

Ю р и к. Будьте покойны, жертв не будет.

Пробка вылетает. Бокалы наполнены.

О л ь г а И в а н о в н а. Прошу слова.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Тише, тише!

О л ь г а И в а н о в н а *(открывает сумочку, достает пачку телеграмм)*. Ребята!.. Впрочем, я, кажется, оговорилась. Маруся! Видишь, сколько телеграмм пришло к тебе! И от одноклассников. И от старших. От Васи Захарова. Ездит он шофером в Таджикистане. И от Стаси Помяловской. Она учится в театральной студии в Москве. Это я не Марусе объясняю, а вам, гостям. Маруся и без меня знает, кто, где и как живет. И от Леши Гауптмана. Он работает в музее в Пензе. С первого класса, узнав, что есть писатель с такой фамилией, пристрастился он к искусству. Но стал в искусстве не богом, а только жрецом. Отличный музейный работник. Ах, да всех не перечислишь, потом разберешь, Маруся. Много лет справляли мы твое рождение в детском доме. И вот вспомнили бывшие детдомовцы тебя. Они тебя

любят. У тебя сорок братьев и сестер. И все спрашивают в письмах — как ты живешь. А Игорь Хаджибеков, самый из них вдумчивый — он преподает физику в Саратове в одной школе, — пишет: “Маруся, семья в мирное время — это все равно что тыл во время войны”.

Ю р и к. А сам холостой.

О л ь г а И в а н о в н а. Замолчи, легче легкого смеяться над теми, кто учит. Всем вам чудится, будто все вы и сами понимаете. А где твоя жена? Не привел ее. Значит, глупость совершил. Неудачно женился. А глядя на тебя, и другие начнут ворчать, что семейная жизнь — каторга... Ах, не то я говорю, вероятно. Но пойми меня, дорогая. Поймите меня! Сколько сил потрачено на то, чтобы сделать вас настоящими людьми! Живите по-человечески. Следите за собой. Трудно делать то, что решил. Я шла сюда с твердым намерением не учить и не проповедовать. И вот не удержалась. Значит, человек над собой не волен. Мелочь? Да! Но вся жизнь построена из мелочей. Они все решают. Особенно в семье. Будьте счастливы! Умоляю вас, будьте счастливее старших.

Л е н я. Ольга Ивановна, что вы беспокоитесь? Они счастливы. Это и слепому видно. За это и пьем.

Темнеет. Загорается свет. Декорация та же. Часы бьют дважды. Гости разошлись. С е р е ж а сидит на диване, угрюмо смотрит в книжку. Столы все еще составлены вместе, но скатерть снята с них. Звон посуды. Из кухни выходит М а р у с я с грудой тарелок. Ставит их на стол. Сережа не поднимает головы. Маруся отправляется к двери. Останавливается нерешительно.

М а р у с я *(тихо)*. Сережа, что с тобой?

С е р е ж а. Ничего.

М а р у с я. Ну как хочешь. *(Пауза.)* Ты даже не помог мне посуду вытереть. Что с тобой?

Сережа молчит.

Вот тебе и раз. День моего рождения, а ты наказываешь меня. За что?

Сережа не поднимает глаз от книжки.

Все думают, что мы счастливы, ушли от нас веселые, а у нас вот какой ужас. Поглядела бы Ольга Ивановна. Поговори со мной, а, Юрик!

С е р е ж а. Меня зовут не Юрик.

М а р у с я. Я оговорилась, потому что он со мной был целый вечер, а ты молчал нарочно. Ну скажи — что я сделала? Смеялась слишком громко? Нет, тебе просто нравится меня мучить. Нравится, и все тут. Выпил ни с того ни с сего уже после торта — целый стакан коньяку. Как маленький.

С е р е ж а. Маленькие не то пьют.

М а р у с я. Как десятиклассник. Нет, ты можешь со мной помириться, да не хочешь, жестокий ты человек. Ты нарочно пил, чтобы я мучилась.

С е р е ж а. Я не знал, что ты изволишь заметить, пью я или не пью.

М а р у с я. "Изволишь"... В жизни от тебя не слышала подобных слов.

С е р е ж а. Это не брань.

М а р у с я. У других, может быть, и не брань, а у нас брань. Сереженька, миленький мой, я не умею ссориться! Я не знаю, что говорить. Умоляю тебя, если я в чем-нибудь виновата, выругай меня прямо, голубчик. Пожалуйста. А то мне страшно.

С е р е ж а. Не бойся.

М а р у с я. Ты и на войне воевал, и видел больше, чем я, значит, должен быть добрее. Ты старше.

С е р е ж а. Раньше надо было думать.

М а р у с я. О чем?

С е р е ж а. О том, что... старше.

М а р у с я. Я не понимаю. Я сказала... Я ничего не понимаю. Ну посмотри на меня, Юрик...

С е р е ж а. Дай мне отдохнуть от Юрика!

М а р у с я. Я... *(Всплескивает радостно руками.)* Сережа, маленький мой, — ты ревнуешь? Мальчик мой! Значит, не я одна поглупела, — и ты у меня дурачок? Вот славно-то! Сережа!

С е р е ж а. Я...

М а р у с я. Не спорь, не спорь.

С е р е ж а. Я... Мне показалось, что я тебе не нужен.

М а р у с я. Ты? Мне даже стыдно — вот до чего ты мне нужен. Мне даже страшно — вот как ты мне нужен. Я какая-то стала доисторическая. Дикая. Вот как ты мне нужен.

С е р е ж а. Ладно. Я бы никогда не сказал. Это коньяк.

М а р у с я. Ну, спасибо коньяку.

С е р е ж а *(закуривает)*. Забудь. Больше никогда ни слова. Мне показалось глупым, что он от тебя не отходит.

М а р у с я. А как же он иначе может? *(Садится возле Сережи. Гладит его по голове.)* Сколько я себя помню — он всегда возле. Я маленькая была, но помню, как мы вдруг очутились так далеко — в Кировской области, в лесах... Все чужое. Все непонятное. Вечера бесконечные, света нет. Сидим, поем в интернате. Ольга Ивановна поет, а у самой голос все хрипнет. А кончилось тем, что хор у нас образовался. И стали мы ездить по району — участвовать в концертах. Прославились. А один раз чуть не погибли: попали в буран по дороге на концерт. Меня с собой всегда брали. Я объявляла номера. Ольга Ивановна была против, но я не испортилась от своей сценической деятельности. Все смеются, что такая маленькая на сцене. Ты спишь?

С е р е ж а. Нет, я стараюсь представить себе, как все это было. А я в это время дрался.

М а р у с я. А ты дрался. И вот все кончилось хорошо. А Юрик — как же он может не ходить за мной следом? Так было испокон веков.

С е р е ж а. Ты видела его жену?

М а р у с я. Нет. Увижу когда-нибудь. Неважно. Ну и все. Какая тяжесть с души свалилась! Я думала — какую это я глупость сделала, рассердила тебя? А оказывается, это ты дурачок.

С е р е ж а. Да вот представь себе. Я не знал. *(Обнимает Марусю.)* Никому тебя не отдам — вот я какой, оказывается.

М а р у с я. Ну ничего. Как-нибудь.

С е р е ж а. Опасное место — дом. Привыкаешь тут снимать пиджак. Расстегивать воротник. Ну, словом — давать себе волю.

М а р у с я. Ничего.

С е р е ж а. Все равно — никому я тебя не отдам.

М а р у с я. И не отдавай. И пожалуйста. И спасибо. Я так этому рада!

Все исчезает во тьме, кроме к у к о л. Они поют.

М е д в е ж о н о к. В доме...
К у к л а. Восемь...
М е д в е ж о н о к. На...
К у к л а. Сенной...
К у к л а и м е д в е ж о н о к *(хором)*.

Поселились муж с женой.
И не только поселились,
Но как дети подружились.

Кукла. Чудо!

Медвежонок. Чудо? Погоди!
Что-то будет впереди?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Календарь показывает 19 октября.
Когда он исчезает, мы видим все ту же комнату.
Ясный осенний день. Валя Волобуева заклеивает длинными полосами бумаги рамы. Маруся моет второе окно, перегнувшись во двор. Шурочка крепко держит ее за юбку. Поет задумчиво.

Шурочка *(поет)*.

В кружках и хороводах,
Всюду милый мой
Не сводил очей с меня,
Все любовался мной.

Маруся, не перегибайся так, у меня голова кружится. Говорят тебе — пусти, я лучше сделаю, и в один миг. А? Вот упрямая! *(Поет.)*

Все подруги с завистью
На меня глядят,
“Что за чудо парочка”, —
Старики твердят.

Что? Денатурат? Валя, у тебя денатурат? На, Маруся. Осторожней. Если поскользнешься да упадешь — я тебя своими руками задушу.

А теперь вот милый мой
Стал как лед зимой,

Все те ласки прежние
Он отдает другой.

Валя, у тебя никого нет?

В а л я. В каком смысле?

Ш у р о ч к а. Известно в каком.

В а л я. Нету.

Ш у р о ч к а. Удивляюсь. Здоровая. Обаятельная. Свободная. Эх ты! *(Поет.)*

Чем лучше соперница,
Чем лучше меня,
Что отбила милого
Друга от меня?

Иль косою русою,
Иль лицо бело,
Иль походкой частою
Завлекла его?

Ох, Валя, Валя! Я люблю мужа. Уж куда больше любить! Но душа просит... сама не знаю чего. Хоть погоревать во всю силу. И тут своя красота есть. Мы с Мишей, конечно, ссоримся, без этого нельзя. Но как-то по-домашнему. Эх! Люблю тоску! *(Поет.)*

Научи, родная мать,
Соперницу сгубить
Или сердцу бедному
Прикажи забыть.

"Нет запрету, дочь моя,
Сердцу твоему,
Как сумела полюбить,
Так сумей забыть".

Валя, ты чего! Маруся, Маруся, она плачет! Да еще слезы бумажными лентами вытирает. А чем окно заклеивать будем?

М а р у с я *(прыгает с подоконника, подбегает к Вале)*. Валя, Валечка, что с тобой?

В а л я. Я никогда не выйду замуж.

М а р у с я. С чего ты взяла?

В а л я. Не могу влюбиться. Отвращение к мальчишкам. У них руки холодные. На лице какой-то пух. От застенчивости весь каменеет, а туда же лезет — обниматься. Убила бы. А кто мне нравится, тот на меня не смотрит.

Ш у р о ч к а. А тот, кто тебе нравится, постарше?

В а л я. Постарше. Не так много. Еще молодой. Лет двадцати девяти.

Ш у р о ч к а. Мы его знаем?

В а л я. Умру, а не скажу.

Ш у р о ч к а. Вот и проговорилась, дурочка. Значит, знаем.

В а л я. Отчего я такая несчастная, нравлюсь только мальчишкам да старикам. Я никогда не рассказывала, такая минута подошла, расскажу. В прошлом году, когда я была на практике, в заводской лаборатории, был там лаборант. Старый, лет сорока. Щеки синие, хоть брился каждый день. Сопит. Нос не в порядке. Задержались мы вечером в лаборатории. Вдруг глаза у него остекленели. Лицо поглупело. Как бросится на меня.

Ш у р о ч к а. Ну, это уже нахальство!

В а л я. Я не испугалась. Только стало мне так скучно. Уйдите, говорю. А он как глухой. Тут меня даже затошнило. Я так его толкнула, что он рухнул. Разбил две колбы, пробирки. А я бежать. А на другой день знаете что он сделал?

Ш у р о ч к а. Прощения просил.

В а л я. Как же, дожидайтесь. Подал заявление, что я посуду побила. С меня взыскали, а я промолчала. Почему? Будто связало нас это вчерашнее безобразие.

Ш у р о ч к а. Ох, меня там не было.

М а р у с я. Ох, бедные мы, женщины. Пока найдешь свое счастье — столько переживешь.

Ш у р о ч к а. Что верно, то верно. Мне Миша говорит: “Ты знатная ткачиха, что ты все про любовь, ты про работу расскажи”. Чудачок! У меня руки золотые! Мне на работе все ясно как стеклышко, еще и с другими делюсь опытом. Я хочу, чтобы у меня и дома было не хуже. А у кого тут опыт возьмешь? Все семьи разные.

М а р у с я. Человек неделим.

Ш у р о ч к а. Как, как?

М а р у с я. Человек неделим. Ты правильно говоришь. Каждый хочет добиться, чтобы везде он был на высоте.

Ш у р о ч к а. А как добиться? “В семейной жизни главное — терпение”. Ну, хорошо. Я подумала: нет, мне не утерпеть. А с кем посоветоваться? “Миша, говорю, что есть ревность?” — “Прочти в толковом словаре”. Прочла я и даже раскричалась. “Ревность, написано там, — это сомнение в чьей-то верности”. Сомнение! Ну уж это ты брось! Значит, если я застукаю Мишу с Ленкой Куликовой — моя ревность пройдет оттого, что сомнений не будет? Ну как тут верить книжкам? Самой надо учиться. Валечка, ты, значит, все-таки влюблена у нас?

В а л я. Во-первых, нет. А во-вторых, он любит другую.

Ш у р о ч к а. Красиво, печально! Ничего, ничего, ты переживай, это душу украшает.

Открывается дверь, и в комнату входят С е р е ж а, Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч, Л е н я.

М а р у с я. Ох, откуда вы? У меня такой беспорядок! Я босиком.

С е р е ж а. Да уж.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Здравствуйте. Простите, мы думали, что дома никого нет.

М а р у с я. Я не ждала вас.

С е р е ж а. Это сразу видно.

М а р у с я. Ты не предупредил.

Сережа молча выходит.

Куда ты?

Л е н я. К телефону. В коридор. Заказать Москву.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Наш идиот бухгалтер не внес аванс. Мы пришли к вам. Сегодня наш проект обсуждали в главке. Надо узнать. Разрешите позвонить от вас.

М а р у с я. Телефон Сережин.

Л е н я. А будь ваш — вы нас прогнали бы?

Ш у р о ч к а. Не отвечай, Маруся. Ну, я пойду. Сережа такого холода нагнал, что еще простудишься. Пришел — не постучался, вошел — не поздоровался.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Не сердитесь. Мужчина при

виде уборки звереет.

Ш у р о ч к а. Марусенька, вон твои туфельки, под столиком. Я зайду завтра, докончим окно, когда помещение очистится. *(Уходит.)*

Л е н я. И вы уходите, Валя?

В а л я. Да, мне пора.

Л е н я. А я что-то знаю.

В а л я. Вероятно. Иначе не были бы инженером-строителем.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Испортил девушку. Острить стала.

В а л я. Я защищаюсь.

Л е н я. Мы встретили Юрика.

В а л я. До свидания, Никанор Никанорович.

Л е н я. С женой.

В а л я. Это меня не касается. И вы неправду говорите.

Л е н я. Спросите Никанора Никаноровича.

В а л я. Никанор Никанорович, правда?

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Видимо.

В а л я. До свидания. А какая она?

Л е н я. Блондинка. Высокая. Смотрит оценивающе.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Зовут Станислава Арнольдовна. Видимо, полька.

М а р у с я. Ох, тут что-то не то.

Л е н я. Не то?

М а р у с я. Он говорил, что жену его зовут Нюра.

Л е н я. Может быть, по-польски так, а по-русски — иначе.

В а л я. До свидания. Я бегу. *(Уходит.)*

Маруся провожает ее.

Л е н я. Валя по уши влюбилась в Юрика, и все это видят, кроме него самого и ближайших друзей.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. А вам какое дело?

Л е н я. Сам не знаю.

С е р е ж а *(возвращается, мрачно)*. У Якубовского не отвечает телефон.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Прячется.

Л е н я. Никаких сомнений.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Завтра узнаем. Неважно. Нет,

важно. Много у меня, что ли, осталось дней и ночей? Ночь не спать из-за того, что не хватает у человека смелости взять да и сказать всю правду!

Л е н я. Ни в одном проекте не был я так уверен, как в этом.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Вот поэтому он и не прошел. Смотрят на проект. Смотрят и думают: "А я так мог бы?"

Л е н я. Если бы еще Якубовский попал, так сказать, на руководящий пост естественным путем, а он в талантливые инженеры назначен... А раз назначен — значит, могут и снять. Вот он и вертится.

М а р у с я входит в комнату.

С е р е ж а. Мы работаем.

М а р у с я. Я тоже. *(Берет со стола книгу, уходит.)*

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. А до войны? Кем он был до войны?

Л е н я. Никем.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. А теперь считает, что он пуп земли. А на самом деле он просто пуп.

Л е н я. Лицо грубое, щеки как ляжки. Еще за границу его посылают. *(Достает из кармана газету.)* И он описывает свои впечатления. *(Читает.)* "Мне довелось посетить завод строительных материалов". "Довелось" — скажите, пожалуйста! Почему, как начинают наши путешественники изливать в газетные подвалы свои чувства и мысли, — у них язык деревенеет? "Довелось", "не далее как вчера" — обратите внимание. Просто "вчера" уже Якубовский сказать не в силах. Он не простой человек. Землепроходец! *(Читает.)* "Осеннее золото лесов", "то и дело проносятся стада", "досужие болтуны". "Досужие"! — смотрите, пожалуйста, какое словцо выкопал. Сам ты досужий! Казнил бы его.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Ну, это уж незачем. Себе дороже стоит.

Л е н я. Я расточителен.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Вы человек с душою, достаточно разработанной. Вам убивать — противопоказано. Вспомните Раскольникова.

Л е н я. Главная ошибка Раскольникова была в том, что убивал он собственноручно. Надо было поручить секретарю. Ничего бы Раскольников не увидел, не услышал. Мучений совести — на грош, а пользы-то...

Н и к а н о р   Н и к а н о р о в и ч. Довольно. Не кощунствуйте. Идем по домам.

Встает. Частые телефонные звонки.
Междугородняя. С е р е ж а бежит к телефону.

А где Маруся?

Л е н я. Она заходила сюда, но Сережа ее выставил.

Н и к а н о р   Н и к а н о р о в и ч. Не выдумывайте.

Л е н я. А вы даже и не заметили?

Н и к а н о р   Н и к а н о р о в и ч. Не выдумывайте. Когда это было?

Л е н я. Она, как вежливая хозяйка, вошла, а Сережа ей: “Мы работаем”.

Н и к а н о р   Н и к а н о р о в и ч. Не заметил. Честное слово. Я понимаю Сережу. Он не хотел, чтобы жена видела его волнение.

Л е н я. Терпеть не могу слова “волнение”.

Н и к а н о р   Н и к а н о р о в и ч. Шли бы вы в писатели!

Л е н я. Не смею.

Входит С е р е ж а.

С е р е ж а. Якубовский звонил. Проект принят. С блеском. Он звонил нам в бюро, не застал, потом вам, потом добыл мой телефон — и сюда. Естественно, что у него дома телефон не отвечал. Он в главке сидел, к нам дозванивался.

Пауза.

Н и к а н о р   Н и к а н о р о в и ч. Первый признак действительно талантливого человека: он радуется чужому успеху. Он понимает, что каждая удача не отнимает, а дарит. Растет уважение ко всей организации.

Л е н я. И работает как мученик. Здоровье-то у него никакое. Обрюзг, побледнел, а отдыхать не едет.

С е р е ж а. За границей-то побывал.

Л е н я. Ну какой же это отдых!

С е р е ж а. И написал...

Л е н я. Как будто он сам писал! Посмотри название статьи: “Под чужими звездами”. Он человек умный, скромный. Это за него сочинил кто-нибудь.

С е р е ж а. Ты же собирался его казнить.

Л е н я. Я... я... не успел, к счастью.

Друзья переглядываются и разражаются хохотом.

Сережа. Признаем — свиньи мы. Плохо воспитаны.

Никанор Никанорович. Нервы.

Леня. Судили и осудили, да с какой легкостью!

Никанор Никанорович. Довольно психологии. Проект принят! Впрочем, я и не сомневался в этом. Мария Николаевна! Мария Николаевна!

Входит Маруся с книгой в руке.

Поздравьте нас — принят проект.

Маруся *(радостно)*. Принят! *(Словно опомнившись, холодно.)* Поздравляю.

Леня. Бежим, бежим! Дадим отдохнуть людям. Вечером созвонимся. *(Идет в прихожую.)*

Маруся стоит на месте, опустив голову. Сережа возвращается.

Сережа. Что ж ты свет не зажигаешь — стемнело совсем. *(Зажигает свет, взглядывает на Марусю. Пугается.)* Маруся, что с тобой? Отчего ты такая бледная? Простудилась! Возишься с окнами, возишься, сколько раз я тебе говорил.

Маруся. Окна сами не вымоются, не заклеятся.

Сережа. А что с тобой? Я тебя обидел, может быть? Ну как тебе не стыдно. Мало ли что бывает! Мы, мужчины, народ грубый. А кто слишком вежливый — тот не мужчина. Ну, Маруся, проснись.

Маруся. Я проснулась.

Сережа. Давай помиримся.

Маруся. Мы не ссорились.

Сережа. Ну, как хочешь. *(Идет к столу сердито. Усаживается. Открывает книгу.)*

Свет гаснет. Освещены только куклы.

Медвежонок. Слушай ты, Сергей! Послушай нас пока не поздно!

Кукла. В следующий раз будешь просить — не ответим.

Медвежонок. Вон, я вижу, в книжке у тебя написано: "Эти вещи ясно говорят о том, что каменный период сменился тут бронзовым ранее, чем можно предположить". Вон о чем при случае говорят вещи! И притом ясно! А ты не желаешь нас слушать!

Кукла. А мы ясно тебе говорим: пойди помирись!

Медвежонок. Мы ясно тебе говорим: в ссорах есть своя

прелесть, не поддавайся этой игре!

К у к л а. В этой игре, прости меня, фарфоровую, за выражение, разбиваются сердца!

М е д в е ж о н о к. Сколько тебя, дурака, воспитывали — будь воспитанным мальчиком.

К у к л а. Сидит!

М е д в е ж о н о к. Не слушается. Будто мы не вещи, не куклы, а, прости господи, его родители. Что делать?

К у к л а. Споем с горя!

Поют.

В доме восемь на Сенной
Поселились муж с женой.
Поселились, веселились,
А потом и побранились...

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Вспыхивает свет, освещающий календарный листок. На нем число: 19 ноября. Когда он исчезает, к у к л ы замерли, как неживые. М а р у с я разговаривает с ними.

М а р у с я. Дети, я научилась ссориться. Что делать? В азарт вхожу. Иной раз даже обидно мириться, — вот я во что превратилась. Началось с пустяков. Сережа при чужих сказал, чтобы я вышла из комнаты. Я, конечно, вышла. И тут родилась первая ссора. Я молчу, и он молчит. Я самостоятельный человек. А он мужчина. Потом прошла неделя, и вдруг показалось мне, что он похудел, сжалось у меня сердце, бросилась я к нему на шею, и прожили мы так мирно, так славно, так близко, как никогда в жизни, дней пять. Потом он вдруг обиделся. А на что — не могу вспомнить, вот что смешно. Мы вместе не могли вспомнить. Но молчали неделю. И пришел он ко мне мириться первый. И снова мир. В чем дело, дети? Может быть, любовь имеет свой возраст. Сначала любовь — ребенок, все умиляются, смеются каждому словечку, радуются. А потом глядишь — и вырос ребенок. Любовь-подросток командует нами. Подросток. Легко ли? Переходный возраст, со всякими глупостями. Ах,

глупостями. Ах, Сережа, Сережа! Шучу я с вами, дети, чтобы себя подбодрить. В последней ссоре было что-то, говоря прямо, страшное. Я попросила его объяснить мне один вопрос по высшей математике. Стал он объяснять. Я не понимаю. И он заорал на меня, с ненавистью, с отвращением, как на врага, — вот чего никогда не было. Нет, надо иметь смелость и сказать — в последней ссоре было что-то безобразное. Так ссориться я не научусь. Если тебя подбрасывать — будет только смешно и жутковато. А если на пол швырнуть — разобьешься. Верно, кукла? Ты неживая — и то разобьешься. А ведь я живая. Если...

Звонок. Маруся убегает и возвращается с Юриком и Валей.

Больше всего мне хотелось, чтобы это вы пришли. Садитесь. Какую картину видели?

Валя. Немое кино. “Человек из ресторана”. Подумать только — ни звука, ни слова, а все понятно.

Юрик. Меня другое удивило.

Валя. Юрик, только не шутите! Я так настроена серьезно, так мне жалко всех, а вы начнете подсмеиваться, и все пропадет.

Юрик. Нет, я шутить не собираюсь. Я другое хочу сказать. Смотрел я картину и удивлялся. Можно было подумать, что собрались в кино люди только хорошие.

Маруся. Почему?

Юрик. До тонкости все понимали: кто поступает правильно, кто нет, кому надо сочувствовать, кого ненавидеть или презирать. Ахали в один голос, и смеялись, и даже плакали.

Валя. Что ж тут удивительного?

Юрик. Если бы они в жизни так отчетливо понимали, что хорошо, что плохо, — вот славно жилось бы!

Валя. Все понимают!

Юрик. Когда стукнет.

Маруся. А ты и без этого все понимаешь?

Юрик. Я все понимаю. Мне объяснять не надо.

Маруся. Ты куда, Валя?

Валя. Чай поставить можно?

Маруся. Что спрашивать-то.

Валя убегает.

Чего-то она в последнее время нервничает.

Ю р и к. Не замечал. А вот у тебя что-то неладно в жизни.

М а р у с я. Юрик, не барахли.

Ю р и к. Ты, конечно, не скажешь никому. Разве что куклам. Да и тем как-нибудь повеселее, чтобы непохоже было, что жалуешься.

М а р у с я. С чего ты взял?

Ю р и к. Знаю, знаю! Такими уж мы выросли. Поди у нас в детдоме пожалуйся. Мы, бедные сиротки, этого не любили.

М а р у с я. Юрик!

Ю р и к. Ладно, ладно, расспрашивать не буду. Нервничает, говоришь, Валя? С учением неладно?

М а р у с я. Вполне благополучно.

Ю р и к. Дома обижают?

М а р у с я. Она в общежитии живет.

Ю р и к. По комсомольской линии неприятности?

М а р у с я. Все хорошо.

Ю р и к. Чего же ей еще надо?

М а р у с я. Не знаю. Может быть, влюбилась.

Ю р и к. Что ты, что ты, она о таких делах даже и не думает. А тебе я вот что скажу. Вот компас. Мне его жена подарила.

М а р у с я. Юрик! Мы вместе его купили! Я покупала ватманскую бумагу, а ты купил себе компас.

Ю р и к. Неважно. Мне она, значит, другой преподнесла. Вот. Гляди. Юго-восток. Тут по прямой линии пойди — работает Вася Захаров. Едет сейчас на машине своей. Хорошо! Не в комнате сидит, а на машине едет.

М а р у с я. Там ночь уже, в Таджикистане. Он спит.

Ю р и к. Он сегодня в ночной смене. Едет по степи. На горы смотрит, я чувствую. Компас на Пензу. Лешка Гауптман тоже в командировке. Он собирает для пензенского музея что-нибудь благородное. Ел он сегодня или нет, конечно, неизвестно. Ты его характер знаешь. Если напомнят, поест. А не напомнят — он и не спросит. Стаську я видел с месяц назад, случайно встретил. Еще с Сережей познакомил. Привозили ее на один спектакль из Москвы.

М а р у с я. И она ко мне не зашла?

Ю р и к. Утром репетировала, вечером сыграла — и на поезд. Не хотела особенно показываться. “Еще, говорит, ничего не добилась”. Но она добьется. Голос золотой, лицо, рост. Она из нас самая

честолюбивая, что ли. Но все равно, она как все мы. И она в комнате не сидит. В ее комнате — три стенки. А четвертой нет. И она выходит: “Глядите, вот как я работаю”.

Маруся. Как Стаськино полное имя? Никогда не знала. *(Укладывается на диване калачиком. Кладет голову Юрику на колени.)*

Юрик. И я недавно узнал: Станислава Арнольдовна. Ставлю компас на Хаджибекова. Ты еще помнишь, каково учителю в классе?

Маруся. Приблизительно.

Юрик. А я тебе скажу, что Стаське — куда менее страшно. Учитель тоже, как артист, все время у зрителя на глазах. Только школьный зритель об одном и думает — когда перемена. И разглядывает учителя, как в микроскоп. Хаджибеков наш из адыгейцев. Парень горячий. Физику, мало сказать, любит. Считает наукой наук. Может, он и зажжет класс, конечно. Но разве его весь зажжешь? Сердится. Однако не сдается. Все мы как на переднем крае.

Маруся. И я?

Юрик. И ты. А на переднем крае строго. Народ мы обыкновенный. Может, умрем, и никого не вспомнят, кроме Стаськи разве. Но мы подобрались все как один — добросовестные. А на добросовестных мир держится. Вспомни — кем мы были? Война наших близких растоптала. Сидим в темноте маленькие в интернате, поем, как голосим. А к чему привело — научились петь и прославились пением своим на всю область. И ты научишься, как на свете жить.

Маруся. Научусь?

Юрик. А как же может быть иначе?

Маруся. Как ты угадал, что мне надо помочь? Что именно мне надо сказать?

Юрик. Любовь научила.

Маруся. Любовь — дело недоброе.

Юрик. Не говори глупости, девчонка. Ты только начала любить. Любовь — это...

Дверь открывается, и входит Сережа. Маруся и не думает переменить положение. Ни признака смущения на ее лице.
Не двигается и Юрик. Только Сережа невольно делает шаг назад.

Ты что думаешь — я у тебя жену отбиваю? Нет, к сожалению. Ее не отобьешь.

М а р у с я. Юрик, не барахли. Сережа, хочешь чаю? Там Валя на кухне занялась хозяйством.

Ю р и к. Пойду помогу.

Бережно приподнимает Марусину голову. Маруся встает. Юрик уходит.

М а р у с я. Ну, Сережа? Как будет у нас сегодня? Буду я как бы пустым местом? Или ты будешь меня учить? Или примешься говорить о глупости женщин вообще? Сегодня я сказала Юрику: любовь — дело недоброе. Вот я чему научилась!

С е р е ж а. Не умею я разговаривать на подобные темы.

М а р у с я. Ну что ж, давай опять молчать. Лишь бы не кричать.

С е р е ж а. Постой. Не уходи. Пожалуйста. У меня не ладится работа, а когда не ладится — я на всех бросаюсь.

М а р у с я. Почему же ты мне не сказал?

С е р е ж а. Я ничего тогда не вижу. И ничего не понимаю. Я знаю, что нет дела подлее, чем вымещать несчастья на невиноватых, на своих, на тех, кто послабей, на тех, кто любит и терпит. И... говорить, так все говорить — сейчас вдруг я понял, как ты мне дорога.

М а р у с я. Правда?

С е р е ж а. Меня вдруг как пронзило сейчас. Я... Ну, понимаешь, почудилось мне, что я оттолкнул тебя. Сейчас почудилось. Когда я вошел в комнату.

М а р у с я. Мы вспоминали друзей, школу...

С е р е ж а. Я понимаю. Я ничего не говорю. Но... Воздух не замечаешь. Отними — заметишь. Я, Маруся, без тебя не могу жить. Задохнусь. Помни это. Терпи меня.

М а р у с я. Сереженька!

С е р е ж а. Обещаю тебе. Слово даю. Никогда. Никогда больше не обижу тебя. Никогда! Никогда в жизни!

КАРТИНА ПЯТАЯ

На занавесе с календарем стоит: 10 января. Календарь исчезает. Декорация та же, столик в углу. М а р у с я, облокотившись о столик, забравшись с ногами в кресло, заткнув ладонями уши, склонилась над учебником. Входит С е р е ж а. Он мрачен. Увидев Марусю, мрачнеет еще больше.

С е р е ж а *(громко)*. Маруся!

Маруся не слышит.

Маруся!

М а р у с я *(вздрагивает)*. Сережа! А я и не слышала, как ты вошел... Здравствуй.

С е р е ж а. Слушай, Маруся! Сколько раз я просил тебя не сидеть с ногами в кресле!

Маруся медленно выпрямляется.
Не сводя глаз с мужа, послушно спускает ноги на пол.

(Обиженно.) Нет, в самом деле... Это странно даже. Говоришь, говоришь, говоришь — и все напрасно. Ты вся перегибаешься, когда сидишь так с ногами. Добьешься искривления позвоночника. И уши затыкаешь... Это тоже вредно... Зачем ты это делаешь?

М а р у с я. Я ведь объясняла тебе, Сережа, что в общежитии привыкла так сидеть. Там с пола сильно дуло, а соседки шумели. Вот я ноги, бывало, подберу, уши заткну и учу. Понимаешь?

С е р е ж а. Отказываюсь понимать. Говоришь тысячу раз, миллион раз, — а ты упорно, сознательно, умышленно делаешь по-своему. Да, да, умышленно. Нет у меня другого объяснения.

М а р у с я. Не надо, Сережа.

С е р е ж а. Что не надо? О тебе же забочусь.

М а р у с я. Не надо заботиться обо мне так свирепо.

С е р е ж а. Не понимаю. Рассуждай логически. Меня беспокоит твое здоровье, — тут не обижаться надо, а благодарить!

М а р у с я. Спасибо, Сережа. Но... но ты не слышал историю о таком же заботливом муже? В городе была эпидемия брюшного тифа. И вот жена выпила сырой воды, а заботливый муж застрелил ее за это. И оправдывался потом: “Я для ее же здоровья. Нельзя пить сырую воду. Опасно”.

С е р е ж а. Не похоже.

М а р у с я. Рассуждай логически, и ты увидишь, что очень похоже. *(Умоляюще.)* Иди, Сереженька, прошу тебя, иди умойся, переоденься, а я тебе дам чаю. Прошу тебя. Потом поговорим.

Сережа уходит, сердито пожав плечами. Маруся подходит к куклам.

Нет, это мы еще не поссорились! Я поспорила с ним, и только. Я не могла больше молчать. Это уже рабство. Я устала. У меня после-

завтра зачет... *(Накрывает на стол.)* Голова даже кружится, так я устала. Это уже рабство — успокаивать его, успокаивать. Уже целую вечность я что-то налаживаю, улаживаю, скрываю от всех. Это рабство. У него опыт по испытанию новых шлакоблоков... Но ведь я-то не виновата. Идет. Нет, мы еще не поссорились... Заговорю с ним как ни в чем не бывало. Он мучается. Он сам не рад.

Входит С е р е ж а. Маруся взглядывает на него внимательно и ласково.

С е р е ж а *(отчаянно)*. Что, что, что тебе надо?!

М а р у с я. Опомнись ты!

С е р е ж а. Шагу не могу ступить, когда прихожу домой. Смотрят все! Смотрят, видите ли! Нарочно выводят из себя, а потом смотрят!

М а р у с я. Кто?

С е р е ж а. Вы все!

М а р у с я. А почему ты говоришь обо мне во множественном числе?

С е р е ж а. Потому что потому!

М а р у с я. Умоляю тебя, замолчи! Ты так страшно меняешься, когда кричишь.

С е р е ж а. А ты не доводи меня до этого.

М а р у с я. О, как это глупо, как страшно глупо, как во сне. Когда тебя нет дома, я хоть немного стараюсь это смягчить. Делаю вид, что все у нас смешно, да и только. Шучу над этим. С куклами разговариваю об этом. А как услышу твои крик... Ведь это ни на что не похоже! Позор. Как ты можешь так на меня кричать? Как в трамвае. Как в очереди... И это ты, Сережа, которым я горжусь! Которым все его друзья гордятся!

С е р е ж а. Избавьте меня от рассуждений на эту тему.

М а р у с я. А почему избавить, Сережа? Здесь нет никого, только мы с тобой. Тебе только кажется, что наш дом...

С е р е ж а. Дом! Домишко! Домишечко! Как будто это самое главное на свете!

М а р у с я. Не самое главное, но все-таки важное. Семья...

С е р е ж а. Замолчи! Не могу слышать, когда ты своими куриными мозгами пытаешься еще и философию разводить. Довольно кудахтать!

Маруся быстро выходит из комнаты.

Пусть! Ладно! Пусть все летит! Сдерживаться, удерживаться, стараться, когда сегодня весь мой опыт рухнул! Пусть все летит!

Ничего не хочу слышать, ничто меня не удержит, и я наслаждаюсь этим! Я в бешенстве. Нельзя же, в самом деле... Но... все-таки я, кажется, уж слишком... Я... я выругался, и она сжалась вся. Ужас какой! Она вся сжалась... Как будто я ударил ее. Да, в сущности, так оно и есть. Я негодяй. Я хуже чем ударил ее. Я перебирал, перебирал и выбрал самое оскорбительное. Она сжалась вся! Я негодяй! Она сжалась вся! *(Зовет.)* Маруся! Маруся!

М а р у с я появляется в дверях, в комнату не входит.

Маруся... Я... Мы... мы чай будем пить сегодня?

Маруся не отвечает.

Я сегодня пообедать не успел.

М а р у с я *(тихо и жалобно)*. Ужин на плите.

С е р е ж а. Я... Мы... Давай ужинать вместе.

М а р у с я. Никогда этого больше не будет!

С е р е ж а. Чего не будет?

М а р у с я. Не хочу ужинать с тобой. Ничего не хочу. Я думала тебя своим терпением образумить, а ты совсем распустился. Ты не настоящий человек.

С е р е ж а *(улыбается добродушно)*. В первый раз в жизни ты меня выругала. Ну и молодец! Теперь, значит, мы квиты. Идем ужинать.

М а р у с я. Никуда я с тобой не пойду. Ты очень плохой человек. Никто не виноват, что ты какие-то жалкие опыты поставил, а они у тебя проваливаются!

С е р е ж а *(потемнел)*. Не говори о том, чего не понимаешь!

М а р у с я. Неудачника всякий может понять. Размахнулся не по силам. Сколько ни скандаль дома — талантливей не станешь!

С е р е ж а *(кричит)*. Замолчи!

М а р у с я. Кричи сколько хочешь, мне все равно теперь. Все кончено! Понимаешь? Все кончено у нас с тобой!

С е р е ж а. Ну и очень рад! Давно пора!

Маруся уходит и закрывает за собой дверь. Сережа стоит угрюмо возле занесенного снегом окна. Вдруг он распахивает форточку.

Маруся! Куда ты?

Бежит к дверям. Останавливается. Делает каменное лицо. Садится у стола.

Берет книгу. В комнате темнеет. Слышно, как бьют часы раз и другой. Вдруг раздается резкий звонок. Вспыхивает свет. Сережа вскакивает. Бежит в прихожую и возвращается, сопровождаемый высоким длинноусым человеком в тулупе, шапке-ушанке, с большим портфелем в руках.

Высокий человек. Простите, Сергей Васильевич, что ночью к вам врываюсь. У нас неприятности, Сергей Васильевич!

Сережа. Садитесь, товарищ Ширяев.

Ширяев. Благодарю вас, но сидеть нам как будто некогда. Ехать надо, Сергей Васильевич, немедленно. Если к этому поезду не успеем, неизвестно, когда и доберемся. Поднимается метель. К утру непременно будут заносы. Понимаете ли, какое дело... *(Понижает голос.)* Ой, что же это я кричу! Супругу вашу разбудил, наверно.

Сережа. Ее дома нет. Она у подруги. Готовится к экзаменам.

Ширяев. Так поздно? Да... Все работают... Одевайтесь, Сергей Васильевич. У нас минуты считанные!

Сережа. Вы мне так и не сказали, что случилось.

Ширяев. Говорить-то неприятно... Стена поползла.

Сережа. Как поползла?

Ширяев. Поползла, Сергей Васильевич. Оседает, трещины такие, что страх! А там у нас племенной скот. Конечно, весь совхоз забегал. Старики кричат: “Вот он, ваш скоростной метод!” Позвонили мы в райком, а там посоветовали прежде всего до вас добраться.

Сережа. Где поползла стена?

Ширяев. Пока только в седьмом корпусе. Но, конечно, опасаемся за остальные.

Сережа. Так. В седьмом... Который к выгону? Который ставили после моего отъезда?

Ширяев. Вот именно.

Сережа. Ну и денек!

Ширяев. Да уж. Сильно будет мести.

Сережа. Я не к тому. Ладно! Едем! Только записку жене оставлю.

Пишет торопливо несколько слов на листке из блокнота. Кладет на Марусин столик. Выходит торопливо. Когда он захлопывает дверь, распахивается форточка, и листок сносит на пол. Темнеет. Зажигается свет. Маруся стоит возле кукол.

Маруся *(куклам)*. Ушел мой дурачок. Показывает силу воли. А как хорошо бы сейчас помириться... Я так замерзла! Не могу больше

сердиться. Я знаете что сделала, дети? Решила уйти от него к Юрику. Ушла, не ушла бы — не знаю, но решила. Юрик ведь неженат. Это я понимаю. Он из самолюбия говорил всем, что женат. Не хотел показывать, как он убивается, что полюбила я не его, а Сережу. Ах, зачем так вышло! Юрик такой добрый. Нет. Любовь — дело недоброе. И Юрик убивал бы меня. Понемножку. Каждый день. А я его. Если бы стал моим мужем. Влюбленные все добрые. А мужья убивают. Понемножку. Каждый день. А я очень гордая. Что я плету? Замерзла. Устала. В голове химические формулы из учебника. Отправилась я, значит, дети, к Юрику. *(Смеется.)* И так все славно вышло! Вижу — сидят Валя и Юрик на площадке на окошке. На подоконнике. И разговаривают. И когда услышала, как они разговаривают, так обрадовалась, такую тяжесть с меня сняло, — нельзя к Юрику уходить, поняла я. Может, и наделала бы глупостей из гордости. Погубила бы себя и Юрика. Не так я его люблю, чтобы уходить к нему. Не безумно. А тут вижу — сняли с меня тяжесть. Услышала я, как они разговаривают, и поняла: им, голубчикам, сейчас не до меня. И даже заплакала от радости. Шла к Юрику — как на цепи себя вела. Из гордости. И вот порвалась цепь. Вы думаете, они говорили о любви? Нет еще! Говорили про Никанора Никаноровича, про Ольгу Ивановну, про меня и Сережу, про университет, про экзамены, про Камчатку, о щенятах, об охоте, о лодках, а я стою, плачу и словно отогреваюсь от всех своих глупостей. Говорят об одном, а на сердце у них другое. Голоса ласковые, негромкие. Вот-вот поцелуются. Тут стукнула дверь, и я убежала, чтобы никто не видел, как я стою, слушаю и плачу. Что с нами? Давно ли мы с Сережей так же сидели на скамеечке и разговаривали. Что нас испортило?

Звонок. Маруся выходит, и тотчас же в комнату врывается Ш у р о ч к а с девочкой на руках. Она закутана в одеяло.

Что случилось?

Ш у р о ч к а. А что у нас еще может случиться? Так тревожно в доме, что Майечка до сих пор не спит, места себе не находит. Сиди, сиди. *(Наклоняется к девочке.)* Да чего ты шепчешь? Что? К папе? Нужны мы ему! Сиди, сиди! На вот, рисуй. *(Поднимает с пола Сережину записку.)* Маруся, это ненужная бумажка? Кажется, Сережиным почерком написана?

М а р у с я. Раз он ее бросил на пол, значит, ненужная.

Ш у р о ч к а *(дает девочке бумажку и карандаш со стола)*. Рисуй, рисуй. Что? *(Наклоняется к девочке.)* Большая девочка, а не знаешь что. Рисуй домики. Сережи нет. Пальто на вешалке отсутствует. Ну и хорошо. Можно во весь голос говорить.

М а р у с я. А что случилось у вас?

Ш у р о ч к а. Что, что! Стала я бороться. Чтобы жить по-человечески. Как на работе. Понимаешь? Читать все, что есть, о любви. И посоветовала мне дура библиотекарша прочесть "Анну Каренину".

М а р у с я. Ну почему же дура? Книга такая, что...

Ш у р о ч к а. Такая, что других подобных я не читала еще! Библиотекарша вообще дура. Независимо от этого совета. Папы от мамы отличить не может. Это я к слову. "Анна Каренина". Я удивляюсь — вышла такая книжка, а столько на свете сохранилось нечутких людишек! У которых нет внимания к самым близким, к семейным своим людям! Свиньи! Читала я эту книжку — сначала будто лесом шла, грибы собирала. Продираешься, продираешься, тоска! На лице паутина. Все бы бросила и домой ушла. И — ах! целое гнездо боровиков. О доме уже и не думаешь. Чем дальше, тем больше. Уже я все понимаю. Этот Стива Облонский — ну чисто наш монтер! Аккуратный, приятный, а жена с детьми высохла вся. Но это в сторону. Анна сама! Господи! И дошла я до места, которое нельзя читать: умирает Анна, а муж плачет. *(Всхлипывает.)* Вдруг дышит мне кто-то в ухо. Я словно с небес в лужу. Муж пришел, уставился, молчит, дышит тяжело. Это он, зануда, всегда так показывает, что мною недоволен. Глаза карие, ресницы как у звезды американской. Хлопает ресницами. Молчит. Смотрит. "Что тебе?" — "Майечка кашляет, сама в кроватку легла!" — "Ах, так! Я над своей душой работаю, а ты попрекаешь! Ты больше в ребенке понимаешь, чем я!" И пошло, и пошло. Девочка, конечно, в слезы. Не любит она этого. Бродит, бродит, не спит и взмолилась наконец: "К Марусе, к Марусе".

М а р у с я. Ах ты девочка моя. *(Берет девочку на руки.)*

Ш у р о ч к а. Ну что ты тут будешь делать? Объясни мне. Куда еще идти, если такая книга, которой имени не прибрать, и та поссорила и только. Что за души у нас? И жалко мне его, тихого, и убила бы. Его молчание — хуже всякого крика. Кричишь — значит, неправ. Молчишь — выходит, твой верх.

М а р у с я *(наклоняется к девочке)*. Что ты говоришь, Майечка? Опять к папе просит ее отнести.

Ш у р о ч к а *(грубо)*. Сиди, убью! Нашла разнорабочую — носить ее туда-сюда.

Маруся целует девочку и вздрагивает.

М а р у с я. Шурочка, она горит вся!

Ш у р о ч к а. Неправда!

М а р у с я. И шепчет неспроста. У нее горло болит, наверное. Майечка, больно глотать? Говорит, больно. Крикни — мама! Не может!

Шурочка подбегает к дочери, хватает на руки.

Ш у р о ч к а. И верно! Горит огнем. Что делать, Маруся? Ругай, ругай мужчин, а выходит, что глаз у них верный.

М а р у с я. Ты беги домой. Измерь температуру. И если очень высокая — вызовем неотложную.

Ш у р о ч к а. Господи, помоги нам! Вот денек-то. Идем, идем, моя крошечка, моя лапушка. К папе, к папе, куда же еще. Он первый угадал, что мы больны. Он в обиду тебя не даст. Идем, идем!

Уходят. И почти тотчас же в комнату входит
Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Мария Николаевна! Мария Николаевна, где же вы? Почему у вас дверь отперта? Что случилось, Мария Николаевна? Покажитесь, — дом без вас словно неживой!

Вбегает М а р у с я.

Ну, наконец-то! Мы, люди солидные, боимся одиночества, как дети.

М а р у с я. Майечка захворала, Шурочкина дочь, я у них была.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Мне Сережа звонил с вокзала, что уезжает...

М а р у с я. С вокзала?

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Ну да, он выехал в совхоз, не на машине, а поездом. Мне нужны материалы по его опытам. Папка в черной обложке.

М а р у с я. В черной?

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Да вот же она, на этажерке. Выяснилось, что эти материалы надо отправить завтра утром на самолете в министерство. Эх, Маруся, Маруся! *(Берет папку, кладет в портфель.)* Вот и все. Маруся! Нельзя же так! Я понимаю, первая

разлука, то-другое, но ведь он приедет через неделю, через десять дней. Зачем глядеть, будто он уехал навеки?

Маруся опускается в кресло, закрывает лицо руками.

Ну, ну, ну! Ну вот и здравствуйте. В отчаянье пришла, а я так ей завидую. Мне уже не с кем расставаться, некого ждать. Эх, Маруся! Если бы вы, бедняжка, знали, какая вы счастливица, глупенькая.

Свет гаснет, освещены только куклы.

Кукла. "Счастливица"! Всегда ты, Никанор, был нечуткий.

Медвежонок. Всегда несчастья начинаются с глупостей. С умного не начнется.

Кукла. Всегда несчастья начинаются с мелочей! Уж мы-то маленькие, нам видно!

Медвежонок. Что будет?

Кукла. На чем сердце успокоится?

Медвежонок. А ну, как и не успокоится? Ох, беда, беда! *(Поет.)*

В доме восемь на Сенной
Поселились муж с женой.

Кукла.

Им бы жить да веселиться...

Медвежонок.

А они — давай браниться,
А они — давай кричать...

Кукла.

Об пол ножками стучать.

Оба вместе.

И пришлось беднягам туго,
Не сгубили бы друг друга!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

На календаре 25 января. Он исчезает. Декорация предыдущей картины. За окнами тьма, и в комнате тьма. М а р у с я, стоя у елки, зажигает свечи.

М а р у с я. Вот так, дети, будет лучше. Спасибо тебе, елка, что ты не осыпалась. Я заболела, дети. От электрического света глаза очень ломит. Горло болит. Голова болит. Пусть горят свечи. Так легче все-таки, и детство напоминает, когда болеть было приятно. А теперь очень страшно болеть — Сережа-то не вернулся еще. Две недели прошло, а он все не едет домой. Наверное, не догадывается, как я больна, сердится на меня, как на здоровую. А я очень больна. Сами знаете, как я не люблю жаловаться, а сейчас по всем телефонам звонила, на помощь звала. И, как на грех, никого дома нет, и Шурочка у дочки в больнице. Я очень тяжело больна, дети. Вам жалко меня? Бедная я?

К у к л а. Очень.

М а р у с я. Что ты говоришь?

М е д в е ж о н о к. Очень даже.

М а р у с я. Вот и я так думаю. Расскажите мне вот что. Вы много на своем веку видели женатых людей?

К у к л а. Много! Все наши хозяйки выросли и вышли замуж.

М е д в е ж о н о к. Все повыскочили, дурочки. Мало им нас — подавай живых детей.

М а р у с я. И счастливы они были замужем?

К у к л а. Одни счастливы.

М а р у с я. А другие?

М е д в е ж о н о к. А о других не хочется рассказывать на ночь. У тебя жар...

Яркая зеленая вспышка за окном. Маруся вскакивает.

Куклы замирают неподвижно, как неживые.

М а р у с я. Это троллейбус, дети, — чего вы испугались? Ну? Оживайте! Пока вы со мной разговариваете, все кажется печальным, но уютным, как в детстве, когда накажут ни за что ни про что, а потом жалеют, утешают, сказку рассказывают. Не оставляйте меня одну! Помогите мне! Очень уж трудная задача. Если бы мы ошиблись друг в друге или он меня разлюбил, а я его, как задача легко решилась бы! Мы разделились бы без остатка — вот тебе и ответ. Или будь мы дурные люди, переступи границы — отдали бы нас под суд. Наказали бы нас. Позор пал бы на наш дом, но задача была бы решена. Нет, не в том наше горе. Убивают нас беды мелкие, маленькие, как микробы, от которых так болит у меня горло. Что с ними делать? Отвечайте! Не бойтесь. Да, у меня жар, а видите, как я рассуждаю. Стараюсь. Рассказывайте о тех ваших хозяйках, что были несчастны. Ну же!

К у к л а. Не могу.

М а р у с я. Почему?

К у к л а. У меня ротик слишком маленький и хорошенький. Я могу рассказывать только приятное.

М е д в е ж о н о к. Я боюсь, я мягкий, плюшевый.

М а р у с я. Поймите же, если я не решу, как мне жить дальше, то просто перестану жить!

М е д в е ж о н о к. Ну уж рассказывай, не мучай ребенка.

К у к л а. Будь по-твоему. Слушай. Звали нашу первую хозяйку Милочка, а потом превратилась она в Людмилу Никаноровну.

М е д в е ж о н о к. И вышла замуж за Анатолия Леонидовича. Мужчина мягкий, обходительный.

К у к л а. При чужих. А снимет вицмундир да наденет халат — беда. Все ему не по нраву.

М е д в е ж о н о к. А главное — расходы. Ну, мы терпим. По мягкости. Сжимаемся. Над каждой копейкой дрожим.

К у к л а. При чужих улыбаемся. Родителям ни слова.

М е д в е ж о н о к. Все мягко, бывало, лаской.

К у к л а. А он только ожесточается. И вот однажды ночью врывается в детскую. В руках клеенчатая тетрадка, где записывал он расходы.

М е д в е ж о н о к. Шварк тетрадкой об пол.

К у к л а. И зашипел таким страшным шепотом, что проснулись дети.

М е д в е ж о н о к. Маленький Никанор и маленькая Леночка.

К у к л а. "Систематичес-ски, — шипит наш Анатоль, — систематичес-с-ски, транж-жирка вы этакая, тратите на хозяйство по крайней мере на с-семь целковых больш-ш-ше, чем с-с-следует. Почему вы покупаете с-с-сливочное..."

М е д в е ж о н о к. "...когда вс-с-с-се, вс-с-се берут ч-ч-чухонское мас-с-сло? Кухарка вас обс-с-с-считывает, горничная обс-с-ставляет!"

К у к л а. "Вы з-з-забываете, что я взял вас-с-с бес-с-с-приданницей, вы хотите меня по миру пус-с-стить!"

М е д в е ж о н о к. Дети заплакали, а наша Людмила Никаноровна выпрямилась, как столбик.

К у к л а. И спокойно...

М е д в е ж о н о к. Но до того твердо, что у меня даже бока заболели...

К у к л а. Произнесла: "Подите вон!"

М е д в е ж о н о к. Он пожал плечами, конечно...

К у к л а. Однако повиновался. А мы тихо-тихо оделись да с детьми на извозчике и к родителям. И что он ни делал, как ни бунтовал...

М е д в е ж о н о к. Мы оставались твердыми, хоть и не давал он нам отдельного вида на жительство и грозил вернуть домой через полицию. Вот и все. Научит тебя эта печальная история?

М а р у с я. Нет! У нас с Сережей никогда не было столкновений из-за денег. И не могло быть. Подумать смешно. Рассказывайте дальше!

К у к л а. Вырастили мы Леночку, и стала она Елена Анатольевна. И вышла замуж за Алексея Аркадьевича. И стал этот Леша пилить жену, зачем она учится на Бестужевских курсах.

М е д в е ж о н о к. На историческом отделении.

К у к л а. "Наша бестужевка — наша бесстыжевка". Выжил из дому всех знакомых курсисток. Ну и довел до того, что Леночка курсы бросила. И погубил ее и себя. От тоски и обиды стала она безыдейной. Он к ней со сценами ревности...

М е д в е ж о н о к. А она выпрямится, как столбик, и: "Подите вон! Вы добились того, что хотели! Живу, как все!" Поможет тебе эта печальная история?

М а р у с я. Нет, что ты! У нас с Сережей убеждения одинаковые. До самой глубины. Он даже удивлялся, как я его понимаю. А он меня. Нет, не поможете вы мне, дети. Мы старше. Или моложе. Не знаю, как сказать.

У меня жар. И об этих историях я слышала уже! Никанор Никанорович рассказывал. Милочка — это его бабушка, а Леночка — тетка. Нет, нет, надо думать, думать.

Кукла. А ты потом думай.

Маруся. Что ты, что ты — потом! Я как почувствовала, что заболеваю, так скорее все прибрала и даже натерла пол. Как же можно жить, когда в квартире беспорядок? А тем более — хворать. Как можно жить, когда такой беспорядок в нашей семье? Как можно лечь да и заболеть? Это больно уж легко. Не подсказывайте. Довольно играть. Я снова Мария Николаевна. Я хочу решить задачу.

Отдаленный, едва слышный хор. Поют детские голоса.

Стойте, стойте! Кажется, я понимаю. Темнота и бесконечные вечера научили нас петь. Потому что мы были храбрыми детьми. Только бы мне выздороветь. Справиться с болезнью — и я справлюсь с бедами, мелкими, как микробы. Научиться жить, как мы научились петь. Чтобы все было прекрасно. Только бы не забыть сказать это Сереже. Дайте мне карандаш. Нет, карандашом не записывают результаты опыта. Дайте мне ручку. Скорее! Скорее же! Мы не имеем права быть несчастными! Не то время. Мы обязаны выучиться жить, как выучились петь.

Темнеет. Когда зажигается свет, на елке свечи уже догорели. Над Марусей склонилась Шурочка. Миша стоит рядом, бледный и растерянный.

Шурочка. Маруся! Марусенька! Очнись. Это я, Шурочка. Не узнает. Ну что ты стоишь как пень, — мужчина ты или нет?! Звони в “скорую помощь”, они мужским голосам больше доверяют, сразу прикатят.

Миша убегает.

Маруся, Марусенька! Очнись! Умоляю тебя!

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

На календаре 27 января. Календарь исчезает. Декорация та же.
По темной комнате шагает из угла в угол Сережа с папиросой в зубах.
Останавливается возле кукол.

Сережа. Ну? Чего уставились на меня своими круглыми глазами? Если уж смотрите, как живые, то и говорите, как люди. Я ведь знаю, что ее любимой игрой было делиться с вами и горем и радостью. Что рассказала она вам в тот последний вечер, когда была дома? Ну? Чего вы молчите? Думаете, я удивлюсь, если услышу ваши голоса? Нисколько не удивлюсь, — так перевернулась жизнь, так шумит у меня в голове. Ну, говорите же! Простила она меня? Или упрекала, как перед уходом из дому, той дурацкой ночью? Вы думаете, это легко: хочу вспомнить Марусю такою, как всегда, а она мне представляется осуждающей. И чужой. Помогите же мне. Расскажите о Марусе! Поговорите со мной. Не хотите? Эх, вы! *(Снова принимается бродить из угла в угол. Вдруг замирает неподвижно. Вскрикивает.)* Кто там?

Входит Шурочка.

Здравствуйте, Шурочка. Я что — дверь не захлопнул?

Шурочка. Захлопнул. Все в порядке. Они там у нас сидят, рассуждают, можно ли вас беспокоить, а я вышла, да и сюда. Шпилькой открыла ваш замок, как в ту ночь, когда не могли мы достучаться-дозвониться к Марусе. Ты погляди, погляди еще на меня зверем! Нас горе сбило в одну семью, как и следует, а ты будешь самостоятельного мужчину изображать? У жены токсическая форма скарлатины! Пенициллин не берет, а ты будешь от нас прятаться? Работать коллективно научился, а мучиться желаешь в одиночку? Ответь мне только, ответь, я тебя приведу в чувство. Ты ел сегодня?

Сережа. Да.

Шурочка. Сереженька, горе какое! У Майечки уже нормальная сегодня, а Маруся... Положение тяжелое.

Сережа. Не надо, Шурочка.

Шурочка. Не надо? Как больной зверь, в нору забираешься, — этому тебя учили?

Сережа. Меня учили держаться по-человечески. С какой стати я буду свое горе еще и на вас взваливать?

Шурочка. Нет здесь своего горя. Мы все в отчаянии. Сейчас всех сюда приведу. *(Убегает.)*

Сережа. Этого мне только не хватало.

Входят Леня, Никанор Никанорович, Юрик, Ольга Ивановна, Миша.

Ш у р о ч к а. Всех, всех зовет. Садитесь. А то рассуждают: как там Сережа переживает.

М и ш а. Шурочка! Не надо.

Ш у р о ч к а. Не надо? Ругаться надо, а прийти к человеку посочувствовать ему — не надо? Садитесь.

Все рассаживаются. Длинная пауза.

Ну так и есть... Опять я глупость сделала. Но ведь надо что-то делать. Я думала, сойдемся все вместе, легче станет, а мы стесняемся, да и только.

С е р е ж а. Нет, я вам рад. Никанор Никанорович, не смотрите на меня как виноватый. И ты, Леня, не снимай очки. И вы, Ольга Ивановна, вы тоже. Я всем рад. Правда.

Ш у р о ч к а *(Мише)*. Ну, кто был прав?

О л ь г а И в а н о в н а. Что сказал доктор?

С е р е ж а. Ничего нового не сказал. В инфекционное отделение не пускают. Но он мне велел прийти к двенадцати часам. Он к этому времени приедет к Марусе. И если... найдет нужным, то, в нарушение всех правил, пустит меня к ней... попрощаться. *(Швыряет чернильницу на пол.)*

О л ь г а И в а н о в н а. Орлов, спокойнее.

С е р е ж а. Я по глупости, по дикости, по невоспитанности свое счастье убил.

О л ь г а И в а н о в н а. О чем вы, Сережа?

С е р е ж а. И вы не понимаете! О себе, о Марусе. О том, что все последнее время я вел себя как самодур. Я видел, как она прячет от всех, что у нас делается. Видел, как трогательно, умно, самоотверженно пробует превратить меня в человека, привести в чувство, и еще больше куражился.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Не верю, что так было.

С е р е ж а. Сам не верю, но превращался в тупое и упрямое чудовище, когда возвращался домой. И вы подумайте: как бы я ни был утомлен, сердит, нездоров, — когда я сажусь за работу в бюро или в институтской лаборатории, то сразу беру себя в руки, отбрасываю все, что мешает мне думать, делаюсь человеком. А дома... И она заболела из-за меня. Выбежала в горе, в отчаянии, усталая на улицу и...

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Ну уж в этом не к чему себя винить.

С е р е ж а. Не к чему? Попробуйте совесть логически успокоить.

Л е н я. Это случайность.

С е р е ж а. Не верю. Ну хорошо, пусть. Не случилось бы этого несчастья, я все равно убил бы ее.

Л е н я. Что ты, что ты!

С е р е ж а. А разве нет? Скажи честно. Хуже, чем убил бы. Изуродовал бы. Превратил бы в несчастную женщину. А она умела быть счастливой. От нее, кроме радости, ничего люди не видели. Эх... Ничего тут не объяснишь... Который час?

Л е н я. Половина десятого.

С е р е ж а. Не могу я дома сидеть. Я в больницу поеду.

Ю р и к. Доктор велел к двенадцати...

С е р е ж а. Подожду там, где-нибудь в сторонке. Все-таки ближе. До свидания.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Вместе выйдем.

С е р е ж а. Нет, пожалуйста, не уходите! Мне легче будет вернуться домой. Леня, не пускай их. Если вам работать нужно, Никанор Никанорович, то пожалуйста! Вот здесь, за столом. Тут и тепло и светло. Не уходите, Ольга Ивановна!

О л ь г а И в а н о в н а. Не уйдем.

С е р е ж а. Ну вот и хорошо. Вот и все. Я не прощаюсь.

Уходит. Слышно, как захлопывается за ним входная дверь.
Длительное молчание.

Л е н я. Ишь ты, как печка нагрелась!

Ю р и к. Так я и знал, что мы о чем угодно заговорим, только не о том, что всех нас мучит.

Л е н я. Ничего умного не скажем мы с тобой об этом. Так уж лучше помолчать.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Вестибюль больницы. Г а р д е р о б щ и к читает газету. Поднимает голову на шум открываемой двери. Видит С е р е ж у. Кивает головой понимающе.

Г а р д е р о б щ и к. Не дождался до двенадцати? Понятно. Присаживайтесь!

Сережа садится на скамью возле гардеробщика.

Понятно, что не дождался. Доктор тоже не дождался. Уже с полчаса как тут. Приехал — и прямо к ней, к больной Орловой. Молодой доктор. Упрямый. Да ты слушай, что я тебе говорю! Я для твоей же пользы!

С е р е ж а. Я слушаю.

Г а р д е р о б щ и к. Молодой доктор. К смерти не привык, не смирился. Сердится, тягается с ней, зубами даже скрипит! Сейчас я позвоню ему. Он приказал доложить, когда вы прибудете. *(Берет телефонную трубку.)* Двадцать семь. Лев Андреевич? Это я говорю. Муж больной Орловой прибыл. Понимаю. Понимаю. *(Вешает трубку.)* Приказывает подождать. Вот и хорошо. Раз не пускают — значит, все идет нормально. Без перемен. *(Удаляется в глубь раздевалки и возвращается с белой фаянсовой кружкой. Протягивает ее Сереже.)* Выпейте чаю! Выпей! Может быть, долго ждать. Возможно, до утра просидим мы с тобою тут. Выпейте.

Сережа повинуется.

Вот и молодец! Я тебя дурному не научу, а научу вот чему. Ты не отчаивайся, не надо. Вот посмотри на меня — живу? Так? А мне еще семи дней не было, когда бросили меня в речку. А кто? Как вы думаете? Родная моя мать. Такое было село большое торговое, называлось Мурино. И родился там я, как говорилось в те времена, незаконный. Так... Мать моя — а ей было, бедной, всего семнадцать лет — взяла меня на руки и пошла, мужчиной поруганная, родными проклятая, соседями затравленная. Отлично. Идет она. Плачет. И дошла до речки Белой. И бросила меня, ребенка, в омут. А одеяльце ватное раскрылось и понесло меня по воде, как плотик. А я и не плачу. Плыву. Головку только набок повернул. Отлично. И как увидела это моя мать, закричала она в голос — заметь, это в ней душа очнулась, — закричала она и бросилась в речку. Но не с тем, чтобы погибнуть, все разом кончить, а с тем, чтобы маленького своего спасти. А плавать-то как она плавала? По-лягушечьи или по-собачьи. Спорта ведь тогда не было. Схватила она меня, бьется в омуте, а сил-то нету. Красиво? Бывает хуже? Мать и сынишка по глупости людской, по темноте тогдашней в омуте пропадают, крутятся. Конец всему? Да? Ты слушай меня. Вы меня слушаете, товарищ Орлов?

С е р е ж а. Да.

Назаренко, царство ему небесное, золото, а не человек. Едет он вдоль Белой... Что такое? Птица в омуте бьется? Нет, не птица, боже мой, господи! Бросился он в воду, мать за косы, меня за ручку, вытащил нас да к себе в избу, на огороды. И года не прошло, как женился он на маме моей. И хоть потом свои у них дети пошли, я был у него всегда на первом месте. Вот как он пожалел нас. Замечаешь, как все обернулось, внучек? Любовь меня в омут бросила и из омута спасла. И жизнь я прожил, и в гражданскую дрался, и потрудился, и сыновья у меня в люди вышли, и дочки, и внуки. И все меня, друг, к себе жить зовут, но мне обидно от работы отказываться. Взял себе нетрудное место и служу, и все со мною считаются. А началось как? Понял ты, к чему я это говорю? Вы меня слушаете?

С е р е ж а. Да.

Г а р д е р о б щ и к. Все может обернуться. Раз не пускают, раз Лев Андреевич не звонит еще, можно надеяться! И я тебе еще такой пример приведу...

Звонит телефон. Старик взглядывает исподлобья на Сережу. Протягивает руку к трубке — и отдергивает, будто она раскалена. Звонок. Старик берет трубку.

Слушаю вас. Да, Нина Марковна, был пакет, а как же. Я расписался и передал его Гале. Наверное, у вас на столе он и лежит. *(Вешает трубку. Улыбаясь.)* Вот ведь... страх какой. О чем это я? Ах, да...

Звонит телефон.

(Снимая трубку, весело.) Да, Нина Марковна? *(Потемнев.)* Так... Понимаю, Лев Андреевич! Передадим, Лев Андреевич. Понимаю. *(Вешает трубку.)* Снимайте ваше пальто, надевайте халат. Доктор вас требует наверх, к больной.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Палата в инфекционном отделении. Узенькая больничная койка у стены. Под серым одеялом М а р у с я. Она необыкновенно оживлена, глядит не отрываясь на дверь. И когда С е р е ж а входит и растерянно

останавливается на пороге, она смеется тихонько, манит его к себе, указывает на стул, стоящий у койки. Сережа садится, не сводя глаз с жены. Маруся протягивает ему обе руки. Сережа вдруг склоняется низко, прячет лицо в ее ладонях.

М а р у с я *(ласково и снисходительно, как маленькому)*. Ну, что ты? Ты испугался? Да, Сережа? Жили, жили, и вдруг больница... Да? Носилки, халаты, лекарствами пахнет. Вот что у нас делается теперь. Да, Сережа?

Сережа не отвечает. Маруся освобождает тихонько одну руку, гладит Сережу по голове.

Ты обедал? Кто тебя кормит? Сам? А посуду вымыл? Да? Ну, умница. Ты утром приехал? Я сразу почувствовала. Что ты говоришь?

С е р е ж а *(едва слышно)*. Прости...

М а р у с я. За что? Я обижалась только, что уехал ты, а записки не оставил. Оставил? А я не нашла, бедненькая. Не везло нам в тот вечер. Что? Почему ты так тихо говоришь, а? Ну, как хочешь. Сейчас... Я отдохну и еще тебе что-то скажу.

Маруся откидывается на подушки, дышит тяжело. Сережа глядит на нее с ужасом.

Не бойся. Это так полагается. Такая болезнь. Я... я вдруг скарлатиной заболела... Но это ничего... Вот что худо. Я нашла решение задачи, а ручки не было. Я и не записала. И все забыла с тех пор. Но мне сначала нужно решить задачу потрудней. Поправиться. Эти маленькие... вирусы до того сильные. Хуже даже, чем наши ссоры. Мы вот помирились — и все стало ясно и чисто. А с ними не помириться. Они ничего не понимают. Вирусы. Несознательные. *(Смеется.)* Да улыбнись ты... Не хочешь. Что в совхозе?

С е р е ж а. Все наладил. Они там...

М а р у с я. Погоди минуточку. Душит меня.

С е р е ж а. Ты не разговаривай!

М а р у с я. Сейчас.

Сережа поправляет подушку, расправляет одеяло, и Маруся улыбается ему.

Мне опять стало хорошо. Правду говорю... Сядь!

Сережа садится.

Мне очень славно, особенно когда ничего не душит... Очень хорошо. Все что-то со мной возятся, все беспокоятся. Всегда я все сама, а тут вдруг все со мной... *(Смеется, шепчет, косясь на дверь).* Они думают, что я тяжело больна. Оставь, оставь, думают. Я не маленькая. Понимаю. Все вокруг меня шныряют, шуршат, как мышки. Правда, правда. Шепчутся чего-то... А я понимаю, как надо болеть, понимаю, не обижаюсь. Понимаю. Не обижаюсь... *(Всхлипывает.)* Зачем?

С е р е ж а. Что зачем?

М а р у с я. Зачем начинаем мы все понимать, когда война, или тяжелая болезнь, или несчастье? Зачем не каждый день...

С е р е ж а. Маруся, Маруся!

М а р у с я. Зачем? Нет, нет, ничего. Через меня как будто волны идут, то ледяная, то теплая. Сейчас опять теплая. Очень теплая. Дай водички. Ой, нет, не надо, я забыла, что глотать не могу. Но это ничего... Что я говорила? Ах, да... Записка... Очень я обижалась, даже смешно вспомнить... Стыдилась за семейную нашу жизнь. Как людям в глаза смотреть? Брысь, брысь! Ага, убежала. Кошка тут бродит на одной лапке. Это у меня такое лицо, да, Сережа?

С е р е ж а. Какое?

М а р у с я. Как у тебя. Ты всегда на своем лице мое изображаешь. Ну вот, я улыбаюсь! И ты улыбнись! Зачем губки распустил, дурачок. Не маленький. Ну вот, опять пошли шептаться по всем углам. Не обращай внимания. Не боимся мы! То ли еще видели! Верно, Сережа? Тише! Главное, пусть видят, что не сдаемся. Сереженька, маленький мой, сыночек мой, не оставляй меня! Все-таки страшно. Все-таки я больна. Не затуманивайся, не кружись! Унеси меня домой, Сереженька. Ведь я вижу, как ты меня любишь! Не отдавай меня! Помоги! Не отдавай!

Маруся закрывает глаза, голова ее тонет в подушках.
Сережа держит ее за руки.

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

На календаре 30 апреля. Он исчезает. Декорация первой картины.
Девятый час вечера, а комната вся так и сияет,
солнечные лучи врываются в окна.

При поднятии занавеса на сцене пусто. Слышны отдаленные голоса, смех, беготня. Особенно явствен голос Лени. Он разговаривает в прихожей по телефону. "Лизочка! — кричит он. — Лизочка! Это клевета! Я не такой". Появляются Юрик и Валя.

Юрик. Ну, все славненько. До поезда еще два часа, а все уложено, упаковано, зашито.

Валя. Я ужасно не люблю провожать!

Юрик. Вернутся.

Валя. Через два года. Обидно. Как будто бросают меня, бедную, ни за что ни про что. Вернутся друзья не такими, как уехали. Что-то изменится! Значит, расстаемся мы сегодня с ними навеки.

Юрик. Имею два возражения. Возможно, что они изменятся. Но только к лучшему! Выстроят завод, подышат степным воздухом. А второе возражение: я-то никуда не уезжаю. Поездим мы с вами по городу. Я Ленинград летом очень люблю. На взморье отправимся. На яхте пробежимся. Не надо горевать.

Валя. Ну не буду, Юрик. Мы друзья?

Юрик. Конечно. А почему вы спрашиваете?

Валя. Мне казалось, что вы на меня обиделись.

Юрик. Что вы тогда в кино не пошли?

Валя. Да.

Юрик. Все забыто.

Валя. Ну и хорошо.

Леня *(за сценой)*. Нет, я не один в комнате. Ага. Да. И я тоже. Очень. Еще больше. Крепко. Много раз.

Валя *(кричит в дверь)*. Леня, Никанор Никанорович просил не занимать телефон! Ему должны из института звонить!

Леня *(за сценой)*. Ну, до свидания! Меня зовут. Никогда не забуду, даю слово!

Валя. Еще и слово дает!

Юрик. А как же иначе?! Прощается ведь! Парень он добрый.

Входит Леня.

Леня. Спасибо, Валечка!

Валя. За что спасибо?

Леня. Спасла от мук расставания.

Валя. Я с удовольствием ее спасла бы от вас. *(Передразнивает.)*

“Никогда не забуду! Даю слово!” Бедная девочка!

Л е н я. Эта девочка, к вашему сведению, доктор наук.

В а л я. Не может быть!

Л е н я. Вот то-то и есть! И нечему тут удивляться. Доктора наук — тоже люди.

Входят Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч и С е р е ж а.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. А где Маруся?

В а л я. Мы зашивали вместе ящик, который пойдет в багаж, а она вдруг уснула.

С е р е ж а. Уснула?

В а л я. Да! Говорит, прилягу на минуточку, и как будто утонула! Мы разговариваем, смеемся, а она спит, не слышит...

С е р е ж а. Удивительное дело!

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Я вам говорил, что в этой сонливости есть что-то угрожающее. Опять свалится, а мы будем охать да руками разводить! Просил я вас вызвать врача?

С е р е ж а. Она мне запретила.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Надо было уговорить ее.

Л е н я. Замучили бедного ребенка своими заботами.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Нечего делать циническое лицо! Вы тоже беспокоитесь о ней.

Л е н я. Да! И горжусь этим! Но я не мог бы довести человека до того, чтобы он выбросил термометр в окошко!

М а р у с я, румяная, улыбающаяся, появляется в дверях.
Никанор Никанорович не замечает ее. Маруся крадется к нему на цыпочках.

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. Ну и очень жаль, что выбросила. Я уверен, что у нее до сих пор субфибрильная температура. И, выбросив термометр, она...

Маруся обнимает Никанора Никаноровича. Целует его в затылок. Он резко поворачивается к ней.

М а р у с я. Не выбросила, не выбросила я термометр. Я его в комод спрятала. У меня нормальная температура. Я здорова! Взгляните на меня!

Н и к а н о р Н и к а н о р о в и ч. А что это за сонливость у вас?

Маруся. Просто я отдыхаю. Приедем, поживем на свежем воздухе, и я перестану спать.

Никанор Никанорович. Знаю я вас! Там всем работа найдется! Свяжетесь вы с геохимиками, и пропал весь отдых. Нет, напрасно вы ее берете, Сережа.

Сережа *(хмуро)*. Боюсь я ее оставлять одну.

Звонок. Юрик бежит открывать.

Никанор Никанорович. Что такое? Неужели уже машины пришли?

Входит Ольга Ивановна.

Ольга Ивановна. Почему это до вас невозможно дозвониться? Все время, все время телефон занят. Леня небось со своими барышнями прощался?

Леня. Только с одной.

Ольга Ивановна. И на том спасибо. Эй вы, умники! Знаете, что вы забыли?

Юрик. Не представляю себе! Вместе вчера список составляли, что им брать.

Ольга Ивановна. Пока развернется там хозяйственная часть да наладится дело — чем будете Марусю кормить?

Маруся. Ольга Ивановна...

Ольга Ивановна. Тихо! До поезда еще полтора часа. Успеем исправить все. Идем! Все! Станем в магазине в разные отделы и все разом купим. Ну?!

Никанор Никанорович. Тут мне звонить должны...

Ольга Ивановна. Маруся останется. Остальные — за мной! По дороге сообразим, что купить. До свидания, дочка, не скучай...

Никанор Никанорович. До свидания, Маруся. Не стойте на сквозняке!

Юрик. До свидания, Маруся! Не забывай друзей!

Валя. До свидания, Маруся! Не усни без нас!

Сережа. До свидания, Маруся!

Леня. До свидания, сестрица!

Ольга Ивановна. Скорей, скорей! Время идет!

Все уходят, кроме Маруси. Хлопает дверь.

Маруся, улыбаясь, подходит к куклам. Садится в кресло возле этажерки.

М а р у с я. Вот, дети, как они испугались, что я вдруг умру. Уже сколько недель, как я поправилась, а они все боятся, боятся... Прощались они со мной сейчас шутя, а у Сережи тревога в глазах. На минуту и то боится оставить меня. Если бы они знали, как я сейчас здорова и счастлива. Счастлива и здорова. Весь мир открылся передо мной. Никого мне теперь не стыдно, прятаться не надо, каждому могу смело смотреть в глаза.

Врывается вихрем Ш у р о ч к а.

Ш у р о ч к а. Марусенька, родная моя, все подстерегала я, чтобы выбрать время попрощаться без лишних глаз. Ты не бойся, я плакать не стану.

М а р у с я. Я не боюсь, Шурочка.

Ш у р о ч к а. Они привыкли, а я еще не могу опомниться. Ты жива, жива, ты домой вернулась, а вот теперь уезжаешь. *(Громко плачет.)* Глупости какие! Это я не плачу, ты не нервничай, ты пойми меня. Я воспитала себя, но уж больно я горяча. Ах, как печально, хоть песню придумывай. Пройду мимо вашей двери, а за дверью никого. Ну пусть. Все-таки есть что вспомнить. Все-таки мы не те, что были, прояснились мозги. Как-никак сделали выводы из своих ошибок. Все сделали выводы, кроме моего Миши. Хуже нет таких людей, их ничем не возьмешь! Пользуется тем, что стала я сознательнее, и часами в библиотеке сидит. Это красиво? Чего-чего только не придет в голову, пока его дождешься. Три раза похоронишь, а девять приревнуешь. Ну, ничего. Переживем! Не забывай меня, Марусенька моя. *(Взглядывает на часы.)* Ох, опаздываю! Ну ладно, я с передней площадки, пусть ругаются, мне всего важнее на работу прибыть вовремя. Не забывай. Возвращайся. Не забывай! *(Крепко целует Марусю. Убегает.)*

Маруся, улыбаясь, подходит к куклам.

М а р у с я. Ну, дети, вот до чего мы дошли. Все меня любят. А Сережа так со мной осторожен и внимателен, что я вот-вот избалуюсь. Вот-вот начну скучать по ссорам. Небольшим. *(Смеется.)* Ну ничего. Перевожусь я в другой университет. И летом на заводе, конечно, буду работать тоже, пусть Никанор Никанорович сердится. Разве можно ничего не делать, когда все работают?

К у к л а. Нельзя, родная, никак невозможно!

М е д в е ж о н о к. Если ничего не делать — моль съест!

М а р у с я. Судя по тому, что вы разговариваете, я опять уснула!

К у к л а. Уснула. Но это ничего. Ты спи себе.

М е д в е ж о н о к. Это здоровый сон, на пользу!

М а р у с я. Ну и хорошо. Я посплю, а вы меня посторожите. Вы разговаривайте, разговаривайте. Вы мне не мешаете! *(Закрывает глаза.)*

М е д в е ж о н о к. И все-то она спит, спит, спит...

К у к л а. Как ты думаешь, почему это?

М е д в е ж о н о к. А ты как думаешь?

К у к л а *(шепотом)*. Я вспомнила, что Милочка когда была в ожидании Леночки, то ее тоже все в сон тянуло.

М е д в е ж о н о к. Что ж, дай бой, дай бог.

К у к л а. Тем более что эта хозяйка наша не в пример счастливее той...

М е д в е ж о н о к. Дай бог, дай бог!

К у к л а. Все к лучшему, все к лучшему! Это дело нестрашное? Сколько народу бывает у нас, сколько шумит на улице, за окнами. И ведь все родились когда-то. И ничего — славно, все благополучно.

М е д в е ж о н о к. Пора, пора нам за работу. Конечно, место мы занимаем в доме хорошее, но все же второе, а не первое. При детях — оно вернее.

К у к л а. И что это за семья, что за дом без детей!

М е д в е ж о н о к. Конечно, ребенка вырастить не просто. Сейчас все на него любуются, умиляются.

К у к л а. Не успеешь оглянуться — он уже подросток, переходный возраст. Ничего не понимает, а думает, что он все понимает.

М е д в е ж о н о к. Много Марусе и Сереже еще жить да переживать. Может, и поссорятся когда, и поспорят.

К у к л а. Люди все-таки, а не куклы.

Маруся зашевелилась на диване.

Тише, тише!

М е д в е ж о н о к. Спи, спи, мы тебе песенку споем!

М е д в е ж о н о к и к у к л а *(поют)*.

В доме восемь на Сенной
Жили-были муж с женой.
Им пришлось, беднягам, худо,
Но спасло от смерти чудо.
Научила их беда,
Разбудила навсегда,
Вразумило состраданье.
И на этом — до свиданья!

1954

МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА

Сценарий

Крошечное озеро правильной прямоугольной формы. Берега его заросли травой и цветами. Вода неподвижна, как зеркало. Но вот она вдруг приходит в движение, как бы закипает. Раздается негромкая музыка, в которой явственно слышится плеск воды, жужжание комаров. Из воды как бы поднятое невидимой силой, вырастает, держась навытяжку, некое водяное существо. Оно ростом с человека, похоже на лягушку, одето в роскошные зеленые одежды. Существо это, коснувшись поверхности воды, прыгает на землю легко, как лягушка. Затем оно низко кланяется нам, подходит к озеру, берет его двумя руками за угол и легко поднимает его.

Теперь озеро стоит перед нами стоймя, занимая почти весь экран, как огромное зеркало. Вода его прозрачна. Мы видим спины рыб, спокойно плавающих в глубине его, видим водяных жуков, бороздящих гладкую его поверхность. Водяное существо говорит негромко и таинственно:

— Марья-искусница.

И тотчас же надпись ***“МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”*** наплывает со дна озера и замирает на его поверхности.

— Сказка, — говорит водяное существо еще тише и таинственнее.

И многозначительно подмигивает нам. Вслед за этим водяное существо замирает неподвижно, как неживое, а на гладкой поверхности озера проплывают остальные, полагающиеся в начале картины, надписи. Едва они успевают исчезнуть, как водяное существо кидает озеро на место.

— Кого, кого, кого мы увидим, кого, кого, кого мы услышим? — спрашивает водяное существо. И берет неведомо откуда, с воздуха, целую кипу пергаментных свитков.

Разворачивает свиток, и мы видим портрет Водяного.

— Первый скороход, главный прыгун, доверенный посыльный по имени Ква-ква-квак!

И самодовольно улыбаясь, водяное существо показывает нам свой собственный портрет.

— Марья-искусница!

Печально и безучастно смотрит на нас Марья-искусница.

— Сын ее — Ваня!

— Аленушка!

И, наконец, разворачивает Квак свой последний свиток. Пожилой, но бравый солдат сурово и зорко глядит с портрета. Едва Квак успевает раскрыть рот, чтобы сообщить нам, кто изображен на портрете, как солдат, оглушительно откашлявшись, оживает. Квак бросает свиток, как бы обжегшись. Исчезает. Но оживший портрет прочно стоит, не сворачиваясь в трубку.

— Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, — здравия желаю! — говорит оживший портрет.

Солдат запевает песню, поправляет ранец за плечами и пускается в путь по дорожке.

Я солдат
Отставной,
Я бы рад
Идти домой,
Да солдатское
Упорство
Шутки шутит
Надо мной.
Я шагаю,
Раз и два!
Распеваю,
Раз и два!
Я завижу
Людоеда —
Нападаю,
Раз и два!

Воля-волюшка
Моя —
Нападаю
Без ружья,
Без штыка
Одолеваю —
Вот в чем
Волюшка моя.
Я солдат
Отставной,
Я бы рад
Идти домой,
Но иду,
Иду, иду,
А туда
Не попаду!

И дорожка ведет его через поляны, покрытые цветами, мимо тихих озер, по некрутым холмам, через неглубокие овраги. Солдат оглядывается, радуется родным местам. Вдруг он слышит писк — громкий, жалобный, молящий о помощи. Прислушивается. Останавливается.

Бежит на зов. И видит: белка мечется у дупла. Летняя рыжеватая ее шубка взъерошилась, дыбом стала шерсть от ужаса и ярости. Трехэтажный змей желтобрюх стоит на хвосте, глядит немигающими глазами на белку. Медленно поворачивается его плоская башка к Солдату.

— Эй, ты! Разбойник! — окликает его Солдат сурово. — Ты что это задумал?

Змей шипит и свистит, зловеще, оглушительно, так, что листья дрожат на деревьях. Бросается на Солдата. Тот отклоняется чуть-чуть. Хватает змея за хвост. Встряхивает с силой. Кружит. Бьет его о траву, о ветки. Свист, грохот, качаются деревья, летят листья на землю. Несколько мгновений ничего не разглядеть за этим зеленым листопадом. Но вот затихает вихрь. Лежит на траве, завязанный в тройной узел, как морской канат. Бьется на месте, а распутаться не может.

— Вот тебе, змей желтобрюх, наука! — говорит ему Солдат наставительно. — Не ползай по чужим лесам. Лежи тут, чтобы другим неповадно было.

— Отпусти, — шипит змей. — Не с-с-сам пришел.

— А кто же тебя послал? — спрашивает Солдат.

— Раз-з-звяжи, с-с-с-скажу, — шипит змей.

Солдат не отвечает, белка прыгает ему на плечо. Шипит что-то в самое ухо, и мы слышим вместе с ним:

— Спасибо тебе, Солдат, за моих бельчат. Сейчас я тебе орехов полный ранец насыплю.

— Не надо, хозяйка! — отвечает ей Солдат весело. — Я провиантом обеспечен. А скажи ты мне лучше — откуда этот змей взялся? Что-то раньше я в наших лесах таких чудищ не видывал.

И мы слышим, как пищит белка Солдату в самое ухо.

— В семистах прыжках да в семистах шажках стоит черный лес, молчит, не дышит, не качается. Хозяйничает в этом лесу зверь не зверь, змей не змей, а невидимое чудовище. Из этого леса идут сюда все напасти.

— Заглянем туда! — говорит Солдат.

— Не ходи! Не ходи! — умоляет белка. — Живым не выберешься!

— Да ладно уж! — смеется Солдат. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Не могу я по легкой дорожке да на печку.

Снова запевает Солдат свою песню... Шагает по дорожке. И вдруг он слышит: трещат кусты, шуршит трава. Останавливается Солдат. Два

медвежонка выбегают из чащи. Бросаются к Солдату. Лижут руки. И вдруг разом, как по команде, валятся ему в ноги.

— Встаньте, ребята! — приказывает им Солдат.

Медвежата вскакивают.

— Беда, что ли, какая приключилась? Ну ведите, посмотрим, — говорит Солдат.

Медвежата бросаются в лес.

Солдат спешит за ними и видит: стоит медведь, покряхтывает. Задняя лапа его схвачена капканом. Солдат опускается на одно колено. Он разглядывает капкан и видит: это огромная щучья пасть. Хитро запрятана она в траве. Тугие пружины ловко прилажены к чудовищным челюстям. Покачав головой задумчиво, поворачивает Солдат костяные винты. Щелкают, открываются щучьи челюсти. Медведь с ревом подпрыгивает, встает на задние лапы. Отдает Солдату честь.

— Здорово, Миша! — говорит Солдат.

— Здравия желаем! — отвечает зверь тихо.

— Да ты никак устав знаешь? — удивляется Солдат.

— Так точно! — отвечает медведь. — Разве ты забыл меня, друг дорогой?

Он вдруг поднимает сук, лежащий на земле, и отчетливо и ловко показывает Солдату ружейные приемы. И на плечо берет, и на караул, и к ноге, и идет в штыки. Солдат хохочет.

— Да неужто это Мишутка-медвежонок, которого я в лесу подобрал, за полком водил, поил и службе учил, а потом на волю отпустил?

— Так точно! — отвечает медведь. — Теперь я своим хозяйством живу с семейством. Сейчас мы тебя отблагодарим, самым лучшим медом угостим. Эй, сынишки, просите гостя дорогого!

Медвежата становятся на дыбы, кивают Солдату головенками приветливо.

— Спасибо, Миша, но только меду мне не надо, — отвечает Солдат. — А скажи ты мне лучше — кто поставил этот капкан невиданный?

— Идем, покажу, откуда они, разбойники, к нам заползают, — говорит медведь.

И они отправляются в путь. Вот дорожка раздваивается. Один путь ведет прямо, тем же веселым приветливым лесом, через поляны, заросшие цветами, мимо тихих лесных озер, по некрутым холмам, через

неглубокие овраги. Другой ныряет прямо в чащу — черную, зловещую, неживую. Она словно невидимой стеной отделена, как отрезана от соседнего леса. Рядом, в двух шагах, шуршат на деревьях листья, весело свистят птицы, а тут деревья замерли неподвижно в тумане. Травой зарос путь в чащу, никто не осмеливается ходить туда, в этот зловещий полумрак.

— Стоял лес как лес, а теперь я и то его стороной обхожу. Захватило его чудище невидимое. Из этого леса и идут на нас все напасти, — отвечает медведь негромко, вглядываясь в чащу, насторожив уши, встревоженно.

Медвежата робко жмутся к ногам Солдата. Он усмехается. Ласково треплет медвежат за уши.

— Ну, прощайте, друзья! — говорит он решительно. — Придется мне в лес этот свернуть.

— Друг, друг, опомнись! — пугается медведь. — Усмири ты свое сердце беспокойное, солдатское. Идешь ты домой, идешь — все не дойдешь. Не пора ли отдохнуть?

— Нет! — отвечает Солдат твердо. — На печку? Нет! Прощай!

— Молодец, бесстрашен ты! — рявкает медведь восторженно и отходит в сторону.

Подает знак медвежатам. Те становятся с отцом в ряд. Отдают Солдату честь. Солдат, весело улыбаясь, отвечает. Скрывается в лесу.

Затемнение.

Солдат шагает по лесу. Тихо-тихо в сумеречной чаще. Ветка не качается, лист не шелохнется. Никого вокруг. Только туман клубами бесшумно вьется меж деревьями. Солдат замирает на месте. У ног его глубокий овраг. Дно и склоны оврага густо заросли папоротником, высоким, в рост человека. Вниз ныряет дорожка. В самую гущу папоротниковых зарослей.

— Седьмой день, — говорит Солдат, — седьмой день в этом лесу иду, а он все молчит, все молчит. Было тихо, а стало еще тише. Как перед грозой. Чует мое сердце — будет бой. Не тут ли, в овраге, и прячется невидимое чудище? Эй, Солдат, марш вперед!

И он устремляется вперед вниз по тропинке. Стеной окружает его

папоротник. Все быстрее шагает Солдат, все решительнее, все суровее глядят его глаза. Папоротник вдруг расступается. Солдат невольно делает шаг назад. На сырой поляне в болотной траве спит маленький мальчик в беленькой рубашке. Огромные лягушки сидят вокруг, глядят на Солдата, не двигаются, не мигают. На траве возле спящего — самодельный лук и колчан со стрелами.

— Вот так чудище, скажи пожалуйста! — говорит Солдат, улыбаясь. — Кто ты такой, богатырь неведомый? А вы, лягушки, чего ждете, зачем его сторожите?

Громко квакают лягушки в ответ Солдату. Мальчик вскакивает разом. Хватает лук. Прицеливается в Солдата. Солдат улыбается весело. Стоит, не двигается. И мальчик медленно опускает свое самодельное оружие.

— Здорово! — говорит Солдат ласково. — Не бойся меня.

— Здравствуй, дядя Солдат! — отвечает мальчик спокойно. — Я тебя не испугался. Я на такое дело пошел, что бояться ничего не приходится. Ну, лягушки, в путь!

Лягушки послушно скачут по дорожке. Мальчик идет за ними.

— Экий самостоятельный! — бормочет Солдат. И, поглядев вслед мальчику, пускается вдогонку. Так и шагают они молча. Лягушки впереди, Солдат позади, а мальчик в белой рубашечке посередине.

— Куда ты спешишь? — спрашивает Солдат наконец.

— Матушку ищу, дядя Солдат.

— Кого, говоришь?

— Мою мать родную.

— Где же твоя матушка?

— А ее Водяной украл. Бородой опутал, клещами ущемил да и уволок с ведрами в реку, в свой терем подводный. Она ткать да вышивать мастерица.

Солдат глядит задумчиво на мальчика. А тот шагает, спешит, не оборачивается.

— А отец твой где?

— Его метель занесла, загубила, когда я еще маленький был. Я один у матери защитник.

И снова шагают они молча. Лягушки впереди. Солдат позади, а мальчик посередине.

— А где же тот терем подводный? — спрашивает Солдат наконец.

— А тут, недалеко.

— Кто сказал?

— Лягушки. Проводить обещали и недорого взяли.

— Что дал?

— Сто мух да сто сорок комаров.

— Переплатил... — качает головой Солдат.

Лягушки поднимают отчаянное кваканье.

— В таком деле скупиться не приходится, — возражает мальчик.

Лягушки замолкают разом, и опять шагают мальчик и Солдат по узенькой дорожке в зловещей лесной тишине.

— Как тебя зовут, сирота? — спрашивает Солдат наконец.

— Иванушка, — отвечает мальчик.

— Я с тобой пойду, Иванушка, — говорит Солдат решительно. — Вместе выручим из неволи твою матушку.

— Спасибо, но только я сам! — отвечает мальчик.

— Отчего так?

— Я не маленький, — отвечает Иванушка сурово.

— И я не мал, — говорит Солдат, — однако и в бою, и в работе сам друзьям помогаю и от помощи не бегу. Поверь Солдату — я дурному не научу.

Иванушка останавливается. Думает несколько мгновений, опустив голову. Затем поворачивается к Солдату. Улыбается. Протягивает ему руку.

— Ну, спасибо, дядя Солдат! — говорит Иванушка. — Оно и правда с товарищем куда веселее. Лягушки — не подружки, они только квакают.

Теперь Солдат и мальчик идут рядом. Дорожка вывела путников на широкую поляну. Столетние сосны стоят вокруг угрюмо, неподвижно, как часовые. Ветка не шелохнется, шишка не качнется.

— Мы маму найдем? — спрашивает мальчик.

— Надо найти, — отвечает Солдат решительно.

— А мы ее спасем?

— Надо спасти, — отвечает Солдат.

И вдруг те сосны, что растут справа, оживают. Ветки их сгибаются, качаются, как будто невидимый кто-то прыгает с дерева на дерево. И слышится голос хриплый, негромкий, но очень внятный.

— Никого вам не найти, никого вам не спасти да и самим не уйти.

Лягушки разом прыгают в траву и исчезают. Иванушка хватается за лук.

— Это кто же там по соснам прыгает? — кричит Солдат.

Но деревья снова замерли неподвижно. Никто не отвечает Солдату.

— Испугался. Молчит… — говорит Солдат громко.

И сразу оживают сосны слева от поляны. И невидимый голос хрипит негромко.

— Мне пугаться некого — я тут самый главный.

— А если главный, то чего прячешься? — спрашивает Солдат насмешливо. Но сосны снова затихли. Нету Солдату ответа. Он смеется.

— Опять испугался?

И тотчас же трава на поляне склоняется под невидимой тяжестью. Ложится то справа, то слева, то вблизи Солдата, то вдали от него. И голос, то приближаясь, то удаляясь, вопит.

— Я никого не боюсь. Я отчаянный. Твое счастье, что я нынче веселый. А то давно бы тебе конец пришел.

— Я понял. Ты леший! — спокойно говорит солдат.

— Сказал тоже. Я куда страшней, — обижается невидимое существо.

— Ну, назовись тогда!

— Вот еще! Солдату называться! Сейчас я пастуха кликну. С ним и разговаривай. Он тебе ровня, — отвечает невидимый собеседник. И зовет негромко.

— Эй, пастух, гони сюда стадо.

— Тихо зовешь, — говорит Солдат.

— Ничего, услышит, — отвечает голос. — Скорей ты, демон! Мне не терпится! Хочется посмотреть, как людишки удивятся. Поглядите, гости дорогие, незваные.

И действительно, есть на что поглядеть. Мальчик невольно делает шаг назад. Солдат кладет ему руку на плечо.

— Не бойся, Иванушка, — говорит он ласково.

— Да уж тут бояться не приходится, — отвечает мальчик, глядя во все глаза на стадо, которое медленно плывет по воздуху между деревьями.

— Ну и стадо!

Караси, огромные, как коровы, разевают рты, машут лениво широкими хвостами. Ерш, как пес, мечется между карасями, кусает за хвост отстающих, гонит к стаду отплывающих в сторону. И вот что удиви-

тельно — ерш этот, не в пример прочим ершам, лает! Правда, негромко, но все-таки лает, как настоящий пес. Вслед за стадом, верхом на щуке, выплывает пастух. Борода у него зеленая, сапоги из рыбьей кожи с узорами, вместо шапки — раковина, вместо кнута — удочка, и на поясе ведерко.

— Здорово, пастух! — говорит Солдат спокойно.

Пастух останавливает щуку. Глядит на Солдата своими рыбьими белыми глазами без ресниц. Не то он не слышал, не то он не понял, не то сердится, не то задумался. Разве такого поймешь?

— Здорово, пастух! — говорит Солдат громко.

Пастух молчит.

— Эй, пастух, ты воды в рот набрал, что ли? — спрашивает Солдат.

— Конечно, набрал, — отвечает пастух тенорком.

— Зачем? — удивляется Солдат.

— А нам без этого скучно, — объясняет пастух.

Сказавши это, пастух снимает с пояса ведерко и подносит его к губам, видимо, опять собираясь набрать воды в рот.

— Стой! — приказывает Солдат. — Я с тобой поговорить хочу.

— Эх, принесла вас нелегкая, — сердится пастух. — Тут засохнешь с вами... Ступайте вы от меня подальше. А не то я на вас ерша натравлю.

— Попробуй натрави, — улыбается Солдат.

— Эй, Барбос! — зовет пастух.

Ерш, виляя хвостом, подплывает к пастуху, ласкается.

— Кусай их! — орет пастух. — Рви их, рыбаков-разбойников!

Глухо, но свирепо лая, бросается ерш на Солдата. Трава на поляне так и вьется кругом. Очевидно, таинственное невидимое существо пляшет на траве, заранее уверенное, что худо придется Солдату. Но Солдат хватает свирепую рыбу за хвост и швыряет ее прямо в небо. Ерш взвизгивает по-собачьи и летит, летит под самые облака.

— Ах, батюшки! — визжит пастух. — Выше облака забросил! Да ты силен.

— Как видишь! — смеется Солдат.

— С тобой, значит, потише надо разговаривать?

— Как знаешь, — отвечает Солдат.

Ерш винтом падает с неба. Только у самой земли удается ему развернуться. С визгом удирает в кусты. Пастух снимает свою шапку,

низко кланяется Солдату.

— Здравствуйте, страннички-прохожие! — говорит он до крайности ласково. — Простите, если что не так сказал.

— Ничего, — отвечает Солдат.

— Позвольте мне, страннички-прохожие, воды в рот набрать да и в сторону, — просит пастух.

— Нет, брат, постой. Отвечай отчетливо: куда это мы забрели? — приказывает Солдат.

— А забрели вы, рыбки мои золотые, прямо в самое подводное царство к Водяному-владыке.

— Чего ты прохожих морочишь! Стыдно! Ведь это лес!

— Был когда-то лес, да наш Водяной его у лешего в камушки выиграл. Ну, мы, конечно, всех птиц, зверей распугали, на деревья страху нагнали— вон стоят, дыхнуть боятся, — и пользуемся леском. Карасей пасем, прохожих губим, ха-ха... Лягушек растим. Сырость разводим.

— Так, понятно, — говорит Солдат задумчиво. — А кто же с нами тут невидимкою разговаривал? Кто это там невидимкою скачет с ветки на ветку?

— А скачет с ветки на ветку наш поилец-кормилец могучий Водяной-батюшка, — отвечает пастух, сняв шапку.

Мальчик и Солдат переглядываются, а невидимый Водяной разражается хриплым смехом. Он так пляшет на соснах, что шишки градом летят на траву.

— Позвольте мне, страннички сердитые, набрать воды в рот и в сторону, — умоляет пастух, низко кланяясь.

Солдат машет рукой.

— Назад, Машка! — кричит пастух и, поддев удочкой передового карася, заворачивает его в лес. — Куда ты, Васька! А ну, Барбос, дерни его за хвост. Назад!

И, набрав воды в рот, пастух вслед за стадом уплывает в лесную чащу. Лай ерша Барбоса замирает вдалеке.

— Ну что? — ликует невидимый Водяной. — Понял, на кого налетел?

— Так точно, Водохлеб! — отвечает Солдат лихо.

Пауза.

Очевидно, Водяной растерялся от солдатской дерзости.

— Водяной, а не Водохлеб! — ревет он наконец.

— Это нам неизвестно, — возражает Солдат спокойно.

— Сказал же тебе пастух!

— Сказать все можно.

— Ты меня не дразни! — вопит Водяной. — Все равно не покажусь!

— А это воля ваша, Водовоз, — отвечает Солдат.

— Ну, Солдат, раздразнил ты меня, — хрипит Водяной свирепо. — Теперь пеняй на себя. Вот он я! Гляди!

И в воздухе над поляной появляется полупрозрачное облако. Оно переливается всеми цветами радуги. Но вот зеленый цвет начинает побеждать. Облако зеленеет и зеленеет, сгущается и сгущается. Из зеленой мглы выступает косматая башка с круглыми свирепыми глазами. И вот перед Ваней и Солдатом вырастает великан — Водяной. Огромная спутанная зеленая его борода свисает до земли. Ее густые пряди шевелятся, колеблемые течением. Солдат не спеша подходит к великану. Разглядывает его спокойно. Так глядеть не полагается. Покупатель так оглядывает лошадь на ярмарке. Солдат проходит между ножищами Водяного невозмутимо, будто в ворота прошел. Потом он долго глядит из-под руки прямо ему в лицо. И, будто поняв, с кем имеет дело, говорит Солдат вежливо.

— Здравия желаем, Степа Растрепа!

— Я не Степа Растрепа, а подводный владыка, грозный Водяной. Страшен я? — вопит великан.

Солдат вместо ответа повторяет свой осмотр. Обходит чудовище со всех сторон, оглядывает, даже пробует ногтем, прочны ли голенища его сапог. Водяной вертит головой. Таращит глазищи на дерзкого гостя. Кричит обиженно.

— Отвечай же! Страшен я?

Солдат подмигивает.

— Ты, я вижу, смел, — хрипит Водяной.

— Я, как говорится, Адам, привычный к бедам, — отвечает Солдат весело.

— За это тебе будет награда, — обещает Водяной.

— Чем пожалуешь?

— Убью, да не сразу.

— И на том спасибо.

— Раз ты такой отчаянный — давай силой меряться, — предлагает

Водяной после некоторого раздумья.

— Это можно. Только дай ты мне слово, что, если я тебя осилю, будешь ты меня во всем слушаться, — отвечает Солдат.

— Ха-ха-ха! Даю слово! — кричит Водяной.

— Ну, тогда начинай!

— Сейчас я тебя, не трогая руками, буду на землю валить. Упадешь— я победил. Устоишь — ты победил. Идет?

Он подходит к мальчику.

— Сейчас, Ваня, — говорит Солдат, — стану я, как стоял часовым,— в дождь, в бурю, в снег, в град, под огнем, под пулями. Надо так думать, что устою.

— А мне какой будет приказ? — спрашивает мальчик.

— Ждать! — отвечает Солдат.

— Трудно это! Я лучше возле тебя буду. Устанешь — обопрешься.

— Не спорь! — говорит Солдат строго. — В бою слово старшего — закон. Поди, встань вон там, за соснами. Надо будет — кликну.

Иванушка уходит, вздыхая. Солдат становится смирно.

— Готов? — спрашивает Водяной.

— Так точно! — отвечает Солдат.

Водяной зовет негромко.

— Стань передо мной, как лист перед травой, первый мой скороход, главный прыгун, доверенный посыльный Ква-ква-квак!

И тотчас же Квак в своей обтянутой зеленой одежде вырастает, как из-под земли. Кланяется Водяному почтительно.

— Видал, Солдат? — спрашивает Водяной. — У меня, брат, все на мой лад — не по-вашему. Эй, Квак!

— Ква, ква, к вашим услугам, — отвечает Квак.

— Воды! — кричит Водяной.

— Сколько прикажете?

— Три ручья!

— Слушаюсь.

Квак три раза кувыркается, трижды подпрыгивает, квакает во все горло — из травы, фонтаном поднимаются три ручья. Разливаются озером у ног Водяного.

— А ну, подымись! — приказывает Водяной.

Озеро закипает, бурлит, подымается волною в человеческий рост.

Водяной бормочет негромко.

— Повали его, вода, закружи его, вода, погуби его, вода, задуши его, вода!

Волны устремляются на Солдата. Разбиваются в мелкие брызги, отступают, бьют вновь, все упрямее и ожесточеннее. Иванушка выбегает из-за сосен, где приказано ему было стоять, но вода сбивает его с ног. Он поднимается, кричит Водяному.

— Все равно маму найду!

Но Водяной не слышит. Он через брызги и пену вглядывается и видит: стоит Солдат, не падает.

— Стоишь? — ревет Водяной.

— Так точно! — отвечает Солдат спокойно.

— Худо тебе?

— Бывало и хуже.

Водяной подымает лапы к небу. Приказывает грозно.

— Стань, вода, седой, встань, вода, стеной, закружись столбами, разразись громами.

Налетает вихрь. Черные тучи спускаются все ниже и ниже. Гремит гром. Сверкает молния. Смерчи ходят столбами. Солдат исчезает во мраке. Иванушка отчаянно борется с бурей, перебегает от ствола к стволу, пробирается поближе к Водяному, который, светясь зеленым светом, явственно виден в тумане. Тщательно целится мальчик. Стреляет в Водяного из лука. Тот ловит стрелу на лету. Разглядывает недоумевающе. И разражается хохотом.

— Ха-ха-ха! — ликует Водяной. — Солдат в щепочки разлетелся! Спасибо, молодцы! Все по местам! Отдыхайте!

Тучи рассеиваются, смерчи рассыпаются водяной пылью, исчезает озеро у ног Водяного. Иванушка вскрикивает радостно. Пляшет, прыгает. Солдат стоит навытяжку. Он весел, спокоен. Мундир, амуниция в полном порядке, хоть сейчас на смотр.

— Стоишь? — ужасается Водяной.

— Так точно! — отвечает Солдат. — Рано Вавилу запрятали в могилу.

— Да еще и сухой никак?

— Так точно. Мы в огне не горим, в воде не тонем.

— Ты колдун, что ли?

— Нет, Водяной, я русский солдат. Ну, что скажешь? Кто кого осилил?

Водяной чешет затылок. Думает.

— Нет! — кричит он после некоторого раздумья. — Бороться так бороться. Я тебя не повалил. Верно. А ты меня повалил разве? То-то, брат. Повали меня, тогда твоя взяла.

И он выпрямляется во весь свой великолепный рост. Ухмыляется самодовольно.

— Ладно! — отвечает Солдат спокойно. — Это можно...

Водяной хохочет.

— Где стоять будешь? — спрашивает Солдат.

— Где и стою, — отвечает Водяной. — На камешке.

Он стоит на большом плоском камне. Посмеивается. А Солдат, быстро и ловко орудуя лопатой, роет под камнем яму. Достает из сумки мешок с порохом. Закладывает под камень. Тянет фитиль.

— Ха-ха-ха! — заливается Водяной. — Он меня, Водяного, поджечь хочет! Ах ты, карась...

Оглушительный взрыв. Водяной подпрыгивает и валится, оглушенный, на землю. Квак мечется вокруг, квакает растерянно. Вот Водяной становится на четвереньки. На колени. Подымается во весь свой огромный рост. Простирает негодующие руки. Глаза загораются зеленым пламенем. Мановением руки подзывает Квака.

— Что делать?

— Квак, квак, квак прикажете.

— Дурак!

— Квак, квак, квак прикажете.

В о д я н о й. Ну, что ж это, Солдат! Как ты меня растревожил! Со мной так еще не бывало. Хочу человека загубить, а он не дается. Да ты взгляни, чудачок! Ведь я страшен! Дрогни хоть капельку, а я тебя и прикончу. Сделай такую милость — перепугайся! А? Ласково тебя прошу, рыбка моя дорогая, золотая. Доставь мне удовольствие, задрожи!

С о л д а т. Не могу.

В о д я н о й. Почему?

С о л д а т. Не приучен.

В о д я н о й. Безобразник ты, братец!

С о л д а т. Ну и Водяной! Как говорится, собаке не верит, все сам лает. Ты мне зубы не заговаривай! Боролись мы с тобой? Боролись. Осилил я тебя? Осилил.

В о д я н о й. Пожалуйста, не напоминай.

С о л д а т. Должен ты меня слушаться? Должен. Ну и слушайся.

В о д я н о й. Сейчас, погоди. Дай успокоиться, утешиться. Эй, Квак!

К в а к. Ква, ква, к вашим услугам.

В о д я н о й. Боишься ты меня?

К в а к. Ох, боюсь.

В о д я н о й. И здорово боишься?

К в а к. Квак, квак полагается.

В о д я н о й. У!

Квак подпрыгивает.

В о д я н о й. Э!

Квак подпрыгивает и переворачивается.

В о д я н о й. Ну что? Где у тебя душа?

К в а к. В пятках, владыка подводный. Оттого я и прыгаю, квак, квак мячик.

В о д я н о й. Дрожи передо мной!

Квак дрожит.

В о д я н о й. Отчетливей!

Квак дрожит крупной дрожью.

В о д я н о й. Молодец. Из простых лягушек выслужился, а как разумен. Любишь меня?

К в а к. Квак, квак, квак родную маму.

В о д я н о й. Ну вот мне и полегчало. Нет, все-таки я грозен. Ужасен я! Ну, Солдат, говори, чего тебе надо.

С о л д а т. Ваня. Иди сюда, Иванушка.

В о д я н о й. Зачем это? Отойди, мальчишка! Подтяни брюки. Одерни рубашку. Волосы поправь. Держись ровненько! Не мигай!

С о л д а т. Да брось ты к нему цепляться. Он мальчик хороший.

В о д я н о й. Всех их топить надо! Ну, говори, чего тебе?

Мальчик храбро подходит к Водяному. Водяной отворачивается с отвращением. Квак в точности повторяет все движения своего повелителя.

И в а н у ш к а. Ты мою маму украл!

В о д я н о й. Кого-кого?

И в а н у ш к а. Мою маму, Марью-искусницу.

В о д я н о й. А вот и не украл!

И в а н у ш к а. Не обманывай, не обманывай! Ласточки видели!

В о д я н о й. Это им привиделось! Они взад-вперед шныряют, ничего толком не разглядывают!

И в а н у ш к а. Ивы тоже сказывали.

В о д я н о й. Это им приснилось. Они вечно над водой дремлют.

С о л д а т. Довольно, Водяной, сироту обижать! Гляди! *(Достает из ранца мешок пороха.)* Опять тебя свалю, если слова своего не сдержишь. Подавай сюда Марью-искусницу!

В о д я н о й. Говорят вам — нет у меня такой.

С о л д а т. Веди нас в твою подводную избу.

В о д я н о й. У меня не изба, а дворец!

С о л д а т. Это нам все равно. Идем в твой дворец. И собери всех своих слуг и служанок. И мы сами поглядим, не найдется ли среди них та, которую мы ищем. Ну! Решай! А то рассержусь!

В о д я н о й. Ладно, карасики мои серебряные, быть по-вашему. Покажу я вам всех своих слуг и служанок. Узнаете Марью-искусницу — она ваша. А не найдете — заточу я вас в подводную темницу, такую глубокую, что камень туда полгода летит. Согласны?

С о л д а т. Ладно, там видно будет. Идем!

Водяной делает знак Кваку. Низко поклонившись, Квак ложится у самых его ног, лицом к противоположному краю поляны. Он принимается дуть, дуть, дуть. И вот трава и цветы начинают тускнеть, тускнеть, расплываться. Вместо цветущей поляны — темное озеро, неподвижное, как зеркало, появляется у ног Водяного и его гостей. Квак громко квакает. Рябь проходит по воде, и вдруг она начинает светиться изнутри. Водяной становится величественным. Он делает широкий жест, предлагая гостям подойти к воде. Вода делается прозрачной. Широкая лестница из красных кораллов ведет вниз, в глубину открывшегося озера. Коралловые деревья стоят вдоль лестницы по ступеням.

— Ну, государи мои, гости мои драгоценные, — провозглашает Водяной торжественно. — Лесок, где мы подружились-познакомились, — это полчуда. А настоящие чудеса впереди. Видите лестницу?

— Видим, — отвечает Солдат.

— Коралловая! Из южных морей. У братца семиюродного выменял. Тысячу пудов осетровой икры за нее дал. Пожалуйте за мной, коли не боитесь по коралловой лестнице в самое подводное царство, в самую середину.

Водяной не спеша входит в озеро. Квак поддерживает его под локоть. Солдат улыбается.

— Как говорится: в боярский двор ворота широки, а со двора узки. Однако — храброму мужу в море — за лужу. Идем, Ваня.

Под водой светло, как на земле. На каждой площадке лестницы стоят на хвостах большие светящиеся рыбы. Каждая из них светится на свой лад. У одной вспыхивают и гаснут глаза, как маяки. У другой на голове, на длинном стебельке фонарики, похожие на грушу. Третья вся — от носа до хвоста — сияет синим пламенем. У четвертой светятся плавники. И все они вспыхивают особенно ярко и низко-низко склоняются перед Водяным, когда он проходит мимо. Вот и подводное царство.

— Не двигайте ножками, не утруждайте себя, гости мои любезные, — хрипит Водяной. — Течение подводное — послушное, само отнесет вас куда следует.

И в самом деле, едва он успевает сойти со ступенек, как невидимая сила мягко подхватывает его и несет вперед над дорогой, вымощенной серебряной рыбьей чешуей. Квак старательно поддерживает его под локоть. Ваня и Солдат несутся следом. Дорога ведет через коралловый лес. Красные, розовые, белые кораллы разрослись, переплелись. Они блестят и сияют над коралловой чащей. Строем, как часовые, ходят светящиеся рыбы. А из-под ветвей, из глубины коралловых зарослей, из зеленой мглы глядят на чужеземцев морские чудовища. Коралловый лес позади. Теперь дорога идет среди водорослей. Водоросли эти всех цветов — синие, желтые, красные, зеленые. Крошечные рыбки, разноцветные, легкие и веселые, как птицы, шныряют между подводными зарослями.

— А скажи, дядя Солдат, — спрашивает Иванушка, — ждет меня мама? Думает ли, что я так близко?

— Возможно, что и ждет. Материнское сердце — вещун, — отвечает ему Солдат.

Маленькая шторка.

Полутемная подводная пещера. Свет падает из маленького окна под потолком. Марья-искусница сидит, склонившись над пяльцами, работает усердно. На пяльцах — в узоре из листьев вытканное разноцветными шелками лицо Иванушки. Все оживает его лицо под искусными пальцами рукодельницы, все оживает, так и кажется, что он заговорит сейчас.

— Что молчишь, сынок? — спрашивает Марья-искусница. — Где ты? Уж не близко ли? Тревога с утра меня томит. Все чудится, что бродишь ты за стенами, зовешь мать, ищешь, и я не слышу. Ты здесь?

Или кажется это в мерцающем неверном свете, или в самом деле шевельнулись губы мальчика. Послышалось это матери, или в самом деле шепнул Иванушка.

— Я здесь.

— Иванушка! — воскликнула мать. — Неужто ты сам пробрался в эти края, холодные да сырые. Не дождался меня, сам за мной пришел?

— Да! — шепчет Иванушка.

Продолжая работать, не сводя глаз с Иванушки, заводит Марья-искусница песню:

Иванушка,
Сыночек мой,
Сторожат
Твою матушку.
Я раз ушла,
Я другой ушла,
И на семь замков
Меня заперли.

Но нет, не смирилась
Душа моя,
Людская душа,
Упрямая.
Мы пробьемся
В наш дом родной,
Иванушка,
Сыночек мой!

Шторка.

Водяной, Квак, Солдат, Иванушка летят по подводному царству. И вот вдали вырастает дворец Водяного. Он полупрозрачен. Он весь круглый, волнообразный. И кровля его поднялась волной — ровной, тяжелой, какие вздымаются во время мертвой зыби. И стены его выгнуты, как будто они сейчас движутся вперед, и башни его похожи на смерчи, замершие на месте. Когда течение подносит наших друзей ближе, они видят, что не из стекла и не изо льда построен дворец. Он из воды. Но вода эта едва колеблется. И от этого дворец, такой тяжелый издали, вблизи кажется зыбким. По его стенам, как по большому мыльному пузырю, широкие радужные полосы медленно и непрерывно ползут сверху вниз. Квак, обгоняя своих спутников, прыжками подлетает к воротам. Он хватает огромную трубу и громко трубит. И тотчас же

весь дворец загорается синим цветом. Перед воротами вырастают огромные раки. Стоя навытяжку, они щелкают клешнями, приветствуя Водяного. В щелканье этом есть некоторая музыкальность. Некоторое подобие марша. Закончив марш, который Водяной выслушал, держа лапы по швам, раки замирают неподвижно.

В о д я н о й. Ну, Солдат, хороша стража?

С о л д а т. Хороша, да в бою попятится.

В о д я н о й. А я их к врагам спиною ставлю. Они думают, что бегут, а сами наступают. Ун Йавыркто аторов!

С о л д а т. На каком языке говоришь, Водяной?

В о д я н о й. На рачьем. Слова у них те же, только их надо говорить, как рак ползет — задом наперед. По-вашему — раки, по-ихнему — икар. По-вашему — открывай ворота, по-ихнему — йавыркто аторов. Понял?

С о л д а т. Ляноп.

В о д я н о й. Ун, икар!

Раки расходятся, тянут за собой зыбкие створки ворот. Ворота открываются с шумом, похожим на шум прибоя. Раздается музыка, в которой явственно слышится шипение змей, жужжание комаров, плеск воды, кваканье лягушат. Водяной со своими спутниками входит в длинный-длинный сводчатый коридор. Зеленоватые стены его чуть светятся. Тут нет углов, нет крутых поворотов — коридор тянется, вьется, как речка, изгибается, извивается. И не то он ведет путников в глубь дворца, не то кружит их и вертит на месте, словно омут. И множество полупрозрачных, словно стеклянных, а может быть, из особенной волшебной воды дверей, то закрытых, то настежь распахнутых, попадаются путникам. А за дверями все такие же извивающиеся, неведомо куда ведущие зеленоватые коридоры. Водяной поглядывает искоса на путников своих. И глаза его под нависшими, словно водоросли, бровями — начинают светиться по-кошачьему. Солдат оглядывается.

С о л д а т. Что отстаешь, Ваня? Или устал?

В а н я. Нет, дядя Солдат, не устал. А словно относит в сторону течение.

С о л д а т. Иду к тебе.

Он делает шаг к Ване.

Но Водяной вырастает до самого сводчатого потолка. Он простирает свои огромные ручищи, шевелит пальцами и, словно вихрь, проносится

по коридору. Ваню откидывает к стене. Но Солдат идет против вихря, согнувшись, идет прямо к Ване на выручку. Водяной рявкает.

— Туманы!

И тотчас же из всех дверей, из-за всех поворотов влетают, вползают толпой, вваливаются полупрозрачные белые существа, сонные, пошатывающиеся.

В о д я н о й. Разлучить гостей! Пусть по одиночке бродят!

И туманы послушно окружают, обволакивают Ваню и Солдата.

— Дядя Солдат! — кричит Ваня.

И туманы открывают свои огромные рты. И каждый из них повторяет Ваниным голосом.

— Дядя Солдат! Дядя Солдат! Дядя Солдат!

Со всех сторон слышит теперь Солдат зов мальчика.

— Иду! — отвечает Солдат.

И туманы повторяют его голосом множество раз, словно эхо.

— Иду, иду, иду, иду!

И Ваня сбивается с пути, бежит прочь от Солдата.

— Сюда! — зовет Солдат.

— Сюда, сюда, сюда! — повторяют туманы и уводят Ваню в самую глубь коридоров подводного царства.

Потерялся Солдат, исчез Ваня. Туманы рассеиваются. Водяной стоит, посмеиваясь.

В о д я н о й. Вот то-то и есть! С кем связались, мышки сухопутные! Бродите, бродите! В одиночку-то страшнее, авось станете посмирнее. Квак! Беги за ними следом. Трави, гони, пугай!

Ваня идет сводчатыми коридорами. Зовет.

— Дядя Солдат!

Тишина. Даже эхо не отвечает мальчику. Он останавливается, задумывается. Выдергивает из своего пояса цветную шелковинку.

— Шелковинки-то цветные, а глаза у Солдата острые. Он приметит, поймет, кто это тут проходил и ему знак оставил.

И он обвязывает шелковинкой камушек, лежащий на песчаном полу коридора. Через несколько шагов повторяет он то же самое. Коридор, которым идет Ваня, кончается тупиком. В тупике три двери. Они полупрозрачны. И на всех трех дверях надписи, выложенные из

разноцветных ракушек.

В а н я *(читает)*. Дожди обложные.

Он заглядывает в дверь. И видит: низко-низко спустились тучи. И моросит, моросит дождь. Лужи тускло блестят под тучами. Ваня подходит ко второй двери. На ней надпись: *ДОЖДИ ПРОЛИВНЫЕ.* И ничего не разглядеть — сплошные потоки бегут по прозрачным дверям. Он подходит к третьей двери. На ней надпись: *ДОЖДИ ГРИБНЫЕ.* Ваня заглядывает. Весело блестят на солнце косые струи нечастого дождика.

В а н я. Вот куда пойду, все-таки солнышко!

Мальчик открывает дверь и входит в просторную пещеру. В сводах ее широкие окна — в них-то и светит солнце. Под высокими сводами пещеры ходят тучки. Мальчик бежит весело под дождем. Вдруг шеве-лится впереди земля, и из-под нее выглядывает красная шапка в белых лоскутках. Ваня останавливается. И перед ним вырастает мухомор с него ростом.

В а н я. Недаром говорится — растет как грибы. Смотри, какой быстрый.

Он поворачивается, чтобы обойти мухомор, но тотчас же перед ним вырастает второй. Он делает шаг назад — и едва не падает. Из-под самых его ног вырастает третий. И четвертый. И пятый. И шестой. И седьмой. Нет мальчику хода. Куда ни ступит — из-под земли поднимается ядовитый красноголовый гриб. Смеющаяся зеленая морда Квака, мелькнув между мухоморами, мгновенно исчезает.

В а н я. Вот беда какая! Эй! Хозяин грибной! Гриб боровик! Никогда я вашего брата не обижал! А когда брал, то корешок в земле оставлял, чтобы вы росли, не переводились. Помогите мальчику! Видите — сколько мухоморов на меня одного! Отравят они меня, бедного!

И тотчас же Ваня, словно чудом каким, поднимается в воздух. Он вглядывается под ноги и видит, что стоит на шляпе великолепного боровика, что пришел ему на выручку, вырос над ним и поднял вверх. И за красными в белых лоскутках шапками мухоморов Ваня видит второй боровик. Он прыгает прямо на него. Но едва он хочет перепрыгнуть на третий, как мухоморы вырастают вдруг чуть не с дерево. Вырастает и боровик. Ваня прыгает. И срывается. Но не успевает упасть на землю. Розовая сыроежка вырастает и подхватывает Ваню на лету. Гул, шум. Дрожит земля. Строем вырастают из-под земли подберезовики. За ними — подосиновики. Не дают пробраться мухоморам к Ване. Он бежит по

проходу, что образовался между грибами-защитниками. Добегает до двери. Кричит.

— Спасибо, друзья!

И словно из-под земли отвечают ему негромкие голоса грибов-друзей.

— На здоровье!

Квак грозит боровикам кулаками. Снова бежит Ваня по коридору. Обвязывает цветными шелковинками то раковину, то камень, то выступ на стене. Мелькает за поворотом Квак. Он указывает на мальчика кому-то невидимому. Раздается негромкий двойной свист. Ваня оглядывается и видит, что за ним вдогонку мчатся две рыбы. Они останавливаются прямо перед Ваней, глядя на него своими круглыми глазами. И, вильнув хвостами, вдруг поворачиваются, уносятся обратно. Ваня идет дальше. Вдруг снова позади раздается двойной негромкий свист. Но теперь к нему прибавился низкий дрожащий тревожный трубный рев. Мальчик оглядывается — и бросается бежать со всех ног. Две рыбки мчатся за ним в погоню и ведут за собой огромную акулу. Вот-вот, сейчас, сейчас нагонят они мальчика. Ваня бросается ничком на песчаный пол коридора. Преследователи с разгона пролетают мимо. А мальчик вскакивает и мчится в обратном направлении. Сворачивает в одну из раскрытых дверей. Попадает в новый коридор, во всем похожий на прежний. Снова раздается за его спиной двойной свист, трубный рев. Акула и ее лоцманы напали на след. А коридор кончается тупиком с одной дверью. И на двери этой — выложенная из разноцветных ракушек надпись, всего в одно слово: ЛЬВЫ. Ваня открывает дверь решительно. Захлопывает ее за собой. Он в огромной подводной пещере. Куда ни глянь — скалы высятся на песке. У самой двери стоит, склонившись, большой камень. Склонившись в сторону двери, Ваня бросается на колени. Подрывает песок под камнем. Потом наваливается на него плечом. И камень повинуется. Падает всей своей тяжестью на дверь. И как раз вовремя. Акула уже тут. Ваня видит ее сквозь прозрачные створки. Квак появляется возле акулы. Пробует открыть дверь — но тщетно. А мальчик уже уходит, скрывается за скалами. Квак грозит ему кулаком вслед. Делает знак лоцманам. Уносится по коридору прочь огромными прыжками. Лоцманы и акула послушно летят за ним.

Солдат мерным, ровным, походным своим шагом шагает. Раз-два,

раз-два, раз-два, по сводчатому коридору. И вдруг останавливается. Вглядывается. Замечает камушек, обвязанный цветной шелковинкой. Поднимает. Кивает головой. Шагает, глядя на пол, от шелковинки к шелковинке. Но вот след теряется с того места, где появилась акула. Солдат вглядывается в следы на песке. Бормочет:

— Вот тут он упал.

— А тут назад повернул!

— А тут бегом бежал!

И след приводит его к двери с надписью: *ЛЬВЫ*. Солдат наваливается на дверь всем плечом. Но и ему не открыть заваленной камнем двери.

— Что делать?

Оглядывается. Видит на песке большую раковину, блестящую, словно отполированную, с розовыми краями. Поднимает ее. Прикладывает ее к уху. И мы слышим вместе с ним то, что слышит любой, приложивший к уху раковину: ровный-ровный непрерывный шорох.

С о л д а т. Раковины, раковины, сестрицы! Я знаю — как бы вас ни разбросала судьба, вы всю свою жизнь между собой перешептываетесь. Вы знаете все, что в подводном дворце творится! Где мальчик Ваня? Ответьте, сестрицы.

Сначала слышит Солдат все тот же непрерывный шорох. Но вот в него вплетаются слова.

— Ты от всего сердца спросил, и мы тебе от всего сердца ответим. Слушай да шагай. Шагай да слушай. Раз-два! Раз-два!

Солдат послушно шагает.

Ваня идет по песку между скалами. Вздрагивает от всякого звука. Оглядывается. Никого не видно, ничего не слышно.

В а н я. Где же они, львы-то?

И сдавленный, хриплый голос отвечает ему.

— Мы тут!

Мальчик вздрагивает, оглядывается — никого! Неужели это ему почудилось? Но тот же хриплый, сдавленный голос повторяет.

— Поиграй с нами.

— А где вы?

Молчание.

— Где вы?

Голос. Не знаю, как сказать по-человечески. Поиграй с нами. Вот мяч.

И к ногам мальчика падает сверху туго скрученный, круглый, как мячик, ком морской травы. Ваня поднимает голову. На него со скалы глядят три черные, лоснящиеся башки. Одна большая, другая поменьше, а третья — совсем маленькая.

Ваня. А где же львы-то?

И обладатель самой большой головы отвечает.

— Это мы. Я морской лев.

— А я морская львица! — отвечает средняя башка.

— А я морской львенок! — отвечает младший. — Поиграй с нами. Мы людей любим.

Ваня поднимает туго стянутый ком травы, превращенный неведомым каким-то мастером в мяч, швыряет вверх. И тотчас же морской лев отбивает его носом.

— Еще, еще! — просят звери.

Поиграв со львами, Ваня спрашивает.

— А не знаете ли вы, друзья, как найти мне друга Солдата?

— Не умеем сказать по-человечески, — отвечают львы хором.

Ваня. Ну тогда я сам пойду поищу. Прощайте.

Вдруг лев поднимает свое грузное туловище, вглядывается куда-то. То же делает и львица. Львенок стоит ровненько, как овечка. Он тоже что-то увидел.

Львенок. Не бойся. Папа тут! Мама тут. При них нечего бояться.

Ваня взглядывает туда же, куда и львы, и невольно делает шаг назад. Между скалами двигается прямо на него огромный осьминог. Все его восемь ног обуты в сафьяновые сапоги. На голове вышитая шапка. Но чудовище не кажется от этого менее страшным.

Лев. Скажи ему — “смирно”!

— Смирно! — кричит Ваня.

И к величайшему удивлению его, чудовище послушно останавливается.

Львенок. Скажи ему — “служи”!

Ваня. Служи!

И к величайшему удивлению, осьминог садится и поднимает четыре из восьми ног кверху.

Львица. Скажи ему — “ на место”!

В а н я. На место!

Осьминог немедленно выполняет приказ и удаляется в ту сторону, откуда пришел.

В а н я. Осьминог-то ученый?

Л е в. Ученый.

В а н я. А кто его учил?

Л ь в е н о к. Наша подруга девочка Аленушка. Она и нас научила по-человечески.

В а н я. Откуда же здесь, в подводном царстве, девочка?

Л е в. Не умеем сказать по-человечески.

Л ь в е н о к. Еще не все слова затвердили. Поиграй с нами.

В а н я. И рад бы, да нельзя. Побегу дядю Солдата искать!

Мальчик бежит между скалами. Издали-издали доносится голос львенка.

— Приходи, поиграй с нами! Мы людей любим!

Вдруг на одной из скал появляется Квак. Он указывает на пробегающего мимо Ваню. И тотчас же раздается двойной свист и дрожащий трубный рев. Акула! Мальчик мечется между скалами, но всюду его находит огромная хищница. И вот оказывается он словно в ловушке. Налево и направо — скалы. Позади — стена. Не уйти Ване. Акула по разбойничьему своему обычаю поворачивается кверху животом, чтобы схватить жертву. И вдруг стена возле Вани приходит в движение. Камни, комья глины валятся на песчаный пол пещеры, и в образовавшийся пролом врывается Солдат с топором в руках. Он заслоняет собой мальчика.

С о л д а т. А ну давай сюда, кому жизнь не дорога!

Акула круто взмывает к сводам пещеры и исчезает. Квак прыгает со скалы, удирает огромными прыжками.

С о л д а т. Идем, Ваня. Я знаю теперь, как твою матушку разыскать!

Он уводит Ваню в сводчатый коридор прямо через пролом в стене. Подает ему раковину.

С о л д а т. Спроси, но только от всего сердца — где твоя матушка?

В а н я. Раковинка, раковинка — где моя матушка?

Сначала слышит мальчик то же, что любой приложивший раковину к уху: ровный непрерывный шорох. Но вот в шорох этот вплетаются слова.

— Ты нас от всего сердца спросил, а мы тебе от всего сердца ответим. Смелей иди, во все стороны гляди. Иди, иди, во все стороны гляди.

Ваня шагает, приложив раковину к уху. Солдат — за ним.

Огромная подводная пещера. Зеленоватые, полупрозрачные своды ее поддерживаются множеством витых колонн, похожих на застывшие фонтаны. На возвышении стоит трон. Огромный ковер покрывает всю стену позади него. Водяной забрался с ногами на трон. Задумался. Почесывает затылок. Мигает своими зелеными глазищами, словно старается что-то вспомнить. Вбегает Квак. Валится в ноги Водяному.

Водяной. Говори! Напугал их? Ну? Где Солдат? Где мальчишка?

Квак. Разыскали друг друга, бегут прямо к Марье-искуснице.

Водяной вскакивает.

Водяной. Бежим наперерез!

Солдат и Ваня спешат изо всех сил. А раковина торопит, торопит:

— Вперед, живей, а теперь правей, а теперь левей, живей, живей, как бы нас не обогнали!

Солдат и Ваня сворачивают в коридор. Он кончается тупиком. В тупике огромная чугунная тяжелая дверь, запертая висячим замком.

Раковина. Стой, пришли!

Солдат достает из своего дорожного мешка топор. Замахивается обухом, ручища перехватывают его руку. Водяной выступает из мглы.

Солдат *(спокойно)*. Отойди, Водовоз, ушибу!

Водяной. А зачем ты замок ломаешь? Он, чай, денег стоит!

Солдат. За дверью этой Марья-искусница.

Водяной. Не верь сплетням! Эй вы, сестрицы-сплетницы! Прочь из дворца на берег, а то растопчу!

Шорох, шум, звон. Раковина вырывается из Ваниных рук, взвивается к сводчатому потолку, улетает. А за нею — все раковины, разбросанные по песчаному полу коридора.

Водяной. Вот так-то у нас будет потише.

Он достает из складок одежды связку ключей.

Водяной. Никого за этой дверью нет. Гляди!

Он отпирает висячий замок. Дверь распахивается с печальным протяжным звоном. Ваня вбегает в подводную темницу. Пяльцы стоят посреди пещеры, но исчез Ванин портрет. Исчезла и Марья-искусница. Солдат обходит пещеру. Никого. Пропала узница. Водяной глядит на

Солдата во все глаза.

В о д я н о й. Вот задал ты мне задачу. Что мне с тобой делать? Убить разве?

С о л д а т. Только попробуй. Проведают об этом друзья мои, старые солдаты, и такое с тобой сделают, что тебе небо покажется с овчинку. А земля с горошинку.

В о д я н о й. Чего же ты от меня хочешь?

С о л д а т. Забыл?

В о д я н о й. Забыл. Так ты меня озадачил, что у меня ум за разум зашел.

С о л д а т. Должен ты показать нам всех своих слуг и служанок. Узнаем мы Марью-искусницу — наше счастье. Не узнаем — твоя взяла.

В о д я н о й. Ну, делать нечего. Будь по-вашему. Идем!

Водяной входит в свою пещеру с троном, витыми колоннами, огромным ковром позади трона. Солдат и Ваня следом. Водяной усаживается на трон. Квак вырастает перед ним, ждет приказаний.

В о д я н о й. Ну что ж, рыбки мои золотые, гости мои дорогие. Давайте слуг моих смотреть. Авось найдете, что ищете. Квак! Зови моих слуг всех по очереди, по старшинству. Да смотри никого не пропускай, а то гости обидятся!

Квак исчезает в зеленой полутьме и возвращается, сопровождаемый стариком в зеленых очках. На ногах у него богатые, обшитые жемчугом сапоги, но сшиты они так, что пальцы ног выглядывают наружу.

В о д я н о й. Вот первый мой слуга, главный казначей Алтын Алтынович! Сколько у меня, Водяного, сундуков с золотом?

Казначей считает. Орудуя пальцами рук и ног. И сообщает.

— Невесть сколько да сверх три штучки.

В о д я н о й. А посуды золотой и серебряной?

К а з н а ч е й. Огромное количество с половиной.

В о д я н о й. Видали? Мудрый старик. Все науки превзошел. Все знает. Эй, старик! Сколько будет семью восемь?

К а з н а ч е й. Много!

В о д я н о й. Правильно! Ну Солдат — этого слугу ты у меня требуешь?

С о л д а т. Оставь его себе.

В о д я н о й. Ступай, Алтын Алтынович. Нужно будет — позову. Квак! Зови следующих!

Алтын Алтынович исчезает. Появляются существа, у которых вместо пальцев рыболовные крючки, вместо носа гарпуны.

В о д я н о й. А вот мои охотнички! Все доморощенные, из оборвавшихся крючков да потерявшихся гарпунов я их вырастил. Объясните, охотнички мои цепкие, в чем ваша сила.

О х о т н и к и (*негромко, хором*). От нас никакая добыча не уйдет. У нас на каждую увертку особый крючочек найдется. Кто к нам попал — тот пропал.

В о д я н о й. Слышал? Ну Солдат? Эти ли слуги тебе нужны?

С о л д а т. Оставь их себе, Водяной.

В о д я н о й. Ступайте, охотнички. Нужно будет — позову. Квак, зови следующих!

Перед троном вырастает большой белый цветок. В пещере становится все светлее и светлее. Музыка, звон колокольчиков, журчание ручья. Цветок раскрывается. То, что казалось его лепестками, — на самом деле крошечные, с мизинец величиной, девочки в белых платьицах. Смеясь, они то склоняются низко и снова превращаются в цветок, то откидываются и оживают. Музыка делается веселей, громче, свет вспыхивает еще ярче. Девочки соскакивают на гладкий, словно стеклянный, пол пещеры, пляшут, высоко взлетая.

В о д я н о й (*умиленно*). Ну, что скажешь? Каковы мои русалки доморощенные? Я их сам своими руками вырастил из бабочек, что летом падают в воду. Играют русалочки, смеются, танцуют, домой не просятся. Им и тут славно. Видишь, непослушный мальчишка, как себя хорошие дети ведут. Играют, да и только. Да ты оглох, что ли? Тебе говорю! Ванька!

Но Ваня вскрикивает вдруг так, что Водяной подпрыгивает на своем троне, а русалочки сбиваются в беспорядочную толпу. В пещере стало светло, ясно виден теперь ковер, висящий позади трона.

В а н я. Глядите, глядите, люди добрые! Это мама ковер соткала! Вон наш домик! Вот наш садик! Люди добрые, помогите! Мама моя тут, возле. Мама, мама, где ты! Отзовись!

— Музыка, играй! — кричит Водяной.

И тотчас же [музыка] начинает играть, звенят колокольчики. Снова

заводят русалочки свой веселый танец. Ваня бросается к ним.

В а н я. Русалочки, вы ведь тоже дети — помогите! У меня мама пропала! Я рядом с вами просто великан. Вы маленькие, вы здешние, вы везде проскользнете! Помогите! Разыщите мою маму.

Русалочки удивленно пересмеиваются, не бросают своей веселой пляски.

В а н я. Девочки, да неужели вы не понимаете меня?

И тогда одна из русалочек, покрупнее других, говорит жалобно.

— Не мучай ты нас, мальчик! Мы бы и рады тебя понять-пожалеть, да не можем. Ведь мы не люди, а бабочки, что с нас возьмешь.

— Русалочки — домой! — приказывает Водяной строго.

И тотчас же русалочки покорно бегут к широкому зеленому стеблю, с которого соскочили, и, взявшись за руки, превращаются в цветок. И он исчезает, и замолкает музыка, и в пещере снова воцаряется полумрак.

В о д я н о й. Вот вам и все. Всех вы моих слуг и служанок видели. И довольно.

С о л д а т. А вот не довольно. Подавай нам мастерицу, которая тебе соткала этот ковер.

В о д я н о й. Ковер я в прошлом еще году купил на подводной ярмарке в Ледовитом океане.

В а н я. А вот и неправда! В позапрошлом году мама дома была!

С о л д а т. Довольно с нами шутить, Водяной! Ты показал нам слуг своих доморощенных. Показывай пленницу, что на тебя работает, а то худо тебе придется.

В о д я н о й. Ну, делать нечего. Будут вам вечером и пленницы.

С о л д а т. Что так нескоро?

В о д я н о й. Я пленниц возле дворца не держу. Беспокойно. Они у меня разосланы по дальним болотам, по глубоким трясинам. Пока их во дворец пригонят, вы отдохните, гости дорогие. Эй, Квак, проводи гостей.

Квак ведет гостей коридорами. Охотники с крючковатыми ручищами, раки с огромными клешнями провожают их.

С о л д а т. Это для чего же ты столько стражи пригнал?

К в а к. А квак, квак, квак же иначе! Для почету.

Все шествие останавливается у двери, такой прозрачной, словно ее нет

вовсе. Квак отпирает дверь. Вводит гостей в просторную горницу, убранную по-людски. Тут и изразцовая печь с лежанкой и стол, покрытый вышитой белой скатертью, и скамейки. Только пол песчаный. На столе пироги, горячие блины — пар идет. Кувшины с квасом.

К в а к. Отдыхайте, гости дорогие, блины кушайте, ква-ква-квас пейте.

С о л д а т. Спасибо. Блин — не клин. Брюхо не расколет. Да ты что — никак нас на ключ хочешь запереть?

К в а к. А квак же иначе? Акулы заплывут, они блины любят. Осьминог заползет — он до пирогов охотник. Обидеть могут!

И щелк, щелк, щелк — запирает Квак гостей на семь оборотов и исчезает.

Водяной сидит на кресле. Казначей и охотники почтительно стоят перед ним.

В о д я н о й. Ну, слуги мои верные, сами видите, каких гостей нам течением занесло. Страхом их не возьмешь. Думайте, думайте, как горю помочь! Говори ты, казначей Алтын Алтынович! Ты все науки превзошел!

К а з н а ч е й. По-моему, их надо озолотить.

В о д я н о й. Как так — озолотить?

К а з н а ч е й. А пустить их в нашу сокровищницу. Выбирайте, мол, что хотите! Они не удержатся. Набьют карманы жемчугами, кораллами — и готово дело. Разбогатеют — присмиреют. Это уж как дважды два — пять!

В о д я н о й. Ишь ты какой! Чай, мне жемчуга жалко!

К а з н а ч е й. И мне жалко! Я до сих пор и грошика из лап не выпустил. Забыл вычитание и деление, а знал только сложение и умножение. Однако делать нечего. Сначала дадим, а потом авось и отнимем.

В о д я н о й. Ладно, попробуем, так уж и быть. Ну а коли это не поможет? А если они разбогатеют и рассвирепеют?

К а з н а ч е й. И это случается.

В о д я н о й. А тогда что делать будем?

К а з н а ч е й. Думать надо.

В о д я н о й. Ну, думайте, думайте, только поживей. Времечко-то бежит! Думайте. Думайте!

К а з н а ч е й. Ладно, давайте. Ну охотнички, охотнички, давайте думать. Раз-два, дружно! Раз-два, взяли!

Все слуги Водяного под команду Казначея сгибаются и выпрямляются, словно волокут какую-то невидимую тяжесть. Думают, все

думают, надрываются.

Казначей. Ну, ну, охотнички, давайте, давайте, давайте! Еще разик! Еще раз. А вот пошла, пошла, пошла — придумали!

Охотники выпрямляются, утирают вспотевшие лбы.

Охотники *(хором)*. А придумали, Водяной ты наш батюшка, вот что: уж больно ты нам трудную дал задачу. Нам с нею не справиться.

Водяной. Казню!

Охотники. Не вели нас казнить, а вели слово молвить. Нам с этой задачей не справиться. Надобно тебе в подземное озеро нырнуть. К самому Карпу Зеркальному. Он все сказки знает, какие есть на земле. Седьмой раз их перечитывает старик.

Водяной. Не люблю я его. Он добрый.

Охотники. То и хорошо, что добрый, не откажет, посоветует.

Водяной. Ну, быть по-вашему. Нырну. Откройте колодец.

Охотники упираются своими носами-баграми в пол. Поднимают большую четырехугольную плиту посреди пещеры. Оттуда идет пар.

Водяной. Ох, не люблю, признаться, ключевой воды, то ли дело — мутная!

Он ходит вокруг колодца, как купальщик по речному берегу. Ежится, пожимается, похлопывает себя под мышками. И, наконец, охнув, бросается вниз головой.

В подземном озере у Карпа Зеркального светло, как на земле. Разве только отливает свет синим, словно прошел через чистую ключевую воду. Куда ни глянешь — навалены книги, да какие — с хорошего человека ростом, все в кожаных переплетах, толстые-претолстые, с бронзовыми застежками. Кованые сундуки громоздятся у стен. На узорных деревянных подставках друг против друга две книги. Между книгами замер неподвижно огромный старый карп, читает обе разом, перелистывая страницы плавниками. Левым глазом читает он веселую книгу. Смеется. А правым — печальную. Плачет. Водяной опускается плавно сверху, становится прямо против Карпа.

Водяной. Здравствуй, Карп Карпович...

Карп. Погоди, дай до точки дочитать. *(Читает одним глазом. Всхлипывает.)* Ох-ох-ох! До чего же печальная у этой сиротки судьба. Одно только утешение, что сказка эта каждый раз, сколько ее ни перечитываешь, кончается хорошо. *(Читает другим глазом.)* Ха-ха-ха!

Ай да Иванушка-дурачок. А эта сказка — каждый раз весела, сколько ни читай. Ну, на сегодня довольно. Здравствуй, Водяной!

Закрывает обе книги движением плавников.

В о д я н о й. Здравствуй, Карп Карпович, добрый мудрец, ученый старик.

К а р п. Не так уж я стар. Всего девятый век доживаю!

В о д я н о й. Все-таки не мальчик уже!

К а р п. Ну, это как сказать!

В о д я н о й. Давно я у тебя не был.

К а р п. Ну, как давно. Всего сто лет и три месяца.

В о д я н о й. Никак у тебя с тех пор книг еще прибавилось.

К а р п. А как же! Какие сказки ни приключаются на свете, сейчас же их в книжку да ко мне.

В о д я н о й. Кто же это для тебя старается?

К а р п. Сказку о рыбаке и рыбке знаешь?

В о д я н о й. Как не знать.

К а р п. Так эта рыбка — мне внучка. Она и старается. Балует деда. Ну, а теперь поговорили, вокруг покружили — правь прямо. Зачем я тебе, злодею, понадобился.

В о д я н о й. Какой же я злодей! Я за последние сто лет до того присмирел, что на мне хоть воду вози.

К а р п. Правда?

В о д я н о й. А как же! Конечно!

К а р п. Ты смотри, не обманывай меня! Я до того добрые вести люблю, что рад любой поверить.

В о д я н о й. Верь смело, Карп Карпович! Радуйся.

К а р п. Вот это сказка! Спасибо, друг, что нырнул ко мне, порадовал старика. Чем же мне за это отплатить?

В о д я н о й. Нет, нет — ничем.

К а р п. А все же?

В о д я н о й. Вот разве что советом.

К а р п. Говори, что у тебя за беда.

В о д я н о й. Приплыл ко мне из южных морей мой братец семиюродный, чудо-юдо морское.

К а р п. Слыхал о таком. Злой.

В о д я н о й. Куда уж злей. Проведал он, что я добр стал. Пришел и

кричит: "Отдавай сейчас же твою любимую служанку Марью-искусницу, пусть она на меня работает". Что тут делать? Я слезы лью, Марья-искусница — плачет. Одно только я и выторговал: привезу я ему всех своих слуг и служанок. Пусть он среди них Марью-искусницу сам разыщет. Узнает — его счастье. Не узнает — мое. Что делать?

К а р п. Сейчас подумаем, Водяной.

Он взмахивает хвостом, шевелит плавниками, и книги, лежащие в разных углах подводной пещеры, приходят в движение. Покорные своему хозяину, закрываются книги на узорных подставках, застегиваются их бронзовые застежки, и они уплывают. Новые книги взлетают на их место. Раскрываются. Новые книги все с картинками, и картинки эти живут. Вот мы видим витязя, размахивающего мечом. Змей Горыныч, извергая из ноздрей пламя, носится над ним.

В и т я з ь *(с картинки)*. Здравствуй, Карп Карпович! Гляди, как я сейчас со змеем-злодеем расправлюсь!

К а р п. И поглядел бы, да некогда. Надо Водяного из беды выручать.

Он шевелит плавниками, и страница переворачивается. На новой картинке летят гуси-лебеди, несут мальчика высоко над озером.

М а л ь ч и к. Здравствуй, Карп Карпович! Погляди, как гуси-лебеди несут меня домой!

К а р п. И поглядел бы, да некогда. Водяной, бедняга, помощи ждет.

Снова перелистываются листы книги. И вот открывается картинка: девочка — веселая, смелая, глядит прямо на Карпа Карповича.

К а р п. Гляди, Водяной, — узнаешь, кто это?

В о д я н о й. Что ты, что ты! Откуда мне ее знать.

К а р п. А в сказке говорится, что ловил отец ее рыбу. А ты сети со всем уловом к себе уволок. Рыбак плачет: "Верни мне сети". А ты: "Верну, коли отдашь мне то, чего дома не знаешь".

Д е в о ч к а   н а   к а р т и н к е. А дома как раз я родилась, Аленушка. И забрал меня Водяной на дно. И выросла я у Водяного в подводном царстве.

К а р п. Вот видишь! А говоришь — не знаю!

В о д я н о й. Ахти мне — запамятовал! Это Аленушка непослушная.

К а р п. Опять не так! Ее зовут Аленушка-золотые руки.

В о д я н о й. Ну будь по-твоему.

К а р п. Аленушка тебе поможет.

Взмахивает плавниками. Книги закрываются.

Карп. Замечал небось, человек отражается в воде, как живой.

Водяной. Тебе видней, Карп Карпович, ты у нас ученый.

Карп. Отражается, отражается, поверь мне. Аленушку-золотые руки вода любит. Пошли ее с Марьей-искусницей на берег озера. А остальное скажу тебе на ушко. А то злодеи подслушают. *(Шепчет на ухо неслышно.)*

Водяной. Вот это славно! Спасибо, Карп Карпович! Бегу!

Водяной поднимается было вверх, но останавливается на полпути. Снова спускается перед Карпом Карповичем.

Карп. Что забыл?

Водяной. Уж как мы с тобой побеседовали хорошо — подари мне что-нибудь о нашей встрече на память.

Карп. Ладно. Люблю дарить, я добрый. Чего же тебе хочется?

Водяной. Что пожалуешь.

Карп. Открой тот сундук, возле которого стоишь. Бери, что понравится.

Водяной открывает сундук. Достает из него связку ключей. Все они серебряные, а один золотой.

Водяной. Что это за ключи?

Карп. А Синей Бороды. Его жена на память мне подарила. Бери себе.

Водяной. Спасибо. Они мне ни к чему. *(Достает из сундука сапоги.)* А что это за сапоги?

Карп. А Кота в сапогах. Ему хозяин новые справил.

Водяной. А что это за прялка?

Карп. А Спящей красавицы. Укололась она об эту прялку да уснула.

Водяной. И что в этой прялке — сила еще осталась?

Карп. Конечно, вещица подержанная, но все-таки. Усыпить не усыпишь, а ошеломить человека может. Будет человек бродить, словно сонный, ничего не видя, ничего не слыша.

Водяной. Вот это мне и надо. Попробую злодеев я моих усыпить.

Карп. Попробуй. Помни только: Спящая царевна проснулась, когда ее жених поцеловал. Воин проснется, едва услышит боевую трубу. Работника — работа разбудит. А мать — коли ее сын, погибая, на

помощь позовет.

В о д я н о й. Вот спасибо, что научил. Подари мне эту прялку.

К а р п. Делать нечего — бери!

Квак стоит у колодца, ждет. Водяной с прялкой в руках мячиком вылетает из колодца.

В о д я н о й. Ха-ха-ха! До чего же я дураков люблю — это просто удивительно! Научил, надоумил, растолковал и не взял за это ни копеечки!

К в а к. Ха-ха-ха!

В о д я н о й. Нечего смеяться без толку, время терять. Бери прялку, беги к Марье-искуснице. Прикажи ей прясть. Да подтолкни под руку, чтобы укололась.

К в а к. Бегу!

В о д я н о й. Стой! А по пути пришлешь ко мне Аленушку.

К в а к. Она не послушается!

В о д я н о й. А не послушается — я с тебя голову сниму! Беги!

Квак убегает огромными прыжками.

Водяной шагает нетерпеливо среди витых колонн. Квак влетает галопом, кланяется Водяному в ноги.

В о д я н о й. Ну?

К в а к. Как сказано, так сделано.

В о д я н о й. А где Аленушка?

К в а к. Не идет.

В о д я н о й. Силком тащи!

К в а к. А с ней разве справишься?

В о д я н о й. Осьминогу прикажи!

К в а к. Прикажешь! Она его приучила.

В о д я н о й. Как приучила?

В е с е л ы й г о л о с о к. А очень просто!

Водяной вскрикивает и подпрыгивает чуть ли не до потолка.

В о д я н о й. Что это?

Аленушка выходит из-за колонн.

А л е н у ш к а. Это я тебя колючкой уколола.

В о д я н о й. Да как же это ты посмела?

А л е н у ш к а. Сердита я на тебя!

В о д я н о й. Вот я тебя сейчас запру в чулан!

А л е н у ш к а. Только попробуй. *(Зовет.)* Вась, Вась, Вась!

В о д я н о й. Кого зовешь?

А л е н у ш к а. Восьминожка моего ручного. Я ему на каждую ножку скроила по сапожку, на головушку — шапочку. Гляди! Вася, сюда бегом!

Появляется осьминог.

А л е н у ш к а. Служи!

Осьминог повинуется.

А л е н у ш к а. Вася, дай дяде лапку.

Осьминог двигается прямо на Водяного. Водяной прыгает на трон. Подбирает ноги.

В о д я н о й. Убери его! Я этих чудищ привозных не люблю.

А л е н у ш к а. То-то! Вася — на место.

В о д я н о й. Где пропадала-то?

А л е н у ш к а. Работала! Все озеро прибрала, все ручьи подмела, морским конькам привозным корму засыпала, морским котам молочка налила. Сто золотых рыбок вызолотила, а пятьсот пескарей посеребрила.

В о д я н о й. Хорошо! Хоть ты и норовиста, а работница. За то и держу тебя.

А л е н у ш к а. Держи! Сама живу до поры до времени, потому что выросла тут. Жалею вас, нерях. Вы без меня тиной зарастете. Не тряси бородой!

В о д я н о й. В своем доме я не могу уж и бородой потрясти?

А л е н у ш к а. Не можешь! Я знаю: когда ты бородой трясешь, значит, какую-то хитрость замышляешь!

В о д я н о й. Какая там хитрость! Не до того. Беда у нас. Пришел ко мне из южных морей мой братец семиюродный, чудо-юдо морское. И еще сына привел, наследника. И требует в уплату, чтобы я ему Марью-искусницу отдал.

А л е н у ш к а. Марью-искусницу? Да никогда! Да ни за что! Матушку мою приемную — и вдруг отдавать? Она меня уму-разуму учит... Без нее я тут вовсе одичаю. Да за ней скоро Иванушка, ее сын, придет.

В о д я н о й. Еще чего?

А л е н у ш к а. А я говорю, что придет. И я с нею на землю уйду.

В о д я н о й. Ай, ай, ай, видишь, как получается нескладно. Придется тебе поработать. Тогда авось мы и выручим Марью-искусницу.

А л е н у ш к а. Опять бородой трясешь?

В о д я н о й. Так это я с горя.

А л е н у ш к а. А ну покажи мне братца твоего семиюродного и его сына. Иначе не будет тебе помощи от меня.

В о д я н о й. Ладно, покажу. Идем!

Водяной с Аленушкой подходят к покоям гостей. Не доходя до прозрачной двери, Водяной осматривается.

— Погоди! — шепчет он. — Я погляжу, чего они там делают.

Водяной подкрадывается на цыпочках к двери. Заглядывает и видит: Солдат гладит Ваню по голове, хлопает по плечу, успокаивает, утешает. Водяной шепчет едва слышно:

— Помоги мне, кривда-матушка! Прямое покриви, а кривое распрями. Водяной тебя просит, друг твой верный.

И тотчас же гладкая прозрачная дверь, подчиняясь неведомой силе, приходит в движение, колеблется, покрывается волнами и вновь застывает неподвижно. Дверь прозрачна по-прежнему, но застывшие волны искажают, словно кривое зеркало, все, что мы видим за нею. Водяной зовет Аленушку.

— Иди, полюбуйся!

Она подбегает к двери. Смотрит. Солдат утешает Ваню, расспрашивает его, наклоняется к нему. Аленушка не слышит ни слова, но видит она настоящих страшилищ. И Солдат и Ваня чудовищно изменяются при каждом движении. Солдат гладит Ваню.

—Гляди, гляди, — хихикает Водяной. — Отец сына за волосы дерет.

Аленушка отходит от прозрачной двери.

А л е н у ш к а. Ну и чудища. Ты — хорош, но они еще страшней. Говори, что делать. Как будем Марью-искусницу спасать!

В о д я н о й. Замечала небось, человек отражается в воде, как живой.

А л е н у ш к а. И не только человек — все отражается.

В о д я н о й. Нам до всего дела нет. Поведи ты Марью-искусницу на берег озера. И там… Остальное на ухо скажу. А то злодеи подслушают.

Водяной шепчет Аленушке на ухо признание свое и при этом разводит руками, вертит глазищами и трясет во всю бородой.

В о д я н о й. Все поняла?

А л е н у ш к а. Все, как есть.

В о д я н о й. Беги скорей.

Аленушка убегает.

В о д я н о й. Квак, беги за ней следом, гляди, чтобы все было в порядке, а как дело будет сделано, гляди, не пускай Аленушку в мои покои. Пусть приведет она кого надо, и все тут. Ее не пускай, а то голову сниму. Беги!

Квак убегает огромными прыжками. Водяной посмеивается.

— Молода еще ты против меня, — бормочет он. — Ловко обманул девчонку. Лихо очернил гостей. Против кривды никто не устоит. Спасибо тебе, кривда-матушка.

Дверь снова делается плоской и гладкой. С милостивой улыбкой открывает Водяной замок.

В о д я н о й. Здравствуйте, осетры мои благородные! Отдохнули, детки?

С о л д а т. Отдохнули! Сил набрались. Пора бы и за работу. Веди нас к Марье-искуснице.

— Всему свое время, рыбки мои серебряные, — отвечает ласково Водяной. — Потерпите маленечко, и Марья-искусница сама к вам придет. Сердишься, Солдат?

— Сержусь, Водяной!

— Ах ты, мой конь морской, норовистый! — улыбается Водяной. — Ты сердишься, а я добр. Идем в мою сокровищницу.

Водяной, Солдат и Ваня входят в сокровищницу. Казначей низко кланяется. Сундуки с золотом и драгоценными камнями стоят бесконечными рядами, скрываются в зеленой мгле. Золотые и серебряные блюда, кувшины, чаши стоят на полках от потолка до пола.

— Видишь, Солдат, какой я великолепный Водяной! — хрипит он. — Ходи не спеша, выбирай подумавши. Все твое — чего ни пожелаешь.

Солдат не спеша идет по сокровищнице. Возьмет золотое блюдо, постучит — звон пойдет по сокровищнице. И положит на место. Возьмет горсточку драгоценных камней, перебросит с ладони на ладонь — блеск пойдет по сокровищнице. И высыпает Солдат камни обратно в ларец. Казначей удивляется.

Аленушка в темной подводной пещере. Здесь теперь спрятана Марья-искусница. Марья-искусница сидит за прялкой посреди пещеры. Глаза полузакрыты. Она и не глядит на пришедшую.

А л е н у ш к а. Матушка! Что с тобой сталось? Ты больна?

М а р ь я - и с к у с н и ц а. Как будто и не больна.

А л е н у ш к а. А ты меня слышишь?

М а р ь я - и с к у с н и ц а. И слышу, и нет. И что ни час — то темнее.

А л е н у ш к а. Квак, что вы с ней сделали?

К в а к. Это не мы! Это чудо-юдо морское околдовало ее, чтобы она стала послушней.

А л е н у ш к а. Ничего, моя родная, ничего, ничего. Мы тебя разбудим, спасем!

Она берет Марью-искусницу за руку, тащит ее к выходу. Та идет покорно. По коралловой лестнице выходят они на землю. Тропинка вьется между огромными дубами. Аленушка ведет Марью-искусницу по тропинке. Квак прыгает следом. Аленушка и Марья-искусница становятся на самом берегу. Они отражаются в спокойной воде, ясно, как в зеркале. Аленушка наклоняется над водой. Она плавно поводит руками. Тихий гул. Глухая негромкая музыка.

— На берегу Марья, — говорит Аленушка, — и в воде Марья.

И она показывает на отражение женщины в воде.

— На берегу Марья живая, а в воде Марья водяная. Вода, вода, отдай, что взяла. Оживи, Марья водяная, выйди на берег! Раз, два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Будет!

И, повинуясь заклинанию, семь раз оживают отражения, семь женщин поднимаются из пруда на берег, одна за другой. Все семеро похожи друг на друга, как семь капель воды. Они становятся возле Марьи-искусницы.

Солдат и Ваня идут по сокровищнице.

— Обижаешь, Солдат! — говорит Водяной вкрадчиво. — Ничего не берешь! Выбирай, приказывай!

Солдат вдруг останавливается. Пристально смотрит в темный угол. Там стоит простой некрашеный деревянный стол. На большом этом столе лежат гусли, полотенце и деревянный гребень. Разглядывает гусли внимательно. Потом тщательно, как хорошая хозяйка на рынке, рас-

сматривает, ощупывает полотенце. На полотенце вышит серебром косой дождик и над ним, шелком, радуга. Проверяет на свет гребень.

— Беру! — говорит он решительно.

Водяной переглядывается с Казначеем.

— Да ты что, батюшка, надсмехаешься! — кричит Казначей. — Эти вещички меньше полушки стоят! Они у меня на левом мизинце значатся, да и то на самом ноготке! Старье! Лежат тут две тысячи лет, неведомо откуда взялись! Выбросил бы, да скупость проклятая не позволяет. Возьми лучше золото!

— Эти вещички мне нужны! — отвечает Солдат. — Ведь это гусли-самогуды. Они кого хочешь развеселят. А гребень да полотенце всегда в дороге пригодятся.

И Солдат вешает гусли на пояс, а гребешок и полотенце укладывает в ранец.

С о л д а т. Идем! Ничего больше не возьму!

В о д я н о й. Экий ты, братец, несговорчивый. Ну, будь по-твоему. Идем.

Водяной торжественно входит в свою пещеру. Усаживается на трон. По знаку его входят охотники. Алтын Алтынович садится на ступеньки трона. Солдат и Ваня становятся рядышком. Раки строем вползают в пещеру. Окружают своего повелителя.

В о д я н о й *(торжественно)*. Готовьтесь, готовьтесь, гости дорогие. Эй, Квак!

Квак влетает вприпрыжку.

В о д я н о й. Приблизься!

Квак подбегает вплотную к трону.

В о д я н о й *(тихонько)*. Привел?

К в а к. Квак, квак, квак велено, так и сделано.

В о д я н о й. Ну, слушайте, гости дорогие мои! Привел Квак последних моих служанок. Смотреть их смотрите, но только молча. Они голоса человеческого невесть сколько лет не слыхали. Могут помереть. Согласны?

С о л д а т. Ладно, будь по-твоему.

В о д я н о й. Впускай.

Квак громко квакает. Двери отворяются настежь, и появляется не спеша, словно никого не видит она и ничего не слышит, — Марья-

искусница, окруженная своими отражениями. Кто из них настоящая Марья-искусница, а кто призрачная? Солдат делает шаг назад, пораженный. Водяной ухмыляется. Ваня вскрикивает было: “Мама!” — но тут же закрывает рот рукой.

В о д я н о й *(торжествующе)*. Вот то-то и есть! Глядите, глядите, пескарики мои простенькие. Глядите да руками не трогайте и не зовите! Помереть могут!

Ваня бросается к Марье-искуснице и ее спутницам. Мечется от одной к другой. Протягивает руки и отдергивает в ужасе, боясь, что нечаянным прикосновением может и в самом деле убить несчастную свою мать. Вдруг кто-то дергает Ваню за рукав. Аленушка прячется за витой колонной.

А л е н у ш к а. Ваня! Слушай меня во все уши. Иди тихо-тихо, мимо всех них. У твоей мамы дыхание теплое, а у всех остальных холодное. Так ты и узнаешь Марью-искусницу.

Ваня повинуется. Тихо-тихо идет он мимо замерших неподвижно женщин. И останавливается вдруг. И вскрикивает радостно.

— Вот моя мама!

И тотчас же остальные с легким звоном расплываются в воздухе, исчезают, как тени.

— Ура! — кричит Солдат оглушительно.

Водяной мигает своими зелеными глазищами. И вдруг разражается таким страшным ревом, что все его слуги с Кваком во главе валятся с ног.

В о д я н о й. Не пущу! Не согласен! Не позволю! Забрать Марью-искусницу — и в подводную темницу!

Аленушка бросается к трону.

А л е н у ш к а. Ты слово дал!

В о д я н о й. Я дал, я и взял. Я своему слову хозяин. Забрать.

С о л д а т. Не спеши, друг наш Водохлеб. Не сердись. Лучше попляши.

В о д я н о й. Ах ты дерзкий! И его забрать!

С о л д а т. Сказать-то легко, а кто первый с места двинется? Выходи под музыку!

Солдат поводит рукой по струнам, и Водяной, и слуги его подпрыгивают.

В о д я н о й. Что это такое?

С о л д а т. Я же тебе сказал — попляши. Вот ты и слушаешься. Снова проводит рукой по струнам рукой. Водяной и слуги его подпрыгивают еще выше.

С о л д а т. Ребята, берите Марью-искусницу за руки. И в путь. Я вас догоню.

Аленушка и Иванушка повинуются. Водяной с ревом бросается за беглецами, но Солдат заводит плясовую. Не быструю, степенную, но до того завлекательную, что Водяной останавливается посреди пещеры. С крайним удивлением глядит на свои ножищи.

В о д я н о й. Эй, ты! Нога! Правая нога — тебе говорю! Стой!

Вместо ответа правая нога, переступая с носка на каблук, лихо пускается в пляс, а за нею и левая. А гусли переходят с пляски медленной и степенной на быструю и отчаянную. Присвистнув и хлопнув ладонью по голенищам, взлетает Водяной чуть не до потолка. Лицо его при этом выражает крайнюю растерянность.

В о д я н о й. Солдат, а Солдат! Положи гусли!

С о л д а т. Будь по-твоему.

Кладет гусли на пол, а они продолжают играть сами собой.

В о д я н о й. Это еще что такое?

С о л д а т. А гусли-самогуды и без меня справятся. Играйте, гусли, не уставайте. Водяному отдохнуть не давайте, в погоню за нами не пускайте! Прощай, Водяной, счастливо оставаться!

Солдат уходит, а Водяной со всеми своими слугами пляшет, прыгает, остановиться не может.

Течение несет Солдата, Ваню, Аленушку и Марью-искусницу прямо к лестнице. Вот взбираются они по коралловым ступеням. Вот бегут, спешат по тропинке между дубами. А Водяной и слуги его пляшут, кто вместе, кто поодиночке.

В о д я н о й. Придумал я, что делать. Сейчас я эти гусли раздавлю.

Он прыгает ногами вперед, прямо на струны, но гусли, словно живые, выскальзывают из-под ног Водяного. Тогда Водяной пытается сесть на гусли всей своей тяжестью, но они тут же спасаются бегством и начинают играть еще веселее, еще неудержимее.

— Помогите! — орет Водяной. — Помогите! Пропадаю! Люди добрые! Помогите!

Каменная плита над колодцем, ведущим к Карпу Карповичу, приходит в движение. Откидывается. И старик выглядывает из колодца.

Карп Карпович. Ты чего на помощь зовешь-то?

Водяной. Помоги, голубчик! Спаси! Останови гусли-самогуды!

Карп Карпович. Остановить их не могу. Они волшебные.

Водяной. Ну меня научи, как остановиться.

Карп Карпович. Не стану. Я на тебя сердит. Ты меня вчера обманул, а я это только сегодня понял. Такую обиду простить невозможно.

Водяной. Карп Карпович! Я больше никогда не буду!

Карп Карпович. Опять, наверное, обманываешь!

Водяной. Ей право, не обманываю. Помоги. Видишь — я плачу даже, значит, раскаялся.

Карп Карпович. Ну, так уж и быть, научу я тебя, как остановиться. Заткни свои уши, да и только.

Плита закрывается, и Карп уходит в свое подземельное жилище. А Водяной и все его слуги затыкают уши. Останавливаются, задыхаясь.

Водяной. Слушайте мое приказание. Немедленно бегите в погоню за Солдатом.

Слуги Водяного стоят неподвижно.

Водяной. Я вам что говорю?

Слуги не двигаются.

Водяной. Что это они? Взбунтовались, что ли? Ох! Понял! Они меня не слышат. В погоню! В по-го-ню!

Он пытается изобразить пальцами, что, мол, надо бежать туда, за беглецами, но никто не хочет его понять. Тогда Водяной подходит к охотникам и силком отнимает их руки от ушей. И тотчас же охотники пускаются в пляс.

— Заткнуть уши! — орет Водяной.

Охотники повинуются и перестают плясать. Но зато и не слышат больше своего повелителя. Водяной ревет оглушительно, так что дрожат своды пещеры. И при этом пляшет так весело, будто он и не разгневан вовсе, а весел, как на свадьбе.

Водяной. Эй, вы! Дожди обложные, проливные и грибные! Отпускаю вас на волю!

Распахиваются двери, за которыми скрывались дожди. Вылетают облака. Блестят частые дождевые струи. И во мгле раздается свирепый

голос Водяного.

— Лейтесь, лейтесь, не уставайте, не уступайте. Пусть ручьи станут речками, речки — озерами, а озера — морями. Не выпускайте гостей моих из лесу! Оставьте им островок в три шага длины да в три — ширины. А я, наплясавшись, сам к ним приду.

Рассеивается мгла. Крошечный островок. На нем стоят, прижавшись друг к другу, Ваня, Аленушка, Солдат и Марья-искусница. Льет проливной дождь.

В а н я. Дядя Солдат! Что же делать будем! Мы до самых косточек промокли.

С о л д а т. Ну коли промокли — полотенце поможет!

Он открывает ранец. Достает полотенце, на котором серебром вышит дождь, а шелками — радуга. Взмахивает им широко. Музыка. Радуга, вышитая шелками, растет, солнышко проглядывает через струи проливного дождя, серебрит их. И вот чудо. Радуга стала над озером, что бушует вокруг островка, как море. Один конец радуги упирается в землю, у ног путников, — другой — в едва видный противоположный берег.

С о л д а т. За мной! Только держитесь зеленой полосы. Она мягкая, как весенняя трава. Не ходите на синюю — она скользкая, как лед.

Из ранца своего он добывает веревку. Дает спутникам. Ступает на крутую радугу первым. Спутники его, держась за веревку, — следом. Все выше поднимаются беглецы, все выше. Озеро бушует далеко внизу. Иванушка взглядывает вниз. Скользят его ноги по гладкой синей полосе радуги. Он вскрикивает. Вздрагивает Марья-искусница. Но Ваня повисает на веревке, и Солдат успевает подхватить его. Вот путники на самой верхушке.

С о л д а т. А теперь по синей полоске — вниз, как с горки!

Он достает из ранца кусок полотна. Стелет на синей полоске. Садится впереди. И путники весело скатываются вниз на куске полотна, как на санках, на противоположный берег.

Путники идут по степи. Дождь все не прекращается.

А л е н у ш к а. А ну-ка, постойте! Дождевые струи что-то говорят! Я их язык понимаю! Недаром прожила столько лет в водяном царстве.

Она вслушивается.

— Аленушка, Аленушка, пропала ты, Аленушка! Мы все плотины размыли. Летит на вас вода стеной! Уж так тебя водица любит, а потопит! Она своей воли не имеет!

А л е н у ш к а. Дядя Солдат, летит на нас стеной водяной вал! И никто его не остановит! Гляди — вон он!

По степи за беглецами двигается стена воды.

С о л д а т. Надо с гребнем расставаться.

Он достает из ранца гребень. Швыряет высоко вверх. Жужжа, взлетает гребень до самого неба. Но обратно не падает. Он растет, растет — и совершается чудо. Водяной вал разбивается о его подножье и, обессиленный, отступает. Тучи рассеиваются, выглядывает солнце, путники шагают по дороге.

Перед нами тот самый домик, что видели мы вышитым на ковре за троном Водяного. Пусто. Никого не видно в садике. Прихрамывая, оглядываясь, появляется у забора Квак. Свистит тихонечко. Чей-то голос отвечает ему.

— Ква-ква! Кто меня зовет?

К в а к. Это Квак, ква, ква, к вам на поклон прискакал!

Из-под дома вылезает жаба. Прыгает Кваку на плечо.

Ж а б а. Радость какая! Племянник мой родной! Да какой же ты стал большой!

К в а к. Да уж лучше бы поменьше быть. Так дела обернулись, что надо скрыться!

Ж а б а. Хромаешь никак?

К в а к. Захромаешь тут — целый месяц плясал без устали! Где Солдат?

Ж а б а. По ягоды ушел с Аленушкой.

К в а к. А Иванушка где?

Ж а б а. Дома. Сегодня его очередь пол мыть.

К в а к. А Марья-искусница где?

Ж а б а. Бродит все вокруг да оглядывается. Силится вспомнить бедняга, где она да что с ней. Сейчас по роще бродит.

К в а к. А далеко роща-то?

Ж а б а. А прыжков с тысячу.

К в а к. Вот это нам и надо. Пойду доложу!

Квак исчезает. Из дому выбегает Ваня с ведром в руках. Он откидывает крышку колодца. Наклоняется над ним. И вдруг косматая башка Водяного бесшумно вырастает над срубом. Он хватает мальчика за руки. Ваня отбивается отчаянно. Марья-искусница не спеша бредет по березовой роще. Глаза ее смотрят сонно и безучастно. И вдруг издали доносится отчаянный зов.

— Мама!

Марья-искусница вздрагивает, словно проснувшись.

— Мама! — зовет Ваня еще громче.

Марья-искусница, как ветер, мчится на зов сына. А мальчик уже изнемог в борьбе. Ноги его скользят по влажной земле.

— Мама!

И Марья-искусница бросается на помощь сыну. Она хватает Водяного за руки, Ваня — за бороду, тянут, тянут — и вот чудовище уже лежит на траве. Ваня захлопывает крышку колодца. Вбегают Солдат и Аленушка. Бросают на траву кошелки с ягодами и грибами. Окружают Водяного.

В о д я н о й. Квак, Квак, Квак — на помощь!

Квак выглядывает из-за забора. И тут же прячется.

К в а к. Ну уж нет! Довольно! Не желаю больше служить такому злодею, которого вытащили за ушко да на солнышко. Пойду обратно в лягушки.

И Квак уменьшается на наших глазах, уменьшается, пока не превращается в обыкновенную лягушку. Уползает в сторону.

В о д я н о й. Братцы! Я больше не буду! Правду говорю!

Никто не отвечает Водяному, и он делается все меньше да меньше, расплывается и исчезает, как будто его и не было.

С о л д а т. Вот и нет больше Водяного. Одно мокрое место осталось.

— Иванушка! Аленушка! — зовет Марья-искусница.

Обнимает детей.

— Иванушка! Аленушка! Вот мы и вместе!

С о л д а т. Нет такой злой напасти, которую не победила бы материнская любовь.

А л е н у ш к а. И дружба.

С о л д а т. Да не забудьте еще про мое солдатское упорство!

М а р ь я - и с к у с н и ц а . А теперь устроим мы пир на весь мир. Эх, давно я по хозяйству не работала! Соскучилась!

Г о л о с а. А мы-то как соскучились, а мы тоже, а мы-то как рады!

Звон, стук, гул. Окна распахиваются, двери открываются. Деревянный стол выбегает из дверей, ласкается к хозяйке, словно пес. За ним бегут табуретки, как щенята.

С о л д а т. Хозяйка ожила — весь дом ожил!

Скатерть вылетает из окна. Опускается на стол. Катятся по траве тарелки. Прыгают ножи, вилки.

М а р ь я - и с к у с н и ц а. Друг ты наш, Солдат. Голос у тебя звучный, зови гостей. Вот уже и печка сама затопилась. И пироги в духовку прыгают. Зови скорей.

С о л д а т. Слушаюсь!

И вот он перед нами крупным планом.

С о л д а т. Друзья, друзья, пожалуйте к нам, к нам на праздник. Как пройти? А очень просто! Шагайте все прямо, прямо, не сворачивая, прямо безо всякого страха. Бойтесь только кривых путей. Прямо да прямо — глядишь, вот вы и у нас на празднике. А пока всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, желаю радостного дня и спокойной ночи.

1956

ДОН КИХОТ

Литературный сценарий

Село в Ламанче. Летняя ночь приближается к рассвету, белые стены и черепичные крыши селения едва выступают из мрака. Два огонька медленно движутся вдоль заборов, поднимаются вверх по крутой улице. Это спешат с фонарями в руках два почтенных человека: священник, лиценциат Перо Перес, и цирюльник, мастер Николас.

Оба путника уставились в одну точку, всматриваются во что-то там наверху, в самом конце крутой улицы.

Цирюльник. Все читает и читает бедный наш идальго Алонзо Кехано.

На пригорке, замыкая улицу, возвышается небогатая усадьба с гербом над воротами, а под самой ее крышей в предрассветном мраке ярко светится четырехугольник окна.

Священник. Жжет свечи без счета, словно богатый человек. Экономка хотела было позвать к нему доктора, да не удалось ей наскрести дома и десяти реалов.

Цирюльник. Как! Ведь недавно наш идальго продал лучший свой участок. Тот, что у речки!

Священник. Все деньги поглотила его несчастная страсть: он купил два с половиной воза рыцарских романов и погрузился в них до самых пяток. Неужели и в самом деле книги могут свести человека с ума?

Цирюльник. Все зависит от состава крови. Одни, читая, предаются размышлениям. Это люди с густой кровью. Другие плачут — те, у кого кровь водянистая. А у нашего идальго кровь пламенная. Он верит любому вздорному вымыслу сочинителя, словно священному писанию. И чудится ему, будто все наши беды от того, что перевелись в Испании странствующие рыцари.

Священник. Это в наше-то время! Когда не только что они, а правнуки их давно перевелись на свете. Ведь у нас тысяча шестьсот пятый год на дворе. Шутка сказать! Тысяча шестьсот пятый!

Так, беседуя, входят друзья в распахнутые настежь ворота усадьбы, и женщина лет сорока, экономка Дон Кихота, бросается навстречу пришедшим.

Экономка. Слава тебе господи! Пожалуйста, пожалуйста, сеньор священник и сеньор цирюльник. Мы плачем тут в кухне.

Просторная кухня, она же столовая. Широкий очаг с вертелом. Полки с медной посудой. Под ними на стене висят связки лука и чеснока.

За широким темным столом плачет, уронив голову на руки, молоденькая племянница Дон Кихота.

С в я щ е н н и к. Не будем плакать, дитя мое! Бог не оставит сироту.

Ц и р ю л ь н и к. Слезы — драгоценный сок человеческого тела, который полезнее удерживать, нежели источать.

Э к о н о м к а. Ах, сеньоры, как же ей не плакать, бедной, когда ее родной дядя и единственный покровитель повредился в уме. Потому и подняла я вас на рассвете, простите меня, неучтивую.

П л е м я н н и ц а. Он читает с утра до вечера рыцарские романы. К этому мы привыкли. Он отказался от родового своего имени Алонзо Кехано и назвал себя Дон Кихот Ламанчский. Мы, послушные женщины, не перечили ему и в этом.

Э к о н о м к а. Но сегодня началось нечто непонятное и страшное.

С в я щ е н н и к. Что же именно, сеньора экономка?

И, словно в ответ, страшный грохот потрясает всю усадьбу.

Э к о н о м к а. Вот что! Вот почему послала я за вами. Пойдем поглядим, что творит мой бедный господин в своей библиотеке. Мы одни не смеем!

Наверх, во второй этаж, в сущности на чердак, ведет из кухни широкая деревянная лестница. Экономка со свечой в длинном медном подсвечнике поднимается впереди. Остальные следом на цыпочках.

Дверь библиотеки выходит в темный коридор. Щели светятся в темноте.

Экономка гасит свечу, и друзья Дон Кихота, разобрав щели по росту, принимаются подглядывать усердно.

Взорам их открывается комната с высоким покатым потолком. И вся она переполнена книгами.

Одни — высятся на столах. Другие — на стульях с высокими спинками. Иные, заботливо уложенные друг на друга, прямоугольными башнями вздымаются от пола до потолка.

На резном деревянном поместительном пюпитре укреплены две свечи — по обе стороны огромного фолианта, открытого на последних страницах.

Книгу дочитывает — и по дальнозоркости, и из почтения к читаемому — стоя владелец всех этих книжных богатств, бедный идальго Алонзо Кехано, он же славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Это человек лет пятидесяти, несмотря на крайнюю худобу — крепкого сложения, без признаков старости в повадках и выражении.

Он одет в рыцарские доспехи. Только голова обнажена. Около него на столике лежит забрало. В правой руке — меч.

Ц и р ю л ь н и к. Пресвятая богородица, помилуй нас...

С в я щ е н н и к. Откуда добыл наш бедняк рыцарские доспехи?

Э к о н о м к а. Разыскал на чердаке.

П л е м я н н и ц а. Латы у него дедушкины, шлем — прадедушкин, а меч — прапрадедушкин. Дядя показывал мне все эти древности, когда была я еще маленькой.

Худое и строгое лицо рыцаря пылает. Бородка с сильной проседью дрожит. И он не только читает, он еще и действует по страницам рыцарского романа, как музыкант играет по нотам.

И по действиям рыцаря подглядывающие легко угадывают, о чем он читает. Вот пришпорит рыцарь невидимого коня. Вот взмахнет мечом и ударяет по полу с такой силой, что взлетают щепки и грохот разносится по всему дому...

— “Одним ударом двух великанов рассек пополам рыцарь Пламенного Меча, смеясь над кознями злого волшебника Фрестона! — бормочет Дон Кихот. — И снова вскочил на коня, но вдруг увидел девушку неземной красоты. Ее волосы подобны были расплавленному золоту, а ротик ее... — Дон Кихот переворачивает страницу, — изрыгал непристойные ругательства”.

Дон Кихот замирает, ошеломленный.

— Какие ругательства? Почему? Это козни Фрестона, что ли? *(Вглядывается.)* О я глупец! Я перевернул лишнюю страницу! *(Перелистывает страницу обратно.)* “...А ротик ее подобен был лепестку розы. И красавица плакала горько, словно дитя, потерявшее родителей”.

Рыцарь всхлипывает, вытирает слезы и снова погружается в чтение всем существом. Губы его шевелятся беззвучно. Глаза горят. Вот он взмахивает мечом и рассекает пополам книжную башню, что вздымалась над самой его головой. Книжная лавина обрушивается прямо на

рыцаря. Пюпитр опрокинут, свечи погасли. Прямоугольник большого окна явственно выступает во мраке комнаты.

Рассветает.

Дон Кихот стоит несколько мгновений неподвижно, почесывая ушибленную голову.

Но вот он восклицает:

— Нет, проклятый Фрестон! Не остановят меня гнусные твои проделки, злейший из волшебников. Ты обрушился на книги. Простак! Подвиги самоотверженных рыцарей давно перешли из книг в мое сердце. Вперед, вперед, ни шагу назад!

Рыцарь снимает латы, накидывает на плечи плащ, надевает широкополую шляпу, хватает со стола шлем и забрало и шагает через подоконник. Останавливается на карнизе, озирается из-под руки.

Ц и р ю л ь н и к. А почему избрал он столь опасный путь?

П л е м я н н и ц а. По доброте душевной, чтобы не разбудить нас, бедных...

Двор усадьбы Дон Кихота.

Рыцарь стоит на карнизе, оглядывает далекие окрестности, степь за поселком, еще пустынную большую дорогу, исчезающую в далеком лесу.

И прыгает во двор, легко, как мальчик.

Он шагает, задумавшись глубоко, ничего не видя, и налетает грудью на туго натянутую веревку с развешанным бельем. Толчок заставляет его отшатнуться.

Он хватается за меч.

В рассветных сумерках перед ним белеет нечто высокое, колеблющееся, легкое, похожее на привидение. Сходство усиливается тем, что глядят на рыцаря два разноцветных глаза. Рот ухмыляется нагло.

Д о н К и х о т. Это снова ты, Фрестон?

Рыцарь взмахивает мечом, но в последнее мгновение задерживает удар.

Собственное белье рыцаря развешано на веревке. Сеньора экономка наложила заплаты на самые разные части его исподнего. Не привидение, а ночная рубаха Дон Кихота глядит на него своими заплатами.

Д о н К и х о т. Грубая проделка, Фрестон. Но даже хитростью не заставишь ты меня преклониться перед тобой.

Дон Кихот поворачивает меч плашмя, прижимает веревку и, сделав неслыханно широкий шаг, перебирается через нее.

Рыцарь шагает по улицам селения.

Перед бедным крестьянским домиком с покосившимся забором он вдруг останавливается и снимает почтительно свою широкополую шляпу.

Свинопас гонит по улице стадо свиней, дудит в свой рожок.

Дон Кихот. Я слышу, слышу звуки труб! Сейчас опустят подъем-ный мост. И Дульсинея Тобосская выйдет на балкон.

Рыцарь бросается вперед, спотыкается о рослую и тощую свинью. Падает в самую середину стада. Свиньи с визгом и хрюканьем в страхе несутся вперед, топча рыцаря копытцами.

Рыцарь поднимается в облаке пыли. Отряхивается. Расправляет плащ. И принимает свойственный ему строгий, даже меланхолический вид.

Из коровника крестьянского двора раздается сердитый окрик:

— Куда ты провалилась, проклятая девка!

Дон Кихот вздрагивает.

Крик:

— Альдонса!

Дон Кихот подходит к самому забору.

Через двор к коровнику пробегает молоденькая, сонная, миловидная девушка.

Рыцарь, увидев Альдонсу, вспыхивает, как мальчик. Прижимает руки к сердцу и роняет их, словно обессилев.

— О, дама моего сердца! — шепчет он едва слышно вслед Альдонсе. — Рыцарская любовь сжигает в своем огне чувства низменные и свинские и направляет силы к подвигам. О, Дульсинея!

Дульсинея Тобосская, она же Альдонса Лоренса, выбегает из коровника и замечает рыцаря. Приседает почтительно.

Альдонса. Сеньор Кехано! Как рано вы поднялись, словно простой мужик. Ох, что я говорю, простите мою дерзость. Я хотела сказать — как птичка божья!

Вопль. Альдонса, проклятая девка, где же соль? Скорее!

Альдонса. У нас такая радость, сеньор, корова принесла двух телят разом! И оба такие здоровенькие, только худенькие, как ваша милость. Ох, простите меня, необразованную. Я плету от радости сама не знаю что.

В о п л ь. Альдонса!

А л ь д о н с а. И отец с ума сходит от радости — слышите, как ревет?

В о п л ь. Альдонса! Убью тебя, окаянную девку!

А л ь д о н с а. Бегу, бегу! До свидания, сеньор!

Исчезает.

Д о н К и х о т. До свидания, о Дульсинея Тобосская, благороднейшая из благородных. Ты сама не знаешь, как ты прекрасна и как несчастна. С утра до ночи надрываешься ты — так сделал Фрестон, и никто не благодарит тебя за труд. Нет. Только бранят да учат... О, проклятый волшебник! Клянусь — не вложу я меча в ножны, пока не сниму чары с тебя, о любовь моя единственная, дама моего сердца, Дульсинея Тобосская!

Санчо Панса — здоровенный, веселый, краснолицый крестьянин лет сорока — работает, стучит молотком, приклепывает старательно забрало к рыцарскому шлему. Дон Кихот восседает возле на скамейке, выне-сенной для него из дома Санчо. У ног рыцаря развалился кудлатый щенок и жмурится от наслаждения — рыцарь почесывает ему бок кончиком своего меча.

Д о н К и х о т. Более упрямого человека, чем ты, не найти в целой Ламанче. Я приказываю тебе — отвечай!

С а н ч о. Очень хочется, сеньор, ответить — да. Так хочется, что просто еле удерживаюсь. Скажите мне несколько слов на рыцарском языке — и я соглашусь, пожалуй.

Д о н К и х о т. Слушай же, что напишут о нас с тобой, если завтра на рассвете выберемся мы из села на поиски подвигов и приключений *(торжественно)*: “Едва светлокудрый Феб уронил на лицо посветлевшей земли золотую паутину своих великолепных волос, едва птички согласно запели в лесах, приветствуя румяную богиню Аврору...”

С а н ч о. О, чтоб я околел, до чего красиво!

Д о н К и х о т. “Едва, повторяю, совершилось все это в небесах и лесах, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский вскочил на славного своего коня, по имени Росинант, и, сопровождаемый верным и доблестным оруженосцем, по имени Санчо Панса...”

С а н ч о *(сквозь слезы)*. Как похоже, как верно...

Д о н К и х о т. "...помчался по просторам Ламанчи злодеям на устрашение, страждущим на утешение".

С а н ч о *(всхлипывая)*. Придется, как видно, ехать. А вот и шлем готов, сеньор. Примеряйте!

Дон Кихот внимательно разглядывает шлем с приделанным к нему забралом. Возвращает его Санчо.

Д о н К и х о т. Надень!

С а н ч о *(надев шлем и опустив забрало)*. Очень славно! Я словно птичка в клетке, только зернышек не хватает.

Д о н К и х о т. Сядь на пенек.

С а н ч о. Сел.

Рыцарь заносит меч над головой оруженосца, но тот легко, словно мячик, отлетает в сторону. Снимает шлем торопливо.

С а н ч о. Э, нет, сеньор! Я не раз ходил с вами на охоту, знаю, какая у вас тяжелая рука.

Д о н К и х о т. Надень шлем.

С а н ч о. Хорошо, сеньор. Я надену. Только потом. Для начала испробуем шлем без моей головы. Побереглась корова — и век жила здорова.

Д о н К и х о т. Чудак! В книге о подвигах рыцаря Амадиса Галльского нашел я состав волшебного зелья, делающего доспехи непробиваемыми. И сварил его. И втер в шлем целую бутыль. Ты что ж, не веришь рыцарским романам?

С а н ч о. Как можно не верить, а только для начала положим шлем сюда, на дубовую скамейку. А теперь, сеньор, с богом!

Дон Кихот примеривается и наносит по шлему сокрушительный удар.

Санчо охает, схватившись за голову.

Меч рыцаря раскалывает шлем, словно орех, и надвое разбивает толстую дубовую скамейку.

С а н ч о. Сеньор! Вы не обижайтесь, а только я не поеду. Подумать надо, не обижайтесь, сеньор. Баба к тому же не отпускает, баба и море переспорит, от бабы и святой не открестится, бабы сам папа боится, от бабы и солнце садится.

Д о н К и х о т. Санчо!

С а н ч о. К тому же неизвестно, какое вы мне положите жалованье.

Д о н К и х о т. Есть о чем говорить! Я назначу тебя губернатором первого же острова, который завоюю. И месяца не пройдет, как будешь ты на своем острове управлять и издавать законы...

С а н ч о. Вот этого мне давно хочется.

Д о н К и х о т. И ездить в карете, и есть и пить на золоте.

С а н ч о. Есть и пить мне тоже хочется. Эх! Была не была! Когда ехать, сеньор?

Д о н К и х о т. Завтра на рассвете!

С а н ч о. Будь по-вашему, едем!

Рассветает.

Дон Кихот, в полном рыцарском вооружении, но с обнаженной головой, верхом на очень тощем и высоком коне, выезжает с проселочной дороги на большую — широкую-широкую, прорезанную глубокими колеями.

Санчо на маленьком сером ослике следует за ним.

Выехав на большую дорогу, Дон Кихот внимательно, строго, по-охотничьи оглядывается из-под руки.

Ищет подвигов.

И, ничего не обнаружив, пришпоривает Росинанта.

Д о н К и х о т. Скорее, скорее! Промедление наше наносит ущерб всему человеческому роду.

И с этими словами вылетает он из седла через голову Росинанта, ибо тот попадает передними ногами в глубокую рытвину.

Прежде чем Санчо успевает прийти на помощь своему повелителю, тот — уже в седле и несется вперед по дороге как ни в чем не бывало.

С а н ч о. Проклятая рытвина!

Д о н К и х о т. Нет, Санчо, виновата здесь не рытвина.

С а н ч о. Что вы, сударь, уж мне ли не знать! Сколько колес в ночную пору переломала она мне, злодейка. Не я один — все наше село проклинает эту окаянную колдобину. Сосед говорит мне: “Санчо, закопал бы ты ее, проклятущую”. А я ему: “С какой стати я — сам зарой”. А он мне: “А я с какой стати?” А тут я ему: “А с какой стати я?” А он мне: “А я с какой стати?!” А я ему: “А с какой стати я?” А он мне: “А я с какой стати!”

Д о н К и х о т. Довольно, оруженосец!

С а н ч о. Ваша милость, да я и сотой доли еще не рассказал. Я

соседу разумно, справедливо отвечаю: “С какой же стати я!” А он мне глупо, дерзко: “А я с какой стати!”

Д о н К и х о т. Пойми ты, что рытвина эта вырыта когтями волшебника по имени Фрестон. Мы с ним встретимся еще много раз, но никогда не отступлю я и не дрогну. Вперед, вперед, ни шагу назад!

И всадники скрываются в клубах пыли.

Высокий и густой лес стал по обочинам дороги.

Дон Кихот придерживает коня.

— Слышишь?

С а н ч о. А как же! Листья шелестят. Радуется лес хорошей погодке. О господи!

Из лесу доносится жалобный вопль:

— Ой, хозяин, простите! Ой, хозяин, отпустите! Клянусь страстями господними, я больше не буду!

Д о н К и х о т. Слышишь, Санчо!

С а н ч о. Слышу, сеньор! Прибавим ходу, а то еще в свидетели попадем!

Д о н К и х о т. За мной, нечестивец! Там плачут!

И рыцарь поворачивает Росинанта прямо через кусты в лесную чащу.

На поляне в лесу к дереву привязана кобыла. Она спокойно и бесстрастно щиплет траву. А возле к дубку прикручен веревками мальчик лет тринадцати.

Дюжий крестьянин нещадно хлещет его ременным поясом. И приговаривает:

— Зверь! Разбойник! Убийца! Отныне имя тебе не Андрес, а бешеный волк. Где моя овца? Кто мне заплатит за нее, людоед! Отвечай, изувер!

И вдруг — словно гром ударил с ясного неба. Свист, топот, крик, грохот. И пастушок, и хозяин замирают в ужасе.

Росинант влетает на поляну.

Копье повисает над самой головой дюжего крестьянина.

Д о н К и х о т. Недостойный рыцарь! Садитесь на своего коня и защищайтесь!

И тотчас же из кустов высовывается голова Санчо Пансы. Шапка его разбойничьи надвинута на самые брови. Он свистит, и топает, и гикает, и вопит:

— Педро, заходи справа! Антонио, лупи сзади! Ножи — вон! Топоры — тоже вон! Всё — вон!

— Ваша милость! — кричит испуганный крестьянин. — Я ничего худого не делаю! Я тут хозяйством занимаюсь — учу своего работника!

Дон Кихот. Освободите ребенка!

Крестьянин. Где ребенок? Что вы, ваша милость! Это вовсе не ребенок, а пастух!

Дон Кихот взмахивает копьем.

Крестьянин. Понимаю, ваша милость. Освобождаю, ваша милость. Иди, Андрес, иди. *(Распутывает узлы.)* Ступай, голубчик. Ты свободен, сеньор Андрес.

Санчо *(грозно)*. А жалованье?!

Крестьянин. Какое жалованье, ваша милость?

Санчо. Знаю я вашего брата. Пастушок, за сколько месяцев тебе не плачено?

Андрес. За девять, сударь. По семь реалов за каждый. Многие говорят, что это будет целых шестьдесят три реала!

Крестьянин. Врут.

Дон Кихот *(замахивается)*. Я проткну тебя копьем. Плати немедленно!

Крестьянин. Они дома, сеньор рыцарь! Денежки-то. Разве можно в наше время выходить из дому с деньгами? Как раз ограбят. А дома я сразу расплачусь с моим дорогим Андресом. Идем, мой ангелочек.

Дон Кихот. Клянись, что расплатишься ты с ним!

Крестьянин. Клянусь!

Дон Кихот. Покрепче!

Крестьянин. Клянусь всеми святыми, что я рассчитаюсь с моим дорогим Андресом. Пусть я провалюсь в самый ад, если он хоть слово скажет после этого против меня. Клянусь раем господним — останется он доволен.

Дон Кихот. Хорошо. Иди, мальчик. Он заплатит тебе.

Андрес. Ваша честь, я не знаю, кто вы такой. Может быть, святой, хотя святые, кажется, не ездят верхом. Но раз уж вы заступились за меня, то не оставляйте. А то хозяин сдерет с меня кожу, как с великомученика. Я боюсь остаться тут. А бежать с вами — шестьдесят три реала пропадут. Такие деньги! Не уезжайте!

Д о н К и х о т. Встань, сынок! Твой хозяин поклялся всеми святыми, что не обидит тебя. Не станет же он губить бессмертную свою душу из-за гроша!

С а н ч о. Ну, это как сказать.

А н д р е с. Не уезжайте!

Д о н К и х о т. Беда в том, друг Андрес, что не единственный ты горемыка на земле. Меня ждут тысячи несчастных.

А н д р е с. Ну и на том спасибо вам, сеньор. Сколько живу на свете, еще никто за меня не заступался.

Он целует сапог рыцаря.

Дон Кихот вспыхивает, гладит Андреса по голове и пришпоривает коня.

Снова рыцарь и оруженосец едут по большой дороге.

С а н ч о. Конечно, жалко пастушонка. Однако это подвиг не на мой вкус. Чужое хозяйство святее монастыря. А мы в него со своим уставом. Когда буду я губернатором...

Д о н К и х о т. Замолчи, простофиля. Мальчик поблагодарил меня. Значит, не успел отуманить Фрестон детские души ядом неблагодарности. Благодарность мальчика будет утешать меня в самые черные дни наших скитаний! Довольно болтать, прибавь шагу! Наше промедление наносит ущерб всему человеческому роду.

Ущелье среди высоких скал, крутых, как башни. Черные зубчатые тени их перерезают дорогу. Дон Кихот и Санчо Панса едут между скалами.

Дон Кихот останавливает коня.

С а н ч о. Что вы увидели, сеньор?

Д о н К и х о т. Приготовься, Санчо. Мы заехали в местность, где уж непременно должны водиться драконы. Почуяв рыцаря, хоть один да выползет. И я прикончу его.

Санчо останавливает ослика, озирается в страхе.

С а н ч о. Драконы, гадость какая. Я ужей и то не терплю, а тут — здравствуйте! — вон какой гад. Может, не встретим?

Д о н К и х о т. Есть такие нечестивцы, что утверждают, будто бедствуют люди по собственному неразумию и злобе, а никаких злых волшебников и драконов и нет на свете.

С а н ч о. А, вруны какие!

Дон Кихот. А я верю, что виноваты в наших горестях и бедах драконы, злые волшебники, неслыханные злодеи и беззаконники, которых сразу можно обнаружить и наказать. Слышишь?

Слышится жалобный, длительный скрип, и вой, и визг.

Санчо глядит в ужасе на Дон Кихота, а тот на Санчо. И вдруг испуганное, побледневшее лицо оруженосца начинает краснеть, принимает обычный багрово-красный цвет и расплывается в улыбке.

Дон Кихот. Чего смеешься? Это дракон, это он!

Санчо. Ваша честь, да это колеса скрипят!

Дон Кихот бросает на своего оруженосца уничтожающий взгляд. Заставляет коня подняться на некрутой холмик у подножия скалистой гряды.

Санчо следует за ним.

И рыцарь видит, что и в самом деле карета показалась вдали. Колеса пронзительно визжат на повороте. Пять всадников окружают ее. Перед каретою едут на высоких мулах два бенедиктинских монаха, в дорожных очках, под зонтиками. Два погонщика шагают возле упряжных коней пешком.

В окне кареты женщина, красота которой заметна даже издали.

Дон Кихот. Видишь огромных, черных волшебников впереди?

Санчо. Сеньор, сеньор, святая наша мать инквизиция строго взыскивает за новые ругательства! Бенедиктинских монахов дразнят пьяницами, к этому уже притерпелись, а волшебниками — никогда! Не выдумывайте, ваша милость, нельзя. Это — монахи!

Дон Кихот. Откуда тут взяться монахам?

Санчо. Примазались к чужой карете. С охраной-то в дороге уютней.

Дон Кихот пришпоривает Росинанта и мчится навстречу путникам. Санчо следит за дальнейшими событиями, оставаясь на холме. Рыцарь осаживает коня у самого окошечка, из которого глядит на него с небрежной улыбкой красавица.

Дон Кихот. О прекрасная дама! Признайтесь Дон Кихоту Ламанчскому, не боясь своей стражи: вы пленница?

Дама. Увы, да, храбрый рыцарь.

Опустив копье, налетает Дон Кихот на бенедиктинцев. Один из них валится с мула на каменистую дорогу. Другой поворачивает и скачет туда, откуда приехал.

Слуги знатной дамы бросаются было на рыцаря, но он в отчаянном боевом пылу разгоняет врагов, прежде чем они успевают опомниться.

Дама улыбается, устроившись поудобнее, как в театральной ложе.

Один из слуг оказывается упрямее остальных. Он вытаскивает из противоположного окна кареты подушку и мчится прямо на рыцаря, защищаясь подушкой, как щитом.

Ошибка.

Дон Кихот могучим ударом распарывает сафьяновую наволочку.

Перья облаком взлетают в воздух, а упрямый слуга прекрасной путешественницы валится с седла.

Дон Кихот соскакивает на дорогу. Приставляет меч к горлу поверженного врага.

Д о н К и х о т. Сдавайся!

Рыцарь поднимает меч, чтобы поразить своего упрямого противника насмерть, но мягкий, негромкий женский голос останавливает его:

— Рыцарь, пощадите беднягу.

Рыцарь оглядывается. Дама, улыбаясь, глядит на него из окна кареты.

Д о н К и х о т. Ваше желание для меня закон, о прекрасная дама! Встань!

Слуга поднимается угрюмо, отряхивается от перьев, которые покрыли его с ног до головы.

Д о н К и х о т. Дарую тебе жизнь, злодей, но при одном условии: ты отправишься к несравненной и прекраснейшей Дульсинее Тобосской и, преклонив колени, доложишь ей, даме моего сердца, о подвиге, который я совершил в ее честь.

Д а м а. А это далеко?

Д о н К и х о т. Мой оруженосец укажет ему дорогу, прекраснейшая дама.

Д а м а. Великодушно ли, рыцарь, отнимать у меня самого надежного из моих слуг?

Д о н К и х о т. Сударыня! Это ваш слуга? Но вы сказали мне, что вы пленница!

Д а м а. Да, я была в плену у дорожной скуки, но вы освободили меня. Я придумала, как нам поступить. Дамой вашего сердца буду я. Тогда слугу никуда не придется посылать, ибо подвиг был совершен на моих

глазах. Ну? Соглашайтесь же! Неужели я недостойна любви! Посмотрите на меня внимательно! Ну же!.

Дон Кихот. Сеньора, я смотрю.

Дама. И я не нравлюсь вам?

Дон Кихот. Не искушайте бедного рыцаря. Пожалуйста. Нельзя мне. Я верен. Таков закон. Дама моего сердца — Дульсинея Тобосская.

Дама. Мы ей не скажем.

Дон Кихот. Нельзя. Клянусь — нельзя.

Дама. Мы тихонько.

Дон Кихот. Нельзя.

Дама. Никто не узнает!

Дон Кихот. Нельзя. Правда. Ваши глаза проникают мне в самую душу! Отвернитесь, сударыня, не мучайте человека.

Дама. Сойдите с коня и садитесь ко мне в карету, и там мы все обсудим. Я только что проводила мужа в Мексику, мне так хочется поговорить с кем-нибудь о любви. Ну? Ну же... Я жду!

Дон Кихот. Хорошо. Сейчас. Нет. Ни за что.

Дама. Альтисидора — красивое имя?

Дон Кихот. Да, сударыня.

Дама. Так зовут меня. Отныне дама вашего сердца — Альтисидора.

Дон Кихот. Нельзя! Нет! Ни за что! Прощайте!

Рыцарь салютует даме копьем, поворачивает Росинанта и останавливается пораженный.

Дама разражается хохотом. И не она одна — хохочут все ее слуги.

Дон Кихот пришпоривает Росинанта и мчится прочь во весь опор, опустив голову. Ветер сдувает с него перья. Громкий хохот преследует его.

Дама *(слуге)*. Разузнайте у его оруженосца, где он живет. За такого великолепного шута герцог будет благодарен мне всю жизнь.

Вечереет.

Кончилась скалистая гряда вокруг дороги. Теперь рыцарь и его оруженосец двигаются среди возделанных полей. За оливковыми деревьями белеют невдалеке дома большого селения. За селением — высокий лес.

Санчо снова едет возле своего повелителя. Поглядывает на него озабоченно.

Д о н К и х о т *(печально и задумчиво)*. Думаю, думаю и никак не могу понять, что смешного нашла она в моих словах.

С а н ч о. И я не понимаю, ваша милость. Я сам, ваша милость, верный и ничего в этом не вижу смешного. Жена приучила. Каждый раз подымала такой крик, будто я всех этих смазливых девчонок не целовал, а убивал. А теперь вижу — ее правда. Все девчонки на один лад. Вино — вот оно действительно бывает разное. И каждое утешает по-своему. И не отнимает силы, а укрепляет человека. Баранина тоже. Тушеная. С перцем. А любовь?.. Ну ее, чего там! Я так полагаю, что нет ее на белом свете. Одни выдумки.

Рыцарь и оруженосец в глубокой задумчивости следуют дальше, пока не исчезают в вечерних сумерках.

В просторной кухне усадьбы Дон Кихота за большим столом собрались его друзья и близкие.

Поздний вечер.

Дождь стучит в окна. Ветер воет в трубе. Экономка перебирает фасоль в небольшой глиняной чашке. Племянница вышивает у свечки. Священник и цирюльник пристроились поближе к очагу.

П л е м я н н и ц а. Бедный дядя! Как давно-давно уехал он из дома. Что-то он делает в такую страшную непогоду?

Э к о н о м к а. Безумствует — что же еще! У всех хозяева как хозяева, а мой прославился на всю Испанию. Что ни день — то новые вести о нем!

Стук в дверь.

Э к о н о м к а. Ну вот опять! Войдите!

Вбегает Альдонса.

Э к о н о м к а. Слава богу, это всего только Альдонса. Что тебе, девушка? Ты принесла нам цыплят?

А л ь д о н с а. Нет, ваша милость, принесла удивительные новости о нашем сеньоре!

Э к о н о м к а. Что я говорила! Какие? Он ранен? Болен? Умирает?

А л ь д о н с а. Что вы, сеньора! Новости гораздо более удивительные. Он влюбился!

П л е м я н н и ц а. Пресвятая богородица!

А л ь д о н с а. Вот и я так сказала, когда услышала. Слово в слово.

Влюбился наш сеньор в знатную даму, по имени Дульсинея Тобосская. Отец мой родом из Тобосо и говорит, что в детстве видел такую.

Экономка. Значит, она старуха!

Альдонса. А мы так порешили, что это ее дочь или даже внучка, потому что уж больно сильно влюбился наш сеньор. Колотит людей в ее честь, не разбирая ни титула, ни звания. И вздыхает целыми ночами. И слагает ей песни. И говорит о ней ласково, как о ребенке или птичке. Я даже позавидовала.

Экономка. Чему?

Альдонса. Меня никто небось так не полюбит.

Племянница. А Педро?

Альдонса. Он только тискает да щиплется. Счастливая Дульсинея Тобосская!

Стук в дверь.

Экономка. Ну вот опять! Войдите!

Дверь распахивается, и в комнату входит человек в промокшем насквозь плаще. Глаза и нос красны, не то от непогоды, не то от природы. Длинные усы свисают уныло. Впрочем, едва войдя в комнату, он подкручивает их воинственно.

Неизвестный. Здесь ли проживает идальго Алонзо Кехано, именующий себя Дон Кихот Ламанчский?

Экономка. Здесь, ваша милость.

Неизвестный. Он дома?

Экономка. Нет.

Неизвестный. Жаль, ах как жаль. Жаль от всего сердца. Будь он дома — я бы его арестовал.

Племянница вскрикивает. Альдонса забивается в угол.

Цирюльник и священник встают.

Неизвестный. Обидно. Ну да ничего не поделаешь, другим разиком. Не найдется ли у вас стакан вина?

Экономка. Как не найтись! Снимите плащ, сеньор. Садитесь, пожалуйста! Вот сюда, к огню.

Священник. Вы из братства Санта Эрмандад?

Неизвестный. Да, я стрелок славного старого Толедского братства Санта Эрмандад. Вот уже много лет боремся мы с преступле-

ниями, а они, как нарочно, благодарю вас, все растут в числе. Прекрасное вино.

Экономка. Что же натворил наш идальго?

Стрелок. Сразу не перечислишь. Напал, например, на цирюльника.

Цирюльник. Какой ужас!

Стрелок. И отобрал у него медный бритвенный тазик ценой в семь реалов.

Священник. Зачем?

Стрелок. Заявил, что это золотой волшебный шлем, да и носит его на голове.

Цирюльник. Какой ужас!

Стрелок. Ну ограничься он этим — ладно. Так нет. По случаю засухи крестьяне одной деревни — люди разумные, почтенные — решили собраться на предмет самобичевания. Благодарю вас. Прекрасное вино. О чем я? Ах, да. Подняли они, стало быть, статую мадонны. Бичуют себя по-честному, не жалея плеток, вопят о грехах своих. Все чинно, разумно. Вдруг — раз. Ого-го-го! Топ-топ, скачет верхом наш сеньор-безумец. О-о-о! У-уй-уй! И разогнал бичующихся. Принял, нечестивец, мадонну за некую пленную или там похищенную.

Священник. Какой ужас!

Стрелок. Ужас, такой ужас, что, если бы не ваше вино, у меня, человека привычного, и то встали бы волосы дыбом. Напал на стадо баранов, крича, что это войско каких-то злых волшебников, и пастухи избили вашего сеньора чуть не до полусмерти. Да не плачьте, барышня! Ваш папаша — такой здоровяк, что встал после этого, да и пошел.

Племянница. Он не отец мой, а дядя.

Стрелок. Тем более не стоит плакать. Конечно, мы понимаем, что он не в себе. Однако есть сумасшедшие в свою пользу, а ваш сеньор безумствует себе во вред. А может, достаточно? Впрочем, наливайте. Чего вы кладете мне в сумочку? Пирог да кошелек А зачем? Ну, впрочем, воля ваша. С дамами не спорю, ха-ха-ха! Беда в том, что он сумасшествует как-то... как-то этак... Жалуются многие! У меня к вам такой совет. Заманите вы его домой, как птичку в клетку. Похитрей. Тут, мол, угнетенные завелись. Цып-цып, на помощь. А как он войдет, раз — и на замок.

Священник. Вы правы, добрый человек. Так мы и сделаем.

Стрелок. Да, я прав. Простой стрелок — а всегда прав. Благодарю вас. Сеньора племянница и вы, сеньора, глядите веселее. Я ваш слуга. В среду на будущей неделе будут одну еретичку душить железным ошейником. Милости просим. Только скажите: Алонзо — и вам местечко на балконе над самой виселицей. Пожалуйста! А в субботу жечь будем ведьму. Милости просим, пожалуйста, в самый первый ряд, сразу за стражей. А сеньора Дон Кихота цып-цып-цып — и в клеточку. И все будет славненько, и все будут довольны.

Уходит.

Священник в волнении вскакивает с места:

— Нельзя терять ни минуты времени. Добрый человек дал прекрасный совет.

Цирюльник. Научно говоря, следует начать с уничтожения книг.

Дверь в библиотеку Дон Кихота снята с петель. Священник и цирюльник в фартуках работают прилежно, закладывают ход в библиотеку кирпичами, замазывают известью.

Экономка пристроилась возле. Шьет.

Племянница сидит на скамеечке, держит в руках маленькую книжечку в кожаном переплете. Глядя в нее, спрашивает, как учительница ученика, то священника, то цирюльника.

Племянница. Проверим теперь с самого начала. Вот встречаете вы дядю на дороге. И тогда...

Священник. Тогда я надеваю маску, а мастер Николас — бороду. Он становится на колени, а я стою возле и низко кланяюсь.

Племянница. Так. И вы говорите...

Цирюльник *(торжественно)*. О Дон Кихот Ламанчский! Помогите самой безутешной и обездоленной принцессе на свете. *(Естественным голосом.)* Ну вот, слава богу, последние кирпичи положены — и замурована окаянная библиотека!

Священник. Когда известь высохнет, никто не найдет, где тут была дверь! Теперь только бы нам разыскать поскорее сеньора и вернуть его домой. А уж из дома мы его не выпустим.

Экономка. Да он и сам не уйдет, раз эти ядовитые книги запрятаны словно в склепе. Теперь я вижу, сеньор священник и сеньор цирюльник, что

вы настоящие друзья. Если вам удастся заманить бедного идальго в клетку, то я буду считать вас просто святыми людьми!

Раннее утро.

Дон Кихот и Санчо Панса едут по большой дороге.

Рыцарь оглядывается, привстав на стременах.

Ищет подвигов.

А Санчо занят совсем другим делом. Он считает что-то про себя на пальцах, шевеля губами, наморщив лоб, подымая глаза к небу. На повороте дороги оглядывается Дон Кихот на своего спутника и замечает его старания:

— Что ты там бормочешь?

— Я считаю, сколько мы с вами в пути, сеньор.

— Ну и сколько выходит?

— Если по колотушкам считать, да по синякам, да по ушибам, да по всяким злоключениям, то двадцать лет, никак не менее.

— Рыцари не считают ран!

— А если считать по-христиански, от воскресенья до воскресенья, то все равно получится достаточно долго. Где же, сеньор, простите меня, дерзкого, тот остров, где я стану губернатором? Все деремся мы да сражаемся, а награды и не видать.

— Чем я виноват, что искалечил Фрестон души человеческие и омрачил их разум куда страшнее, чем полагал я, сидя дома...

Рыцарь вздрагивает и обрывает свою речь.

Берет копье наперевес.

Поправляет бритвенный тазик на своих седых волосах.

Звон цепей раздается впереди на дороге.

Из-за холма выходят люди числом около дюжины, нанизанные, словно четки, на длинную железную цепь. Конвойные сопровождают скованных — двое верховых с мушкетами и двое пеших со шпагами и пиками.

Дон Кихот ставит коня поперек дороги, загораживая путь всему шествию.

Д о н К и х о т. Кто эти несчастные?

К о н в о й н ы й. Это каторжники, принадлежащие его величеству королю. Ведем мы их на галеры.

Д о н К и х о т. За что?

К о н в о й н ы й. Расспросите их сами, пока мы напоим коней. Для этих господчиков главное удовольствие — распространяться о своих мерзостях.

Конвойные направляют своих коней к каменной колоде, вделанной в землю невдалеке от обочины дороги.

Каторжники весело рассматривают Дон Кихота. Посмеиваются. Он подъезжает к первому из них.

Д о н К и х о т. За какие грехи попали вы в такую беду, бедняга?

1 - й к а т о р ж н и к *(громко и торжественно)*. Меня погубила любовь *(тихо)* к корзине с бельем. *(Громко.)* Я прижал ее, мою любимую, к сердцу. *(Тихо.)* А хозяйка корзины подняла вой. *(Громко.)* И злодеи разлучили нас.

Д о н К и х о т. Проклятие! А вас что привело на галеры? Неужели тоже любовь?

2 - й к а т о р ж н и к. Нет. Всего только нежность!

Д о н К и х о т. Нежность?

2 - й к а т о р ж н и к. Да. Я неженка. Я не мог вынести пытки и сказал вместо “нет” — “да”. И это коротенькое словечко принесло мне шесть лет каторги.

Д о н К и х о т. А вы за что взяты, сеньор?!

3 - й к а т о р ж н и к. За то, что у меня в кошельке не нашлось десяти золотых дукатов. Найдись они вовремя — я оживил бы мозги адвоката и смягчил бы сердце судьи.

4 - й к а т о р ж н и к. И на этом остановимся, сеньор. Вы повеселились, мы повеселились — и хватит.

Д о н К и х о т. Сеньоры конвойные! Я расспросил этих людей. Им не следует идти на галеры. Если бы у этих бедных были сильные покровители, судья отпустил бы любого из них на свободу.

Каторжники шумят одобрительно.

— Правильно, как в писании! Все понимает — уж не из каторжников ли он? Не найдется ли у вашей милости покровителя для нас?

Д о н К и х о т. Найдется!

Каторжники замолкают.

Д о н К и х о т. Я странствующий рыцарь. Я дал обет, что буду защищать обездоленных и угнетенных. Сеньоры конвойные! Я приказываю вам: отпустите несчастных!

К о н в о й н ы й. Поправьте-ка тазик на своей голове, пока она цела, да ступайте ко всем чертям.

Д о н   К и х о т. Сеньор, вы скотина!

И с этими словами Дон Кихот бросается на конвойного.

Стремительность нападения приводит к тому, что враг валится на землю и остается лежать ошеломленный.

Поднимается облако пыли, скрывающее дальнейшие события. Слышен только рев каторжников, звон цепей. То здесь, то там в облаке появится на мгновение высокая фигура Дон Кихота, размахивающего мечом, и исчезнет.

Выстрел.

С дороги в поле из пыльного облака вылетают конвойные. Мчатся без оглядки с поля боя.

Каторжники появляются у каменной колоды, разбивают свои цепи булыжниками, подобранными на земле. Распалась цепь, связывавшая их.

Каторжники ликуют, вопят, рычат, как дикие звери, прыгают, звеня цепями.

И тут к ним вдруг во весь опор подлетает Дон Кихот.

Каторжники и не глядят на него. Обнимаются и тут же награждают друг друга тумаками. Они опьянели от неожиданности пришедшей к ним свободы.

Д о н   К и х о т. Друзья мои, погодите, послушайте меня.

1-й   к а т о р ж н и к. Выкладывай.

Д о н   К и х о т. Друзья мои, отправляйтесь немедленно туда, куда я вам укажу.

Каторжники успокаиваются сразу.

4-й   к а т о р ж н и к. Там спрячут нас?

Д о н   К и х о т. Нет! Я посылаю вас к даме моего сердца. Вы расскажете ей о подвиге, который я совершил в ее честь.

Каторжники разражаются хохотом.

3-й   к а т о р ж н и к. Не дразни, укусим!

Д о н   К и х о т. Друзья мои, я дал вам свободу, неужели вы так неблагодарны, что откажете мне!

4-й   к а т о р ж н и к. Сеньор, вы знаете, что такое братство Санта Эрмандад? Они схватят вас!

Д о н   К и х о т. Благодарность сильнее страха.

6-й каторжник. Благодарность, благодарность! Освободи ты одного меня — я бы поблагодарил. А ты — всех разом!

7-й каторжник. Устраиваешь побег, а правил не знаешь.

8-й каторжник. Уже небось во всех церквах бьют в набат...

9-й каторжник. Что у тебя под бритвенным тазиком? Голова или тыква?

Дон Кихот. Я заставлю вас быть благодарными!

4-й каторжник. Сеньор, полегче! Мы — народ битый!

Дон Кихот. Я для вашей пользы...

10-й каторжник *(великан звероподобного вида)*. Бей его, он сыщик!

Швыряет в Дон Кихота камнем, сбивает с него тазик.

Санчо. Опомнись! Какой же он сыщик — он освободил вас!

10-й каторжник. Так когда это было? С тех пор продался. Бей его!

Камни летят в Дон Кихота градом.

Темнеет.

По дороге двигается шажком Росинант. Дон Кихот с перевязанной головой старается усидеть, держится прямо на своем высоком седле.

Санчо плетется следом.

Далеко-далеко впереди, за деревьями, показываются стены и крыши.

Санчо. Сеньор! Скоро доплетемся мы с вами до постоялого двора. Об одном прошу я вашу милость — не признавайтесь ни хозяину, ни постояльцам, что мы пострадали от побоев. Почему? А потому что люди, как увидят побитого норовят подбавить еще. Был бы калека, а обидчики найдутся. Кто убог, того и валят с ног. Кто слаб и болен, тем и заяц недоволен. Вы поняли меня, сеньор?

Дон Кихот. Я слышу тебя словно бы издали, — так у меня звенит в ушах.

Санчо взглядывает на хозяина и вдруг вскрикивает во весь голос.

Дон Кихот. Что с тобой?

Санчо. Взглянул я на вас, какой вы бледный да жалостливый, и пришла мне мысль в голову. И я даже закричал от удивления и печали. Мне в голову пришла мысль совсем рыцарская, ваша милость. Вот где

чудо. Ах ты... Ох ты... Подумайте! Ах-ах-ах! Мысль!

Дон Кихот. Говори какая!

Санчо. А такая, что следует вам к вашему славному имени Дон Кихот Ламанчский прибавить прозвище: Рыцарь Печального Образа.

И Дон Кихот отвечает запинаясь, очень тихо:

— Хорошо, братец... Да будет так. Рыцари былых времен... носили прозвища. Кто звался Рыцарем Пламенного Меча. А кто — Рыцарем Дев. Был Рыцарь Смерти. А я буду Рыцарем Печального Образа. Мне чудится, что мудрец, который напишет когда-нибудь историю моих подвигов, вложил эту мысль... в твою голову, потому что... моя... очень уж шумит. Вот и замок.

Санчо. Что вы, сеньор! Это постоялый двор.

Дон Кихот. А я ручаюсь тебе, что это заколдованный замок.

Санчо. Пусть мой Серенький пропадет навеки, если это не постоялый двор!

Дон Кихот. Замок!

Санчо. Двор!

Дон Кихот. Замок!

Санчо. Сеньор! Нас поколотили сегодня мастера своего дела, вот и чудится вам невесть что!

Шум, обрывки веселой музыки, песен, стук копыт по настилу конюшни.

У ворот постоялого двора две девицы весьма легкомысленного вида вглядываются пристально в приближающихся путников.

1-я девица. Если и эти гости не захотят иметь с нами дела — мы пропали.

2-я девица. Неужели дойдем мы до такого срама, что, как старухи, будем расплачиваться за ужин и ночлег собственными денежками?

Дон Кихот, стараясь держаться прямо на своем высоком седле, приближается к воротам постоялого двора.

Санчо следует за рыцарем.

Дон Кихот *(салютуя мечом)*. Благородный владелец замка выслал навстречу нам знатных девиц. О сеньориты! Если когда-нибудь понадобится рыцарь для защиты вашей невинности, прикажите — и я умру, охраняя вашу честь.

Девицы переглядываются и бросаются бежать, фыркая от сдерживаемого смеха.

Громче обрывки музыки, топот копыт по настилу конюшни.

Крытая галерея на тонких столбах идет вдоль всего второго этажа. Под галереей, как под навесом, кипит жизнь. Четверо игроков дуются в карты. Зрители молча глядят, столпившись вокруг.

1 - й игрок. Клянусь честью, если ты и эту карту побьешь, то я тебя зарежу.

2 - й игрок. Ладно, эту не побью, раз уж ты не умеешь играть по-благородному.

Зубодер со щипцами в руках кричит, уговаривает пациента, который сидит на скамье с видом гордым и надменным, крепко сжав губы.

Зубодер. Я дергал зубы и турецкому султану, и китайскому богдыхану, и старшему писцу нашего губернатора. И все благодарили. Богдыхан даже просил еще вырвать парочку, до того ему понравилось мое мастерство. Откройте рот, сударь!

Пациент *(сквозь слезы)*. Если мужчина сказал нет, значит, нет!

Жена пациента. Если бы ты один страдал от зубной боли, я бы могла терпеть. Но ты весь дом замучил. Открой рот, тебе говорят!

Пациент. Если мужчина сказал нет, значит, нет!

Мариторнес, здоровенная служанка, сильная, как мужчина, стирает белье, а подруга нашептывает ей на ухо что-то, видно, очень интересное, потому что Мариторнес слушает с увлечением, сияя.

Вот ее багровое, мокрое лицо показывается из пара.

Мариторнес. А он?

Служанка продолжает шептать.

Мариторнес. А ты?

Служанка продолжает шептать.

Мариторнес. А он?

Служанка продолжает шептать.

Мариторнес. Ну и напрасно. Я еще ни разу в жизни не нарушила слова. Если я говорю мужчине, что приду, — значит, приду, хотя бы весь свет обрушился на мою голову. Да и то сказать — чем еще утешаться нам на земле, пока мы не попадем в рай.

Две девицы с хохотом влетают во двор.

Пищат наперебой:

— Скорее, скорее! Приехал до того потешный безумец, что можно умереть со смеху!

Карточный игрок. Не мешай людям работать.

1-я девица. Не все же работать, надо и повеселиться.

2-я девица. Таких сумасшедших и при дворе не найти! Он назвал нас невинными и знатными девицами.

Взрыв хохота.

Дон Кихот, пошатываявь, входит во двор.

На него глазеют с жадностью, давясь от смеха, подталкивая друг друга. Зрители заполнили галерею, висят на перилах.

Дон Кихот. Привет вам, друзья мои! Нет ли в замке несчастных, угнетенных, несправедливо осужденных или невольников? Прикажите — и я восстановлю справедливость.

Заглушенное хихиканье.

Рослый человек средних лет восклицает:

— Ну, это уж слишком!

Заглушенное хихиканье. Возгласы: “Тише, не мешайте”.

Толстяк хозяин с ключами у пояса выбегает из недр своего заведения.

Дон Кихот. Судьба привела меня в ваш замок. Я Дон Кихот Ламанчский, Рыцарь Печального Образа.

Подавленный хохот.

Шепот: “Тише, дураки! Спугнете. Испортите всю потеху”.

Хозяин. Все это славно, господин рыцарь, а только одно худо. Все комнаты у меня заняты, и могу я предложить вам ложе только на чердаке.

Мариторнес *(вытирая руки)*. Идемте, сударь, я провожу вас. Чего смеетесь? Не видите, что ли, человек болен, еле на ногах стоит?

Чердак, который по всем признакам долго служил для склада соломы. В правом углу — кровать, сооруженная из попон и седел. В левом — четыре худо обтесанные доски, положенные на скамейки разной вышины.

На досках — тюфяк, тощий, как циновка. Клочья войлока торчат из дыр. Редкие и грубые простыни.

Док-Кихота уложили на ложе слева, Мариторнес облепляет пластырями его синяки и ссадины.

М а р и т о р н е с. Кто же это так избил беднягу?

С а н ч о. Никто, дочка. Господин мой просто слетел со скалы, и все тут. Его не побьешь! Нет! Он каждому даст сдачи!

Во дворе под навесами идет совещание.

Р о с л ы й   ч е л о в е к. Нет, меня полагается слушать! Я судья!

Я такое придумал, что от дурачка живого места не останется, со всей его справедливостью.

Перешептываются.

Ч е л о в е к,   п о х о ж и й   н а   с о в у. Нет, давайте по-моему! Я человек деловой и до того истосковался дома, считая да подсчитывая, что в дороге нет большего потешника, чем я! К черту добродетельного рыцаря. По-моему...

Перешептываются.

1 - я   д е в и ц а. Нет, мы сделаем так. Проклятая Мариторнес влюбляется в самых славных парней, и при этом совершенно бесплатно!

2 - я   д е в и ц а. Давно пора проучить ее. Ее теперешний возлюбленный — погонщик мулов. Ночует тоже на чердаке. И мы...

Перешептываются, хохочут.

А Мариторнес на чердаке окончила перевязывать Дон Кихота.

Рыцарь задремал.

С а н ч о *(шепотом)*. Оставьте и мне немножечко этих пластырей, сеньора.

М а р и т о р н е с *(шепотом)*. И вы тоже слетели со скалы?

С а н ч о *(шепотом)*. Нет! Но меня всего перетряхнуло, когда увидел я, как падает мой господин.

Мариторнес *(шепотом)*. Это бывает! Я часто вижу во сне, что падаю с башни, и потом весь день хожу разбитая.

Грохот.

Санчо и Мариторнес оглядываются в ужасе.

Погонщик мулов — парень разбойничьего вида, косая сажень в плечах — стоит на пороге. Снова грохот. Оказывается, это погонщик в гневе ударяет ногой об пол.

П о г о н щ и к. Ты с ним шепчешься?

М а р и т о р н е с *(улыбаясь)*. Ах, дурачок! Ревнует! До чего же я это люблю — просто удивительно! Это уже значит не баловство, а настоящая любовь, благослови ее господь!

Грохот.

М а р и т о р н е с. Иди вниз! Я сейчас прибегу к тебе. Мы говорим шепотом, чтобы не разбудить больного сеньора. Ступай, ступай, а то и я стукну, только не ногой, а кулаком, и не об пол — кое-кого по затылку. Иди!

Погонщик мулов удаляется угрюмо.

М а р и т о р н е с *(шепотом, интимно)*. Он знает, что я любого мужчину свалю ударом кулака. Конечно, приятно, когда ревнуют, но распускать вашего брата тоже не полагается.

С а н ч о. Это уж конечно. Уж на что я добродетелен, но и то шепот ваш очаровал меня, словно весенний ветерок.

Мариторнес показывает ему кулак.

С а н ч о *(разводя руками)*. Что верно, то верно!

Стемнело.

Дон Кихот спит.

Санчо храпит на циновке у его ног.

Вдруг входят четверо игроков в карты. Путь им освещают хихикающие девицы со свечами в руках. Четыре игрока берут шаткое ложе Дон Кихота. Переносят спящего рыцаря в правый угол. А ложе, устроенное на седлах и попонах, переволакивают влево.

Внизу, во дворе, горят фонарики, повешенные на сводах галереи. Кто ужинает и пьет пиво, кто болтает со служанками. Посреди двора деловой человек, похожий на сову, пляшет фанданго, лихо управляясь с кастаньетами. Его партнерша — одна из девиц. Картежники играют на тамбурине. Деловой человек, несмотря на тяжелую свою фигуру, пляшет с настоящим мастерством, со страстью. Вдруг он подпрыгивает и останавливается.

Оркестр обрывает музыку.

Д е л о в о й ч е л о в е к. Красотка спешит к милому.

По лестнице пробегает наверх Мариторнес, закрывши голову платком.

1 - я д е в и ц а. Играйте, играйте! А то она заподозрит недоброе.

Фанданго продолжается.

Д е л о в о й ч е л о в е к. Голубь поспешил к голубке. Сеньор судья, задержите его хоть на минутку. Дайте разгореться рыцарю!

С у д ь я *(погонщику)*. Подожди, друг! Правда, что купил ты мула с таким норовом, что никто не хочет нанимать его?

П о г о н щ и к. Чистая правда, ваша милость. Он до того довел меня, что и мой нрав стал просто дьявольским.

С у д ь я. Присядь на минутку. Обсудим, как помочь твоему горю.

Фанданго, как и подобает этому танцу, все убыстряется.

Мариторнес входит на чердак. Направляется в правый угол, туда, где спит теперь Дон Кихот.

Она нащупывает во тьме руку спящего.

М а р и т о р н е с. Так ты здесь уже, бедняжка? Опередил меня, дурачок? А я думала, что ты все работаешь, наказываешь своих мулов за непослушание. Что с тобой? Почему ты обнимаешь меня так осторожненько?

Д о н К и х о т. Графиня! Я столь разбит и изломан, что боль мешает мне полностью ощутить радость от вашей высокой милости.

М а р и т о р н е с. Что с тобой? Почему ты так вежлив? Это ты?

Д о н К и х о т. Вежливость моя вызвана верностью. Я люблю другую. И когда боль перестает отрезвлять меня — рыцарская верность разрешает мне только это отеческое объятие.

М а р и т о р н е с. Так вот это кто? Как я попала к вам? Неужели я сегодня заработалась до того, что не могу отличить правую руку от левой? Простите, сеньор, я ошиблась койкой!

Д о н К и х о т. Не уходите! Сеньора! После побоев так радостно прикосновение вашей руки. Так сладостно. Верность вынуждает меня быть простаком. И все-таки подождите. После злобы и неблагодарности — ласка и милость. Не уходите. Молю. Я все время один, против всех. Не уходите!

М а р и т о р н е с. Я не ухожу.

Вопль:

— Потаскуха!

Страшный удар обрушивается на голову Дон Кихота.

Он вскакивает с воплем:

— Вперед, за Дульсинею Тобосскую!

Топот и хохот за дверьми.

Санчо просыпается и вскакивает с воплем:

— Пожар! Горим!

Чердак наполняется восторженными зрителями с фонариками в руках.

Хохот и гогот.

Полуодетый Дон Кихот сражается с погонщиком. В руках у рыцаря меч, а у погонщика — бич. Дон Кихот после любовного свидания исцелен от всех своих ран и недугов. Ни один удар бича не задел его. Он увертывается, и прыгает, и нападает.

Но вот ошеломленная Мариторнес приходит в себя.

Она вырывает у погонщика бич, толкает рослого малого так, что он падает. Наступает на зрителей с фонариками:

— Не трогайте сеньора! Уходите!

Судья. Как ты смеешь, дерзкая!

Деловой человек. Орет, как благородная.

Мариторнес наступает на хохочущих зрителей, и они, нисколько не теряя веселого настроения, протискиваются на лестницу.

Хохот и суета за дверью.

Дон Кихот. Санчо! Видишь ты теперь, что такое благородная кровь? Дочь графа, владельца замка, сражалась за меня, как рыцарь!

Санчо. Ваша милость, это не дочь хозяина, а его служанка!

Дон Кихот. И тебя!

Санчо. Пресвятая дева! Что “и меня”?

Дон Кихот. Заколдовал проклятый Фрестон. Очнись! Мы в заколдованном замке. Слышишь шорох, шепот, дьявольское хихиканье за дверью? Берегись, Фрестон! Вперед, вперед, ни шагу назад!

Рыцарь со шпагой в руках выбегает из двери и тотчас же валится со всех ступеней крутой лестницы. Веревка была натянута в самых дверях.

Фонарики прыгают в руках хохочущих.

Дон Кихот *(лежа на полу)*. Не верю! Сеньоры, я не верю злому волшебнику! Я вижу, вижу — вы отличные люди.

Он поднимается и идет.

Дон Кихот. Я вижу, вижу — вы отличные, благородные люди, и я горячо...

Хитро укрепленный кувшин с ледяной водой опрокидывается, задетый рыцарем, и обливает его с головы до ног.

Д о н К и х о т *(упавшим голосом)*. Я горячо люблю вас. Это самый трудный рыцарский подвиг — увидеть человеческие лица под масками, что напялил на вас Фрестон, но я увижу, увижу! Я поднимусь выше...

Люк открывается под ногами рыцаря, и он проваливается в подвал.

Наверху полное ликование, доходящее до безумия. Отец семейства прыгает, как мальчик, судья визжит от хохота, как женщина. Девицы обнимают, обессилев от смеха, того, кто попадется под руку.

А Дон Кихот стоит в подвале внизу с обнаженным мечом в руках.

Оглядывается.

И видит мехи с вином, висящие на стенах.

При неровном свете, падающем через открытый в потолке люк, они кажутся похожими на дурацкие, толстогубые, смеющиеся головы великанов.

Д о н К и х о т. Ах, вот вы где, проклятые! Довольно смеяться над подвигами. Думаете, мне легко повторять истины, знакомые каждому школьнику, да еще и драться за них? А иначе ничего не добьешься. Поняли? Нет? Вы всё смеетесь? Умрите же!

И Дон Кихот бросается в бой.

Вино потоком льется из разрубленных мехов.

Дон Кихот стоит по колено в вине, пошатываясь.

Д о н К и х о т. Помоги мне, Санчо. Я победил, но мне нехорошо. Санчо, Санчо, где ты?

А Санчо посреди двора взлетает чуть не до самого неба. Развеселившиеся гости подбрасывают его на одеяле.

С а н ч о. Ваша честь! Погибаю! Укачивают! Помогите! Спасите!

Большая дорога.

Дон Кихот, с пластырями на еще более исхудавшем лице, и Санчо, бледный и мрачный, едут рядышком.

Д о н К и х о т. Теперь ты понимаешь, Санчо, что этот замок, или постоялый двор, действительно очарован. И это единственное наше утешение. Над нами потешались так жестоко выходцы с того света.

С а н ч о. И хотел бы я порадовать вашу милость, да не могу.

Подбрасывали меня на одеяле самые обыкновенные люди.

Дон Кихот. Не клевещи!

Санчо. Клеветать я терпеть не могу, но и сваливать на призраков то, что натворили люди, не согласен. Люди, люди безобразничали, люди с самыми обыкновенными именами. Одного звали Педро Мартинес, другого — Теперно Эрнандес, а самого хозяина зовут Хуан Паломеке Левша. А волшебник Фрестон на этом постоялом дворе и не ночевал. Дайте мне только стать губернатором, я сюда еще вернусь.

Дон Кихот. Молчи!

Санчо. Молчу.

Едут молча.

И вдруг лицо рыцаря оживляется. Глаза рыцаря приобретают прежний вдохновенный блеск.

Два существа, словно сошедшие со страниц рыцарского романа, выбегают из кустов на середину дороги. Лицо одного скрыто густой черной бородой, падающей до колен. Лицо второго скрыто маской.

Санчо плюет и крестится:

— Этого только не хватало. Сорвались с крючка и прямо на сковородку.

Человек в маске *(шепотом)*. Вам начинать, сеньор цирюльник.

Цирюльник, касаясь подвязанной бородой дорожной пыли, падает на колени, низко кланяясь Дон Кихоту. Священник в маске, сняв шляпу, замирает в почтительной позе.

Цирюльник. О доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Помогите самой безутешной и обездоленной принцессе на свете.

Санчо. Господи! Принцесса с бородой!

Священник. Принцессы здесь нет, о славный оруженосец не менее славного героя! Перед вами ее смиренные посланцы.

Дон Кихот. Встаньте. Мне больно, когда передо мной стоят на коленях.

Цирюльник *(поднимаясь)*. О рыцарь! Если доблесть вашей могущественной длани соответствует величию вашей славы, то помогите обездоленной принцессе Микомиконе...

Священник *(украдкой заглядывает в книжку)*. Которая просит из далекой Эфиопии помочь в ее горестях.

Дон Кихот. Я сделаю все, что в человеческих силах.

С в я щ е н н и к. Следуйте за нами, о славный рыцарь!

Посреди поляны стоит воз, запряженный волами, на котором укреплена высокая клетка. Не птичья и не для животных, а высокая — в ней человек может встать во весь рост. Волы стоят, сонно опустив головы, жуют жвачку.

Посланники Микомиконы сворачивают с дороги на поляну. За ними — Дон Кихот. Встревоженный Санчо ведет следом под уздцы Росинанта и Серого.

Подойдя к клетке, священник распахивает дверцы.

С в я щ е н н и к. О храбрый рыцарь! Принцесса Микомикона зачарована великаном по имени Пандафиландо Свирепоглазый. Храбрец, вошедший в клетку, возьмет чары на себя и освободит принцессу.

Ц и р ю л ь н и к. О рыцарь! Спаси несчастную, войди в клетку.

С а н ч о. А надолго?

Д о н К и х о т. Санчо, не мешай!

С а н ч о. Ваша милость, ведь это клетка! Принцесса принцессой, но лезть в клетку — дело нешуточное! Признавайтесь, на сколько времени туда лезть! Отвечайте, эфиопы!

С в я щ е н н и к. Храбрец, вошедший в клетку, должен лежать в ней спокойно и ехать покорно в места, предуказанные судьбой. Только тогда несчастная освободится от лап чудовища.

С а н ч о. А ну-ка, покажите нам бумаги!

Ц и р ю л ь н и к. Какие такие бумаги?

С а н ч о. Что вы в самом деле эфиопы, присланы принцессой и...

Дон Кихот приходит в ярость и замахивается на Санчо копьем, словно перед рыцарем не верный его оруженосец, а злейший враг.

Д о н К и х о т. Негодяй! Девушка умоляет о помощи, а ты требуешь бумаги, словно королевский чиновник.

И рыцарь бросается в клетку одним прыжком.

С в я щ е н н и к. Слава тебе, храбрый рыцарь!

С а н ч о. Слава, слава! Чего сами не полезли в клетку! Свиньи вы! Чужими руками жар загребать!

Ц и р ю л ь н и к. Вперед, вперед!

Телега со скрипом двигается в путь.

Первые осенние листья, кружась, падают на дорогу.

С а н ч о. Хоть бы соломки догадались подстелить! Ваша милость, а

ваша милость, вам небось жестко в клетке-то?

Д о н К и х о т. Отстань, дурак, я зачарован!

Телега медленно ползет по дороге.

Вечер.

Горит костер.

Волы пасутся на лугу.

Дон Кихот ест похлебку из миски, которую держит возле самой клетки Санчо Панса. Рыцарь степенно работает ложкой, просовывая ее между прутьями своей тюрьмы.

С а н ч о. Ваша милость! Как слышал я с детства, зачарованные и не пьют и не едят! О, боюсь, что не зачарованы вы, а обведены вокруг пальца какими-то людьми, которым не нравятся наши подвиги.

Д о н К и х о т *(спокойно и уверенно, продолжая есть)*. Нет, Санчо. Я зачарован. Я это знаю потому, что совесть моя спокойна, не грызет меня за то, что сижу я да посиживаю в клетке, когда стольким несчастным нужна моя помощь. Много-много лет этого со мной не бывало. Я зачарован и поэтому и ем с охотой, и сплю спокойно, как ребенок.

Дон Кихот спит в клетке безмятежно, как ребенок. Воз не спеша двигается по дороге. Прохладное осеннее утро. Священник и цирюльник шагают впереди. Санчо ведет вслед за клеткой Росинанта и Серого.

С а н ч о. Клянусь честью, или я тоже зачарован, или приближаемся мы к нашему родному селению.

Ворота знакомой усадьбы.

Послы принцессы входят во двор.

Воз въезжает следом за ними.

Санчо робко останавливается в воротах.

Распахивается дверь.

Экономка и племянница выбегают, плача и смеясь, из дома. Дон Кихот вскакивает. Становится во весь рост в своей клетке. Бледнеет. Оглядывается в страхе, ничего не понимая, словно зверь в ловушке.

Д о н К и х о т. Принцесса...

Э к о н о м к а. Ах, ваша милость, ваша милость, никаких принцесс

тут нет. Наше дело маленькое, стариковское. Пожалуйте домой, пожалуйте в постельку! Спаленка ваша протоплена, белье постелено чистое!

П л е м я н н и ц а. Дядя, дядя, что вы глядите так, будто попали в плен? Это я, я — ваша родная племянница! Вы все жалеете чужих — пожалейте и меня, бедную сироту.

Э к о н о м к а. Пожалуйте, пожалуйте сюда, мастер Николас, сеньор лиценциат, помогите!

Священник, уже без маски и без маскарадного плаща, и цирюльник, без бороды, открывают дверцы клетки, ведут рыцаря в дом под руки.

Когда они скрываются, Санчо шумно вздыхает.

Расседлывает Росинанта. Снимает с него узду. Ударяет слегка. И Росинант не спеша, степенно направляется в конюшню.

Снова вздыхает Санчо.

Садится верхом на Серого.

— Говорил я, надо спросить у них бумаги!

Уезжает восвояси.

А Дон Кихот стоит посреди кухни, где весело пылает очаг, и близкие окружают его.

Э к о н о м к а. Сеньор, сеньор! Посмотрите, на что вы стали похожи! Злоключения согнули вашу спину, а вы еще мечтаете выпрямить все на свете. Отдохните, сеньор! Мы вас вылечим! Мы никуда вас больше не отпустим.

П л е м я н н и ц а. Дядя, скажите хоть одно словечко! Ведь у меня, бедной, никого больше нет на свете!

Д о н К и х о т. Здравствуй, дитя мое. Я еще поговорю, поговорю с тобой! Я только зайду в свою библиотеку, почитаю, соберусь с мыслями.

Дон Кихот поднимается по лестнице.

Вое идут следом за ним.

И рыцарь останавливается пораженный.

Дверь в библиотеку исчезла.

Стена, сплошная стена, без малейшего признака некогда бывшего входа, преграждает путь рыцарю.

Он шарит по ней руками, словно слепой.

Поворачивается к друзьям.

Д о н К и х о т. Это Фрестон?

Э к о н о м к а. Он, ваша честь, кому же еще, он, безобразник. Прилетел, нашумел, надымил и унес всю вашу любимую комнату. И все книжки.

Д о н К и х о т. Все...

Пошатнувшись, опускается он на пол.

Священник и цирюльник едва успевают подхватить его на руки.

Спальня Дон Кихота.

Зимний день. Снег и дождь за окнами.

Рыцарь лежит в постели похудевший и побледневший, в ночном колпаке. Против него в кресле молодой, курносый и большеротый человек с живыми глазами.

Он пристально, по-докторски смотрит на Дон Кихота.

— Вы узнаете меня?

Д о н К и х от. Как не узнать! Вы — Самсон Карраско, сын Бартоломео Карраско из нашего селения. Вы студент. Учитесь в Саламанке.

К а р р а с к о. Заодно поздравьте себя самого, сеньор! Если бы не я, вы хворали бы и по сей день. Я в бытность мою студентом интересовался всеми науками на свете. И приехал нашпигованный последними медицинскими открытиями, словно бараний окорок чесноком.

Д о н К и х о т. И вы занялись моим лечением?

К а р р а с к о. По просьбе вашей племянницы, сеньор Кехано. Подумать только — эти неучи пускали вам кровь по нечетным числам, тогда как современная наука установила с точностью, что следует это делать только по четным! И вот вы здоровы, густота крови исчезла, а следовательно, и понятия здравы. Вы, конечно, никуда теперь не уедете из дому.

Д о н К и х о т. Уеду, едва окрепну.

К а р р а с к о. Сеньор!

Д о н К и х о т. Промедление нанесет ущерб всему человеческому роду.

К а р р а с к о. Сеньор, послушайте человека, имеющего ученую степень! Времена странствующего рыцарства исчезли, прошли, умерли, выдохлись! Пришло новое время, сеньор! Новое! Тысяча шестьсот пятый год! Шутка сказать!

Д о н К и х о т. И в этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, как сто лет назад, несчастные зовут на помощь, а счастливцы зажимают

уши. И только мы, странствующие рыцари...

Карраско. А сколько вас?

Дон Кихот. Не мое дело считать! Мое дело — сражаться!

Карраско. Не выпущу я вас, сеньор! Да, да! Не выпущу! Последние достижения науки требуют, чтобы с безумцами обращались сурово. Я запру ворота. Я буду сторожить вас, как цепной пес. Я спасу доброго сеньора Кехано от безумца Дон Кихота.

Весенний вечер.

Под окнами спальни рыцаря распустилось старое миндальное дерево. Цветущие ветки заглядывают в самое окно его.

Дон Кихот беседует с Санчо, спрятавшимся на дереве.

Из цветов миндаля выглядывает красное, широкое лицо оруженосца.

Дон Кихот. Санчо, не могу я больше ждать! Мне грозит безумие, если мы не отправимся в путь!

Санчо. Понимаю вас, сеньор! Уж на что я — грубая душа, толстое брюхо, а тоже, как пришла весна, не сидится мне дома. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же — бьет по морде нуждишка-нужда, и все по одному месту! В дороге попадало нам, случалось, — так ведь все по-разному!

Дон Кихот. Не знаю, колдовство ли это или совесть, но каждую ночь зовут меня несчастные на помощь.

Санчо. Трудно им, стало быть, приходится!

Дон Кихот. Завтра на рассвете будто нечаянно проезжай мимо ворот.

Санчо. Слушаю, сеньор!

Исчезает в цветах миндаля.

Глубокая ночь.

Полная луна стоит в небе.

Тени цветущих миндальных ветвей бегают по полу и по стенам, словно какие-то живые существа проникли к рыцарю в спальню.

Рыцарь не спит. Глаза его блестят. Он прислушивается.

Вдруг в шуме ветра, в шелесте ветвей раздается явственный вздох.

Рыцарь приподнимается на локте.

— Кто это?

— Бедный старик, которого выгнали из дому за долги. Я сплю сегодня в собачьей конуре! Я маленький, ссохся от старости, как ребенок.И некому вступиться за меня.

Стон.

Д о н К и х о т. Кто это плачет?

— Рыцарь, рыцарь! Мой жених поехал покупать обручальные кольца, а старый сводник ломает замок в моей комнате. Меня продадут, рыцарь, рыцарь!

Дон Кихот садится на постели.

Детские голоса:

— Рыцарь, рыцарь, нас продали людоеду! Мы такие худые, что он не ест нас, а заставляет работать. Мы и ткем на него, и прядем на него. А плата одна: "Ладно уж, сегодня не съем, живите до завтра". Рыцарь, спаси!

Дон Кихот вскакивает.

Звон цепей.

Глухие, низкие голоса:

— У нас нет слов. Мы невинно заключенные. Напоминаем тебе, свободному, — мы в оковах!

Звон цепей.

— Слышишь? Ты свободен, мы в оковах!

Звон цепей.

— Ты свободен, мы в оковах!

Дон Кихот роется под тюфякам.

Достает связку ключей.

Открывает сундук в углу.

Там блестят его рыцарские доспехи.

Рассветает.

Дон Кихот в полном рыцарском вооружении стоит у окна.

Медный бритвенный тазик сияет на его седых волосах.

Издали-издали раздается ржание коня.

Д о н К и х о т *(негромко)*. Иду, Росинант! Он шагает через подоконник. Повисает на руках, прыгает в сад.

Бежит большими, но беззвучными шагами в конюшню.

Появляется с оседланным Росинантом.

Ведет коня к воротам. И вдруг раздается вопль:

— Тревога! Тревога!

Со скамейки у забора вскакивает Самсон Карраско. Он спал там, завернувшись в плащ.

Карраско *(весело)*. Сеньор, сеньор! Вы упрямы, но и я тоже. Тревога, тревога!

Дон Кихот *(замахивается копьем)*. Пусти!

Карраско. Сеньор! Можно ли убивать знакомых? Вы знали меня с детства! Тревога, тревога!

Крики:

— Дядя, дядя, сеньор, сеньор!

Экономка и племянница выбегают из дома. Обнимают колени рыцаря.

— Не губите меня, дядя. Не губите себя, сеньор!

Рыцарь опускает голову.

Санчо забрался на спину Серого, наблюдает за происходящими событиями через высокий забор усадьбы.

Санчо. Все. Никуда нам не уехать. С великаном — это пожалуйста, это мы справимся. А поди-ко со своими!

Экономка. Сеньор, сеньор! Идите домой! Утро холодное! Куда там ехать в наши годы! Идемте, я напою вас парным молоком, и все кончится хорошо.

Карраско. И в самом деле, сеньор, идемте.

Дон Кихот стоит неподвижно.

Карраско. Чего вы ждете? Чуда? Не бывает чудес в тысяча шестьсот пятом году, сеньор. Господи, что это?

Гремит труба.

Хриплый голос кричит за воротами:

— Где тут живет этот... как его... знаменитый рыцарь — Дон Кихот Ламанчский!

Санчо соскакивает с седла:

— Сюда, ребятки! Вот где он живет. Вовремя вы пожаловали.

Со скрипом открываются ворота усадьбы.

За воротами — Санчо.

Конные солдаты, хмурые и утомленные, во главе с седым, угрюмым

офицером въезжают во двор усадьбы Дон Кихота.

С а н ч о. Вот-вот, сюда! Заступиться за кого-нибудь требуется? Схлестнуться с волшебниками там или великанами? Сделайте милость! Мы застоялись, так и понесемся на врагов рода человеческого.

О ф и ц е р. Постой ты. Сбегай лучше за ведром да напои моего коня. Вы, сеньор Дон Кихот Ламанчский?

Д о н К и х о т. Да, это я, сеньор.

О ф и ц е р. Этого... как его... Тьфу ты пропасть, не привык я к подобным поручениям. Прекрасная сеньора, влюбленная в вас, просит о чести быть допущенной в ваш замок. Тпру ты, проклятая! Стой смирно, мне и без тебя тошно. Что прикажете ответить ей?

Д о н К и х о т. Просите!

О ф и ц е р *(трубачу)*. Труби, дурак!

Трубач трубит. И тотчас же во двор въезжает неторопливо всадница на белоснежном, но забрызганном грязью коне. Оседлан конь серебряным седлом. Сбруя зеленая. Даму сопровождает богатая свита.

Дама открывает вуаль — и мы видим прекрасную Альтисидору.

Д о н К и х о т. Вы приехали посмеяться надо мною?

А л ь т и с и д о р а. Пока что мне не до смеха. Дорога в ваше селение отвратительна. Впрочем, забудем это. Любовь толкает женщину и на худшие дорожки.

Звуки трубы подняли все селение.

Двор полон. И священник с цирюльником прибежали, задыхаясь.

А л ь д о н с а *(спутнику своему, здоровенному парню)*. Это и есть Дульсинея Тобосская?

Парень вместо ответа щиплет Альдонсу, сохраняя неподвижное выражение лица.

А л ь т и с и д о р а. Сеньор! Я рассказала нашему герцогу о храбрости вашей и верности. Желая своими глазами полюбоваться на знаменитого рыцаря, он прислал меня за вами. Вас ждут в загородном замке герцога.

К а р р а с к о. Сеньора!

С в я щ е н н и к. Сударыня, во имя неба!

Ц и р ю л ь н и к. Мы только третьего дня делали ему кровопускание.

А л ь т и с и д о р а. Желание герцога — закон. И почетный караул, если воле вашего повелителя будут противиться, станет грозным. Сеньор

Дон Кихот, мы ждем вашего ответа.

Д о н К и х о т. Вперед!

Блистательная Альтисидора со свитой, Дон Кихот и Санчо Панса исчезли.

Угрюмый Карраско смотрит им вслед, сжав кулаки.

К а р р а с к о. Куда бы его ни увезли — я верну его домой! Мы в Саламанке и не такие шутки проделывали! Не плачьте, сеньора!

Дон Кихот Ламанчский и прекрасная Альтисидора скачут рядом, окруженные великолепной свитой.

Санчо отстал от сверкающей и сияющей кавалькады, трясется рысцой в облаке пыли, работает каблуками и локтями, торопя Серого.

И вдруг кони солдат, скачущих впереди, останавливаются, пятятся, насторожив уши, не слушаются повода. Забеспокоился и заплясал конь прекрасной Альтисидоры.

По дороге навстречу двигается повозка, украшенная флажками.

На повозке — огромный ящик, закрытый плетеными циновками.

Тяжел этот ящик — шесть пар мулов, запряженных цугом, с трудом волокут воз по дороге.

Из недр таинственного ящика раздается вдруг мощное рявканье.

Кони встают на дыбы — все, кроме Росинанта, соблюдающего горделивое спокойствие.

А л ь т и с и д о р а. Эй, погонщик! Чья это повозка и что ты в ней везешь?

П о г о н щ и к. Повозка моя собственная, сеньора, а везу я клетку со львом, которого губернатор Оранский посылает его величеству королю.

А л ь т и с и д о р а. Сними циновку.

П о г о н щ и к. Слушаю, сеньора.

Он выполняет приказание.

За толстыми прутьями клетки лежит, презрительно щурясь, огромный зверь. Кони пятятся — все, кроме Росинанта.

Санчо догоняет наконец своего хозяина.

С а н ч о. Смотрите-ка! Еще одного дурачка заманили в клетку! Какую принцессу едешь выручать, простак?

Лев рявкает в ответ лениво.

А л ь т и с и д о р а. Великолепный зверь. А ну-ка, сеньор! Покажите нам свою храбрость — сразитесь со львом.

С а н ч о. Что вы делаете, женщина! Не подзадоривать надо рыцарей, а успокаивать!

А л ь т и с и д о р а. Не бойся, деревенщина. Я лучше знаю господ мужчин. Они безудержны и храбры с дамами... Но львиные когти их отрезвляют... Ой, пресвятая богородица!

Взвизгнув, пришпоривает Альтисидора коня и вихрем уносится прочь. Вся блистательная свита рассыпается в разные стороны горохом.

Исчезает погонщик.

Санчо уползает в канаву.

Дон Кихот одним движением копья откинул тяжелую щеколду, закрывавшую дверцу клетки.

Она распахнулась.

И огромный зверь встал на пороге.

Смотрит пристально на Дон Кихота.

Санчо выглядывает из канавы, с ужасом следит за всем происходящим.

Д о н К и х о т. Что, мой благородный друг? Одиноко тебе в Испании?

Лев рявкает.

Д о н К и х о т. Мне тоже. Мы понимаем друг друга, а злая судьба заставляет нас драться насмерть.

Лев рявкает.

Д о н К и х о т. Спасибо, спасибо, теперь я совсем поправился. Но я много раздумывал, пока хворал. Школьник, решая задачу, делает множество ошибок. Напишет, сотрет, опять напишет, пока не получит правильный ответ наконец. Так и я совершал подвиги. Главное — не отказываться, не нарушать рыцарских законов, не забиваться в угол трусливо. Подвиг за подвигом — вот и не узнать мир. Выходи! Сразимся! Пусть эта сумасбродная и избалованная женщина увидит, что есть на земле доблесть и благородство. И станет мудрее. Ну! Ну же! Выходи!

Лев рявкает и не спеша отходит от дверцы. Затем поворачивается к Дон Кихоту задом и укладывается, скрестив лапы, величественно.

И тотчас же Санчо прыгает из канавы лягушкой, бросается к дверцам клетки. Захлопывает их и запирает на щеколду.

С а н ч о. Не спорьте, сеньор! Лев дело понимает! Такую Альти-

сидору и конец света не вразумит. Что ей наши подвиги? *(Кричит.)* Эй, эй! Храбрецы! Опасность миновала! И отныне Рыцарь Печального Образа получает еще одно имя: Рыцарь Львов.

Снова мчится пышная кавалькада по дороге.

За столом, покрытым темной бархатной скатертью, — герцогская чета.

И герцог и герцогиня молоды. Может быть, немножко слишком бледны. Красивы и необыкновенно степенны и сдержанны. Никогда не смеются, только улыбаются: большей частью — милостиво, иногда — насмешливо, реже — весело. Говорят негромко — знают, что каждое их слово будет услышано,

На столе перед герцогской четой бумаги.

Мажордом в почтительной позе выслушивает приказания своего повелителя.

Герцог. Праздник должен быть пышным и веселым. Приготовьте гроб, свечи, траурные драпировки.

Мажордом. Слушаю, ваша светлость.

Герцогиня. Герцог, вы позабыли погребальный хор.

Герцог. Да, да, погребальный хор, благодарю вас, герцогиня. Веселиться так веселиться. *(Перебирает бумаги.)* Печальные новости утомили. Град выбил посевы ячменя. Многопушечный наш корабль с грузом рабов и душистого перца захвачен пиратами. Олени в нашем лесу начисто истреблены браконьерами. А нет лучшего утешения в беде, чем хороший дурак.

Герцогиня. Да, да! Непритворный, искренний дурачок радует, как ребенок. Только над ребенком не подшутишь — мешает жалость.

Герцог. А дурака послал нам в утешение, словно игрушку, сам господь. И, забавляясь, выполняем мы волю провидения.

Мажордом. Спасибо, ваша светлость, за то, что вы поделились со мной столь милостиво мудрыми мыслями о дурачках.

Герцог. Известите придворных и пригласите гостей.

Позади герцогской четы появляется придворный духовник — человек могучего сложения, но с испитым лицом. Грубая челюсть. Высокий лоб. Он то закрывает свои огромные глаза, словно невмочь ему глядеть на грешников, то, шевеля губами, устремляет взгляд в про-

странство — не то молится, не то проклинает.

Появляются, кланяясь, придворные.

Тишина.

Все стоят неподвижно и степенно, как в церкви.

Не спеша появляется карлик, одетый в атлас и бархат, в коротком плаще, при шпаге. Как и герцогская чета, как и все придворные, держится он скучающе и сдержанно.

Карлик *(негромко, первому придворному)*. Дай золотой, а то осрамлю.

1-й придворный *(краем губ)*. Спешишь нажиться, пока новый шут не сбросил тебя?

Карлик. Не боюсь я нового шута, ибо новых шуток нет на свете. Есть шутки о желудке, есть намеки на пороки. Есть дерзости насчет женской мерзости. И все.

Негромкий перезвон колоколов.

Мажордом *(провозглашает)*. Славный рыцарь Дон Кихот Ламанч-ский и его оруженосец Санчо Панса.

Альтисидора вводит Дон Кихота. Приседает. И отходит в сторону, смешивается с толпой придворных. Оттуда жадно вглядывается она в лица герцога и герцогини. Да и не она одна. Все напряженно глядят на герцогскую чету, стараются угадать, как приняты гости.

И только карлик, вытащив лорнет, внимательно, с интересом мастера, разглядывает Дон Кихота.

Герцог. Прелестен. Смешное в нем никак не подчеркнуто.

Герцогиня. А взгляд, взгляд невинный, как у девочки!

Входит Санчо, встревоженно оглядываясь.

Герцог *(любуясь им)*. Очень естественный!

Герцогиня. Как живой.

Герцог. Горжусь честью, которую вы оказали мне, славный рыцарь. Мы в загородном замке. Этикет здесь отменен. Господа придворные, занимайте гостей.

1-я дама *(Санчо)*. Вы чем-то встревожены, сеньор оруженосец?

Санчо. Встревожен, сударыня.

1-я дама. Не могу ли я помочь вам?

Санчо. Конечно, сударыня. Отведите в конюшню моего осла.

Легкое движение. Подобие, тень заглушенного смеха.

Дон Кихот *(грозно)*. Санчо!

Санчо. Сеньор! Я оставил своего Серого посреди двора. Кругом так и шныряют придворные. А у меня уже крали его однажды...

Герцогиня. Не беспокойтесь, добрый Санчо. Я позабочусь о вашем ослике.

Санчо. Спасибо, ваша светлость. Только вы сразу берите его за узду. Не подходите со стороны хвоста. Он лягается!

Еще более заметное подобие смеха.

Дон Кихот *(поднимается)*. Я заколю тебя!

Герцог. О нет, нет, не лишайте нас такого простодушного гостя. Мы не избалованы этим. Сядьте, рыцарь. Вы совершили столько славных дел, что можно и отдохнуть.

Дон Кихот. Увы, ваша светлость, нельзя. Я старался, не жалея сил, но дороги Испании по-прежнему полны нищими и бродягами, а селения пустынны.

Легкое движение, придворные внимательно взглядывают на герцога, но он по-прежнему милостиво улыбается.

Герцогиня. Дорогой рыцарь, забудьте о дорогах и селениях, — вы приехали в замок и окружены друзьями. Поведайте нам лучше: почему вы отказали прекрасной Альтисидоре во взаимности?

Дон Кихот. Мое сердце навеки отдано Дульсинее Тобосской.

Герцогиня. Мы посылали в Тобосо, а Дульсинеи там не нашли. Существует ли она?

Дон Кихот. Одному богу известно, существует ли моя Дульсинея. В таких вещах не следует доискиваться дна. Я вижу ее такой, как положено быть женщине. И верно служу ей.

Герцог. Она женщина знатная?

Дон Кихот. Дульсинея — дочь своих дел.

Герцог. Благодарю вас! Вы доставили нам настоящее наслаждение. Мы верили каждому вашему слову, что редко случается с людьми нашего звания.

Духовник герцога, вдруг словно очнувшись, спустившись с неба, ужаснувшись греховности происходящего на земле, бросается вперед, становится перед самым столом, покрытым темной скатертью.

Духовник. Ваша светлость, мой сеньор! Этот Дон Кихот совсем не такой полоумный, каким представляется. Вы поощряете дерзкого в

его греховном пустозвонстве.

Герцог выслушивает духовника со своей обычной милостивой улыбкой. Только придворные поднимаются и стоят чинно, словно в церкви, украдкой обмениваясь взглядами.

Духовник поворачивается к Дон Кихоту.

Д у х о в н и к. Кто вам вбил в башку, что вы странствующий рыцарь? Как отыскали вы великанов в жалкой вашей Ламанче, где и карлика-то не прокормить? Кто позволил вам шляться по свету, смущая бреднями простаков и смеша рассудительных? Возвращайся сейчас же домой, своди приходы с расходами и не суйся в дела, которых не понимаешь!

Д о н К и х о т. Уважение к герцогской чете не позволяет мне ответить так, как вы заслуживаете. Одни люди идут по дороге выгоды и расчета. Порицал ты их? Другие — по путям рабского ласкательства. Изгонял ты их? Третьи — лицемерят и притворяются. Обличал ты их? И вот встретил меня, тут-то тебя и прорвало? Вот где ты порицаешь, изгоняешь, обличаешь. Я мстил за обиженных, дрался за справедливость, карал дерзость, а ты гонишь меня домой подсчитывать доходы, которых я не имею. Будь осторожен, монах! Я презрел блага мирские, но не честь!

Д у х о в н и к. О, нераскаянная душа!

Удаляется большими шагами.

Придворные переглядываются, едва заметно улыбаясь, осторожно подмигивая друг другу, сохраняя, впрочем, благочестивое и скромное выражение лиц.

Г е р ц о г. Не обижайтесь, рыцарь, мы с вами всею душой. Я сам провожу вас в покои, отведенные вам.

Дон Кихот кланяется с достоинством, благодаря за честь, и Санчо повторяет, поглядывая на своего рыцаря, его степенный поклон.

Г е р ц о г. Санчо! Говорят, вы хотите стать губернатором?

С а н ч о. Ваша светлость, кто вам рассказал? Впрочем, был бы герцог, а рассказчики найдутся! Ваша светлость, вы попали в самую серединку! Как в воду смотрели. Очень мне желательно получить губернаторское местечко!

Г е р ц о г. Подберите сеньору Санчо Пансе остров, да поживее.

М а ж о р д о м. Будет исполнено, ваша светлость.

Г е р ц о г. Пожалуйте за мной, сеньор рыцарь и сеньор губернатор.

Герцог идет с Дон Кихотом, герцогиня рядом с Санчо.

Придворные парами следом.

1 - й придворный *(карлику)*. Новый дурачок шутит по-новому, и куда крепче тебя! Плохи твои дела!

К а р л и к. Брешешь! Приезжий не дурачок, он не шутит и недолго уживется тут, среди нас, дурачков.

Яркий солнечный свет, веселый стук молотков. Узкая улочка. Прямо на улицу выходит мастерская, она же и лавка, в которой мастерят и продают разнообразнейшие металлические изделия.

На шестах висят готовые медные тазы, металлические зеркала, блюда, кувшины.

Работает хозяин, человек тощенький, почти лишенный зубов, но необыкновенно веселый. Рядом грохочут молотками его подручные.

Сытый конь привязан возле к столбу, косится тревожно на грохочущих молотками людей.

Владелец коня сидит в плетеном кресле, ждет, пока выполнят его заказ.

Это Самсон Карраско, в высоких сапогах со шпорамя, с хлыстиком в руке.

И подручные и хозяин заняты одним делом — пригонкой рыцарских доспехов.

Х о з я и н. Хотите, я удивлю вас, сеньор заказчик?

К а р р а с к о. Прошу вас, сеньор хозяин.

Х о з я и н. Я знаю, где вы добыли эти латы. Один ваш товарищ, саламанкский студент, выиграл их в кости у священника, собирающего старинные вещи. *(Хохочет.)* Угадал?

К а р р а с к о. Это нетрудно. Мой товарищ здешний, он и направил меня к вам. А вот вы попробуйте угадать, где добыл я щит.

Х о з я и н. Вам подарил его знакомый актер. *(Хохочет.)* Одного никак не могу разведать — зачем вам, бакалавру, рыцарские доспехи? До карнавала-то далеко!

К а р р а с к о. Для веселого человека каждый день карнавал, хозяин.

Х о з я и н. Позвольте примерить. *(Надевает на Карраско латы.)* Так. Тут под мышками немножко тянет. Придется перековать. *(Снимает*

латы и хохочет.)

К а р р а с к о. Почему вы смеетесь?

Х о з я и н. Стараюсь угадать, что за проделку вы затеяли. Я на подобных делишках зубы съел. Правда. Мне вышиб их начисто лучший мой друг, которого окатил я водой, когда целовался он со своей девушкой. *(Хохочет.)* Весело, люблю.

К а р р а с к о. Куда это народ все спешит и бежит мимо вашей лавочки?

Х о з я и н. На площадь. Сегодня приезжает наш губернатор.

К а р р а с к о. Губернатор? В ваш городишко?

Х о з я и н. Баратория не городишко.

К а р р а с к о. А что же в таком случае?

Х о з я и н. Остров. Да, да! Вы прибыли сюда сухим путем. Ничего не значит! Вы не знаете нашего герцога. Он приказал, чтобы наш городишко считался островом, значит, так тому и быть.

К а р р а с к о. Вот теперь я знаю вашего герцога.

Хозяин разражается хохотом вместе с подмастерьем. Вдруг визг, свист и шум нарушают общее веселье. Хозяин вскакивает.

Х о з я и н. Мальчишки бегут. Разглядели что-то веселенькое своими рысьими глазами.

Веселая толпа уличных мальчишек несется мимо с криками: "Ну и губернатор!", "Возьмем его в свою шайку!", "С таким не соскучишься!"

Х о з я и н. Стойте, ребята. Что случилось?

С т а р ш и й и з р е б я т. Если скажем, то за деньги.

Х о з я и н. Я и сам знаю. Платить вам еще! Губернатор едет? Подумаешь, новость!

С т а р ш и й и з р е б я т. А на чем?

Х о з я и н. В карете? На коне? В носилках?

Р е б я т а. Не отвечай! Хочет выведать все бесплатно. Идем!

Со свистом и шумом скрываются.

К а р р а с к о. Как зовут губернатора?

Х о з я и н. Сеньор Санчо Панса!

К а р р а с к о. Бежим на площадь! Нашел половинку, найду и целое.

На площади возвышается дворец — не слишком большой, но и не

слишком маленький. Флаги развеваются на его башнях. Слуги ждут на высоком и широком крыльце дворца. Толпа собралась на площади, оставив широкий проезд для губернатора.

Герцогский мажордом стоит на крыльце. Он взмахивает платком. Гремят трубы. Звонят колокола. Толпа, к которой присоединился и владелец мастерской вместе с Самсоном Карраско.

Крики: "Да здравствует губернатор!"

Но вот он сам выезжает из-за угла верхом на Сером. И толпа умолкает от удивления. На несколько секунд. И разражается хохотом.

К этому времени Санчо уже добрался до середины площади. Добродушно поглядывает он на хохочущих. Поднимает руку.

Толпа умолкает.

С а н ч о. Спасибо, братцы! Худо, когда губернатора встречают слезами. А вы смеетесь — значит, рады мне.

Одобрительный гул.

С а н ч о. Когда губернатор сидит на осле — это весело. Вот когда осла сажают в губернаторы, то уже не повеселишься.

Смех. Веселый гул.

С а н ч о. Я объясню вам, почему я на осле. Потому, что он невысок! На коне я еще, чего доброго, не услышал бы ваших жалоб. А ехать на осле — все равно что идти пешком. Вот я, вот земля, а вот вы, дорогие мои подданные.

Крики: "Да здравствует губернатор!"

С а н ч о. Спасибо, братцы. Ну и на сегодня достаточно. Я хоть и губернатор, а спать хочу, как простой. Завтра увидимся. Идите по хозяйству. До свидания!

Восторженный рев. Крики "Да здравствует губернатор!" усиливаются до того, что дворцовая челядь перестает смеяться, переглядывается в страхе.

Санчо слезает с осла, передает его мажордому и, раскланиваясь с достоинством, поднимается по ступенькам крыльца.

Губернаторская опочивальня.

Широкие окна ее глядят на просторную каменную галерею, идущую вокруг всего дворца.

Посреди опочивальни непомерно высокое и пышное ложе под балдахином.

Мажордом вводит губернатора.

М а ж о р д о м. Нет ли приказов, сеньор губернатор?

С а н ч о. Есть. Оставьте меня одного, мне спать хочется.

Мажордом удаляется с поклоном.

Санчо потягивается сладко, предвкушая отдых. Вскарабкивается на свое пышное ложе. Укладывается.

Но едва успевает он закрыть глаза, как оглушительный взрыв звуков пугает его так, что он валится с постели на каменный пол опочивальни.

Гремит оркестр, в котором преобладают турецкий барабан и кларнеты.

Санчо распахивает дверь.

Музыканты играют усердно. Музыка заглушает протестующие вопли Санчо.

Наконец он хватает дирижера за руки, и оркестр умолкает.

С а н ч о. Что это значит?

Д и р и ж е р. По этикету музыка должна играть у дверей губернаторской спальни, пока он не заснет.

С а н ч о. Пока он не умрет, хочешь ты сказать! Под такую колыбельную и пьяный не задремлет. Эй, стража!

Входит офицер с четырьмя солдатами.

С а н ч о. А ну, заточите его в подземелье. Месяца через два-три на досуге я займусь его делом.

Д и р и ж е р. Сеньор губернатор, пощадите, мы люди подневольные! Нам приказал играть сеньор мажордом.

С а н ч о. Ах вот чьи шуточки! Известно вам, где его спальня?

Д и р и ж е р. Так точно, известно.

С а н ч о. Хочешь избежать подземелья — веди туда своих голодраных шакалов и войте, дудите, гремите в барабан у мажордома под ухом. У самой его кровати. Пока он, проклятый, не уснет или не околеет. Поняли? Сеньор командир, отправьте с ним солдат! Пусть последят, чтобы приказ был выполнен в точности.

О ф и ц е р. С величайшей охотой, сеньор губернатор. *(Солдатам.)* Слышали приказ? Марш!

Оркестр удаляется, сопровождаемый солдатами.

Санчо, вздыхая, садится на кровати.

Задумывается.

С а н ч о. Эх, сеньор, сеньор! За последние годы я так привык делиться с вами тяготами да заботами! Где вы, сеньор, сеньор мой Дон Кихот Ламанчский!

Исчезает губернаторская опочивальня.

Дон Кихот ползает со свечой по полу своей спальни.

Д о н К и х о т. Ах, Санчо, Санчо, мне без тебя трудно! Вот уронил я иголку и не могу найти ее, проклятую. А ведь в нее вдет последний обрывок шелковой нитки, что имеется в нашем бедном дорожном запасе. У меня чулок пополз, Санчо. Сеньора Альтисидора настоятельно потребовала, чтобы пришел я на рассвете к павильону в парке побеседовать в последний раз о ее страстной любви ко мне... Я хотел, придя, еще раз провозгласить: “До самой смерти буду я верен Дульсинее Тобосской!” Но не могу же я говорить столь прекрасные слова с дыркой на чулке. О бедность, бедность! Почему ты вечно преследуешь людей благородных, а подлых — щадишь. Вечно бедные идальго подмазывают краской башмаки. И вечно у них в животе пусто, а на сердце грустно. Нашел!

С торжеством поднимает рыцарь с пола иголку с ниткой.

Д о н К и х о т. Да, да. Нашел! Санчо, слышишь? Спасен от позора!

Поставив ногу на стул, штопает Дон Кихот старательно свой чулок.

Легкий стук в дверь.

Д о н К и х о т. Иду!

Оторвав нитку и завязав на заштопанном месте узелок, втыкает Дон Кихот бережно иголку с остатками шелковинки в лоскуток сукна и прячет в шкатулку.

Оправляется перед зеркалом.

Выходит.

Маленький паж в черном плаще ждет за дверью.

Безмолвно паж отправляется в путь по длинному дворцовому коридору.

Дон Кихот — следом.

Они идут по темной аллее парка. Едва-едва посветлело небо над верхушками деревьев.

И вдруг ночную тишину нарушает глубокий, полнозвучный удар колокола.

Дон Кихот останавливается. Останавливается и мальчик.

Еще и еще бьет колокол. И издали доносится печальное пение хора.

Д о н К и х о т. Кто скончался во дворце?

Паж не отвечает.

Он снова пускается в путь. Дон Кихот, встревоженный и печальный, — следом.

Все громче погребальное пение хора.

Гремит орган.

Дон Кихот подходит к высокому павильону. Все окна его освещены. Звонит погребальный колокол.

Д о н К и х о т. Где же твоя госпожа?

П а ж. В гробу!

Д о н К и х о т. Отчего она умерла?

П а ж. От любви к вам, рыцарь.

Двери павильона распахиваются. Пылают сотни погребальных свечей. В черном гробу на возвышении, задрапированном черными тканями, покоится Альтисидора.

Придворные толпятся у гроба. Их траурные наряды изящны. Они степенны, как всегда. Стоят сложив руки, как на молитве. Склонили печально головы.

Герцог и герцогиня впереди.

Едва Дон Кихот подходит к возвышению, на котором установлен гроб, как обрывается пение хора. Умолкает орган.

В мертвой тишине устремляются все взоры на Дон Кихота.

Д о н К и х о т. Простите меня, о прекрасная Альтисидора. Я не знал, что вы почтили меня любовью такой великой силы.

Рыцарь преклоняет колени и выпрямляется.

И тотчас же едва слышный шелест, словно тень смеха, проносится над толпою придворных. Они указывают друг другу глазами на длинные ноги рыцаря. Увы! После его коленопреклонения петли снова разошлись, дыра зияет на чулке.

Д о н К и х о т. Мне жалко, что смерть не ответит, если я вызову ее на поединок. Я сразился бы с нею и заставил исправить жестокую несправедливость. Принудил бы взять мою жизнь вместо вашей молодой. Народ наш увидит, что здесь, на верхушке человеческой пирамиды, не только высокие звания, но и высочайшие чувства. О вашей любви сложат песни, в

поучение и утешение несчастным влюбленным. Сердце мое разрывается, словно хороню я ребенка. Видит бог — не мог я поступить иначе. У меня одна дама сердца. Одну я люблю. Таков рыцарский закон.

Он снова преклоняет колени, и, когда встает, смех делается настолько заметным, что рыцарь оглядывается в ужасе.

К прежней дыре на обоих чулках прибавились три новые, чего рыцарь не замечает.

Дон Кихот *(придворным дамам)*. Сударыни, сударыни, так молоды — и так жестоки. Как можете смеяться вы над странствующим рыцарем, когда подруга ваша умерла от любви к нему?

— Вы ошибаетесь, дон Вяленая Треска!

Рыцарь оглядывается в ужасе.

Альтисидора воскресла. Она лежит в гробу непринужденно и спокойно — на боку, облокотившись на подушку. Насмешливо, холодно улыбаясь, глядит она на Дон Кихота. Он отступает в ужасе к самой стене павильона, и тотчас же на окне за его спиной вырастает карлик в черном атласном плаще. Он держит что-то в руках.

Альтисидора. Вы, значит, и в самом деле поверили, что я умерла из-за вас, чугунная душа, финиковая косточка, в пух и прах разбитый и поколоченный дон! Как осмелились вы вообразить, что женщина, подобная мне, может полюбить вас, дон Верблюд? Вы, дон Старый Пень, вы не задели моего сердца и на черный кончик ногтя!

Смех, чуть более громкий, чем до сих пор.

Герцог. Не сердитесь, сеньор: это шутка, комедия, как и все на этом свете! Ведь и вы — настоящий мастер этого дела. Вы необыкновенно убедительно доказали нам, что добродетельные поступки — смешны, верность — забавна, а любовь — выдумка разгоряченного воображения.

Герцогиня. Примите и мою благодарность, рыцарь, — было так хорошо!

По ее знаку маленький паж подносит Дон Кихоту мешок с золотом.

Дон Кихот. Что это?

Герцог. Берите, рыцарь. Вы честно заработали свою награду. Но это не значит, что мы отпускаем вас!

Дон Кихот *(пажу)*. Мальчик, возьми эти деньги себе! *(Герцогу.)* Разрешите мне оставить замок, ваша светлость.

Откланявшись, направляется он к выходу, и вдруг придворные разражаются впервые за все время громовым, открытым хохотом.

Карлик прицепил Дон Кихоту на спину черную доску, на которой написано белыми буквами: “Дон Сумасшедший”.

Дон Кихот. Эй, Фрестон! Довольно хихикать за спиной! Я сегодня же найду тебя, и мы сразимся насмерть! Санчо, Санчо, где ты?

И он выбегает из павильона.

Карлик соскальзывает с подоконника.

Идет томно, не спеша через толпу придворных.

Говорит первому придворному едва слышно, краем губ:

— Дай золотой, а то осрамлю!

1-й придворный. Сделайте милость, сеньор шут. Берите два!

Он сует деньги шуту в ладонь.

Крыльцо губернаторского дома.

Санчо восседает в кресле. Позади его свита. Зрители расположились полукругом впереди.

Санчо. Кто хочет правосудия, выходи!

Шум толпы прорезает, покрывает отчаянный женский визг.

— Правосудия! Правосудия! — вопит женский голос. И, расталкивая толпу, к губернаторскому креслу бросается женщина. За руку волочит она молодого парня, по одежде — пастуха.

Женщина. Правосудия! Правосудия! Если вы не поможете мне, я доберусь до герцога, до короля, а они откажут — заберусь на самое небо.

Санчо. Тише, женщина! Говори прямо, в чем дело!

Женщина. Нельзя прямо, сеньор! Не позволяет женская скромность.

Санчо. Тогда подойди и расскажи мне шепотом на ухо.

Женщина. Весьма охотно, сеньор губернатор.

Она рассказывает. А Санчо слушает, и лицо его меняется по мере того, как женщина шепчет. Вот он захохотал. Но тотчас же лицо его приняло выражение ужаса и возмущения.

Санчо. Силком?

Женщина продолжает шептать.

Санчо. Безобразник. Эй ты, пастух. Ты обидел эту женщину? Признавайся!

П а с т у х. Нет, ваша милость. Все было с ее стороны, а с моей — одна только вежливость. Шел я по дороге, да и свернул в поле, потому что сеньора меня окликнула. Ну и тут, конечно, вмешался в дело сатана. Но все шло тихо у нас, мирно, пока не дернул меня черт похвастать, что продал я нынче четырех свиней. И потребовала сеньора, чтобы я отдал ей кошелек со всеми своими денежками. А я говорю: “Это еще что за новый налог?” А сеньора мне: “Болван, а то я тебя опозорю”. А я говорю...

С а н ч о. Вое понятно. Тише, дайте подумать.

Санчо думает. Народ хранит молчание.

С а н ч о. Пастух, отдай этой женщине кошелек.

Народ безмолвствует.

Пастух со слезами выполняет приказание.

Поклонившись губернатору, женщина уходит, скрывается в толпе.

С а н ч о. А ну, пастух, догони ее и отними свои денежки.

Пастух, не заставляя себя просить, бросается вдогонку.

Раздается отчаянный визг. Толпа волнуется. Людей кто-то вертит, толкает, расшвыривает. И вот появляется снова женщина. Она тащит за шиворот пастуха.

— Ваша милость! — вопит она. — Этот душегуб вздумал отнять у меня кошелек, который вы присудили!

С а н ч о. Удалось ему это?

Ж е н щ и н а. Да никогда! Скорей жизнь отнимет он у меня, чем кошелек. Ни клещами, ни молотками, ни львиными когтями — ничем на свете из меня не вытянешь кошелька. Скорей душу из меня вытряхнет, чем кошелек!

С а н ч о. Покажи-ка мне кошелек, почтенная дама.

Ж е н щ и н а. Вот он, сеньор губернатор!

Санчо берет кошелек и передает пастуху. Женщина делает было движение вперед, но губернатор восклицает:

— Ни с места! Вы попались, голубушка! Если бы защищали вы свою честь хоть в половину той силы, что обнаружили, спасая кошелек, с вами и великан не справился бы. Ступайте с богом или, вернее, ко всем чертям, не останавливаясь. Прочь с моего острова, а то я прикажу вам всыпать двести плетей. Живо беги, бесстыжая пройдоха!

Женщина исчезает.

Народ вопит:

— Да здравствует губернатор!

С а н ч о. Приветствуете меня! Значит, понимаете, что судил я справедливо?

Т о л п а. Понимаем!

С а н ч о. Значит, различаете, где правда, а где неправда?

Т о л п а. Различаем!

С а н ч о. А если понимаете и различаете — почему сами не живете по правде и справедливости? Нужно каждого носом ткнуть, чтобы отличал, где грязно, а где чисто? Обошел я городишко! В тюрьме богатые арестанты живут, будто в хорошем трактире, а бедные — как в аду. На бойне мясники обвешивают. На рынке половина весов неправильна. В вино подмешивают воду. Предупреждаю, за этот последний грех буду наказывать особенно строго. Ох, трудно, трудно будет привести вас в человеческий вид. Главная беда: прикажи я вас всех перепороть — сразу помощники найдутся, а прикажи я приласкать вас да одобрить — глядишь, и некому.

Т о л п а. Да здравствует губернатор!

Сопровождаемый восторженной толпой, скрывается Санчо во дворце. И едва успевает он скрыться во внутренних покоях, как раздается отчаянный топот копыт и на площадь влетает герцогский гонец.

Соскочив со взмыленного коня, передает он мажордому запечатанный пакет.

Прочтя послание герцога, мажордом ухмыляется. Народ с площади разошелся, и офицер, поддерживавший порядок, собирает свой караул, ведет во дворец.

М а ж о р д о м. Сеньор офицер, возвращайтесь в герцогский замок.

О ф и ц е р. Но губернатор...

М а ж о р д о м. Нет более губернатора. *(Протягивает герцогское письмо офицеру.)* Дон Кихот покинул замок вопреки просьбам герцога, и нам приказано весело закончить шутку с островом Баратория.

Санчо дремлет в кресле.

Грохот, вой, колокольный звон, свистки, гудки.

Санчо вскакивает.

Вся челядь губернаторского дворца ворвалась в опочивальню. Лакеи, пажи, повара размахивают шпагами и вопят: “К оружию, к оружию!”

Мажордом подкатывает к ногам Санчо два огромных щита.

М а ж о р д о м. Полчища врагов обрушились на остров. Вооружайтесь и командуйте, сеньор!

С а н ч о. Приказываю немедленно послать за господином моим Дон Кихотом! Он покончит с врагами одним махом! А где мои солдаты?

М а ж о р д о м. В бою!

С а н ч о. Вооружайте меня.

На каменной галерее, окружающей дворец, стоит сам губернатор. Два щита, огромных, прикрученных друг к другу веревками, — один на спине, другой на груди — превратили губернатора как бы в черепаху. Он и шага не может сделать в дурацком своем вооружении. Не может оглянуться. А дворцовая челядь свистит, воет, визжит за его спиной.

М а ж о р д о м. Вперед, сеньор! Ведите нас в бой!

С а н ч о. Не могу! Щиты не дают!

М а ж о р д о м. А вы прыгайте, прыгайте!

Санчо прыгает послушно. Бьют колокола. Свистят свистки. Орут люди.

Санчо валится на пол галереи, а дворцовая челядь пляшет на щитах, покрывающих его тело, и кувыркается, и прыгает через них.

М а ж о р д о м. Достаточно. Поднимите его!

Лакеи поднимают Санчо, освобождают от щитов.

С а н ч о. Ладно. Понял. Больше я не губернатор. Ухожу. Простому мужику всегда найдется дело. А куда денешься ты, мажордом, когда тебя выбросят со службы? Что ты умеешь, дармоед, лизоблюд? Назад!

Санчо взмахивает кулаком — и дворцовая челядь, которая было бросилась на него, отступает в страхе.

И вот он на своем Сером выезжает из города.

С а н ч о. Вперед, вперед, Серый, бедный мой друг и помощник в трудах и невзгодах! Воистину счастливы были мои часы, дни и годы, когда все мои мысли были заняты заботой о том, как бы починить твою упряжь да напоить твою утробу. Зачем научил меня бедный мой сеньор заботиться о людях? Вечно кончается это тем, что счастливые намнут тебе бока, а несчастные так и останутся при своих несчастьях.

Дон Кихот галопом вылетает в открытую холмистую долину, на которой расположен городок Баратория.

И в тот же миг Санчо выбирается на дорогу. Издали замечает он длинную фигуру своего рыцаря. Вопит во всю глотку:

— Сеньор! Отец родной! Сынок мой единственный! Я вот! Я нашелся. Я губернаторство проклятое бросил! Сеньор!

Дон Кихот. Санчо!

Друзья мчатся навстречу друг другу, спешиваются, обнимаются.

Росинант кладет голову на шею своего вечного спутника Серого в знак радости и приязни.

Дон Кихот. Довольно, довольно, Санчо! Не плакать надо, а радоваться! Вырвались мы с тобой на свободу. Свобода, свобода — вот величайший дар, посланный нам небом! Ради свободы можно и должно рискнуть самой жизнью, а рабство и плен — худшее из несчастий. На коней, Санчо, на коней! Фрестон бродит возле. Сразим его — и освободим весь мир. Вперед, вперед, ни шагу назад!

Дон Кихот скачет вперед. Санчо торопится следом, а с пригорка следит за друзьями Самсон Карраско в полном вооружении. Он далеко опередил рыцаря и оруженосца и теперь ждет их у дороги.

Но вдруг Дон Кихот натягивает поводья, останавливается в клубах пыли.

На холме завидел рыцарь ветряную мельницу, размахивающую крыльями:

— Ах, вот ты где!

Санчо. Кто, ваша милость?

Дон Кихот. Фрестон стоит на холме и машет ручищами. О, счастье! Он принимает вызов!

Санчо. Ваша милость, это мельница!

Дон Кихот. Стой на месте и не вмешивайся, коли не можешь отличить волшебника от мельницы. О, счастье! Сейчас виновник всех горестей человеческих рухнет, а братья наши выйдут на свободу. Вперед!

И Дон Кихот, разогнав отдохнувшего Росинанта, галопом взлетает на холм.

Санчо вскрикивает отчаянно.

Рыцарь сшибается с ветряной мельницей.

И крыло подхватывает его. И поднимает, и вертит, вертит мерно, степенно, словно не замечая тяжести рыцаря.

Но Дон Кихот не теряет мужества. Его седые всклокоченные волосы развеваются по ветру. Глаза широко открыты, словно безумие и в самом деле овладело рыцарем. Голос его гремит, как труба.

— А я говорю тебе, что верую в людей! Не обманут меня маски, что напялил ты на их добрые лица! И я верую, верую в рыцарское благородство! А тебе, злодею, не поверю, сколько бы ты ни вертел меня — я вижу, вижу! Победит любовь, верность, милосердие... Ага, заскрипел! Ты скрипишь от злости, а я смеюсь над тобой! Да здравствуют люди! Да погибнут злобствующие волшебники!

И с этими словами срывается рыцарь с крыла, падает в траву с грохотом доспехов.

И тотчас же встает, пошатываясь.

Карраско, скакавший к мельнице, придерживает коня.

Санчо, словно не веря глазам, ощупывает ноги и руки рыцаря.

С а н ч о. Сеньор, вы живы? Прямо говорите, не бойтесь огорчить меня! Вот чудеса-то! Верно говорят: храбрый что пьяный, его и гром не берет; не утонет утка — ее вертел ждет. Сеньор! Ну теперь видите, что это ветряная мельница?

Д о н К и х о т. Это мельница. А я сражался с Фрестоном. И он жив пока.

С трудом, с помощью Санчо, взбирается рыцарь на коня, опускается с холма на дорогу.

С а н ч о. Учили петуха молиться, а он все кукарекает. Научили медведя плясать, а упрямца не обтесать. Все-то вы ищете волшебников да рыцарей, а попадаются нам неучи да бесстыдники. Нет волшебников, сеньор, и, кроме нас с вами, во всей Испании не разыскать и завалященького странствующего рыцаря. Пресвятая дева! А это кто же такой?

На дороге ждет наших путников рыцарь с опущенным забралом.

Он, как и Дон Кихот, вооружен с головы до ног.

На щите — изображение сияющей луны.

Завидев наших всадников, рыцарь провозглашает:

— О славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я жду тебя, чтобы с оружием в руках установить, чья дама сердца прекраснее. А ну, свернем на поляну!

С а н ч о. Сударь, сударь! Нельзя драться больным! Мы только что схлестнулись с мельницей. Мы еще нетвердо сидим в седле.

Д о н К и х о т. Замолчи! Для рыцаря лучшее лекарство — поединок. Ваше имя?

Р ы ц а р ь. Рыцарь Белой Луны!

С а н ч о. Из турок, что ли?

Д о н К и х о т. Замолчи, неуч! У тех на гербе не луна, а полумесяц. Выбирайте место, рыцарь, и начнем!

Рыцарь сворачивает на просторную поляну.

Разъезжаются.

И разом устремляются навстречу друг другу. Росинант и трети поляны не прошел, когда сытый и статный конь Рыцаря Белой Луны, набрав полную скорость, налетел на него с разбегу всею грудью.

Отчаянный крик Санчо.

Росинант падает.

Дон Кихот вылетает из седла.

Санчо бросается к своему хозяину, но Рыцарь Белой Луны уже стоит над поверженным противником, приставив меч к его горлу.

Р ы ц а р ь Б е л о й Л у н ы. Сдавайся, рыцарь!

И Дон Кихот отвечает ему слабым и глухим голосом:

— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, я — самый несчастный рыцарь на свете. Но я не отрекусь от истины, хоть и нет у меня сил ее защищать. Вонзай свой меч, рыцарь!

Р ы ц а р ь Б е л о й Л у н ы. Пусть цветет во всей славе красота Дульсинеи Тобосской! Единственное, чего я требую, — это, чтобы великий Дон Кихот удалился в свое селение на срок, который я укажу. Я победил, и по закону рыцарства вы не можете отказать мне в послушании.

Д о н К и х о т. Повинуюсь.

Рыцарь Белой Луны вкладывает свой меч в ножны.

Санчо помогает подняться Дон Кихоту, Росинант встал на ноги сам. Он пощипывает траву с обычным достоинством своим, забыв о недавнем поражении.

Победитель снимает шлем, и Санчо вскрикивает:

— Сеньор бакалавр!

И тот отвечает, смеясь во весь свой большой рот:

— Бакалавр Самсон Карраско к вашим услугам. Я победил вас по

всем правилам. Домой, сеньор, домой! Скорее домой!

Седой, печальный, ссутулившийся, словно на несколько лет постаревший, Дон Кихот шагает по дороге, ведет под уздцы Росинанта.

Рядом Карраско. И он спешился. И он ведет своего коня.

Санчо, нахохлившись, едет шажком за своим повелителем.

Небо серое, накрапывает дождь.

Дон Кихот расстался со своими рыцарскими доспехами. Они навьючены на спину Росинанта.

Карраско. Сеньор! Будьте благоразумны. Кому нужны странствующие рыцари в наше время? Что они могут сделать? Давайте, сеньор, жить разумно, как все.

Некоторое время путники шагают молча.

Дождь все усиливается.

Карраско. Не грустите, сеньор! От этого, как установила наука, кровь приливает к становой жиле и вызывает мокроты! Что вас заботит?

Звон цепей.

Карраско. Надо жить, сеньор, как учат нас философы: ничему не удивляться. Достойно пожилого человека во всех случаях жизни сохранять философское спокойствие.

Каторжники, словно четки, нанизанные на бесконечно длинную цепь, двигаются по дороге навстречу путникам. Их не менее ста. Они так устали, что безразличны ко всему. Они и не глядят на Дон Кихота, а он не сводит с них глаз.

Карраско. Если ты выработаешь в себе философское спокойствие, то обретешь подлинную свободу.

Дело уже идет к вечеру.

Карраско. Сеньор, вы все грустите. Жизнь сама по себе — счастье! Живите для себя, сеньор!

Высокий дуб, простирающий ветви свои над дорогой. На каждой ветви дерева — повешенный.

Дон Кихот. Бакалавр! Ваше благоразумие — убийственней моего безумия.

Вечер.

На поляне при дороге горит, полыхает костер.

Дон Кихот сидит на пеньке. Санчо и Карраско возятся у котелка, из которого валит пар.

С а н ч о. Пожалуйте кушать, сеньор!

И вдруг из тьмы выбегает, оглядываясь, словно ожидая, что вот-вот его ударят, мальчик лет тринадцати.

М а л ь ч и к. Покормите бедного подпаска! Такой вкусный запах идет от вашего котелка, что я за пятьсот шагов почуял. Ах!

Бросается к Дон Кихоту, обнимает его ноги.

Д о н К и х о т *(радостно)*. Андрес!

А н д р е с. Да, это я, сеньор!

Д о н К и х о т. Гляди, Карраско! Нет, не напрасно я странствовал и сражался. Я освободил мальчика от побоев, и он не забыл этого, хотя и прошло столько времени с тех пор. Ты хочешь попросить меня о чем-нибудь, Андрес?

А н д р е с. Да, сеньор!

Д о н К и х о т. Говори, не бойся! О чем? Слушай, Карраско.

А н д р е с. Господин странствующий рыцарь! Не заступайтесь, не заступайтесь за меня никогда больше, хотя бы раздирали меня на части. Оставьте меня с моей бедой, потому что худшей беды, чем ваша помощь, мне не дождаться, да покарает бог вашу милость и всех рыцарей на свете. Вы раздразнили хозяина, да и уехали себе. Стыдно, ваша честь! Ведь после этого хозяин меня так избил, что я с тех пор только и вижу во сне, как меня наказывают.

Д о н К и х о т. Прости меня, сынок. Я хотел тебе добра, да не сумел тебе помочь. Дайте мальчику похлебки!

Дон Кихот встает и удаляется в темноту.

Зима.

Ночь.

Тяжелобольной Дон Кихот лежит на постели в своей спальне. За окном — дождь со снегом.

Вокруг больного собрались все его друзья и близкие.

Тут и племянница, и экономка, и священник, и цирюльник. Бакалавр Самсон Карраско держит руку на пульсе больного.

Д о н К и х о т. Ну вот и все, сеньоры. Вспоминайте меня на свой лад, как просит ваша душа. Пусть останусь я в памяти вашей не Дон Кихотом Ламанчским. Бог с ним. Вспоминайте бедного идальго Алонзо Кехано, прозванного за свои поступки — добрым. А теперь оставьте меня. Дайте мне уснуть.

Все вопросительно взглядывают на Самсона Карраско.

К а р р а с к о. Пульс не внушает опасений. Он поправится, поправится! Не для того я заставил сеньора Кехано вернуться домой, чтобы он умер, а для того, чтобы жил, как все.

Д о н К и х о т. Вот этого-то я и не умею.

К а р р а с к о. Сон принесет ему пользу. Идемте, идемте!

Комната пустеет.

Вдруг снежная буря прекращается.

Окно распахивается настежь.

Снега как не было. Цветущее миндальное дерево заглядывает в комнату.

Полная луна стоит в небе.

Тени от ветвей дерева бегают по полу и по стене, словно живые существа забрались в спальню больного.

Раздается шорох, шепот.

И негромкий голос произносит явственно:

— Сеньор, сеньор! Не оставляйте меня!

Дон Кихот садится на постели.

— Кто меня зовет?

— Это я, Дульсинея Тобосская!

Рыцарь вскакивает, прижимает руки к сердцу и роняет, словно обессилев.

Перед ним в богатейшем бархатном и парчовом наряде, сияя серебром и золотом, сверкая драгоценными камнями, стоит Альдонса.

Д о н К и х о т. Спасибо вам, сеньора, за то, что приснились мне перед моей кончиной.

А л ь д о н с а. Я запрещаю вам умирать, сеньор. Слышите? Повинуйтесь даме своего сердца!

Д о н К и х о т. Но я...

А л ь д о н с а. Вы устали? Да? А как же я?

И по мере того как она говорит дальнейшие слова, меркнет сверкание

драгоценных камней, исчезают парча и бархат. Альдонса стоит теперь перед рыцарем в своем крестьянском платье.

А л ь д о н с а. А как же я? Нельзя, сеньор, не умирайте. Простите, что я так говорю, простите меня, необразованную, но только не умирайте. Пожалуйста. Уж я-то сочувствую, я-то понимаю, как вы устали, как болят ваши натруженные руки, как ломит спину. Я сама работаю с утра до ночи, понимаю, что такое встать с постели, когда набегаешься до упаду. А ведь приходится! Не умирайте, дорогой мой, голубчик мой! Мы работаем, надрываемся из последних сил с детства до старости. Нужда не велит присесть, не дает вздохнуть, — и вам нельзя. Не бросайте меня. Не умирайте, не надо, нельзя!

Дульсинея исчезает, и тотчас же в цветущих ветвях миндального дерева показывается красное лицо Санчо Пансы.

С а н ч о. Ах, не умирайте, ваша милость, мой сеньор! А послушайтесь моего совета и живите себе! Умереть — это величайшее безумие, которое может позволить себе человек. Разве вас убил кто? Одна тоска. А она баба. Дайте ей, серой, по шее, и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам! Пусть кукушка тоскует, а нам некогда. Вперед, сеньор, вперед! Ни шагу, сеньор, назад!

Дон Кихот оказывается вдруг в рыцарских доспехах. Он шагает, через подоконник, и вот рыцарь и оруженосец мчатся по дороге под луной.

Широкое лицо Санчо сияет от счастья. Он просит:

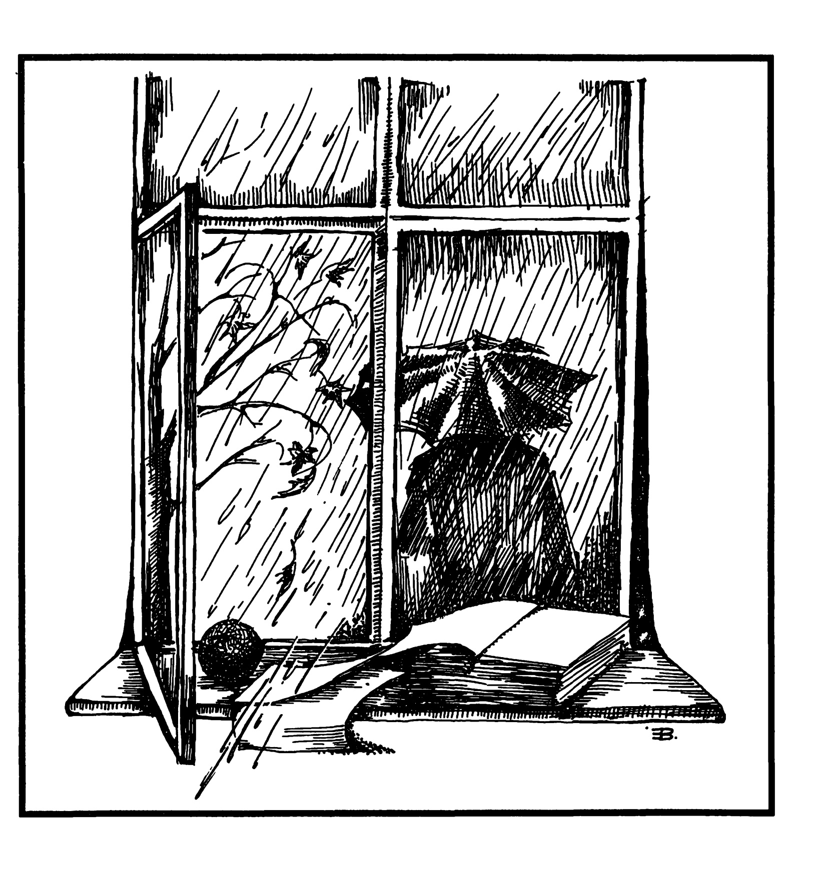
— Сеньор, сеньор, скажите мне хоть словечко на рыцарском языке — и счастливее меня не разыщется человека на всей земле.

Д о н   К и х о т. Сражаясь неустанно, доживем, доживем мы с тобою, Санчо, до золотого века. Обман, коварство и лукавство не посмеют примешиваться к правде и откровенности. Мир, дружба и согласие воцарятся на всем свете. Справедливость уничтожит корысть и пристрастие. Вперед, вперед, ни шагу назад!

Все быстрее и быстрее скачут под луной славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский и верный оруженосец его Санчо Панса.

1956

ПИСЬМА



1

Н. Е. Шварц (Рига).

8 августа (1947 г.)

Дорогая моя Наташенька!

Прости, что я отвечаю тебе с опозданием. Из Москвы приехал режиссер Фрэз и сидит здесь, ждет, пока я кончу сценарий[2]. Торопит изо всех сил. А с другой стороны наседают ремесленники, которым я обещал сдать пьесу для их самодеятельности. Не кончив обе эти работы, я не могу уехать. А группа "Золушки" едет в Ригу 10-го[3]. К этому времени мне ничего не успеть. Надо еще съездить в Москву, вытащить деньги, которые мне так и не перевели за книжку. Словом, короче говоря, я сижу с утра до вечера, как ты перед экзаменами, расплачиваюсь за напрасно потерянное время. А уехать ужасно хочется.

Ты обещала, Натуся, когда мы прощались на вокзале, писать мне часто, посылать письма-дневники. Но прислала только одно. Утешаюсь тем, что жить тебе интересно, писать некогда. Так? Мне жаль только, что самый дом отдыха по письму твоему я представляю ясно, а людей, соседей твоих, не знаю.

Теперь относительно Писарева. Это критик большой. Точнее— публицист. Но то, что он писал о Пушкине, нелепо. Нам, которые отошли далеко от отчаянных литературных споров тех дней, читать придирчивый, несправедливый, оскорбительный разбор Онегина — просто мучительно. Он подменяет Онегина Пушкиным и ругает Пушкина за Онегинское поведение. Встретимся — поговорим подробно.

Я так привык, что ты все время возле, так привык знать, что я с тобою, какое у тебя настроение, что теперь все время беспокоюсь. (...)

Вчера, седьмого, я перевел тебе телеграфом пятьсот рублей. Узнала ли ты относительно продления путевок?

В Сочи с театром я, очевидно, не поеду. С моей службой в Комедии ничего не вышло. Точнее, по некоторым причинам я отказался у них работать. Писать об этом длинно. Расскажу при свидании.

Маринка Герман в Луге. Таня была у нее и вернулась в ужасе4. Ребят в Литфондовском доме кормят отвратительно. Хорошо, что ты не поехала туда.

Ужасно хочется повидать тебя, погулять, поговорить. Ты даже представить себе не можешь, как мне тебя не хватает. (...)

Ну — до свидания, девочка. Будь умницей. Целую тебя. Катерина Ивановна — тоже.

Твой папа.

---

[1] Фрэз Илья Абрамович (1909—1994) — кинорежиссер, снимал фильм "Первоклассница" по сценарию Е. Шварца.
[2] Е. Л. Шварц выехал в дом отдыха в Лиелупе, где отдыхала съемочная группа "Золушки", через неделю после отъезда туда Н. Е. Шварц.
[3] Т. А. Герман, жена Ю. П. Германа. Марина — их дочь.

2

Н. Е. Крыжановской[1].

25 июля (1949 г.)

Дорогая моя Наташенька — прости, но здесь приходится печатать поневоле. Ручку я забыл взять из дому, чернил в номере приличных нет. Словом, привыкай к печатному слову.

Доехал я до Сочи, как мистер Твистер. Купе рядом с нашим оказалось незанятым, и проводники перевели меня туда, с тем условием, что если в Харькове или в Ростове появятся пассажиры, то я вернусь на свое верхнее место. В этих городах, как ты сама понимаешь, я с ужасом вглядывался во всех, кто приближался к вагону, но, о счастье! — тревоги мои оказались напрасными. До самого конца меня никто не потревожил, и я в своем купе когда хотел спал, когда хотел валялся и читал, когда хотел глядел в окно. Словом, жил, как дома.

Жарко не было. Когда проезжали через Донбасс — самое жаркое и пыльное место — начались грозы с ливнями.

К величайшему моему удовольствию, самую любимую мою часть дороги — от Армавира до Туапсе — мы проехали не ночью, как обычно, а днем. И я насмотрелся с наслаждением на знакомые с детства места. Одно место на этом пути, долину через Туапсе, по которой я проходил в ранней молодости пешком, по майкопскому шоссе, я часто вижу во сне, и у меня было очень странное чувство, когда я увидел ее наяву.

На вокзале нас встретили Акимов, Юнгер, Смирнов и другие с буке-

тами цветов. Вечером я получил номер в Приморской гостинице, так что, как видишь, все благополучно и роскошно. И вместе с тем, как это ни грустно, живу я как в тумане. Я почему-то не очень понимаю, что я в Сочи, на море, на юге. Нет особенного, праздничного ощущения, благодаря которому я и люблю эти поездки. В дороге оно моментами вспыхивало, а здесь совсем потускнело. Думаю, что все это от непривычки ездить в одиночестве.

Деловая сторона дела по-прежнему не ясна. Все спорим. Вчера выяснилось, что Репертком пьесу разрешил, но при одном условии — чтобы она не шла октябрьской постановкой. То есть ею не будут открывать сезон. Зачем же мы спешили, ехали сюда, тратились? Конечно, мне не вредно пожить на юге — но все-таки не в июле!

Впрочем, я надеюсь, что все утрясется. Номер у меня хороший, двойной, прохладный, выходит на теневую сторону. С обедами и ужинами меня устроил Акимов у своей бывшей хозяйки. Нам (Акимову и мне) дают ужин по очень недорогой цене. Если я начну работать (а все данные говорят за то, что начну) — то и настроение прояснится.

Я еще ни разу не купался. Первые дни был такой прибой, что пляж вообще пустовал, а сейчас все разговариваем да заседаем.

Вчера забежал на почту, послал тебе открытку. На другой день после приезда отправил телеграмму. От тебя — увы! — не получил еще ни слова. Пиши мне, родная, и пиши почаще. Это очень мне поможет жить здесь так, как полагается на море и на юге. Я о тебе все время думаю.

Ну вот тебе полный отчет обо всех моих делах.

Целую тебя, доченька. И всю семью тоже.

Пиши!

Папа.

---

[1] Письмо публикуется впервые.

3

Н. Е. Крыжановской[1] (Москва).

(Сочи), 1 августа 1949

Дорогая моя доченька, я уже собирался посылать тебе телеграмму, когда, наконец, пришло твое письмо. А вслед за письмом на другой

день открытка, и я обрадовался и успокоился.

Дела мои таковы.

Пьесу не репетируют и не будут репетировать. Репертком неожиданно потребовал таких изменений в пьесе, которые в один день, даже в один месяц не сделаешь. В частности — предложено категорически снять всю сцену с куклами. Мы поговорили, посоветовались и решили, что я буду заниматься переделками вместе с театром, не спеша, основательно[2]. А пока театр приступил к репетициям пьесы Погодина "Миссурийский вальс".

Несмотря на все это, настроение у меня значительно лучше, чем в первые дни. Я отлично себя чувствую, старательно худею, работаю и купаюсь. Хуже всего с похуданием, потому что никак не научусь мало есть.

Я встаю рано, между шестью и семью, и отправляюсь на Ривьеру, на платный пляж. Делаю я это, во-первых, потому, что там очень хорошее (сравнительно) дно. Мелкие камешки, через три шага уже можно плыть. А во-вторых, ходьбы туда примерно полчаса. Это важно для похудения.

В это время дня идти не очень жарко. Я иду под магнолиями и пальмами, и платанами, и акациями, и мимозами, и олеандрами, мимо поликлиники, мимо кино, мимо кафе-молочной, мимо ресторана "Сочи", я спускаюсь в центральную часть города. Здесь я миную почту и переговорную станцию и большой, как в Москве, магазин "Гастроном" с ледяным боржомом, нарзаном и лимонадом. Пить хочется ужасно, но я ничего не пью, чтобы не полнеть. Далее по великолепной, но, увы, уже раскаленной улице я иду между садами к Ривьере. Вот наконец самая прохладная часть пути: минут восемь я шагаю, замедлив нарочно шаг, в густой тени под огромными чинарами, которые растут по обеим сторонам улицы, по преданию, с основания города. За этой самой прохладной частью пути — самая жаркая. Я выхожу на великолепный мост, похожий на московские. Он тянется над рекой Сочи. Река зеленоватая, как это бывает с горными речками. Направо я вижу далеко-далеко долину реки и горы, а налево, совсем близко — море. В реке играют рыбы, блестят на солнце. И вот я наконец попадаю опять в тень, в парк, что вокруг Ривьеры. Здесь парикмахерская, в которой работал отец Рубена[3], снова кафе, в котором, несмотря на ранний час, все столики заняты, газетный киоск и множество киосков с мороженым и ледяной водой. Однако я опять героически воздерживаюсь от еды и питья.

Иду под олеандрами, которые сплошь покрыты красными цветами, мимо белого здания Ривьеры со множеством балконов и по каменной лестнице спускаюсь к морю. Девица берет с меня полтинник и пропускает на пляж, где я получаю топчан, ставлю его в тень и читаю, раздевшись, "Евгения Онегина", которого ношу с собою в чемоданчике.

Просидев с полчаса в тени на ветерке, который иногда не дует по случаю полного штиля, я иду в воду, которая, как всегда, прекрасна. Температура воды сегодня была — 26 градусов.

Искупавшись и отдохнув, я отправляюсь пешком обратно. Иду для разнообразия другим путем, не сворачивая к почте и телефонной станции, иду прямо по великолепной улице Сталина вверх по другой лестнице, но все под такими же цветущими деревьями. Домой в гостиницу прихожу часам к одиннадцати.

Уже очень жарко. Я принимаю душ и либо пишу письма, либо пишу Медведя[4], либо думаю, либо, если уж очень жарко — засыпаю.

В три иду вместе с Акимовым и Юнгер обедать, и снова — домой, пока не спадет жара. Это значит часов до шести. Тут я снова отправляюсь в путь, но на этот раз куда придется. Либо по старому шоссе, вспоминая, как шел тут тридцать пять лет назад с Юркой Соколовым5 в Красную Поляну, либо куда глаза глядят.

Все это хорошо, но в результате этого образа жизни у меня разыгрывается к концу дня такой аппетит, что хоть караул кричи.

Но я не кричу караул, а ем себе на здоровье, чем быстро восстанавливаю все, что потерял за день.

Вот тебе, доченька, полный отчет обо всей моей жизни. Говорил с Катей по телефону. Слышно было прекрасно. Как жаль, что у тебя нет телефона!

Пиши мне, родная, почаще, и я буду доволен жизнью вполне.

Целую тебя и всех.

Твой папа.

---

[1] После замужества Н. Е. Крыжановская переехала в Москву.

[2] Имеется в виду пьеса "Первый год". После многократных переделок пьеса была поставлена в 1957 году под новым названием "Повесть о молодых супругах".

[3] Рубен Антеньянц, троюродный брат Наталии Евгеньевны по материнской линии.

[4] Впоследствии "Обыкновенное чудо".
[5] В юности Е. Шварц совершил пешее путешествие из Майкопа в Красную Поляну со своим другом Юрием Соколовым. См. "Дневники" в книге Е. Шварц. "... я буду писателем".

4

30 октября 1949

Дорогая моя доченька, вчера получил твое письмо, хотел сразу ответить, но все время мешали. И сегодня с утра гости. Только что уехала Анютка[1], которая собиралась к нам еще вчера, в субботу, явилась в воскресенье, сегодня, пробыла два часа и уехала на заседание.

Спасибо тебе за письмо, Натуся. Помни только, что я взял с тебя слово писать мне правду, всю правду, без умалчиваний.

Рад, что ты чувствуешь себя счастливой. Насчет занятий я вот что тебе скажу. Великая сила — упражняться в чем-нибудь. Я сделал это открытие случайно мальчиком. Идя домой из реального училища, я читал вывески задом наперед. Например: яифарготоф артеп анихум. И через месяц примерно заметил, что мгновенно, как будто даже без всякого участия сознания, могу вывернуть любое слово наизнанку. Это свойство сохранил я до сих пор. Только теперь я могу сказать мгновенно задом наперед только короткие слова. Односложные. Рассказываю я это к тому, что занятия не даются тебе пока что временно, по отсутствию гимнастики. Не сдавайся, упорно занимайся химией и физикой, и все пойдет отлично. Все уложится в голове. А голова у тебя хорошая. Сколько, к примеру, стихов ты знаешь, не уча их наизусть. Да и понимаешь ты самые сложные вещи, если не внушать тебе заранее, что того-то и сего-то уж тебе не понять никак.

И второе — иногда человек опускает руки не потому, что не выходит, а потому, что так спокойнее. Помни, что тебе в этом направлении я успокоиться не дам. У меня есть своя профессия, но и то отсутствие высшего образования, отсутствие навыков работать систематически — мешает иногда ужасно.

Прости, что пишу такие общеизвестные вещи. Мне просто хочется напомнить, что их общеизвестность не мешает тому, что они совершенно верны.

Биологический факультет интересен, но — смотри! Обратно ходу не

будет!

Напоминаю Олегу [2], что он обещал показать тебя сердечнику.

Когда пойдешь к зубному врачу?

Больше не буду писать о неприятных вещах.

У нас с 29-го числа — морозы. 5 — 6 градусов. Небо ясное. Хожу гулять знакомыми тебе дорогами и все думаю, думаю о тебе, говорю тебе целые речи, которые ты никогда не услышишь, потому что в них, надеюсь, миновала надобность. Вел я их до твоего последнего письма. Умоляю тебя — держи меня в курсе всех своих дел. И помни, что я всегда с тобой.

С бабушкой[3] говорил по телефону. Она ужасно без тебя скучает. Если будет хоть маленькая возможность, я привезу ее в Москву. Пусть поживет у сестер и повидает тебя.

В начале ноября я вряд ли попаду в Москву. Приеду, когда кончу пьесу, а у меня пока что готов только первый акт. Второй и третий только набросаны. Впрочем, может быть, я привезу ее в театр в черновом виде. Во всяком случае это будет, очевидно, не ранее 15-го ноября.

Если же будут деньги, то, вероятно, я не выдержу и приеду к тебе еще раньше.

Вопрос о переезде в Москву у нас встал снова на очереди. Этот вопрос в принципе решен. Думаю, что в конце концов мы переедем. Даю тебе слово, что все будет сделано для этого[4].

Когда же у вас будет телефон? Неужели нет надежды?

Ну — целую тебя, доченька. Привет всему семейству. Следующее письмо напишу дня через три, чтобы не было таких больших перерывов в нашей переписке.

Очень прошу тебя, позвони Наташе Григорьевой[5]. У Олега записан ее телефон. Приеду — поведу тебя к Маршаку.

Еще целую.

Твой папа.

---

[1] А. А. Лепорская.

[2] Муж Наталии Евгеньевны.

[3] Искуги Романовна Халайджиева (урожд. Налбандян), внучатая племянница Микаэла Налбандяна, великого армянского поэта, бабушка Наташи Шварц.

[4] Е. Шварц в Москву не переехал. Вместо этого Крыжановские пе-

ребрались в Ленинград.

[5] Наталья Васильевна Григорьева (в девичестве Соловьева) (1895—1975), подруга детства Е. Шварца. См. "Дневники" в книге Е. Шварц "... я буду писателем".

5

9 ноября 1949

Дорогая моя доченька, письмо твое от 3-го я получил в первый день праздника. Я уже начинал беспокоиться. Виною тому была отчасти Ганя[1], которая звонила, что ты не отвечаешь на ее письма и телеграммы, что она вынуждена была написать открытку Гале[2], что... и так далее и так далее, без конца, со все возрастающей силой негодования и мрачности. Ганю я успокоил, насколько это возможно, сказав, что Герман перед отъездом своим из Москвы видел тебя на улице с Олегом, что письма от тебя приходят веселые, что, несомненно, у тебя все в порядке. И успокоив ее, рассудку вопреки, заразился, как это бывает, ее беспокойством, хотя знал отлично, что все это у мамы, так сказать, стихия. Игра природы. Но во всяком случае я обещал ей, что повлияю на тебя в отношении точности и быстроты в переписке. Влияю.

Твое письмо меня вдвойне обрадовало. И написано оно очень хорошо (военную группу Олега и всю вечеринку, и самого Олега я увидел так ясно, будто сам присутствовал у вас в тот день), и настроение у тебя, как мне показалось, хорошее и здоровое. А больше мне ничего и не надо.

Герман и в самом деле уверял меня, что видел, как ты с Олегом входила в Художественный театр. Он будто бы окликнул тебя, ты будто бы оглянулась, но его не заметила. Думаю, что он ошибся или приврал, зная, что мне будет приятно услышать, что ты веселая и довольная шла в театр. Ведь по твоему письму выходит, что ты только собираешься во МХАТ?

Очень рад, что весь день занята и чувствуешь себя нужной и ответственной особой. Без этого и в самом деле жить трудно. Это я не шутя говорю.

Мы живем по-прежнему, 6-го ноября исполнилось два месяца с тех пор, что мы в Комарово. За это время я только одну ночь провел в го-

роде.

Погода стоит удивительная. Такая удивительная, что мы начинаем тревожиться. Почки на сирени — зеленые, вот-вот раскроются. Распустились барашки на вербе! Идут теплые весенние дожди. Часто бывает солнце. Спроси Олега — не отразится ли это вредно на нашем саде? Катюшу особенно тревожит земляника, которая выбросила множество новых листиков.

Я работаю. Переменил ленту на машинке, что ты, вероятно, заметила уже. Пьеса как будто получается. Это сказка: "Каменные братья"[3]. В этой сказке Баба-Яга превращает в камень братьев, которые пошли искать счастья и доли. На розыски отправляется не третий брат, как это обычно бывает и сказках, а мать. Женщина смелая, живая, веселая, она после ряда приключений побеждает Бабу-Ягу и всех врагов. Вот и все. Никому не рассказывай пока об этом. Я из суеверия последнее время не люблю рассказывать о своей работе пока не кончу. Но тебе можно. Доволен я характером матери. И тем доволен, что сделал ее главной героиней. Как мне кажется, это педагогично. Впрочем, посмотрим.

На праздники мы ждали нашествия гостей. Собирались к нам Германы и Надежда Николаевна с Колей[4]. Мы пекли пироги. Но, можешь себе представить, никто не приехал. Юра заболел ишиасом. Надежда Николаевна — гриппом, и произошло то, о чем ты мечтала иногда маленькой. Гости не пришли, и все вкусные вещи достались нам.

День у нас обыкновенно проходит так.

Утром — я работаю. Потом, примерно часа в два, иду гулять, по морю до композиторского дома, потом наверх, через лес домой. Это, как ты помнишь, занимает часа два. Потом обед. Потом борьба с привычкой к послеобеденному сну. Утомленный борьбой, я обыкновенно засыпаю.

Вечером я опять работаю. Попозже — играем в карты. Катюша раскладывает пасьянсы. Один — знакомый тебе, а второй новый, под названием "Кармен". Научил нас этому пасьянсу Пантелеев.

Спать ложусь, к сожалению, поздно. Часа в три. Пишу немножко. Читаю. А встаю самое позднее в девять.

Вот тебе и все. Жизнь, как видишь, по возрасту.

Ну, доченька, до свидания. Поцелуй Олега и Нину Владимировну[5]. Пиши, без твоих писем беспокойно и скучно. Постараюсь выбраться в Москву как можно скорее.

А Детгиз денег так и не перевел! Как это тебе нравится?
Катюша шлет приветы всему семейству.

Твой папа.

---

[1] Гаянэ Николаевна Холодова — мать Натальи Евгеньевны.
[2] Галина Юркина, студентка, подруга Наталии Евгеньевны.
[3] Окончательное название "Два клена".
[4] Н. Н. Кошеверова и ее сын.
[5] Свекровь Натальи Евгеньевны.

6

(6 сентября 1950)

Дорогая моя Наташенька, получил твое письмо только вчера, пятого. Мы были в городе два дня, и открытка пролежала нечитаной до моего возвращения. Но я предполагал, что найду вести от тебя. Бабушка мне позвонила и сообщила радостно, что ты теперь исправилась, пишешь, и рассказала все новости о тебе.

Сегодня ровно год, как мы переехали в Комарово. Подводя итоги, думаю, что в городе мы прожили бы это время значительно хуже. Конечно, я мог бы тут больше работать, но теперь я нагоню упущенное. Кончил и восьмого отправлю в Москву второй акт пьесы. За ним приедет ко мне ихняя, мтюзовская завлитша. Позвонили мне из цирка, что мою пантомиму, которую я сдал еще весной, не только приняли, что со мною бывало довольно часто, а и разрешили к представлению, что случается несколько реже[1]. Обещают в течение сентября заплатить деньги.

Часто вспоминаю Андрюшку[2]. Теперь он для меня стал совсем близким человеком. Он очень трогательный мальчик. Продолжает ли он плакать в твое отсутствие, как научился в последний день, или перестал?

Я тоже очень доволен твоим приездом в Ленинград и Комарово[3]. Жалко, что никак не могу научиться разговаривать с тобою в письмах так же легко и на такие же важные темы, как это бывает при встречах. Умоляю тебя, помни, что говорили мы о семейной жизни. Никогда, никогда не обижай тех, кого любишь, как бы тебе ни чудилось, что ты права. Владей собой! Умоляю! Не ворчи, не скрипи, не ссорься, чтобы

не было чувства, что в квартире не в порядке канализация. Пока я доволен тем, как вы обращаетесь друг с другом. Доволен в основном. Я говорю о дальнейшем. Вероятно, совсем без ссор не обходятся даже самые дружные семьи, но пусть ссоры будут не бытом, а редким событием. Прости, что учу тебя. Ничего не поделаешь. Я все время думаю о тебе и твоей семейной жизни. А кроме того, как ни поворачивай, а я все-таки дед. А у дедов это страсть — учить всех, как надо жить.

Все эти дни шли дожди. Сегодня вдруг опять стало потеплее.

Показалось солнце, и я, выйдя в сад, удивляюсь тому, как у нас хорошо. (...)

Получил письмо от Глеба[4]. Он начинает привыкать к Камчатке. Жизнь он ведет конечно трудную, но все-таки и очень интересную. Читая его письмо, я позавидовал ему. Насколько интереснее начинать жизнь, чем кончать? Ты и представить себе не можешь.

Целую тебя, доченька. В конце сентября или начале октября буду в Москве по поводу пьесы. Целую Андрюшу, Олега, Нину Владимировну.

Пиши!

Твой папа.

---

[1] Речь идет о пантомиме “Иван Богатырь”.

[2] 13 февраля 1950 г. у Наталии Евгеньевны родился сын Андрей.

[3] Лето 1950 г. Наталия Евгеньевна с сыном провела в Комарово.

[4] Сын Н. В. Григорьевой (Соловьевой) Глеб Николаевич Григорьев.

7

(18 декабря 1950)

Дорогая моя Наташенька, спасибо тебе за письма. Я пробую вылезти из своего финансового кризиса, вернувшись в лоно Ленфильма. Надя[1] уговорила меня написать сценарий. Материал необыкновенно интересный — о детях-туристах. Я связался с детской туристской станцией, и в дневниках детей, и в разговорах с участниками путешествий нашлось столько богатств, что на десять сценариев хватит с избытком.

Но по новому министерскому приказу, прежде чем писать сценарий, я должен сдать министерству либретто. То есть подробно изложить сю-

жет, рассказать о действующих лицах картины, и так далее и тому подобное. Для меня легче написать сценарий, но я попробовал рискнуть. Либретто[2] на студии в основном понравилось, но меня попросили сделать кое-какие переделки. И вот я делаю уже четвертый вариант либретто — последний, уже по указаниям рецензента министерства. И при этом все меня торопят- и студия, и Надя. Я то еду в город, то возвращаюсь, чтобы править, то опять мчусь на студию. Я думал, что отложу работу над пьесой дня на три, а теперь просто не знаю, когда к ней вернусь. А она почти что кончена[3]. Не больше недели осталось посидеть над ней — прямо беда. Из-за всего этого откладывается моя поездка в Москву, и я не пишу тебе частью по занятости, а частью потому, что не знаю, когда же выберусь к тебе. Не сердись на меня за это.

Оба твоих письма меня порадовали, если только за это время не произошло никаких изменений.(...)

Узнал, что 22-го мама едет к тебе в Москву. И это меня немножко испугало. Постарайся, чтобы теща и свекровь не взорвались при взаимном свидании. Прояви кротость голубя и мудрость змия, а то твоя и без того не слишком простая жизнь — еще более усложнится.

Выше я пытался поучать тебя и давать советы, но ничего у меня не вышло. И я свои советы зачеркнул *.

У нас все по-прежнему. Катюша чувствует себя неважно. Осмотрел ее на днях профессор Мандельштам, ничего не сказал. Смотрел он и меня — и мне ничего не сказал нового. Нашел только, что у меня в очень плохом состоянии нервы, велел показаться невропатологу. Что у меня дрожат руки, я знал и без него, а невропатологу показываться не стал.

Мы думали было пожить в городе недели две, пока дела идут так, что мне приходится постоянно бывать на Ленфильме. Поехали двенадцатого в Ленинград. А четырнадцатого уже решили, что это невозможно. Мы так привыкли за это время жить за городом, что в своей квартире чувствуем себя как в гостях. Приехали мы опять в Комарово, встретила нас со слезами и воем Томка4, и почувствовали мы, что вернулись домой. (...)

Ты пишешь, чтобы я не беспокоился по поводу того, что не могу тебе послать причитающиеся тебе деньги. Не беспокоиться по этому поводу я не могу. Утешает меня одно: в свое время ты получишь их полностью, как это было и в прошлом году. Я думал, что в этом году

* Вычеркнуто две строки.

обычное мое осеннее безденежье ликвидируется скорее, чем в прошлом, но, видимо, ошибся. (...)

Все вижу тебя во сне, как это бывает, когда особенно много о тебе думаю.

Я так замотался, что маму и бабушку не видел очень давно.

Пиши мне, родная. Я постараюсь теперь писать как можно чаще.

Целую тебя, Андрюшу, Олега. Привет Нине Владимировне.

Твой папа.

---

[1] Здесь и далее Надя, Надежда Николаевна — Н. Н. Кошеверова.

[2] "Неробкий десяток".

[3] Речь идет о пьесе "Два клена".

[4] Собака Шварца.

8

2 октября 1951

Дорогая моя Наташенька! Ужасно хочется тебя повидать. Ужасно. При первой же возможности приеду в Москву, хоть на три дня, с таким расчетом, чтобы один из этих дней был воскресенье. Если не подвернется дела, то приеду так просто. Чтобы повидать дочь. Считаю это немаловажным делом.

Я изменил систему работы. Принял все предложения, которые мне делались. То есть — переделываю пьесу для Райкина (что свелось к тому, что пишу ее заново). Согласился написать программу для Кадочникова. (Это тоже вроде пьесы. Он выступает в течение двух часов один.) Это мало. Приехал сюда ко мне режиссер Легошин с просьбой написать для него сценарий "Сказка о мире". Я согласился и написал заявку. И это еще не все. Надя от имени Ленфильма попросила, чтобы я согласился на экранизацию повести Ликстанова "Первое имя". И я согласился, и написал заявку[1]. Не думай, что я сошел с ума. Во-первых, сценарии эти еще не утверждены в плане. Во-вторых — сроки большие. (Для последних работ. Пьесу для Райкина я дописываю, не вставая из-за стола.)

Заставили меня согласиться на все эти предложения уроки последней пьесы. Рассчитывать на одну какую-нибудь работу невозможно.

Теперь так долго не дают ответа, принята твоя работа или нет, что необходимо их иметь несколько, разного срока. Если этот новый метод даст плоды, то наши дела значительно улучшатся.

Из-за того, что я так занят, Лелика[2] я видел меньше, чем хотелось бы. Почти не удалось с ним поговорить. Когда он был у нас — явился Легошин. И я сидел с ним и обсуждал заявку. И гулять ходили втроем. Гуляли по хорошо тебе знакомой дороге — по берегу до Дома композиторов и оттуда через лес, по верхней дороге домой. День оказался неожиданно теплым и даже солнечным. Я ужасно жалел, что тебя не было.

Я был рад приезду Лелика. Надеюсь, что вы живете с ним мирно? Он говорит, что очень. Но смотри! Нет на свете кислоты более унылой и страшной, чем семейный купорос. Надеюсь, у вас его совсем нет?

Прости за то, что читаю мораль. Это от любви и беспокойства. Посылаем Андрюше игрушки, тебе конфеты и двести рублей к празднику. Прости за скромные подарки — мой новый метод работы еще не реализовался.

Привет Нине Владимировне. Олега поцелуй.

Прости, что пишу на таком обрывке. Вся красивая бумага на даче, а я пишу это в городе. Еще раз целую, дочка, следи за здоровьем и старайся хорошо есть.

Е. Шварц.

---

[1] Ликстанов Иосиф Исаакович (1900 — 1955), писатель.
[2] Зять Шварца — Олег.

9

15 октября 1951

Дорогая моя Наташенька, твое письмо я получил с опозданием на три дня. Сегодня 15-го оно выпало из газеты “Вечерний Ленинград” (от 13-го). А я был в субботу в городе и, вернувшись, газет не смотрел — прочитал их там. Письма ваши меня порадовали. Во всяком случае, ваши домашние дела идут мирно, в пределах парламентских, что приятно.

Я писал тебе, что занимался тем, что переделывал программу Райки-

ну. Продолжалось это целый месяц. Райкин поселился в Зеленогорске, в Доме Архитекторов, и приезжал ко мне на своей “Победе” со своим пуделем по имени Кузька каждый день. А два раза в неделю приезжал еще и автор переделываемой пьесы по фамилии Гузынин, а иногда и Акимов — постановщик.

Пьеса эта уже ставилась и была доведена до конца, и показана Реперткому и Комитету, и запрещена к постановке в таком виде. От Райкина потребовали усиления труппы, а от автора полной переделки пьесы. Сроку им дали два месяца. Акимов звонил из Москвы после всех этих событий, предлагая мне взяться за переделки, и я нечаянно согласился. Звонок разбудил меня в четыре часа ночи, и я плохо соображал, о чем идет речь.

Пьесы такого типа, которые похожи на скотч-терьеров — и собака и не собака, и смешно и уродливо, словом — и пьесы и вместе с тем эстрадные программы — всегда отпугивали меня. Не в качестве зрителя, а как автора. А тут задача усложнялась еще и тем, что надо было перекраивать чужое, что я делать не умею.

Ознакомившись со всем, что мне предстояло, уже, так сказать, при дневном и трезвом освещении, я попробовал взять обратно свое согласие. Ничего из этого не вышло. Получалось так, что мой отказ подводит и Райкина, и всю труппу, и Акимова.

Охая и ужасаясь, я приступил к работе, которая, к моему величайшему удивлению, оказалась более легкой, чем я предполагал. Даже увлекательной. Особенно вначале, пока мне понукание моих заказчиков не мешало. И вот вчера жизнь стала человеческой. Работу я сдал, а заказчики выехали со “Стрелой” в Москву. В основном, несмотря на то, что пьеса переписана заново, работой своей я не слишком-то доволен. Все-таки это чудище. Помесь собаки с ящерицей. Но заказчики довольны. Москва, по-моему, им работы не утвердит[1].

Пока работа продолжалась, предполагалось, что я поеду вместе с Акимовым, Райкиным и автором в Москву. Потом это решение отпало к моему огорчению.

Что вы спрашиваете, Олег, можно ли Вам остановиться у нас! Конечно, можно! Даже должно. В тех весьма редких случаях, когда мы ночуем в городе, мы будем отправлять Вас к теще ввиду отсутствия кроватей. Но, полагаю, что за все время Вашего пребывания это случится всего раз-другой, а может быть, и вовсе не случится. Телеграфируйте, когда приедете, чтобы я передал Вам ключ от квартиры.

Натуся, ты конечно помнишь, что двадцать первого октября мой юбилей. Мне исполнится пятьдесят пять лет. Если хочешь сделать мне приятное — то позвони в Комарово. Услышать тебя и поговорить с тобою для меня будет самым лучшим подарком. Позвони днем, часов в пять, или вечерком, когда тебе удобнее.

С мамой говорил недавно по телефону. У них все благополучно.

Ну, вот тебе и все новости.

Целую крепко тебя, Андрюшу, Олега. Нине Владимировне привет. Катюша всем кланяется.

Позвони 21-го.

Твой папа.

---

[1] Спектакль "Под крышами Парижа" состоялся в1952 г.

10

23 октября 1952

Дорогая моя доченька, ты на меня сердишься, наверное, что я так долго не пишу, но с вашим отъездом у нас пошла не жизнь, а мучение.

Мы перебрались к Браусевичам[1], а у нас на даче начался ремонт. (...)

Лили дожди, без отдыха и срока. Стояли (да, впрочем, и продолжаются) холодные дни. У Браусевичей крыша течет. Приходилось все время менять тазы и ведра под водяными потоками. Я очень люблю журчание ручейков, но когда оно раздается в холодные осенние ночи в твоей комнате, то никакой радости не испытываешь.

Умываться приходилось в холодном, насквозь продуваемом коридоре, отчего в довершение всех благ сильно простудилась Катерина Ивановна. Думали один день, что у нее воспаление легкого.

А уехать в Ленинград нельзя было. Емельяныч[2] и его подручные убегали при первой возможности, как школьники. Только отвернется хозяйка (она вела все дела, как ты понимаешь) — работа прекращается.

Уехали мы только на два дня, когда у Кати повысилась температура. И эти два дня едва не сорвали весь ремонт.

Во всем виноватой оказалась твоя подруга Шурка-булка[3].

Основная работа шла по воскресеньям, когда рабочие свободны. А в субботу твоя подруга ухитрилась поссориться с Емельянычем. Да как!

Она обвиняла его в нечестности и неуважении к нашим интересам, выбрав для этого самые энергичные способы выражения. Говоря проще, она орала на всю улицу: “ворюга, ворюга!”

Эта защита наших интересов привела к тому, что Емельяныч с подручными удалился, заявив, что подаст на Шурку в суд.

И вот мы приехали в постылую чужую дачу и начали наводить порядок. Сначала отказали твоей подруге. Потом простили ее. Потом стали объяснять Емельянычу, что мы одно, а Шурка другое. Когда удалось успокоить его более или менее, один из его подручных запил с горя. И так далее и так далее. Теперь, когда оглядываешься на прошедшие три недели, кажется чудом, что такой большой капитальный ремонт доведен до конца, более или менее.

Вчера приехали в город на неделю, пока дача будет сохнуть.

Так как меня все время точит мысль о том, что Олегу очень неудобно живется[4], то я решил это дело изменить. Вчера был у Козакова, и вопрос как будто решился. С 5-го октября у него для Олега освобождается комната. У Козакова. Сам он поедет в Москву. Вся материальная сторона Олега не коснется. Я беру ее на себя, и ты, пожалуйста, не возражай против этого. Это необходимо для душевного спокойствия.

С Олегом я об этом говорил вчера по телефону, он, по-моему, будет доволен комнатой. (...)

Помимо ремонта все эти дни мучил меня тот самый сценарий, который висел надо мной все это лето. Я его сдал. Оказался он не слишком удачным, что я понимал уже сдавая. Попросили переделок. Вместо переделок я взял да и переписал весь сценарий. Весь с начала до конца, что далось мне не просто и не сразу. Просыпаясь по утрам под журчание дождя, идущего в самой комнате, я соображал — какое несчастье случилось вчера? И вспоминал: ах, да, вот какое — я дурак. Я не могу сделать сценария![5]

Сейчас и это как будто рассасывается.

Гуляя под дождем, я непременно проходил по старому перрону, где мы с Андрюшей встречали поезда, потом мимо вашей дачи до колодца. Мне казалось прекрасным то время, пока вы жили тут в Комарове, и я удивлялся, как это я его проморгал. Лета как будто и не было. Я сочинял тебе письма, поучительные, всеобъясняющие, да так и не написал ни одного.

Сначала я ждал, что вот-вот приедет Олег. Потом мне казалось, что письма мои будут тебе нужнее, когда ты останешься одна, чем теперь,

когда Олег еще в Москве. Но вот Олег уже уехал, а моих писем все нет!

Не сердись, не обижайся, Наташенька. Это вечная история со мной. Всегда я не только что тратил, а просто растрачивал время. Всю жизнь. В последнее время я склонен себе это не то что прощать, а примириться с этим. Уж такой я на свет уродился. Прости и ты мне. Знай твердо, что всегда и при всех обстоятельствах, пишу или нет — я с тобой и за тебя, и ты для меня самое главное, как я тебе говорил не раз. Впрочем, ты это и без моих слов знаешь.

А у тебя к времени тоже неправильное отношение. Ты еще по-детски считаешь, что есть на свете только сегодня. И тоскуешь. А если верить, что есть еще и завтра, то наши с тобой дела совсем не так уж плохи. Скоро ты приедешь в Ленинград. Точнее — переедешь. Ты не представляешь себе, как я об этом мечтаю. Скоро мы с тобой будем встречаться постоянно, как всю жизнь до сих пор. Поверь, родная, что завтра так же реально, как сегодня, и готовься к этому.

Это относится и к твоему институту. Умоляю тебя, если ты меня любишь — не запускай учения! Не губи нам завтрашнего дня! Будь взрослой. Мне можно примириться со своими свойствами. Я уже, кажется, сложился. А ты еще растешь! Не горюй и верь в то, что все будет хорошо!

Сны о тебе я вижу все спокойные. То я гуляю с тобой по Неве. Удивляюсь, как это получилось, что ты опять маленькая, а потом вспоминаю: "Ах, да! Ведь ты переехала в Ленинград". То мы куда-то едем, опаздываем на поезд, но потом оказывается, что это не наш. И все в этом роде. Сны спокойные, утешительные, жалко даже просыпаться.

Андрюша за это лето стал мне много, много ближе, чем до сих пор. И Катерина Ивановна все не может его забыть.

Пиши мне, родная. Больше я не буду делать такого перерыва в письмах.

Прости, что я не посылаю тебе денег. Ремонт все съел, а Москва задерживает авторские. Скоро надеюсь послать.

Целую тебя и Андрюшу. Привет Нине Владимировне.

Твой папа.

Может быть, ты сможешь позвонить мне? Мы в Ленинграде до 29-го.

---

[1] Браусевич Леонид Тимофеевич (1907-1955), драматург, детский писатель.

[2] Рабочий, ремонтировавший дачу.
[3] Домработница Шура см. "Дневники"
[4] О. Крыжановский к этому времени уже переехал в Ленинград.
[5] 8 февраля была принята заявка Шварца на сценарий по повести И. Ликстанова “Первое имя”, и с автором заключен договор. Позже сценарий оказался в резерве и лег на полку.

11

Е. В. Юнгер, А. И. Ремизовой, Н. П. Акимову.

(1949)

Дорогие Леночка, Александра Исааковна[1] и Николай Павлович!

Вопрос о распределении ролей в моей пьесе — очень сложный вопрос.

Если я его буду обсуждать с вами устно, то непременно собьюсь, запутаюсь, начну перескакивать с предмета на предмет, словом, окажусь менее полезен, чем любой другой автор в данных условиях. Я слишком свой человек в театре для того, чтобы быть разумным, спокойным и беспристрастным в столь непростом деле. Поэтому я пишу. И буду писать по пунктам, для ясности и убедительности.

Более того, я постараюсь на этот раз, для пользы дела, переломить свою натуру. У меня есть довольно опасное свойство — желание покоя, свободы и мира, и благодати во что бы то ни стало. Поэтому я, бывает, прекращаю спор и уступаю в ущерб самому себе, в ущерб делу. Говоря проще и короче — я все это делаю потому, что не хочу расстраиваться. Обещаю на этот раз — не уступать.

И я очень прошу тебя, Николай Павлович (напоминаю, что мы выпили у Нади на брудершафт), чтобы и ты отказался на этот раз от кое-каких свойств твоей натуры. Они заключаются в следующем: если кто-нибудь с тобой не согласен, ты искренне начинаешь считать противника своего негодяем, дураком, человеком с нечистыми намерениями и заражаешь своей уверенностью других. Это свойство твоей натуры — тоже иногда опасно для дела. И тоже прекращаешь спор раньше времени — стоит ли спорить (думаешь ты) с подобными личностями? Короче говоря, ты так же не любишь расстраиваться, как и я, но добиваешься покоя другими путями.

Умоляю тебя: давай на этот раз будем еще умнее и симпатичнее, чем

обычно. Ты, я, Леночка, театр, Александра Исааковна — все кровно заинтересованы в том, чтобы задача была решена со всей добросовестностью, на какую мы способны.

Ты, Николай Павлович, можешь сказать: роли еще не распределены. Чего ты шумишь? Увы! Я чувствую, друзья мои, что вы их уже распределили в сердце своем. Я понимаю, как трудно спорить с сердцем, со стихией, так сказать, — но тем не менее начинаю это делать. Иначе меня замучает совесть.

Впрочем, не буду затягивать вступительную часть, а перейду к существу дела.

1. О пьесе.

Ты сказал мне в Москве, Николай Павлович, что пьеса “Первый год” — не из лучших моих пьес, поэтому ее не жалко переделывать. Я готов согласиться, что пьеса моя далеко не гениальное произведение. Но тем не менее не следует ее переделывать слишком уж решительно. Это классики так мощны, что им ничего не делается, как их ни переделывай. А "Первый год" требует отношения в высшей степени осторожного. Я говорю об этом не потому, что ты требуешь переделок, а по поводу того, что распределение ролей может до того переосмыслить и переиначить пьесу, что она развалится скорее и вернее, чем от реперткомовских поправок.

И в особенности это касается роли Маруси.

2. О Марусе.

Она непременно должна быть чуть-чуть заурядной. Она обязана быть похожей на любую молодую женщину. Она обязана вызывать жалость своей неопытностью и беспомощностью. Если Марусю не узнают и если она не вызовет к себе жалости — дело пропало.

3. О Леночке.

Прежде всего и раз навсегда — вопрос о возрасте давайте снимем. Хорошая актриса сыграет и грудного ребенка, если характер младенца будет совпадать с ее данными. Не внешними, а актерскими. Несколько минут зритель будет удивляться, видя взрослую женщину в пеленках, а потом привыкнет и поверит. Не возраст меня смущает, Леночка. Ты актриса хорошая и молодая. А я глубочайшим образом убежден, что актерские твои свойства противоположны тем, которые необходимы для Маруси.

Ты можешь на сцене быть кем угодно — но только не заурядной драматической инженю. Ты всегда создаешь образ своеобразный. Ост-

рый. Непременно сильная женщина у тебя получается. Непременно. Хочешь ты этого или не хочешь. И много пережившая. И умеющая постоять за себя. Тобою можно любоваться, в тебя можно влюбиться, но жалости, той жалости, которую должна вызывать беспомощная, почти девочка Маруся, тебе не вызвать. Ни за что. Когда ты играешь Ковалевскую[2] — ты вызываешь сочувствие. Сочувствуют всей душой много пережившей и перестрадавшей героине. Для этого в роли Маруси — нет, начисто нет материала. Она тоже не слаба, тоже по-своему воюет,— но по-своему. А не по-твоему. Слабее всего у тебя Ковалевская-девочка, хотя внешне ты выглядишь в первом акте прелестно. Не дал тебе бог красок, которые имются в изобилии у любой травести и инженю. И не ропши. У тебя есть гораздо более редкие дары. И радуйся этому. Не искушай судьбу! Умоляю!

4. О судьбе.

У меня, у тебя, Леночка, у тебя, Николай Павлович, судьба не слишком легкая. Нам прежних заслуг не засчитывают! Нельзя сказать, что их не помнят — нет, помнят, и очень даже хорошо. И на этом именно основании ждут, чтобы мы если не перекрыли, то хоть повторили прежние свои рекорды. С нами всегда строги, взыскательны, зорки...

Умоляю тебя, Леночка, — не искушай судьбу.

Время суровое...

5. Обманы зрения.

Когда талантливый человек берется не за свое дело, а другой талантливый человек помогает ему в этом, то в результате происходит следующий невольный обман зрения. На десятой репетиции талантливый человек играет настолько лучше чем на первой, что режиссер и актеры приходят в восторг и умиляются. На двадцатой — дело идет еще лучше. Но вот, наконец, приходит премьера и — о ужас! Зрители яростно ругаются. Им дела нет, что талантливый человек играет в миллион раз лучше, чем в начале репетиционной работы. Им подавай безотносительно хорошую игру.

И тут начинается...

Влетит прежде всего мне. Вот, мол, писал сказочки — получалось. Потом влетит Акимову. За что? Так просто. Его считают ответственным за все, что делается в театре. И не без основания. Потом начнут по косточкам разбирать Леночку. Причем я не услышу, что говорят обо мне. Но подробно услышу, что говорят о тебе, Леночка. Услышу то, чего ты, слава богу, никогда не услышишь. Но зато обо мне ты услы-

шишь такое, что мне и не снилось. Меньше всего достанется Александре Исааковне, потому что она приезжая.

И вот вместо праздника, по нашей общей вине, произойдет нечто унылое, натуралистическое, осеннее. Наслушавшись друг о друге невесть чего, мы невольно выбраним друг друга, как враги. Словом...

Умоляю, товарищи, — не будем искушать судьбу.

Если вы со свойственным вам упрямством не сразу согласитесь со мной, то послушайтесь хоть постепенно. Пересмотрите вопрос о Марусе со всей беспристрастностью, на какую способны. Давайте будем мудры и осторожны[3]. Целую вас.

Ваш Шварц.

---

[1] А. И. Ремизова (1905—1989), режиссер, была приглашена в Театр Комедии для постановки пьесы Е. Шварца "Первый год" ("Повесть о молодых супругах")

[2] В спектакле "Софья Ковалевская". Пьеса бр. Тур (1948 г.).

[3] В 1949 году пьеса была запрещена. Н. П. Акимов поставил "Повесть о молодых супругах" только в 1957 году.

12

Ю. П. Герману[1] (Кисловодск).

(11 сентября 1955 г.)

Дорогой Юрочка! Не ожидал я от Вас таких выпадов. До сих пор говорили только о моем инфаркте (который признан даже Литфондом), а теперь только и разговоров, что о Вас. Мне это вредно.

Ваше письмо имело огромный успех. Я показывал его всем посетителям, и все восхищались. Особенно академиком, который, сидя на восходящем душе, пел что-то печальное, армянское[2].

Вам ставили пиявки? Мне ставили. На область сердца. Вся эта бытовая сценка разыгрывалась под самым моим носом в буквальном смысле слова. И продолжалась два часа. Почему — это человеку полезно, а разное другое вредно и продолжается гораздо короче?

Сообщение о Вашей болезни нас очень огорчило, очень. Катерина Ивановна каждый день спускается в булочную, — телефона у нас до сих пор нет[3], — звонит Маринке[4] или Наде, узнает о Вашем здоровье.

Мы Вас, Юрочка, любим.

Я лежу в одиночестве. Дембо[5] решительно запретил пускать ко мне гостей. Пускают одного Козинцева. Насчет рабочего сценария.

Если Вам нельзя писать — попросите Таню[6]. В моем заключении письма — огромная радость.

Поцелуйте от нас Таню. Она ночевала у нас в первые дни моей болезни. Никогда ей этого не забуду. Надя Кошеверова и она были главными Катиными помощницами и утешительницами.

Сегодня месяц и один день, как я лежу. Стал придумывать пьесу. Комедию. Скорее даже фарс. Все действующие лица — лежат. Называется "Инфаркт задней стенки".

Целуем Вас, Юрочка. И я, и Катя. И Таню целуем.

Пишите!

Ваш Е. Шварц.

---

[1] Единственное сохранившееся письмо к Ю. П. Герману. Написано в период лечения Ю. П. Германа в санатории им. Горького.

[2] Из санатория Ю. Герман писал Е. Шварцу: "Мне прописали гимнастику, но я на нее не хожу — очень стыдно. Там старые и брюхатые дядьки кричат "с физкультприветом гип-гип-ура!" Руководит брюхатыми девка довольно молодая и хорошенькая... Санаторий принадлежит Академии наук. Поэтому тут очень много подозрительных стариков в академических шапочках — это, главным образом, армянские профессора и доценты. Все они с толстоногими, низкожопыми женами. У жен дико волосатые ноги и они кричат (не ноги, а жены), как на базаре. Одна такая холера все время мне делает "тухлые" глаза, и я теперь знаю почему. Ее муж вместе со мной ходит на процедуры и сидит на стульчике, который называется восходящий душ. Сидит грустный и что-то напевает свое армянское. Вообще — восходящий душ пользуется большой популярностью и на него все время маленькая и стыдливая очередь..."

[3] Шварцы только недавно переехали на новую квартиру.

[4] Маринка — дочь Ю. П. Германа.

[5] Дембо Александр Григорьевич, тогда врач Литфонда.

[6] Жена Ю. П. Германа.

13

Н. К. Чуковскому (Москва).

29 октября 1955

Дорогой Коля! Меня уложили во второй раз. Сегодня, впервые за восемь недель, разрешили сидеть в постели. Пользуюсь случаем и пишу.

Получил от тебя "Балтийское небо". И был тронут, и книжку прочел внимательнейшим образом. И знаешь что, Коля, она мне понравилась. Очень понравилась, чему я обрадовался, потому что хвалить приятно. Старых друзей приятно хвалить. Имея хороший характер.

Говоря коротко — твоя проза стала послушной тебе. До сих пор она чуть щетинилась и не всегда подчинялась. Не желала быть пластичной. А тут, сохраняя как бы прежний дух, вдруг послушалась. И я читал сначала как твой знакомый, а потом как читатель. И беспокоился за героев книги, а не за автора. Что и есть главное.

Потом поговорим о второстепенных вещах. При встрече. Если захочется. А пока с некоторым опозданием — поздравляю и целую.

Я имею право опаздывать. В мои годы отделаться от двух инфарктов за какие-нибудь полгода — это надо уметь!

Главный инфаркт я не заметил. Второй заметил. Виноват в нем я сам: не верил, что я болен. Слишком много ходил. Испытал болевой приступ и стал послушным. Впрочем, профессор[1] велит быть более послушным. И вот я лежу, думаю, читаю, читаю, думаю.

Стыдно признаться, но инфаркт у меня не слишком большой. И, извините за выражение,- на передней стенке.

Мы получили новую квартиру. Три комнаты. Очень довольны. Написал бы еще много, но устал писать полулежа.

Марина[2]! Я тебя обожаю и целую.

Говорил ли я тебе, Коля, что я в восторге от твоего перевода Тувима в "Новом мире". Всем читал вслух, и все хвалили.

Помни, Коля (и ты, Марина, тоже), что больным письма очень полезны.

Как Каверины?

Заболоцким сегодня написал[3].

Катерина Ивановна целует.

Ваш Е. Шварц.

Ленинград, Малая Посадская, 8, кв. 3.

[1] А. Дембо.
[2] М. Н. Чуковская, жена Н. Чуковского.
[3] Письма к Заболоцким не сохранились.

14

Э. П. Гарину и Х. А. Локшиной[1] (Москва).

17 мая 1956

Дорогие Хеся и Эраст! Ужасно жалко, что не могу я приехать двадцатого и объяснить на словах, как я благодарен Вам за хорошее отношение. Эраст поставил спектакль из пьесы, в которую я сам не верил[2]. То есть не верил, что ее можно ставить. Он ее, пьесу, добыл. Он начал ее репетировать, вопреки мнению начальства театра. После первого просмотра, когда показали в театре художественному совету полтора действия, Вы мне звонили, и постановка была доведена до конца! И потом опять звонили от Вас. Такие вещи не забываются. И вот дожили мы до пятидесятого спектакля. Спасибо Вам, друзья, за все. Нет человека, который, говоря о спектакле или присылая рецензии и письма (а таких я получил больше, чем когда-нибудь за всю свою жизнь, в том числе и от незнакомых), — не хвалил бы изо всех сил Эраста. Ай да мы, рязанцы[3]!

Я сделаю все, что можно, чтобы приехать в июне, я бы и двадцатого приехал. Но Катерина Ивановна натерпелась такого страха, когда я болел, что у меня не хватает жестокости с ней спорить. А я, переехав в Комарово, неожиданно почувствовал себя не то чтобы плохо, а угрожающе. Теперь все это проходит...

В Комедии спектакль идет благополучно. Но я, подумавши, решил написать еще один третий акт, который привезу. Банкета и там еще не было, что несколько успокаивает мою совесть.

Целую Вас крепко.

Привет всей труппе и поздравления, если письмо дойдет до пятидесятого спектакля. Впрочем, двадцатого буду еще телеграфировать.

Ваш Е. Шварц

---

[1] Гарин Эраст Павлович (1902—1980), актер и режиссер. Локшина Хеся Александровна (1902—1982), режиссер, жена Э. П. Гарина.

[2] "Обыкновенное чудо".
[3] Мать Э. Гарина и мать Е. Шварца — родом из Рязани.

15

Л. А. Малюгину[1] (Москва).

(Ленинград), 6 февраля 1956

Дорогой Леня, спасибо тебе за обстоятельное и доброжелательное письмо. После него спектакль мне стал совершенно понятен[2].

Насчет третьего акта ты, конечно, прав. Напомню только, что говорит об этом Чапек. Он пишет, что, по общему мнению, первый акт всегда лучше второго, а третий настолько плох, что он хочет произвести реформу чешского театра — отсечь все третьи акты начисто.

Говорю это не для того, чтобы оправдаться, а чтобы напомнить, что подобные неприятности случаются и в лучших семействах.

Насчет спектакля мне звонят из Москвы и рассказывают приезжие, и пишут знакомые. Все как будто хорошо, но у меня впечатление, что мне за это достанется. Я бы предпочел, чтобы все проходило более тихо. Хорошие сборы! Простят ли мне подобную бестактность? Открываю газеты каждый раз с таким чувством, будто они минированы.

Получил прелестное письмо от Крона[3]. Ответил ему, как и тебе, только сегодня, все приходил в себя и собирался с мыслями.

У меня сочинено нечто для программы, вместо либретто. Там я просил не искать в сказке скрытого смысла, потому что она, то есть сказка, рассказывается не для того, чтобы скрыть, а чтобы открыть свои мысли. Объяснял и почему в некоторых действующих лицах, более близких к "обыкновенному", есть черты бытовые сегодняшнего дня. И почему лица, более близкие к "чуду", написаны на иной лад. На вопрос, как столь разные люди уживаются в одной сказке, отвечал: "Очень просто. Как в жизни"[4].

Театр не собирался напечатать программу с этими разъяснениями, но тем не менее в основном зрители разбираются в пьесе и без путеводителя. В основном. И пока я доволен. Но открывая газеты... и т.д.

"Советский писатель" включил в план мой сборник. Я дал туда: "Два Клена", "Снежную королеву", "Тень", "Одну ночь" и "Обыкновенное чудо". Из сценариев — "Первоклассницу" и "Золушку". Получилось 560 стр., отчего я проникся самоуважением. Что из этого

выйдет — не знаю, так как сдал рукопись дней пять назад[5].

Еще раз спасибо, дорогой друг, за рецензию. Целую и шлю привет всей семье.

Е. Шварц.

---

[1] Малюгин Леонид Антонович (1909 — 1968), писатель.

[2] “Обыкновенное чудо” в Театре киноактера.

[3] Крон Александр Александрович (1909 — 1983), драматург.

[4] Позже этот текст будет говорить Сказочник в Прологе .

[5] Речь идет о сборнике “Тень” и другие пьесы”, выпущенном издательством “Советский писатель” к 60-летию Шварца. “Обыкновенное чудо”(“Медведь”) в него не вошло.

16

С. Я. Маршаку (Москва).

23 октября 1956

Дорогой Самуил Яковлевич!

Спасибо тебе за поздравление[1].

Я очень боялся юбилея, но все обошлось и кончилось благополучно. И я скорее сел за детскую пьесу, чтобы избавиться от ощущения итога[2].

Привожу в порядок свои рассказы о времени куда более веселом, когда не было и мыслей об итогах, и счет едва начинался, о 20-х годах[3]. Рассказ я тебе перепишу и пришлю, если позволишь.

Спасибо тебе за все.

Твой старый ученик тридцатипятиклассник

Е. Шварц.

---

[1] Помимо телеграммы, посланной 19 октября и гласящей: “Дорогого друга, умного и доброго писателя Евгения Шварца обнимаю от всего сердца. Желаю долгих лет и многих побед”, Маршак прислал в Союз писателей магнитофонную ленту со своим приветствием Шварцу, которое прозвучало на юбилее.

[2] В это время Шварц перерабатывал свои старые кукольные пьесы, которые готовил к печати. Сб. “Кукольный город” вышел в

1959 году, уже после смерти писателя.
[3] Шварц, вероятно, имеет в виду “Печатный двор”.

17

С. Т. Дуниной[1] (Москва).

23 октября 1956

Дорогая Софья Тихоновна!

Вы послали мне свою любовь “как женщина, читатель, зритель”. Отвечаю Вам взаимностью, как мужчина, драматург и член правления Ленинградского отделения ССП.

Эти дни прошли весело. Особенно весело было на банкете: все пили, а мне не давали. Получилось совсем как в сказке: по усам текло, а в рот не попало.

А теперь, только что я успел привыкнуть к телеграммам, подаркам, похвалам, как юбилейные дни прошли, а шестьдесят лет остались при мне. Впрочем, и к этому можно привыкнуть.

Спасибо Вам за поздравление.

Ваш Е. Шварц.

---

[1] Дунина Софья Тихоновна многие годы была консультантом по драматургии в Реперткоме.

18

К. И. Чуковскому (Москва).

(октябрь 1956 г.)

Дорогой Корней Иванович!

Спасибо за письмо, которое Вы прислали к моему шестидесятилетию. Я его спрятал про черный день. Если меня выругают, я его перечитаю и утешусь[1].

Увидел я Ваш почерк и не то что вспомнил, а на несколько мгновений пережил двадцать второй год. Увидел Вашу комнату с большими окнами, стол с корректурами переводов Конрада[2], с приготовленными к печати воспоминаниями Панаевой, с пьесами Синга. Я подходил тог-

да к литературе от избытка уважения на цыпочках, робко улыбаясь, кланяясь на каждом шагу, пробирался черным ходом. И, главное, ничего не писал от страха. Попав к Вам в секретари, я был счастлив. А Вы всегда были со мной терпеливы и ласковы.

Очень странно мне писать о собственном шестидесятилетии, когда секретарем я был у Вас будто вчера. И то, что Вы похвалили меня, я ощущаю с такой же радостью и удивлением, как в былые годы.

Я знаю, помню с тех давних лет, что хвалите Вы, когда и в самом деле Вам вещь нравится. И бывает это далеко не часто. Поэтому и принял я Ваше письмо, как самый дорогой подарок из всех.

Я не очень верю в себя и до наших дней, а читая Ваше письмо, раза два подумал: а что, если я... и так далее. Верить в себя, оказывается, большое наслаждение. Так спокойно. Спасибо Вам, дорогой, дорогой Корней Иванович. Целую Вас. В ноябре буду в Москве и непременно найду Вас, чтобы поблагодарить Вас еще раз. Помните, как Вы бранили меня за почерк? А он все тот же. Как и я.

---

[1] 20 октября К. Чуковский писал Шварцу: "Дорогой Евгений Львович, конечно, сегодня Вам не раз сообщат, как приятную и веселую новость, что Вы обладаете редкостным даром прелестной, причудливой, светлой фантазии, что своим обаятельным, милым, уютным, своеобразным, поэтическим юмором Вы уже многие годы согреваете бесчисленные сердца соотечественников, и все это, конечно, превосходно, но было бы, пожалуй, еще превосходней, если бы это же самое (так же громко и явственно) Вам сказали лет двадцать или хотя бы пятнадцать назад, вместо того, чтобы шельмовать и язвить Ваш (право же, нисколько не вредный) талант".

[2] Конрад Джозеф (1856—1924), англ. писатель.

19

Г. М. Козинцеву.

(Ленинград) 1 июня (19)55

Дорогой Григорий Михайлович — я все еще лежу, таков приказ врачей. После Вашего отъезда сделана была третья кардиограмма. Дембо

и Резвин[1] устроили у меня нечто вроде консилиума и, сопоставляя все данные, пришли к заключению, что инфаркт все-таки был. Четвертая кардиограмма показывает улучшение. В пятницу, третьего, предстоит еще одна. Резвин обещает, что разрешит перебраться в Комарово, если будет она пристойна. А Дембо решительно заявил по телефону, что об этом и думать нечего. Вот тут и решай. Я-то убежден, что ничего у меня нет и не было, но анализ крови, температура, которая иной раз продолжает подниматься, пугает врачей, а больше всего Катерину Ивановну, которая велит их слушаться. Вот Вам полный отчет о моем здоровье, согласно Вашему распоряжению.

Художественный совет был крайне доволен сценарием, о чем Вы знаете, вероятно. Москвин звонил мне и в течение 15-ти минут доказывал, что начало следует сделать грубее. Смешнее. А то получается однообразно. Державин[2] написал отзыв роскошный. У меня от Художественного совета были двое: Гомелло и Чирсков3. Повторили все то же, что слышал я непосредственно после заседания по телефону от Шостака. Решено просить увеличить размер сценария до 3200 метров.

Москвин утверждает, что в теперешнем его виде в нем 5000 метров. Шостак[4], что четыре с чем-то. Он проиграл весь сценарий от начала до конца и подсчитал метраж каждой сцены. Эрмлер[5] же утверждает, что все это неверно, и можно уложиться в 2700.

Чирсков утверждает решительно, что можно сократить сценарий, не удаляя ни одной сцены. Внутри сцен. Вот, кажется, и все.

Ваше письмо получил я сегодня. Уже начал было беспокоиться — не свалились ли Вы? Читая, очень смеялся и зависть одолевала меня. Я с таким наслаждением ходил бы шесть дней! А меня не пускают. Ваше описание гостиницы — гениально. Я с наслаждением экранизировал бы его. Боюсь, что к 15-му меня в Ялту не пустят.

Шостак в Москве... Что-то будет! Целую Вас. Привет Валентине Георгиевне и Саше.

Ваш Е. Шварц.

---

[1] Резвин — врач.

[2] К. Н. Державин — литературовед, театровед, консультант фильма “Дон Кихот”.

[3] И. И. Гомелло — редактор сценарного отдела “Ленфильма”; Б. Ф. Чирсков — сценарист.

4 М. С. Шостак — директор всех послевоенных фильмов Г. М. Козинцева.
5 Ф. М, Эрмлер — кинорежисер.

20

(Ленинград. 8 июня 1955 г.)

Дорогой Григорий Михайлович! Ваше письмо, составленное из вырезок, просто гениально. Даже Юрий Павлович[1], зашедший навестить меня, лично очень смеялся. И все письма прелестны. Вы пишете так нарочно, чтобы я завидовал, а мне это запрещено[2].

Сегодня со мной говорил по телефону Витензон[3]. Сообщил, что звонил в Москву, и в настоящий момент как раз идет у замминистра заседание по поводу “Дон Кихота”. Что ему, Витензону, сценарий нравится. Нравится и Чекину[4]. И он надеется, что все будет хорошо. Позвонил он мне, впрочем, не по личной инициативе. Я позвонил на студию, узнать у Ксении Николаевны[5], что нового, а она пошла к Витензону, и тот позвонил мне.

Часа через два после всех этих событий позвонил Гомелло и сообщил то, что я уже знал. Этот — по собственной инициативе. Он полагает, что министр читать сценарий не будет. Впрочем, пока это письмо дойдет до Вас — все будет ясно и известно без меня. Во всяком случае, я мечтаю об этом.

А я все лежу и кажусь себе невинно осужденным, 10-го будут опять делать кардиограмму.

Вы не жалуйтесь на Ялту. У нас погода, как в марте. Деревья едва распустились. Все время холодный ветер. Дожди. С утра сегодня — пять градусов. Тем не менее меня ужасно тянет в Комарово. Если кардиограмма окажется хорошей, то, может быть, удастся уговорить врачей дать согласие на мой переезд.

Вчера звонил Москвин. Узнать, как мое здоровье! И поговорил с Катериной Ивановной минут пять. Чудеса! Надежда Николаевна возвращается 15-го, по какому поводу Москвин выразился так: “Не знаю, зачем это им нужно. Утверждают, что им там нравится, ну и сидели бы”[6].

Боюсь встречи с Сашей. Если он родного отца обозвал пнем, то что

скажет обо мне! Насчет его морских находок — я кротко порадовался. Везде люди живут![7]

Пишите мне. Я очень скучаю.

Целую Вас и все семейство. 8/VI 55.

Ваш Е. Шварц.

---

[1] Ю. П. Герман.

[2] Из воспоминаний о Шварце Л. Н. Рахманова: “Когда Шварц был уже болен, он написал мне: “Козинцев в Ялте. Пишет необыкновенно смешные письма. Одно из них, составленное из вырезок из “Курортной газеты”, наклеенных одна за другой, просто гениальное...” Шварц отлично понимал, что Козинцев это делал, желая развеселить его” (Рахманов Л.Н. Поздняя дружба. В книге “Житие сказочника: Евгений Шварц”. М., 1991. с. 246-247).

[3] А. И. Витензон — редактор Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по кинематографии; был в это время на “Ленфильме” в командировке.

[4] И. В. Чекин — редактор Главного управления.

[5] К. Н. Сотникова — секретарь сценарного отдела “Ленфильма”.

[6] Речь А. Н. Москвина отличалась не только немногословием, но и своеобразием, в частности, он обращался к женщинам и говорил о них в третьем лице множественного числа. Н. Н. Кошеверова — жена А. Н. Москвина.

[7] Саша — сын Г. М. Козинцева

Козинцев писал Е. Шварцу: "Очень вырос Саша. Я всегда смеялся над Валиными рассказами о его талантах, но недавно мальчик поразил и меня. Он посмотрел на меня своими светлыми детскими глазами, потом указал на меня своим же чистым детским пальчиком и сказал: "Папа — трухлявый пень". И подумать только, что такая наблюдательность и ясность ума в 8 $^1/_2$ лет! Ему хорошо уже с самого раннего утра, когда он встает. Я писал Вам, что наша комната над морем. И вот, сразу же после здорового сна, ребенок сбегает вниз и видит, как зефир колышет кипарисы, а по морю бежит волна и ударяет о берег, выбрасывая на камни презервативы. Снизу раздается пронзительный и ликующий мальчиковый крик: "Мама, мама, опять все море в колбасках!..."

21

(Комарово. 9 мая1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович!

Я, почему-то, ждал от Вас письма как раз в тот день, когда оно пришло. Точнее — я был уверен, что до майских праздников у Вас времени писать не будет. Мой синематограф не даст.

С Вашим отъездом жизнь резко изменилась. Исчезла возможность прийти на студию. Исчезла иллюзия некоторого участия в картине. Приходится сидеть и писать, что гораздо хлопотливее.

Мы в Комарово. Здесь холодновато. Только сегодня — девять градусов. А вчера было три. Ужасно хочется на юг. Но Дембо, кажется, прав. Даже переезд в Комарово, то есть ничтожная перемена климата— и та сказалась. Появились те самые явления, которых не было с тех пор, как я встал. И меня уложили на три дня. Не боль — подобие боли. Но в прошлом году дело началось с того же. Простите, что жалуюсь. Наше дело стариковское.

У меня прошла премьера в Комедии[1]. Вполне благополучно. Подробности — лично. Писать о них лень.

Теперь о делах. Только вчера получил я наконец открытку от Дмитрия Дмитриевича. Подлинник сохраняю как автограф. Выписываю ее целиком: “Дорогой Евгений Львович! Я не понял Вашего письма. Я Вас очень люблю и желаю Вам всегда всего лучшего, чего можно пожелать. Очень люблю Григория Михайловича. И ужасно боюсь, что вы оба на меня сердитесь. Я очень себя сейчас плохо чувствую. У меня упадок сил и полная неспособность к работе. Не сердитесь на меня, но, по-видимому, я не смогу написать музыку к “Дон Кихоту”.

Крепко жму руку. Д. Шостакович.

Сейчас я в Ленинграде (Европейская гостиница, № 28). Много раз звонил Вам, но телефон не отвечал. Д. Ш.”.

Получив открытку, я немедленно позвонил по 28 номеру, но Дмитрия Дмитриевича не застал. Он уже уехал. Тогда я написал ему, сообщив, что Вы в Ялте, и послав Ваш адрес.

Все это очень грустно. Он отлично понял мое письмо, но не хочется ему вступать в объяснения. Почерк на открытке такой, что половина ее убедительности пропадает при перепечатке. Несомненно, он ужасно себя чувствует. Неизвестно только, длительное это состояние или он придет в себя месяца через два.

Он не написал “решительно отказываюсь”, а “по-видимому, не смогу”. Может быть, набраться жестокости и сообщить ему крайний срок?

Ваше письмо пользуется обычным успехом в кругу моих друзей и близких. Описание Феодосии (“...и все это одной смекалкой” и так далее) произвело фурор.

Пишите хоть по воскресеньям.

Юрий Павлович, пользуясь счастливым выражением Макогоненко, “получил книжечку”[2]. Или это совершилось еще при Вас? Все прошло гладко, единогласно и так далее. Больше новостей не имею.

Привет Валентине Георгиевне и Саше. Ужасно, ужасно хочется на юг.

9/V 56 г.

Ваш Е.Шварц.

---

[1] “Обыкновенное чудо” в постановке Н. П. Акимова.

[2] Ю. П. Герман вступил в КПСС.

22

(Ленинград. 26 мая 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович!

Пишу на студии, посмотрев материал. Так как хвалить Вы не разрешаете, то выписываю недостатки.

1. В первом ролике, когда Санчо въезжает на осле, а женщина жалуется[1] — почему-то было ощущение, что на экране пустовато, не было ощущения толпы. Показалось, что толпа слишком организованна. Женщина, жалуясь, заслонила дицо Санчо.

2. Резкое изменение к лучшему с двумя фигурами на верхних ступеньках. Чудно, когда Санчо сидит, а Беньяминов[2] и Викланд (так, кажется) вьются вокруг. Толпа оживает. И даже пыль кажется нужной. Чудно, когда Санчо разгоняет ссорящихся красной своей мантией. Прелестно, когда он сидит на троне и болтает ногами. А главное, толпа, юг, стены, горы за стенами — все живет и кажется значительным.

3. Моя нелюбовь к цвету не прошла. Скалы кажутся крашеными. Но очень красив черный цвет! На костюмах. С удовольствием думаю о герцогском дворе.

4. Альтисидора[3] мне очень понравилась. А как она разговаривает? Я

все смотрел без звука.

5. Ущелье очень хорошо и выглядело в большом зале стереоскопично.

6. Простите за рассуждения. Я от души.

7. Целую Вас.

8. Привет Валентине Георгиевне и Сашке.

9. Не сердитесь и пишите. 26/V 56

Ваш Е. Шварц.

---

[1] Санчо Пансу играл Ю. В. Толубеев, женщину — О. А. Викланд.

[2] А. Д. Бениаминов играл пастуха в эпизоде суда Санчо.

[3] Роль Альтисидоры играла актриса театра “Ромэн” Т. С. Агамирова.

23

(Комарово. 29 мая 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович!

Я был в городе, где смотрел материал, что привезла Вера Николаевна[1]. Известил меня об этом Москвин[2], который потом потребовал от меня подробного отчета. Вам я послал отчет прямо с места, написанный в диспетчерской, где Вера Николаевна собиралась на аэродром.

Приехав в Комарово, нашел я письмо от Вас, чему очень обрадовался.

Еще раз обдумав, на свежую голову я прихожу к заключению, что материал обнадеживающий. Честное слово. Альтисидора имеет в своей внешности нечто аристократически-увядающе-прелестное. Как она разговаривает? Я представляю, как Вам трудно, и все же завидую. В тишине моей есть нечто угрожающее. Чудится, что больше ничего и не будет интересного. Вы просите передать привет Державину, а он так плох, что к нему даже не пускают. Боятся самого плохого. Разговаривал я с Дембой о Москвине. Он говорит, что все идет значительно лучше, чем он предполагал. Если бы не слабость сердечной мышцы, вызванной не инфарктом, а общим переутомлением, то он уже разрешил бы ему садиться. Кардиограммы лучше с каждым разом.

Надя вся в монтировках[3]. Вчера проезжала через Комарово в поис-

ках натуры. Вез ее Ваш любимый артист Кадочников[4]. На собственном "ЗИМе" мышиного цвета.

Вот и все новости.

Я пробую писать сценарий, начало которого Вы видели[5]. Сейчас главная задача сделать его таким, чтобы сокращения не требовались.

Ездим на бывшей Колиной[6] машине. Он заезжал, но мы были в это время в городе. Он всем рассказывает, как пострадал во имя искусства, упав с Росинанта. Натуралистические подробности скрывает. Может быть, они войдут в том или ином виде в его дневник.

Целую Вас. Привет Валентине Георгиевне и Сашке. 29 /V 56.

Ваш Е. Шварц

---

[1] В. Н. Брандис — администратор.

[2] А. Н. Москвин в конце апреля перенес инфаркт и из-за этого не смог поехать в экспедицию; крымскую натуру снимал оператор А.И. Дудко.

[3] Н. Н. Кошеверова готовилась к съемкам фильма "Медовый месяц" с П. П. Кадочниковым в главной роли. "Надя вся в монтировках" — часто повторявшееся в кругу друзей Козинцева его выражение, шутливо изображающее постоянную занятость Кошеверовой своим фильмом.

[4] Шварц хорошо знал истинное отношение Козинцева к Кадочникову и назвал его "любимым артистом" иронически.

[5] В 1956 г. Шварц работал над сценариями по своим пьесам "Снежная королева" и "Тень".

[6] Е. Шварц купил машину у артиста Н. К. Черкасова.

24

(Ленинград. 14 июня 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович! Мне приказано опять лежать две недели, что меня начинает злить. Лежу не строго. Дембо охарактеризовал состояние, как "пижамный режим". Но все равно — противно. Был у меня Коля. Я послал с ним Вам поклон. Сегодня звонила мне по Вашему приказанию Ирина Диомидовна[1] (так, кажется?). Спасибо. Вдруг повеяло жизнью. Она сказала, что когда она уезжала, то Вы "осваива-

ли каторжников". И что Вы решили выбрать в Альтисидору цыганку. И то и другое меня обрадовало.

Очень жалею, что не мог посмотреть привезенного ею материала. Но слухи до меня дошли хорошие.

У Державина был консилиум. Установил, что ему несколько лучше.

Германа не вижу. Он перебрался с Хейфицами в Александровку. Больше новостей нет.

Я понемногу работаю.

Вашим письмам так радуюсь, что осмеливаюсь, хоть и знаю, как Вы заняты, попросить: пишите!

Целую все семейство. Жду писем 14/VI 56

Е. Шварц

---

[1] И. Д. Голынская — ассистент режиссера.

25

(Комарово. 16 июня 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович, я, вопреки приказанию Дембо, — сбежал в Комарово. В городе стало слишком уж уныло. И Вам знакомо это откладывание освобождения от больничного режима с недели на неделю — нет ничего более оскорбительного. И вот я бежал. Тем более что литфондовские врачи разрешали переезд с тем, чтобы я в Комарово продолжал лежать. Еще две недели. Что я более или менее выполняю.

Ну вот, мы и стали лицом к лицу с вопросом о сокращениях.

Ваше присутствие — необходимо.

У меня есть глубокое убеждение — возможен только один вид сокращения — вместо длинных сцен заново писать более короткие. Механические сокращения — убийственны. Может быть, писать совсем новые сцены, над чем я и думаю. Но мешает мне следующее: вероятно, и у Вас были какие-нибудь постановочные и литературные идеи. А вдруг я подорву какие-нибудь намерения, уже установившиеся? И так далее и тому подобное.

Кончаю — у меня Михаил Соломонович[1], который спешит.

Целую Вас. Почему не ответили Вы мне на мое последнее письмо? Мне это вредно.

Привет Валентине Георгиевне и непочтительному Александру Григорьевичу. 16/VI

Ваш Е. Шварц

[1] М. С. Шостак.

26

(Комарово. 3 июля 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович, вчера заходил Шостакович. Выглядит он очень худо, перенес на ногах воспаление легких, все время кусает себя за пальцы и стучит по виску. Был снисходителен, но ни слова не сказал о музыке к “Дон Кихоту”, а я не спросил.

Пытался узнать по телефону у Нади, не видал ли кто последнего материала с каторжниками, она ничего не знает. Снимает ежедневно в Юкках натуру с утра до вечера.

Меня опять укладывали на три дня, что мне надоело. Я убежден, что будь я с Вами в Ялте или останься я в городе, то все было бы хорошо. Комарово — место для меня вредное, но сила инерции держит меня тут как пришитого. Очень огорчился, узнав, что Вы себя плохо чувствуете. Москвин ходит. Решительно отказывается ехать в санаторию в Мельничные Ручьи, а ищет комнату с пансионом, которых в окрестностях Ленинграда не существует. Я пытался найти ему комнату вблизи ВТО[1], где он мог бы кормиться, но это не удалось. Разговаривал с ним несколько раз по телефону. Тон обычный. Не то фельдфебель, не то Вольтер. Дембо считает, что он скоро может приступить к работе. Относительно скоро. Кажется, он говорил: в октябре.

Дом Творчества[2] разрушен до основания, отчего гостей у меня не бывает. И это раздражает меня больше, чем избыток гостей.

Работаю медленно и плохо, но все-таки работаю. Вчера заезжал в Александровку к Герману. Устроились они там, на мой взгляд, крайне неудобно. Не поймешь, где кончается территория Хейфицев и начинается Германов. Похоже на коммунальную квартиру. Но Герман прочел мне начало повести, очень хорошей. Просто отличной. Написано в полную силу, как в юности. Вот и все новости.

Целую Вас. Привет всему семейству. Пишите, пожалуйста. Очень прошу.

Е. Шварц.

---

1 Имеется в виду Дом творчества Всероссийского Театрального общества в Комарово.

2 В этом случае речь идет о также находящемся в Комарово Доме творчества Союза писателей, в котором в это время строили новый корпус.

27

(Ленинград) 26/VII (1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович!

Погода такая, что я уже несколько дней сижу в городе, и только сегодня, с большим опозданием, привезли мне с дачи Ваше письмо. Очень я огорчен тем, что Вы слегли. И без того от холода и дождей ощущение отвратительное, угрожающее, а тут еще плохие новости. Впрочем, утешил меня материал, который я опять смотрел без звука (звук в Москве!). Работаете Вы в полную силу. Нельзя не устать. И я внушаю себе, что болезнь Ваша просто переутомление, которое пройдет.

Баратория очень хороша. Никаких замечаний не могу из себя выжать.

Каторжники понравились мне меньше. Мне показалось, что они теряются, когда проходят мимо скалы. Сливаются с ней. И когда разговаривают с Дон Кихотом, их не различаешь. Впрочем, тут, очевидно, виною отсутствие их голосов. Дуэль Дон Кихота со стражником ничем не кончается, так что мне показалось непонятным, что заставило каторжников расхрабриться и разбить цепи. Впрочем, монтаж, кажется, еще приблизительный.

Но, несмотря на это все, в кусках есть та особая, лично Ваша, значительность манеры, которая так нравилась мне в “Гамлете”. И в постоялом дворе “Дон Кихота”. Она чувствуется даже в тех несвязных кусочках “мельницы” для нормального экрана, которые я видел.

А это самое главное. Картина имеет характер.

Теперь об “Опасном повороте”. Наш друг Николай Павлович и мне

не сказал ни слова об этом возобновлении. Узнал о нем из афиш. Но!

1. Уварова[1], женщина крайне строгая и любящая бранить, утверждает, что возобновление сделано почтительно и добротно.

2. Все спектакли прошли с аншлагом. В городе много разговоров, и все поминают Вас добром.

Это не снимает с Акимова вины, но, как мне кажется, дает ему право на снисхождение. Тем более, что сборы падали убийственно, и только возобновление Вашей постановки выручило коллектив. Им уже начинали задерживать жалованье[2].

Как Вы смотрите на мой приезд в Коктебель?

Дембо обещает отпустить на сентябрь, если ничего неожиданного не произойдет.

Наш шофер уходит со второй своей службы в отпуск. И делается исключительно моим. Мы бы приехали. Ужасно хочется Вас повидать. Найдется ли в Шебетовке или в Коктебеле угол?

Поправляйтесь, дорогой Григорий Михайлович, не огорчайте Ваших друзей.

Целую Вас. Привет всему семейству.

Ваш Е. Шварц

---

[1] Е. А. Уварова — актриса Театра Комедии.

[2] Шварц пытается утешить Козинцева, но, к сожалению, восстановленный с новыми исполнителями спектакль оказался неудачным, что Козинцева чрезвычайно огорчало.

28

(Комарово. 15 августа 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович!

Только что смотрел материал. Это прекрасно. Никаких признаков театра. Все подлинно. Все живет. Тот самый шекспировский быт или фламандский сор, о котором тосковала Ваша душа — создан и радует и удивляет. Все усилия, что потрачены Вами, дали такие плоды, что я только ахал и умилялся.

Альтисидора — чудо. Альдонса — очень мила, хоть Вы и подозреваете меня в пристрастии к ней. Вполне на месте.

Единственно, что меня огорчило — это Караско, лежащий с племянницей. Это лишает значительности его роль: защитника здравого смысла. Рыцаря практичности. И уводит куда-то к Пабсту[1]. И напоминает другие инсценировки, чего до сих пор мы счастливо избежали. Но это мелочь. Все остальное — прекрасно.

Целую Вас.

Ваш Е. Шварц

Валентине Георгиевне и Сашке нижайшие поклоны.

---

[1] Немецкий режиссер Г. В. Пабст поставил во Франции фильм “Дон Кихот” (1933) с Ф. И. Шаляпиным в заглавной роли.

29

(Ленинград. 9 сентября 1956 г.)

Дорогой Григорий Михайлович!

Простите, что так долго не писал. Впал в умственное ничтожество, запустил все дела, чувствовал себя смутно. Все это потому, что не поехал в Коктебель, что привело бы меня в сознание и чувство.

В пятницу 7-го смотрел весь имеющийся материал. То же самое ощущение. Очень внушительно, подлинно, эпично. Пейзаж Коктебеля оказался ни на что в мире не похожим, на редкость подходящим к строгому тону, который Вы взяли.

Альтисидора в карете показалась мне неровной. То очень убедительной и действительно соблазнительницей. Местами же как будто перегружена голова: валик, кружева вдоль лица, отчего оно вытягивается и теряет что-то. Впрочем, не уверен в этом. Она меня не беспокоит, Альтисидора.

Беспокоит то, что и Вас. Впрочем, большую часть материала смотрел я без звука.

Со львом должно получиться.

Дульсинея и вся сцена с ней показалась мне хорошей. Но звука не было.

С нетерпением жду Вашего приезда.

Целую Вас. Привет Валентине Георгиевне и Сашке.

Ваш Е. Шварц.

30

А. А. Крону[1].

31 июля 1957 г.

Дорогой Александр Александрович!

Спасибо за "Второе дыхание". Получил его с некоторым опозданием, так как живу уже в Комарово, а пьеса пришла по грордскому адресу. Тем не менее, я успел ее прочесть и еще раз отмечаю, что у меня с нею, с пьесой, есть контакт, не то, что с моими некоторыми сценариями у некоторых московских драматургов! Если попадете в Ленинград непременно приезжайте ко мне в Комарово. В результате почти пятимесячного пребывания в постели у меня появилось второе дыхание и строгий режим снят. Для друзей в особенности.

Нижайший поклон Елизавете Алексеевне. Целую Вас.

Ваш Е. Шварц.

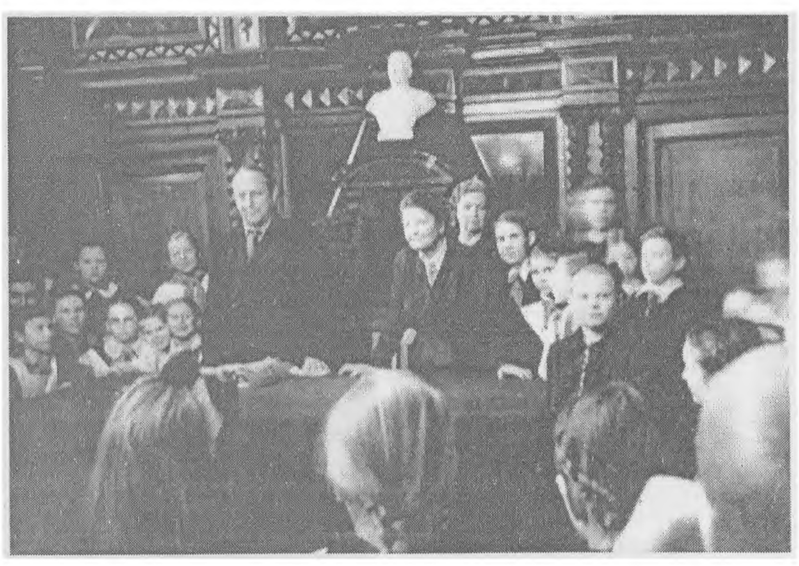
---

[1] А. А. Крон (1909—1983), писатель. Письмо публикуется впервые.



Л.Е. Шварц
с дочерью Н.Е. Крыжановской
и внуками Андреем и Машей.

Л.Е. Шварц на встрече с детьми.



Л.Е. Шварц на прогулке в Комарово.
Начало 50-х гг.
Н.Н. Никитин, О.Д. Форш, Е.Л. Шварц.



Н.Н. Суетин и А.А. Лепорская.

“Два клена”. Баба-Яга — П.Л. Карамышев, Иванушка — Л.П. Жукова. Ленинградский тюз. 1954.

“Обыкновенное чудо”. Сцена из спектакля. Театр Комедии. Ленинград. 1956.



Акимов Н.П. Макет декорации к пьесе “Обыкновенное чудо”. Дом волшебника. 1956

Акимов Н.П. Макет декорации к пьесе “Обыкновенное чудо”. В южной стране. 1956.

“Обыкновенное чудо”. Хозяйка — И.П. Зарубина, Хозяин — А.В. Савостьянов. Театр Комедии. Ленинград. 1956.

“Обыкновенное чудо”. Медведь — В.А. Романов, Принцесса — Л.А. Люлько. Театр Комедии. Ленинград. 1956.

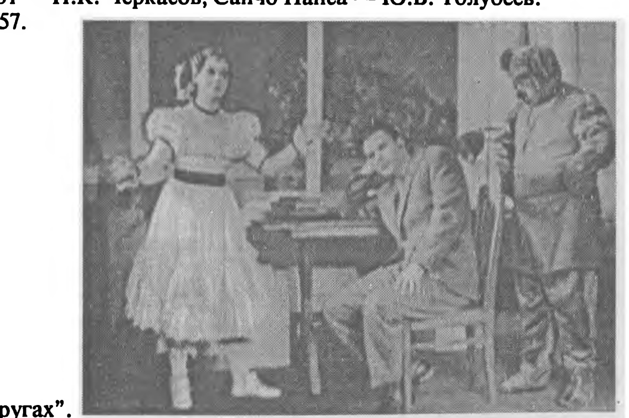


“Повесть о молодых супругах”.
Сцена из спектакля. Театр Комедии.
Ленинград. 1957.

“Повесть о молодых супругах”.
Леня — Г.А. Острин,
Никанор Никанорович —
А.В. Савостьянов,
Сергей — Л.Е. Леонидов.
Театр Комедии. Ленинград. 1957.



“Дон-Кихот”. Дон-Кихот — Н.К. Черкасов, Санчо Панса — Ю.В. Толубеев.
Студия “Ленфильм”. 1957.



“Повесть о молодых супругах”.
Кукла — А.В. Сергеева, Сергей — Л.Е. Леонидов, Медвежонок — Л.А. Кровицкий.
Театр Комедии. Ленинград. 1957.

стр. 9. *...получил приглашение в кукольный театр Шапиро...* — ныне Большой театр кукол. Художественным руководителем театра кукол в 1947 г. стал Савелий Наумович Шапиро (1906—1948), который ставил кукольные спектакли по пьесам Е. Шварца, в том числе и упомянутую «Сказку о храбром солдате». Сказка не получила одобрения московского начальства. Впоследствии Е. Шварц переделал сказку в пьесу «Царь Водокрут», а еще позже на ее основе написал сценарий «Марья-искусница».

стр. 10. *С Наташей все неладно...* — Наташа, Наталья Евгеньевна Шварц (1929—1996), дочь Е. Шварца от первого брака.

Кошеверова стала упорно звать нас... в Лиелупе. — Кошеверова Надежда Николаевна (1902—1990), кинорежиссер, постановщик фильмов по сценариям Е. Шварца. Далее в тексте: Надя, Надежда Николаевна.

Видел Квитко... — Квитко Лев Моисеевич (1890—1952), еврейский поэт, незаконно репрессирован.

Познакомился с оператором Тиссе... — Тиссе Эдуард Казимирович (1897—1961), кинооператор.

стр 11. *... пошли с Катей по магазинам ...* — Катя, Катюша — Екатерина Ивановна Шварц (1903—1963), вторая жена Е.Л. Шварца.

«Пиквикский клуб» подарил мне Рахманов — Рахманов Леонид Николаевич (1908—1988), писатель, друг Е. Шварца.

...пришла Валечка Шварц... — Шварц Валентина Исааковна (1901—1990) и Шварц Антон Исаакович (Тоня) (1896—1954), двоюродные брат и сестра Е. Шварца.

стр. 12. *Пошел к Акимову...* — Акимов Николай Павлович (1901—1968), художник, главный режиссер ленинградского театра Комедии и его жена, Юнгер Елена Владимировна (1910—1999), актриса театра Комедии, занимали две квартиры в одном доме, но на разных этажах. Зарубина Ирина Петровна (1907—1976), актриса театра Комедии, исполнительница ролей в спектаклях по пьесам Е.Шварца. В «Обыкновенном чуде» сыграла Хозяйку.

...позвонили из Союза... — Ленинградское отделение Союза советских писателей принимало французского писателя Луи Арагона (1897—1982), его жену, писательницу Эльзу Триоле (урожд. Каган) (1896—1970). В поездке их сопровождала сестра Эльзы Триоле Лиля Брик.

Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971), поэт, в 1945—1948 и 1955—1965 гг. — ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Браусевич Леонид Тимофеевич (1907—1955), писатель, секретарь правления Ленинградского отделения ССП. Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975), поэтесса. С Е. Шварцем ее связывали теплые отношения со времен блокады, когда они вместе работали на Ленинградском радио. Рест Б. (наст. имя и фам. Юлий Исаакович Рест-Шаро)

(1907—1984), писатель, в 50-е годы был зав. литчастью театра Комедии. Черненко Александр Иванович (1897—1956), писатель. Капица Петр Иосифович (1909—?), писатель. Никитина Зоя Александровна (1902—1973), редакционно-издательский работник, жена писателя М. Козакова (сохранила фамилию первого мужа, поэта Н.Н. Никитина).

стр. 13. Роллан, Ромен (1866—1944), французский писатель, общественный деятель.

стр. 14. *...тридцать три года назад сидели я и Юрка Соколов...* — Соколов Юрий Васильевич (1894—?). О дружбе с Ю. Соколовым см. **Е. Шварц. «... я буду писателем»**. М.: Корона-принт,1999. Там же — о соучениках Е. Шварца по майкопскому реальному училищу, о которых автор дневника пишет ниже.

стр. 15. *В Келломяках гостям уделили...* — В Комарово (финское название Келломяки), под Ленинградом, находился дом отдыха Ленинградского союза писателей.

...где жили летом Берггольц и Макогоненко... — Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912 — 1986), литературовед. В то время Макогоненко был мужем О. Берггольц.

...сильно постаревший Митя Щеглов...— Щеглов Дмитрий Алексеевич (1898—1963), писатель.

стр. 16. *Разбирали пьесы Никитина и Козакова с Мариенгофом...* — Видимо, речь идет о пьесе Н. Никитина «Ровно в полночь» и «Золотой обруч» А. Мариенгофа и М. Козакова. Никитин Николай Николаевич (1895—1963), писатель, в 20-х годах участник литературной группы "Серапионовы братья". Козаков Михаил Эммануилович (1897—1954), писатель. Мариенгоф Анатолий Борисович (1897—1962), поэт, драматург. Янковский (наст. фам. Хисин) Моисей Осипович (1898—1972), театровед и критик.

Мы постояли внизу... — Лифшиц Владимир Александрович (1913—1978), поэт, драматург, автор текста песен к кинофильму «Марья-искусница» по сценарию Е. Шварца. Кетлинская Вера Казимировна (1906—1976), писательница. Зонин Александр Ильич (1901—1962), писатель, критик. Дружинин Владимир Николаевич (1908—1995), прозаик.

Привозят Лозинского... — Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955), писатель, переводчик.

стр. 17. *Серебровская читает отрывок...* — Серебровская Елена Павловна (р. 1915), поэтесса, литературовед, редактор «Ленинградского альманаха» в 1950-х годах.

стр. 19. *...тут пришел Колесов...* — Колесов Лев Константинович (1910—1974), артист. С 1940 года служил в театре Комедии, исполнял роли в спектаклях по пьесам Е. Шварца.

стр. 20. *... Трауберг говорит...* — Трауберг Леонид Захарович (1902—1990), кинорежиссер.

Серебряков играет прелюд Рахманинова... — Серебряков Павел Алексеевич (1909—1977), пианист, народный артист СССР (1962 г.)

Пахомов рисует на крыше каменщиков... — Пахомов Алексей Федорович (1900—1973), художник.

Репетиция оперы Дзержинского...— Дзержинский Иван Иванович (1909—1978), композитор. Шлепянов Илья Юльевич (1900—1951), режиссер и театральный деятель. *«Цитадель»* — вероятно, Шварц имеет в виду фильм режиссера Г. Раппапорта «Жизнь в цитадели»; *«Пирогов»* — фильм режиссера Г. Козинцева. *Соловьев-Седой* (наст. фам. Соловьев) Василий Павлович (1907—1979), композитор.

Приходит ... Ягдфельдт. — Ягдфельдт Григорий Борисович (р. 1908 г.), драматург. Уварова Елизавета Александровна (1902—1977), актриса театра Комедии. Уварова сыграла роль Придворной дамы в спектакле «Обыкновенное чудо». Далее в тексте — Лиза.

стр. 22. *Даховская* — через станицу Даховскую проходил Е. Шварц в юности во время своего путешествия по Кавказу.

«Летучая мышь» — первый русский театр миниатюр, возникший из артистического кружка-кабаре Московского художественного театра. В подобном театре-кабаре «Карусель» Е. Шварц работал в начале 20-х годов. См. **Е. Шварц. «... я буду писателем»**. М.: 1999 и **Е. Шварц. «Предчувствие счастья»**. М.: Корона-принт, 1999.

стр. 23. *...ссорятся Друзин и Прокофьев...* — Друзин Валерий Павлович (1903—1980), критик, литературный функционер. С 1947 по 1957 год — главный редактор журнала «Звезда».

стр. 24. *"Первоклассница" снимается в Ялте...*— «Первоклассница», фильм по сценарию Е. Шварца (режиссер И.А. Фрэз) вышел на экраны в марте 1948 г.

Пьеса, написанная для Шапиро... — см. прим. к стр. 9.

В театре Деммени заново поставили "Сказку о потерянном времени"... — «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца, первоначально написанная как пьеса для кукольного театра, была поставлена впервые в ленинградском Государственном кукольном театре под руководством Е.С. Деммени в 1940 г. 25 сентября 1947 г. состоялась премьера новой постановки (режиссер — Ю.С. Поздняков).

Сценарий о двух молодых людях... — Шварц начал писать сценарий «Первый год» в1947 г., в 1948 г. сделал еще один вариант литературного сценария под названием «Повесть о молодых супругах». Одновременно Шварц создавал пьесу с таким же сценарием. Фильм не был снят, а название перешло к пьесе (1954), поставленной в театре Комедии в 1957 г.

стр. 25. *...привел в ярость ... Сарру Лебедеву...* — Лебедева Сарра Дмитриевна (1892—1967), скульптор.

Дружил я с Олейниковым... — Олейников Николай Макарович (1898—1937), поэт, детский писатель, редактор журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок». Незаконно репрессирован и расстрелян. Каверин Вениамин Александрович (1902—1989), писатель. Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972), писатель. Об Олейникове, Каверине, Слонимском — см. «Дневники» в книге **Е. Шварц. «Предчувствие счастья»**. М.: Корона-принт, 1999.

стр. 26. *Перечитал Олеария...* — Олеарий Адам (1603—1671), немецкий путешественник. Побывал в России в 30-е годы XVII века. Автор «Описания путешествия в Московию». Русские историки: Забелин Иван Егорович (1820—1908), Костомаров Николай Иванович (1817—1885),

Семевский Василий Иванович (1848/49—1916).

стр. 27. *Театр Комедии... собирался ставить мою пьесу "Первый год"...* — см. прим. к стр. 24.

Вместе с Ремизовой... выехали мы... — Ремизова Александра Исааковна (1905—1989) — артистка, режиссер. С 1920 г. — в труппе 3-ей студии МХАТ (с 1926 г. — театр им. Евг. Вахтангова). Была приглашена в Ленинград в театр Комедии для постановки пьесы Е. Шварца.

стр. 28. *Афоризм Леонкавалло...* — Леонкавалло, Руджеро (1857—1919), итальянский композитор.

стр. 32. *...смотрел в Новом театре пьесу Люфанова «Жигули»* — Люфанов Евгений Дмитриевич (1908—1989), драматург.

У Тамары Сезеневской ... родился сын... — Сезеневская Тамара Вячеславовна (1915—1987), артистка театра Комедии, исполнительница ролей в спектаклях по пьесам Е. Шварца и в фильме «Золушка».

стр. 33. *Сегодня я пошел на центральную базу туристов...* — Е. Шварц собирался писать сценарий фильма о детях-туристах «Неробкий десяток». Так назвали свою компанию Е. Шварц и его друзья, путешествуя по Кавказу в 1915 году. См. **Е. Шварц. «...я буду писателем»**. М.: 1999.

...гостей перебывало человек пять... — Чокой Татьяна Ивановна (1909—1995), артистка театра Комедии, играла в спектаклях по пьесам Е. Шварца; Герман Татьяна Александровна, жена писателя Ю.П. Германа.

стр. 34. *Вивьену досталось за беспечность...* — Вивьен Леонид Сергеевич (1887—1966), режиссер театра им. Пушкина. Чирсков Борис Федрович (1904—1966), драматург. Бурлаченко Аркадий Павлович — с 1949 г. директор БДТ. Коркин Г.М., театральный деятель, директор Мариинского театра в 50-60-е годы.

стр. 35. *...получаю телеграмму от Елены Александровны...* — Чижова Елена Александровна, административный работник театра Комедии.

Приходит Пантелеев... — Пантелеев Л. (наст. имя и фам. Алексей Иванович Еремеев) (1908—1987), писатель.

стр 37. *Вот Сильва рассказывает о Лизе* — Гитович (Левина) Сильва Соломоновна (1913—1974), жена поэта и переводчика Александра Ильича Гитовича (1909—1966). Гитовичи были соседями Шварца по дому на набережной канала Грибоедова, 9. Лифшиц В.А. — см. прим. к стр. 16. Шефнер Вадим Сергеевич (р. 1915), поэт, переводчик. В.С. Шефнер не мог вспомнить девушку по имени Лиза и подтвердить эту историю.

стр. 40. *Писал сегодня «Медведя»...* — Е. Шварц работал над пьесой с 1944 года, в окончательном варианте пьеса получила название «Обыкновенное чудо».

стр. 41. *...в «Клад» перенес я частицу горных своих ощущений...* — в пьесе «Клад» (1933) отразились впечатления Шварца от путешествий по Кавказу с друзьями юности.

стр. 42. *Переделываю либретто для Ленфильма...* — имеется в виду сценарий «Неробкий десяток».

стр. 43. *Пришел Гитович...* — см. прим. к стр. 37.

Провожают меня Добин и Любарская... — Добин Ефим Семенович (1901—1977), литературовед, критик, редактор сценарного отдела Лен-

фильма. Любарская Александра Иосифовна (р.1908), писательница, фольклористка.

стр. 44. *Удалось ... рассказать кое-что о детстве...* — к этому моменту Шварц записал в дневнике значительную часть своих воспоминаний о детстве и сделал попытку создать литературный портрет С.Я. Маршака.
...успел дозвониться до Якушкиной...— Якушкина Елена Леонидовна (1914—1986), зав. литчастью московского ТЮЗа.

стр. 45. *Звоню Козинцеву, еду в гости...* — Козинцев Григорий Михайлович (1905—1973), кинорежиссер, сценарист. Поставил по сценарию Е. Шварца фильм «Дон Кихот» (1957). Сашенька — сын Козинцева (р.1946). *Николай Макарович* — Олейников, см. прим. к стр. 25. *«Почемучка»* — книга Б. Житкова.
Вечером пришлось мне заехать к Наташе Шанько... — Шварц (Шанько) Наталия Борисовна (1901—1991), переводчик. Вторая жена А.И. Шварца.

стр. 46. *У нас Верочка ...* — Зенькович Вера Владимировна (р. 1906), художник-график.

стр. 47. *Феня шла из ворот с Андрюшей...* — 13 февраля 1950 г. у Натальи Евгеньевны родился сын. Крыжановский Андрей Олегович (1950—1994), филолог, поэт, журналист.

стр. 48. *...читаю «Кандидат партии»...* — Шварц читает пьесу Крона. Крон (наст. фам. Крейн) Александр Александрович (1909—1983), писатель, драматург.
Договорился с Карпенко... — Карпенко Галина Николаевна (1908—1977), детский писатель, редактор Детгиза.

стр. 49. *...пьесу слушают Малюгин и Шток...* — Малюгин Леонид Антонович (1909—1968), писатель, драматург, зав. литчастью БДТ в годы войны. С Малюгиным Шварца связывали дружеские отношения, сохранилась их переписка. Шток Исидор Владимирович (1908—1980), драматург.
Вечером я у Туси Разумовской... — Разумовская Софья Дмитриевна (Туся) (1904—1981), редактор московского детского отдела Госиздата. Жена Данина. Данин (наст. фам. Плотке) Даниил Семенович (Даня) (р. 1914), писатель, критик. Алигер Маргарита Иосифовна (1915—1992), поэтесса. Леня — вероятно, речь идет о Л. Малюгине.

стр. 50. *Звоню к Заболоцким...* — Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1958), поэт. Его жена Екатерина Васильевна (р.1906). Эренбург Любовь Михайловна — жена И.Г. Эренбурга, Ирина — его дочь от первого брака.

стр. 51. *...Наташа позвонит...* — Милановская Ирина, Галя (очевидно, Юркина)— подруги Н.Е. Шварц. Леля — тетка Н.Е. Шварц по материнской линии.

стр. 52. *...в антракте встречаюсь с Пукшанской...* — Пукшанская Мария Исааковна (1910—1994), заведующая Кабинетом детских театров ВТО, позднее руководитель научно-методического отдела Центрального театра кукол.
Заходит Василий Гроссман... — Гроссман Василий Семенович (1905—1964), писатель.

стр. 53. *Иду к Чуковским...* — Чуковские Николай Корнеевич (1904—1965), писатель, и Марина Николаевна (1905—1993), переводчик. В Малеевке у Чуковских была дача.

стр. 54. *...встречает меня Леночка...* — Юнгер Елена Владимировна.

стр. 55. *...рассказал о прошлогоднем разговоре о камнях...* — Речь идет о незаконченном эссе, которое Шварц внес в дневник в конце 1949. В это издание дневников эссе не вошло ввиду недостатка места.

Вечером у Смирнова слушал музыку... — Смирнов Владимир Иванович (1887—1974), математик, академик АН СССР, любитель-музыкант.

... пахнуло Майкопом... от рассказов Наташи Соловьевой... — Соловьева (в замужестве Григорьева) Наталия Васильевна (1894—1975), одна из сестер Соловьевых, с которыми Е. Шварц дружил с юности до конца жизни.

стр. 64. *Я согласился переделать для Райкина обозрение...* — Эстрадное обозрение «Под крышами Парижа» было поставлено в театре Комедии в 1952 г.

стр. 67. *...мы съездили в Териоки* — финское название Зеленогорска.

Зашел навестить Бианки... — Бианки Виталий Валентинович (1894—1959), детский писатель.

стр. 69. *...решил переделать для Леночки и Ускова эстрадный номер ...* — Леночка— Е.В. Юнгер, Усков Владимир Викторович (1907—1980), артист театра Комедии. Давидович Людмила Наумовна (1900—1986), переводчик, поэт. Александра Исааковна — Ремизова.

Масс и Червинский... — Масс Владимир Захарович (1896—?), драматург. Червинский Михаил Абрамович (?—1965), драматург.

Приехал Легошин... — Легошин Владимир Григорьевич (1904—1954), кинорежиссер.

стр. 70. *...приехали Зон и Кадочников...* — Зон Борис Вульфович (1898—1966), режиссер и актер ЛенТЮЗа в 1921—1935 гг. Основатель и художественный руководитель Нового ТЮЗа. Кадочников Павел Петрович (1915—1988), артист театра и кино. Исполнял роли в спектаклях по пьесам Е. Шварца.

Заявку по Ликстанову я доканчивал сегодня... — Е. Шварц писал заявку на создание пьесы по повести И.И. Ликстанова «Первое имя». Пьеса, которую он упоминает в связи с театром Зона, — «Василиса Работница».

стр. 74. *У нас собираются встречать Новый год Ирина Зарубина...* — Зарубина Ирина Петровна (1907—1976), актриса, с 1935 года до конца жизни служила в театре Комедии, исполняла роль Хозяйки в «Обыкновенном чуде», Зарубина Татьяна Александровна (1940—1995), дочь И.П. Зарубиной, впоследствии филолог. Чокой Татьяна Ивановна см. прим. к стр. 33.

стр. 75. *...приехал со своей дачи Черкасов...* — Черкасов Николай Константинович (1903—1966), артист. Участник спектакля по первой пьесе Е. Шварца «Ундервуд» в ЛенТЮзе, в фильме «Дон Кихот» снимался в заглавной роли. Нина — жена Н. Черкасова Н. Вайнбрехт, Маслюковы — Маслюков и Птицына, артисты, принимавшие участие в эстрадном обозрении А. Райкина «Под крышами Парижа».

стр. 77. *Работали ... в номере у Свитнева...* — Свитнев Александр Иванович (1901—1952), московский чиновник, в то время являлся литературным редактором Управления музыкальных учреждений.

стр. 84. *Сегодня в "Советском искусстве" помещена статья "Вопреки теме и жанру"...* — В статье «Вопреки теме и жанру», напечатанной в газете

«Советское искусство», Ю. Дмитриев писал: «Тема борьбы за мир — высокая и священная для народов мира — оказалась во многом разменённой на полушки трюкачества. Прежде всего в этом виноваты авторы пьесы — К. Гузынин и Е. Шварц. Их произведение писалось только с той целью, чтобы дать А. Райкину возможность выявить все его таланты. Но ведь дело идет не о творческом вечере Райкина, не о его бенефисе, а о пьесе, поднимающей важную тему. Где же в этой пьесе образы, наполненные правдой жизни? Их нет. Актерам нечего играть, по сцене двигаются тени, маски людей... Характерно, что в программе даже нет имен действующих лиц, а просто значатся: американский офицер, артист с больными зубами, репортер газеты «Париж забавляется», хозяин мансарды, регент «Певческого клуба» и так далее. У этих людей нет имен, нет характеров, а раз так, — сыграть их просто невозможно».

стр. 86. *...появляются Кочетов и Луговцов ...* — Кочетов Всеволод Анисимович (1912—1973), писатель. Луговцов Николай Петрович (1908—1979), секретарь партбюро Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». *Вчера читал Орлову и Рахманову...* — Орлов Владимир Николаевич (1908—1985), литературовед. Рахманов Леонид Николаевич см. прим. к стр. 11.

стр. 88. *...ничего общего не имея с Орловым, придуманным для рассказа...* — В дневниках Е. Шварца встречается несколько незаконченных произведений, в том числе на протяжении нескольких лет автор работал над повестью о «призраках». Орлов — один из вариантов фамилии героя.

стр. 92. *...я позвонил по телефону Шах-Азизову...* — Шах-Азизов Константин Язонович (1903—?), театральный и общественный деятель. С 1945 года директор, а с 1960 по 1966 годы и худ. руководитель Центрального детского театра. Путинцев Владислав Александрович (1917—1967), литературовед. Лобанов Андрей Михайлович (1900—1959), режиссер. С 1945 по 1966 годы главный режиссер тетра им. Ермоловой.

стр. 93. *Женя Рысс ... и все другие поздравляли меня...* — Рысс Евгений Самойлович (1908—1973), писатель. Оля и Юра — Ольга Берггольц и Георгий Макогоненко. Нагишкин Дмитрий Дмитриевич (1909—1961), писатель.

стр. 95. *Позвали еще и соседа, Колю Степанова...* — Степанов Николай Леонидович (1902—1972), литературовед.

стр. 102. *...зонил Товстоногов относительно "Медведя"...* — Товстоногов Георгий Александрович (1913—1989), с 1956 года главный режиссер ленинградского Большого драматического театра.

стр. 103. *Вчера ... умер Тоня* — см. прим. к стр. 11.
...позвонила Анечка Лепорская... — Лепорская Анна Александровна (1900—1982), художник-прикладник. Суетин Николай Михайлович (1897—1954), художник.

стр. 104. *...Казимир Малевич, основатель школы супрематистов...* — Малевич Казимир Северинович (1878—1935), художник, основоположник супрематизма, одного из течений абстрактного искусства.
...вел...идейную борьбу с Шагалом... — Шагал Марк (1887—1985), французский художник, родился в России.

стр. 105. *...говорили...как лебедевские графики — о Лебедеве.* — Лебедев Владимир Васильевич (1891—1967), художник-график, иллюстратор.
...вышла замуж за Костю Рождественского. — Рождественский Константин Иванович (р.1906), художник, оформитель советских павильонов на Всемирных выствках в Париже (1937) и Брюсселе (1958).
...познакомилась она с Катей. — Екатерина Ивановна Шварц в первом браке была замужем за А.А. Зильбером, братом В.А. Каверина, который в свою очередь был женат на Лидии Николаевне, сестре писателя Юрия Николаевича Тынянова.
...воевал больше всего с Татлиным. — Татлин Владимир Евграфович (1885—1953), художник.
стр. 106. *...вместе со вторым любимым учеником Малевича — Чашником...* — Чашник Илья Григорьевич (1902—1929), художник.
стр. 107. *Лечила она психоанализом по Фрейду.* — Фрейд Зигмунд (1856—1939), австрийский врач-психиатр, основоложник психоанализа.
стр. 108. *...старый Мейсен, Попов, Гарднер...* — названия марок фарфора: завода города Мейсена (Германия), и русских заводов, принадлежавших Попову и Гарднеру.
стр. 110. *...принимала сестра доктора Бадмаева...* — доктор Бадмаев лечил больных методами тибетской медицины.
Им поручили оформление Парижской выставки. — Всемирная выставка в Париже открылась 24 мая 1937 г.
стр. 111. *...стал он готовить ...оформление американской выставки...* — Международная выставка открылась в Нью-Йорке 30 апреля 1939 г.
стр. 116. *...на могилу ... профессора Неменова...* — Неменов Михаил Исаевич (1880—1950), врач-онколог, рентгенолог. Его бронзовый бюст работы С.Д. Лебедевой отлит в 1952 г.
стр. 118. *Увидала фотографии скульптур Коненкова...* — Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971), скульптор.
стр. 119. *... у Наташи родилась дочка.* — Крыжановская Мария Олеговна, внучка Е.Л. Шварца (р.1954).
Режиссер Цетнерович... человек очень высокого роста... — Цетнерович Павел Владиславович (1894—1963), артист, режиссер. В 1946—1957 гг. — главный режиссер московского Театра юного зрителя. Поставил пьесу Е. Шварца «Два клена».
стр. 122. *Попробую записать Глинку...* — Глинка Владислав Михайлович (1903—1983), историк, искусствовед, писатель. В 1944—1964 гг. — главный хранитель отдела истории русской культуры Эрмитажа.
стр. 124. *Когда гостила у нас Варя...* — Соловьева Варвара Васильевна (1898—?), младшая из сестер Соловьевых. См. прим. к стр. 55.
стр. 127. *У нас гастролирует театр Французской комедии...* — «Комеди Франсез» привез один спектакль — «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера. Луи Сенье играл господина Журдена, Бретти — Николь.
стр. 135. *...утром стал читать письма Чистякова...* — имеется в виду книга художника П.П. Чистякова «Письма. Записные книжки. Воспоминания». М.: 1953.

стр. 142. *...приехал Шкловский, мой вечный мучитель...* — Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), литературовед, критик, писатель. Автор книги «Третья фабрика», упоминаемой ниже.
стр. 145. *Борис Михайлович Эйхенбаум так давно знаком всем нам...* — Эйхенбаум Б.М. (1886—1959), литературовед.
стр. 146. *...разыскал ее случайно Валя...* — Шварц Валентин Львович (1902—1988), брат Е.Л. Шварца, инженер.
стр. 147. *Идем ... к Войно-Ясенецким...* — Войно-Ясенецкие Михаил Валентинович (1907—1993), врач-патологоанатом и Мария Кузьминична (р.1909), врач-бактериолог, знакомые Шварца в бытность его в эвакуации в Сталинабаде (Душанбе).
стр. 151. *...«Мы с Вейсбремом выходим из театра»...* — Вейсбрем Павел Карлович (1899—1963), режиссер, руководитель Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, где Е. Шварц и его брат Антон Шварц служили актерами. Впоследствии П.К. Вейсбрем работал режиссером в ленинградских театрах: БДТ, Театре им. Ленсовета, ТЮЗе.
...пароход мира... — 7 сентября 1954 г. «Ленинградская правда» сообщала о прибытии в Ленинград парохода «Баторий», на котором несколько сот представителей северных стран Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии совершали рейс мира по Балтийскому морю.
стр 169. *...хитрейший и легковеснейший Дудин...* — Дудин Михаил Александрович (1916—1993), поэт.
стр. 176 *...объявили содоклад Базанова.* — Базанов Василий Григорьевич (1911—1981), литературовед, фольклорист.
Доклад, который я читал... — Е. Шварц выступал с содокладом по детской литературе 7 декабря 1954 на отчетно-выборном собрании ленинградских писателей.
...обиделся Чевычелов. — Чевычелов Дмитрий Иванович (1904—1970), директор Ленинградского отделения Детгиза с 1941 по 1959 г.
стр. 180. *...Сурков, размахивая руками...* — Сурков Алексей Александрович (1899—1983), поэт.
...слово получает Поспелов... — Поспелов Петр Николаевич (1898—1979), секретарь ЦК КПСС, член ЦК, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС.
Далее встречаются имена руководителей партии и правительства:
Булганин Николай Александрович (1895—1975), с 1947 года заместитель председателя Совнаркома РСФСР.
Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971), член Президиума ЦК КПСС с 1952 года. В октябре 1964 г. освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК и члена Президиума ЦК КПСС.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1986), член президиума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР, министр иностранных дел СССР.
Маленков Георгий Максимилианович (1902—1988), секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР.
Микоян Анастас Иванович (1895—1978), член президиума ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР, министр торговли

СССР, депутат Верховного Совета СССР.

Каганович Лев Моисеевич (1893—1991), член ЦК КПСС, член Политбюро.

стр. 182. *...тут еще замешался Роу.* — Роу Александр Артурович (1906—1973), кинорежиссер, постановщик фильма-сказки «Марья-искусница» по сценариюШварца.

...выступал Корнейчук, читал доклад... — Корнейчук Александр Евдокимович (1905—1972), украинский драматург.

стр. 183. *Заключила вечер Галина Николаева.* — Николаева Галина Евгеньевна (1911—1963), писательница.

Вчера был у Образцова. — Образцов Сергей Владимирович (1901—1992), театральный деятель, артист, режиссер, организатор и руководитель Центрального театра кукол.

стр. 186. *...вполне бесплодный Григорьев и ... Голубева...* — Григорьев Николай Федорович (1896—1985), писатель, редактор журнала «Костер» (1956—1957). Голубева Антонина Георгиевна (1899—1989), детская писательница.

стр. 200. *Начал я переписывать «Телефонную книжку»...* — часть дневников Е. Шварца, не вошедшая в данное издание. Представляет собой галерею портретов, созданных на основе реальной телефонной книжки автора. «Телефонная книжка» издавалась отдельно в 1997 году.

стр. 202. *...читал я «Дневник писателя».* — Здесь Е. Шварц рассказывает о своих впечатлениях от произведений Ф.М. Достоевского — публицистического произведения «Дневник писателя» и рассказа «Бобок».

стр. 204. *Эраст готовит «Медведя»...* — Гарин Эраст Павлович (1902—1980), актер, режиссер, с 1950 года работал в Театре-студии киноактера в Москве. Поставил спектакль «Обыкновенное чудо» («Медведь»).

стр. 207. *...читают Левоневский, Фогельсон...* — Левоневский Дмитрий Анатольевич (1907—1988), поэт, прозаик, критик. Фогельсон Соломон Борисович (1910—1994), поэт-песенник. Айзеншток Иеремия Яковлевич (1900—1980), литературовед, критик, переводчик.

стр. 209. *Заболел Москвин.* — Москвин Андрей Николаевич (1901—1961), кинооператор, один из основоположников советской операторской школы. Снимал фильм «Дон Кихот» по сценарию Е. Шварца. Муж Н.Н. Кошеверовой.

стр. 210. *...Жаров ... ругает пьесу «Обыкновенное чудо»...* — В газете «Советская культура» от 22 мая 1956 г. народный артист СССР Михаил Жаров пишет: «В репертуар наших театров работа театра-студии киноактера вносит жанровое разнообразие, свежее творческое слово... Что касается самой пьесы Е. Шварца, ее основного конфликта, ее морали, то тут существуют разные мнения. Некоторые склонны утверждать,что тема ее весьма неточно намечена и развита автором, что, в сущности, героями руководят какие-то внешние силы, рок, что любовь для них — источник страданий, что они не борются за свое счастье, и все разрешается не по логике отношений и чувств, а по доброй воле волшебника. Может быть, для таких суждений и есть какие-то основания. Мне же лично волшебник представляется олицетворением творческих сил народа, могучего и всесильного властелина, творца...».

стр. 214. *...вдруг разговорилась Зандберг...* — Зандберг Вера Алексеевна (1897—1975), актриса ЛенТЮЗа, педагог. Играла главную роль в спектакле «Ундервуд» по пьесе Е. Шварца.

стр. 219. *Говорили Цимбал ... Мишка Шапиро.* — Цимбал Сергей Львович (1907—1978), критик, в 1946—1947 гг. — зав. литчастью театра Комедии. Автор монографии о Е. Шварце, воспоминаний о нем и рецензий на спектакли по пьесам Е. Шварца. Шапиро Михаил Григорьевич (1908—1971), кинорежиссер, кинодраматург. Совместно с Н.Н. Кошеверовой ставил фильм «Золушка» (1947 г.) по сценарию Е. Шварца.

Появляется не спеша Вертинская... — Вертинская Лидия Владимировна (род. 1923), играла роль Герцогини в фильме «Дон Кихот». Альтисидору играла актриса Агамирова Т.С.

стр. 227. *...смотрели по телевизору «Искателей» Гранина...* — Фильм «Искатели» по роману Д.А. Гранина вышел на экраны в мае 1957 года. Авторы сценария Д.А. Гранин и Л.М. Жежеленко, режиссер-постановщик М.Г. Шапиро.

стр. 228. *Поругали мы рецензию в «Смене»...* — В газете «Смена» (1957, 6 июля) напечатана рецензия З.И. Плавскина «На экране ламанчский рыцарь». Оценивая фильм в основном положительно, автор указывает на спорные решения отдельных эпизодов, на статичность образа Дон Кихота на протяжении всего фильма.

стр. 230. *Все, что я читаю, раздражает поспешностью...* — Речь идет о следующих произведениях: пьесе Д.Б. Пристли «Сокровище» (1953, русский перевод 1957), пьесе Ж. Сориа «Гордыня и туча» (1956, русский перевод 1957) и единственной драме А.Д. Кронина «Юпитер смеется» (1940, русский перевод 1957).

стр. 231. *Приехал Глеб...* — Григорьев Глеб Николаевич (р.1928), капитан дальнего плавания, сын Н.В. Соловьевой (Григорьевой).

стр. 233. *Акимов стал репетировать... с Чежеговым, мою пьесу «Вдвоем»...* — Н.П. Акимов и М.В. Чежегов ставили спектакль по последней пьесе Е. Шварца, который пошел в театре Комедии под окончательным названием «Повесть о молодых супругах».

стр. 237. «Сказка о потерянном времени». Впервые опубликована в журнале «Мурзилка» (1945, № 5, 6) с рисунками А. Порет. Отдельным изданием вышла в Детгизе с рисунками В. Конашевича (1948).

стр. 245. «Два клена». Впервые пьеса издана стеклографическим способом ВУОАПом в 1954 г. Первую постановку осуществил московский ТЮЗ в июле 1954 года. Режиссер П. Центнерович, художник Г. Федоров, композитор К. Корчмарев. В спектакле были заняты актеры М. Зорина, Б. Мишин, Е. Васильев, С. Гребенников, В. Горелов, Ю. Юльская и другие.

5 ноября 1954 года сыграл премьеру и ЛенТЮЗ. Режиссер П. Вейсбрем, художник Н. Иванова, композитор Н. Матвеев, балетмейстер В. Сонина. Клены работы С. Рубановича. В спектакле играли актеры Н. Карамышев, Н. Кудрявцева, Л. Жукова, Н. Соляникова, А. Тимофеева, Л. Шампал, А. Охитина, А. Гаврилов и другие.

стр. 291. «Обыкновенное чудо». Впервые пьеса издана стеклографическим

способом ВУОАПом в 1956 г. Первыми поставили пьесу Э. Гарин и Х. Локшина в московском Театре-студии киноактера в феврале 1956 г. Художник Б. Эрдман. В ролях Э. Гарин, Э. Некрасова, В. Тихонов, К. Барташевич, М. Трояновский, М. Глузский, В. Караваева, С. Голованов, Г. Милляр и другие.

Через два месяца премьеру выпустил ленинградский театр Комедии. Режиссер и художник Н. Акимов, композитор А. Животов. В спектакле были заняты актеры Л. Колесов, А. Савостьянов, И. Зарубина, В. Романов, П. Суханов, Л. Люлько, В. Усков, К. Злобин, Е. Уварова, Т. Сезеневская, Н. Харитонов, Н. Трофимов и другие.

стр. 359. «Повесть о молодых супругах». Впервые пьеса вышла отдельным изданием в 1958 году с предисловием Н.П. Акимова. Премьера состоялась в ленинградском театре Комедии в декабре 1957 года. Постановка Н.П. Акимова и М.В. Чежегова, художник Н. Акимов, композитор А. Животов. В спектакле играли актеры Е. Уварова, В. Карпова, Л. Люлько, А. Савостьянов, Г. Острин, Л. Леонидов, А. Кириллов, Л. Кровицкий, А. Сергеева, Н. Нагаева, Л. Милиндер, К. Злобин, И. Ульянова и другие.

стр. 425. «Марья-искусница». Сценарий публикуется впервые. Фильм по нему был снят на киностудии им. М. Горького в 1959 году режиссером А. Роу. Оператор Д. Суренский, художник Е. Галей, композитор А. Волконский. В картине снимались М. Кузнецов, Н. Мышкова, Витя Перевалов, А. Кубацкий, Г. Милляр, В. Алтайская, А. Хвыля и другие.

стр. 473. «Дон Кихот». Сценарий впервые опубликован в «Литературном альманахе» в июле 1958 года.

Картина снята на киностудии «Ленфильм» Г.М. Козинцевым в 1957 году. Операторы А. Москвин, А. Дудко и И. Грицюс, художники Е. Еней и Н. Альтман, композитор Кара Караев. В фильме снимались Н. Черкасов, Ю. Толубеев, С. Бирман, Л. Касьянова, Т. Агамирова, Г. Вицин, Б. Фрейндлих, Л. Вертинская, Г. Волчек, О. Викланд, А. Бениаминов, В. Казаринов и другие.

На сцене «Дон Кихот» по сценарию Е. Шварца впервые был поставлен в декабре 1974 года ленинградским Учебным театром, классом профессора В.С. Андрушкевича. Художник В. Коршикова, композитор Н. Стрельников. В 1975 году постановку «Дон Кихота» осуществил режиссер Ю. Еремин в ростовском ТЮЗе. Художник Д. Близнюк, композитор А. Кусяков.

Содержание

Шварц Е. Л.
84. Р7Ш 33 Позвонки минувших дней / Сост. Крыжановская М. О., Шершнева И. Л.; Худ. Войцеховская. Е. В. — М.: “Корона-принт”, 1999. — 608 с., ил., фот.

ISBN 5 — 85030 — 059 — 7

5 — 85030 — 060 — 0 ©

5 — 85030 — 061 — 9

5 — 85030 — 062 — 7

Литературно-художественное издание

Евгений Львович Шварц

Позвонки минувших дней

Редактор: Л. Дмитриева
Дизайн и верстка: К. Шершнев.
Корректор: Л. Титова.

Издательская лицензия ЛР № 060019 от 15.11.96.
Формат 60×84[1]/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 38. Тираж 5 000 экз. Зак. № 5463.
Издательство ТОО «Корона-принт».
Отпечатано в ППО «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.





